

Владимир Агеносов

*Восставшие  
из небытия*



Антология  
писателей Ди-Пи  
и второй эмиграции

---

Ассоциация исследователей российского общества  
(АИРО-XXI)



ИСТОРИЧЕСКАЯ  
КНИГА

---

Издание осуществлено  
благодаря личному содействию:

Геннадия БОРДЮГОВА

Надежды КОВАЛЕВСКОЙ

Андрея МАКАРОВА

Сергея ЦЕРБИНЫ

---

В.В. Агеносов

ВОССТАВШИЕ  
ИЗ НЕБЫТИЯ

Антология писателей Ди-Пи  
и второй эмиграции

Москва — Санкт-Петербург  
2014

Подготовка Антологии  
осуществлялась в течение пяти лет работы автора-составителя  
в **ИМПЭ им. А.С. Грибоедова**.  
Заключительная работа над книгой  
проводилась в течение трех лет работы  
в **Renmin University of China** (КНР),  
создавшем для этого самые благоприятные условия.

Идея обложки – Валерий Руденко

#### **Агеносов В.В.**

Восставшие из небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции. – М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетей, 2014. – 736 с.; илл. – ISBN 978-5-91022-230-8. – ISBN 978-5-90670-527-3

Книга заслуженного деятеля науки РФ академика РАЕН В.В.Агеносова является первым в России собранием избранных произведений писателей послевоенной эмиграции и тех русских литераторов послеоктябрьской эмиграции, кто оказался после 1945 года лицами без гражданства (Ди-Пи – Displaced Persons). Все они в своей трудной судьбе сохранили любовь к России, к русскому человеку, веру в будущее своей родины.

Ученому удалось дать краткие, но достаточно репрезентативные характеристики включенных в Антологию авторов, выбрать из обширного литературного наследия писателей Ди-Пи и второй волны эмиграции наиболее характерные произведения (или фрагменты больших романов и повестей) дающие представление о творческой индивидуальности каждого художника.

Значительная часть авторов до сих пор неизвестна на родине. Антология В.В. Агеносова восполняет существенный пробел в истории русской литературы XX столетия.

Книга рассчитана на любителей отечественной словесности, студентов и преподавателей вузов, исследователей культуры и литературы русской послевоенной диаспоры.

---

# СОДЕРЖАНИЕ

<i>Евгений Витковский</i>	
Россия без гражданства: литература второй волны .....	7
Несколько слов об архипелаге Ди-Пи и его писателях.....	11
АЛЕКСЕЕВ Василий Иванович.....	47
АЛЕКСЕЕВА Лидия Алексеевна.....	64
АНДРЕЕВ Геннадий Андреевич.....	86
АНСТЕЙ Ольга Николаевна .....	110
АНТ Владимир Николаевич .....	120
БАБЕНКО Виктория Александровна .....	126
БЕРЕЗОВ Родион Михайлович .....	130
БЕРНЕР Николай Федорович.....	145
БОБРОВА Элла Ивановна .....	151
БОНГАРД Сергей Романович .....	165
БУРКИН Иван Афанасьевич.....	190
БУШМАН Ирина Николаевна .....	207
ГЛИНКА Глеб Александрович .....	216
ГОЛЛЕРБАХ Сергей Львович .....	246
ДИМЕР Евгения Александровна .....	253
ЕЛАГИН Иван Венедиктович.....	265
ЗАВАЛИШИН Вячеслав Клавдиевич .....	286
ИВАСК Юрий Павлович .....	300
ИЛЬИНСКИЙ Олег Павлович .....	315

КАСИМ Андрей Иванович.....	330
КЛЕНОВСКИЙ Дмитрий Иосифович.....	338
КУДАШЕВ Николай Всеволодович.....	359
КУШНИР Вера Сергеевна.....	367
МАКСИМОВ Сергей Сергеевич.....	372
МАРКОВ Владимир Фёдорович.....	400
МОРШЕН Николай Николаевич.....	420
НАРОКОВ Николай Владимирович.....	438
НАРЦИССОВ Борис Анатольевич.....	460
НЕЙМИРОК Александр Николаевич.....	479
ПЕРФИЛЬЕВ Александр Михайлович.....	489
РЖЕВСКИЙ Леонид Денисович.....	503
САБУРОВА Ирина Евгеньевна.....	535
СВЕН Виктор Борисович.....	552
СИНКЕВИЧ Валентина Алексеевна.....	566
СОЛОВЬЕВ Михаил Степанович.....	586
ТЕР-ПОГОСИАН Ричард Саакович.....	599
ТРУБЕЦКОЙ Юрий Павлович.....	608
УЛЬЯНОВ Николай Иванович.....	620
ФЕСЕНКО Татьяна Павловна.....	633
ФИЛИППОВ Борис Андреевич.....	640
ШАТАЛОВ Владимир Михайлович.....	672
ШИРЯЕВ Борис Николаевич.....	676
ШИШКОВА Агния Сергеевна.....	697
ЮРАСОВ Владимир Иванович.....	704

---

# РОССИЯ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА: литература второй волны

Сколько раз приходилось мне и моим коллегам по изучению литературы русской эмиграции приводить в разных книгах одни и те же аргументы! Поколение второй волны эмиграции – что это такое?

По словам одаренного прозаика Леонида Ржевского, это была прежде всего самая трагическая из волн русской эмиграции: и первая, и третья боролись в основном за визы и за право более или менее легального выезда, вторая волна вся без исключения боролась не за визы, а за жизнь, бежала «из-под кнута-то отчего да под дубину отчима» (И. Елагин). «Вторые» появились сами по себе, вместе с наступлением советской армии на запад. Те, кто жил во время войны «под немцами», пусть и не сотрудничал с ними, пусть даже и боролся с ними, отнюдь не могли быть уверены в спокойном завтрашнем дне «под Советами». От этого и родился бессмертный образ елагинского поезда, – «крадущийся вором», он уходил на Запад под бомбежками, едва ли ожидая спасения – пусть хотя бы отсрочки от неминуемой гибели.

Ибо в исторической перспективе советские лагеря были, разумеется, легче для выживания, чем немецкие, зато перспективы просидеть в немецком лагере полвека (в исторической перспективе почему не предположить такое?) ни у кого тоже не было.

...Только крошечный Лихтенштейн, единственное из европейских государств, на чьей территории оказались бывшие граждане СССР, отказался разговаривать с советскими эмиссарами: так решило правительство князя Франца-Иосифа II – на основании того, что Лихтенштейн ни в какой войне не участвовал, и предоставило в 1945–1948 году убежище не менее чем пятистам военным из числа 1-й Русской национальной армии генерала Смысловского (заметим, сам Борис Смысловский происходил из семьи крещеных евреев и был эмигрантом первой волны, что ставит его личность в истории весьма обособленно). Из-за необходимости прокормить россиян

Лихтенштейн попал в весьма трудные финансовые обстоятельства и позже был вынужден продать в США жемчужину живописной коллекции князя, «Портрет Джиневры де Бенчи» кисти Леонардо да Винчи.

В то же самое время союзники СССР, Великобритания и США деятельно занимались «выдачами» – слали на восток эшелоны с бывшими российскими гражданами. О судьбе этих граждан стало кое-что известно лет через десять-двенадцать. Как раз столько существовал «от и до» Третий Рейх, нестабильное и во многом попросту бестолковое государство. Советский Союз прожил на картах мира в шесть раз дольше.

Первая и по сути дела последняя антология поэзии «второй волны» русской эмиграции вышла уже после распада СССР: в Филадельфии в 1992 году Валентина Синкевич издала этот том – «Берега». Мне довелось немного помогать Валентине Алексеевне в отборе материала для антологии. Как любит по сей день повторять составительница, «у поэтов второй волны различаются не столько биографии, сколько автобиографии». Нельзя забыть о судьбе поэта Юрия Трубецкого (Нольдена), деятельно выдававшего себя в эмиграции за представителя «первой волны», – но с ним мы, к счастью, разобрались: нет, не первую волну представлял поэт, саму настоящую вторую. А кое-кому все же удалось нас обмануть, в итоге он даже и в «Берегах» оказался не представлен: таков был осевший в Италии поэт Георгий Эрстов. И мы не знаем, сколько еще таких обманов осталось неразоблаченными.

Строго говоря, мы сливаем два понятия: непосредственно «ди-пи», перемещенных лиц – таких, как Валентина Синкевич или Ирина Бушман – и выходцев из «лимитрофов», т. е. тех государств, которые лишь очень недолго входили в состав СССР – прежде всего из Латвии и Эстонии; таковы ставшие по-настоящему известными лишь после войны имена Ирины Сабуровой, Александра Перфильева, Бориса Нарциссова, да и других людей, прошедших через испытание многими границами – прежде всего здесь должны быть упомянуты жившие до войны в Сербии Александр Неймирок и Константин Халафов, – первого *после* войны судьба забросила из немецкого концлагеря в Германию, на радиостанцию «Свобода», второго – почти прямо с Балкан и до конца жизни – в Австралию. Но по возрасту эти люди – ровесники ди-пи, люди схожей судьбы, да

и просто они разделяли с ди-пи общую жизнь в каких-нибудь «казармах СС» под Мюнхеном. Это были люди без гражданства, ну, а то, что депортация в СССР им грозила чуть меньше, чем бывшим гражданам СССР – шанс этот был столь пренебрежимо мал, что нет уверенности – помог ли он хоть кому-то.

Несмотря на утверждение Г.П. Струве о том, что среди писателей «второй волны» не было людей с известными в литературе именами, таковые все же были. Еще в 1917 году издал в Петрограде свой первый сборник стихотворений Дмитрий Крачковский, ставший в эмиграции Кленовским. Даже старше него был печатавшийся еще до первой мировой войны ученик Брюсова, Николай Бернер...

Пожалуй, списки на этом можно оборвать: внимательный читатель уже мог заметить, насколько различаются персоналии, приводимые Владимиром Агеносовым и мною. Это не результат противоречия, это свидетельство того, насколько велика, многообразно, и насколько не изучена еще литература всего лишь одной волны русской эмиграции, которую по давно сложившемуся в литературоведении и совершенно ошибочному мнению принято считать уж если не качественно, то количественно более бедной по сравнению с литературами предыдущей и последующей волн эмиграции. Перед нами не случай «так называемого вранья». Перед нами нечто куда худшее: приговор, вынесенный без изучения материала. Таких ошибок в нашем литературоведении – не перечесть. И нам приходится строить концепцию не после того, как изучаемый материал изучен, а в процессе его освоения: двадцать лет изучения пока еще далеко не в полной мере дали возможность осознать – что же такое литература «второй волны».

Она многожанрова: даже в области драматургии, совсем, казалось бы, не присущего людям подобной судьбы жанра, у нее есть своя классика – иначе не шел бы на десятках русских сцен еще недавно никому не ведомый водевиль Ивана Елагина, «Портрет мадам-муазель Таржи», не читались бы по сей день пьесы Сергея Максимова. И даже в такой, казалось бы, не-эмигрантской области, как поэтический перевод есть свои шедевры у «второй волны»: прежде всего нужно вспомнить эпическую поэму классика американской поэзии Стивена Винсента Бене «Тело Джона Брауна», который за пять лет выполнил Иван Елагин, переводы из американской поэзии Николая Моршена – и многое другое. Иначе говоря, перед нами полноценная

и самодостаточная литература, в изучении которой сейчас мы нуждаемся чуть ли не в первую очередь, ибо предмет этот, когда речь идет о многочисленных формациях русских эмигрантских литератур – один из самых неизученных.

По очевидным причинам здесь в антологический справочник Владимира Агеносова имен включено много, но отсутствует их еще больше. Впрочем, энциклопедическая полнота едва ли достижима вообще, да и едва ли пошла бы она на пользу материалу столь неизученному, к тому же по сей день воспринимаемому русскими литературоведами весьма нервно, не через призму литературы, но через туманную пелену невятных воспоминаний и прямых наветов. Ведь и через четверть века (1969) Дмитрий Кленовский в Германии воспринимал как трагедию то, что архиепископ Иоанн Санфранциский (Дмитрий Шаховской) назвал по радио «Голос Америки» его подлинную фамилию, Крачковский. Он жил в ФРГ, и ему казалось – вот-вот придут советские танки, вот-вот начнут ловить бывших советских граждан.

Нам уже не понять страхов тех лет.

Думается, к счастью.

И поэтому пришло время серьезной науки, которой в полной мере служит новая книга Владимира Агеносова.



*Евгений Витковский*

# НЕСКОЛЬКО СЛОВ об архипелаге Ди-Пи и его писателях

«Вспомните о нас, люди» – так назвал свои мемуары о годах, проведенных в фашистском плену, ученый-литературовед Степан Иванович Шешуков. Ему еще «повезло». Огромная рана на ноге, так и незажившая до самой смерти, позволила избежать советского ГУЛАГа. После XX съезда КПСС Шешукова восстановили в партии, позволили, хотя и не без сопротивления, издать ставшую литературоведческой сенсацией книгу «Неистовые ревнители», защитить докторскую диссертацию. И даже наградили орденом Знак Почета. Предлагалась более высокая награда, но члены парткома, обсуждавшие этот вопрос, прямо сказали: всё-таки был в плену.

Другим бывшим военнопленным повезло меньше. Одни прямо из фашистских лагерей переместились в советские. Вторые отправились в штрафные батальоны кровью смывать несуществующую вину. Даже те, кого подростками отправили батрачить на Германию, оказались надолго ущемленными в правах: их не принимали в высшие учебные заведения, предоставляли самую грязную работу. Впрочем, и здесь с годами, с запозданием, справедливость восторжествовала: и бывшие военнопленные, и бывшие рабы признаны участниками Великой Отечественной войны. Только вот воспользоваться своими правами довелось немногим: большинство ушло из жизни раньше, чем их вернули из небытия.

Даже тем, кто сотрудничал с оккупантами, вышла поблажка: Президиум Верховного Совета СССР Указом от 17 сентября 1955 года их амнистировал.

И лишь те, кто, пройдя все муки войны и неметчины, остался на чужбине, по-прежнему прокляты и забыты. Что мы знаем о них, об их жизни после Победы союзников над фашистской Германией? Практически ничего.

Вот лишь некоторые сведения из вышедшего 1948 году в парижском издательстве «Clermont» сборника статей и материалов «Пере-

мещенные лица»<sup>1</sup>. К 1947 году по неполным данным в Германии находилось «приблизительно 300.000 советских граждан...»<sup>2</sup>.

Автор монографии «Жертвы двух диктатур»<sup>3</sup> Павел Полян, опираясь на секретные сведения органов НКВД, называет другую цифру: на 1 января 1952 года в Европе оставалось 451.561 человек. Однако именно точность этой цифры вплоть до одного человека позволяет усомниться в ее достоверности. Совершенно очевидно, что какая-то часть ди-пийцев<sup>4</sup> сумела уклониться от регистрации в советских органах.

В статье В.П. Наумова и Л.Е. Решина «Репрессии по отношению к советским военнопленным и гражданским репатриантам в СССР (1941–1956)», конкретизируется: из 452 тысяч перемещенных граждан из СССР 170 тысяч составляли военнопленные, остальные – мирные жители, депортированные в Германию во время войны<sup>5</sup>.

По данным В.Н. Земскова, взятым из официальных советских источников, вторая эмиграция<sup>6</sup> была больше: 620 тыс. человек<sup>7</sup>, т. е. примерно десять процентов от числа советских граждан, оказавшихся в годы Великой Отечественной войны за границей.

---

<sup>1</sup> *Personnes Déplacées*. – Paris: Editions de Clermont, 1948. – 350 p.

<sup>2</sup> *Ibid.* – P. 287.

<sup>3</sup> Полян П. Жертвы двух диктатур остербайтеры и военнопленные в третьем Рейхе и их репатриация. – М., 1996. – 442 с. Полян П.М. Жертвы двух диктатур: Жизнь, труд, унижение и смерть сов. военнопленных и остарбайтеров на чужбине и на родине – М.: РОССПЭН, 2002. – 895 с. Информация о судьбах перемещенных лиц содержится также в кн.: *Вербицкий Г.Г.* Остарбайтеры: История россиян, насильственно вывезенных на работы в Германию во время Второй мировой войны. Изд 3-е, испр. – СПб.: изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. (Библиотека журнала «Новый Часовой»).

<sup>4</sup> Ди-Пи (Displaced Persons) – перемещенные лица.

<sup>5</sup> Статья предоставлена мне Комиссией при Президенте РФ по реабилитации жертв политических репрессий.

<sup>6</sup> Словосочетание «вторая эмиграция» вызывает у многих литературоведов, да и самих участников этой эмиграции, сопротивление. Тем не менее, никакого более четкого определения никто не предложил. Я имею ввиду оказавшихся за пределами СССР невозвращенцев, ставших позже эмигрантами. Эмигранты первой волны, пребывавшие в лагерях Ди-Пи и обретшие гражданства после 1945 года, в понятие «вторая волна» не входят, но, на мой взгляд, к ним применимо определение «послевоенная эмиграция».

<sup>7</sup> *Земской В.Н.* Рождение «второй эмиграции» (1944–1952) // Социологические исследования. 1991. № 4. С. 3–24.



*Барак в лагере Шлейсгейм – типичное здание лагерей Ди-Пи*

«Основная часть этих советских граждан распределена в 380 лагерях<sup>8</sup>, рассредоточенных в различных регионах западной Германии»<sup>9</sup>, – пишут авторы французской книги.

Опекали ди-пийские лагеря две организации: UNRRA (United Nations Refugees Relief Association) и IRO (International Refugees Organization) – на дипийском языке – Ирочка.

Вот как описывает живописец и декоратор В.Д. Гашурова один из самых крупных и «литературных» лагерей Шлейсгейм недалеко от Мюнхена, где она провела детство:

«Серенькие бараки тянутся в четыре ряда, пространство между ними носили даже название улиц. Средняя, главная, – Гороховая в честь ежедневного гороха, получаемого в обед в общей кузне;

---

<sup>8</sup> Как указывает Р.В. Полчанинов, не во всех содержались русские военнопленные. Были лагеря для прибалтов.

<sup>9</sup> *Personnes Déplacées*. – Paris: Editions de Clermont, 1948. – 287 p.

другие – Церковная и казачья. Дворянский переулок вел к административному бараку... Две церкви, библиотека, театр, гимназия, радиостанция, курсы, лекции, спортивный клуб в чужой нам стране. Это была Россия в миниатюре, причем дореволюционная Россия. Не странно, что и старинные русские обычаи сохранились в полной красоте и силе».

Именно в Шлейсгеме жили И. Елагин и О. Анстей, Б. Нарциссов, И. Сабурова.

Поэт и эссеист В.А. Синкевич, бывшая жительница лагеря Фишбек, вспоминает:

*«Жили мы в большом бараке – одна комната, разделенная военными одеялами... Работать – просто негде. Иностранцев никто не брал – работы не хватало самим немцам. Правда, и на шее у немецкого населения мы тоже не сидели – нас содержала оккупационная власть. Быт... Когда родилась дочка, я ведрами таскала холодную воду в барак, грела воду на маленькой электрической плитке. А если три-четыре плитки в бараке включены – электричество вырубается, начинаются скандалы...».*

Но жизнь эта не ограничивалась бытом.

В Фишбеке и особенно Цоо кампе, продолжает В. Синкевич, *«русская интеллигенция жила не хлебом единым... Здесь я впервые услышала от Юрия Павловича Иваска имя Марины Цветаевой..., встретила с семьей Марченко: отец – будущий известный прозаик Николай Нароков, и его сын – будущий известный поэт Николай Моршен».*

«Не хлебом единым» жили и другие лагеря беженцев.

Культпросвет<sup>10</sup> лагеря Менхегоф (Кассель. Германия) провел за три месяца 1946 года 64 лекции-беседы о литературе и искусстве. Аналогичный клуб действовал в соседнем лагере Фюрстенвальд<sup>11</sup>.

В ряде лагерей издавались на ротаторе газеты; выходили книги русских классиков, учебники<sup>12</sup>, широко велась культурно-образовательная деятельность.

<sup>10</sup> О деятельности этой организации подробно рассказывает Р. Полчанинов в статье «Менхегофский культпросвет» // За Свободную Россию. – Н.-Й., 2006, ноябрь (№ 79).

<sup>11</sup> Единство. Лагерь Менхегоф (Кассель. Германия). Изд. Клуба УМКА в лагере. – 1946. – № 1.



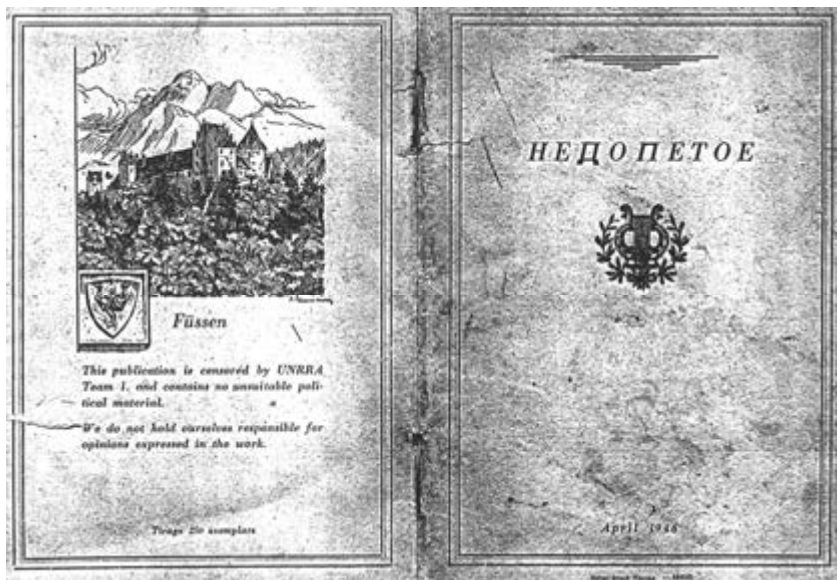
Церковь в одном из лагерей Ди-Пи (из архива В.Д. Гашиуровой)

Во многих лагерях читались лекции о культуре и литературе. Лекторами были как ди-пийцы первой волны эмиграции (Ю. Иваск, И. Сабурова), так и филологи, оказавшиеся в лагерях в 1941–44 годах (Б. Филиппов, Н. Марченко-старший, Л. Ржевский и др.).

<sup>12</sup> Список изданий см.: Штейн Э. Русская печать лагерей Ди-Пи. – [Орендж-Москва:] Antiquary, 1993. – 135 с. Исследователь перечислил 242 названия газет и журналов, выходивших в лагерях Ди-Пи и имеющихся в собрании Колумбийского Университета (Нью-Йорк), оговорившись, что это далеко не полный перечень. Ученый сообщил о том, что в лагерях Ди-Пи издавались книги классиков русской и зарубежной литературы, учебники, произведения Волошина, Гумилева, Есенина, Аверченко, Алданова, Вергинского. К сожалению, Э. Штейн ограничился описанием книг своей коллекции и не сделал даже попытки охарактеризовать периодику.

Чрезвычайно интересные сведения содержатся в статье Р. Полчанинова «Книжный бум 1945–1948.» – За Свободную Россию. Н.-Й., 2006. (№ 72)

В России издан список книг «Ди-Пи» из фондов» библиотек Москвы и Санкт-Петербурга. См.: Базанов П.Н. Издательская деятельность «дипийцев» // Вестник С-Петербургского гос. университета культуры и искусств. 2006. № 1(4) июль. С. 162–175.



*Сборник молодых поэтов лагеря Ди-Пи в Фюссене. 1946*

Изучение в 1999 году в библиотеках Калифорнийского (Беркли) и Стэнфордского университетов *de visu* большого количества газет и журналов показало, что, хотя большинство периодических изданий носило сугубо политический характер, были и такие, где проблемы искусства и литературного творчества беженцев занимали значительное место.

Среди них – информационно-политический журнал «На переломе», издававшийся на ротаторе Ди-Пи Центром Фрайман (Мюнхен). Именно здесь впервые увидели свет такие поэтические шедевры, как стихотворения И. Елагина «А. Грину» (№ 7), «Любезная сердцу осень...», «Ни зги, но ветер. Уличным фигляром...», «Уже последний пехотинец пал...»; О. Анстей «Разбушевался ветер в тополях...», «В пол-окна снега мои накиданы...», «Ну, вода – как молоко парное...» (№ 8, 25 сент. 1946). В этом же лагере издавался с июня по октябрь 1946 литературно-общественный журнал «Огни» (вышло 10 номеров).

Журнал «Посев», выходявший для рабочих лагерей Менхегоф, Фюрстенвальд, Ротвестен с ноября 1945 года по февраль 1946, дал в № 42 (1946, 1 сент.) статью А. Парфенова «Н.С. Гумилев», а в № 9 (1946, 7 янв.) напечатал наряду со стихотворениями А. Ахматовой «Мужество» и Н. Туроверова «Сочельник», написанное в концлагере Дахау в 1942 г. стихотворение А. Неймирока «Гитлер», а также стихи никому не известного С. Тропинина «Я считаю мучительно сроки...».

С 1946 в Менхегофе начал выходить «журнал литературы, искусства и общественной мысли» «Грани», переехавший позже во Франкфурт, где он издавался до 1991 года. С 1992 журнал печатался в Москве. Прекратил существование в 1996 году.

Широко была представлена поэзия и в менявшей названия газете лагеря Регенсбург: «Свободное слово» (с 21 апреля по 19 мая 1948 вышло 3 номера) и «Свобода» (с 24 июня по 11 ноября 1948 вышло 10 номеров).

Назовем также изданный Георгием Широковым под псевдонимом Ю. Грознов единственный номер журнала «Русь»<sup>13</sup>. Уже первая (редакционная) статья, открывающаяся обширной цитатой о Руси из «Мертвых душ» Гоголя, утверждала, что «политика бессильна перед подлинным искусством, перед правдой жизни, которой должно служить искусство». Небольшой редакционный коллектив стремился познакомить читателя и с творчеством Т. Шевченко, и с биографией Г. Уэллса, и с мнениями Т. Манна о Пушкине, Р.М. Рильке – о России. В краткой заметке говорилось о влиянии Л. Толстого на творчество советских писателей. Собственно поэзия была представлена четырьмя именами: Е. Кульбицкая, Ю. Грознов, Я. Асмолов и К. Приморский

С 1946 года в лагерях Ди-Пи стали выходить книги (точнее брошюры) со стихами самих ди-пийцев.

Одним из первых подобных изданий стал найденный нами в личном архиве В.В. Колосовича сборник «Недопетое: Песни юных русских изгнанников», изданный, как сказано на титуле, «группой молодежи в Русском лагере города Фюссен» в апреле 1946 тиражом

---

<sup>13</sup> Русь. Литературно-художественный и публицистический журнал. – № 1. – Ашаффенбург, 1946, окт. – 52 с. Журнал предоставлен нам непосредственно Г.А. Широковым.

ОКТАБРЬ 1948

ЦЕНА RM 5.—

# РУСЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

## 1

Содержание: «За правду жизни»; В. Кузь-  
бицкая — «Две дороги»; Тихон Булгойн — «Рай-  
ский остров»; Яков Асмолов — «Экспресс»; Ри-  
чард Коппелл — «50-центовая история»; Юрий  
Грознов — «Я забыл поморские напевы»; Да-  
вид Уоррен Ридер — «Император Соединенных  
Штатов Америки и Протектор Мексика — Нор-  
тон I»; Ю. Грознов — «Алчный оскал»; М. Ф. —  
«Р. М. Рельке и Россия»; Я. Асмолов — «Не от-  
рекусь, не сдам я!»; Я. А. — «О Толстом»; Т.  
Г. Шевченко — «Пророк»; В. Дворяшков — «На-  
учность в истории»; К. Приморский — «Крым-  
ские мотивы»; Ю. Грознов — «Дойня»; А. Ши-  
ряев — «Е. Д. Уэллс»; В. Свен — «Укор зару-  
бежной литературе»; «Новости искусства»;  
«Родные напевы»; «Что читает Америка».

Издательство «Русь»

в 250 экз. Представленные в книге стихотворения двух молодых людей Миши Орлова и Коли Тарасова наивны, несовершенно и подражательны. Интерес представляет тематика книги: «Родина и ее люди» и «Лирика». Ограничусь одной цитатой – лирическим стихотворением Н. Тарасова о русской душе:

Пойте печальные эти мотивы:  
Русской души никому не понять,  
В ней то бывает отлив, то приливы,  
То разразится весельем опять.

В ней то раздолье живет удалое,  
То бесконечная грусть и печаль,  
То доброта, то роптание злое,  
В ней отразилась родимая даль.

В ней материнские капают слезы,  
Радость звучит и звенит звонкий смех,  
В ней отразились заветные грезы,  
Славных сражений бессмертный успех.

Пойте ж, товарищи, песню родную,  
С ней улетим мы в родные края.  
С вами и я на чужбине тоскую,  
Те же надежды в мечтаньях тая.

Несомненно, что молодой автор находился под влиянием советских патриотических песен своей юности. Анафоры («в ней», «то / тех»), призыв к товарищам петь, клише «славных сражений бессмертный успех» – всё это характерные признаки советской песенной традиции<sup>14</sup>.

Ю. Грознов издал в 1948 году книгу лирики «Половодье в сердце»<sup>15</sup>, куда вошли и премированные на лагерном конкурсе поэтов

---

<sup>14</sup> Указано мне к.ф.н. М.Г. Павловцом.

<sup>15</sup> Грознов Ю. Половодье в сердце: Лирика (1945–1947). – «Медный Всадник». – 1948. – 27 с. Последние стихи Грознова (Широкова) написаны в 1952 г., после чего он больше не занимался поэзией.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА

Как известно, правлением Объединения российских писателей и журналистов был организован конкурс на лучшие стихи и рассказы.

Жюри, в составе — И. В. Елагин, Н. З. Рыбинский и А. И. Уральцев, рассмотрело около 50 работ, в том числе ряд работ не членов Объединения.

Из общего количества представленных на конкурс произведений, жюри нашло возможным отметить следующие:

Н. Моршен — стихи «У маяка» и «Время»,

Ю. Грузнов — стихи «Пантеирик Северу» и отрывок из поэмы «Идущие на смерть».

Горевьюгин — «Мои мечты», рассказ.

Г. Андреев — «Покой», рассказ.

В. Суджанский — «Случай», рассказ.

До оценки имени авторов не были известны. Оценка произведена по обсуждению формы и тематики, литературной грамотности и оригинальности.

Само собою разумеется, что оценка была и безотносительной, и — сравнительной, поскольку работ для сравнения было достаточно.

По указанию правления, лучшие (здесь перечисленные) произведения направлены редакциям лучших газет: «Новости», «Обозрение», «Посев» и «Эхо». К сожалению, это единственная возможная форма выражения признательности авторам, откликнувшимся на призыв правления.

Жюри

(был и такой!) стихотворения «Панегирик Северу» и «Идущие на смерть». Приведем одно из них:

О, Север!  
Кто красу познал  
Твоих  
    овьюженных преданий,  
И солнца меркнувший опал  
На бирюзовой неба длани,  
И гордость сизую в очах  
Сынов полуночной природы, –  
Тот, жизнь никчемную влача,  
К  
    Тебе  
        придет на вечный отдых.  
Так я, в немилых мне края  
Внимая южных песен трелям,  
Мечтаю о метельных снах  
На ледяной  
    Твоей  
        постели.

Подлинным поэтическим событием стал выход в Мюнхене сборника «Стихи»<sup>16</sup>, куда вошли произведения О. Анстей, С. Бонгарта (им же создана обложка книги: зимний пейзаж Мюнхена), Влад. Гальского, И. Елагина, С. Зубарева, Н. Касима, Н. Кудашева, А. Савиновой, А. Шишковой<sup>17</sup>. Сборник был замечен русской диаспорой, хотя и получил противоположные отзывы. Если рецензент парижской газеты «Русская мысль» И. Тхоржевский в статье «Поэзия за проволокой»<sup>18</sup> дал самую высокую оценку сборнику, то критик «Огней» А. Черных обвинил авторов книги в «потрясающе-замогильном пессимизме». Завершая рецензию-разгром, А. Черных призывал: «Мы ценим и любим наших поэтов, но мы требуем от них гражданского

<sup>16</sup> Стихи. – Мюнхен, 1947. – 93 с.

<sup>17</sup> Стихи этого сборника включены в Антологию в персоналии названных поэтов.

<sup>18</sup> Русская мысль. – Париж, 1947. 6 дек. (№ 34).



Первый значительный поэтический сборник стихов Ди-Пи. — Мюнхен, 1947. Обложка С. Бонгарта

мужества: перебороть ощущение кажущейся беспросветности и найти в себе силы не только верить, но и вести за собой»<sup>19</sup>.

Беспросветности в сборнике не было, но тревога ощущалась. 1945–1952 годы ознаменовались для лиц, проживавших в лагерях в американской и английской зонах, вопросом о принудительной репатриации на родину. Автор открывающей книгу «Беженцы и перемещенные лица» статьи Леон Ричард пишет: «Подавляющее большинство перемещенных лиц, которые находятся в настоящее время в Германии и в Австрии, не хочет возвращаться на родину [...] потому что политический режим, установленный там после войны, не побуждает к возврату. [...] Наученные своими личными испытаниями или под влиянием рассказов близких или друзей, они опасаются, напрасно или обоснованно, репрессий и стремятся, прежде всего, к свободе мысли и мнений»<sup>20</sup>. Его мысль углубляет современный исследователь проблемы В.Н. Земсков, называющий среди факторов «способствовавших образованию “второй эмиграции”, в первую очередь ... существование в СССР тоталитарного, репрессивного режима. Развернувшаяся в СССР кампания по борьбе с космополитизмом и иностранщиной, – продолжает ученый, – изрядно напугала советских перемещенных лиц. Не меньший страх вызывали вести об антирелигиозных кампаниях в СССР». Еще одной причиной исследователь называет «трудности жизни на родине, понесшей вследствие войны большие потери и разрушения. По этой причине многие тысячи перемещенных предпочитали устраивать свою жизнь в не пострадавших от войны странах»<sup>21</sup>.

Из статьи В.Н. Земского прямо вытекает, что не будь Приказа Ставки Главного Командования Красной Армии за № 270 от 16 августа 1941 г., объявлявшего каждого оказавшегося в плену советского солдата предателем, и многочисленных высказываний Сталина, что у нас нет пленных, а есть только предатели<sup>22</sup>; не создай государство

---

<sup>19</sup> Огни. Литературный и православно-общественный сборник. – Мюнхен, [б./д.]. С. 62. 65.

<sup>20</sup> Richard Leon. *Refugies et Personnes Déplacées // Personnes Déplacées.* – Paris: Editions de Clermont, 1948.

Р. 24–25.

<sup>21</sup> Земсков В.Н. Рождение «второй эмиграции» (1944–1952) // Социологические исследования. 1991. № 4. – С. 3–24.

<sup>22</sup> Ограничимся одной дословной цитатой: «Русских в плену нет. Русский солдат сражается до конца. Если он выбирает плен, то он автоматически перестает быть русским» // Толстой Н.Д. Жертвы Ялты. – М., 1996. С. 32.



# МОСТЫ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
АЛЬМАНАХ

3

1959

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭМИГРАНТОВ ИЗ СССР (ЦОЭЭ)

репрессивного механизма обращения с вернувшимися гражданами<sup>23</sup>, сведения о чем доходили до лагерей Ди-Пи, не было бы и второй эмиграции с трагедией Кемптена, Платтлинга, Дахау и Лиенца, когда американские и британские солдаты загоняли людей в машины и везли к поездам, где доставленных ожидали составы, прямоком отправляющиеся в фильтрационные лагеря. Стоны и плач сопровождали эти картины. Некоторые из отправляемых вскрывали себе вены, кончали жизнь самоубийством. Подчеркну, речь идет не о руководителях власовской армии, не о сотнях запятнавших себя кровью военных преступников, а о десятках тысяч человек, в том числе о 110 тысячах казаков с семьями. Они-то уж совсем не попадали под Ялтинские соглашения февраля 1945 года, ибо, эмигрировав после Октября 1917 года, никогда не были советскими гражданами.

Сообщения о насильственных репатриациях и сопутствовавших им эксцессах взволновали западную общественность. Скандал по поводу участия солдат армии Ее Величества в насилии над диппийцами разразился в английском парламенте. На 30-й Пленарной Сессии Генеральной Ассамблеи ООН 12 февраля 1946 года в защиту беженцев выступила представитель США вдова Президента Элеонора Рузвельт. В своей речи она предлагала «ставить во главу угла права человека, которые будут рассматривать то, что делает человека более свободным: не правительства, а человека... Некоторые люди, – утверждала Э. Рузвельт, – по-прежнему не желают возвращаться назад, так как они не согласны с правительствами, находящимися у власти в их странах»<sup>24</sup>, и это их право. Развивая это положение,

---

<sup>23</sup> Из 1.5 млн. военнопленных, вернувшихся из зон оккупации союзников, после проверки в ПФЛ (Предварительных фильтрационных лагерях) было осуждено 994 тыс. и расстреляно 157 тыс. человек (*Шевяков А.А.* Репатриация советского мирного населения и военнопленных, оказавшихся в оккупационной зоне государств антигитлеровской коалиции // *Население России в 1920–1950-е годы: численность, потери, миграция. Сб. научных трудов.* – М., 1994). Несколько иные цифры приводит В.Н. Земсков: по его сведениям к 1946 году было возвращено из зон союзников 2352906 человек, из которых 608 тыс. были отправлены в рабочие батальоны (по сути ГУЛАГ) и 89 тыс. передано в распоряжение НКВД (*Земсков В.Н.* Рождение «второй эмиграции» (1944–1952) // *Социологические исследования.* 1991. № 4. С. 3–24).

<sup>24</sup> The 410 documents in *The Eleanor Roosevelt Papers, Vol. 1: The Human Rights Years, 1945–1948.* – Publication Information Publisher: Charles Scribners & Sons. 2007. P. 247.

Э. Рузвельт 8 ноября 1946 года говорила: «Наш народ всегда верил в право на убежище и полную свободу выбора. Пилигримы, гугеноты, и немцы 1848 года приехали к нам в поисках политической и религиозной свободы и более широких экономических возможностей. Они создали Соединенные Штаты. Эти люди, находящиеся в лагерях для перемещенных лиц, похожи на наших ранних поселенцев»<sup>25</sup>. Огромную роль в поддержке беженцев сыграла дочь Л.Н. Толстого Александра Львовна Толстая. В 1946 году для защиты русских эмигрантов создается Программа Толстовского Фонда в Европе. К концу 1954 года было открыто 17 отделений Фонда в различных странах мира.

Уже к 1947 году помощь англичан и американцев советским репатриационным властям сошла на нет.

Но это не решило полностью судеб ди-пейцев. Они не могли вечно оставаться людьми без родины. Им нужна была новая родина и работа. Второй родиной для русских эмигрантов 40–50-х годов стала сначала Германия (преимущественно Мюнхен и его окрестности).

В Мюнхене находились многочисленные организации русских эмигрантов: Национально-трудовой Союз (НТС), Центральное объединение политических эмигрантов из СССР (ЦОПЭ), радиостанции, вещавшие на Россию. В Мюнхене же активно функционировал Институт по изучению истории и культуры СССР, печатавший работы многих русских эмигрантов. В 1951–1954 годы в Мюнхене выходил журнал литературной критики (альманах) «Литературный современник». В 1958 году в издательстве ЦОПЭ вышел сборник-антология «Литературное зарубежье» с произведениями И. Елагина, С. Максимова, Д. Кленовского, Л. Ржевского, О. Ильинского, Н. Нарокова, Б. Ширяева, О. Анстей, Б. Филиппова, С. Юрасова, Н. Моршена, В. Свена – практически всех, кто потом определял развитие литературы второй волны. То же издательство выпустило 15 номеров альманаха «Мосты». В 1959 г. на страницах «Граней» (№ 44) была опубликована антология поэтов обеих волн (составитель Ю. Терапиано), позднее вышедшая отдельной книгой «Муза диаспоры» (Франкфурт-на-Майне, 1960).

---

<sup>25</sup> Ibid. – P. 397.



*Александра Львовна Толстая*



*Элеонора Рузвельт*

Всего в Германии и Австрии обосновались на постоянное жительство 13 тысяч человек. К 1951 году 77, 4 тыс. беженцев оказались в США; 25,2 – в Австралии; 23,2 – в Канаде; 4,4 – в Аргентине; 6,4 – в Бразилии; 8,3 – в других странах (Англии, Франции, Парагвае)<sup>26</sup>.

Существенную роль в оказании обретения новой родины оказал ди-пийцам Толстовский Фонд. В отличие от Правительства США, вначале разрешившего въезд в страну только работоспособным людям, Фонд помогал и старикам, и детям. При содействии Фонда в США въехали из разных стран около 40 тыс. человек<sup>27</sup>.

Переправу бывших советских граждан через океан осуществляли американские транспортные корабли, чаще всего «Генерал Блэтчфорд» и «Генерал Балу». Последний упоминается во многих воспоминаниях и в стихотворении Ивана Елагина. Там же говорится о том, что ждало переселенцев в Америке:

<sup>26</sup> Русские. Отв. ред. В.А. Александров, И.В. Власова, Н.С. Полещук. – М.: Наука, 1999. С. 153. В приведенных данных не разделяются русские и украинцы.

<sup>27</sup> См.: Александров Е.А. Русские в Северной Америке: Биографический словарь. – Хэмден – Сан-Франциско – СПб.: КРА, 2005. С. 503.



Корабль «Генерал Балу»

...Военный транспорт «Генерал Балу»  
К Нью-Йорку плыл сквозь утреннюю мглу.  
И вдруг, вонзаясь в небеса упрямо,  
Возникли небоскребы. Видел я,  
Как в небо, сердце города, твоя  
Угластая впилась кардиограмма.

О Боже, как мне было тяжело!  
Всё нищенское наше барахло  
Осматривала тщательно таможня.  
Как, от стыда сгорая, я стоял  
Над ворохом потертых одеял –  
Пересказать словами невозможно.

А там, глядишь, пройдет еще дней шесть –  
И у меня уже работа есть:  
Я мою пол в каком-то ресторане.  
Жизнь начинаю новую мою...

За первый мой американский год  
Переменял я множество работ...

На судовой верфи и рыбозаводе работал Н. Моршен; убирала квартиры В. Синкевич; был разнорабочим князь Н. Кудашев. Это только три примера. Их можно множить и множить.

Со временем русское умение преодолевать трудности и находить выходы из, казалось бы, безвыходных ситуаций позволило новоявленным гражданам Запада обрести и профессию, и положение. Стали профессорами И. Елагин и Л. Ржевский, В. Марков и И. Буркин; достигли звания академиков живописи В. Шаталов и С. Голлербах; стала библиографом Филадельфийской библиотеки и издателем альманаха «Встречи» В. Синкевич. В крупнейшего признанного историка вырос Н. Ульянов; Б. Филиппов в содружестве с Г. Струве издал и прокомментировал собрания сочинений А. Ахматовой, М. Волошина, Н. Клюева, Б. Пастернака, О. Мандельштама и других замечательных русских писателей. Обрела свой домик и садик И. Сабурова. Получили широкую известность С. Максимов, Н. Нароков и В. Юрасов: их книги были переведены на многие европейские языки.

Выходивший в Америке с 1940 года «Новый журнал» начал публиковать и произведения писателей второй волны эмиграции. Существовало несколько крупных издательств русской книги, в том числе издательство имени Чехова, опубликовавшее в 1953 году антологию «На Западе» (составитель Ю. Иваск), куда вошли стихи О. Анстей, И. Елагиной, О. Ильинского, Д. Кленовского, В. Маркова, Н. Моршена, Б. Нарциссова, Б. Филиппова, И. Чиннова<sup>28</sup>. В 1966 году поэтесса Татьяна Фесенко составила и выпустила в американском издательстве Виктора Камкина, специализирующемся на издании русских книг, антологию «Содружество: Из современной поэзии русского зарубежья» (Вашингтон, 1966). Позднее объединяющим поэтов и художников второй волны стал продолжавшийся до 2007 года альманах «Встречи» (с 1977 по 1982 год – «Перекрестки»), редактируемый поэтом Валентиной Синкевич. С 90-х годов на страницах альманаха публиковались как поэты и художники второй и третьей русской эмиграции, так и писатели, живущие на родине. В 2006 году вышел юбилейный 30-й номер этого издания. Событием литературной жизни стала собранная все той же неутомимой В. Синкевич антология стихов поэтов второй эмиграции «Берега» (Филадельфия, 1992).

---

<sup>28</sup> В этом же издательстве вышли книги В. Алексеева, И. Елагиной, С. Максимова, Л. Ржевского, Н. Ульянова, Б. Ширяева, В. Юрасова.

Так постепенно образовалась литература ди-пи и второй эмиграции со своей проблематикой, своими особенностями.

Обычно говорится, что она уступает по объему и значимости литературе первой волны. Это так и не так.

Конечно, писатели послевоенной эмиграции не обладали столь блестящей эрудицией, как их предшественники. Конечно, их творческие поиски не были столь широки, как у художников первой волны русского рассеяния. Но они видели и знали то, что не видели и не знали послереволюционные эмигранты. Открываемый ими художественный мир дополнял и существенно корректировал картину, воссоздаваемую советскими писателями. (Это, как теперь стало ясно, была существенная часть единой русской литературы XX столетия). Наконец, они были талантливы. Среди них было немало творчески одаренных людей. Некоторые пробовали свои силы в литературе еще до войны.

С первой волной новых изгнанников объединяло политическое неприятие советской реальности, горечь изгнания и горечь ностальгии, а также связь с дореволюционной культурой (в 20–30-е годы, на которые пришлось их детство, остатки русской культуры не были полностью искоренены; к тому же большинство писателей происходили из образованных семей). Если беженцы первых послевоенных лет испытали ужасы революции и гражданской войны, то на долю эмигрантов второй волны выпал либо сталинский ГУЛАГ (Б. Ширяев, Н. Нароков, С. Максимов), либо ощущение «вины» за свое происхождение и страх за свое будущее (Д. Кленовский, И. Елагин, Н. Моршен, О. Анстей).

Как вспоминает З. Шаховская первыми, послереволюционными, эмигрантами «вторая волна была признана за свою»<sup>29</sup> Более того, многие из писателей первой волны оказывали помощь младшим коллегам. Постоянный интерес к литературной молодежи проявляли Б. Зайцев, Тэффи, Г. Газданов, Г. Адамович, Г. Иванов. На Западе опубликована переписка Г.В. Иванова с В.Ф. Марковым<sup>30</sup>, из которой видно не только то, как под воздействием Иванова мужал талант его корреспондента, но и пристальное внимание мэтра к «племени

<sup>29</sup> Одна или две русских литературы? – L'Age d'Homme, 1981. – С. 58.

<sup>30</sup> *Odojevceva I., Ivanov G. Briefe an Vladimir Markov. 1955–1958. – Köln – Wien, 1994.*

# НОВЫЙ Журнал

№ 264

НЬЮ-ЙОРК

*Основанный в 1942 году, «Новый журнал» публиковал произведения и статьи многих писателей послевоенной эмиграции (И. Елагина, О. Анстей, Г. Глинки, Л. Ржевского Н. Моршена, В. Синкевич, С. Голлербаха, О. Ильинского и др.), рецензии на их книги. Сегодня журнал распространяется в 32 странах*

молодому, незнакомому» (Иванов пишет Маркову о Н. Нарокове, Н. Моршене, И. Елагине и многих других). Встречи с Буниным и письма классика явно оказали влияние на прозу Л. Ржевского. Много и доброжелательно писал о литераторах второй волны Р. Гуль. Именно он «благословил» в «Новом журнале» первые книги И. Елагина, Н. Нарокова и Л. Ржевского; заметил рассказ С. Юрасова «Враг народа», переросший затем в роман. Творчество Н. Моршена, Б. Нарциссова и В. Синкевич получило поддержку И. Одоевцевой. Впрочем, были среди старой эмиграции и те, кто пренебрежительно относился к новым эмигрантам, упрекая их в «советскости» и неадекватной культуре.

Процесс возвращения на родину произведения писателей дипейцев только начался. В 1988 году «Новый мир» опубликовал подборку стихов Ивана Елагина, Николая Моршена и еще нескольких поэтов-эмигрантов второй волны. В начале 90-х пробился к отечественному читателю Николай Нароков (сначала в «Дружбе народов», затем дважды отдельными изданиями вышел его роман «Мнимые величины»; а в 1991 году тоже отдельной книгой был издан роман «Могу!»). В том же 1991 году вышло отечественное издание «Неугасимой лампы» Б. Ширияева<sup>31</sup>. Усилиями поэта и издателя Е.В. Витковского издан двухтомник одного из лучших поэтов зарубежья Ивана Елагина<sup>32</sup> и однотомник романтической сказочницы Ирины Сабуровой<sup>33</sup>. При содействии спонсоров удалось выпустить томик стихов трех поэтесс (Л. Алексеевой, О. Анстей и В. Синкевич)<sup>34</sup>, и далеко не полное избранное прозаика, критика и одного из редакторов журнала «Грани» Леонида Ржевского<sup>35</sup>. Стараниями знатока и любителя поэзии директора издательства «Советский спорт» А.А. Алексеева напечатано самое полное собрание стихов и переводов Николая Моршена<sup>36</sup> и книга воспоминаний Валентины Синкевич<sup>37</sup>, куда

<sup>31</sup> *Ширияев Б.Н.* Неугасимая лампада. – М.: Т-во рус. худож., 1991. (Белая книга России; Вып. 6). В дальнейшем неоднократно переиздавалась.

<sup>32</sup> *Елагин И.* Собрание сочинений: В 2 т. – М.: Согласие, 1998.

<sup>33</sup> *Сабурова И.* Королевство Алых Башен. – М.: Гудьял-Пресс, 2000.

<sup>34</sup> *Алексеева Л., Анстей О., Синкевич В.* Поэтессы русского зарубежья. – М.: Сов. спорт, 1998.

<sup>35</sup> *Ржевский Л.* Между двух звезд: Роман. Повести. Рассказы. – М.: ТЕРРА-СПОРТ, 2000.

<sup>36</sup> *Моршен Н.* Пуща неволи. – М.: Сов. спорт, 2000.

вошли очерки о совершенно неизвестных в России Вячеславе Завалишине, Татьяне Фесенко, Борисе Филиппове. Вышло несколько изданий стихов Д. Кленовского<sup>38</sup>. Московское протестантское издательство выпустило 2 книги Р. Берёзова<sup>39</sup>. В Томске изданы стихи, проза и мемуары Глеба Глинки<sup>40</sup>.

Редкий случай, когда литературоведы опередили издателей: в «Филологических науках», реферативном журнале «Литературоведение» ИНИОН РАН появился ряд статей и исследований о литературе второй волны. Защищены первые диссертации о творчестве И. Елагина, Л. Ржевского, Н. Нарокова, Н. Моршена. Начало этому процессу положили очерки В. Бондаренко<sup>41</sup>, первым посетившего США по приглашению бывших ди-пийцев, и, смею думать, глава из моей книги «Литература Russкого зарубежья»<sup>42</sup>. В 2005 году Заведующая сектором библиографии РГБ М.Е. Бабичева<sup>43</sup> написала о прозе и драматургии послевоенной эмиграции, впервые введя в научный оборот имена Василия Алексеева, Геннадия Андреева, Григория Климова, Виктора Свена, Михаила Соловьёва, Николая Ульянова, произведения большинства из которых еще и сегодня неизвестны отечественному читателю.

\* \* \*

Тематика произведений послевоенной эмиграции многообразна. Вторая русская эмиграция возникла в результате войны, и война по определению не могла не отразиться в творчестве почти всех писателей этой волны русского рассеяния. За плечами одних был опыт плена, других – работы в Германии в качестве остарбайтеров, третьи восприняли войну как освобождение от сталинского произвола.

---

<sup>37</sup> «...с благодарностью: были». – М., 2002.

<sup>38</sup> Наиболее представительное: *Кленовский Д.* Полное собрание стихотворений. – М.: Водолей, 2011.

<sup>39</sup> *Берёзов Р.* Лебединая песня: [Репринт. изд.]. – М.: Протестант, 1991. До заката: [Стихи]. – М.: Протестант, 1993.

<sup>40</sup> *Глинка Г.* Погаснет жизнь, но я останусь: Собр. соч. – Томск, 2005.

<sup>41</sup> *Бондаренко В.* Архипелаг Ди-Пи // Слово, 1991. № 8.

<sup>42</sup> *Агеносов В.В.* Литература Russкого зарубежья. – М.: ТЕРРА-СПОРТ, 1998. – 542 с.

<sup>43</sup> *Бабичева М.Е.* Писатели второй волны русской эмиграции: Библиографические очерки. – М.: Пашков дом, 2005. – 448 с.

Война, кровь, смерть, разрушения присутствуют в поэзии Ивана Елагина, в том числе в его знаменитом стихотворении «Когда последний пехотинец пал». С огромным уважением говорит о русском солдате М. Соловьёв («Когда Боги молчат» и «Записки военного корреспондента»), что, впрочем, не мешает ему и другому прозаику В. Алексееву («Россия солдатская») дать весьма критические описания первых дней войны, перекликающееся с первой редакцией «Молодой гвардии» А. Фадеева и появившимся несколько позже романом К. Симонова «Живые и мертвые»: паника населения, неподготовленность войск, непродуманность поведения и даже мародерство властей. Вместе с тем, никакого злорадства, полное понимание и сочувствие трагедии народа, оказавшегося заложником ошибок советской системы и высшего руководства страны как в финской кампании (до сих пор замалчиваемой в отечественной истории), так и в начале войны с немецкими захватчиками.

Трагедия оставшихся на оккупированных территориях, в том числе Бабьего Яра, задолго до Е. Евтушенко воплощена в поэме О. Анстей «Кирилловские яры». Проблема соотношения войны и нравственности пронизывает рассказ С. Максимова «Темный лес», написанный задолго до первых повестей В. Быкова. Обострение на войне жестокого начала в человеке и тема ответственности за свои поступки составляет содержание рассказа Б. Филиппова «Духовая капелла Курта Перцеля» и других новелл этого писателя.

Анализ практически всех более или менее талантливых произведений литературы второй эмиграции позволяет сделать вывод, что никто из русских писателей, включая наиболее непримиримого к советской власти Б. Ширяева, не одобрял немецкой оккупации. Произведения поэтов и прозаиков военной эмиграции неизменно несут в себе идею русского национального патриотизма. Частным подтверждением тому служит такая мелкая, но характерная деталь: даже те персонажи военных произведений писателей-эмигрантов, которые служат у немцев или во власовской РОА, говорят о Красной Армии «наши».

Заслугой одного из лучших прозаиков послевоенной диаспоры Л. Ржевского стала предельная объективность изображения фашистских лагерей для военнопленных – той стороны войны, которая вошла в советскую литературу много позже рассказом М. Шолохова «Судьба человека», повестями К. Воробьёва («Это мы, Господи»)

и В. Сёмина («Нагрудный знак “Ост”»). Из главы в главу романа «Между двух звезд» переходят сообщения о голоде, холоде, эпидемиях тифа, о тысячах умерших, о бесчинствах и издевательствах эсэсовцев над советскими людьми. Вместе с тем писатель показывает и тех русских людей, которые по советским законам того времени считались бы коллаборационистами за сотрудничество с немецкими властями. Военнопленный Кожевников согласился стать русским комендантом лагеря, понимая, что иначе фашисты назначат на эту должность мерзавца-уголовника; доктора Камский и Моталин соглашаются пойти работать в немецкий госпиталь, благодаря чему им удастся облегчить, а то и сохранить жизнь сотням пленных.

Столь же неоднозначно показаны в романе и немцы. «Немцы – они разные», – утверждает простая русская женщина Анна Ильична. И автор с этим вполне согласен.

Заметим, кстати, что в 1966 году в повести В. Быкова «Мертвым не больно» появится подобное же утверждение центрального персонажа повести: *«Мое представление о немцах поколеблено. Я уже склонен думать, что среди них бывают разные. И так себе. И ничего. Впрочем, как у нас. И, пожалуй, как всюду. Люди есть люди. И в общей своей массе – не плохие и не хорошие – разные»*. Характерно, что, как следует из публикации «Вопросов литературы» (2004, № 6), даже в 60-е годы это вызвало возмущение Отделов культуры и пропаганды ЦК КПСС.

Большинство прозаических произведений писателей послевоенной эмиграции пронизывает коллизия «между двух звезд». Герои многих книг ищут и – увьи! – не находят выход из ситуации, когда служить оккупантам позорно, но и принять сталинскую действительность с ее лагерями, голодомором, унижением человека невозможно. Обозначив эту проблему, Л. Ржевский уводит своих персонажей от ее решения в личную жизнь. Подобно тому, как в «Сестрах» А. Толстого, Телегин говорит, что «все минет, а любовь останется», подобно тому, как герои Бунина на время, но все же преодолевают экзистенциальную трагедию смерти любовью, герои Л. Ржевского обретают высший смысл существования в любви. Оставляет в преддверии героической, но бессмысленной гибели своих героев, запутавшихся в неразрешимых поисках третьего пути, Б. Ширяев (цикл «Птань»).

Судьба советских граждан, оказавшихся на освобожденных союзниками территориях, их треволения составили значительную

часть содержания романов Л. Ржевского («Между двух звезд») и В. Юрасова («Параллакс»). Эта тема пронизывает как глубоко трагическую «Беженскую поэму» И. Елагина, так и трагикомические рассказы Л. Алексеевой («Натка») и Р. Берёзова («На скрининге»).

Художественному обоснованию причин нежелания возвращаться в Союз посвящены эпические автобиографические повествования В. Алексеева («Невидимая Россия») и М. Соловьёва («Когда Боги спят»). Полудетективный роман С. Максимова «Денис Бушуев» рисует жизнь деревни, трагическую судьбу крестьянина-коммуниста Алима Ахтырова, искренне поверившего в коллективизацию, затем разочаровавшегося в ней и покончившего жизнь самоубийством. Судьбы интеллигенции, живущей в страхе, – тема повестей и рассказов Л. Ржевского.

Целый ряд произведений посвящен сталинским репрессиям: это рассказы С. Максимова, Б. Филиппова, Б. Ширяева и стихи Р. Берёзова и Г. Глинки, на себе испытавших все ужасы ГУЛАГа; поэзия И. Елагина и Н. Моршена, чьи отцы были репрессированы. Нетрудно найти переклички проблематики и художественной манеры названных художников с произведениями А. Солженицына и В. Шаламова. Думается, что ближе писатели эмигранты были всё-таки к автору «Одного дня Ивана Денисовича»: в их беспощадно суровых рассказах об ужасах застенков и лагерей неизменно видится не только сочувствие к каторжанам, но уверенность, что настоящий человек даже в невероятных условиях несвободы может сохранить в себе благородство и высокие нравственные качества.

В некоторых произведениях антитоталитарной тематики главными персонажами выступают чекисты, проходящие путь от слепой веры в насилие к разочарованию в идеях неуважения к людям и / или к прозрению, или к гибели. Предтечей романов Н. Нарокова «Мнимые величины»(1952) и В. Свена «Моль» (1968) можно уверенно назвать «Жизнь и гибель Николая Курбова»(1923) И. Эренбурга; а рассказ Н. Ульянова «Первого призыва»(1966) типологически предваряет повесть В. Катаева «Еще не написан Вертер» (1980).

Особый интерес вызывает редкий для послевоенной эмиграции жанр исторического повествования, представленный романом «Атосса» выдающегося историка Николая Ульянова. За увлекательным рассказом о нашествии царя Дария на славян кроется мысль, что, даже дойдя до Урала, тиран оказался не победителем, а жалким ничтожеством, с позором бегущим к своим кораблям. Размышлениям

писателя о причинах падения царской России посвящен роман Ульянова «Сириус».

Драматические подробности эмигрантского быта, экзистенциальные проблемы бытия почти никогда не делают их произведения беспросветными, как у многих художников Запада. Романтические краски высветляют грустные сказки И. Сабуровой. Рассказы о детях Л. Алексеевой и В. Свена продолжают юмористические традиции А. Аверченко и Тэффи.

Развивалась в литературе второй эмиграции и сатира, хотя в значительно меньшей степени. Подобно Тэффи, ди-пийцы «смехом заглашали свои стенанья». Наиболее широко юмористические произведения были представлены на страницах уже упоминавшегося межлагерного журнала «Посев». На первых порах в лагерных газетно-журнальных изданиях преобладал жанр *афоризма* в стиле Козьмы Пруткова, широко известного большинству новых эмигрантов.

В 1947 году в Шонбахе вышел сатирический сборник «Бессмертие», автор которого скрылся под псевдонимом Гр. Ал. де Ивановский<sup>44</sup>. Все 14 рассказов книги датированы 1933–1947 годами и в основном посвящены жизни в СССР.

Годом раньше крайне малым тиражом вышла «Дипилогическая азбука» И. Сабуровой – наиболее значительное сатирическое произведение второй эмиграции, полное горечи и юмора<sup>45</sup>.

По мере того, как вчерашние ди-пийцы обретали новую родину, сатирики и юмористы всё больше обращались к воспоминаниям о своей вчерашней жизни в СССР или к событиям, происходящим в СССР сегодня.

Наряду с жанром афоризмов появлялись рассказы, стихотворные фельетоны, надписи под карикатурами, пародии. Синтез всех названных жанров присутствовал в журнале «Сатирикон»<sup>46</sup>, издававшемся в 1952–1953 гг. в Германии.

---

<sup>44</sup> *Gr. Al. de-Iwanovsky*. Бессмертие (юмор, сатира. чистое искусство). – Шонбах: Содружество писателей «Свет», 1947. 99 с. Книга принадлежала В.В. Колосовичу и в данное время находится в моей личной коллекции.

<sup>45</sup> *Сабурова Ирина*. Дипилогическая азбука. – Мюнхен, 1946. Единственный известный автору экземпляр книги имеется в коллекции Е.В. Витковского. Позднее «Азбука» вошла в книгу И. Сабуровой «О нас» (Мюнхен, 1972).

<sup>46</sup> Выходил с мая 1952 по 1953. Всего 25 номеров для эмигрантского читателя. В 26-м – 4 тонких листа – сказано, что журнал в дальнейшем будет предна-

Из авторов журнала заслуживают упоминания Николай Олин (Меньчуков), Юрий Большухин, Илья Ирклев.

Сборник сатирических рассказов издал Леонид Богданов<sup>47</sup>.

Лучшие произведения юмористов и сатириков собраны в Антологии Б. Филиппова и В. Медиша<sup>48</sup>, что избавляет нас как от необходимости подробно характеризовать это явление, так и включать тех или иных авторов в нашу и без того большую Антологию.

\* \* \*

По единодушному мнению критики, наибольший вклад в развитие русской литературы второй волны русской эмиграции принадлежит поэтам. Характерно, что именно поэзия представлена в вышедших на Западе и в России антологиях, наиболее значительные из которых составлены Т. Фесенко<sup>49</sup>, В. Синкевич и В. Шаталовым<sup>50</sup>, В. Крейдом<sup>51</sup> (США) и Е. Витковским<sup>52</sup> (Россия). Биографические сведения о поэтах второй волны и краткие характеристики их творческой индивидуальности содержит второй раздел «Словаря поэтов русского зарубежья», написанный В.А. Синкевич<sup>53</sup>.

Типологический анализ первых авторских поэтических сборников показывает, что почти все поэты второй волны начинали с полити-

значен для читателей «за железным занавесом». В № 1 указаны чл. редколлегии: Ф. Тарасов, А. Михайлов, С. Юрасов. С № 2 названы они же (Ф.Тарасов – гл. редактор) и дополнительно Н. Градобоев, И. Ирклев, Н. Ирколин, Г. Климов. Журнал имел широкое распространение в США, Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Канаде, Чили, Франции, Австрии, Иране, Марокко, Норвегии, Австрии, т. е. практически во всех странах, где существовала русская диаспора.

<sup>47</sup> Богданов Леонид. Без социалистического реализма: сб. юмористических рассказов. – Мюнхен: изд. ЦОПЭ, 1961. – С. 12–17.

<sup>48</sup> Юмор и сатира послереволюционной России: Антология: В 2 т. / Сост. Борис Филиппов при участии Вадима Медиша. Т. 1. – Лондон, 1983.

<sup>49</sup> Содружество: Из современной поэзии Русского Зарубежья. – Вашингтон, 1966. – 562 с.

<sup>50</sup> Берега: Стихи поэтов второй эмиграции. – Филадельфия, 1992. – 290 с.

<sup>51</sup> «Вернуться в Россию стихами»: 200 поэтов эмиграции. – М., 1995. – 688 с.

<sup>52</sup> «Мы жили тогда на планете другой...»: Антология поэзии русского зарубежья: 1920–1990. Кн. 4. – М., 1997. – 383 с.

<sup>53</sup> Словарь поэтов русского зарубежья / Под общей ред. В. Крейда. – СПб., 1999. С. 282–346. Из 400 имен поэтов, удостоившихся словарной статьи в этом издании, 40 – авторы второй волны.

ческих, часто даже сатирических стихов. Иван Елагин в стихотворении «Амнистия» проклинает убийц своего отца, ему же принадлежат «Политические фельетоны в стихах. 1952–1959» (Мюнхен, 1959). Николай Моршен в стихотворениях «Тюлень» и «Вечером 7 ноября» своего первого сборника противопоставляет человека тоталитарному обществу. В. Юрасов пишет вариацию на тему поэмы А. Твардовского «Василий Теркин», герой которой рассказывает о советских концлагерях, о нищенской пред- и послевоенной жизни деревни, высмеивает партийных руководителей. В эмиграции поэтам надо было прежде всего освободиться от давящей атмосферы прежней жизни и лишь затем перейти к более объективному и философски глубокому изображению реальности и своих переживаний.

С годами социальные темы почти у всех поэтов второй волны переходили в философские, а мировосприятие стремилось к обретению пушкинской гармонии.

Это видно даже из сопоставлений названий сборников. У Елагина: социально-биографическое «По дороге оттуда» (1947, 1953) сменяется философским «В зале Вселенной» (1982). У Моршена социологизированный «Тюлень» (1959) вытесняется космологическим «Эхом и зеркалом» (1979) и лирико-философским «Умолкшим жаворонком» (1996).

Со временем из среды второй волны эмиграции выделились настоящие мастера слова, которые вместе с ди-пийцами первой волны составили гордость литературы русского зарубежья. Среди них поэты Иван Елагин, Ольга Анстей, Иван Буркин, Глеб Глинка, Олег Ильинский, Дмитрий Кленовский, Николай Моршен, Владимир Марков, Валентина Синкевич и др. Близки к ним по своему мироощущению ставшие лицами без гражданства некоторые эмигранты 20-х годов (Юрий Иваск, Борис Нарциссов, Ирина Сабурова, Александр Перфильев, Александр Неймирок и др.).

Сквозной темой их творчества проходит тема России и малой родины (Петербурга-Ленинграда, Киева, Волги, Днепра). Это единство не мешает многообразию художественных поисков поэтов послевоенных лет. Классический акмеистский стих Д. Кленовского соседствует с авангардистскими стихами Н. Моршена и «заумью» И. Буркина. Короткие афористичные строки Г. Глинки не имеют ничего общего с краткими танками В. Анта. Экзистенциальные оттенки почти всех стихов И. Елагина соседствуют с лирическими раздумьями В. Синкевич. Публицистика А. Неймирока – не то же самое, что



Сб. юмористических рассказов Ал. де Ивановского о советской жизни. – Шонбах, 1947

гневные стихи Н. Кудашева. Оптимистические народно-поэтические строфы Р. Берёзова резко контрастируют с трагическими литературно-образными признаниями А. Перфильева.

Цель настоящей Антологии и заключается в том, чтобы не только познакомить читателя соотечественника с произведениями писателей Ди-Пи и второй эмиграции, но и показать эстетическое многообразие и богатство этого до сих пор малоизвестного пласта литературы русской диаспоры.

Антология построена по алфавитному принципу.

Каждый раздел, посвященный тому или иному автору, включает в себя краткую вступительную статью, завершающуюся списком книг писателя и его основных прижизненных публикаций. Советские довоенные издания и публикации (если они были) в библиографические списки не вошли.

Перечень книг построен по хронологическому принципу, чтобы читатель или будущий исследователь мог увидеть динамику заглавий и, возможно, даже изменение тематики и жанров произведений. Публикации даны строго по алфавиту.

Жирным шрифтом выделены издания, осуществленные на родине.

В подборе публикаций нами использован указатель Т.Л. Гладковой и Т.А. Осоргиной, библиография из книги М.Е. Бабичевой, сведения из каталога Отдела русского зарубежья РГБ и фондов Интернета. Неоценимую работу по поиску текстов и библиографической информации провел мой друг историк В.И. Кузьмичёв.

Далее следуют тексты. Я старался выбрать наиболее характерные произведения разных лет, чтобы можно было увидеть и своеобразие творческого метода писателя и, по возможности, его творческую эволюцию.

Объем книги не позволил включить в нее романы и повести прозаиков, пришлось ограничиться рассказами того же автора, дающими представление о его художественном своеобразии. В некоторых случаях я помещал в Антологию ключевые главы основного произведения писателя, предваряя их краткой аннотацией предшествующего содержания. Предпочтение отдавалось фрагментам, которые в свое время были выбраны для тех или иных публикаций самими авторами.

Отбирая поэтические произведения, я старался представить разные этапы и темы творчества писателя, выбрать наиболее характерные стихотворения.

Антология не вышла бы в свет без постоянных консультаций с живущими в США бывшими ди-пийцами – поэтессой-издателем В.А. Синкевич, поэтессой и прозаиком Е.А. Димер, историком Р.В. Полчаниновым, а также без помощи издателя и поэтессы Р.О. Резник.

На создание этой книги меня вдохновили и все время поддерживали моя жена проф. Ли Иннань, коллега и друг к.ф.н. А.А. Ревякина, мои бывшие студенты, давно ставшие друзьями и единомышленниками, А.А. Алексеев, Г.А. Бордюгов, В.Г. Иванов, Н.А. Ковалевская; директор издательства АИРО XXI А.Г. Макаров; коллеги из ИМПЭ им. А.С. Грибоедова и МПГУ, мои студенты 60-х годов. Существенную помощь оказали сотрудники Отдела русского зарубежья РГБ во главе с его руководителем энтузиастом своего дела Н.А. Рыжак, а также зав. сектором библиографии РГБ М.Е. Бабичева. Моя искренняя признательность всем им!

Для меня особенно ценно, что предисловие к «Антологии» написано поэтом, издателем и первооткрывателем поэзии послевоенной эмиграции Е.В. Витковским.

Подготовка книги осуществлялась на протяжении пяти лет моей работы в ИМПЭ им. А.С.Грибоедова. Заключительная часть книги написана в период моей работы в 2012–2013 годах в Renmin University of China (КНР), создавшем для этого самые благоприятные условия.

Особые слова благодарности научным изданиям, в разное время публиковавшим мои исследования литературы послевоенной эмиграции: «Запискам Русской Академической Группы» в США<sup>54</sup> (во главе с покойной ныне Н.А. Жернаковой); редколлегии РЖ «Литературоведение» ИНИОН РАН<sup>55</sup>; редакции журнала «Филологические

---

<sup>54</sup> «Я их изведал, радости земли» (к 20-летию кончины Дм. Кленовского) // Записки Русской Академической группы в США. – N.Y., 1996–1997. Т. XXVIII. С. 489–492. К проблеме изучения литературы второй волны русской эмиграции // Записки Русской Академической Группы в США. – N.Y., 2003. Т. XXXII. С. 239–272. Итоги и задачи изучения литературы Ди-Пи и послевоенной эмиграции // Записки Русской Академической Группы в США. Т. XXXIV. – Н.-Й., 2006–2007. – С. 51–60.

<sup>55</sup> Литература Ди-Пи: К формированию второй волны русской эмиграции // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 7, Литературоведение: РЖ / РАН. ИНИОН. – М., 2001. № 1. С. 143–154. Николай Моршен // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная литература. Серия 7, Литературоведение: РЖ / РАН. ИНИОН. – М., 1995. № 3. С. 72–76. Литература Ди-Пи: Истоки формирования второй волны эмиграции // Наука

науки» (отв. редактор к.ф.н. Г.Г. Виноград)<sup>56</sup> и сахалинскому «Филологическому журналу»<sup>57</sup>. Полученные мной результаты легли в основу настоящего введения и статей-персоналий.

Мне крайне важно, что культурная и научная общественность России поддержала мою мысль о необходимости исследования литературы послевоенной эмиграции: «Литературная газета» (главный редактор Ю.М. Поляков) опубликовала мою статью «Прокляты и забыты»<sup>58</sup>, российский исторический журнал «Родина» поместил публикации о Н. Моршене и Владимире Шаталове<sup>59</sup>. Цикл статей о писателях второй волны публикует по предложению Президиума РАЕН и лично вице-президента Академии Л.В. Иваницкой «Вестник РАЕН»<sup>60</sup>.

Концепция Антологии и отдельные ее разделы прошли апробацию на международных научных конференциях в Пушкинском Доме (ИРЛИ РАН), МПГУ, на Президиуме РАЕН, в Иерусалимском, Шанхайском, Шандунском, Амурском, Пекинском иностранных языков университетах; на ученом совете ИМПЭ им. А.С. Грибоедова.

Я отчетливо понимаю, что собранные мной сведения далеко не полны, что возможны пробелы в списках публикаций. Но всё же надеюсь, что собранный мной материал будет небесполезен для будущих исследователей. Буду счастлив, если они углубят и расширят проделанную мной работу; если издатели заинтересуются все еще малоизвестным материком русской культуры и дадут возможность отечественному читателю самому убедиться, насколько ценно творчество помещенных в Антологию авторов. История послевоенной литературы русского зарубежья – последняя тайна российского литературоведения и, смею надеяться, что совместными усилиями эта тайна будет раскрыта.

---

о литературе в XX веке (История, методология, литературный процесс): Сб. ст. / РАН. ИНИОН; Отв. ред. и сост. А.А. Ревякина. – М., 2001.

<sup>56</sup> Проза второй волны русской эмиграции // Филол. науки. –1998. № 4. С. 13–23.

<sup>57</sup> «Между двух звезд» (Литература второй волны русской эмиграции) // Филологический журнал / Сост. Г.Д. Ушакова. – Южно-Сахалинск, 1998. Вып. VI. С. 4–18. Война в творчестве русских писателей второй эмиграции (роман Леонида Ржевского «Между двух звезд») // Филологический журнал. – Южно-Сахалинск, 2001. Вып. X. С. 135–136.

<sup>58</sup> «Три года, четыре смены власти...». Н. Моршен // Родина – М., 2007. № 10. Портрет Владимира Шаталова // Родина – М., 2010. № 3.

<sup>59</sup> Прокляты и забыты // Лит. газета, 2005. 26.10–11. № 44. С. 7.

<sup>60</sup> Вестник РАЕН, 2013 № 1; 2014 № 1.

---

# ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

- Вест. Ин.* Вестник Института по изучению [истории и культуры] СССР. 1951–1960 (н. 1–35) [?]. – Мюнхен.
- Возд. пути* Воздушные пути. Альманах. Редактор Р.Н. Гринберг. 1960–1967 (н. 1–5). – Н.-Й.
- Возр.* Возрождение. Литературно-политические тетради. Ред. И.И. Тхоржевский. 1949–1974 (н. 1–243). – Париж.
- Время и мы* Время и мы. Журнал литературы и общественных проблем. Ноябрь 1975–1980 (№.1- 58). – Тель-Авив.
- Встречи* Встречи. Альманах-ежегодник. 1983–2006. Ред. В. Синкевич. С 1977 по 1982 выходил под названием «Перекрестки». – Филадельфия.
- Голос зар.* Голос зарубежья Ред. А. Курченко, И. Мусман, В. Пирожкова. Май 1976–1980 (№. 1–19). – Мюнхен, *потом* Мюнхен – Сан-Франциско.
- Грани* Грани. Журнал литературы, искусства [науки] и общественной мысли. Изд. Российских солидаристов. 1946–1980 (н. 1–118). – Munchen, *потом* Hof bei Kassel, *потом* Limburg/Lahn.
- Евр. в культуре* Евреи в культуре русского зарубежья. 1992–1996 (н. 1–5) С 1998 по н/вр. Русское еврейство в зарубежье. (н.1–12) Статьи, публикации, мемуары и эссе. Сост. и изд. М. Пархомовский. – Иерусалим.
- Ковчег* Ковчег. Литературный журнал. Ред. А. Крон, Н. Боков. 1978–1980 (н. 1–5). – Париж.
- Конт.* Континент. Литературный, общественно-политический и религиозный журнал. 1974-н/вр. Ред. В. Максимов. И. Виноградов – (н. 1–152 в 2012). Берлин, *потом* Мюнхен, *сегодня* Москва.
- Лит. совр.* Литературный современник. Журнал литературы и критики [потом Альманах. Проза, стихи, критика]. 1951–1952 (н. 1–4). 1954. – Мюнхен.

- Мосты* Мосты. Литературно-художественный и общественно-политический альманах. Изд. Ц[ентрального] О[бъединения] П[олитических] Э[мигрантов] из СССР. Ред. Ю.А. Письменный. 1958–1970 (н. 1–15). – Мюнхен.
- НЖ* Новый журнал. Литературно-политическое издание. Основатели М. Алданов и М. Цетлин. Ред. Р. Гуль. Сегодня – М. Адамович 1942 – н/вр. (н. 1–268 к 2012). – Н.-Й.
- НМИ* Новый мир искусства. Журнал о современном и классическом искусстве. 1998–2009. (н. 1–68). Ред. В.И. Бибинова, зам. Сергей Голлербах и Александр Котломанов. – СПб.
- Опыты* Опыты. Журнал. 1953–1958 (н. 1–9). – Н.-Й.
- Рубеж* Рубеж. Тихоокеанский альманах. 1992 – н/вр. (н. 1–12 к 2012). Ред. А.В. Колесов. – Владивосток.
- РМ* Русский мирь. Пространство и время русской культуры. 2008 – н/вр. (н. 1–6). Ред. Д.А. Ивашиных. – СПб.
- Совр.* Современник. Журнал русской культуры и национальной мысли. Март 1960–1980 (н. 1–47/48). – Торонто
- Струги* Струги. Литературный альманах. 1923 (№. 1). – Берлин.
- Третья в.* Третья волна. Литературный общественный политический и философский журнал. Ред. Александр Глезер. 1976–1980 (н. 1–10). – Montgeron (France).

# АЛЕКСЕЕВ

## Василий Иванович

*(1906–2002) – прозаик, историк, публицист.*

Родился во Владимире. В 1930 г. окончил исторический факультет Московского университета. В том же году был арестован по обвинению в создании религиозно-философских кружков. Освободился в 1934 г. и работал в научных учреждениях в качестве научного сотрудника и редактора по договору. В 1941 г. был мобилизован в Красную армию и в 1942 г. оказался в немецком плену.

После войны избежал репатриации. В 1951 г. эмигрировал в США. С 1955 по 1975 гг. преподавал русский язык и литературу в университете штата Миннесота, где одновременно с преподаванием написал и защитил в 1967 году докторскую диссертацию о положении Русской Православной Церкви на оккупированной немецкой армией территории во время Второй мировой войны (русский перевод этой книги был опубликован в журнале «Русское Возрождение» 1980, № 11 и 12; 1981, № 13–16; 1982, № 17–18). Читал лекции в Институте советоведения в Миддлбери (шт. Вермонт). Многие годы состоял в редакционной коллегии православного журнала «Русское Возрождение». Член Конгресса русских американцев со дня его основания в 1973.

Алексееву принадлежит 2 романа: «Невидимая Россия» (1952) и «Россия солдатская» (1954), объединенных одними героями: Павлом Истоминым, Николаем Осиповым и Григорием Сапожниковым. В первом романе рассказывается о жизни молодого поколения середины 20-х годов, не принимающего советскую действительность. Вторая книга начинается с Пролога, где теща Павла Истомина рассказывает ему о легендах, ходящих по Москве и предсказывающих скорое начало войны. На следующее утро диктор сообщает о нападении немцев на Советский Союз.

«Россия солдатская» рисует первые дни войны и отношение к ней разных слоев населения: одни впадают в панику, другие с нетерпением ждут падения советской власти, в третьих пробуждается чувство

национального патриотизма, и немцы для них исконные враги России. В повести показана неподготовленность России к войне, растерянность коммунистического руководства, несовместимость призывов к уничтожению всего и вся, куда могут прийти фашисты, с жизнью простых людей, остающихся на оккупированных территориях без продовольствия и даже крова.

Автор, рассказывая в основном о судьбе призванного в армию Григория Сапожникова, показывает его глазами трагедию войны. В повести возникает эпическая картина народного бедствия.

В дальнейшем Алексеев регулярно публиковал свои статьи в журналах «Возрождение» (Париж), «Новый Журнал» (Нью-Йорк), «Русское Возрождение» (Нью-Йорк), «Irenikon» (Chevetogne, Бельгия), в «Записках Русской академической группы в США» (Нью-Йорк), в газете «Новое русское слово» (Нью-Йорк) и др.

Скончался в г. Миннеаполис (шт. Миннесота).

Архив В.И. Алексеева хранится в Свято-Троицкой православной семинарии в г. Джорданвилль (США).

## Сочинения

Невидимая Россия. – Н.-Й., 1952.

Россия солдатская. – Н.-Й., 1954.

Русские православные епископы в Советском Союзе, 1941–1953. – Н.-Й., 1954.

Иностранная политика Московской Патриархии, 1939–1953. – Н.-Й., 1955.

The Two Russian Revolutions of 1917. – Minneapolis, 1962.

The Russian Orthodox Church under German Occupation. Ph.D. Thesis. – Minneapolis, 1967.

The Great Revival: The Russian Church under German Occupation (Together with Theophanus Stavrou). – Minneapolis, 1976.

Роль Церкви в создании русского государства (Период от нашествия татар до Ивана III). – Nyack: Комитет Тысячелетия Крещения Руси Конгресса русских американцев, 1990.

## Публикации

Возвращение – *Возр.* 1951. № 13.

Московские проповедники // *НЖ.* 1975. № 121.

Московские протодиаконы // *НЖ.* 1974. № 117.; 1975. № 118.

Недавно бежавшие // *Возр.* 1950. № 7.

Письмо в редакцию Вестника Института по изучению СССР // *Вест. Ин.* 1957. № 23.

Рассказ недавно бежавшего // *Возр.* 1949. № 5.

## «РОССИЯ СОЛДАТСКАЯ»

### Глава восьмая ПОД КАЛУГОЙ

Из избышки вышел крепкий, ладно скроенный паренек в черной ватной телогрейке, черных ватных штанах и серых валенках. Холодный ветер трепал негустые русые волосы на круглой голове. Паренек больше всего напоминал Григорию концлагерного десятника из раскулаченных. Посмотрев на пополнение спокойными серыми глазами, паренек спросил:

– Стрелять из винтовки умеете?

– Нет, – ответил Григорий, – знаем теоретически миномет.

Паренек иронически усмехнулся:

– Минометов у меня для вас нет, а ночью вам придется идти в бой с винтовкой.

– В бой... – сердце у Григория екнуло. Паренек сказал это так просто, как десятник сказал бы вновь прибывшим рабочим: – Ну что же, ребята, сегодня день отдохнете, а завтра на работу.

– Утром ели? – спросил паренек, так же тихо и ласково, как говорил, видимо, всегда.

– Ели, – ответили красноармейцы.

– Тогда занесите вещи в избу и пойдемте. Снег в овраге был чистый, глубокий, нетронутый. Почерневшее жестяное ведро четко выделялось на голубоватом фоне, Паренек-комвзвод растоптал вокруг себя хрупкий, хрустящий снег и лег на живот, сильно раскинув ноги.

– Целиться надо так, – он вскинул винтовку и прицелился, – спускать курок будете, не рвите, а спускайте мягко, постепенно. Теперь ложитесь и стреляйте по очереди.

Все прибывшие стали ложиться и выпускать по обойме. Никто не попал в ведро, Паренек покачал головой;

– Пополнение! Потому нашего брата так и бьют. Я неделю тут воюю: за неделю трех комвзводов убили. Последнего вчера ночью...

а теперь вот самого назначили. – Комзвод посмотрел на своих солдат пустым взглядом, взял винтовку и пошел к деревне.

На обед получили много пшена и мяса. Ни хлеба, ни соли не было. Готовила хозяйка: быстрая, решительная женщина лет сорока.

– Соли дала своей, – ворчала она у печки. – Командиры ваши жрут небось не так, а солдат без хлеба и соли...

– Не ругайся, мамаша, – возразил комзвод, – я вот командир, а есть буду вместе с солдатами.

– Знаю какой ты командир! – набросилась на него хозяйка, – вчера еще солдатом был. В бой некого посылать, вот ты и командир... Вон у Марьи капитан и комиссар живут, те с солдатами есть не станут. Знаем мы их!

Наевшись досыта каши с мясом, Григорий неудержимо захотел спать. В комнате за кухней на полу была постлана солома и Григорий сладко вытянулся. – Как тепло и как сытно... Григорий забыл о войне и заснул без снов, как ребенок.

Вдоль деревни растянулось странное шествие, похожее на шествие духов: несколько сот человек в белых маскировочных халатах, в простынях и скатертях, накинутых на плечи, с капюшонами и полотенцами па головах. Шли тихо, молча, не торопясь. Только иногда доносилась приглушенная ругань командиров. Строя никто не соблюдал. Оружие было сборное: от русских трехлинеек до немецких автоматов. Чувствовалось, что ни командирам, ни бойцам не хотелось идти почти на верную смерть. Наступать казалось бессмысленным, отменить приказ никто не мог. У Григория не было ни оружия, ни маскировочного халата. Паренек-комзвод за полчаса до выступления разбудил его и сказал, что у него нет лишней винтовки для Григория и что Григорий пойдет в качестве помощника ротного санитаря. У плюгавого, маленького санитаря было два помощника: Григорий и здоровый, добродушный парень. Шли они сзади. Санитар на ходу объяснял задачу:

– Будем атаковать немцев. Укрылись они в деревне, вон за тем лесом, – санитар говорил нервной скороговоркой и указывал рукой на темнеющий вдаль бор. – Наше дело держаться за 11-ой ротой и выносить из огня раненых. Раненых других рот мы носить не обязаны и незачем это делать. – Санитар посмотрел на Григория и парня мышиными, бегающими глазами.

А немцы держатся упорно? – спросил Григорий.

– Три ночи уже в атаку ходили, посмотрел на него раздраженно санитар, – 60 % личного состава потеряли. Сегодня будем заходить с тыла.

Григорий опять посмотрел на бор. Он стоял на горе, отделенный от движущейся к нему части широкой долиной, состоящей из двух пологих скатов, спускающихся к невидимой подо льдом и снегом речке. Перед бором сплошной полог синевато-белого снега, над бором глубокое, брызжущее светом бесчисленных звезд, небо. Бор черной чертой разделял небо и землю и за ним был другой, неведомый мир, где большевизм был уничтожен, где впервые за 25 лет происходила встреча России и Запада.

Спустились вниз по узкой проселочной дороге и стали подниматься кверху. Чем ближе надвигался ровный строй сосен, тем более не по себе делалось Григорию. Около самого леса почему-то остановились. На дороге и около дороги темнели неправильные опалины минных разрывов – небольшие ямки в снегу и широкий размет черной пыли вокруг ямок.

Идем кучей, – подумал Григорий, – как бы не обстреляли!

Постояв минут пятнадцать, колонна двинулась вдоль леса. Потом она повернула и над головами сомкнулись отяжелевшие от снега ветви сосен и елей. От сильного мороза снег хрустел громко и сухо и Григорий опять испугался, что немцы услышат этот хруст и откроют огонь.

– Не курить и не разговаривать, – передали по рядам приказ с головы колонны.

«Значит, противник близко», – подумал Григорий.

Лес начал редеть и мельчать. За кустарником показалась опушка – большая поляна, освещенная слабым светом звезд. Колонна повернула, вытянулась, приостановилась и белые тени поползли к опушке. Санитар подозвал Григория и высокого пария совсем близко и, наклоняясь то к одному, то к другому зашептал синими дрожащими губами:

– Вытаскивать только своих раненых... тут сейчас такое начнется! Лучше всего: взял раненого, снес к саням и прячься в кусты до конца боя. – Скулы санитаря обострились, глаза фосфорически блестили. Нервное напряжение передавалось подчиненным.

Трус, – подумал Григорий, чувствуя, что и его начинает трясти животный страх.

– А где же сани? – спросил он, стараясь справиться со своими нервами.

– Пойдемте, я вам покажу, – обрадовался санитар и быстро пошел назад по той же дороге, по которой только что пришли.

Лошади были совсем недалеко, в том месте, где кончалось мелколесье и начинался крупный лес, Сани стояли в целине по обеим сторонам дороги. Покрытые инеем, лошади мотали головами, топтались и прядая ушами, напряженно прислушиваясь к тому, что делается на опушке. Бородатые старики в длинных шубах поверх тулупов суетились около саней. Волнение чувствовалось здесь больше, чем на самой передовой.

– Ну, ладно! Видели... пошли обратно, – сказал Григорий, замечая, что санитар не собирается уходить.

– Идите, я вас догоню, – страх сделал голос санитара неузнаваемо отвратительным.

Григорий повернулся и, чтобы не потерять контроля над своим отяжелевшим телом, быстро пошел к опушке. Сзади него захрустел снег – это был второй помощник санитара. Цепи уже залегли и их почти не было видно. Казалось, что Григорий и его товарищ идут одни по замороженному, как в страшной сказке, лесу навстречу притаившейся опасности.

– К какой роте мы прикомандированы? – спросил Григорий парня.

– Забыл, – ответил тот тихо.

Григорий не мог вспомнить, какой номер назвал санитар, когда они еще шли по дороге и не вышли в лес. Наплевать! – успокоил он сам себя. – Буду выносить тех, кого ранят, и все... Какие тут еще роты! Всего то наступает 300–400 человек, а они называют это полком!

– Давай договоримся, в случае чего, друг друга не бросать, – услышал Григорий над ухом упавший голос.

Широкое лицо парня было совсем близко; в глазах больше безнадежной тоски, чем страха.

– Ладно, – согласился Григорий, начиная чувствовать близость к своему случайному товарищу.

Дойдя до того места, откуда их увел санитар к подводам, Григорий осмотрелся. Впереди лежало несколько белых фигур, зарывшихся в снег. Григорий подошел ближе. Фигуры лежали неподвижно, вытянув ноги и положив голову на руки. Григорий прислушался и услышал ровный, тихий храп и посапывание.

– Спят черти, – прошептал парень, – давай и мы окопаемся.

Молча разрыли снег почти до твердой, покрытой льдом земли и легли в неглубокую яму.

Как они могут спать перед боем на 15-ти градусном морозе! – озноб пробежал по телу Григория. Он поправил шлем и уткнул нос в рукав шинели. – А хорошо бы действительно заснуть, забыть про предстоящий бой, про мороз, про войну.

Плечо парня упиралось в плечо Григория и с этой стороны было не так холодно. Заснув на морозе, можно вообще замерзнуть, Григорий вспомнил, что почти у всех солдат, прибывших вместе с ним, нет телогреек, что на первом же переходе, после выгрузки из эшелона, замерзло сто человек. А может быть заснуть и замерзнуть легче, чем идти в бессмысленное наступление, напрягаться, испытывать животный страх, а потом быть убитым или изуродованным? Изуродованным! – Григорий согласился бы, чтобы его сейчас, немедленно ранили и он очутился бы в теплой комнате в мягкой постели. А где сейчас теплые комнаты в России? Везде холод, террор... Где Катя, что с ней, что она сейчас делает? Может быть, она молится за меня. Господи, помоги пережить всё это!

Где-то сбоку раздался четкий хруст снега. Григорий поднял голову. Высокая фигура в белом саване, на шее автомат. Шаг широкий. Время от времени останавливается и дает лежащим в снегу какие-то приказания. Вот она подошла совсем близко, слышен голос тугой, грубый. Приказ и ругань кощунственная, отвратительная. Перед смертью они тоже вспоминают Бога, но как! – думает Григорий.

– Сигнал атаки: красная и зеленая ракеты, – долетает до Григория, – и чтобы сразу идти в наступление, а то я вас...

Кого он этим запугает или ободрит? В его собственном голосе предельное напряжение, почти отчаяние. Мерзавцы! Обокрали душу русского человека... а русские люди спят перед боем в снегу и ничего не отвечают. Едва ли они будут наступать; восстать они не могут, но объявить итальянскую забастовку под огнем противника пожалуй сумеют. А как вообще можно наступать! Пулеметчики пулеметной роты будут стрелять первый раз из пулемета, у минометчиков нет минометов, стрелки не умеют пользоваться винтовками...

Ноги стали мерзнуть. Григорий встал и, прячась за куст, стал топтаться на месте. Белые фигуры лежали неподвижно. Что-то хлопнуло и над мохнатыми от инея кустами взвилась вверх красная ракета, поднялась высоко в небо, рассыпая искры, остановилась

и затем медленно поплыла вниз. В то же мгновение снова что-то хлопнуло и пересекая трассу красной взлетела изумрудно-зеленая ракета и сейчас же, ломая хрустальную тишину синей ночи, защелкали, затрещали, захлопали ружейные и пулеметные выстрелы. Какие-то белые фигуры на самой опушке стали перебегать, низко пригибаясь к земле. С двух флангов, наперекрест друг другу, полились золотые капельки трассирующих пуль пулеметов. На белом пологе поля, за которым в неведомой дали скрывалась деревня, занятая неприятелем, красными зловещими бликами затрепетало пламя, и Григорий ясно увидел соломенную крышу сарая, в которую продолжала вонзаться расплавленная струя трассирующих пуль. Ближайшие к Григорию солдаты продолжали лежать, распластавшись в снегу, не подавая признаков жизни.

– Ложись скорее! – громко крикнул второй санитар, – ложись скорее, а то...

В общем треске и гуле стали выделяться хлопки разрывов ротно-го миномета. Немцы открыли ответный огонь. Григорий бросился на землю и в тот момент, когда его руки уперлись в ледяную корку, над головой что-то ухнуло и по шлему скользнул осколок.

– Не ранен? – спросил озабоченный голос соседа.

– Кажется, нет. Григорий снял варешку и ощупал плечи и ворот. В ворота шинели была совсем новая, только что появившаяся дырка. С этого мгновения воздух наполнился непрерывным свистом. Над головой всё время что-то пролетало, мины рвались почти непрерывно. Зарево увеличилось. Полежав, Григорий поднял голову и увидел, что трассирующих цепочек с флангов уже нет, а солдаты впереди лежат, как лежали, – Может быть, они уже замерзли, – подумал Григорий, – надо посмотреть.

Вставать было очень страшно и именно поэтому Григорий заставил себя это сделать, К удивлению его, близко ничто не разорвалось, и Григорий смог беспрепятственно перебежать несколько шагов вперед. По дороге попадались почерневшие ямки.

– Живы? Не ранены?

Григорий, став на колени, тряс сразу двух солдат за плечи.

– Нет... а тебе что надо? – не сразу поднялись два недовольных лица.

Григорий вернулся в свою яму и опять лег рядом с большим распластавшимся парнем.

– Есть впереди раненные? – спросил тот, не поднимая головы.

– Нет.

Григорий чувствовал некоторое удовлетворение от того, что не побоялся встать и выполнить свой долг, несмотря на огонь противника.

Хлопанье немецких мин усилилось, Впереди иногда раздавались хриплые крики команды, но в атаку поднимались только отдельные красноармейцы и, видя свое одиночество, сейчас же ложились. Сарай сгорел и пламя почти погасло, Небо над деревней, занятой немцами, стало светлеть. Советские пулеметы давно молчали и раздавались только отдельные ружейные выстрелы. Бой сам собой прекратился. Слева, там, куда ушла вечером голова колонны, затрещал снег. Григорий приподнялся. Белые тени двигались от опушки вглубь леса. Наступление кончилось.

Когда Григорий проходил мимо того места, где стояли сани для раненых, он увидел несколько трупов, лежавших на помятом снегу. Лица у всех были спокойные, окостеневшие от мороза. Григорий подошел посмотреть, нет ли среди них знакомых. Нет, это были чужие, по большей части молодежь, Некоторые казались детьми. Может быть даже не все из них погибли от немецкого оружия, – подумал Григорий. Те, у которых не было телогреек, могли просто замерзнуть, заснув, как спали лежавшие впереди Григория бойцы.

Когда колонна собралась снова под прикрытием большого леса, Григорий заметил, что она сильно поредела. Из разговоров солдат он понял, что некоторые взводы и роты все-таки наступали и даже продвинулись до околицы деревни, но назад вернулись только единицы. Совсем рассвело, и можно было разглядеть лица. Все осунулись, побледнели, на всех был отпечаток радости от сознания, что непосредственная опасность миновала. Из-за того, что на большинстве были маскировочные халаты, трудно было понять кто солдат, кто офицер. Какой-то совсем молодой автоматчик, похожий на студента-первокурсника, рассказывал собравшимся около него, таким же молодым солдатам, как его командир роты остался в лесу под кустом и приказал ему вести роту в наступление, несмотря на то, что он был первый раз в бою, как он выдвинулся вперед и перестреливался уже на поле в овраге, подходившем вплотную к деревне, с немецкими автоматчиками и не отступил бы, если бы не приказ. Звонкий голос звучал громко, молодой человек был очень возбужден и, видимо, ничего не боялся.

– Безобразие, – кончил он рассказ, – кадровые командиры прячутся, а нас, необстрелянных комсомольцев, посылают вперед.

– Комиссар идет, – сказал кто-то из группы слушателей.

– А что мне комиссар? – задорно ответил молодой человек, но все-таки замолчал.

Мимо прошел приземистый черный мужчина с автоматом, сзади шел его ординарец с большим термосом в руках. Комиссар прошел молча и неодобрительно покосился на собравшуюся группу. Григорий пошел следом за ним. Комиссар вдруг остановился и поглядел на Григория опухшими глазами.

– Почему без винтовки? – спросил он.

– Я санитар, – ответил Григорий.

– Санитар? – повторил комиссар недоверчиво и снова пристально посмотрел на Григория.

– Санитар, так помни: если раненый способен сам двигаться, то обязан вынести в тыл личное оружие. Без личного оружия раненых, не потерявших сознания, пункты первой помощи не принимают.

Комиссар повернулся и пошел по дороге, лавируя между кучек кутивших солдат. Григорий стал искать старшего санитаря, чтобы вторично не нарваться на замечание. Нашел он его не без труда уже тогда, когда колонна двигалась.

Санитар посмотрел мимо Григория и сказал:

– Двадцать процентов за одну ночь потеряли.

Лицо его очень обострилось, горбатый вороний нос мрачно торчал из заросших черной щетиной щек. Как явно он боится смерти, – подумал Григорий, – и как ее трудно избежать, даже прячась во время боя по кустам.

Когда Григорий снова входил в избу, в которой стояло его отделение, то чувство радости у него уже прошло. Было ясно: дадут отдохнуть до вечера, а ночью снова погонят в наступление. Он сразу лег на солому и заснул. Спать было свободно: из 15 человек, бывших в комнате вчера, осталось 8. В обед хозяйка разбудила его есть. Снова каша с мясом. Ел Григорий с удовольствием и радовался, что в избе тепло. В конце обеда он спросил у хозяйки, не видела ли она командира взвода, симпатичного паренька в черной телогрейке. Полное лицо хозяйки с черными кругами под глазами исказилось гримасой, и она отвернулась от Григория. Григорий понял. Хозяйка утерла глаза платком и с трудом выговорила:

– Силы моей больше нет: на убой гонют. Так вот каждый день новые и новые... только которого немного хоть в лицо запомнишь, глядь и убит...

Григорий, как в тумане, посмотрел вокруг себя. Да, и он видел, как впервые, бойцов своего батальона! Только утиный нос широколицего парня, с которым он пролежал эту ночь в снегу под немецким огнем, показался ему знакомым. Восемь человек ели молча, не смотря друг на друга. Вчера их было пятнадцать, завтра будет пять или три. Зачем знакомиться, зачем вызывать друг в друге чувство дружбы или симпатии? Жизнь уже нереальна – самое большее три-четыре дня вместе... как тени, они уйдут неизвестно куда, – думал Григорий.

В конце стола сидел солдатик, казавшийся совсем мальчиком. Из не в меру широкого ворота гимнастерки торчала тоненькая шея, худое личико было миловидно, как у девочки. Это был тот солдатик, которого тульская старуха пустила ночевать в переполненную уже избу, услышав через дверь тоненький детский голос.

Еще жив, – подумал Григорий. – Сколько такой протянет хотя бы из-за одного мороза!

Хозяйка подошла и подложила подростку каши.

– Спасибо, тетенька, – начал тот отказываться, я больше не хочу.

Хозяйка хотела что-то сказать, но отвернулась и всхлипнула.

– Тебя как зовут? – спросил Григорий.

– Андреем, – ответил тот и посмотрел на Григория, – и фамилия моя Андреев.

– Андрей Андреев, – почему-то повторил про себя Григорий, стараясь запомнить это простое имя.

Наевшись, Григорий опять почувствовал апатию и безразличие и пошел на солому. Спать было плохо. Около самого дома поставили тяжелую пушку и при каждом выстреле казалось, что дом сейчас развалится, окна вылетят, а голова расколется пополам. Несмотря на это, Григорий успевал спать в промежутках между двумя выстрелами и каждый раз снова просыпался от ужасного грохота. К вечеру в избу пришли какие-то люди. Сквозь полусон Григорий услышал голос хозяйки:

– Сейчас затоплю, новых кормить надо, «Пополнение», – подумал Григорий и заснул. Пушка замолчала; снаряды, видимо, кончились.

Вереница белых теней опять шла по дороге к лесу. Скрипел снег, мороз жѐг щеки и нос, и только из-за этого всё происходящее казалось не кошмаром, а реальностью.

Внутри Григория было тепло от выпитой водки. Когда полк выстроили на улице, то по взводам разнесли ящики с водкой. Старшина наливал каждому бесцветную жидкость в граненый стакан и каждый выходил из строя, пил, кричал и снова возвращался на свое место.

Опушка леса неуклонно приближалась, и с каждым шагом росло отчаяние Григория. Григорий шел и молился: – Господи, помоги, выведи, спаси... Где выход? Перейти к немцам нельзя – они отступают, они окружены. Невозможно перейти во время наступательного боя. Надеяться на ранение? Опять тыл, госпиталь, потом опять фронт или увечье, полная невозможность продолжать борьбу. Господи, дай сил, Господи, выведи...

Григорий с ужасом думал, что надо будет опять лежать в снегу, что опять будут свистеть пули. И зачем все это, зачем ему воевать против немцев? Их победа – единственный шанс избавления России. Воевать против них нельзя, быть зрителем и переживать весь этот ужас нет больше сил. – Господи, спаси, выведи... Отчаяние Григория не было таким острым, как тогда в лесу, в концлагере, когда он впервые понял, что нельзя жить без Бога. Теперь не было внутренне-го кризиса, была тупая усталость, не было сил терпеть дальше.

Лучше потерять руку или ногу и отдохнуть, – думал Григорий. – Как терпят те части, которые вообще живут неделями под открытым небом? Говорят, если завернуться в плащ-палатку и зарыться в снег, то можно хорошо заснуть. Но для этого нужен очень рыхлый снег, а там, в лесу, где мы наступали, снег уже вытопан, кроме того нет плащ-палатки.

На границе бора и мелколесья стоял легкий танк и в нескольких шагах сзади танкетка. Танк только что наехал на мину и порвал гусеницу. Командир танкетки, молодой высокий лейтенант, стоял у своей машины и спорил с комиссаром. Комиссар настаивал на том, что танкетка должна пройти вперед и поддерживать наступление пехоты.

– Чего же вы глядели? – почти кричал лейтенант, – Немцы у вас под носом минировали все подступы к деревне, а вы ушли в деревню и постов даже не оставили. Разминуйте опушку, тогда я двинусь вперед, а подрываться до начала боя не имеет никакого смысла.

Пока шел этот спор, полк, вернее, неопределенного состава часть, почему-то сохранившая название полка, начала разворачиваться. Вся операция слепо повторяла то, что делалось накануне, и это было всего тягостнее для Григория. Опять он должен был выносить раненых какого-то батальона, уже не роты, и опять он не понимал, где граница фронта, занимаемого этим батальоном, кто командир и что он должен делать, имея при себе только один индивидуальный паке-тик, которым самое большее можно было перевязать одного легко раненого.

Немцы пока не замечали или делали вид, что не замечают шума, поднятого разворачивающейся частью и танками. Видимо, у них не было артиллерии и мало патронов. Старший санитар пропал, как только кончилось занятие рубежа атаки. Григорий и рослый парень заняли одну из вырытых накануне ямок, сделанную в минометной воронке. Впереди них лежали прибывшие накануне солдаты, среди которых было много татар. Татары тихо переговаривались, не совсем правильно выговаривая русские слова.

Может быть, все и не так страшно? – подумал Григорий, – может быть, немцы разбиты нашей артиллерией и взять деревню будет совсем не трудно?

Наконец, все заняли позиции, залегли, и в лесу водворилась тишина. Только мороз был такой, что деревья трещали. Можно было удивляться, почему среди русских почти не было обмороженных, Григорий всё время ждал сигнальных ракет, а их всё не было. Так прошло часа полтора. Далеко влево блеснул желтый свет. Ракета! Григорий ее чуть не пропустил. Рядом загорелась такая же красная звезда. Ракеты выбросили где-то далеко. Может быть, готовится перекрестное наступление? – пронеслось в мозгу Григория.

Опять, как вчера, затрещали ружья и пулеметы. Оба танка открыли огонь. Треск крупнокалиберного пулемета танкетки, стоявшей сзади Григория, был так силен и резок, что барабанные перепонки заныли от боли. На этот раз командование видимо принимало все меры к тому, чтобы поднять цепи для атаки. Ругательства командиров едва не заглушали треск пулеметов. Немцы сразу стали отвечать с той же интенсивностью, как накануне. Татары по одному стали перебегать к опушке. Одного ранило в руку, Григорий подбежал к нему, чтобы помочь, но тот сам очень поспешно побежал в тыл. Дойдя до опушки, татары залегли и уже больше не поднимались. Вдоль леса

тянулось два ряда какой-то проволоки. Очевидно, там начиналось минное поле. Ругань замолкла. Танкетка сзади продолжала раздирать слух невыносимым треском. Все больше и больше было убитых и раненых, но ни к одному раненому Григорий не успевал подойти. Легко раненые убегали в тыл сами, тяжело раненых выносили товарищи, выходя таким образом из-под немецкого огня. Понемногу стало светать. Приказа об отступлении всё не было. Огонь замирал сам собой. Григорий со вторым санитаром лежали в снежной яме у самой опушки. Впереди, в такой же яме, лежали два татарина, а в двух шагах от них взводный или отделенный командир.

– Чего вы, ребята, не стреляете? – долетел до Григория встревоженный шопот командира, боявшегося, наверно, вышестоящего начальства. Ребята угрюмо молчали.

– Стрельните хоть по разу, черти! – настаивал командир.

Григорий приподнял голову. Один татарин взял лежавшую рядом с ним винтовку, высунул дуло из укрытия и выстрелил, не целясь. В этот момент откуда-то спереди раздался крик:

– Санитары, санитары...

– Это не наша рота, – проворчал лежавший рядом с Григорием санитар, не поднимая головы.

– Санитары, санитары, – продолжался безнадежный крик.

– Надо пойти, – сказал Григорий, приподнимаясь.

Крик доносился из кустов, острым мысом врезавшихся в поле, расстилавшееся перед опушкой.

– Это не наши. Это пулеметчики туда выдвинулись, – сказал второй санитар, тоже поднимаясь.

– Санитары, санитары, – крик был полон отчаяния и безнадежности.

– Надо идти, – сказал Григорий и быстро побежал к опушке.

Григорию казалось, что он некоторое время слышал за собой шаги своего товарища, но вскоре незаметно для себя он очутился один перед проволокой, окутывавшей опушку. Григорий остановился в нерешительности, оглянулся и увидел рядом с тем местом, где стоял, заросшее черной щетиной лицо комиссара. Комиссар лежал в цепи и, как другие, не решался преодолеть минное поле. Круглые совиные глаза на минуту остановились на Григории и отвернулись в сторону. Григорий спрятался за куст и выпрямился. Деревня была скрыта небольшим пригорком. Из-за него высовывалась одна крыша почти

полностью и несколько других крыш только коньками и трубами. Между опушкой и крышами было открытое поле шириной в 300–400 метров. Справа от Григория, там, где кустарник клином врезался в поле, вдоль него шел широко растоптанный след к самому дальнему кусту, метров на 70 в поле. Там стоял замолкший пулемет. Около пулемета копошилась черная фигура, склонившаяся над чем-то, что неподвижно лежало в взрыхленном снегу.

Свой же красноармеец, надо вынести, – подумал Григорий, – так самого ранят и останешься замерзать.

Григорий опять согнулся и побежал вдоль цепи стрелков к тому месту, где пулеметчики проложили дорогу через минированное поле. Быстрее, быстрее... Переводя дух за кустами, Григорий прыгал из следа в след, приближаясь к пулемету. Вот он, повернутый куда-то в сторону, зарытый дулом в снег. К Григорию поднялось широкое монгольское лицо единственного оставшегося в живых пулеметчика. Он ничего не сказал Григорию, но в карих бархатных глазах засветилась благодарность. Раненый лежал без сознания, да был ли это раненый, может быть убитый? За треском возобновившейся перестрелки слушать дыхание было невозможно. Черные ватные шаровары продырявлены у бедра, с другой стороны тоже дыра и кровь. – Прострелен навывлет в таз, едва ли выживет, если еще не умер. Как его нести? – подумал Григорий, Он снял с себя пояс, быстро обвязал раненого подмышками и сказал оставшемуся в живых татарину:

– Потащим его волоком. Встать всё равно нельзя. Мы положим его на ящик из-под лент и поползем с двух сторон.

Пулеметчик молча послушался Григория и помог повернуть тело ногами к противнику. На бледном лице раненого застыло недоумение. Оно было такое же круглое и монгольское, как у его оставшегося в живых товарища. Может быть, братья? Потому он так и кричал, – подумал Григорий.

Желтокрасный диск солнца поднялся из морозной мглы над древней, занятой немцами. Они сейчас откроют еще более сильный огонь, – подумал Григорий, – нашим солнце бьет прямо в глаза.

Тащить раненого и ползти самому было очень трудно – сказывалось переутомление и упадок сил. Григорию и татарину приходилось заползать вперед и одновременным рывком подтягивать неподвижное тело к себе. Вдруг где-то совсем близко засвистали пули – зз... зз... зз... одна, другая, третья... очень близко около головы.

Попали под огонь автоматчиков! Григорий распластался на земле, стараясь вдавить тело как можно глубже в снег. Живой татарин лежал рядом, тоже не двигаясь. Свист прекратился.

– Поползли дальше, – прошептал Григорий. – Раз, два. Дружно! – тихо скомандовал он.

Раз, два... Опушка приблизилась еще на два метра.

Зз... Зз... Зз... – противно завизжали пули у самой головы. Григорий опять распластался. Взяли под обстрел, как дикого зверя. Пожалуй, не доползти до опушки.

Зз... Зз... Зз... – пули ложились определенно у самой головы. Странно, – подумал Григорий, – сейчас мыслю, анализирую, сознаю, а может быть через мгновение...

Зз... Зз... Зз...

Григория охватил животный ужас, необыкновенная жажда жизни. Так глупо! И зачем я побежал выносить этого незнакомого человека другой роты? Вон, залегла же цепь на опушке...

Жужжание пуль прекратилось. Наверное, автоматчик подумал, что добил-таки Григория и другого пулеметчика. Лежать было неприятно, озноб пробежал по плечам, двинуться было страшно – опять застрочит. Григорием овладели слабость и безразличие. Как хорошо было бы уснуть и перестать всё это чувствовать! Нельзя. Надо... Что надо? Надо тащить опять. Наверное, он уж умер, но встать и осмотреть его еще опаснее, тогда смерть наверняка!

Григорий очень медленно повернул голову и посмотрел на притихшего рядом с ним татарина. Круглое заросшее лицо так же тихо повернулось к нему. В выпуклых глазах застыл тот же страх, который не мог побороть Григорий.

– Поползем, – сказал Григорий и оба, повернув головы еще больше, посмотрели назад.

Солнце глядело на них чудовищным глазом великана. За красноватым светом нельзя было ничего разглядеть. Влез куда-нибудь повыше, подумал Григорий про немца, – может быть, лежит в белом халате на самой высокой крыше, используя момент, пока его прикрывает солнце.

Григорий и пулеметчик дружно потянули, торопясь уйти из-под обстрела. Тело не проявляло никаких признаков жизни. – Действительно, идиоты! – думал Григорий. – Зачем-то тащим покойника и, поддаваясь инерции, не в состоянии его бросить.

– Раз, два. Взяли! – Григорий решил действовать быстрее. – Раз, два... – но по руке Григория, тянувшей раненого, вдруг что-то ударило и она сразу повисла, как плеть. – Сейчас добьет!.. Григорий, как раненый зверь, метнулся вперед и влип в снег на протоптанном месте здоровым плечом вниз. По фронту, как искры, перебегали отдельные выстрелы, но назойливого свиста над ухом не было. Григорий оглянулся на здорового пулеметчика. Тот лежал на животе и со страхом смотрел на него.

– Я ранен, – сказал Григорий, – кто-нибудь другой тебе поможет.

Радость свободы и страх, что всё-таки добьют, одновременно охватили Григория. Он не чувствовал, как болит раненое плечо и быстро полз к опушке. Перед самой опушкой росло несколько густых елок и около них было широкое, растоптанное место, совершенно скрытое от врага. Григорий встал. Голова немного кружилась, но сил было достаточно, чтобы не потерять равновесия. Интересно, что с рукой? – Григорий попробовал ее пошевелить и пошевелил. Резкая боль заставила прикусить губу, но рука пошевелилась. – Значит кость цела. Это мне только показалось, что рука висит, как плеть...

Спереди была едва заметная просека, по ней след в глубь леса. Между Григорием и просекой открытое место и проволока. Если ползти, то взорвешься! Стараясь ни о нем не думать, Григорий шагнул, стоя во весь рост не сгибаясь, на открытое место. Ноги слушались плохо, походка была неуверенной. Шаг, два, еще... проволока кончилась. Справа мелькнуло лицо комиссара.

– Я ранен, товарищ комиссар, – сказал Григорий, придерживая раненую руку здоровой и идя все дальше и дальше.

В глазах комиссара блеснула зависть. Он лежал всё в том же месте, почти в той же позе, не имея права нарушить приказа и не находя сил, чтобы идти в атаку.

# АЛЕКСЕЕВА

(псевдоним, наст. фам. Девэль,  
в замуж. Иванникова)

## Лидия Алексеевна



*(1909–1989) – поэтесса, переводчица, прозаик.*

Родилась в Двинске. Отец – полковник, мать – двоюродная сестра А. Ахматовой, что Алексеева никогда не рекламировала, не желая быть в тени великой коллеги. Детство провела в Севастополе, которому она посвятила цикл стихов. В 1920 семья эмигрировала через Турцию, откуда в Болгарию, а затем в Югославию. После окончания Белградского университета (1934) преподавала в русской гимназии Белграда. В 1937 году вышла замуж за писателя Михаила Иванникова. Брак распался в 1944, когда Алексеева и ее родители решили уехать из Югославии от советских войск в Австрию и Германию, где стали беженцами. «Вся жизнь прошла, как на вокзале, – писала она в одном из стихотворений, – Толпа, сквозняк, нечистый пол. / А тот состав, что поджидали, / Так никогда и не пришел».

Трагедия войны («После налета», «Старый кот с отрубленным хвостом...» и др.) – единственная социальная тема в творчестве Л. Алексеевой. «Я “тугодум”. Пишу вдруг о том, что случилось 50 лет тому назад. Почему – неизвестно. А современное скользит не задевая»<sup>1</sup>, – признавалась она незадолго до смерти.

В 1949 Алексеева эмигрировала в США, где работала на нью-йоркской перчаточной фабрике, а затем до самой пенсии в Нью-Йоркской Публичной библиотеке. Похоронив вскоре после приезда мать с отчимом, Алексеева всю оставшуюся жизнь вела отшельнический образ жизни: жила одиноко в беднейшем квартале Нью-Йорка, где ее неоднократно обворовывали местные мальчишки, была совершенно не приспособлена к быту. Единственным близким для нее человеком («верной радостью») была другая драматической

<sup>1</sup> Письмо В.А.Синкевич. 10 дек. 1988 // Новый журнал. № 259.

судьбы поэтесса Ольга Анстей. Даже после смерти подруги, Алексеева продолжала беседовать с ней во сне:

Ты приходишь спокойна, проста, весела,  
И во сне я не знаю, что ты умерла.  
Мы, как прежде, куда-то стремимся вдвоем,  
Мы, как прежде, торопимся, едем, плывем.  
И, как прежде, уходят во мглу поезда,  
Но во сне я не знаю, зачем и куда.

Нью-Йорк не стал для Алексеевой родиной, какими были Крым, Стамбул, Белград, Тироль. «Холод, ветер» – это всё, что Алексеева сказала об американском мегаполисе («Холод, ветер... А у нас в Крыму-то...»). «Так странно жить на свете без корней», – скажет она в одноименном стихотворении.

Одиночество – одна из важнейших тем поэзии Алексеевой. Впрочем, люди были ей неинтересны. И свое вдохновение она черпала из общения с природой, куда она уезжала из Нью-Йорка каждое лето. «В лесу я <...> дома <...> одно с тобой, земля», писала она в одном стихотворении. А в другом утверждала свое «родство с косулей, крокусом и тлей – / Кровное со зверем, травное с землей». Поэтесса осознавала вину перед природой (« В наш стройный мир, в его чудесный лад / Мы принесли разбой, пожар и яд») и просила: «Пока дышу, пока жива – / Прости мне лес, прости меня трава». «Хорошо бы отстать от погони / За придуманным счастьем людским, / И остаться на солнечном склоне, / И довериться соснам моим», – писала она в одноименном стихотворении. В свою очередь природа отвечает лирической героине Алексеевой полным доверием:

Перебирая пальцами траву,  
Как шерсть любимого большого зверя,  
Я ничего цветущего не рву,  
Мне даже серый одуванчик верит.

И бабочка, мне на руку садясь,  
Подробно шарит хоботком по коже, –  
Рука роняет травяную вязь,  
Рука от счастья двинуться не может.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

παραλήγοντες

Лидия  
Алексеева  
*Горькое счастье*



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

*В 2007 году в московском издательстве «Водолей Publishers» вышло первое на родине собрание стихов Л. Алексеевой*

Ведь для меня в доверьи малых сих –  
 Предчувствие, воспоминанье рая:  
 Оно, как в детстве незабытый стих,  
 Горит в душе и греет, не сгорая.

Природа и поэзия примиряют грустную лирическую героиню с жизнью. Не случайно о поленнице на вырубке лесной писательница скажет: «Крест-накрест в ней набросаны / Смолистые стихи». «Холод одиноких бдений» соседствует в ее жизни в «Броженьем светлым в крови, готовых зазвучать стихотворений». И потому Алексеева скажет: «Спасибо жизнь, за то, что ты была». Благодарность теперь уже Богу «за песок на прибрежном камне, <...> за суровый берег и море» и даже за возможность легко уйти «в ту страну, где смолкает память» звучит в стихотворении «Молитва».

Своему четвертому сборнику Л. Алексеева дала название «Время разлук». В нем она вспоминает детство и негромко говорит об уходе из жизни: «Отрекайся, душа, понемногу / От любви осязанья слепой / И готовься в большую дорогу, / Где лишь звезды и ветер пустой». Смерть поэтесса воспринимает как «мерное движенье / Вечного огня / И покой уничтоженья / Мира и меня» («Отомкнуть земные двери...»). Глубоким философским смыслом и мудростью наполнено стихотворение «Не спрашивай, что будет там, потом...».

Алексеева так и ушла из жизни, как писала в своих стихах: тихо, незаметно. В одно из посещений уже смертельно больной Ольги Анстей Алексеева упала и сломала бедро. Сделанная ей операция выздоровления не принесла. Лидия Алексеевна по-настоящему уже не поправилась, неизменно страдала. В конце концов она отказалась от дальнейших усилий врачей продолжить борьбу за ее жизнь и тихо скончалась в нью-йоркской больнице.

Архив писательницы не сохранился: после ее смерти хозяин квартиры сжег все бумаги своей постоялицы.

Художественный мир Л. Алексеевой практически не менялся на протяжении всей ее жизни, хотя и обогащался новыми темами. Поэтесса привержена к ясности и классическим размерам. «Я безнадежно старый режим в “смысле осмысленности” и если не понимаю, что к чему, для меня стихи не существуют»<sup>2</sup>, – писала она

<sup>2</sup> Синкевич Валентина. Поэт своего поколения: Лидия Алексеева (1909–1989) // Новый журнал. № 259. 2010, июнь.

В. Синкевич в сентябре 1985 года. Тонкость пейзажной миниатюры достигается в ее стихах зоркостью взгляда, умением передать детали, неизменной связью изображаемого и переживаемого. Лирическое «я» выражено через особенности красоты природы. О чем бы ни говорила поэтесса, ей всегда присуща сдержанная интонация. Для ее лирического «я» характерно неизменное чувство меры и всегда ровная и сдержанная интонация.

Алексеева – автор нескольких рассказов о детях и подростках («Тедди из Стокгольма», «Мой осколок», «Ложная весна», «Мужское достоинство»), в том числе о быте ди-пейцев («Экватор», «Как мы были артистами», «Золотые туфельки», «Падение Семена Семеновича» и «Натка»). Ее проза точна в деталях и проникнута мягким юмором.

Л. Алексеева была хорошим переводчиком. Среди ее лучших переводов стихи эстонского поэта большого друга Алексеевой Алексиса Раннита (1914–1985), поэма «Слёзы блудного сына» Ивана Гундулича (1589–1638), вышедшая отдельным изданием в 1985. С сербохорватского поэтесса переводила Милона Ракича и Десанку Максимович, с украинского – Игоря Качуровского, с английского – Мэри Элизабет Фрай.

## Сочинения

Лесное солнце – Франкфурт-на-Майне, 1954

В пути. – Н.-Й., 1959; 2-е изд. – 1962

Прозрачный след. – Н.-Й., 1964

Время разлук. – Н.-Й., 1971

Стихи (избранное) – Н.-Й., 1980

**Алексеева Л., Анстей О., Синкевич В. Поэтессы русского зарубежья.** – М.: Сов. спорт, 1998

**Горькое счастье.** – М.: Водолей Publishers, 2007

## Публикации

«Белка носит жолуди...» // *НЖ*. 1956. № 44.

«Бывает день – уже с утра...» // *Совр.* 1962. № 5.

В захолустья // *Возр.*, 1959. № 93.

Весенний цикл // *Грани*. 1953. № 17.

«Вошел, как вестник...» // *НЖ*. 1970. № 101.

Все как было // *Возр.* 1950. № 9.

«Вся жизнь прошла, как на вокзале...» // *НЖ*. 1956. № 44.

«Где круто бьет и пенится...» // *НЖ*. 1955. № 42.

- «Говорили мудрые люди...» // *НЖ*. 1970. № 101.  
Гроза // *Грани*. 1951, 13. 12.IX.1944. // *НЖ*. 1969. № 95.  
«День лежит лазурной повязкой...» // *НЖ*. 1970. № 99.  
Детство // *Возр.* 1959. № 93.  
Душа. // *НЖ*. 1956. № 44.  
«Если б нам деревьями...» // *Грани*. 1964. № 55.  
«Еще звенело в трубах водосточных...» // *Совр.* 1975. №№ 28 / 29.  
«Жизнь была натянута как парус...» // *НЖ*. 1970. № 101.  
Засуха // *НЖ*. 1963. № 71.  
Зима на Бродвее // *Лит. совр.* 1951. № 1.  
«Из каких четвертых измерений...» // *НЖ*. 1958. № 53.  
«Из моего дыханья...» // *Совр.* 1962. № 6.  
«Как влюбленный, кого забыли...» // *Совр.* 1963. № 7.  
«Как тень горы, упала тень разлуки...» // *НЖ*. 1959. № 56.  
Картинка с улицы. // *Совр.* 1976. № 32.  
Карусель // *Возр.* 1949. № 6.  
«Леса и звезды и метели...» // *НЖ*. 1957. № 51.  
Лесной мадонне // *НЖ*. 1956. № 46.  
«Лесопилку бором обступило...» // *НЖ*. 1968. № 90.  
Ложная весна // *Лит. совр.* 1954.  
Маленькие рассказы // *Грани*. 1953. № 20.  
«Метелью веяло в бору...» // *НЖ*. 1954. № 37.  
Мой осколок // *Грани*. 1954. № 22.  
«На закате вода густая...» // *Совр.* 1972. № 24.  
«На людьми затоптанной полянке...» // *Совр.* 1974. №№ 26 / 27.  
«Не жена и не любовница...» // *НЖ*. 1955. № 42.  
«Нет, в ней разрыва нет...» – *Мосты*, 1968. №№ 13 / 14.  
«Ни к чьему не примыкая стану...» // *НЖ*. 1976. № 125.  
«Осенняя раскрывалась синева...» // *Совр.* 1962. № 6.  
Осень // *НЖ*. 1954. № 37.  
«Пахнет горькой водой и медузами ветер прибрежный...» // *НЖ*. 1963. № 71.  
«Перебирая пальцами траву...» // *Грани*. 1963. № 53.  
Письма М.Г. Визи (публикация) // *НЖ*. 1998. № 211.  
«По песчинке стачивалась боль...» // *Грани*. 1963. № 53.  
«Позабудь и стоны и хрипы...» // *НЖ*. 1969. № 95.  
Посещение // *НЖ*. 1970. № 99.  
Причастность глубине // *Грани*. 1960. № 45.  
«Прозрачно море с пристани до дна...» // *НЖ*. 1957. № 51.  
Пять стихотворений // *НЖ*. 1966. № 83.  
Пять стихотворений // *НЖ*. 1966. № 85.  
«Расточительных слов не надо...» // *Лит. совр.* 1954.  
«Речка чернеет в снегу...» // *НЖ*. 1969. № 95.  
Северное сияние // *НЖ*. 1963. № 71.  
«Сидел мальчонка маленький...» // *Мосты*. 1968. №№ 13 / 14.  
«Слетает легкий лист один...» // *НЖ*. 1968. № 90.

- «Слушай жизнь! Меня, твою родную...» // *Совр.* 1963. № 7. НЖ. 1969. № 95.  
 «Снега деревенского простор...» // *НЖ.* 1954. № 37.  
 Стихи // *Возр.* 1971. № 228.  
 Стихи // *Грани.* 1954. № 23; 1955. № 26; 1956. № 30; 1957. №№ 34 / 35; 1958. №№ 37, 39; 1959. №№ 41, 43, 44; 1960. № 48; 1976. № 100.  
 Стихи // *НЖ.* 1968. № 93; 1971. № 103; 1972. №№ 106–109; 1974. № 117; 1976. № 124; 1978. № 131.  
 Стихи // *Встречи.* 1977, 1979, 1982, 1984, 1986, 1987. 1988, 1989, 1990, 1995, 1999.  
 Стихотворения // *Возр.* 1967. № 190; 1969. № 213.  
 Стихотворения // *Мосты.* 1958. №№ 1, 2, 4, 6, 9, 11.  
 Стихотворения // *НЖ.* 1962. № 68.  
 «Стою и шурюсь удивленно...» // *Совр.* 1976. № 32.  
 «Там, где лодки на причале...» // *НЖ.* 1952. № 28.  
 Три стихотворения // *НЖ.* 1960. № 60.  
 Три стихотворения // *НЖ.* 1961. № 63.  
 «Уходишь, все легче во мглу скользя...» // *НЖ.* 1970. № 99.  
 Ушедшей // *НЖ.* 1956. № 46.  
 «Это было – нет, уже не помню дат...» // *НЖ.* 1968. № 90.  
 «Я привыкла трястись в дороге...» // *НЖ.* 1952. № 28.

## Отзывы о книгах

- Александра Васильковская. Узелок // *НЖ.* 1958. № 53.  
 Клавдия Пестрово. Цветы на подоконнике // *НЖ.* 1965. № 81.  
 Н. Белавина. Синий мир // *НЖ.* 1961. № 65.  
 Олег Ильинский. Стихи // *НЖ.* 1961. № 65.

\* \* \*

Я привыкла трястись в дороге –  
 И не будят тоски во мне  
 Спящий кот на чужом пороге  
 И герань на чужом окне.

Но молюсь, как о малом чуде,  
 Богу милости и тепла,  
 Чтоб кота не вспугнули люди  
 И чтоб жарче герань цвела.

1954

\* \* \*

Подушку мха беззвучно оторвав,  
Я черный плат земли нашла под нею –  
И, наклонившись, медленно пьянею  
Прохладным соком нерожденных трав.

Смотрю, как нежная лесная гля  
На корешок всползает невесомо, –  
И, как она, в лесу я тоже дома,  
И, как она, одно с тобой, земля!

1954

### ПОСЛЕ НАЛЕТА

Ударом срезана стена –  
И дом торчит открытой сценой  
Для улицы, где – тишина  
Под ровно воющей сиреной.

Отбой... Но лестница назад –  
Лежит внизу кирпичной грудой,  
И строго воспрещен возврат  
Наверх, в ушедшее, отсюда.

Смотри, на третьем этаже,  
Вся розовая, как в Помпее  
Раскрыта комната – уже  
Не смеющая быть моею.

В сквозные окна льется свет,  
Стоит на полке том Шекспира,  
И на стене висит портрет  
И смотрит из бывшего мира.

Мне не войти туда, как встарь,  
И не поправить коврик смятый,  
Не посмотреть на календарь  
С остановившеюся датой.

...А здесь, внизу, под кирпичом,  
В сору стекла, цемента, пыли,  
Квадратный детский башмачок,  
Который ангелы забыли..

1954

## ПО ГРИБЫ

После грозы, разразившейся днем,  
Чистая звездная ночь за окном.  
Капли, срываясь, лепечут в саду...  
Я по грибы на рассвете пойду, –  
Влажной тропинкой, в сырой тишине,  
С облаком, спящим на сизой сосне.  
Где у часовни под липой скамья,  
Весело встретимся – солнце и я.  
В первом тепле на скамье отдохну –  
Облако тихо покинет сосну,  
К легкой и новой плывя синеве.  
А на опушке, в блестящей траве,  
За ночь пробьется в зеленую брешь  
Рыжик – молочно-оранжев и свеж.  
Капля во впадине шляпки легла –  
Так маслянисто и нежно кругла...  
Пальцы зарюю в сырую траву –  
Ножку нащупаю, выну, сорву  
И приложу осторожно к губам,  
Солнцу смеясь, и земле, и грибам!

1954

\* \* \*

Мы поднялись развилиной ствола,  
Но ты – на солнце, крепче, тяжелее,  
А я – слабей, я к северу росла,

И тенью счастлива была твоею.  
Бывало с ветром бросится листва  
Моя к тебе – и этот теплый шорох  
Был нам и хлеб, и ласка, и слова,  
Ни в чьих неслыханные разговорах.  
Но молнии бездумный произвол  
Нас расщепил, и слабый сук отбросил,  
И он лежит, безлистый, на откосе,  
И одинок твой уцелевший ствол.  
Ни слез, ни боли. Только пустота  
И отдых на земле, которой стану.  
А солнце на стволе залечит рану,  
И засверкает с каждого листа.

1959

\* \* \*

Где круто бьет и пенится  
Поток над крутизной,  
Мой стих растет поленницей  
На вырубке лесной, –

Пахучей, неотесанной,  
Увянувшей во мхи;  
Крест-накрест в ней набросаны  
Смолистые стихи, –

А под корой древесною  
До срока залегло  
Для очага безвестного  
Таимое тепло.

1959?

\* \* \*

Старый кот с отрубленным хвостом,  
С рваным ухом, сажей перемазан,

Возвратился в свой разбитый дом,  
Посветил во мрак зеленым глазом.

И, спустясь в продавленный подвал,  
Из которого ушли и мыши,  
Он сидел и недоумевал,  
И на зов прохожего не вышел.

Захрустело битое стекло,  
Человек ушел, и тихо стало.  
Кот следил внимательно и зло,  
А потом зажмурился устало.

И, спиной к сырому сквозняку,  
Он свернулся, вольный и надменный,  
Доживать звериную тоску,  
Ждать конца – и не принять измены.

1959

\* \* \*

Вся жизнь прошла, как на вокзале, –  
Толпа, сквозняк, нечистый пол.  
А тот состав, что поджидали,  
Так никогда и не пришел.

Уже крошиться стали шпалы,  
Покрылись ржавчиной пути, –  
Но я не уйду с вокзала,  
Мне больше некуда идти.

В углу скамьи под расписанием,  
Просроченным который год,  
Я в безнадежном ожидании  
Грызу последний бутерброд.

1959

\* \* \*

Любовь не кончилась – она  
 Живьем разлуке отдана,  
 Чтоб в снах и в песнях длиться, –  
 И влагой перья вороша,  
 Слетает к ней моя душа,  
 Как в летний полдень птица.

Она – прозрачный водоем  
 В имени облачном моем  
 И с радугой в соседстве, –  
 Где всё былое во плоти,  
 Где можно бусинку найти,  
 Потерянную в детстве.

Где можно молодость опять  
 Цветком ромашки ощипать  
 По лепестку – до «любит»...  
 Любовь не кончилась – она  
 Мне светит с голубого дна,  
 Из самой тихой глуби.

1964

\* \* \*

Слоятся дыма голубые складки,  
 Опал костер, мерцает рыхлый жар, –  
 Но подметенных листьев отпечатки  
 Еще хранит осенний тротуар.

Сгорело всё, что эта жизнь дала мне,  
 Подметено. И пепел сер и чист.  
 И лишь стихов прозрачный след –  
на камне  
 Запечатленный лист.

1964

\* \* \*

От горя удаляясь, отдыхая –  
Вдруг изумиться: всё еще жива?  
Под инеем легла полусухая,  
Но крепкая октябрьская трава.

А утром солнце иней растопило,  
Его роса по-летнему светла, –  
Трава живет.

Ей тоже больно было,  
Но боль прошла. Почти совсем прошла.

1964

## ЯСЕНЬ

Вот свежий пень и щепок след:  
Здесь ясень мой срубили.  
Стоял он много тихих лет,  
Крепчая в стройной силе.

И, так спокойно сожжены,  
Золой распались жгучей  
Все сорок три его весны  
И осени летучих.

Мой друг, – с покорной простотой  
Тепло отдавший людям,  
Теперь твой дух за той чертой,  
Где все мы вместе будем.

Теперь ты в облачном саду,  
Где жечь и резать – нечем,  
И я иду к тебе, иду  
Для неразлучной встречи!

1971

\* \* \*

Холод, ветер... А у нас в Крыму-то  
У кустов – фиалок бледных племя,  
И миндаль, как облако раздутый,  
Отцветает даже в это время  
Там, над морем. А у нас в Стамбуле  
По террасам над Босфором синим  
На припеке солнечном уснули  
Плети распущенные глициний, –  
Разленилось. А у нас в Белграде,  
Хоть ледок еще по лужам прочен,  
Но вороны с криком гнезды ладят,  
И трава пробилась у обочин  
Тех тропинок... А у нас в Тироле  
Мутный Инн шумит в весеннем блеске,  
И в горах, где дышится до боли,  
Зацветают вереск и пролески.  
И стоит сквозной зеленый конус  
Лиственницы нежной на пригорке.  
До нее я больше не дотронусь,  
Не поглажу. А у нас в Нью-Йорке...

1971

\* \* \*

На весенних кленах даже листьев нет,  
Только красноватый неумелый цвет.

Не трепещет тенью серых веток взмах  
И морщин слоновых лепка на стволах.

Под высоким солнцем медленно иду,  
Ощущая радость остро, как беду,

И родство с косулей, крокусом и тлэй –  
Кровное со зверем, травное с землей.

1971

\* \* \*

Слушай, Жизнь! Меня, твою родную,  
Тоже где-то в мире сохрани, –  
Я тебя к стихам моим ревную.  
Я уйду – останутся они.

Ими полны многие страницы –  
Легкий нержавеющей сосуд, –  
Чей-то с ними взгляд соединится,  
Чьи-то губы их произнесут...

Я беру лицо твое в ладони:  
Посмотри и улыбнись опять.  
Неужели ты меня прогонишь,  
Словно невнимательная мать?

Мне недолго пить красу земную,  
Но пока я вижу и дышу –  
Я тебя, любимая, ревную  
Даже к моему карандашу.

1971?

\* \* \*

Из темноты и в темноту,  
Как по висячему мосту,  
Бреду по жизни осторожно.  
И мост мой солнцем освещен,  
Но хрупок он, но зыбок он,  
И так легко сорваться можно.

И слева – черных туч полет,  
А справа – радуга цветет...  
Держусь за шаткие перила.  
Иду – и откровенья жду,  
Не знаю ведь, куда иду,  
Откуда вышла – позабыла.

Идущих вижу впереди,  
Идущих слышу позади –  
Несчетна наша вереница.  
Но всех ведет единый путь,  
И ни вернуться, ни свернуть,  
И ни на миг остановиться.

*1971*

\* \* \*

Не спрашивай, что будет там, потом,  
Когда настанет миг прощанья и свободы, –  
Ведь если что-то ждет – какое чудо в том!  
А если ничего... Какой великий отдых!

*1971*

\* \* \*

В наш стройный мир, в его чудесный лад,  
Мы принесли разбой, пожар и яд.

И ширится земных пожарищ дым,  
Обуглен сук, где всё еще сидим.

Пока дышу, пока еще жива –  
Прости мне, лес, прости меня, трава!

Хочу упасть на эту землю ниц,  
Просить прощенья у зверей и птиц...

Последней жизни обрывая нить,  
Прости нам, Боже! – Хоть  
нельзя простить.

*После 1971*

\* \* \*

Спасибо жизнь, за то, что ты была,  
За все сиянья, сумраки и зори,  
За мшистый бок тяжелого ствола  
И легкий парус в лиловатом море,

За всё богатство дружбы и любви  
И тонкий холод одиноких бдений,  
И за брожение светлое в крови  
Готовых зазвучать стихотворений, –

Со всем прощаясь – и не помня зла –  
Спасибо, жизнь, за то, что ты была!

*После 1971?*

\* \* \*

Так странно жить на свете без корней,  
Перелетать легко чужие страны,  
И только тайно вспоминать о ней –  
Несбывшейся, жестокой и желанной.

Так я бреду – невидная почти  
В чужой стране, всё тише и покорней, –  
Стараясь незаметно пронести  
Мои судьбой оборванные корни.

*1981*

## МОЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

С облаков наплывают летучие тени  
В чашу кленов, осин и берез.  
Мы – последние листья на ветке осенней,  
Многих ветер, играя, унес.

Но пока еще солнце проходит по кругу  
 И последняя птица поет,  
 Мы дрожим на ветру и киваем друг другу,  
 Собираясь в прощальный полет.

И о счастье зеленом своем вспоминая,  
 Лист листу, торопясь, говорит...  
 А когда облетит наша ветка родная,  
 Всех нас ласковый снег усмирит.

*Май 1987*

\* \* \*

Земля устала от дневного жара,  
 Взошла луна над Южной Стороной.  
 И музыка с приморского бульвара  
 Далекая струилась под луной.

А мы сидели над прибрежной кручей  
 На мягко остывающей скале,  
 И запах пены свежей и шипучей  
 Всплывал над морем, дышащим во мгле.

И мы не знали, ничего не знали,  
 И сердце билось мерно, как прибой, —  
 А он вставал в еще невидной дали  
 Тяжелый крест над нашей судьбой.

*I-VII-88*

*Лидия Алексеева (она же Медведь)*

## ЭКВАТОР

— А мы едем в Бразилию, — сказал Тосик и присел на корточки, рассматривая, что делает из грязного песка Маринка. Пришлепывая ладошкой не то пирожок, не то черепаху, Маринка ответила, не поднимая глаз:

– А мы в Чили.

Тосик помолчал, потыкал бережно пирожок:

– А отчего не в Бразилию?

– В Бразилию бабушек не берут, – вздохнула Маринка и стала счищать с пальцев палочкой налипшую грязь.

– А сестер берут? – заинтересовался Тосик и прибавил по ассоциации: – Наша Ленка дрянь, я ей морду набью, так будет знать!

– Так нельзя говорить, – сказала Маринка строго и стала. Она была худенькой и самоуверенной девочкой и в балетной школе считалась лучшей ученицей. Тосик же был приземист и тяжеловат, в крупных веснушках и с соломенными бровями. Он прекрасно умел свистеть, ходить на руках и постоянно оказывался на крыше барака, откуда его снимали с приставной лестницей. Отравой его жизни была старшая сестра Ленка, докладывавшая матери обо всех художествах. Казалось, у нее не было другого дела, как следить за ним, не сводя глаз, и, когда его предприятия достигали критического пункта, лететь к матери, задыхаясь от негодования и радости; «Ма-а, Тоська разбил сейчас окно в 23-м бараке. Ма-а, Тоська порвал штаны на колючей проволоке... Тоська застрял под забором и его не могут выдернуть!»...

Мать вытирала о фартук усталые руки и, бросив стряпню, шла за Ленкой. «Вот придет отец, подожди», – говорила она только что выдернутому чаду, плетущемуся за ней в легкой расслабленности после пережитых сильных ощущений. Отец приезжал под вечер со своей работы, загорелый, перемазанный и изодранный не лучше сына. Довольный, что наконец дома, он не мог заставить себя его выпороть. Он пускал только страшный блеск в глаза и говорил мрачно: «Марш в угол!» И хотя угол был плотно привален всяким барахлом, Тосик послушно и неудобно протискивался в него и застывал в жалкой позе, обняв мешок с картошкой. Если о нем забывали, он громко тянул носом, и отец подмигивал матери на унылый мальчишеский затылок:

– Что, мать, простим уж – так и быть, – и мать улыбалась рассеянно: «Да уж как хочешь!» – и примачивалась под лампочкой чинить мужнины носки. Лампочка была тускловата и висела голая, без абажура, на пропыленном шнурке. Под ее светом склоненная голова матери поблескивала невеселым лоском. А отец, дымя, разглаживал на столе шершавыми ладонями карту Южной Америки, сдувал дым на сторону и говорил с наслаждением:

– Да, а тут вот – это все тропические леса, тут белых еще и не бывало; а тут болота, желтая лихорадка. А вот тут самый экватор проходит... Думала ли ты, мать, что поедешь на экватор? – И она ухмылялась, откусывая нитку и не поднимая глаз: «Заедешь и на экватор»... – говорила тихонько и кончала многоточием, за которым стояло в прошлом столько пролитых слез, столько бледного ужаса и просиженных ночей: «заедешь и на экватор»...

Ленка мыла посуду, а Тосик подходил к отцу и смотрел на карту тоже, на ее зеленые, синие, коричневые пятнышки, – и ему было совсем не страшно попасть на экватор. Он уже представлял себе, как интересно будет пролезть под самым этим канатом, вокруг земли обтянутым, и как индейцы помогут ему, бледнолицему брату, из-под него выдернуться.

Мать же, крестясь на ночь на темную иконку над койкой, шептала: «Господи, сделай чудо, не допусти. Чтобы не надо было экватора. Сделай чудо, Господи!»...

## НАТКА

Пол в бараке был шершавый и зыбкий. Когда Натка, припрыгивая, бежала по коридору, то ей казалось, что она уже на пароходе и качка начинается. Вообще в лагере ей нравилось все – и то, что здесь много детей, и то, что все они собираются уезжать, и то, что никак уехать не могут. Нравилось, что стены тонкие и слышно, как пьяный сосед, приходя домой, швыряет консервные банки и начинает скверно ругаться. Только в самом интересном месте мама с папой, переглянувшись, перебивают его громким разговором о предстоящей дезинфекции. Натке нравилось даже то, что в ИРО дважды затеряли их рентген, и пришлось ездить поездом в далекий город. Натка страшно любила поезда, и вечером, после молитвы, добавляла про себя, виновато косясь на родителей: «Господи, сделай, чтобы в ИРО опять потеряли наш рентген!...» Натке даже нравилось стоять в очереди за молоком, там можно было много чего послушаться, а иногда разыгрывались очень занятные скандалы, а тогда и очередь пропустить не жаль было, засмотревшись и заслушавшись.

Шла Натке уже седьмая весна. Еще год тому назад она была совсем маленькой и даже не знала азбуки, а сейчас сама читает сказки, и даже немецкий «ферботен» узнает, куда бы его ни налепили. Был смех зимой с таким ферботеном. Холодно было в бараке, как на по-

люсе, а дров не было. Папа ходил по вечерам промышлять у заборов. В темноте оно не видно, – притащил раз со щепками какую-то доску, посмотрели, а это ферботен. Ну, ничего, горел он весело, только краска шипела и трещала на огне, – одним ферботеном меньше, не пропадут немцы. Так папа сказал, и Натка повторила – не пропадут немцы. И правда – не пропали, все тут. Они же у себя дома, им ехать некуда. Разве что на велосипеде в соседнее село: на плечах гороховая крылатка, на голове шляпа с метелочкой стоймя, во рту трубка, и сквозь рыжие усы – вонючий-вонючий дым. Они сами по себе, лагерь сам по себе, и немцы Натку интересовали мало. А весна интересовала – и как ломались и звенели гигантские сосульки, падая с крыш барачков, и как толевые эти крыши мягко дымились на солнце, и как во всех сияющих лужах лагеря отражалось яркое небо с быстрыми белыми облаками, и как вылезал народ на лавочки блаженно посплетничать на солнышке, и деревья по горам стояли в молочно-лиловой дымке – набухали крепкими почками. Было почему-то весело, и немножко сдавливало горло, как перед выступлением на елке, перед тем, как сказала первые слова: «Здравствуй, русская красота» – дальше стало тепло и легко, и не хотелось уходить со сцены.

И вот ведь оказалось – опять перед выступлением. Пришло вдруг распоряжение наткиному семейству ехать в город, уже к консулу, на разговор. Мама и папа подготовились и принарядились, Натку умыли, и за ушами тоже, всю дорогу нервно переговаривались – что на какой вопрос отвечать, а она придавилась носом к стеклу и только смотрела, как забавно поворачиваются на ходу горы – одним боком, потом лицом, потом другим боком. Натка долго косила глазом вслед горе – не повернется ли задом, – нет, не поворачивается, на смену вылезает другая и охорашивается перед Наткой.

У консула до приема долго ждали, было скучно и душно, и какой-то мальчишка из чужого лагеря показал Натке язык и скосил глаза. Ну, наконец позвали и их, маму и папу разговаривать, а Натку напоказ. Консул был большой, молодой, курносый, с толстыми черными бровями и глаза щелочками. Не страшный. Но мама и папа сидели на краешке стула и смотрели на него широкими глазами, как дети в школе. Консул нет-нет да и посматривал на Натку, улыбался ей – и она ему так же хитро. Она совсем не прочь была бы поговорить с этим дядей. И он, видно, тоже. Он наскоро договорил со старшими, сказал «о-кэй», и указал Натке место на стуле. Родители переглянулись, а Натка с удовлетворением влезла на стул и спросила у переводчицы

- Этот дядя нас повезет в Америку?
- Что она говорит? – оживился дядя.
- Та перевела. Дядя кивнул ей и что-то спросил.
- А кто ты такая, спрашивает дядя.
- Я русская эмигрантка.
- Где ты родилась?
- В Вене.
- Значит, ты австриячка?
- Нет, я русская эмигрантка. Как мама и папа.
- От кого же они бежали?
- Ну, от большевиков, конечно.
- Почему ты хочешь ехать в Америку?
- Чтобы подальше-подальше от большевиков.
- А они плохие?
- Они самые плохие, и они забрали всю нашу Россию.
- А если их не будет?
- Тогда мы вернемся, понятно.
- Но ты уже будешь американкой?
- Почему?

Ответ последовал не сразу. Он вообще не последовал. Консул встал, прошелся по комнате, чуть хмурясь. Мама и папа окаменели. Наткино выступление захватило их врасплох. Консул быстро глянул на них, усмехнулся и потом попросил их через переводчицу поднять правую руку и повторять за ним слова присяги. Натка тоже подняла руку и пробовала повторять, она любила торжественность.

Мама с папой вышли, как из бани, но у Натки настроение было прекрасное.

– Какой смешной дядя, правда? – спросила она мать, топоча по лестнице.

– Ах, Натка, Натка, – сказала та, не зная, смеяться или плакать. Отец же поймал ее за косичку и сказал:

– Ну, дочка, вывела ты нас на чистую воду!

На улице их обуял хохот, и Натка присоединилась с удовольствием. Улицы широко сияли солнцем, лужи в городе уже высохли и было совсем тепло. Натка прыгала то на одной то на другой ноге, и думала, что хорошо бы еще раз приехать поговорить с дядей.

# АНДРЕЕВ

(Хомяков, реже Отрадин)

## Геннадий Андреевич

*(1904–1984) – писатель, общественно-политический деятель.*

В возрасте 15 лет исключён из школы по обвинению в «контрреволюционной деятельности». По окончании средней школы (1926) работал в губернской газете. В 1927 арестован и осуждён на 10 лет лагерей. Срок отбывал в разных местах, в том числе и на Соловках. В 1935 освобождён с запретом на право проживания в 41 городе СССР.

В 1941 призван в армию. В 1942 в Крыму попал в плен. Находился в лагере военнопленных в Норвегии.

После освобождения отказался репатриироваться. Вступил в НТС [Национально-Трудовой / Народно-Трудовой Союз], был членом Совета НТС и редактором журнал «Посев», работал на радиостанции «Свобода». Жил и работал в Мюнхене. В сентябре 1954 из-за разногласий с руководством вышел из НТС.

В 1958 в Мюнхене принял участие в создании «Товарищества зарубежных писателей». В 1959 году Г. Андреев стал главным редактором альманаха «Мосты», издававшегося ЦОПЭ (Центральным объединением политических эмигрантов из СССР). В 1963 году в связи с прекращением деятельности ЦОПЭ, прекратилось и субсидирование альманаха, Г. Андреев все же продолжил издание на деньги сотрудников и других сочувствующих лиц до 1970 года.

После эмиграции в США (1967) жил в Нью-Йорке. Сотрудничал в газете «Новое русское слово» (Нью-Йорк), на страницах которой еженедельно печатал статьи на общественно-политические и злободневные темы. В 1975 стал соредактором «Нового Журнала», в 1980–1981 редактировал журнал «Русское возрождение» (Нью-Йорк – Париж – Москва).

Первые рассказы опубликовал еще в СССР в 1926 г. в своей газете. В 1946 возобновил литературную деятельность под псевдонимом Г. Андреев. Писал прозу, в основном автобиографического характера: «Соловецкие острова» (1950), очерки и рассказы «Горькие воды»

(1954), повести «Трудные дороги» (1959), «Минометчики» («Новый журнал», 1976–1978). Автор пьесы «Награда» (1951 – в соавторстве с Л.Д. Ржевским).

Умер Г. Андреев в 1984 году. Похоронен возле Лейквуда в штате Нью-Джерси.

## Сочинения

Горькие воды. Очерки и рассказы. – Франкфурт-на-Майне: Посев, 1954.  
Трудные дороги. – Мюнхен, 1959.

## Публикации

- Будет хорошо // *Грани*. 1953. № 18.  
В дни короткого отпуска // *НЖ*. 1958. № 55.  
Встреча: Рассказ // *Грани*. 1949. № 5.  
Два Севостьяна // *НЖ*. 1952. № 28.  
День гнева: Рассказ // *НЖ*. 1951. № 51.  
Звезда над Парижем // *Мосты*. 1965. № 11.  
Мертвая петля // *Мосты*. 1961. № 6.  
Минометчики: Очерки // *НЖ*.  
    Берлинские скитания. 1978. № 133.  
    В дурном мареве. 1976. № 125.  
    В запасном полку. 1975. № 119.  
    В подземелье Джумушкая. 1976. № 123.  
    В стране Амундсена, Ибсена, Гамсуна. 1978. № 131.  
    К горе Митридата. 1975. № 120.  
    Края отдаленные. 1976. № 122.  
    На аэродроме. 1977. № 126.  
    На исходные позиции. 1978. № 130.  
Награда: Пьеса // *Грани*. 1951. № 12. – (в соавторстве с Л. Ржевским).  
Новелла о танке // *Грани*. 1948. № 4.  
Опять за проволоку. 1976. № 124.  
Письмо из дома // *Опыты*. 1955. № 5.  
Покой // Лит. сборник. – Рогенсбург: изд-во газ. Эхо, 1948. № 1.  
После концлагеря // *Грани*. 1952. № 16.  
Прекрасный вид // *Мосты*. 1966. № 12.  
При взятии Берлина // *Грани*. 1951. № 13..  
Северная Робинзониада // *Лит. совр.* 1954. № 2  
Соловецкие острова: Повесть // *Грани*. 1950. № 8.  
То же в сокращ // *Лит. зар.* 1958.  
Тамара: (Из записок стареющего человека) // *Грани*. 1950. № 10.  
Тень на стене // *Мосты*. 1959. № 3.

Холм – Сулековек. 1977. № 127.  
«Шпионское гнездо». 1977. № 128.

## Литературная критика и публицистика

Без победы и без наград; заметки на полях // *Опыты*. 1956. № 7.  
В двойном свете / Н. Отрадин // *Мосты*. 1961. № 7.  
В отраженном свете // *Мосты*, 1972.  
Вокруг разоружения и вооружения / Н. Отрадин // *Мосты*. 1962. № 9.  
Годы рождения 1927–1930 // *Грани*. 1951. № 11.  
Грустная книга / Г. А // *Грани*. 1951. № 12.  
Один: Роман из эмигрантской жизни. – Париж: Дом книги, 1951.  
Для отвода глаз? / Н. Отрадин // *Голос зар.* 1978. № 11.  
Долгий разговор / Н. Отрадин // *Мосты*. 1958. № 1.  
Еще одна Голгофа // Дело Пастернака: 1958.  
Загадка Чехова // *НЖ*. 1975. № 118.  
Заметки публициста / Н. Отрадин // *Мосты*. 1959. № 2.  
Из того, что было // *НЖ*. 1982. № 148.  
Иные времена // *НЖ*. 1956. № 245.  
Молчавшие должны заговорить // *Мосты*. 1960. № 4.  
Не необходимая книга / Г. А // *Грани*. 1952. № 16  
О национальных задачах и общественном идеале / Н. Отрадин // *Мосты*. 1968.  
№ 13 / 14.  
По способностям, по потребностям: Заметки публициста / Н. Отрадин // *Мосты*.  
1961. № 8.  
После Сталина и Хрущева: Заметки публициста / Н. Отрадин // *Мосты*. 1965. № 11.  
После Толстого // *НЖ*. 1972. № 107.  
Роман о наших днях / Г. А // *Грани*. – 1952. № 16.  
Россия и объединенная Европа // *Мосты*. 1963. № 10.  
Современный роман / Г. А // *Грани*. 1952. № 15.  
Только верой // *НЖ*. 1973. № 112.  
Тяжелая ноша // *Мосты*. 1959. № 2.  
Эмиграция и молодые партийцы: Заметки публициста / Н. Отрадин // *Мосты*.  
1959. № 3.



## ГОРЬКИЕ ВОДЫ. Очерки и рассказы

### При взятии Берлина

Свет из полу заваленной двери нехотя пробивался в убежище. Вблизи от двери еще можно было разглядеть нахохлившиеся фигуры женщин, стариков, детей, сидевших на чемоданах и узлах, дальше

всё пропадало во тьме. То, что тьма тоже полна людьми, угадывалось по шорохам и по какому-то особенно гнетущему настроению, пропитывающему вонючий воздух. Тишину изредка прерывал вздох, плач или крик ребенка, громкий шепот, – если говорили, то почему-то только шепотом.

Сверху доносилась винтовочная и пулеметная стрельба, автоматная трескотня, ухали орудийные взрывы, в городе шел бой.

Борис Васильевич Обухов, когда-то капитан царской армии, а потом шофер берлинского такси, сидел неподалеку от двери, прислонившись к стене и сжав руками опущенную голову. Голова болела, тело ныло: в шестьдесят пять лет не легко просидеть в подвале четверо суток безвыходно. Выходить было некуда, над подвалом развалины, вокруг тоже развалины, а в них рвутся снаряды и пронизывают воздух пули.

Теперь взрывы удалились, значит, подходят. За много лет в Берлине Борис Васильевич так и не научился сносно говорить по-немецки, жить кое-как жил, а мыслями оставался в России. Сейчас Россия входила в Берлин, Россия пришла к нему. Это волновало, влекло, но было и жутко. Какая она? Что сделает с ним? За четверо суток он всё передумал. «Расстреляют, как белогвардейскую сволочь. Хорошо, если на месте, а может, потащат в Чеку. Как она, нынче называется? НКВД? Будут мучить. Или еще что?» Но в мучения и смерть не верилось, почему-то казалось, не может быть. А что может быть? И страшно было не за себя, не за свою жизнь, – хватит, пожил, – а за что-то еще, может быть, за свою мечту, за свою двадцатипятилетнюю изгнанническую и, наверно, слишком сентиментальную, а поэтому и немного стыдную любовь.

Проходили часы, дни, наверху не утихало, и мысли уже перепутались, притупились. Он сидел среди насмерть перепуганных немцев, в нудной паутине страха и ожидания, устав думать и ждать, и тупо смотрел в одну точку.

Борис Васильевич задремал и не увидел, как в изломанной дыре двери показался красноармеец. Прижимаясь к стене, солдат осторожно переступал через камни, выставив перед собой нацеленный в темноту автомат. подвале тихо охнуло, шелестнулось, люди произвольно сжались, подались назад. Солдат щелкнул фонариком, в снопе света на мертвенных лицах засветились десятки застывших в нечеловеческом страхе глаз.

Смелее переступив, с автоматом на изготовку под правым локтем, солдат повел фонариком по подвалу, потом обернулся и крикнул:

– Давай сюда, калым есть!

Спустились еще двое в невиданных Борисом Васильевичем пилотках и в кофтах-телогрейках с тесемками вместо пуговиц, еще держа автоматы наготове, они стояли и приглядывались. Вошедший первым был невысок и широк, похож на катыш, второй, худощавый, должно быть был подвижным и юрким, третий, высокий и спокойный, наверно, был самым серьезным.

– Подкалымить можно богато! – тонким голосом воскликнул юркий, и пошёл вглубь.

– Не бойсь, фрицы, мы вас от Гитлера освобождаем! – хохоча, кричал первый, с круглым лицом и веселыми глазами, и тоже подался к сжавшейся толпе, лучом света прорезая себе путь. Третий остался стоять у двери.

Со смехом и прибаутками, будто они были на прогулке, двое быстро шарили среди людей и барахла. Не прошло и минуты, как Борис Васильевич услышал хватающий за сердце женский вскрик:

– Was wollt ihr von mir? – и хохочущий ответ курносого:

– Не бойсь, голубка, давай добром!

Борис Васильевич поднялся. Сердце колотилось, тело трясла нервная дрожь, но он собрал силы и сказал, громко передохнув:

– Вы что безобразите, вы?

Солдаты мгновенно обернулись. Три автомата нацелились на Бориса Васильевича. Катыш, светя фонариком, быстро подкатился к Обухову.

– Ты русский?

– Кто бы я ни был, а безобразничать с мирным беззащитным населением не позволю, – твердо ответил старик.

– Власовец? – не веря, протянул катыш, разглядывая седую голову, морщинистое лицо и потрепанный пиджак Бориса Васильевича.

– Не. Наверно эмигрант. Из беляков, я таких видал, – тихо сказал юркий, смущенно поглядывал на старика.

– А что ты за немцев заступаешься? Что они тебе? – уже не так смело спросил катыш. Видно было, что солдаты смущены, высокий тянул юркого за рукав и говорил: «Бросьте, ребята, пошли. Чего вы...».

– Я русский и мне стыдно за русских, если они позорят свою солдатскую честь, – продолжал Борис Васильевич, чувствуя себя как в бреду.

– Да мы что... Мы же только так... – совсем замялись двое, только катыш, скрывая смущение, еще тараторил:

– Что ты, старый! Мы что, грабители? Да нам и время нет прохлаждаться с вами! Пошли, хлопцы! – один за другим они исчезли в двери.

Борис Васильевич перевел дух и сел на прежнее место. Теперь болело и сердце. «Пришли. Россия пришла. Что ж, радоваться таким?». Как будто то, что говорили о советских, оправдывалось. Хорошего ждать не приходилась. Возникла и досада: «Я же хотел не выдавать себя, сначала присмотреться. Выскочил, неизвестно, за чем». Но и радовало сознание, что удалось защитить немцев, солдаты всё-таки ушли? Значит, не такие они плохие, на них можно повлиять? Немцы еще не оправались от волнения и сидели окаменело.

Через несколько минут в двери опять показался красноармеец. Не входя в подвал, он крикнул:

– Кто здесь русский, выходи!

Борис Васильевич встал, перекрестился. С трудом передвигая тяжелые ноги, пошел к выходу. Солдат посторонился, пропуская его. Карабкаясь по камням, завалившим ступеньки, Борис Васильевич приготовился: сейчас будет расплата и за защиту немцев, и за то, что он белый, и за его двадцатипятилетнюю любовь. Сразу за всё.

Во дворе сияло солнце. Только минуты через две он разглядел, что стоит перед двумя военными, о чем-то его спрашивающими. Они были тоже в телогрейках с тесемками, в шапках ушанках и грязных стоптанных сапогах. По ремням с пистолетами на боку и по планшеткам Борис Васильевич заключил, что они офицеры. У одного было худое, заросшее рыжеватой щетиной лицо, серое от пыли, на правой стороне пот проделал в пыли неровную дорожку от виска до подбородка. Второй, пониже ростом и поплотнее, блестел возбужденными глазами на широком лоснящемся лице. Нахмуренный и энергичный, первый хлопал по левой руке планшеткой с раскрытой картой.

– Шевелись отец! Ты здешний? Местность знаешь? – повторяя, спрашивал высокий офицер.

– Знаю. Двадцать лет в этом доме живу.

– Вот и отлично! Смотри, можешь провести вот сюда? – ткнул офицер в карту и тотчас же захлопнул планшетку:

– Да черт тут разберет! Смотри, лучше так расскажу..

Офицеры торопились. Фланги по другим улицам ушли вперед, а на этом участке продвижение задержалось. Впереди была почти уцелевшая школа, в ней засели эсэсовцы и простреливали из пулеметов и автоматов все подходы. Подойти в лоб невозможно, артиллерийский обстрел вызвать нельзя, слишком близко свои. Сил мало, а продвигаться необходимо, еще несколько часов – и конец! Победа, которую ждали сотни дней и ночей миллионы людей – вот она, за этой школой! Офицеры были распалены и нетерпеливы, школа должна быть взята. Но в развалинах ничего не понять, груды битого камня и кирпича завалили город, где улицы, дворы, проходы, не разобрать.

Оглянувшись, Борис Васильевич не узнал, где он, всё лежало в развалинах. От дома, в котором он жил, осталась половина боковой стены. Впереди на высокой груде кирпича примостились солдаты и куда-то стреляли, должно быть в школу, невидную за кучей. Слева короткими очередями, нервно, в том же направлении бил пулемет.

– Скорей соображай, отец! – торопил офицер. – Ты военным не был? Нам надо...

Он не договорил и, качнувшись, упал на Бориса Васильевича. Старик инстинктивно распахнул руки и поддержал, он еще успел увидеть, как странно захлопнулись глаза офицера на неизменившемся лице, словно очень уставший офицер мгновенно уснул.

Подбежали солдаты, вместе со вторым офицером подхватили убитого и опустили на землю. Шальная пуля угодила в спину, пробила сердце, на телогрейке уже расплылось красное пятно. Офицер снял шапку, нагнулся над товарищем.

– Эх, Коля, не дотянул! – горестно воскликнул он. – Тысячи километров осилил, пустяка не одолел!

Солдаты на груде кирпичей оглядывались. Один, круглый и крепкий, немного сполз вниз и крикнул, еще не веря:

– Капитана убило?..

Борис Васильевич узнал того, который первым вошел в подвал. Катыш поднялся, распахнув телогрейку, он вскочил на гребень кучи и, полосая из автомата по невидимой снизу цели, с бешенством кричал:

– Получай, гады! За, моего капитана, гады! – потом взмахнул автоматом и скovyрнулся вниз.

– Готов! – словно с ноткой восхищения сказал стоявший рядом с Борисом Васильевичем солдат.

Офицер провел рукой по лицу, будто стирая пот и гримасу горя. Взяв Бориса Васильевича за рукав, он отвел его немного в сторону от труппы. Продолжая начатое другим, он говорил также нетерпеливо:

– Надо обойти школу и взять. Понял, батя? Это пустяк, их там немного, от отчаяния палят, с перепугу. Обойти – вылезут. Проведешь там, правее? – показал он рукой. – Ты не военный?

– Капитан русской армии.

– Ну, чего больше! Батя, я тебе дам людей, действуй! А мы о того бока пойдем. Договорились?

– Но я не знаю ни нового оружия, ни новой тактики, – ошеломленно, не поверив ушам, оказал Обухов.

– Э, тактика!.. Ну, ладно, поведешь только. Старший сержант Семенчук! Ко мне! Бери своих людей, слушай задачу..

Через пять минут Борис Васильевич пробирался со старшим сержантом Семенчуком, таким же широколицым и курносом, как убитый солдат, среди развалин в обход школы. За ними, где пригибаясь, где ползком, двигались солдаты Семенчука. Кто-то сунул Борису Васильевичу винтовку, – он сжал её в руке и почувствовал, как захолонуло сердце, трехлинейная, образца 1893 года! На секунду остро вспомнилось, как взял впервые винтовку в руки, в военном училище, почти полвека тому назад.

Он не понимал, что происходит с ним. Эти две простые солдатские смерти, точно такие же, какие так часто приходилось когда-то видеть ему самому, тоже ежечасно подвергаясь смертельной опасности, и то, как офицер реагировал на смерть друга, жалея, но ни на минуту не забывая о своем военном долге, родили чувство, что он сам – на месте этих офицеров, что он такой же, как они, – а то, что он снова взял в руки винтовку и ведет за собой русских солдат, вдруг спутало всё, странным образом стерло последние тридцать лет, зачеркнуло его изгнанничество, бездомность, и он опять оказался среди своих и сам им свой. Конечно, это свои, на солдатах, что ползут за ним и Семенчуком, незнакомые пилотки, у некоторых даже со звездочками, но под пилотками такие же точно лица, какие были и у солдат его роты в Первую мировую войну. Это ведь те же Гришки, Петьки, Ваньки, Сашки, Семенчуки, Обуховы, Сидоренки, Степановы, грубые, нескладные, но и такие живые, непосредственные, умеющие так мирно и лихо принимать смерть. Борис Васильевич с трудом понимал, где он и что что с ним.

Семенчук вопросительно оглянулся, впереди стена, справа и слева груды камней. Куда? Усилим воли прогнав мешавшие мысли, Борис Васильевич осмотрелся. На углу полуобваленной стены висел клок плюща, под ним вдавался зеленый желоб водосточной трубы. Борис Васильевич вспомнил, третий дом от угла. Если обойти справа, через переулок, выйдешь к боковой стене школы. Он кивнул Семенчуку и, почувствовав давно забытый боевой азарт, нагибаясь, полез по камням в обход стены...

Спустя полчаса со школой было покончено. Офицер с чувством потряс руку Бориса Васильевича, благодаря за помощь. Семенчук, левой рукой вытирая пилоткой пот с лица, тоже жал ему руку и говорил:

– Пойдем с нами, папаша, из тебя солдат на все сто! Сильно воюешь! – Солдаты шутили, на прощанье совали ему кто пачку махорки, кто папиросы, кто банку консервов. Но прощанье было недолгим, они торопились. Путь к победе расчищен, надо идти вперед. И они спешно двинулись дальше.

Посмотрев им вслед, Борис Васильевич повернул назад. Горело справа, слева, пахло гарью, под ногами из-под развалин кое-где тоже курился дымок. Перебираясь через кручи камней, Борис Васильевич чувствовал себя странно. Еще трудно было освоиться с внезапным возвратом в молодые годы, на тридцать лет назад, в нем еще бродило недоумение, что произошло? Он чувствовал себя усталым и от этого внезапного превращения, и от только что пережитой схватки в школе. Но усталость была приятной, освежающей, и схватка – часть превращения. В ней он еще раз увидел, что он среди своих. Сколько у солдат ловкости, смелости, но и умения, осторожности! Как просто они шли в бой, этот последний для них бой, которым они были разгорячены до опьянения, и не жалели себя, не страшились смерти, но и как они были ловки и умелы! Такими же были его солдаты тридцать лет назад, таким же был и он сам. И Борис Васильевич чувствовал, что будто бы нашел завершение своим тяжелым многолетним думам, оправдание своей доселе безответной любви.

Около остатков своего дома он увидел других солдат. Наверно, это была резервная часть, они никуда не торопились и располагались по-домашнему. Некоторые спали, прямо на гудах кирпича, другие сидели группами и курили, разговаривали, третьи закусывали. Из

подвала еще пугливо выглядывали немцы. Но и из них кое-кто уже осмелел, чуть дальше среди развалин стояла походная кухня, у нее, после грохота гранат и выстрелов в школе, был удивительно мирный вид, и рыжий рябой солдат раздавал немцам остатки пищи. Перед кухней, кучкой человек в пятнадцать, стояли с мисками и тарелками старики, женщины, подростки, солдат выливал им в посуду что-то дымящееся, наверно вкусно пахнущее, и добродушно разглагольствовал:

– Не толпись, всех оделю. Оголодали с Адольфом, ну, я досыта покормлю. Теперь нацизме вашей крышка, в людей вас будем пере-крещивать. То-то, садовые головы. Чего совались? Шутка вам, на Россию переть? Макитры у вас на плечах заместо голов поодеваны?

Он взгляделся в старика, протягивающего миску, взмахнул черпаком:

– Ты что, во второй раз? А совесть у тебя есть? Как всем, так и тебе, за добавком к Адольфу иди. Тут по справедливости, несознательный ты старик. Иди, иди, а то тресну но черепку, разом перевоспитаешься. Малого пропустите! – указал он на нерешительно мявшегoся позади подростка. Немцы, словно понимая всё, что говорил кашевар, раздались и пропустили подростка.

Посмотрев на раздачу, Борис Васильевич почувствовал, как ком подкатил к горлу. Он сходил в подвал, достал из вещей кастрюльку и пошёл к кухне. Обождав своей очереди, протянул кастрюльку кашевару и, с трудом справившись с волнением, сказал:

– Ну, плесни и мне вашего варева...

## **Два Севостьяна**

Окно госпитальной дежурки выходит на прямую дорогу, уставленную унылыми черными метелками в деревянных кадках. Месяца два назад в госпиталь приезжало большое начальство, для его приема по сторонам дороги расставили кадки с пальмами, собранными со всей округи, из вилл местных фабрикантов, – когда начальство уехало, о пальмах забыли. В первые легкие заморозки пальмы померзли, – они стоят теперь, с обвислыми лохмотьями листьев, нелепо и безобразно. За дорогой, вдалеке, начинаются домики небольшого села, затянутые сеткой мелкого, как изморозь, дождя гнилой немецкой, зимы.

От дождя, или от безобразных пальм, которые ему примелькались до одури, у Севостьяна, младшего сержанта, обслуживающей госпиталь команды, подавленное настроение. Он сидит на широком подоконнике и тоскливо смотрит в окно.

Севостьян, азербайджанин, призванный в армию в 1942 году, собственно, не Севостьян, но у него такое мудреное имя, непривычное русскому уху, что солдаты окрестили его, по созвучию с настоящим именем, Севостьяном. А это имя прилипло так крепко, что, пожалуй, Севостьян и сам забыл, как его зовут по-настоящему.

Севостьяну скучно. Время тянется медленно, делать Севостьяну нечего, сиди и жди, когда позовут и куда-нибудь пошлют. Севостьяна держат на побегушках, на другое он вряд ли способен. Сегодня его никто не зовет и неизвестно, куда убить время.

Вздыхнув, он опускает голову и закрывает глаза. В памяти смутно, как туманная пелена дождя за окном, проплывают неясные картины. Родная деревня, глубокая лощина между холмами, подняться на них – совсем близко лиловеют вершины Кавказа. Склоны холмов в зелени садов и виноградников, желтеют домики дач: недалеко большой город. За дачами темнеет лес, а сверху пылающее солнце льет жару, истому, лень. Хорошо бы сейчас очутиться дома, бродить босиком по саду, лежать под палящим солнцем – Севостьяна мобилизовали шестнадцать лет.

Севостьян вздохнул еще раз. А какие девушки, наверно, выросли за те четыре года, что он не был дома! Какое было бы ему, Севостьяну, раздолье: мужчин мало, перебили на войне, а он молодой, здоровый. И почему его держат здесь? На днях спросил замполита – тот обругал. Что ему делать в Германии – смотреть на эту проклятую дорогу? На кой чёрт ему сдалась Германия? А дома томятся, ждут Севостьяна девушки. Теперь бы жениться, в самый раз, и спокойно жить...

Он чувствовал себя очень несчастным, обиженным, только неизвестно, кем или чем. Судьбой, что ли? Верно, судьба к нему несправедлива. Вот, вчера, в пивной встретил девушку, – у Севостьяна зашумело в ушах, когда он разглядел нежную белую кожу лица и рук, голубые глаза, завитые, как у барашка, волосы немки-блондинки. Мучительно, до пота, силясь придумать, что бы сказать ей для первого знакомства, он совсем собрался пересесть за столик блондинки,

как пришли три летчика с соседнего аэродрома. Конечно, ничего не вышло: этим летчикам везде первое место! Блондинка смеялась, болтая с летчиками, а Севостьян остался ни с чем и бессильно злился, почему летчикам привилегии: разве Севостьян не такой же человек? И чего они суются в пивную, облюбованную госпитальной командой?

Глубоко обиженный, он заказал у стойки пива, – пожалуй, только для того, чтобы почувствовать себя еще несчастнее: пиво было кислое, противное, пахло гнилой трухой. Глотая пиво, он увидел на стойке очки хозяина пивной, простые, круглые, в железной оправе. Севостьян вспомнил об Ольге Петровне и, незаметно взяв очки, сунул в карман. Это его обрадовало и немного примирило с жизнью: какой он, Севостьян, ловкий, как хорошо ему удалось стащить очки! Поскорее заплатив за пиво, он ушёл.

Вспомнив вчерашнее, Севостьян достал из кармана очки и повернулся. У стены за столом что-то пишет Ольга Петровна. Ворчливая старушка, но Севостьян испытывает к ней чувство, которое он не умеет объяснить. Справедливая старушка. Севостьяну иногда хочется сделать для неё что-нибудь хорошее, приятное, но получается как-то так, что он каждый раз забывает об этом. У старушки очки связаны ниткой, одно стекло лопнуло: она, наверно, плохо в них видит. Севостьян подошел и положил перед Ольгой Петровной очки.

– Возьми, тётка, тебе, – он всегда называл её тёткой.

Ольга Петровна подняла глаза, удивленно посмотрела на Севостьяна.

– Что за очки? Откуда взял?

– Тебе очки, Где ни взял, взял, тебе принес. Твои плохие, бери.

– А кто тебя просил?

Севостьян почувствовал раздражение, почему не берет? Дают, а она не берет!

– Зачем просить? Я сам захотел, для тебя. Бери, даю, – настойчиво сказал он и пододвинул очки ближе.

Ольга Петровна улыбнулась, примерила – стол перед ней расплылся. Она сунула очки в руку Севостьяна.

– Когда ты, Севостьян, чему-нибудь научишься? Очки, чужак-человек, надо подбирать по глазам, по номерам. Эти мне не годятся, возьми.

Севостьян, еще не понимая, не убирал руки со стола.

– Не берешь? Почему не берешь?

– Я уже сказала, что они мне не годятся, где ты их взял? Небось стащил? И иди, пожалуйста, не приставай, у меня работы много.

Севостьян постоял у стола, вертя очки в руке. Судьба к нему не благоволила. Вздохнув, он огорченно отошёл на свое место, открыл окно и выбросил очки во двор. Тщательно закрыв окно, сел на подоконник и опять стал смотреть на пальмы, похожие на метелки.

Украдкой наблюдая за Севостьяном, Ольга Петровна покачала головой и тоже вздохнула. – Детинушка! Господи, что же с ним делать? Что делать с таким детинушкой, способным свалить быка? Руки, как рычаги, упрямое, цвета порыжевшего сапога лицо, а ведь сущий ребенок. И не плохой, – думала Ольга Петровна. На прошлой неделе его поставили старшим в палату легочников. Он забежал на минуту к Ольге Петровне, довольный, радостный, что ему поручили такой ответственный пост, сделал таинственное лицо и сказал:

– Знаешь, кто я теперь?

– Кто? – с любопытством спросила Ольга Петровна.

– Я... я... – не находя слов, таращил глаза Севостьян; потом махнул рукой и выпалил: – Я – два Севостьяна!

Она удивилась. Заглядывая ей в глаза, Севостьян немного подождал, радуясь произведенному впечатлению.

– Не веришь? Нет? Один Севостьян – я, сам, младший сержант. Второй тоже я – старший палаты. Теперь веришь? – и столько простодушного довольства светилось у него в глазах, что оно обезоруживало.

К вечеру, впрочем, опять остался один Севостьян. В палате легочников строго запрещали курить, но легочники всё-таки иногда покуривали, – рьяно взявшийся за свои обязанности Севостьян сначала предупредил больных, а потом, застав за курением двоих, одного чуть не задушил одеялом, у другого отнял папиросу и силой уложил больного в кровать, так, что солдат жаловался, будто Севостьян сломал ему спину. Больные взбунтовались – главврач распек Севостьяна и прогнал на старое место. Севостьян не понимал, почему его прогнали, он же только наводил порядок? А как с ними поступать, если они не слушаются?..

Эмигрантка с 1919 года, Ольга Петровна работала в госпитале переводчицей. Начальство сторонилось её, – с солдатами она была

своей. Прямая характером, привыкшая «резать, правду-матку в глаза», Ольга Петровна сурово выговаривала солдатам за проделки, но и писала им письма, подолгу с ними разговаривала... Отвыкшие от семьи, от матерей и жен, многие охотно поверяли ей свои думы об оставленных родных, о доме, советовались о нею. Умея слушать, Ольга Петровна внимательно выслушивала длинные рассказы, поддакивала, где надо, старалась помочь, чем могла, чтобы подбодрить, поддержать простодушных людей. За душевную ласку солдаты платили тоже, чем могли и как умели: зная, что ей живется не сладко, они старались передать ей что-нибудь из пайка, или папирос, махорки, чтобы она могла обменять у немцев на продукты. Как она ни отказывалась, ей редко удавалось отказаться. Позавчера один из солдат позвал её и за дверью, чтобы никто не видел, сунул в руку пакетик и убежал. В канцелярии Ольга Петровна развернула сверток: в грязной газете была половина жареной курицы, почерневшей, с прилипшими обрывками бумаги, сдавленной, – солдат, наверно, прятал её под подушкой, если не под матрасом. Диетик, он не съел курицу за обедом, а оставил Ольге Петровне. Она не знала, радоваться ей или плакать, глядя на этот подарок, который вряд ли можно будет съесть, – жалкий подарок, но и такой дорогой, щедро данный от чистого сердца.

– Дети, дети, – часто повторяла она, вспоминая вечерами окружавших её солдат.

И Севостьян, сильный, здоровый, ударом одной руки могущий сбить с ног, тоже ребенок. Надо только по-человечески относиться к нему, он послушается и не будет красть очки, чтобы потом выбрасывать их. Слушают же её другие? Но иногда Ольгу Петровну пробирал страх, да понимает ли она Севостьяна? Что может справиться с его упрямой силой?..

В коридоре загромыхали быстрые шаги и в дежурку не вошёл, а вбежал помглавврач, за ним молодая женщина-военврач.

– Почему сразу не доложили, что лаборантки нет? – раздраженно говорил помглавврач.

– Но я вступаю на дежурство в десять, а Ильза приходит в девять. Я ничего не знала, – оправдывалась военврач.

– У нас никогда никто ничего не знает! Всегда так! – горячился помглавврач. – Севостьян! Возьми винтовку, пойдешь в село! Ольга

Петровна, не вышла на работу Ильза Кранц, а сейчас прибежала её соседка и говорит, что к ним забрались какие-то два солдата и безобразят. Чёрт знает, что! Пойдите с Севостьяном, узнайте, в чем дело. Ильзе скажите, чтобы шла на работу, дело стоит. Севостьян! Действуй энергично! Солдат заberi и приведи сюда, потом отправить в комендатуру. Живо, одна нога здесь, другая там!..

Гордый возложенной на него задачей, Севостьян так спешил, что Ольга Петровна едва поспевала за ним. Входя в село, Севостьян бубнил:

– С аэродрома солдаты, я знаю! Они всегда шляются, где не надо. Узнают они Севостьяна! Севостьян им даст!

Он был не на шутку разозлен. Опять с аэродрома и опять за девушками! На Ильзу Севостьян не обращал внимания: маленькая, черненькая, запуганная, она тенью проскальзывая на работу, также уходила домой – посмотреть не на что. Ильза работала в госпитале, когда он еще был немецким, новые хозяева оставили её, пока не было замены. Нет, Ильзой Севостьян не интересовался, но то, что к ней пришли чужие солдаты, распалило Севостьяна.

У небольшого двухэтажного домика остановились, Севостьян забарабанил прикладом в дверь.

– Тише, не надо прикладом, – попросила Ольга Петровна, но он продолжал стучать.

Сквозь грохот было слышно, как в домике поднялась беготня. Через две-три минуты дверь открыла старая заплаканная женщина. Что-то бормоча, вскрикивая, она пропустила их.

Севостьян бегом ворвался в комнату – на столе посередине стояла пустая бутылка из-под водки, два стакана, но в комнате никого не было. В кухне легкий ветерок колыхал оборванную занавеску на открытом окне.

– Они выскочили в окно! – по-немецки кричала женщина. Севостьян подбежал, глянул. – окно выходило в узкий дворик, никого в нем не было.

– Ушли, – буркнул Севостьян. Раздраженно захлопнув окно, он посмотрел на женщин, что предпринять? Потоптавшись, махнул рукой и недовольно поплелся в первую комнату.

Женщины вошли следом. Встав у притолоки, немка-мать продолжала невнятно стонать и жаловаться, а дверь во внутреннюю

комнату открылась и показалась Ильза. На её лицо спускались растрепанные пряди темных, почти чёрных волос, от них лицо казалось еще белее. Синенькая кофточка была разорвана до пояса и открывала такие же белые плечи и ничем не прикрытую жалкую и трогательную грудь. Сжавшись, нагнув голову, Ильза стояла, не шевелясь, и молчала.

Ольга Петровна начала было утешать плачущую мать, но заметила взгляд Севостьяна и остановилась: Севостьян слишком пристально смотрел на Ильзу. Медленно, словно не решаясь, он шагнул к ней, сделал еще шаг – и уже быстро подошёл к Ильзе и крепко взял за руку. Девушка вздрогнула, еще ниже опустила голову.

Поняв, Ольга Петровна бросилась к Севостьяну, схватила за рукав:  
– Ты чего? Назад Севостьян!

Не видя, он глянул на неё горящими глазами:

– Уйди!

– Оставь, Севостьян! Идем, нам время...

– Уйди.

– Что ты хочешь?

– Я сказал уйди, – бормотал Севостьян, отрывая Ольгу Петровну и оттесняя в сторону. Ольга Петровна упорствовала, борясь изо всех сил.

– Севостьян, перестань, как тебе не стыдно!

– Я тебе говорю, уйди! Хуже будет! – тяжело дыша, он оттолкнул её и бросился в комнату, втолкнув туда и девушку. Ольга Петровна вцепилась в шинель:

– Стой, Севостьян!

– А, – рассердившись, вскрикнул Севостьян. – Тебя не хватают, ты не дрыгай! – и с силой толкнул её.

Падая, Ольга Петровна видела, как захлопнулась за Севостьяном дверь. Немка стояла, притихнув, и остановившимися глазами тоже смотрела на дверь.

Ольга Петровна почти ползком добралась до кресла в углу, села, прикрыла глаза рукой. Она чувствовала себя словно окаменевшей, в ней будто всё вдруг застыло, опустело.

Через несколько минут Севостьян вышел, одной рукой опираясь на шинель, а другой волоча, за собой винтовку. Хмуро и немного смущенно посмотрев на Ольгу Петровну, он буркнул:

– Идем, тетка. – Видя, что она не встает и не отнимает руки от глаз, помолчав, Севостьян добавил: – Ты не серчай. Я говорил, уйди. Зачем в мое дело мешаешься? А ей всё равно, два иль три...

## ТРУДНЫЕ ДОРОГИ

Человек не рожден для поражений.  
Его можно убить, но не победить.  
Человек побеждает всегда.  
*«Старик и море». Э. Хэмингуэй*

### Вступление

Не знаю, как кому, а мне это совершенно необходимо, хотя бы изредка. Иначе, может, и не выдержать. И мне это не трудно: не надо даже особенно настраиваться, внутренне готовиться, наверно потому, что задолго до урочного часа я живу томимым Предчувствием освобождения. Я знаю: оно неминуемо будет. И я одно из утр я просыпаюсь с чувством удивительной легкости. Легко пробуждение, легки несуматошные сборы: вещи сами попадают под руку. Набит вместительный портфель – и довольно, в таком путешествии не нужно обременять себя ничем лишним.

Стакан чаю на дорогу, оглянуться – не забыл ли чего? – и я готов. Вчера и позавчера, все выющееся вокруг тебя и в тебе каждодневные (ты втиснут в него, как неразличимое колесико в неоглядную машину, сложенную из одних необходимостей, бессмысленно-огромно размахивающую своими маховиками и вертящую тебя в путанном, рассчитано-бестолковом ритме) остается в комнате, как ненужная одежда. К ней еще придется вернуться, это неизбежно, – я и сам не могу не вернуться, – пока пусть повисит за дверью на гвоздике.

Выхожу на непривычную мне улицу раннего утра. Немного свежо. На остановке трамвая поеживаются те, кому на работу. А мне не надо. И то, что не надо, а воздух, еще не испакощенный автомобильной вонью, прозрачен и чист – тоже тонкое и тихое удовольствие. Мне становится весело; я могу даже насвистывать что-нибудь умопомрачительно-нелепое, вроде буги-вуги. Я могу сейчас со всеми примириться и любовно, – мысленно, конечно, – даже всех об-

нять, вовремя вспомнив, что все люди братья. А глубоко во мне шевелятся чертики. Я подмигиваю сам себе: похоже, я кого-то ловко обвожу вокруг пальца. Будто я от кого-то убежал. Обман еще не состоялся, но дело в полном разгаре и он состоится, я в этом убежден!

На вокзале покупаю билет – кусочек картона, открывающий вход. Жаль, надо называть конечную станцию; было бы еще увлекательнее, если бы ее не знать, на худой конец, утаить. И от самого себя. Такая игра стоит свеч. Но не переступить. случайный партнер в темно-синей форме, за стеклянным оконцем, – разве он может участвовать в этой игре? Я капитулирую, утешаясь, что это меньшее из зол.

Может быть, со стороны, с точки зрения нормы (в чем она?), это смешно, отласт сумасшедшинкой, но я уже в поезде. Иду по вагонам, ищу свободное купе. В голове легкое кружение: могу делать, что хочу, ехать, куда хочу, ходить, где мне нравится, видеть и не видеть людей, уходить от них и от самого себя, отдаваясь тому, что ни к чему не обязывает и, допускаю, никому незачем не нужно. Это-то и хорошо! И не на один, а на много дней! Может, даже до бесконечности: а что, если возьму и не вернусь? И чувство отрешения растет, когда поезд трогается: мосты сожжены, концы отданы...

Закрываю глаза. Пусть отгрохочет на вокзальных стрелках, промелькнут пригороды и дачная смесь, которую я не люблю, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан. Поезд вырывается из городской ловушки, – я опускаю окно, с наслаждением высовываю голову.

Ветер дыбит волосы, рвется в легкие. У самого полотна ершится щетка седой травы ночью был мороз. Пробежала деревушка – теневая сторона ее черепичных крыш вымазана белым, с другой иней уже слизало солнце. Солнца не видно, оно у меня за спиной, но я чувствую, какое оно еще горячее, летнее. Черные тени телеграфных столбов прыгают назад и выскакивают навстречу; по откосу без устали мчится густая тень поезда.

Промелькнуло приплюснутое здание, с надписью, во всю стену: «Корнхауз». Я бы предпочел вытянутый в синь неба элеватор, где-нибудь в наших местах. И чтобы вместо этих аккуратных станций проплывали другие, скажем – Алексиково, Аксай, Зимовники. Чего стоит одна музыка слов! И не нужно бы этого пронзительного, такого европейского, поросячье-железного визга тормозов Хорошо бы сидеть не в этой узкой крысоловке, а в нашем просторном вагоне.

Покачиваясь, он неторопливо вез бы тебя по нескончаемым степям, пропахшим горечью полыни, ромашки, ковылем. По степям, спешить па которым некуда и незачем: давным-давно ведь сказано, что каждое путешествие, какое бы оно ни было и куда бы ни вело, рано или поздно приходит к концу.

Но я не ворчу. Я доволен обманом. Озорное чувство не оставляет меня. Поезд грохочет. И чувствуя себя частью его, брошенной вперед, я готов крикнуть паровозу:

– Давай, милый, наддай, наддай!

Я в недоумении отхожу от окна. Что случилось? Мне показалось когда-то, очень давно, мне также хотелось высунуться из окна и кричать то же самое. Когда это было и было ли вообще? Это ведь бывает, скажешь слово, сделаешь жест – и на миг тебе покажется, что точно такой же жест ты уже делал однажды, а когда, вспомнить невозможно Ты хорошо знаешь, безошибочным чутьем, что делал этот жест, но у тебя ощущение, будто ты делал его сто, двести, может быть и тысячу лет назад, не в этой даже, а в какой-то другой жизни. Глупость, конечно, но упрямо кажется, что ощущение твое верное, Может, этот жест сделал твой дед, прадед, почему знать? У меня в таких случаях на секунду – тревожное чувство, будто я прикоснулся к неразрешимой тайне.

Ничего таинственного нет. Я вспомнил. Ну, да, после трех лет в тайге конвой привел нас и посадил в арестантский вагон. И когда я забрался в тепло, в тьму верхней полки и через несколько минут почувствовал полет поезда, я опьянел от радости. В коридоре, за решеткой, покачивался штык конвойного – мне не было до него никакого дела. Мысленно я высовывался из окна и кричал паровозу: «Давай, милый, жми, вперед». Тогда я тоже знал мосты сожжены.

Это не плохое воспоминание. Но от него трудно отделаться. Оно тянет за собой нитку, с болтающимися на ней обрывками других воспоминаний, требующими, чтобы их подобрали по порядку, привели к какому-то итогу Как будто можно подвести итог. Я закуриваю, выхожу в коридор.

В купе незаметно, а здесь видишь, как мотает вагон болтается из стороны в сторону длинная коридорная пустота Я качаюсь вместе с ней. Опираюсь на стену. В нос лезет цветной лоскут «Где хотите провести свой отпуск?» Париж, Рим, Неаполь, Афины, Мадрид, Лондон. По лоскуту ползут красные, желтые, синие линии. Одна,

черным изломом сверху вниз, что-то напоминает. Я отмахиваюсь от нее. На повороте снова пронзительно завизжали тормоза. Чорт, я отлично помню такой же однажды вывернувший меня на изнанку визг! Полночь, томный коридор, дверь. Перед дверью плотная черная фигура. Я заносу над ней длинный нож – и в уши, в грудь, в сердце ввинчивается этот ни на что не похожий сумасшедший визг... Я таращу глаза, тру лоб, вздыхаю: мне не везет. Я хорошо помню и эту жирную черту, и поросячий визг. Их не забудешь. И не выкинешь из головы, даже сейчас.

С досады швыряю сигарету. Теперь нитка поползет – и скрутит крепче нейлоновой веревки. И с ней ничего не поделаешь. Пока ее не размотаешь, она не даст покоя. Что же получится с моим бегством, как уйду я в свое утлое освобождение? Игра проиграна, обман обнаружился. Впору прыгать в окно, как Подколесину.

Нет, я не сдамся. Я знаю верный способ. Пока поезд идет, у меня есть время. Я лягу сейчас на скамейку, положу под голову портфель, буду курить без передышки – и размотаю эту нитку до конца...

## **Петр Твердохлеб**

Узкая, вытянутая в длину камера. С одной стороны – две койки из жердей, на одной Твердохлеб, напротив я. С другой стороны – нары на несколько человек, там Хвощинский. Посреди камеры круглая печка из куса обсадной трубы. Против нее – запертая снаружи дверь в коридор; в стене щель, вместо окна, на уровне головы.

В уборную и на прогулку выводят, держа наган в руке. За проволоккой встает еще один охранник с винтовкой. Нас крепко стерегут – для смерти.

Так надо прожить еще три месяца. Как это томительно долго! И как мало осталось нам жить!..

Сначала Твердохлеб много рассказывал о себе. Неторопливо, по частям, он говорил о своем детстве, о селе, о побегах, о тюрьмах. Части складывались – получалось целое, странное и загадочное, чего до конца, наверно, никогда не понять – получалась жизнь человека.

Твердохлеб не помнил родителей, он вырос в семье дяди. С малых лет пас птицу, потом скотину, подростком работал в поле. Безногий солдат научил его читать, по копеечным книжкам с лубочны-

ми картинками. И ему захотелось узнать, откуда взялись слова, почему стол называется столом, а не иначе? Почему возникла странная связь слов, взявшая человека в плен?

Он по-своему догадывался, что от этой связи таинственным образом зависит вся жизнь людей – и хотел разгадать чудо. В селе откуда-то нашелся толстый энциклопедический словарь. Твердохлеб вызубрил его от доски до доски, считая, что если он узнает значение каждого слова, он будет знать все. Но слова были мудреные, непонятные, и знания не получалось, в голове образовалась каша – она еще сильнее будоражила, заставляя думать, искать дальше. Он пошел в церковь, прислуживал священнику, брал у него Евангелие, Библию, читал Жития Святых, – чтение увлекало, но многое оставалось непонятным и, как казалось ему, он не находил того, что ему было нужно. Спрашивал священника – тот оказался невежественным и только оттолкнул мальчика от церкви.

В селе был, как водится, колдун, была и своя ведьма. Твердохлеб долго приглядывался к ним, было жутко, но, может быть, разгадка у них? Он вошел в доверие к колдуну, по его наущению следил за ведьмой, с которой колдун враждовал; подглядывал ночью к ведьме в окно, лез на крышу и смотрел в трубу, ожидая, как ведьма вылетит на помеле. В горшке варил кости черной кошки, нашептывал заклинания; проверяя чудодейственную силу колдуна, сидел ночью на кладбище, ходил на перекресток дорог и бросал в вихри остро отточенный нож – не окрасится ли он кровью бесов, поднявших вихрь? Долго занимала его всякая нежить и нечисть. Ему казалось, что он видел, как уносилась на помеле ведьма к звездам, слышал лешего в лесу, русалок в речке, встававших из могил мертвецов, – обливаясь от страха потом, он упрямо старался разгадать свои видения. Потом словно вдруг прозрел и понял, что никакой нечисти нет и стал зло издеваться над колуном и ведьмой, разоблачая их перед односельчанами.

В пятнадцать лет, по совету нового священника, Твердохлеб пешком отправился в Киев. По дороге в первый раз увидел железную дорогу, на Днепре пароходы, хотя то и другое давно знал по энциклопедическому словарю. После глуши Подольщины, Киев удивил, но не понравился: еще путаннее, непонятнее. Он поступил в духовную семинарию. За год с небольшим в ней Твердохлеб совсем отошел от церкви: преподавание казалось ему сухим, церковные

догмы черствыми и связывающими, семинаристы распутными. Живая душа Твердохлеба не находила в семинарии самого важного, чего он искал: живого проникновения в жизнь, ее разгадки. Он вернулся в село.

Несколько лет заняло упорное желание забыть все, что он узнал в семинарии. Он чувствовал так, что семинарские знания только мешают его непосредственной связи с жизнью. Твердохлеб вернулся к Библии, годами перечитывал ее, одолевая сам и понимая по-своему.

К двадцати пяти годам Твердохлеб нашел себя. Годы напряженного раздумья привели его к тому, что он стал основателем новой секты и ее проповедником. Его учение было просто и понятно крестьянам: надо жить по слову Божию, подчиняясь десяти заповедям. Выше нет закона для человека. Кто нарушит и раскается – к тому надо быть, снисходительным, он такой же брат, как и любой человек. Но к тому, кто не раскаялся и продолжает преступать – надо быть беспощадным. Духом Ветхого Завета веяло от суровой веры Твердохлеба.

Он женился и показывал односельчанам пример нравственной жизни. С женой был строг, но справедлив и человечен, детей своих любил и ласкал, но не баловал, прилежно работал и хорошо вел хозяйство. И Твердохлеб стал духовным вождем и авторитетом для крестьян всей округи. К нему шли слушать проповедь, – он не, получал, а беседовал с людьми, сидевшими рядом с ним на куче дров или прямо на земле. Твердохлеб задавал вопросы, сам отвечал на них, приводил примеры из жизни своих односельчан. Шли к нему и за советами, был он и крестьянским судьей.

Давно установилась советская власть, но в этой глуши она не мешала крестьянам. Твердохлеб признавал власть, пока она не слишком докучает людям. Налоги надо платить, повинности нести, без этого нельзя, но, повинности не должны быть несправедливыми, очень большими, И все обходилось – пока не началась коллективизация.

Твердохлеб ее не принял. Коллективизация, считал Твердохлеб – против Бога и против человека. К нему валом валили крестьяне – он открыто говорил свое мнение и стал вождем стихийного сопротивления. Он не предлагал убивать присылаемых из города партийцев, разгонять уже собранные в колхозы кучки активистов, противиться хулиганству комсомольцев, но крестьяне партийцев убивали, комсомольцев били, не вступали в колхозы, и власть знала, что во главе

крестьянского волнения в районе – Твердохлеб. Его арестовали, увезли в город, там дали десять лет и отправили в концлагерь.

Он принял это прежде всего, как ужасающую несправедливость по отношению лично к нему. Чуть не двадцать лет ему понадобилось, чтобы создать себе веру, как надо жить, он был твердо убежден, что его вера правильна, в ней не было ничего против человека, недаром же он приобрел уважение крестьян. Это внушало ему уважение и к себе. Теперь оказалось, что он будто бы неправ. Ошибка, преступление?

В тюрьмах он узнал о массовых расстрелах, о раскулачивании и высылке миллионов крестьян, увидел тысячи других – невинных людей. Впервые трагедия раскрылась перед ним не в рамках его села, а в масштабе всей страны. Это его потрясло. Он не любил города и считал, что праведная жизнь может быть только в деревне, на земле, – в нем возникла острая ненависть к городу. Но рядом сидели горожане, они мучились вместе с ним. Честность ума Твердохлеба не позволяла ему обвинять огульно город и горожан, – нет, в этой вакханалии надо разобраться. Откуда она, как не от человека, такого же, как он? И постепенно начала подтачиваться и рушиться его вера в человека, в жизнь, – и в ту веру, которую он создал себе с таким трудом.

В тюрьмах Твердохлеб встретил ученых людей – профессоров, инженеров, политиков. Он осторожно выпытывал их, выпрашивал, потом и спорил, стараясь защитить свою веру. Многие из этих искушённых в диалектике людей, кто насмешливо, кто мягко, но настойчиво, легко клали Твердохлеба на лопатки. Он не соглашался, уже яростно отвергал их неоспоримые доводы, ограждая себя, – а в душе копились сомнения, ей наносились раны, образовывалась пустота. Его поразило, что все может быть относительным, все условным и нет силы, на которой можно встать и утвердиться. Это окончательно рушило, его веру и уважение к человеку. Человек оказался дьяволом, лишаящим самого себя основания для унижения. Жизнь – только ад и можно верить лишь в этот ад, созданный неизвестно зачем.

В пересыльном корпусе Бутырок Твердохлеб долго сидел с анархистами, они посвятили его в тайны организации государства и власти и утверждали во мнении, что все зло от них и от них нельзя оставлять камня на камне. Уже не зная, что слушать, Твердохлеб

сначала прислушивался к анархистам, потом даже не отверг, а отвернулся, – от этой встречи осталась только уверенность, что все неправедно, все надо отринуть. Но что надо утверждать?..

Дикий, взъерошенный, Твердохлеб был, как в огне. Его съедала ненависть, презрение, отвращение и к себе самому, и ко всем на свете. Не во что было больше верить и ничего не было достойным уважения. В душу вполз разъедающий цинизм, в ней хаос из обрывков мыслей и сжигающих страстей. Кое-как подчиняться внешним установлениям, не имеющим никакой внутренней ценности, чтобы кое-как влачить потерявшую смысл жизнь? Он подчинялся, скрывая в себе клокочущий бунт.

Когда в лагерь пришло злополучное письмо<sup>1</sup>, Твердохлеба ничто не могло бы удержать. Два раза он пересек Россию с севера на юг и убил председателя колхоза. Он знал, что председатель – ничтожный винтик, но не мог совладеть с собой. Он убивал, мстя за уничтожение своей веры, уничтожая самого себя, – Твердохлеб не мог жить, ни во что не веря...

В нашей камере он казался мне огнедышащей горой. Укрытый на своей койке бушлатом с головой, он глухо стонал, скрежетал зубами иди шумно, на всю камеру, дышал, будто непрерывно вздыхая. В другой раз я наталкивался на упорный взгляд раскаленных глаз, – он неподвижно смотрел на меня, но меня не видел. Страшно становилось от этого взгляда. Что еще, какие сны и мысли мучают его? Негасимое пламя ест его, заставляет стонать и корчиться, – но не так ли корчится и вся Россия? Не так ли корчится и весь мир?..

---

<sup>1</sup> Твердохлеб получил письмо, что его жену принудил к сожительству председатель колхоза.

# Анстей

(наст. фамилия Штейнберг)

## Ольга Николаевна

*(1912–1985) – русская и украинская поэтесса, переводчица, прозаик, критик.*

В 19 лет окончила Киевский Институт иностранных языков со специализацией в английском и французском языках. Работала машинисткой и переводчицей.

В 1937 году вышла замуж за Ивана Матвеева (будущего поэта Елагина). Вместе с ним покинула в 1943 году оккупированный Киев. Свое неприятие фашистских зверств Анстей выразила в поэме «Кирилловские яры» (1943), проникнутой библейской символикой. Этот был первый поэтический рассказ о трагедии Бабьего Яра, находившегося рядом с Кирилловой церковью.

В 1946-м супруги оказалась в лагере Шлейсгейм, где велась довольно активная литературная жизнь: издавались на ротаторе журналы, приезжали с лекциями жившие в Германии писатели послеоктябрьской эмиграции Ирина Сабурова, Нонна Белавина, Юрий Иваск, навещали Матвеевых Борис Нарциссов и Борис Филиппов. Жизнь в мюнхенском лагере Ди-Пи нашла отражение в ряде стихотворений Анстей. Не напечатавшая на родине ни одного стихотворения, Анстей начинает с 1946 года активно печатать свои стихи, рассказы, статьи, рецензии в эмигрантских журналах. Ее имя значится в знаменитом сборнике поэтов-«дипийцев» «Стихи» (Мюнхен, 1947), высоко оцененном поэтами первой волны. В Мюнхене же в 1949 г. вышла ее книга «Дверь в стене», включивший 34 стихотворения 1930–1948 гг. Хорошая знакомая поэтессы Татьяна Фесенко считает, что стеной был неприемлемый для Анстей немецкий и лагерный быт, а дверью – поэзия и любовь.

Еще в лагере Ольга Николаевна влюбилась в поэта князя Николая Всеволодовича Кудашева. Любовь эта не была счастливой и ассоциировалась самой поэтессой с фёном – юго-западным ветром, вызывающий болезненные ощущения и даже помешательство. Но чувства



поэтессы «свечение женское» воплотились в целом ряде замечательных стихотворений («Сон пугает сказкой былой...», «На тебя доказчиков немало...», «Я примирилась в сущности с судьбой»), проникнутых и страстным чувством прыгнуть в омут любви, «как с бревна купальни в пруду»; и болью («в разлуке леденею»); и страхом за судьбу любимого. «Любовь не судит – любит», – смиренно утверждает поэтесса.

Переехав в 1949 году в США вместе с мужем (так того требовали правила американской эмиграции), Ольга Николаевна настояла на разводе.

Не принес счастья и второй брак (1951) с прозаиком, поэтом и литературоведом Борисом Филипповым. Расставанию через год после бракосочетания способствовало и то, что Анстей любила Нью-Йорк, где у нее была интересная работа переводчицей в ООН, а Филиппов должен был жить Вашингтоне.

Правда, не прекращались дружеские отношения с Елагиным. Этому способствовало и общее горе потери первой дочери (глубоко верующая поэтесса посвятила девочке стихотворение «На юру»), и забота о талантливой, но очень непростой второй дочери Елене, родившейся в берлинском бомбоубежище в 1945 году. Более того, О. Анстей сблизилась с новой семьей Елагина, подружилась с его женой Ириной Даннгейзер. «Неизжитая материнская сила» воплотилась в ее любви к их сыну Сергею, которому посвящено стихотворение «Сыну названному». Тесная дружба связывала поэтессу с другой одинокой женщиной – тонким лириком и прозаиком Лидией Алексеевой, хотя и относившейся к первой эмиграции, но прошедшей все испытания, выпавшие на долю ди-пийцев.

Критика дружно отмечала, что переносить тяжести жизни, гармонизировать, «переплавлять», подобно тому, как это делал ее любимый персонаж Б. Пастернака доктор Живаго, в прекрасное и вечное поэтессе помогала глубокая религиозность. Анстей была не только верующим человеком, но и воцерковленным: псаломщицей Свято-Серафимовского храма в Си-Клиффе (штат Нью-Йорк). «Безбольной радости на этом свете нет». «Этот мир, как трудные роды / Убивает и жить велит». И все «мы в руках Живого Бога», – писала она в стихотворении «Ночью». Целый цикл ее стихов назывался «Паперть». Ряд произведений посвящен церковным праздникам. Особенно любит она Пасху. При этом библейские образы поэтесса

связывала с родным ей Киевом. Днепр у нее – святой, река Вавилонская; а столица Украины – «многохолмный наш Сион». Говоря о Риме или Афинах, писательница неожиданно завершает стихотворение словами о «печальном русском снеге». Анстей любит фольклорные образы, примером чему являются стихотворения «Обет», «Полюнок (заклинание)». Впрочем, целый ряд ее произведений включает в себя персонажи античной мифологии.

В последние годы жизни Ольга Николаевна дважды (в 1965 и 1971) посетила Киев и с радостью отметила, что «открывает уста страна моя». И тут же – очередной евангельский образ: «поднялась гробовая плита».

Нет, наверное, ни одного поэта, который бы не задумался о своем отношении к литературе, к слову. Анстей – не исключение. Целый цикл ее стихов близок своим названием к циклу М. Цветаевой: у Цветаевой – «Стихи о столе», у Анстей – «Стол у окна». Автор говорит о «Божьих дарах» поэта, о «сердце, хлопающем веселым сквозняком», когда создаются стихи. Поэзию она считает и искусством, и мастерством, требующим полной самоотдачи:

Пока не свалят на покой,  
Пока рукой к перу тянуса,  
В высокой верности клянуса  
И ремеслу и мастерской.  
(Клянуса нахмуренной водой...)

Поэт, по Анстей, – бог на «празднике, на званом пиру», ему «никто не страшен», но вечен только русский язык, который и после ухода поэта с пира, «бушует дале».

Высшим образцом мастерства и искренности Анстей считала Б. Пастернака. Еще в 1951 году она написала статью «Мысли о Пастернаке». В 1960 – «Новый Пастернак». Пастернаку посвящены стихотворения «Выходной день», «Именины», «Твои похороны». Анстей принадлежат статьи-эссе «Златоустая Анна всяя Руси», «Сама по себе: О поэте Лидии Алексеевой», «Мастер и Они: О стихах Бориса Нарциссова» («Новый Журнал». 1983).

В 1976 году в Питтсбурге вышел второй и последний сборник поэтессы – «На юру», включивший в себя 66 стихотворений, в том числе несколько старых, из предыдущего сборника.

В дальнейшем стихи Анстей продолжали печататься в «Новом Журнале» и в альманахе «Встречи» (Филадельфия). Два рассказа О. Анстей «Фонарик» и «Утром» опубликованы в 126 номере «Нового журнала» (1977).

Перу Анстей принадлежит несколько стихотворений на украинском языке, в том числе переводы ее русских стихов. Блестящий знаток английского языка, она перевела повесть Стефана Винсента Бенэ «Дьявол и Даниэль Вебстер» (Нью-Йорк, 1960). Известны ее переводы прозы и поэзии А. Теннисона (1809–1892), Р. М. Рильке (1875–1926), Г.К. Честертона (1874–1936), Д. Уолтера Де Ла Мара (1873–1956) драматурга Д. Хаусмана (1902–1988). Это свидетельствует о широком круге интересов писательницы.

Умерла Ольга Николаевна Анстей 30 мая 1985 г. в Нью-Йорке.

Архив писательницы погиб.

## Сочинения

Дверь в стене: Стихи. – Мюнхен, 1949.

На юру: Стихи. – Питтсбург, 1976.

Алексеева Л., Анстей О., Синкевич В. Поэтессы русского зарубежья. – М.: Сов. Спорт, 1998

## Публикации

Бабье лето // *Грани*. 1946. № 2.

«Было утро первозданных теней...» // *НЖ*. 1952. № 28.

Душная ночь в Манхеттене // *НЖ*. 1970. № 101.

Златоустая Анна всяя Руси // *НЖ*. 1977. № 127.

Карнавал // *Возр*. 1951. № 17.

Колодец Дианы в Мюнхене // *НЖ*. 1949. № 22.

Лесные глаза // *Грани*. 1954, 23.

Моей девочке // *НЖ*. 1970. № 101.

Мысли о Пастернаке // *Лит. совр*. 1951. № 2.

На юру // *Конт*. 1977. № 11.

Новый Пастернак // *Грани*. 1960. № 45.

Оно // *НЖ*. 1952. № 28.

«Открывает уста моя страна...» // *НЖ*. 1981. № 142.

Отрывок // *Грани*. 1959. № 41.

Песня о песне // *Лит. совр*. 1954.

Польнок // *НЖ*. 1970. № 101.

Пушкин и общемировая культура // *Лит. совр*. 1954.

Рассказы // *НЖ*. 1977. № 126.

Сама по себе. О поэте Л. Алексеевой // *НЖ*. 1980. № 141.

Сказки. (Посвящается А.М. Ремизову) // *Возр.* 1957. № 66.

Стихи // *НЖ*. 1957. № 48; 1971. № 103; 1974. № 117; 1975. № 119; 1977. № 126, 128; 1979. № 137.

Стихи // *Встречи*. 1977, 1979, 1983, 1986, 1990, 2000.

Стихи // *Мосты*. 1959. № 2.

Стихи // *Грани*. 1951. № 14; 1954. № 21; 1958. № 37; 1959. № 44; 1976. № 100.

Стихотворение // *Опыты*, 1953. № 2.

Три стихотворения // *НЖ*. 1962. № 70.

Три стихотворения // *Мосты*. 1958. № 1.

Четыре стихотворения // *НЖ*. 1960. № 62.

Это // *Лит. совр.* 1951. № 1.

## КИРИЛЛОВСКИЕ ЯРЫ

### I

Были дождевики в безветренный день.  
 Юностью терпкой колот терновник.  
 Сумерки и ковыляющий пень,  
 Сбитые памятники, часовни...  
 Влажной тропинкой – в вечерний лог!  
 Тоненькой девочкой, смуглой дриадой –  
 В теплые заросли дикого сада,  
 Где нелюбимый и верный – у ног!..  
 В глушь, по откосам – до первых звезд!  
 В привольное – из привольных мест!

### II

Ближе к полудню. Он ясен был.  
 Юная терпкость в мерном разливе  
 Стала плавнее, стала счастливей.  
 Умной головкою стриж водил  
 На меловом горячем обрыве.  
 Вянула между ладоней полынь.  
 Чебрик дрожал на уступе горбатым.

Шмель был желанным крохотным братом!  
Синяя в яр наплывала теплынь...  
Пригоршнями стекала окрест  
В душистое из душистых мест.

### III

Дальше. Покорствуя зову глухому,  
На перекресток меж давних могил  
Прочь из притихшего милого дома,  
Где у порога стоит Азраил –  
Крест уношу, – слезами не сытый,  
Смертные три возносивший свечи,  
Заупокойным воском облитый,  
Саван и венчик выдавший в ночи...  
Будет он врыт, подарок постылый,  
Там, в головах безымянной могилы...  
Страшное место из страшных мест!  
Страшный коричневый скорченный крест!

### IV

Чаша последняя. Те же места,  
Где ликовала дремотно природа –  
Странному и роковому народу  
Стали Голгофой, подножьем креста.  
Слушайте! Их поставили в строй,  
В кучках пожитки сложили на плитах,  
Полузадохшихся, полудобитых  
Полузаваливали землей...  
Видите этих старух в платках,  
Старцев, как Авраам, величавых,  
И вифлеемских младенцев курчавых  
У матерей на руках?  
Я не найду для этого слов:  
Видите – вот на дороге посуда,  
Продранный талес, обрывки Талмуда,  
Ключья размытых дождем паспортов!  
Черный – лобный – запекшийся крест!  
Страшное место из страшных мест!

\* \* \*

От Рима, от Афин, где не была,  
На памяти остался взмах любовный  
За пазухой, под радугой крыла  
Комочек, птенчик, шарик теплокровный  
Ладони дно едва обнажено  
Прошли сады, а в них купалось солнце  
Здесь нежности льняное полотно  
Под нами до рассвета развернется  
Средь душных апельсиновых цветов  
Сольются наши голоса и лица  
У моря жар, бронхит у городов  
И мчит Афина к ним на колеснице  
И бледная после июльских нег  
Встает Европа, здравствуй, привиденье  
И все идет печальный русский снег  
И голуби пасутся в отдаленьи...

## **РУССКИЙ ЯЗЫК**

Он снился мне титаном-кораблем  
Под вздутыми седыми парусами,  
И чудилось: пока мы с ним, на нем –  
Мы даже, может быть, титаны сами.

На малый час – но счастливы сполна,  
Хоть за корму крутую подержаться,  
Пока за борт не смоеет нас волна...  
А он – титан – он будет дальше мчаться.

Иль так еще: он – праздник, званный пир.  
И мы званы! И мы вкушаем брашен  
И пьем живую воду из кратир, –  
И боги мы, и нам никто не страшен.

Но знаем: ненадолго мы в гостях,  
И на глоточек лишний жадно метим,

Сжимаем хлеб преломленный в горстях  
И прячем от стола объедки детям.

Для новых бражников нужны места –  
И смена яств идет в высокой зале,  
И нас, еще не вытерших уста,  
Уводят спать. А пир бушует дале.

\* \* \*

Я примирилась, в сущности, с судьбой,  
Я сделалась уступчивой и гибкой.  
Перенесла, что не ко мне – к другой  
Твое лицо склоняется с улыбкой.

Не мне в твой зимний именинный день  
Скобленный стол уставить пирогами,  
Не рвать с тобою мокрую сирень  
И в желтых листьях не шуршать ногами...

Но вот когда подумаю о том,  
Что в немощи твоей, в твоём закате –  
Со шприцем, книжкой, скатанным бинтом –  
Другая сядет у твоей кровати,

Не звякнув ложечкой, придвинет суп,  
Поддерживая голову, напоит,  
Предсмертные стихи запишет с губ  
И гной с предсмертных пролежней обмоет –

И будет, став в ногах, крестясь, смотреть  
В помолодевшее лицо – другая...  
О Боже, я в мольбе изнемогаю:  
Дай не дожить... Дай прежде умереть.

**ПАСХА ХРИСТОВА**

Евангельской простоте,  
Евангельскому веселью  
Раскрыты недели те,  
И двери раскрыты в келью,

И сдвинут, как камень, пост,  
Виниться нельзя и не в чем,  
И с краешка крыши дрозд  
Орудует горлом певчим.

Кругом обступает меня,  
По дому вихрем летая,  
Ребячья, щенячья возня,  
Ликующая, святая!

Вбегают в пасхальный свет,  
Смеясь и ласково вздоря,  
Как будто и не было лет  
Немого железного горя,

Как будто зелёный венец  
Апрелем для них уготован.  
Как будто не завтра конец –  
Как будто...

И падает слово.

# Ант

(Трипольский)

## Владимир Николаевич

*(1908–1980) – поэт, художник-график.*

Родился в Киеве в семье директора женской гимназии. Отец умер рано и его с сестрой воспитывала мать. Получив техническое образование, работал инженером-гидротехником на строительстве речного порта.

В сентябре 1943 г. вместе с потоком беженцев оказался в Германии, а в 1951 году эмигрировал в США: жил в Нью-Йорке, а с 1964 в Сан-Франциско, принимал деятельное участие в общественной и в работе кружка поэтов и писателей «Литературные встречи»

Стихи начал писать еще в Советском Союзе, но не печатал.

В 1964 вышел его первый сборник стихов «Мои танки: лирические миниатюры» с рисунками С.Л. Голлербаха и предисловием Вяч. Завалишина. «Танка» – форма японского стиха, означает «короткая песня». Танка не знает рифмы, но имеет ритм и состоит из пятистишия и 31 слога. В своих лирических миниатюрах Ант не соблюдает этих требований, но стремится сохранить философский характер стиха, придать японской лирической танки русский дух, внести в ее содержание радости и скорби жизни русского эмигранта.

Несколько стихотворений Анта посвящены животным, в том числе, маленькая поэма «Двугорбый», построенная на реальном факте спасения его заболевшего отца в степных сугробах на санях, запряженных обозным верблюдом.

Ант едва ли не единственный в литературе послевоенной эмиграции, кто создал стихотворную сказку для детей «Мал-Кок-Тит» (1966) – рассказ про желудевых человечков. Отпечатанная в Испании на мелованной бумаге с 28 черно-белыми рисунками художника А. Бобра, она является образцом книгоиздательства.

В дальнейшем Ант работал в таких поэтических жанрах, как поэмы, баллады, сонеты и басни.

В 1971 году он выпустил книгу «Песни Космоса и Земли».

В 1977 с предисловием проф. М. Губерта издана книга стихов – «По следам Баяна», куда в цикле «Бессмертные» вошли поэмы «Достоевский», «Драматург Островский», «Русский гений Пушкин», «Великий Петр». Цикл «Наша романтика» утверждает красоту мира вопреки злу и ужасам бытия. «Ищите красоту не только там, где чисто, – пишет Ант, – Но даже среди руин, где пауки и прах». Исторический интерес представляет стихотворный рассказ поэта о переезде ди-пейцев в США («Исход из Старого Света»). Точностью наблюдений и оригинальностью формы отличается цикл «Собачьи сонеты» («Овчарка», «Дворняжка», «Бульдог», «Такса» и др.). Завершается книга циклом романтическим «Песни бриза», включающим в себя «Флоридские мелодии» и «Гавайские мелодии».

После смерти поэта в 1982 его вдова Людмила Владимировна Трипольская (Стоцкая) издала сборник неопубликованной лирики поэта «Прощальный ветер», куда вошли стихотворения о Киеве, поэма о Лермонтове и басни-сатиры.

## Сочинения

- Мои танки. Лирические миниатюры. – Н.-Й., 1964  
 Мао-Кок-Тит. – Сан-Франциско, 1966  
 Песни Космоса и Земли. – Сан-Франциско, 1971  
 По следам Баяна. – Сан-Франциско, 1977  
 Прощальный ветер. – Сан-Франциско, 1982



### О ТАНКЕ И ТАНКЕ

(Вместо вступления)

Японская лирическая танка  
 Весьма отлична от стального танка.  
 Танк – это злой и грубый великан,  
 Который ходит всюду гибель сея,  
 А танка – бабочка дальневосточных стран,  
 А танка – нежная лирическая фея!..

## ЖУРАВЛИ

Летят на юг высоко журавли,  
И листья желтые шуршат в моем саду,  
И грустно мне уйти с моей земли,  
И знаю я, что больше не приду...

ВЛАДИМИР АНТ

---

„МОИ ТАНКИ“

ЛИРИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ

---

НЬЮ ИОРК 1964

**КАТАСТРОФА**

Я катастрофу видел проезжая,  
Нагромождение вагонов и колес.  
Казалось, то страна моя родная  
На полной скорости сорвалась под откос.

**ОДИНОЧЕСТВО**

Мычат коровы. Сизый пар  
Клочками тянется с реки.  
Весенний вечер. – «Ты не стар,»  
«Но одинок...» Жужжат жуки...

**СТРИЖ**

Подбитый стриж по берегу болота  
Поспешно ковылял и волочил крыло.  
Он мне меня напомнил отчего-то.  
Не так ли я подбит невидимой стрелой?

**КАМЕНЬ**

Лежит здесь камень, видимо, давно,  
А я стою и думаю над ним.  
Пройдут века, но камню все равно,  
А думавший рассеется как дым...

**СКАЗКА**

Всплыла луны серебряная маска.  
Мелькнул летучей мыши силуэт.  
Казалось мне, сейчас начнется сказка.  
Я ждал и ждал, а сказки нет как нет...

## ТЕНЬ АПОКАЛИПСИСА

Как жаль, что славный город Сан-Франциско  
На берегу холодных бурных вод  
Впал в мерзость запустенья и невзгод.  
По улицам ходить нельзя без риска,

Как по губам у пасти василиска,  
Что стал гнездом пороков, гнусных мод,  
Лохматых лбов, чудовищных бород,  
С моралью, павшей небывало низко,

С господством разрушительных идей,  
С людьми, что непохожи на людей.  
И ждешь, как для Содома, наказанья

И веришь, что наступит страшный миг,  
Как говорят индейские сказанья,  
Когда в волнах исчезнет материк.

## СЕНБЕРНАР

Он роста колоссального и силы,  
Косматый, вислоухий великан,  
В стране, где высится средь гор Монблан  
И где солдат суворовских могилы.

Там тропы горные таят обман,  
А пропасти туманны и унылы.  
Но начеку бывают старожилы,  
Когда в метель сигнал тревоги дан.

Давно в горах суровые монахи  
Породу этой вывели собаки.  
И путника, застрявшего в снегах.

Она находит с сумкой санитаря.  
За ней спешат и горец, и монах,  
Благословляя службу сенбернара!..

**ТИХИЙ ОКЕАН**

Он, верно, «Тихим» назван был в насмешку,  
Холодный, бурный этот океан,  
Над чьими побережьями туман  
С беснующимся ветром вперемешку.

Неукротимый в ярости титан,  
За кем луна ведет ночную слежку  
И чьи приливы двигает, как пешку,  
К далеким берегам различных стран.

Он опьянен чудовищными снами...  
Родятся в нем тайфуны и цунами!  
Вулканами, как стражей, окружен.

От мыса Горн до пасмурной Камчатки,  
Он всюду дерзко лезет на рожон  
И проявляет хищные повадки!..

---

# БАБЕНКО

## Виктория Александровна

(род. 1924) – поэт.

Родилась в Одессе. Уехала из России в 40-х гг. В 1959 г. окончила Гамбургский университет в Германии. Работала в журнале «Der Spiegel». В 1964–1968 гг. преподавала русский язык и русскую литературу в Институте Американской Армии в Гармиш-Партенкирхене.

Эмигрировала в США в 1968 г. Была профессором русской литературы в Университете штата Огайо (1968–1973) и в колледже Уильяма и Мэри в штате Вирджиния (1973–1989)

Стихи начала писать в школьном возрасте, но серьезно занялась поэзией только в эмиграции. Источником лирического вдохновения стали встречи в различными людьми, в том числе с вузовскими коллегами и студентами; путешествия по различным странам. По ее собственному утверждению, «стремление к свободе и духовным высотам наряду с разрушительными силами – войной, техникой и государственными репрессиями человека – занимают важную часть сборников “Грусть” (1972), «Струны сердца» (1973). Отсюда скрещение риторики и иронии со строгостью и четкостью музыкального слога».

### Сочинения

Грусть. – Columbus, Ohio: Б.и., 1972.

Струны сердца – Columbus, Ohio: Б.и., 1972.

### Публикации

Стихи // *Встречи*. 1990



День за днем. И не видно конца.  
Месяц в тучах глядит бледнорогий  
На осенние камни дороги,

На смертельную бледность лица.  
В гости едет отец одноногий,  
Дочь-калека встречает отца.

## ОСЕНЬ

Желтые деревья.  
Красные кусты.  
Опадают перья  
летней пестроты.  
Ржавчиной покрылись  
влажные поля.  
Тихо омрачились  
небо и земля.  
Снова осень. Снова  
в сердце грустью бьет.  
Скоро всё сурово  
снегом занесет.  
Красные деревья.  
Желтые кусты.  
Годы лицемерья, –  
времени кресты.

## СЛОВО

*Г.Л.*

### 1

И опять мне от тебя ни слова...  
Жаром обжигает грудь.  
Дикое отчаяние снова  
Не дает мне ночью отдохнуть.  
Вероятно, потеряли силу  
Непроизнесенные слова.  
Вероятно, много я просила, –  
Глупая, бездомная сова.

2

На стене старинные картины –  
Чей-то мир зовет издалека.  
А закат в кровавые гардины  
Смотрит взглядом дикого быка.  
Я одна. И никого со мною.  
Зарево и с окон и с углов.  
Это ты со всех концов за мною  
Посылаешь пламенных послгов.  
Выполнят приказ они суровый,  
И должны меня испепелить...  
Только силу снова получило слово  
Мир смогло оно остановить.

**МОЙ ГОРОД**

Страшен,  
Страшен мой город.  
Дрожит он в оковах бетона.  
Тонны бетона,  
Запах бензина, гудки...  
Ах, эти тонны!  
Под ними не слышишь ты стоны,  
За ними не видишь  
Зовущей на помощь руки.

Руки, вы руки!  
Машете тоже не часто.  
Даже и муки  
Не могут вас приподнять.  
Жесты страдания,  
И неудачи, несчастья –  
Камни терзанья...  
Кого же на помощь позвать?

Молча, все молча  
Спешат на работу,

С работы –  
Маски – не лица!  
Везде только масок толпа.  
Молча и молча...  
Жизнь эта дикая, волчья,  
Иль это снится?  
И я – чуждых нравов раба?

Лица вы, лица!  
Нет, ведь это не снится:  
Грустные лица,  
Холоден бетон мостовой.  
Даже улыбки –  
Только гримасы, ужимки,  
Только привычки  
Потерянной жизни иной.

Холод  
Тянется в душу.  
Холод под солнцем палящим.  
Жаркое солнце,  
Оно не согреет сердец,  
В камнях рожденных  
И превращенных  
В такие же камни,  
Где человек – лишь делец.

Страшен,  
Страшен мой город.  
Дрожит он в оковах бетона.  
Тонны бетона,  
Запах бензина, гудки...  
Ах, эти тонны!  
Под ними не слышишь ты стоны,  
За ними не видишь  
Зовущей на помощь руки.

# БЕРЕЗОВ

(Акульшин)

## Родион Михайлович

*(1896–1988) – поэт, прозаик, мемуарист, публицист, артист-песенник.*



Родился в с. Виловатое (Поволжье) в семье крестьянина, был 13 ребенком. От матери – первой песельницы в деревне, от отца – балагура и рассказчика и старшего брата – гармониста усвоил любовь к песне и частушке, пляске, играл на балалайке.

С 1915 года до 1923 года работал учителем с. Сорочинском, г. Бузулуке, с. Виловатове, Самаре, Москве.

В 1923 году переехал в Москву и 2 года учился в Литературном институте им. Брюсова, входил в литературное объединение «Перевал». Был близким другом Сергея Есенина. Позднее написал о нем воспоминания («Новое русское слово», 16.11.1975). Дружил с Василием Наседкиным, Сергеем Клычковым и Петром Орешиним. Встречался с В. Маяковским, Б. Пастернаком, Демьяном Бедным, А. Твардовским, М. Волошиным, О. Мандельштамом, В. Мейерхольдом, И. Москвиным

В первый раз напечатался в уездной бузулукской газете «Свободное Слово» в марте 1917. Стихи (в том числе детские) писал в 1923 года, прозу – с 1925. Особый успех имел сборник «О чем шептала деревня» (1925). Его книги были замечены А. Воронским (1927) и М. Горьким (1929). Предисловие к его сборнику очерков «Развязанные снопы» (1927) написал Федор Раскольников. Пьесу «Окно в деревню» поставил В. Мейерхольд (1927).

Мобилизованный в 1941 г. по «писательскому призыву» в народное ополчение, 5 октября того же года в бою под Ельней попал в плен и был отправлен в Германию, после освобождения американскими войсками оказался в лагере для перемещенных лиц под Зальцбургом.

Р. Берзов назвался поляком, уроженцем Люблинской губернии и примерно в 1950 г. переехал в Соединенные Штаты. Преподавал в школе военных переводчиков в Монтерее (штат Калифорния).

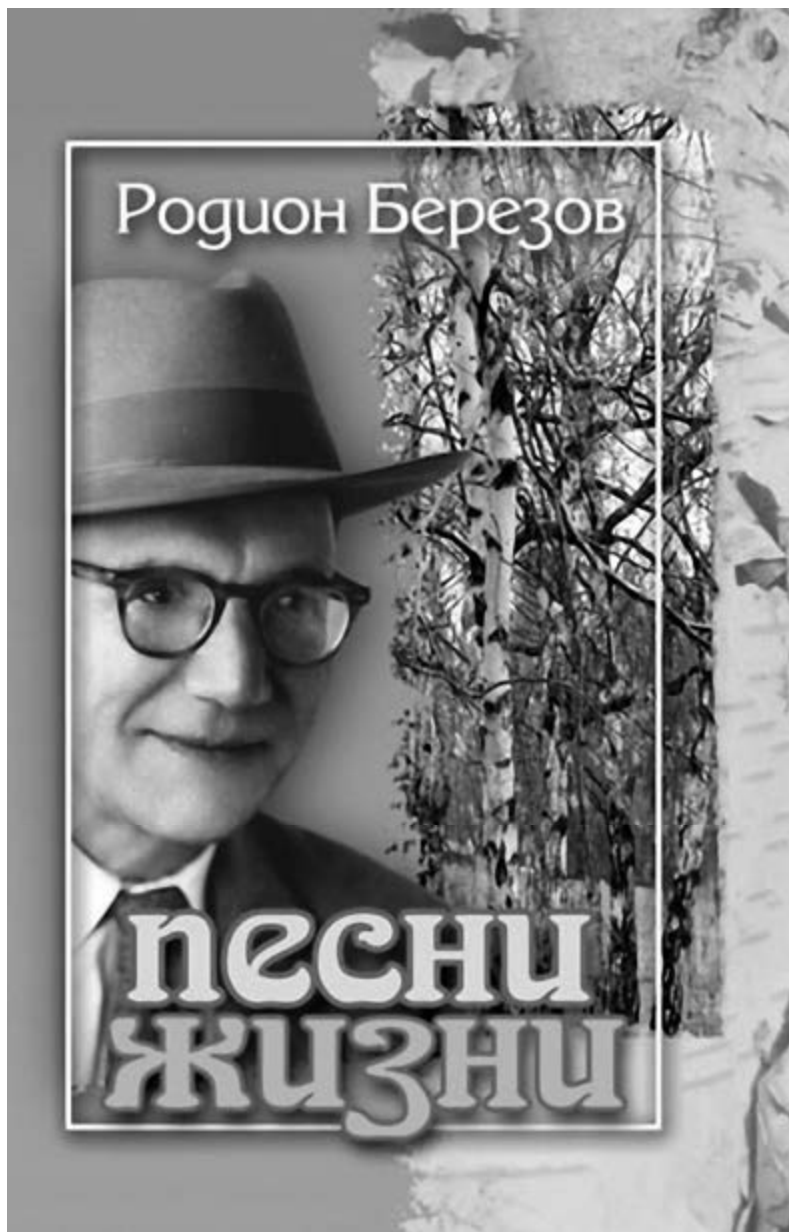
В 1953 году Березов принял баптистское вероисповедание.

После принятия закона о перемещенных лицах при оформлении документов признался, что скрыл свою истинную фамилию и гражданство. Против него было возбуждено уголовное дело, грозившее депортацией на родину. Лишь в 1958 году благодаря широкой защите общественности (в том числе А.Л. Толстой) сенатор Дж. Кеннеди внес в Палату представителей законопроект о легализации иммигрантов, которые при въезде дали о себе неправильные сведения, чтобы избежать выдачи большевикам по Ялтинскому договору между СССР и западными союзниками. Принятый закон позволил 25 тысячам бывших советских граждан, имевших, как тогда говорили, «березовскую болезнь», легализовать свою жизнь в Америке.

Последние годы жизни писатель провел в доме для престарелых, прикованный к постели, и скончался в 1988 году в Ашфорде (штат Коннектикут, США).

Березов – один из самых плодovitых авторов послевоенной эмиграции. Им написаны песни и частушки, воспоминания («Что было» и др.), целый ряд поэм на темы Ветхого и Нового Завета, роман «Разлука» (1970), сатирические рассказы – всего около 24 книг.

Уже заголовок первого сборника Березова «Веруй, надейся и жди» (1948) дает представление об оптимистическом мировосприятии автора, идущего как от фольклора, так и от христианской традиции. О добродетелях русских людей, их самоотверженности и религиозности писатель рассказал и в прозе («Русское сердце», 1954). Убеждение, что «где б ни был я, Господь со мною» и «я солдат из армии Господней» проходит через все творчество поэта. «На склоне лет, в чужой стране, / Когда кончается дорога, / Остались две отрады мне: / Писать стихи и славить Бога» («Две отрады», 1955), – писал Акульшин. «Мне хочется, чтоб в строчках расцвели / Все краски мира, все земные трели», – скажет он в одном стихотворении; «твори восторженно» – в другом. «В моей душе добро всегда сильнее зла», – напишет в статье «Вступление к словесным излияниям». Это не значит, что поэт не видит зло мира (в целом ряде его произведений рассказывается об этом), не испытывает ностальгию по утраченной родине, но он верит в «свободную Россию» («Будем верить», 1953; «Возвращение», 1954; «Наш путь», 1954 и др.). Березов уверен, что «все немудрые оковы» стряхнет «радость бытия». Даже драматический судьбоносный разговор ди-пийца с американским офицером



Березов передает с мягким юмором («На скрининге»). И лишь в поздних сборниках поэта появятся «Грустные строки» и драматические сомнения в человеческой природе («Меньшее зло»).

Значительный интерес представляют мемуары писателя «Лебединая песня» (1978) содержащие воспоминания о С.А. Есенине и В.Э. Мейерхольде, Демьяне Бедном и А.Т. Твардовском, о жизни литературно-театральной Москвы 1920–30-х годов.

## Сочинения

- Веруй, надейся и жди. – Зальцбург, 1948.  
 Дождь и слезы. – С-Франциско, 1951.  
 Народные жемчужины. Рассказ и 555 частушек. – С-Франциско, 1951.  
 Далекое и близкое. – С-Франциско, 1952  
 Радость: стихи. – Лос-Анжелос, 1953  
 Русское сердце. – США Б.м.: Б.и., 1954  
 Песни души. Стихи. – С-Франциско, 1955  
 Золотая ракета. – 1956  
 Пророк. – С-Франциско, 1957  
 Что было. – С-Франциско, 1958  
 Йосиф Прекрасный. Сб. поэм на библейские сюжеты. – С-Франциско. 1959  
 Окно в Евангелие. – С-Франциско, 1960  
 Чудо (Сб. рассказов и стихов). – Н.-Й., 1960  
 Иов. Поэма о многострадальном Иове и о страданиях нашего времени. – Н.-Й., 1962  
 Красота. – Н.-Й., 1963  
 Вечно живет. Т. 1 – Н.-Й., 1965  
 Разлука. Т. 2. – Н.-Й., 1966  
 Все новое. – Монреаль, 1966  
 Раздумья. Лирика. – Калифорния, 1966.  
 До заката. Стихи. – Майами, 1973  
 Лебединая песня. – 1978  
**Лебединая песня:** [Репринт. изд.]. – М.: Протестант, 1991.  
**До заката: [Стихи].** – М.: Протестант, 1993.

## Публикации

- Боль // *Возр.* 1971. № 233.  
 Год уничтожения // *Возр.* 1952. № 23; 1953. №№ 25–27.  
 Закрытые двери // *Возр.* 1956. № 54.  
 Отчаяние // *Возр.* 1950. № 9.  
 По советской провинции // *НЖ.* 1953. № 33.

Проданное на слом // *Возр.* 1956. № 52.

Сестра // *Лит. совр.* 1954.

Усталость // *Возр.* 1951. № 13.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

## ПЕСНЯ

В печали и в тревоге  
Бегут за годом год.  
Тропинки и дороги  
Влекут всех нас вперёд.

В душе то грусть, то жалость,  
То сумрак, то просвет.  
С тоской всегда сражаясь,  
Спешим купить билет.

Коль мыслей нет о смерти,  
Исполнится мечта.  
Друзья мои, поверьте,  
В движеньи красота.

\* \* \*

Чужие страны, люди, города,  
Но в полночь надо мною, как родные –  
Стожары, Орион, Полярная Звезда,  
Медведицы – орехи золотые.

В далеком детстве, летнею порой,  
Я спал в телеге, на душистом сене,  
А надо мной – веселый звездный рой,  
И Млечный Путь в белесо-мутной пене.

Казалось, будто звезды говорят,  
Что сделать, чтобы людям лучше стало...  
Лишь утренняя, ранняя заря  
Небесную беседу прекращала.

В войну, когда нас посылали в бой,  
Веления Творца позабывая,  
Как и всегда над нашей головой –  
То звезды, то лазурь небес без края...

Где б ни был я, с какими бы людьми  
Судьба меня в скитаньях ни сводила,  
Я слышу глас неведомый: «Вонми,  
Тебя ведет Божественная сила!»

1949

\* \* \*

Где жизнь творить – мне все равно,  
Где б ни был я, Господь со мною.  
Им все ко благу решено:  
В пустыне Он струит волною,

Во мраке Он горит звездой,  
В алканьи щедро насыщает,  
Идет за плугом бороздой,  
В тюрьме несчастных навещает.

Порой неправдой потрясен,  
Порою пытками измучен,  
Я не погибну, если Он  
Со мной в скитаньях неразлучен.

1950

### **КЛУБОЧЕК ЖИЗНИ**

В хороший день – хорошие слова.  
Душа поет, не плача, не стеная.  
Перед глазами – неба синева  
И живописность вечная земная.

Вдали стеной лиловые леса,  
Вблизи луга и мотыльков порханье,  
И облаков спешащих паруса,  
Как в дни разлук платков и рук маханье.

Всю красоту и неба и земли  
Не раз творцы великие воспели.  
Мне хочется, чтоб в строчках расцвели  
Все краски мира, все земные трели.

Как это сделать, Боже, подскажи,  
Ведь Ты – Художник: нет таких на свете!  
Что лучше синих васильков во ржи  
И музыкальных птичьих междометий?

Я удивлен Твоею добротой  
И щедростью, которой нет предела.  
Мне жизни крикнуть хочется: «Постой!»  
А жизнь летит, как до сих пор летела.

Остановить ее ничем нельзя,  
Бесплодны все усилия и попытки.  
Но пусть земная краткая стезя  
Подобна будет золоченой нитке.

Та нить давно протянута к Творцу –  
По рвам, горам, путям и бездорожьям...  
Клубочек жизни катится к концу –  
К той цели, что зовется Царством Божьим.

1963

## МЕЧТАТЕЛЬ

Мечтал я мальчиком – немало  
Свершить в преклонные года.  
Пора преклонная настала,

Но от свершений ни следа.  
Мечты предстали заблуждением,  
Повержен счастья пьедестал.  
И ныне стало наслаждением:  
Мечтать, чтоб мальчиком я стал.

### **ГРУСТНЫЕ СТРОКИ**

Земля, земля, безропотная странница,  
О, как устала ты с людьми скорбеть.  
Исчезну я, но красота останется,  
И будут так же утром птицы петь...

Жизнь не замрет, лишь для меня, несмелого,  
Закончится цветов и звезд парад.  
Березка возле дома опустелого  
Заплачет янтарями в листопад.

Навек замолкнут выступленья устные –  
Что ж делать? Знать, всему – своя пора.  
Ах, почему такие строки грустные  
В тетрадь заносятся из под пера?

### **МЕНЬШЕЕ ЗЛО**

Святой Антоний льнул душой к святыне,  
Упорством он боролся с сатаной  
В безлюдной и безжизненной пустыне,  
Где изнуряли и песок, и зной.

И одержав не малые победы,  
Он к людям шел бороться со грехом,  
Но на него обрушивались беды,  
И сатана казался меньшим злом.

К пескам, колючкам, возвращаясь снова,

Он отдыхал душой и телом там  
От яда человеческого слова  
И от грехов, бегущих по пятам.

1973

## ЗАКОН СЕРДЦА

Немцы отступали.

– Где жена и дети? Успели эвакуироваться в первые дни войны или пережили оккупацию со всеми ее ужасами? – думал Николай Кораблев. – Повидаться бы со своими, побыть вместе хоть полчаса, а потом снова гнать неприятеля – до Берлина и дальше... до полного уничтожения.

Как лейтенант запаса Николай Кораблев был мобилизован в первый день войны. Вечером на станции провожали жена и дети. Последний взлет белого платочка, машущие ручки малыша на руках матери, заплаканное лицо старшего... И с тех пор жизнь разделена на два не сообщающихся мира: ни одной открытки от него, ни коротенькой весточки от них. Был человек – и нет. Была семья – и остались только воспоминания.

Малыш при расставании умел говорить два слова: «Мама» и «Папа». Старший учился уже во втором классе. Прошло два года. Теперь, конечно, выросли, поумнели, погрустнели.

Жди меня – и я вернусь,  
Только очень жди.

Кто не знал этого стихотворения наизусть среди бойцов и командиров?

Передовая часть приближалась к родному городу. Отступая, немцы сдерживали натиск атакующих, отдаляя желанные минуты свидания Николая Кораблева с семьей.

О, этот трепет всеобъемлющего нетерпения! Как будто горит дом, а в доме семья, и нет никого, кто бы вывел ее из пламени. Это сделает только он, но его не пускают.

– Потерпите еще день... еще час, – умоляет он всем напряжением любви.

Город занят. Но что это? Где улицы, скверы, красивые здания? Всюду развалины, обломки, угли, зола... А среди всего этого – бункера, окопы, блиндажи.

Николай бежит на свою улицу – «Имени Тимирязева», но улицы нет. Не уцелел ни один дом. Напротив была водопроводная колонка. Вот она. За домом был садик. От него остались обгорелые кустики.

Николай бродит по двору, среди обломков кирпичей. Найти бы хоть что-нибудь, напоминающее о своих... Вот корешок какой-то книги. Наклоняется. Поднимает. Разглядывает. Боже мой: это уголок от альбома с семейными фотографиями... Значит, ничего не успели вынести из дому. Что стало с ними? Где они? Спаслись или погибли? У кого спросить? Как напасть на след?

Тяжелое, жгучее, мешающее дышать разрастается в груди – о т о м с т и т ь! За все: за разорение, за гибель близких, за уничтожение родного гнезда, за горе и слезы!..

Каждая радио-передача вопит:

– Убей немца!

Плакаты, в тот же день развешанные на развалинах домов убеждают:

– Убей немца!

«Жди меня – и я вернусь»...

Но как могут ждать мертвые?..

– Мстить! Мстить без жалости! Без содрогания! Не может быть речи ни о какой человечности! Убью первого живого человека на немецкой земле, кто бы он ни был! Пусть девушка, пусть старуха, – все равно! Немцы убивали наших родных матерей и жен... Какое мы имеем право на милосердие?

Волна наступления, нарастая, катится на запад. Земля врага приближается. Скоро! Скоро!

Вся рота любит Николая Кораблева. Все знают о его решении – убить первую живую душу на немецкой земле.

– Товарищ командир, коль понадобится помощь, кликните меня.

– Спасибо, обойдусь без помощи!

Два года накаливалась местью душа. И вот наступил январь 1945 года. Отдан приказ:

– На Берлин!

Страшная техника, сокрушая все на своем пути, движется неумолимой лавиной. Все большее заноза в душе Николая Кораблева:

– Убить на немецкой территории! Все убитые до сих пор в русских и польских пределах, не в счет!

Раннее утро. Какой-то хутор. Радио объявляет:

– Товарищи! Мы в пределах Германии! Николай бежит: «Не будет пощады!»...

Но вместо хутора – пепел, развалины, все сметено артиллерийским огнем. Ни одной живой души. Какая досада!..

Но что это за вздохи и стоны под досками упавшего забора?

– А, вылезай, голубчик!..

Мальчик. Лет десяти – бледный, изможденный, перепачканный, испуганный, качающийся от голода, холода и ужаса.

Николай Кораблев лихорадочно выхватывает из кобуры револьвер, а мальчик протягивает тонкую дрожащую рученку:

– Майн Герр... штикхен... брот... битте...

Опустилась рука с револьвером. Угас огонь, два года толкавший вперед. Вспомнился свой, старший. Ему теперь столько же. Может быть так же когда-то прятался под забором, так же умолял немецкого офицера о маленьком кусочке хлеба... Убил ли его за эту просьбу офицер?

– Как зовут?

Мальчику непонятен вопрос на чужом языке.

– Ну, Фриц, Петер, Пауль?..

Голодное существо догадывается: спрашивают имя.

– Иоганнес...

– Вон оно что... Иван, значит?.. И у меня такой же... И звать Ванькой... Как же я тебя убью?.. Повезло тебе, хлопец... Не подымается рука... Двухлетний накал – впустую... Ну, ничего, может быть это даже к лучшему... Есть хочешь?.. Во тебе сухари, копченая колбаса, шоколад...

Подбежали красноармейцы.

– Товарищ командир! Это что же значит? Хотели убить, а вместо этого отдали весь неприкосновенный запас?

– Мало ли чего болтает язык?.. У сердца свои законы и приказы... На сынишку похож... И зовут так же: Иваном.

– Гут морген, немецкий Ваня!

– Обманул тебя твой фюрер!

– Обещал весь мир, а дал погибель! – шумят красноармейцы, а сами закутывают мальчика в шинель, суют конфетки.

Грязное лицо малыша освещается подобием улыбки. В этом выражении надежда:

– Не убьют эти люди, о которых он слышал много страшного от родителей, учителей и священника.

1953 г.

## НА СКРИНИНГЕ

Американец сидит за столом с бумагами. Подходит дипист. Молча приветствуют друг друга вежливыми поклонами. Американец жестом приглашает сесть.

А. Ду ю спик инглиш?

Д. Никс ферштейн.

А. Шпрехен зи дойч?

Д. Чутьочку шпрехаю. Только самую малость.

А. Говорить по-русски? Я хоть и американец, но русского происхождения. Дома, в семье, мы говорим только по-русски. Расскажите откровенно о себе. Вы понимаете меня?

Д. Ну ещё бы! Кто ж русского языка не понимает! А насчёт откровенности не сумлевайтесь, всё будет точно, как в аптеке.

А. Значит, приступим к скринингу. Имя и фамилия?

(Дипист роется в карманах, что-то бормочет про себя)

Д. Да где ж она проклятушая?! Всё время в руках держал!

А. Вам понятен вопрос? Имя и фамилия?

(Дипист перестаёт шарить по карманам)

Д. Придётся, видно, без записки говорить. А-а...моё имя, стало быть, спрашиваете? – Иван, то есть нет, нет... – Осман. Осман Ка-тушкин.

А. Осман? А почему ж в прежней анкете написано: «Абдул»?

Д. Так-так, правильно! Абдул! Спасибо, что напомнили! Это я себя с батькой спутал. Батьку, действительно, Османом кликали, а меня – завсегда Абдулом.

А. Когда родились?

Д. Это знаю точно, никак не собьюсь. В год вступления на престол его императорского величества, государя императора Николай Александровича в 1894 году.

А. А месяц и число?

Д. Таких точностей не помню.

А. Где родились?

Д. Ну... в этой... как её... ну... в Турции!

А. О! Так вы, значит, турок?

Д. А как же. Самый, можно сказать, закоренелый.

А. И, конечно, говорите по-турецки?

Д. Не-а, это особая статья, уж больно трудный ихний язык. Ну, прям неподсильный для нашего брата.

А. А почему ж так хорошо говорите по-русски? Возможно, родились в Турции, а жили в Советском Союзе?

Д. Что вы, что вы, да я этого проклятого СССР никогда и в глаза-то не видал. А по-русски, ну как же не говорить, коли так уж испокон веков заведено? Как деды и прадеды... Нам, окромя русского, никакой другой язык в голову не лезет.

А. Хорошо. Пусть так. Значит, родились и проживали в Турции. Где именно? В какой местности?

Д. Турецкого названья не припомню, но говорю без обману, что от Курска не менее 20 километров в сторону. Ежели говорить по-русски, то вроде как бы колхоз.

А. Колхоз? Недалеко от Курска? Так разве это в Турции?

Д. Извиняюсь, господин Скрининг, я малограмотный, географию не проходил, разве ж мыслимо все турецкие места удержать в голове наизусть?!

(Дипист опять шарит по карманам и достаёт бумажку)

Ага, вот она! Мне вчера наши ребята кое-что записали, что б я, значит, не растерялся.

А. Хорошо.

(Американец закуривает и угощает диписта. Последний читает бумажку).

Д. Так-так, вот, правильно. Абдул Катущкин, родился в 1894 году в забытом месяце, верно. Ну вот, и не Курск, а Карс! Видите? Почти то же самое, только у меня выговор-то не турецкий, а твёрдый, российский.

А. Ну, а колхоз?

Д. Да не колхоз! А видите – кишлак! Ах-ха-ха-ха! И придумают же названия! «Кишлак»!. Чудные эти турки! Право слово – чудные!

А. Чем занимались в Турции?

Д. И-и-и, чем! Был, как и все, самым рядовым колхоз...тьфу ты...э-э...самым рядовым турком, в полеводческой бригаде.

А. А до какого года?

Д. Да это уж не иначе как до 1939.

А. А дальше?

Д. А дальше тоже, как по нотам. Вот у меня всё тут записано. «С сентября 1939 года по сентябрь 1944 в польском городе с чесноком». Нет, погоди, что-то не так, с каким же чесноком... Васька спешил и плохо накорябал...

А. Может, Ченстохов?

(Дипист вглядывается в шпаргалку)

Д. Пра-авильно, Ченстохов! Это уж я сам виноват, не разобрал.

А. А в Германию как приехали, добровольно или принудительно?

Д. Да где там добровольно! Разве оттуда сам добровольно выдерешься?! Принудительно немцы вывезли, спасибо, всё-таки вытащили из того окаянного лиха.

А. А где работали в Германии?

Д. А мы все пятеро, земляки то есть к богатому бауэру под Мюнхеном.

А, Земляки? Значит, все турки?

Д. Какой там! – Все разные нации. Один я – турок. А Никита Сундуков – галичанин, Семен Вахромеев – итальянец, Матвей Чупоров – персиянин, Захар Овечкин – индус, а Васька Самородов – халдейского племени. Это мы все твёрдо заучили, пять вечеров бились.

А. Как вам жилось у бауэра?

Д. Да конечно, хвалить-то надо погодить, иначе всё-таки лучше, чем в окаянном колхо... то бишь... э-э...в кишлаке-то том самом... эх, да что там уж!.. в советском раю-то, стало быть!

А. А с какого времени в лагере Ди Пи?

Д. Как все – с 1945 и по сей момент.

А. А обратно на родину хотите?

Д. Ох... и не спрашивайте. До чего хочется на родину, на родимую сторонущу, что, кажется, босиком бы, в ночь бы, в ненастье побежал бы туда, ведь там у меня, господин Скрынинг, жена осталась, детишки. Чай, понимаете?

А. Очень хорошо понимаю. Так можно хоть завтра?

Д. С превеликим удовольствием, хоть и сегодня, если сегодня там сатанинская власть сгинет в тартарары! А покуда она там существует, потуда и разговору нет. Понятно?

А. Ну а куда бы хотели?

Д. В любую страну, только не в большевицкую! На любую работу, только не к большевикам. Тут весь мой сказ и последнее слово. Хорошее, серьёзное слово.

А. Я прекрасно вас понимаю. Вы нас тоже должны понять. Зачем «Абдул», зачем «кишлак», зачем вся эта шутка?

Д. Милый ты мой, господин Скрынинг! Не шутка это, а с перепугу всё делается, Не знаешь, что придумать, в какую нацию записаться, чтоб на красную живодёрню не попасть. Знаете вы, как мы все намучились, как настрадались-то. Ну, а ежели пошло на чистоту-на совесть, завтра приду с утра и расскажу всё без утайки, как на исповеди, можно?

А. О кей.

Д. За сегодняшнее простите, завтра другое будет. До свиданья, добрый человек.

А. О` кей. До свиданья, до завтра.

# БЕРНЕР

(псевдоним – Божидар)

## Николай Федорович

(1890–1969)<sup>1</sup> – поэт и литературный критик.

Родился в Киеве. После окончания там гимназии получил юридическое образование в Московском университете. Одновременно посещал лекции по истории и литературе на филологическом факультете. Впервые арестован в Москве в 20-годы. Некоторое время жил в Брянске и Калуге. В мае 1933 года осужден тройкой ОГПУ по статье антисоветская деятельность. Отбывал срок в лагере на Соловках. «Моя жизнь после пребывания на Соловках, – писал Бернер, – перемежалась тюремными отсидаками», между которыми он, лишенный права жить в больших городах, скитался по России. Последняя высылка была в Воронеж.

Во время войны попал в Зальцбург, затем в Мюнхен, где выполнил для Института по изучению СССР работу «Внутренняя эмиграция и интеллигенция на Соловках».

В дальнейшем переехал во Францию, где бедствовал. В начале 1950-х попал в туберкулезный санаторий глухого поселка Уссу (Ous-soulx) при Главном управлении Российского общества Красного Креста (департамент Верхняя Луара). В 60-е годы находился в старческом доме в Орлеане в полном отрыве от литературной жизни.

Литературным творчеством Н. Бернер занимался еще до революции. Своим учителем считал В. Брюсова, посвятившего Бернеру сонет «Немеют волн причудливые гребни» (1912). Поэт выпустил 2 небольших сборника стихов «Одиннадцать» (1915) и «Осень мира» (1922). В начале 20-х годов входил в кружок «Московский цех поэтов». Был знаком с О. Мандельштамом, С. Парнок, Л. Горнунгом и др.

В эмиграции поэт издал тиражом в 500 экземпляров 56-страничный сборничек стихов «След на камне», объединенных темой

---

<sup>1</sup> М. Юпп с присущим ему апломбом настаивает, что поэт родился в 1893 г. Однако в «Книге памяти Калужской обл.», составленной на основе арестантского дела Бернера, указан 1890. Сам поэт также указывал именно 1890.

«людских страданий», в первую очередь, страданий узников ГУЛАГА («Кто раз на камень каземата...», «Когда б себя забыть, отбросить пережиток...»). Просветом для лирического героя Бернера служат «образы развеянных годов»: воспоминания о друзьях, о любви («если для меня в котомке дум осталось / Звено с ушедшим – я живу!»), но и они окрашены в трагические тона: «Мой одинокий диалог / С самим собой, кому он нужен».

До 1960 года Н. Бернер изредка еще печатался в «Новом журнале», чаще – в «Литературном современнике». Затем полностью исчез из литературной жизни. Характерно, что редакторы антологии «Содружество» (1966) сопроводили публикацию стихов тогда еще живого поэта примечанием: «Дата смерти Николая Бернера нам не известна».

## Сочинения

След на камне / Предисл. Божидара. – Зальцбург: Колумб, 1955.

## Публикации

Воспоминанье // *НЖ*. 1953. № 34.

Из цикла «Раздумья» // *Лит. совр.* 1952. № 4.

«Как будто через много лет...» // *Совр.* 1960. № 2.

«Какое в огнях возрастанье надежд!...» // *НЖ*. 1955. № 43.

«Неповторимое всего дороже...» // *Лит. совр.* 1952. № 3.

«Проходят Времена! Еще пирует осень...» // *Лит. совр.* 1954.

Разговор с музами // *Лит. совр.* 1954.

Раздумье // *НЖ*. 1954. № 37.

Робинзон Крузо // *Лит. совр.* 1954.

Слово другу // *Лит. совр.* 1952. № 4.

Стихи // *Лит. совр.* 1952. № 4.

«Там под ивой свиданье и ласки...» // *Совр.* 1960. № 2.

\* \* \*

Кто раз на камень каземата,  
 На хладный сей гранит поник,  
 Тому, как праздник голос брата,  
 И – ч е л о в е ч е с к и й    я з ы к .

Я постигаю ненароком  
Такие шорохи тоски,  
Каких не ведают в далеком  
Пространстве... Это – Соловки.

\* \* \*

Когда б себя забыть, отбросить пережиток  
Всех чуждых лет, но нет запрета снам.  
А память разворачивает свиток  
Такого горя, что по временам  
Боюсь понять, как вынесло сознание  
Всю эту тяготу на каменных плечах.  
Пусть затухает свет! Последнее дыханье  
Рождает жажду жить и не дает молчать.  
И вырывается единственное слово –  
То слово – Родина! Какой упорный дух  
Терпенья и тоски, какая сила зова  
Н е о б о р и м о г о! Когда бы слух  
Из мрака уловил шаги событий,  
Хотя бы луч один прорезал мрак,  
С тягчайшим буднем обрываю нити  
И вдруг читаю: заповедный знак.  
Знак мудрой нови – говорит потомок  
Словами мудрости, воззваньем чувств  
Сейчас невнятных Веку. Пусть не громок  
Тот голос правды – ей молось!

## **РАЗДУМЬЕ**

На расстояньи многодумных лет  
Родных следов не затеряла память.  
Заманчивее даль и возрастает пламя  
В огнях непотухающих бесед.  
И утро близится проникновенной встречи,  
Дух озарен видением лучей,  
Лучей чудесной силы!.. Вы далече,

Далече вы, друзья, а зовы горячей.  
И с верой жизнь на час не расставалась,  
Вязь мудрой памяти не оборву,  
И если для меня в котомке дум осталось  
Звено с ушедшим – я живу!

\* \* \*

Слушай, непорочная Венера  
Мне приснилась нынче поутру.  
Проплывала сонная галера  
На адриатическом ветру.

И волна плескалась, убегая.  
Был восход и розов и высок,  
И Венера – девочка нагая  
Падала на золотой песок.

## ВОСПОМИНАНИЕ

Когда моряк находит сон и кров,  
Забыв о штормах бедственного моря,  
Когда ребенок, одолевший горе,  
Мужает и становится суров,  
Когда любовь из будней – берегов  
Вдруг вырывается и на просторе  
К ней обращается далекий зов  
И с ней сливается в сердечном разговоре –

Тогда в кошницы солнечных стихов  
Ты опускаешь руку за подарком  
От щедрой юности, а в небе ярком  
Встают все образы развеянных годов...  
И кажется, ты жизнь принять готов,  
Как в двадцать лет, когда в полудне жарком  
Ее нога ступала и тонула  
В глубоком, сине-золотом песке.

Она купалась в солнечной реке,  
Купаясь, гибкая на берегу уснула,  
Вся молодость в забвенном далеке.

\* \* \*

Мой одинокий диалог  
С самим собой, кому он нужен?!  
Одна из крохотных жемчужин  
Над тонкой вязью тайных строк!

Порой грущу, что после смерти  
Наследье избранных стихов  
Кто сбережет? Увы, поверьте  
Здесь нет друзей!

Во власти снов  
Забиться бы! Еще сознание  
Любимых в памяти хранит.  
Но здесь их нет. Одно молчанье  
Кругом!

Да разве загрустит  
Моя душа в час расставанья  
С сим захолустьем навсегда?!

Лишь обозрю тогда года  
Судьбы нележкой и превратной,  
Да пред лучом зари закатной  
Едва затеплится звезда –  
Как тень исчезну навсегда.

\* \* \*

Рощ бронзовых задумчивая просишь,  
В ней колоннадой вставшие дубы.  
Меня зовет не Болдинская осень  
В торжественную сень живой судьбы.  
В даль позвала тоска совсем иная.  
С повязкой на глазах пошел за ней,

Рукою Дон Кихота обнимая  
Обрывки ускользящих теней.  
А Русская Камена, став бродягой,  
Цыганствовать пошла на милость стран –  
Кастальский ключ не закипает влагой,  
Как осень мира – осень россиян.

\* \* \*

Благодарю тебя – слова не могут  
И не умеют так благодарить.  
Я привыкаю снова верить в Бога  
У той прохлады, где я начал жить.  
Мир увидал, как давнюю дорогу,  
Где ты роняешь солнечную нить...  
О нежная, да, если бы любить  
Как на рассвете жизни! за тревогу,  
За невозможный трепет все на свете  
Отдать и громко через все года  
Запеть, как не певалось никогда.  
И стать на час, как возгласы, как дети,  
Как полдень, как нагорная вода.

# БОБРОВА

(урожд. Рунг, по второму мужу Боброва-Цукерт)

## Элла Ивановна

*(род. 1911) – поэтесса, переводчик, критик-литературовед.*

Родилась в Николаеве (Украина), выросла и работала в Ворошиловграде (Луганске). Училась в музыкальной школе (фортепьяно), но в консерваторию не стала поступать: после ареста в 1937 г. отца, техника-приемщика паровозостроительного завода, и брата перешла на работу в кооперативно-финансовую контору. В октябре 1941 г. мать и сестра поэтессы и были высланы в Казахстан. Ее первый муж Н.Ф. Бобров вместе со всем мужским населением Луганска был вывезен из города за три дня до вступления немецких войск. Сама Э. Боброва переехала в Днепропетровск, затем в Кривой Рог.

В 1943 г. оказалась на Западе: сначала в Чехословакии, затем в Германии.

В 1945 г. она попала в американскую оккупационную зону в Баварии, прошла через лагеря ди-пи, а в октябре 1950 г. переехала в Канаду. Некоторое время работала на швейной фабрике, затем в конторе одной из канадских фирм. Там вторично вышла замуж за композитора Л. Цукерта, положившего ряд ее стихов на музыку.

Стихи начала писать в Баварии, но публиковаться стала в 60-е годы в журнале «Современник», в создании и редактировании которого принимала участие с 1960 по 1976 гг. Печаталась также в «Новом журнале» и в «Возрождении». Пишет на русском, английском и немецком языках. Автор 6-ти книг (стихи, легенды, переводы, сказки, монография). Перу Бобровой принадлежит эпическая повесть в стихах «Ирина Истомина» («Современник», 1967. № 16).

С 1971 по 1979 гг. участвовала в русских передачах Радио Канады.

За более чем сто лет жизни Э. Боброва не растратила интереса к жизни, хотя жизнь ее долго не баловала. Даже в автобиографической поэме «Ирина Истомина», состоящей из 2-х частей («1937 год» и «На Западе») лирическая героиня сохраняет оптимизм и веру в чудо. Типично для Бобровой построено стихотворении «Встреча» о вы-

мышленном свидании лирической героини с мужем уже после войны в Крыму. «А эти речи / и у изменчивого моря встречу / я в ночь тревожную изобрела – / в Крыму с тобой, увы, / я не была». Но сама возможность представить такую встречу позволяет поэтессе утверждать: «Кто вам сказал, что сказок не бывает, / что юности годам возврата нет / и что любовь в разлуке угасает?».

Тема женской любви и переживаний составляет существенную часть поэзии Э. Бобровой. Не случайно ей принадлежит превосходное стихотворение «На смерть Анны Ахматовой» («Современник», 1966. № 13) Боброва пишет о разлуке («Апрель...», «Перрон») и о встрече («В последний раз...»), о тревоге за любимого и ревности к нему («Нет вести...»), о драме охлаждения: «Лишь дверь меж нами в темноте ночной, / А днем – Китайская стена / молчанья» («Спокойной ночи!...»).

Ценитель поэзии Серебряного века, Боброва посвятила ряд стихотворений изложению своего видения поэзии. Поэт, по ее мнению, сочетает в себе «Боязливость ребенка. / Бесстрашие льва / и святого пророка». А в стихотворении посвященном Д. Кленовскому пишет:

Первый крик... Долгий вздох. Миг рождения, умиранья.  
Жизнь и вечность – на всем  
неразгаданных тайн печать.  
Но прибой? Но сирень? Но любовь?... Черепки мироздания,  
Их находит поэт и – о чудо! – легким касаньем  
он умеет разрозненное  
в одно связать.  
(«Зарождались стихи»)

А о себе Э. Боброва сказала: «Я тайно подписала с жизнью пакт / и радуюсь цветам, / закату, / Маю». И в другом стихотворении: «Пусть тонут тени без возврата – / Ни туч теперь, мой друг, / ни ночи нет».

Критика отмечала и мастерство поэтессы как пейзажного лирика.

Э.И. Боброва переводила на английский язык стихи Ирины Одоевцевой, Ивана Елагина, Татьяны Фесенко, Клавдии Пестрово и других, на русский – эскимосские легенды.

Как критик-литературовед написала монографию «Ирина Одоевцева. Поэт. Прозаик и мемуарист» (1995), первую о творчестве этой

писательницы; выступала со статьями об А. Радищеве, Д. Кленовском, В. Савине, Э. Золя, с рецензиями книг И. Сабуровой, И. Чиннова, Г. Свицкого, Л. Чуковской и др.

С 1991 года печатается и на родине.

Живет в Торонто.

## Сочинения

Сказка о том, как смелые снежинки помогли девочке Маринке – Торонто, 1961.

Ирина Истомина. Повесть в стихах – Торонто, 1967.

Я чуда жду – Торонто, 1970.

Янтарный сок. Стихи, легенды, переводы. – Торонто, 1977.

Autumnal Cadenza. – Oakville, 1985.

**Ирина Одоевцева: Поэт, прозаик, мемуарист: Литературный портрет.** – М.: Наследие, 1995.

## Публикации

«Без оглядки бегут часы...» // *Совр.* 1974. №№ 26 / 27.

В лучах Северного сияния. // *Совр.* 1976. №№ 30 / 31.

В разлуке. Сонет VI. // *Совр.* 1962. № 5.

«Вдруг поворот...» // *Совр.* 1966. № 13.

Вулкан. // *Совр.* 1976. № 32.

«Давно...» // *Совр.* 1975. №№ 28 / 29.

Другу. // *Совр.* 1960. № 2.

«Зарождались стихи...» // *Совр.* 1977. №№ 33 / 34.

Ирина Истомина. // *Совр.* 1967. № 16.

Лада Николенко. // *Совр.* 1974. №№ 26 / 27.

«Лечу...» // *Совр.* 1967. №№ 14 / 15.

«На лужах лед...» // *Совр.* 1968. №№ 17 / 18.

«На острове необитаемом...» // *Совр.* 1964. № 10.

На смерть Анны Ахматовой. // *Совр.* 1966. № 13.

Не верю. // *Совр.* 1960. № 2.

О радости. // *Совр.* 1961. № 4.

Один в толпе. // *Совр.* 1962. № 5.

«Однажды в ночь дождливую, осеннюю...» // *Совр.* 1964. № 9.

«Осенний ветер, старый Казанова...» // *Совр.* 1964. № 10.

Оттепель. // *Совр.* 1960. № 2.

Песнь старика-индейца. // *Совр.* 1977. №№ 33 / 34.

Последний луч. // *Совр.* 1962. № 6.

«Преодо мной необычный портрет...» // *Совр.* 1976. №№ 30 / 31.

«С неба звездного быстрой кометой...» // *Возр.* 1969. № 214.

«Синеет небо. Розы на окне...» // *Совр.* 1963. № 8.

Стихи // *Возр.* 1971. № 229.

Стихи // *Встречи.* 1983, 1985, 1997.

Стихотворения // *Возр.* 1969. № 214.

Судьба наследия Золя. // *Совр.* 1976. №№ 30 / 31.

«Считаю я часы...» // *Совр.* 1961. № 3.

«Тебя я не хоронила...» // *Совр.* 1973. № 25.

Три стихотворения. – *Нов. ж.*, 1966. № 82.

«Ты болен...» // *Совр.* 1963. № 7.

«Ты никогда...» // *Возр.* 1968. № 204.

«Ты с каждым днем все дальше ускользаешь...» // *Совр.* 1965. № 12.

«Ушла...» // *Совр.* 1965. № 12.

«Шесть лет прошло. И вдруг по телефону...» // *Совр.* 1964. № 9.

## Статьи

Александр Николаевич Радищев. К 225-ти летию со дня рождения. // *Совр.* 1974.  
№№ 26 / 27.

Аркадий Викторович Белинков. // *Совр.* 1975. №№ 28 / 29.

Д.И. Кленовский // *НЖ.* 1980. № 138.

\* \* \*

*Татьяне Фесенко*

Здесь  
не печальная осень вдовица:  
ветру, выдавшему виды, пришлось  
встретить не часто тщеславней девицу –  
как ведь умеет  
и любит рядиться!  
Редко заметны следы ее слез.  
Там в волосах еще молодо пышных,  
бант завязала – ну, чистый кармин!  
Здесь же подол свой пытается вышить  
охрой умело – посмотришь, и вышел  
наилегкомысленный  
криолин!  
Тучи, влюбленные в осень, ревниво  
мстят от солнца красавицу скрыть.

Солнце сильнее: лучами игриво  
вдруг рассмешит и поникшую иву!  
Может ли осень его не любить?  
Может ли  
грустною быть?..

\* \* \*

В последний раз  
мы расставались вечером –  
отцвел внезапно почему-то май.  
Вот год прошел...  
Вновь день встает навстречу нам  
и первый утренний звенит трамвай;  
шел ночью дождь  
и смыл он с неба синего  
все пятна туч –  
я знаю почему:  
и улицы, и тротуары вымыл он –  
все, милый друг,  
к приезду твоему.  
С вокзала возвратимся  
не в трамвае мы:  
поток автомашин нас понесет...  
Шофер такси  
улыбку, нескрываемо –  
лукавую, нам в зеркальце пошлет...  
И позади останется вокзал –  
ты словно  
никогда  
не уезжал

\* \* \*

– Спокойной ночи! –  
Слышу на прощанье.  
И ночь пришла.  
Но где мне взять покой?

Лишь дверь меж нами в темноте ночной,  
А днем – Китайская стена  
молчанья.

Надеюсь.  
Жду признания.  
Страшусь...  
И за тобою тайно наблюдая,  
То вдруг ревнивых мыслей я стыжусь,  
То новым подозреньем загораюсь.  
Спокойна ты.  
Но вижу я не раз:  
Рука с иглой застынет на коленях...  
Улыбка – ответ мысли – на мгновенье  
Мелькнет  
и оживит взгляд темных глаз...  
Вновь вечер.  
Ровное « Спокойной ночи ».  
Но знаю:  
ночь  
покоя  
не пророчит.

## ВСТРЕЧА

Кто вам сказал, что сказок не бывает,  
что юности годам возврата нет  
и что любовь в разлуке угасает?  
Исчезли вдруг при встрече  
двадцать лет!

В Крыму вдвоем... И, с морем состязаясь,  
твои глаза меняют цвет, живут...  
Разлуки нет, но как часы бегут!  
И я комок тоски с трудом глотаю.

Стараясь обещание сдержать –  
о будущем ни слова – мы шутили,

дразня друг друга; или фронта-тыла  
события пытались вспоминать.

– А помнишь? –  
с губ срывалось то и дело, – налет!  
Бежать в подвал я не хотела,  
и мне ты делал «страшные» глаза:  
«Ты не ребенок... рисковать нельзя...»

Потом в Тюрингии:  
дочь на коленях  
в убежище дремала у меня;  
просил рассказов сын под вой сирены  
(не испытали, к счастью, мы огня),  
и «мечь» была (неслись мы с ним в Диканьку,  
и голос мой таинствен был и тих)  
страшнее бомб, не все ль равно каких,  
немецких, русских иль американских?

Отбой!  
А сын все просит: «Расскажи,  
колдун был в самом деле пан Данило?  
Я не усну... скажи, что дальше было?»  
Убежище покинуть не спешим.

Был слушатель наш сын неугомонный;  
скажу: – Рассказов нет... – А он:  
– Ну, вспомни  
о том, как папу в играх брал я в плен... –  
Ты был одной из наших «вечных» тем.

А помнишь, как тебя я провожала?  
На Дон!  
Согнувшись, все вы шли пешком  
с узлами: ведь машин не оказалось  
в поникшем городе полупустом.

Всего три дня прошло. Еще дымились  
пожарища: то патриотов рать,

приказу следуя «Уничтожать!» –  
в развалины заводы превратила.

Смотрели мы, глотая гнев и боль.  
Окопы? Враг их просто не заметил.  
В молчании врага наш город встретил,  
посыпались стаккато  
«Хальт!»,  
«Яволь!»

Ждала. В плену? Ушел ли на погибель?  
Я помню, как страдальческим изгибом  
на лбу твоём морщина залегла.  
Ее разглядить лишь теперь смогла:

– Я, помнишь, арией всегда дразнила  
тебя «Зачем вы посетили нас?..»  
– «Письмо Татьяны» потому любил я,  
мне слышался твой голос каждый раз.

– А помнишь, отпуск в мае в Ленинграде?  
Смеялся ты над жадностью моей:  
«По счастью, вечером закрыт музей,  
в Александрийском–Юрьев в “Маскараде”...» –

Спешим!  
Вот Ласточкино ждет гнездо...

Сюда мы собирались в Сорок Первом.  
Ты говорил: «На этот раз – наверно!»  
Разрушен первой бомбой был наш дом.

И все разрушено.  
А эти речи  
и у изменчивого моря встречу  
я в ночь тревожную изобрела –  
в Крыму с тобой, увы,  
я не была.

**В БОЛЬНИЦЕ**

Синее небо.  
Розы на окне.  
Жизнь за окном. Я слышу шум трамвая.  
Лечусь, хоть жить уже недолго мне –  
все думают, я ничего не знаю.

Нет! Не хочу из жизни я уйти  
теперь... теперь, когда я так богата,  
когда со мною неразлучно ты –  
а пред тобою так я виновата!

Я тайно подписала с жизнью пакт  
и радуюсь цветам,  
закату,  
Маю.  
Коль жизнь игра, ее последний акт  
я для тебя... по-своему сыграю.

\* \* \*

*Юрию Терапиано*

Мне говорят: плакучей ивой, плаксой  
слыла я в детстве;  
в школе же не раз  
за взрывы смеха «выйдите из класса!»,  
я помню, строгий слышала приказ –  
смеялась так, что весь смеялся класс.

Дразнили «хроматической гаммой»  
за неудержный звуковой каскад.  
Как выстрел,  
окрик оглушил неожиданно.  
Надолго всхлипом стал мой смехопад –  
в класс не вернулась больше я назад.

Покрыло зрячий лоб слепое темя;  
куда-то вглубь ушли и плач, и смех...  
И я теперь с сутулым поколеньем,  
неся слов гнева  
нерожденных  
бремя,  
расплачиваюсь за молчанья грех.

\* \* \*

*Надежде Мандельштам*

И блаженных жен родные руки  
Легкий пепел соберут.  
*Осип Мандельштам*

Боязливость ребенка. Бесстрашие льва  
и святого прозренья, –  
в светлой раме является мне обновленный портрет.  
Кистью друга воссоздан для будущих он поколений.  
Мир узнал, вопреки искаженьям судей,  
их запретам презренным:  
Был в России двадцатого века затравлен поэт.

Не умел семенить за судьей. Отрекаться.  
Челом бить с повинной.  
Как герой из Ламанча копьё, поднимал голос свой.  
(А Россия теряла в бессилии сына за сыном.)  
О грузине всевластном сказал:  
«Что ни казнь для него, то малина...»  
Волки приняли вызов: был злобен их скрежет и вой.

Слежка. Обыск. Вот груды стихов на полу.  
На сонете Петрарки  
дописал перевод каблуком полицейский сапог.  
За окном где-то ворон привычно-пророчески каркнул,  
и поэта, подвластного злейшей  
в истории всех олигархий,  
увели за порог майской ночи, за жизни порог.

Друг-жена и свидетельница  
долгих с Музою споров поэта  
в память сердца сумела подслушанное заключить.  
Защитив от Серпа и от Свастики черных наветов,  
пронесла она клад свой бесценный,  
чтоб снова отдать его  
свету –  
низко хочется голову мне перед нею склонить.

## **О «ПОРТРЕТЕ В РИФМОВАННОЙ РАМЕ»**

*Ирине Одоевцевой*

Предо мной необычный портрет  
в светящейся «лунной» раме.  
Акварелью?  
Маслом? О, нет!  
Написал свой портрет  
в красках слова поэт.  
Ну, а я (вдруг у вас его нет...)  
опишу его здесь  
стихами.

Полотно соткано  
из улыбок,  
отчаянья,  
любви к жизни, раскаянья...  
Сколько, сколько в нем красок,  
тонкой кистью начертанных масок!

Вот глаза голубые:  
то кокетливо-нежно-живые,  
то вдруг темные, мўкой залитые,  
горем, горем убитые...  
Но всегда умно-добрые  
и лучистые, звездоподобные.  
Лишь порой – гневно-бешено-гордые.

Искрометен в «Портрете» смех  
и невинно-беспечен «грех».  
Своенравная мысль – царица:  
лунной нитью засеребрится  
и... спешит в легкой шутке  
скрыться.

*(«Во всем виноват верблюд,  
Отдать верблюда под суд!»)*

А каноны,  
предначертанные законы –  
для других!  
Вольным-волен в «Портрете» стих.  
Разностопны ямбы? Так что же?  
Краски радуги – в слово!  
Оно  
все может!

*(«В лунном свете блекнет повилика,  
В лунатичности серебряного лика  
Воскрешает призрачно и дико  
Прошлое на новый лад...»)*

Вы осудите: много цитат...  
А ведь стих здесь – оттенок цвета.  
Упущу – не будет портрета.

Но каким же я вижу поэта  
На «Портрете»?..

Грусть и радость  
живут в нем, как сестры,  
рядом,  
а слеза дуновенью веселья рада.

*(«Как мне грустно, как весело мне!  
Я левкоем цвету на окне,  
Я стекаю дождем по стеклу,  
Колыхаюсь тенью в углу...»)*

Светлой верностью  
дружба озарена;  
а любовь – сердцем-памятью сохранена.  
Чувствую молодость в новом портрете  
(как в виденном прежде, в мягком берете).  
И нового века вижу черты  
в лице прежней  
«невской» красоты.

*(«Лейте, лейте, херувимы,  
как на розы Хирошимы,  
райский ужас между слов!..»)*

В «Портрете» – ни Пиренеев, ни Сены:  
есть свет петербургских  
ночей весенних.

\* \* \*

*Памяти Юрия Галанскова*

Пушкин.  
Лермонтов.  
Лорка.  
Сколько в самом расцвете  
(вспомнить страшно и горько)  
сгублено было поэтов.

Взяли в слуги мы  
атом.  
Смерти пыл укротили.

Им – безоружным солдатам –  
песни одной не простили.

Потьма. Хмурый край света.

Маска.

Ланцет «хирурга».

Снова в нашем столетье

люди лишились друга,

Музы – поэта.

*Январь 1973*

# БОНГАРД

## Сергей Романович

*(1918–1985) – художник, поэт, педагог.*

Родился в семье юриста в Киеве, который он, по воспоминаниям В. Синкевич, называл «самым красивым городом в мире». С детства проявлял способность рисовать, учился живописи в Киеве и Праге, позже – в Вене и Мюнхине. Его первым учителем был М.М. Яровой.

В 1943 году в потоке беженцев попал в Германию, прошел через лагерь Ди-Пи в американской зоне и в 1948 году эмигрировал в США, где преподавал живопись, позже открыл собственную школу живописи в Санта Монике (штат Калифорния), пользовавшуюся известностью у американских деятелей театра, кино и музыки, и филиал этой школы в Рексбурге (штат Айдахо), по природным условиям напоминавшем родные края. Этой школе Бонгард дал название «Киевщина».

Стихи писал с юности. Его поэтическим наставником и другом с киевских времен был Иван Елагин. Тесная дружба связывала его и однокурсником Киевского художественного училища поэтом и художником Владимиром Шаталовым. Оба они удостоились чести стать членами Национальной академии художеств (Нью-Йорк). Именно Бонгард оформил обложку первого серьезного сборника поэтов Ди-Пи «Стихи» (Мюнхен, 1947), куда вошли и 9 его стихотворений: «Актрисе», «Пора расстаться нам», «Когда из этой жизни прочь», «Зима», «Отплытие», «Нет, поступить иначе я не мог», «Сегодня день так сумрачен и мглист», «Шторм», «Ей». Почти все они обращены к Галине Нечи, с которой автор расстался. Позже, как вспоминает В. Синкевич, Нечи объяснила этот разрыв кратко и выразительно: «Оба мы были артистами». Лирический герой сравнивает прежние чувства с бушующем от восторга театральным залом. Тем горче осознание ушедшей любви, когда

на сердце щемящая жалость  
Обманувшей когда-то мечты...

И, как память о прошлом, осталось  
Между нами ненужное «ты».

И грусть разлуки соединяется с осознанием своей вины перед «стройной девушкой и ласковой женой», «которую я так нелепо бросил», и пониманием, что «что жизнь моя по швам / Разлезлась, как пиджак потертый / и помятый», а «для жизни искалеченной протезов / Еще никто не мог изобрести».

Характерно, что цикл завершается стихами, связывающими любимую и родину:

И годы скитаний, и суетность дней  
Горячую память во мне не осият  
О той, что не знала России моей,  
Но столько напомнила мне о России.

Россия для Бонгарда неразделима с Украиной («Детство мое тихое. / Тын, да хата с мальвами»), с залитым дождем Киевом.

В более поздних стихах поэта появляется Волга, «Невы зеленое игорное сукно», купол Исакия, темный петербургский двор Раскольникова, «душистый стог и сеновал», березы.

Ностальгия неизменно присутствует в стихах поэта. Но никогда не принимает трагического характера, хотя порой и вырываются строки вроде: «Все ушло навсегда и не жди» или «Горько мне, что не сложились жизни / Так как надо – даже у берез!».

Но поэт мужественно переживает такие мгновения, жизнь привлекает его во всех ипостасях

В поэзии Бонгарда можно найти восхищение стихийными силами природы («Начало бури», «Вздымались и рушились тучи...»), не похожей на олеографические открытки. Характерно, что ветер, месяющий волны, сравнивается со скульптором, мнущим глину; «бешеный круговорот» воды – с рвущимся на свободу рабом Микеланджело Буанароти, а «крутые бугры» волн – с торсами Огюста Родена.

Есть у Бонгарда и другая природа, родственная человеку, придающая людской жизни радость существования и позволяющая сказать: «Не знаю, как там на Олимпе, / Но тут – божественно у нас!» («Дождь в засуху», «У океана», «Осень в горах»).

Художественным образом, воплощающим красоту мира стала у Бонгарда сирень:

Сады бушуют, рвутся в небо, даже  
Его просторы стали им тесны,  
И улицы кипят в ажиотаже  
От ливня, от сирени, от весны...

Не случайно, Иван Елагин в стихотворении «Памяти Сергея Бонгарта» написал:

Мы выросли в годы таких потрясений,  
Что целые страны сметало с пути,  
А ты нам оставил букеты сирени,  
Которым цвести, и цвести, и цвести...

Любовь к жизни отчетливо проявилась в стихах поэта о смерти:

С курносой смертью ежели  
Я встречусь наяву,  
Немногие пережили –  
Но я переживу.

И вновь мысль художника обращается в родине:

Пес идет умирать из дома –  
Человек возвращается в дом.  
Не с того ли я вижу всё чаще  
Крест с рябиной, где к небу лицом,  
В самой гуще кладбищенской чаши  
Похоронены мать с отцом?

Уже будучи тяжело больным он мужественно говорил о своем конце: «Мне последнее время труднее уснуть, / Уже меньше надежд, и желаний, и планов. / Знать, пора собираться в положенный путь, / В путь, в который с собой не берут чемоданов».

Художник по профессии, С. Бонгард удивительно живописен в стихах. Цвета, тона, оттенки моря, дождя, городского пейзажа или гор, даже запахи поражают своей точностью (в шторм у моря «черное лоно», «лиловая вода», «зеленая вода»; «попынный запах солнечного луга»; «молочная завеса» тумана; «птица сонная»; «кривые вербы»).

Удачны и метафоры поэта («космы небес», «сосняк на скале, как гребенка», «как рубанком стругает с утра океан, / Вьются белые стружки у желтого берега»; «солнце кажется гонгом лучистым»; «дубы, величавые бонзы / Над ущельем стоят каменистым»; горы «горбят спину»; «туман-иллюзионист»; «ветряная мельница / Неустанно крестится»).

## Публикации

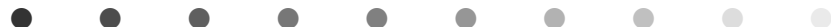
Память // *Грани*. 1946. № 2.

Стихи // Стихи. – Мюнхен, 1947

Стихи // *Встречи*, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985.

Стихи // *Встречи*. 1983–1985.

Стихи // *Перекрестки*, 1979–1982. №№ 3–6.



## АКТРИСЕ

*Г. В. Н.*

Это было, но память упорно  
Сохранит, как недавнюю близь,  
Этот сумрак актерских уборных,  
Этот приторный запах кулис.

Помню: зал до краев переполнен,  
В дымном воздухе гулкая дрожь –  
Это плещутся звуки, как волны,  
У кильватерной линии лож.

Ты поешь. В нарастающей крепости  
Голос к люстрам взлетел и упал.  
Длится миг... И как будто бы с цепи,  
Обезумев, срывается зал.

Бьет крылами, как дикая стая,  
Стонут ярусы гудом перил,





Убегу – тогда ищи-ка!  
Из-за ветл зовет река.  
Будет мною лед исчиркан  
Беглым почерком конька.

За рекой чернеют срубы,  
Я с тобою встречусь там.  
Приморозит «ветер губы  
К ярким девичьим губам.

Приморозит, не отпустит!  
Он шутить не любит зря!  
Я вернусь, когда за устьем  
Будет снег топить зря.

### **ОТПЛЫТИЕ**

Уже качнулся серый борт,  
Уже толпой гудят причалы!  
Передо мной туманный порт  
И дышит море за плечами.

Я отплываю на восток.  
Скрипят расшатанные реи.  
Прощальный белый твой платок  
Там над землей, как чайка, реет.

Пускай не порвана тесьма  
Соединившего нас горя,  
Но ты мне не пришлешь письма,  
Когда меж нами ляжет море.

Когда я стану одинок,  
Разлукой нерушимой ранен...  
Плывем. А белый твой платок,  
Как чайка, мечется в тумане.

\* \* \*

*Г. В. Н.*

Нет, поступить иначе я не мог.  
Теперь ничто меня с тобой не свяжет  
И память о тебе, как вечное клеймо,  
Морщиной темной над бровями ляжет.

У чьих-то бедер жадных и тугих  
Пойду мутить назойливую память,  
Но в сердце вновь возникнет горький стих  
И буду жечь, упорствовать и плавить.

Однообразные, ненужные года!..  
Ничто не исцелит от тяжкого недуга,  
Но слово “родина”, быть может, мне тогда  
Придет на ум, как имя друга.

И я вернусь. Угрюмый паровоз  
Уволочет меня от тления и сплина,  
И осень каплями тяжелых грустных слез,  
Как мать, оплачет возвращенье сына.

Там будет все, как будто бы вчера:  
Весь город мой в людском немолчном гуде,  
И те же дни, и те же вечера...  
Но только там одной тебя не будет.

И где-нибудь, не знаю точно – где,  
Мой любопытный друг меня расспросит  
О стройной девушке, о ласковой жене,  
Которую я так нелепо бросил.

\* \* \*

Сегодня день так сумрачен и мглист,  
В холодном небе затерялась просинь...  
Я так любил, когда шуршащий лист  
Мне на плечо клала спокойно осень.

Когда, от сутолоки дней устав,  
Наполненный тоской однообразных будней,  
Уходишь за город, и блеклый цвет листа  
Воспоминая потихоньку будит.

Так было раньше. Но сегодня – нет!  
Пускай не опадают листья!  
Они во мне шевелят только бред  
Твоих волос туманно-золотистых.

Куда идти, куда бежать теперь?  
Мне не найти покоя в желтых ветвях.  
Вернусь домой... Ехидно скрипнет дверь,  
Вползая в комнату на заржавелых петлях.

Потом безвольно брошусь на кровать,  
Линялым пледом с головой укроюсь,  
И в сотый раз попробую понять  
Свою беспутную, мучительную повесть.

И буду медленно, но нагло по пятам  
Преследовать события и даты,  
И, наконец, пойму, что жизнь моя по швам  
Разлезлась, как пиджак потертый  
и помятый.

## **ШТОРМ**

Косая молния стегнула горизонт  
И подала сигнал к началу боя.  
И гром скомандовал. И дрогнул гарнизон,  
И ветер двинул тучи за собою.

В открытом море, огибая мол,  
Построившись у крепостного форта,  
Побатальонно цепи черных волн  
Неутомимо шли на приступ порта.

И взяли порт. Они прорвались там,  
Где берег был песчане и ниже.  
А ветер мчал за ними по пятам  
И вел их в бой на штурм рыбацких хижин.

Всю ночь сопротивлялись берега  
И медлило сдаваться плоскогорье.  
А на рассвете, с жадностью врага  
Собрав трофеи, отступило море.

## ЕЙ

Мы встретимся снова на этом углу...  
Все снова и снова, и так до разлуки.  
Но в памяти я навсегда сберегу  
Твои обнаженные нервные руки,

Бездонную глубь твоих ласковых глаз,  
Такой необычный изысканный профиль –  
Я все постараюсь запомнить сейчас,  
Я их зазубрю, как любимые строфы!

Потом мы простимся. Расстанемся, – пусть  
Но я тебя всю в ореоле былого,  
Как эти стихи, буду знать наизусть  
От рифмы до рифмы, от слова до слова.

И годы скитаний, и суетность дней  
Горячую память во мне не осият  
О той, что не знала России моей,  
Но столько напомнила мне о России.

\* \* \*

Вздымались и рушились тучи,  
А в сердце вползала тоска мне.  
Все море как будто в падучей  
Ревело и билось о камни.

И ветер, бросаясь в пучину –  
Шипящее, черное лоно,  
Как скульптор буграстую глину  
Месил и месил иступленно.

Плащом запахнувшись потуже,  
Кляня ураган то и дело,  
Я шел по камням неукложе  
Туда, где оно сатанело.

Как будто в неслыханных пытках  
Был стон его глух и неистов;  
Не то что на этих открытках  
Для легковых туристов.

Не то что на этих шедеврах,  
Написанных бойким мазилкой,  
Ревело, играло на нервах  
И целому миру грозило.

Оно наливалось валами,  
Шипела лиловая пена,  
Ярилось крутыми буграми.  
Как торсы Огюста Родена.

И в бешеном круговороте.  
Швыряя зеленую воду,  
Рвалось словно раб Буонаротти  
Из массы своей на свободу.

\* \* \*

Ты помнишь, у нашей калитки  
Сияющим утром, лениво,  
Прибой разворачивал свитки  
И клал их к покровке залива.

Там крейсер стоял на причале  
И высился серою глыбой,

Отчаянно чайки кричали,  
Кидаясь в пучину за рыбой.

И соль на губах от прибоя,  
Клочок облюбованный суши,  
И ветер и море. И двое  
Влюбленных друг в друга по уши.

\* \* \*

Детство мое тихое.  
Тың, да хата с мальвами.  
Я не знал о них тогда.  
Океанах с пальмами.

За кривыми вербами,  
У болотной ямы,  
Мне лягушки первыми  
Были кобзарями.

Сумрак дымкой ладана.  
Вился над бурьяном,  
И в копилку падало  
Солнце за курганом.

Вечер в поле стелется,  
Тихий свет от месяца.  
Ветряная мельница  
Неустанно крестится.

Звездными миражами  
Пруд сиял у берега,  
И не снилась даже мне  
Та страна Америка.

\* \* \*

С курносой смертью ежели  
Я встречусь наяву,

Немногие пережили –  
Но я переживу.

Скажу ей – нету в мире  
Для жизнелюбов мест,  
И яма-то не вырыта,  
И не сколочен крест.

Иди к соседу – пьяница.  
Ленив, завистлив, слаб.  
Он сам к тебе потянется,  
До смерти любит баб.

Ей-Богу, парень стоящий,  
Спьяна на все готов;  
А мне б, картин хоть сто  
Да книжечку стихов.

### **ДОЖДЬ В ЗАСУХУ**

Дождя все ждали долго, долго,  
А он все набирался сил,  
И вдруг залил мой сад, как Волга  
Мой дом как баржу накренил.

Шумят, кипят деревьев кроны.  
Летит поток с мансарды вниз,  
И тучам рукоплещут клены –  
Еще дождя! Дождя! на бис.

\* \* \*

Присела птица сонная  
На черное окно.  
Внизу Невы зеленое.  
Игорное сукно.

Всю ночь знаменья всякие,  
Да шорохи окрест.  
На куполе Исакия  
Как туз трефовый крест.

Дорогами окольными.  
Бочком как будто вор.  
Вновь месяц как Раскольников  
Проходит в темный двор.

Опять при мертвом свете том  
Ползет по этажам,  
Уже почти столетие  
Кого-то ищет там.

Обрывки фраз до Невского  
Доносит шепотком,  
«Вам, сударь, Достоевского? –  
Пошел в игорный дом».

## **РУССКИЙ ПАРНАС В РАССЕЯНИИ**

Там в этой книжной лавке,  
Где букинист рассеянный  
Чахнет на старом прилавке.  
Русский Парнас в рассеянии.

Книги стоят рядами  
В темном углу скучая.  
Нетронутые годами  
Возле халвы и чая.

Непроданная поныне  
Горечь русской души –  
Этот рыдал в Берлине,  
Тот голосил в Виши.

Этот поэт без звания,  
Тот – титулованный князь;  
У князя давно графомания  
В скитаниях развелась.

Тлеют давно страницы.  
Выцвело имя поэта,  
Лирик скончался в Ницце,  
Трагик в Бельгии где-то.

Слава их редко тешила,  
Статуи им не высила,  
На шею наград не вешала.  
Не клала венков на лысины.

Жили с мечтой о чуде –  
Хоть в виршах восстать из мертвых!  
Только стихи как люди –  
Мало стихов бессмертных.

Многих уже не стало  
В майской звенящей сини.  
На кладбищах полыхала  
Сирень, как тогда в России.

Спит букинист у кассы,  
Похрапывает глухо,  
В стаканчике из пластмассы  
Чай и дохлая муха.

Робко через оконце,  
Грязную раму минуя,  
Входит мутное солнце  
В эту тоску земную.

Спит букинист, не слышит,  
Как обкарнав сатирика.  
Трагика съели мыши  
И доедают лирика.

## НОВОГОДНЕЕ

В декабре вспоминается май,  
Вспоминается юность все чаще.  
Мокрый Киев, веселый трамвай  
На зеленую площадь летящий.

Там в саду за кривой мостовой  
В синих блестках и ливня и мая.  
Ты стоишь под сиренью густой.  
На свиданье меня поджидая.

Мы по площади старой пойдем,  
Мы еще не предвидим разлуку,  
Как чудесно под этим дождем!  
Как волшеббно держать твою руку!

Я совсем еще юноша, я  
Нерешительный и неуклюжий,  
И в глаза твои жадно глядя,  
Попадаю ботинками в лужи.

Как привольно, как радостно тут  
По проулкам шататься без цели!  
Водосточные трубы поют  
И грачи от весны оголтели.

Счастье жизни – хмельное вино,  
Город так по-весеннему светел...  
Боже мой! Как все это давно!  
Как давно это было на свете!

Тридцать первое декабря.  
Шторы окон опущены низко.  
Неуверенный свет фонаря  
Освещает клочок Сан-Франциско.

Шум кварталов к полночи иссяк.  
Тротуары пустынные и сизы,

Лишь стоит охмелевший босяк  
На углу, словно башня из Пизы.

Я в гостинице этой опять,  
Я давно уже маюсь по свету.  
То же кресло и та же кровать  
И уюта по-прежнему нету.

Где-то там за домами луна.  
Стих мой дом, заварю себе чаю.  
Вот дошел до чего! Без вина  
Новогодние ночи встречаю!

Без вина, без подруги моей,  
Без веселой пирушки – куда уж!  
Растерял я по свету друзей,  
Всех подруг своих выдал я замуж.

Был я молод и ветрен тогда,  
К тем остыл, эти бросили сами.  
Не сыскать их уже никогда.  
Устарел мой блокнот с адресами.

Все ушло навсегда и не жди.  
Унесло как плоты по теченью,  
И трамвай, и весну, и дожди,  
Что проходят над русской сиренью.

И косматый обрыв у реки,  
Где от вязов корявые тени,  
И касание милой руки  
С ароматом дождя и сирени.

\* \* \*

Опять октябрь листвою сверкая  
На землю по садам пустым.  
Как Зевс когда-то на Данаю,  
Пролился ливнем золотым.

Шуршит, звенит листва повсюду,  
Как будто музыка сама.  
Поэты благодарны чуду,  
Художники сошли с ума.

Я сам хмельной в саду у липы.  
Вином встречаю этот час.  
Не знаю, как там на Олимпе,  
Но тут – божественно у нас!!

### **FOREST LAWN**

*(Самое известное кладбище  
в Лос-Анджелесе)*

Forest Lawn – говоря попроще –  
Место проводов, слез и бед.  
Место, где покупают жилплощадь  
С перспективой на тот свет.

Выбор есть: вот участки двухспальные,  
Это, если клиент женат –  
Даже с видом на улицу с пальмами.  
Подороже – на нежный закат.

Наглый агент – с беспечной небрежностью  
Объясняет опять и опять.  
Как по низкой расценке с вечностью  
Вы смогли бы легко переспать.

Не пугает он вас преисподней,  
Рай сулит и воркует о том,  
Что в могилу – хотя бы сегодня,  
А платить – даже можно потом.

Торгаши промышляют идеями.  
Но доходнейшая из идей:  
Чтоб при жизни еще сумели вы  
Погрустить над могилкой своей...

Чужды мне эти склоны с полянами  
Без крестов, без оград и без роз  
На земле не дружившей с бурьянами,  
Не обласканной шумом берез.

В Калифорнии – осень как в Киеве,  
Если б только не этот прибой.  
Что ж поделаешь, – видно такие мы  
Напоследок нас тянет домой.

Всё живущее – по-иному  
Смерть встречает, не зная о том –  
Пес идет умирать из дома –  
Человек возвращается в дом.

Не с того ли я вижу всё чаще  
Крест с рябиной, где к небу лицом,  
В самой гуще кладбищенской чащи  
Похоронены мать с отцом?

## **ТУМАН**

Уже опал последний лист.  
И с той горы, что горбит спину,  
Туман-иллюзионист,  
Спустился медленно в долину.

И вот пополз во все края,  
Укрыв молочную завесой  
Шоссе, конюшни, тополя,  
Аэропорт за дальним лесом.

Шагая к дому наугад  
Под всё густеющую дымкой,  
Я вижу, как бледнеет сад.  
Как елка стала невидимкой.

Как все теряет плоть и вес,  
Становится бесцветно, мглисто.  
О Боже, даже дом исчез  
По воле иллюзиониста!

Исчез, и не ищи – ведь зря!  
Он был – и нет. Он канул в бездну,  
Как горы и как тополя,  
Как я когда-нибудь исчезну.

Вот даже самый ближний куст  
Передо мной растаял сразу.  
И мир, знакомый наизусть  
Уж недоступен больше глазу.

### БЕРЕЗА

У шоссе – за первым километром.  
Где дорога круто рвется вниз,  
Извиваясь под осенним ветром,  
Исполняет дерево стриптиз.

Сбросив наземь все свои одежды –  
Всё дотла, не сыщешь и листок.  
Лишь остался на точеной ножке  
Белый ослепительный чулок.

Как в тяжелом приступе психоза,  
В голубом бензиновом дыму –  
Пляшет обнаженная береза  
У машин проезжих на виду.

Плавен выгиб тоненького стана,  
Нежен веток дымчатый плюмаж;  
Ей бы на холсте у Левитана  
Украшать какой-нибудь пейзаж.

Или в русской выситься деревне,  
Где растут поэты от сохи,  
Где березы, стройные издревле,  
Попадали в песни и стихи.

Я стою, как будто бы на тризне  
У шоссе, где смрад и визг колес...  
Горько мне, что не сложились жизни  
Так как надо – даже у берез!

### **ВЛЮБЛЕННЫЕ ЛОШАДИ**

Глубокий дол, и словно пламя всполохи, –  
Хвосты и гривы рыжие полощутся,  
И нежно, наклонив нечесанные головы,  
Стоят под ветром две влюбленных лошади.

Над ними небо – лучезарным куполом.  
Полынный запах солнечного луга;  
Ну, а они – так влюблены по-глупому.  
Вот в этот мир цветущий и друг в друга.

А ветер дует, ковыли обшаривая,  
И никого вокруг, их только двое –  
Замкнутые в два дивных полушария:  
Одно зеленое, другое голубое.  
Замкнутые в два дивных полушария.

### **ОСЕНЬ В ГОРАХ**

Осень – вылитая из бронзы.  
Солнце кажется гонгом лучистым,  
И дубы, величавые бонзы,  
Над ущельем стоят каменистым.

Тихо все, у песчаной запруды,  
Спят рыбешки на каменном донце;

Валуны, ожиревшие Будды,  
Животы согревают на солнце.

Облака над вершинами низко  
Проползают всё мимо и мимо,  
И как будто бы в храме буддийском  
Аромат горьковатого дыма.

## У ОКЕАНА

*For Patricia Le Grande*

Ветер дует и дует, – напорист и рьян,  
Пальмы гнет и пылит у курортного скверика.  
Как рубанком стругает с утра океан,  
Вьются белые стружки у желтого берега.

Распирает под ветром опять паруса  
И веселое солнце на запад катится.  
Золотит берега, розовит небеса  
И на каждой волне, расколовшись, дробится.

Вот в сверкающих брызгах волны поперек,  
Под шального прибоя размерные залпы,  
С оснеженной вершины скользит паренек  
И тотчас же взлетает на новые Альпы.

И девчонка бежит по песку босиком,  
А за нею собаки, – отчаянно лают,  
Пахнет рыбой, смолою и мокрым песком  
И три тысячи чаек кричат и летают.

То кидаются в небо, над пляжем паря,  
То в прибой окунутся – высокий и хлесткий;  
Белый парус до самой волны накрена,  
Кто-то ловит ладонью слепящие блески.

А девчонка бежит вдоль шипящей межи,  
Мимо мокрых камней в голубой крутоверти.  
И повсюду грохочет и буйствует жизнь, –  
Жизнь чистейшего сплава, – без примеси смерти!

\* \* \*

Не зачерствей как пень с годами,  
Окаменеть не торопись,  
Опять вишневыми садами  
В далекой памяти пройдишь.

Мимо давно знакомой хаты  
Перешагни за перелаз,  
Где рыжий клен, как пес кудлатый.  
Тебя облизывал не раз.

Где с детства были сердцу любви  
Душистый стог и сеновал.  
Где частокол, оскоря зубы,  
Крапиву в зарослях жевал.

Пройди к ручью, где вечность не был.  
Где в зной, чтобы набраться сил.  
Ты, над водой склонившись, небо,  
Хватая пригоршнями, пил.

Остановись у той же липы,  
К земле колени приклони  
И из ручья, как прежде, выпей,  
Вновь неба русского хлебни.

Потом в густой траве укроясь,  
Приляг и сквозь завесу трав  
Смотри, как вытянется поезд,  
Лиловым дымом степь застлав.

Как поравнявшись с лесом вскоре,  
Переползет через поля,

И в небо – голубей, чем море –  
Уйдет, как молодость твоя.

Уйдет, как жизнь, неповторимо!  
Зови и плачь – не возвратишь!  
Побед и поражений мимо –  
В ночную синь, в ночную тишь.

## НАЧАЛО БУРИ

Откатится, вновь наплывает,  
Швыряет зловещей волной,  
Голову разбивает  
Об острые камни прибой.

Ударит то глухо, то звонко,  
То рушится в полный свой вес.  
Сосняк на скале, как гребенка,  
Запутался в космах небес.

Такой удручающей хмури  
Давно этот край не видал.  
Вот первый, изваянный бурей,  
Взметнулся чудовищный вал.

Теперь уж пойдет! Начинай-ка,  
Нахлынь все кроша и круша, –  
И падает белая чайка,  
Как в адскую бездну душа.

## МАСТЕРСТВО

*Ивану Елагину*

Читая стихи твои снова,  
Я просто поверить не ног,  
Как ловко упрямое слово  
В бараний ты скручивал рог.

И мне оставалось дивиться,  
Как смог ты в ловушку увлечь,  
И как укротить эту львицу –  
Строптивую русскую речь.

Она меня лапой стегнула  
И клык обнажила, как нож,  
А ты без хлыста и без стула  
К ней в клетку так запросто вхож.

И шаг твой почуя спросонок,  
Она встрепенется и вот –  
К тебе подбежит, как котенок,  
И мастеру руку лизнет.

# Буркин

## Иван Афанасьевич

*(1919–2011) – поэт, прозаик, переводчик, скульптор.*



Родился в Пензе. В конце 1920-х гг. его отец, содержавший мельницу, дважды арестовывался как эксплуататор и, предчувствуя третий арест, отправил семью всю семью (жену и двух сыновей) в никуда.

После долгих мытарств Иван оказался в Мордовии, где закончил филологический факультет Саранского педагогического института. В 1940 г. был призван в армию, в 1941 отправлен на фронт, через год попал в плен.

После освобождения остался в Германии, несколько лет провёл в беженских лагерях.

С 1950 г. жил в США. В Колумбийском университете получил степень доктора философии. Преподавал русский язык и литературу в Сиракузском университете, в Сан-Францисском колледже.

Стихи писал с 13 лет. Первая публикация еще в Саранске 1938 году. В 1947 выпустил книгу стихов «Только ты, Мюнхен». В эмиграции печатался в журналах и альманахах «Грани», «Мосты», «Перекрестки» («Встречи») Автор 11 поэтических сборников (4 опубликованы на родине) и романа «Не бойся зеркала» (1950, опубликован в 2005). Печатался в журналах и альманахах «Грани», «Мосты», «Перекрестки», в газетах «Новое русское слово» и «Русская жизнь». С 1988 г. несколько раз посещал Россию.

И. Буркин был в числе основателей альманаха «Перекрестки», но в 1983 году вышел из редакции в связи с разногласиями с другими членами редколлегии, протестовавшими против наметившегося модернистского уклона публикаций.

На творчество поэта оказали влияние различные авангардистские традиции: с одной стороны, «прыжки воображения» в стихах В. Хлебникова (что Буркин отметил в эссе 1996 г. «Цветок на могилу Хлебникова»), с другой – эксперименты в области свободного стиха (верлибра), с третьей – абсурдизм и ирония обэриутов.

«У поэта-эмигранта, – писал Буркин в предисловии к сборнику “Берег очарованный” нет массового читателя. Его поэзия часто обращена к самому себе и носит интроспективный характер. Рефлексия, подробная фиксация пережитого и переживаемого – вот ее главные черты. Из-за отсутствия массового читателя <...> можно писать не заботясь о простоте и доступности. <...> Лиризм в таких стихах принимает утонченный характер, ибо внутренний мир человека подается со всеми нюансами и глубиной».

«Густая метафорическая ткань стиха, – писал Буркин о себе в статье “Одинокий парус”, – должна не уговаривать, а заговаривать, создавать, подобно музыке, особое настроение. И там, где выступал лирический герой, в центре внимания были глубина и нюансы его психологического рисунка («Мечты на маневрах», «Листья падают», «Мета-роза»)). Лирический герой Ивана Буркина живет яркой жизнью, категорически не приемлет стандартное мышление, позу, высокий стиль; иронизирует над любой «красивостью».

Образы Буркина оригинальны, порой нарочито алогичны, но всегда зримы. Слово для него «не хозяин, слово – лакей». В его стихах пространство «ревет как медведь на мачты и на капитана», арбуз «на солнышке греет живот», телефонная трубка «точь-в-точь как только что родившийся щенок лежит на животе телефона». В одном стихотворении адрес скитается вместе с лирическим героем, в другом – автор «едет в мемуары», а навстречу ему «мчится старина», в третьем – «одинокое, бездомное, оторвавшееся или потерявшее своего хозяина» имя летает по комнате «как огромная бабочка», вглядывается в портреты на стене и чего-то ожидает. «Кроме грамматической абстракции, – продолжает поэт в уже названной статье, – мои эксперименты выразились и в поисках “обратной метафоры” («Медленное описание игры на рояле», «Путешествие поэта на край абсолютного сна»))».

Похоронен на православном сербском кладбище Сан-Франциско.

## Сочинения

Только ты. Стихи. – Мюнхен, 1947..

Путешествие из черного в белое. – Мюнхен, 1972.

Рукой небрежной. – Мюнхен, 1972.

Заведу словами – Филадельфия: Перекрестки, 1978.

13-ый подвиг. – Филадельфия: Перекрестки, 1978.

Голубое с голубым. – Филадельфия: Перекрестки, 1980.

Луна над Сан-Франциско. – СПб.: Журнал «Юность», 1992.

Путешествие поэта на край абсолютного сна. – СПб.: Петербургское соло, 1995.

Возмутительные пейзажи, лабиринт и так далее. – СПб.: Библиотека альманаха «Петрополь», 1996.

Не бойся зеркала. – Донецк, 2005.

Берег очарованный. Стихи. – М.: Советский спорт, 2006.

Здравствуй, вечер! – СПб.: Фонд русской поэзии, 2006.

## Публикации

Вниманье: будьте осторожны! Не наступите на живот! // ДН. 1997. № 8.

Догоревшие свечи. (О русской поэзии) // Грани. 1964. № 55.

И в две и в четыре стопы. // НМ. 1995. № 2.

Прогулка // Грани. 1959. № 43.

Прощание с Пушкиным // Совр. 1979. № 43 / 44.

Симфонический скандал // Эхо. 1980. № 4.

Сомнения // Опыты, 1953. № 1.

Стихи // Встречи. 1977–1982, 1989, 1990, 1993, 1994, 1996.

Стихи // Грани. 1960. № 46.

Стихи // Мосты. 1959. № 3.

Стихи о животных // Грани. 1960. № 45.

Три стихотворения // Грани. 1959. № 41.

Человек // Совр. 1979. № 43 / 44.



## ЛАГЕРЬ ВОЕННОПЛЕННЫХ 1941

И этот вот сейчас умрет.  
В глазах уже знамена смерти.  
Надежно, верно заперт рот.  
Душа навылете, в конверте...

Как прост последний переезд:  
Ведь никуда не надо ехать.  
Порой опаздывает крест,  
Но это тоже не помеха...

Никто не ведает, куда  
Уходят тихо, глаз не прячут.  
Как хорошо, что здесь не плачут,  
Рукой не машут уходя.

На белом свете побывали,  
Все в общей яме, все Ивановы...

## ТИХООКЕАНСКИЕ СОНЕТЫ

### 1.

Открой мне дверь, осенний тихий вечер,  
Я дальний путник, я почти без сил.  
Я тишину с собой принёс – не ветер.  
Луну на всякий случай пригласил.

Я двигаюсь короткими шагами,  
Но длинным глазом я повсюду зрел  
Зимою вьюги песни мне слагали  
И вихри войн достались мне в удел.

Горят в камине тёмные поленья  
И задыхаются и в дыме, и в огне.  
Двойная смерть их греет мне колени  
И пошевеливает жизнь во мне.

Когда золою станет всё, как прахом,  
Я на подушку лягу, как на плаху.

### 2.

И кто умножает познания –  
умножает скорбь.  
*Книга Экклезиаста*

Чем больше знаешь, тем сильнее скорбь.  
Недаром головой качаешь часто.

Я в Библию смотрю, как в микроскоп,  
И плаваю в словах Экклезиаста.

В великой мудрости живёт печаль.  
Чем больше знаешь, тем она сильнее.  
Она растёт, она наш капитал,  
И нам нельзя уже расстаться с нею.

Что было и что будет – суета.  
Кривая и останется кривою.  
Но есть у слов большая высота.  
Вот здесь уже киваешь головою.

И может случиться, что наш белый свет  
Задуман был как суета сует.

### 3.

Кончай, пластинка. Покружилась вдоволь.  
Похоже, ты – ну, вылитая я.  
Ты так послушна, так всегда готова  
Кружиться в тёмных дебрях бытия.

Тебя, склонившись, бедная иголка  
Царапает, вытаскивая боль.  
Тебе давно невыносимо горько,  
Печальная тебе досталась роль.

Меня царапает игла другая,  
И из меня опять на белый свет,  
От жажды острой жить изнемогая,  
С оглядкой вышел медленно сонет.

И он кружиться будет, как пластинка,  
С надеждою, задумчиво и тихо.

### 4.

Без объявления стучится строчка  
Осенним вечером часам к восьми.

Со словом просится, конечно, точка,  
И запятая просится: «Возьми».

Иная строчка, словно ожерелье.  
Слова сияют, точно жемчуга.  
Другую вдруг постигло ожиренье,  
У толстых слов всегда растут рога...

И есть слова, что умирать готовы  
Или идти легко на компромисс.  
И есть такие – им нужны подковы.  
Будь начеку, поэт, посторонись.

Пускай бегут себе подальше, мимо.  
Поэзии нужны слова без грима.

### 5.

Я очень временный хозяин стен,  
Благодарю и временную крышу.  
Ведь я уже давно доволен тем.  
Что всех рыданий ветра я не слышу.

И дождь как будто не жалеет труд,  
И стены чисты и всегда умыты.  
Картины в окнах разные растут.  
Какая радость: окна плодovиты.

Я процветаю в бедности святой,  
Любуюсь подвигом цветущей орхидеи  
И, кроме верной точки с запятой,  
Я двоеточием ещё пока владею.

Другим владениям твоим, поэт,  
Цены базарной не было и нет.

### 6.

В пространстве громко дышит моя грудь.  
Сирень на столике, словно сиделка.

Во времени кратчайший путь  
Охотно, честно совершает стрелка.

Надежда варится точь-в-точь, как суп,  
И через час она уже готова.  
Немного позже и с бесцветных губ  
Слетит ругательство с цветами снова.

О времена! О губы! Да и ты,  
Пространство, вскормленное мною, –  
Все исказило образ красоты,  
И зло творится за моей спинойю.

Пока она ещё мне не видна,  
Но где-то кроется моя вина.

### 7.

Победа сумерек. Увядший свет  
Пытаются поймать слепые окна,  
И первая звезда (о, сколько лет!)  
На землю тихо смотрит из бинокля.

Куда-то облако опять спешит,  
Намазав губы толстые закатом,  
Но улица моя (вернее, уже стрит)  
Цветами тёмными весьма богата.

Вдали от родины чего ещё я жду?  
Душа теплом неведомым согрета.  
Встречаю с радостью я первую звезду,  
Чуть слабый блеск её привета.

Быть может, где-то за её спиной  
тоит душа иная, мир иной.

### 8.

Снимаю тень свою, как бы с креста.  
За что и кем была она распята?

Иду по улице, чуть-чуть грустя.  
Как хорошо грустить всегда по блату.

Одно и то же, кажется, везде.  
Как далеко находится нирвана?  
Одни застряли глубоко в беде,  
Другие в роскоши бесцельно вянут.

Так было, скажут мне, вчера,  
Так будет, пояснят мне, завтра.  
Живи в рассрочку, слёзы вытирай.  
Какой посев – такой и будет жатва.

Никто не думает, как тень сберечь,  
Когда над головой повиснет меч.

## 9.

Мучительны бывают вечера,  
Когда из памяти, уже довольно зыбкой,  
Всплывает заблуждений мишура,  
Когда блестят отчаянно ошибки.

Мерцанье молний тех далёких встреч  
И неизбежный зов и звон бокалов,  
Сияние случайных голых плеч  
В разгаре пьяных и весёлых балов.

Но от себя бежать уже нельзя.  
Ты заперт в прошлом, как в звериной клетке.  
Идешь вперед, а вот живёшь назад,  
Глотая настоящего таблетки.

И в прошлом, и теперь кружись,  
Тебе дана как бы двойная жизнь.

## 10.

Октябрь в окне. Мой клён совсем разделся.  
Он – вот пример! – всегда навеселе.

Из пальцев образуя быстро дельту,  
Рука течёт свободно на столе.

В наш разговор влетает ветер темы,  
Интересующей не только нас.  
Вот ловят всякий вздор теперь антенны,  
Оставив в сердце горький резонанс.

Жестокий мир в упор глядит с экрана,  
Заплаканные лица смотрят из газет,  
И это всё, как говорят, по плану.  
Какому плану? Кто нам даст ответ?

Тот вещий и испытанный оракул?  
Да он бы не ответ дал, а заплакал.

## 11.

### *Памяти В. Маяковского*

О, как он был в поэзию влюблён  
Красавец этот в жёлтой яркой кофте!  
Из гущи всех тускнеющих имён  
Одно давно сверкает: Маяковский.

Не встретишь у него слов холостых.  
По голове, как кошек, слов не гладил.  
Он их ковал, он добывал свой стих,  
Как добывают драгоценный радий.

Он шлифовал язык, как ювелир,  
Он не писал – он в сущности чеканил.  
Его стихи объездили весь мир,  
Блестя везде, как драгоценный камень.

И вдруг случилось... Не хватило сил?  
Своей рукой он песню задушил.

## 12.

О, фонари, и вам не надоело  
Насиловать себя в полночный час?  
И лишь поэт, ушедший в своё дело,  
Готов завидовать, жалея вас.

Поэт и ночь. Вот тоже тема. Дабы  
Она с другими принесла плоды,  
Уйди в слова, поэт, в их ночь, в их табор,  
Умри легко у Музы на груди.

Умри в словах.. И в этом есть отрада,  
Уйди в слова, не чувствуя вины,  
Иди в слова безжалостно батрачить.  
Из глубины пиши, из глубины.

Ведь наскоро приклеенная слава  
Есть самая тяжёлая отрав.

**ЧАСЫ**

*(Из цикла  
«И в две и в четыре  
стопы»)*

## 1

Часы поют  
черную азбуку времени.

## 2

Это с детства  
знакомое лицо.  
Спокойное,  
равнодушное,  
холодное.  
На нем  
двенадцать ран,

двенадцать ударов,  
двенадцать шагов,  
двенадцать узлов,  
двенадцать гнезд,  
двенадцать голубей –  
моего времени.

**3**

Двенадцать этажей разочарования,  
двенадцать ступеней к палачу,  
двенадцать дверей в неизвестность,  
двенадцать вопросов к Богу.

**ПЕРЕД СУДОМ  
ОБЪЕКТИВА**

Ссылают на карточку  
как будто на каторгу.  
Ссылают с пейзажем,  
с кудрявой березой,  
ссылают с дымящей еще  
папиросой...  
Снимают на карточку  
без сожаленья –  
снимают на вечное поселенье  
осанку,  
остатки телосложения и массу  
задумчивого выраженья,  
загибы характера  
у подбородка  
и лоб, говорящий,  
что жил и боролся...  
В спешном порядке  
ссылают – к потомкам?  
В другую эпоху –  
В другие потемки?

\* \* \*

После грозы хотелось:  
послать привет черту,  
выпить шампанского,  
сочинить стихотворение,  
поцеловать женщину,  
нарисовать коня,  
разбудить цветок,  
купить сапоги,  
заблудиться  
в рассказах Тургенева...

### СТИХОТВОРЕНИЕ

(в котором я защищаюсь  
от Хлебникова)

А осень висит запятой.

*Хлебников*

Закуска играет в селедку,  
и аппетит на серебряных лапках  
напоминает хищников.  
Дельфины играют в радугу,  
сверкая своими линиями  
и врезаясь как мечи в море.  
На райском берегу  
пальмы вытянули  
гусиные шеи,  
и в купальных костюмах  
блаженствуют  
выпуклые ожидания.  
Из песни сделали соловья,  
и тот начал разбойничать  
в музыке.  
Деньги превращаются  
в грязное белье,  
и банк становится

прачечной.  
В зоологическом саду  
звери живут на пенсии.  
Одуванчик отцвел  
и надел парик.  
Костер машет  
носовыми платочками  
беспочвенным путникам.  
Есть страна,  
где на вопросы отвечают пистолеты.  
Душа принимает обиды  
на короткой волне.  
Где выход  
из этого стихотворения?

## ОСЕННИЕ ЭЛЕГИИ

### 1

Люблю лицо осеннего окна,  
Задумчивую бледность его света.  
Душе, давно лишившейся огня,  
Уже не нужен блеск весны и лета.  
Уже бледнеет купол голубой.  
Уже домой опаздывают тени.  
Да, осторожный, медленный покой  
Меня пленяет больше, чем цветенье.  
Когда в природе только тишь да гладь,  
Когда природа будто после бала  
И кажется, что эта благодать  
Нам с высоты откуда-то упала,  
С самим собой веду я диалог –  
Он сух и трезв и чуточку печален.  
Да, после всех распутий и дорог  
Я к тихому окну теперь причалил.

### 2

Осенний день. Часы идут назад,  
Да и минуты тоже не спешат.

Ну что ж, и времени, пожалуй, отдых нужен.  
А я, наоборот, вот осенью разбужен.  
И бодрствую у тихого окна,  
Спустившись в думу толстую до дна.  
А что мне делать? Что во мне осталось?  
Уже наполнилась годами старость.  
И спину гнул, и возраст перегнал.  
Уже доносится откуда-то сигнал...  
Остановись! Попробуй жить обратно,  
И станет ясно всё и непонятно...  
Я у окна. Как будто моросит.  
Осенний день на ниточке висит.

### 3

О, Мастер времени, строитель бурных лет!  
Хранитель верного и вечного покоя!  
Я тоже ещё здесь, стяжатель разных бед,  
Давно познавший путь скитальца и изгоя.  
Я тоже здесь, как все, по милости Творца.  
Но вот душа моя от времени устала,  
И в очередь я стал к Хозяину конца,  
Земной поклон отдав Создателю начала.

## СТИХИ ИЗ РОМАНА

### 1

Сперва качнулся потолок.  
Потом вытягивались стены.  
Затем окно без панталон  
Совсем приблизилось к постели.  
Я выпрямился, словно гвоздь.  
Мир искривлялся больше, больше...  
Я продырявил ночь насквозь.  
Пора вставать. Вставай, не бойся!  
Пока я взоры подымал,

Пока пространство глазом мерил,  
Бродил по улицам туман –  
Сырой, седой, как сивый мерин.  
Пока я в этот мир вставал,  
Проснулись деньги и товар.

**2**

У нас здесь смерть. У них там Tod,  
Кто виноват в кровавом споре?  
Мудрец поведал: «Всё течёт...»  
И всё впадает вечно в горе.  
И дождь, и слякоть. Несмотря  
На это, вновь идёт сраженье.  
Жестокий бой идёт с утра,  
И смерть с таблицей умноженья  
Обходит смертников ряды,  
Заглядывая к нам в окопы.  
О, ей известны все ходы,  
И у неё огромный опыт!  
Ну что ещё добавить мне  
К огромной правде о войне?

**3**

Не плачь, мой друг Иван-царевич,  
У нас с тобой одна беда.  
Помогут звери нам, деревья,  
Живая выручит вода.  
А мёртвую мы долго пили  
И запивали сладким сном.  
Нас в щёлку, кажется, любили  
И угрожали вечным дном.  
Пути-дороги нам открыты.  
Встречались с лихом мы не раз.  
И мы с тобой не лыком шиты,  
Кривая выведет и нас.  
У нас ведь русская закваска –  
Забудем быль, поверим сказке.

**ПОПУГАЙ**

Держите красное!  
Ловите зеленое!  
Купите желтое!

Красное летает.  
Зеленое помогает.  
Желтое клюет.

Зеленое на двух ногах.  
Красное из двух крыльев.  
Желтое с хвостом.

Желтое с суффиксом.  
Зеленое с приставкой.  
Красное с окончанием.

Красным написано: по.  
Зеленым написано: пу.  
Желтым написано: гай.

**ХОККУ**

•  
Бедное эхо:  
никак не выговорит  
нежное “люблю”.

•  
О, если уйдешь,  
хоть тень свою оставь мне.  
Вот моя просьба.

•  
На синем снегу  
наша тень растаяла:  
мы целовались.

•  
Как в рубашки,  
в смирительные буквы  
одели слова.

•  
В полночь во дворе  
вдруг стало совсем светло:  
луна разделась.

# БУШМАН

(урожденная Сидорова-Евсеева,  
в замужестве Филиппова)

## Ирина Николаевна

(род. 1921) – поэт, литературовед, прозаик, переводчик.

Происходит из старинных родовитых семей (по одной линии от Баття, по другой – от испанских мавров-магометан). В семье многие занимались литературным творчеством. В салоне деда бывали Н. Клюев и С. Есенин. Закончила школу в Царском Селе и три с половиной курса филфака Ленинградского университета: помешала война. В период осады Ленинграда оказалась на оккупированной территории, где вместе с Ивановым-Разумником пыталась спасти книжные богатства пригородов Северной столицы.

После войны долгое время мыкалась по беженским лагерям, в том числе в советской зоне в Тюрингии, откуда переехала в Берлин, а затем в Кобург. Работала на радиостанции «Свободная Европа» («Свобода»).

Литературным творчеством начала заниматься в раннем детстве: в пять лет написала пьесу «Жалоба миски». Стихи тоже начала писать с детства. Одна из ведущих тем ее поэзии – воспоминания о Петербурге.

Значительное количество стихотворений посвящено творчеству («Умей творить! Из камня, из стекла», «Черновик», «Ван Гог»), природе («Ты названа не зря березовой аллеей», «Березы янтарные»), любви («Сердце, сердце, ну что ты...»).

Поэтесса любит экспериментировать с ритмикой стиха, длиной строк (от предельно длинных и величавых («Солнце бабьего лета! О, выжги сухую траву») до летящих («Не женой, а теплой рукавичкой / На твоей руке хочу я стать...»)), строфикой («Pila»). Встречаются в ее творчестве и интертекстуальные ссылки («автобус мне, автобус» или о природе: «холодных ума рассуждений»). Критика даже говорила об авангардизме поэзии И. Бушман, примером чему служат стихотворения о смерти «Полсонета» или:

Слышишь ли, друг, времени бег?  
Не завтра ль нас вдруг оцепят  
пение  
вьюг,  
снег,  
снег  
и новых разлук  
томление  
и трепет?

Большая поэма «Джордано Бруно» поэтессой не закончена, фрагменты публиковались в периодике.

Печаталась Бушман редко: в «Новом журнале», «Мостах», «Свободе», «Литературном современнике», «Новом русском слове». Авторских сборников не выпустила.

Рассказы И. Бушман «Красное и серое» передавались радиостанцией «Свобода (Мюнхен)» в 1950–1960 годы.

Широкую известность создало ей исследование «Поэтическое искусство Мандельштама» (1964).

Выступала И. Бушман и как переводчица. В частности, перевела на немецкий язык рассказ Ф. Абрамова «Вокруг да около».

## Сочинения

Поэтическое искусство Мандельштама. – Мюнхен, 1964

## Публикации

«Кто видел “я” живым и целым...» // *Лит. совр.* 1951. № 1.

Обернувшись // *Лит. совр.* 1952. № 4.

«Поди, послушай у дверей...» // *Лит. совр.* 1952. № 3.

«Пролетали птицы веснами...» // *Лит. совр.* 1954.

Слава. // *Совр.* 1976. №№ 30 / 31.

Стихи // *Мосты.* 1961. № 7.

Стихи // *Встречи.* 1992, 1993, 1999, 2000, 2001–2003.

## Статьи и рецензии

К итогам стилистической пятилетки. // *Вест. Ин.*, 1953. № 5.

Ко дню рождения Ирины Сабуровой – 19 марта // *Гол. зар.* 1980. № 16.

М.П. Штокмар. Исследования в области русского народного стихосложения // *Вест. Ин.* 1952. № 3.

Тимофеев. Учебник русской советской литературы // *Вест. Ин.* 1952. № 2.

Фабрика мышления // *Вест. Ин.* 1953. № 4.

\* \* \*

То зримо, то почти неощутимо,  
Чугунным росчерком иль ширью площадей,  
Сквозь толщу Лондона, сквозь наслоения Рима  
Он возникает в памяти моей.  
О город мой!  
С тобой полузабытым  
В иных столицах встречи – словно сны:  
Лишь отблеск шпилья, только тень гранита...  
Во влажном ветре – вздох твоей весны...

О город мой, рожденный стать миражем, –  
Жилище Муз и дорогих теней!

И встретясь вновь, друг другу не расскажем  
Мы о любви несбывшейся своей.

### ЧЕРНОВИК

Слава?  
За окошком – топот конниц –  
тысячи Пегасов.  
Звезды черные бессонниц  
лишь под утро гаснут,  
раннее?  
позднее?

Неподкованные кони  
без узды и без седел –  
ранняя слава?  
И невидимые звезды  
без тепла и света –  
поздняя слава?

Этот шум, совсем беззвучный,  
в блеске без сиянья...  
каждый миг – двойная вечность –  
тщетное исканье  
слова...  
Слава?  
Нет!  
СЛОВО в славе не нуждалось в  
Первый День Творенья.

За окошком нищий хаос  
просит воплощенья  
в Слово.

\* \* \*

Умей творить! Из камня, из стекла,  
Из шелка пестрого, из смолкнувшего слова.  
Не допусти, чтоб жизнь твоя текла  
По руслу старому, лишь повторяя снова.

Будь архитектором иль кузнецом,  
Создай симфонию, поэму, дочь иль сына,  
Будь композитором, за истину борцом,  
Врачом, художником, певицей, балериной,

Прославься в юности. В безвестности умри,  
Но чтоб в конце пути из хижин иль дворцов  
Ты не с пустой рукой пришел к Творцу творцов,  
Будь, чем хотел... чем смог.  
Но что-нибудь твори!

\* \* \*

Ты названа не зря березовой аллеей –  
Березки по тебе, толкаясь и смеясь,  
Бегут, вершинками на солнце золотясь  
И серебром стволов в тени ветвей белея.  
Не по тебе прошли заветные пути,  
И хожено тобой совсем не так уж много,  
Но я тебя люблю за то, что ты дорога,  
Что можно по тебе уйти, идти, прийти...  
Уйти? Но я ушла из прошлого давно,  
От памяти ж о нем мне не уйти вовеки;  
Она переплывет со мной моря и реки,  
И не тебе ее остановить дано.  
Прийти?.. Куда? К кому? Где ждет меня камин,  
Чтоб, странница, могла свои согреть я ноги?  
Я по тебе приду к другой большой дороге,  
Найду лишь новый путь, иль, может, не один...  
Не в силах увести меня и привести,  
Ты помогла часы мне скоротать немного,  
И я тебя люблю за то, что ты дорога,  
Что можно по тебе идти, идти, идти...

\* \* \*

К родителям не смогшие дойти,  
не брошенные в спальне или в детской,  
повернутые вспять, на полпути,  
остротой или мудростью житейской,  
разбуженные раннею весной,  
увядшие до осени червонной,  
забытые на полке запасной,  
потерянные в толкотне вагонной,  
на жизнь не приобретшие права,  
зарытые под пыльными делами –

не сказанные нежные слова  
становятся жестокими словами.

PILA<sup>1</sup>

Сквозь фильтр болота пресная вода  
вливается в рассол;  
и ласточки сидят по проводам:  
там – «mi»,  
тут – «ge»,  
здесь – «sol»,

их можно бы на флейте проиграть,  
но стал привычной  
соседям Страдивари и Амати  
смычок скрипичный.

А городок кончается на «la»,  
хоть в алгебре начало  
встречается.  
Не видно корабля,  
но лодки у причала  
качаются  
(тут даже есть прибой!),  
шатая привязь...

Здесь все двоюродно между собой  
переженились  
и страшно отупели –  
от рагу  
из осьминогов...

О Господи,  
я больше не могу –  
автобус мне!  
автобус!

---

<sup>1</sup> *Пила* – маленький городок в устье реки По в Италии, у самого впадения в Адриатическое море. *Соседям Страдивари и Амати...* – Выше по течению реки По расположен город Кремона, где жили и работали мастера, изготовившие самые знаменитые в истории скрипки – Никола Амати (1596–1684) и Антонио Страдивари (1644–1737). – Примечание Е. Витковского.

**БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ**

Открывается осени книга  
красной строкой бересклета.

Продолжай ее чтение  
под шорох  
тонких листов  
бумажной березы:  
Много-много найдется в ней  
«холодных ума рассуждений»  
(выпуклым почерком инея  
на плотном пергаменте дуба)  
или «горестных сердца замет»  
(черной вязью ноябрьских ветвей  
на облака сером картоне).

.....  
А кончается осень  
нетронута-белой страницей,  
на которой только весна  
напишет свое послесловье...

**ПОЛСОНЕТА**

*В. Перелешину*

В эпоху Возрождения воспеты  
В венках сонетов неба чистота,  
Величье смерти, жизни простота.  
В наш углый век довольно полсонета,  
Чтоб передать разрушенную твердь,  
Пустую жизнь, бессмысленную смерть  
И замолчать, не получив ответа.

\* \* \*

Не женой, а теплой рукавичкой  
На твоей руке хочу я стать –

В зимний холод нежно согреть,  
Быть твоею будничной привычкой,  
А как только в летние деньки  
Ты познаешь все блаженство зноя,  
Быть небрежно стряхнутой с руки...  
Только бы не заткнутой за пояс!

\* \* \*

В вечерний час бродить среди берез,  
Их обнимать и кланяться им в пояс,  
Лицом к востоку слушать встречный поезд,  
Гудящий песнь под барабан колес...

Всегда молчать и твердо-твердо знать,  
Что ты одна на всем бескрайнем свете,  
Что поутру никто тебя не встретит,  
А к вечеру не выйдет провожать.

\* \* \*

Начнем с конца:  
Когда слепая медь  
незрячесть глаз моих заверит  
как печатью,..  
Но если то,  
что здесь зовется «смерть»,  
в иных мирах –  
рожденье иль зачатье?

Начнем с конца:  
Когда моя планета  
на мелкие крупинки распылится,..

Но если пыль в туманности сгустится,  
и Nova из туманности родится,  
для множества планет –  
источник света?

Начнем с, конца –  
как спутанный моток  
промасленных канатов  
у причала,  
как кошками заигранный клубок...  
С конца?  
Начнем с начала!

\* \* \*

Когда видений призрачные сонмы  
наполнят душу радужными снами,  
а день, случайно проведенный праздно,  
покажется и нужным и полезным,  
и на закате солнца даже камни  
заговорят об истине стихами, –

опомнись и пойми, что слишком поздно:  
у ног твоих уже раскрылась бездна.

# ГЛИНКА

## Глеб Александрович

*(1903–1989) – поэт, прозаик, критик.*

Происходил из небогатой дворянской семьи, тесно связанной с общественно-литературной средой. Его отец, Александр Сергеевич Глинка (псевдоним – Волжский, 1878–1940) – принимал участие в революционном движении, был известным критиком. В советское время – редактором и комментатором сочинений А.П. Чехова и Г.И. Успенского.

Глеб Александрович стихи начал писать еще в детстве. В 1921 году после окончания школы поступил в Брюсовский литературный институт и успел его закончить в 1925 прежде, чем Институт был переведен в Ленинград и закрыт. Позже Глинка с гордостью напишет:

Среди марксистской шелухи,  
В эпоху примитивных вкусов  
Меня учил писать стихи  
Валерий Яковлевич Брюсов.

В 1927 году в период расцвета объединения «Перевал» Глинка стал его членом. Был знаком с А. Воронским, А. Лежневым, Д. Горбовым, Э. Багрицким, Д. Кедриним, И. Катаевым, А. Платоновым, М. Пришвиным, Н. Зарудиным, Б. Губером. Уже в эмиграции Глинка напишет книгу «На перевале» (Нью-Йорк: издательство Чехова, 1954) – воспоминания об участниках группы, ее «Восхождении на перевал» и «Путях в небытие». Его имя было известно М. Горькому: старший Глинка в свое время был «знаньевцем». С 1934 года Глеб Александрович работал старшим консультантом при издательстве «Советский писатель» (имеются интересные воспоминания о его роли в становлении таланта Н. Глазкова<sup>1</sup>), преподавал в Литературном

---

<sup>1</sup> Вопросы литературы. 2003. № 1.

институте историю литературы и теорию стиха, читал лекции в МГУ. В соответствии с горьковским планом отражения писателями «Наших достижений» неоднократно ездил в длительные командировки на Заполярный Урал, к истокам Северной Сосьвы и в Нарымский Край. Участвовал в клубной работе, в ликвидации неграмотности среди вогулов, остяков и прочих жителей Севера. Из поездок привозил очерки в соавторстве с коллегами. Часть из них вошла в книги «Изразцовая печка» (1929), «Эшелон опаздывает» (1932), «Истоки мужества» (1935), «Павлов на Оке» (1936).

Собственные его стихи выходили в сборнике «На перевале» (1930), в журналах «Красная новь», «Новый мир», «Молодая гвардия», в горьковском журнале «Наши достижения». Единственная изданная на Родине книжечка стихов Глинки – детская: «Времена года» (1926, повторно – 1929).

В 1941 сформировалось «писательское ополчение» «Краснопресненская добровольческая дивизия», куда попал и Глинка. «Военную, увы, свершить карьеру / Судьба меня нежданно обрекла», – вспоминал поэт в стихотворении «Письмо красноармейца». Тем не менее, Глинка был командиром отделения: пригодился опыт северных поездок. В октябре 1941 32-я армия, куда входило и «писательское ополчение», попала в окружение. 16 октября 1941 года Глинка оказался в плену. Близкие получили повестку, что он пал смертью храбрых<sup>2</sup>.

Всю войну писатель находился в немецких концлагерях в Польше, во Франции и Бельгии. В Бельгии поэт начал новую жизнь: женился на польке, работал скульптором. В 1948 году у него родился сын Глеб (ныне профессор-юрист и знаток творчества отца). Позднее семья переехала в Париж, а в конце 1940-х – в США. Характерно, что писатель, так и не овладел толком английским языком, не принял американского гражданства. Это не мешало ему многие годы читать лекции в колледжах и университетах. Глинка публиковал статьи о литературной жизни (в т.ч. советской) в журналах русской эмиграции «Вестник РСХД», «Время и мы», «Новый журнал»,

---

<sup>2</sup> Много лет спустя это же утверждала «Комсомольская правда» в статье «Совет к отечеству любовь: хроника одной русской семьи» (1962. 8 окт.). О том, что он жив, семья в СССР узнала только в 1956 году, когда Глинка уже был в США и имел новую семью.

АНКЕТА	
Наш исх. № _____	36
1. Фамилия, имя и отчество записываемого,	Глинка Глеб Ал. Яковлев
2. Год рождения.	1903
3. Место рождения: область, р. п., с/посел., деревня, город.	г. Чибиневск
4. Каким воинством призван, когда, в какую часть и когда призван.	Красноармейскому РЛС 4 июля 1941 г.
5. Воинское звание.	рядовой
6. Заключенная должность в Красной Армии.	
7. Когда прекратилась воинственная служба.	сентябрь 46
8. Последний адрес по боевому листу.	к/ис 33 В/7 1299
9. Где проходил до призыва: область, р. п., с/посел., деревня, город.	Москва
10. Дополнительные данные о родственниках: писем, газетной корреспонденции, сообщений в ч., секретных служб, родственников и др. (привести в анкете).	Кент

100347

Страница личного дела Г. Глинки в архиве Советской Армии, где сообщается о его гибели

«Континент» и др., в альманахе «Содружество», газете «Новое русское слово», «Русская мысль» и др. Поэт много выступал с чтением своих стихов на вечерах русской поэзии. Последнее такое выступление уже больного писателя состоялось летом 1986 г. на литературном вечере в Русской летней школе в Норвиче.

Глинка отличался живым умом и самобытным характером: ценил Баратынского выше Пушкина, отрицательно высказался о «Докторе Живаго», не принимал творчество модернистов, недолюбливал «третью эмиграцию».

Его стихи регулярно появлялись в «Новом журнале»: первая публикация в 1953 году (№ 33), последняя – в 1977 (№ 126). Вышли 2 книги стихов («В тени: Избранная лирика», в которую включены стихи 1923–28 и 1953–68 и «Было завтра») и уже названные воспоминания о «Перевале»

Последние десятилетия жизни Глинка провел в штате Вермонт, неподалеку от жившего там А.И. Солженицына. Умер в доме сына в Нью-Йорке.

Г. Глинка острее других эмигрантов второй волны чувствовал свою неприкаянность. «Как в Америке я очутился, / Для чего и зачем? – Не пойму, – писал он в стихотворении “Наваждение”. – Навязали мне эту затею; / Знал, конечно, она не к добру. / Ни кола, ни двора не имею, / Да и сам я тут не ко двору». «С тобою я всюду, навсегда», – говорил он, обращаясь к «Руси Святой».

«Подлинная лирика прежде всего трагедийна», – утверждал поэт в одном из своих ключевых выступлений. И там же: «Главная задача поэта – говорить обязательно от себя и по-своему. [...] я пользуюсь именительным падежом от местоимения себя – получается *соба*, та самая, которой многие из нас очень довольны. Некоторые пьют с собой наедине, можно бороться с собой. Значит, какая-то *соба* должна быть. Но в русской грамматике сказано, что именительного падежа в данном случае не имеется» («Новый журнал», 1967. № 87).

*Соба* Глинки – философичность и диалектичность с большой долей самоиронии во всем, о чем бы он ни говорил. Вот он говорит о силе поэзии («Истоки», «Соба», «Самость». «Рубикон»), которая одна «не признает рубежей», о том, что строфа, как и Бог «Рожденна, а не сотворенна, / Единосушна благодати» («Тайна»), но и утверждает, что «необъятного объять / Не дано в поэзии» («Антитеза») и, более того, иронически замечает, что после прилива вдохновения «оценил... молчанье» («Муза»). А в стихотворении «Мастерство» полусерьезно произнесет: «Поэзия – гибкий трамплин, / Прыжок и полет вверх ногами». Трагически и не без иронии воспринимает поэт и традиционную для русской поэзии тему пророка («Пророк», «Строки о пророке»). Его пророк стоит «без сил и без скрижалей / У негорящего куста».

Полны драматизма стихи Глинки об технизированном мире Америки. Есть некая общность между циклом «Дракон на крыше» И. Елагина и стихотворением Г. Глинки «Подземный собор». Но Глинке, за исключением названного стихотворения, чужды сюрреалистические образы, зато присуще большее обобщение. «Слишком много в жизни зла», замечает он в стихотворении «Оборона». «И стоит средь поля жалкий, / Беззащитный человек» («Стихия»). Злой иронией звучит заголовок стихотворения «Наши достижения»,

Глеб Глинка



ПОГАСНЕТ ЖИЗНЬ,  
НО Я ОСТАНУСЬ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

*В 2005 году в Томске вышло наиболее полное собрание сочинений Г. Глинки, куда вошли стихи, очерки, статьи, критика.*

где на типичный вопрос «Есть ли всё же жизнь на Марсе?» следует ответ: «Очевидно, тоже нет». Проецируя зловещую ситуацию атомного века («Танка») на будущее, поэт предполагает, что у внуков и правнуков душа умолкнет, «как сломанная лира» («Призрак»).

Немалое место в лирике Г. Глинки занимает тема смерти. Вступив на фронте «со смертью / В непозволительную связь», поэт все время чувствует ее дыхание: «Ее объятия не забыты – / Я знаю, ждет меня она» («Упоение в бою»; «На чужбине» и др.). Лирический герой стихов Глинки, «непонятый эпохой» то примеряет на себя «Лавры ихтиозавра», то сравнивает себя с «Чучелом», то жалуется на свои болезни. Впрочем, во всех этих случаях поэт явно озорничает со словом. И «непозволительная связь» со смертью взята из совсем другой, далеко не трагической области. И смерть, которая «ползет на кровать», и ощущение конца «всем своим больным скелетом» вместо привычного «тела» – всё говорит о философско-ироническом спокойном отношении Глинки к экзистенциальным вопросам бытия. «Лишь здесь, в тисках судьбы... мы – времени рабы», – скажет он в «Надежде ненадеянных». Смерть поможет «из тлена встать нетленным». Вера, что существует «иная реальность юдоли», позволяет ему утверждать: «Пусть путь недолог человеческий, – / Погаснет жизнь, но я останусь».

Впрочем, и в бытии земном, лирический герой прозревает такие ценности, как любовь, семья, юность, Россия («Лирический трактат», «Тебе», «Портрет», «Рождение образа», цикл «Молодые стихи»).

Говоря о своей поэзии, Глинка подчеркивал, что в «лирической исповеди избегает лжемудрствования», «что о примитивных вещах еще возможно говорить осложненно, но о сложном и сокровенном мне хочется говорить до детскости просто и немногословно». Большинство его стихотворений – несколько четверостиший или двустиший, изредка встречаются пятистишья. Есть даже мысли, уложенные в одну строфу.

Богатство стиха достигается игрой слов и понятий, передачей философского смысла разговорной (вплоть до просторечной) лексикой (не случайно среди любимых поэтов Глинки был Г. Иванов): «Все наши прежние устои / Летят, как из подушки пух»; «Не житуха, а страда / Наши зрелые года»; «Стихи горьки, как водка, / А вот попробуй – брось».

Поэт – мастер метафор, также вполне житейских: «Густые облака, как лужи крови, / Пролиты нынче в темных небесах», «А сердце – как большой, стихами / Набитый доверху чердак».

Задолго до постмодернистов Глинка использовал интертекстуальные приемы: заголовки («Крейцера соната», «Бедная Лиза», «Silentium», «Стихи моего приятеля») или переосмысленные цитаты: «Размышляю у подъезда, / У парадного крыльца» («Тайна»); ««Надежды юношей питают, / Отраду старцам подают», «Иных уж нет, а те далече» («У самовара»).

Не без самоиронии сказав, что «куда уж нам с конкретным рылом / Лезть в отвлеченный звукоряд», Глинка превосходно владеет звукописью. Чего стоит его «Дать ротику эротику, / удел для тел – кровать» («Материализация») и «Поэзии живой сосцы, / Стихосложения жрецы» («Смута»)! Во многих стихах он демонстрирует мастерское владение рифмами: «перепонки / гребенки»; «ни смерить / смерти»»; «затылок / предпосылок»; «из тлена / Демосфена»; «вкривь и вкось / и понеслось».

Весьма скептически относясь к смысловым сдвигам и абсурдистским стихам, Глинка тем не менее признавал, что большие художники могут и здесь найти нечто плодотворное («Навозну кучу разрывая, / Бодлер нашел жемчужное зерно»). Более того, он признавался, что не стоит «в стороне от современности, она временами против моего желания врывается в мою лабораторию». В частности, название своего второго сборника «Было завтра» он не без юмора комментировал так: «Дико, странно!», а затем уже всерьез, объясняя свой стиль и метод, утверждал, что его интересует: «Свет и пятна, / Переливы, / Смысл обратной / Перспективы...».

Глинка мечтал о читателе, которому будет «всё в моем искусстве понятно». «Родная, не чужая, / Душа близка с душой, – / Он довоображает / Придуманное мной». И тут же с горечью восклицал: «Но где такой читатель, / Соратник, верный друг? / С какой бы это стати / Он появился вдруг?.. / Возможно, уже умер / Иль не родился он» («Мой читатель»).

С выходом в России сначала небольшого сборничка стихов поэта, затем значительного тома стихов и прозы писателя, у поэта появились такие читатели. И с годами их становится все больше.

## Сочинения

- В тени: Избранная лирика. – Н.-Й., 1968.  
 Было завтра. – Н.-Й., 1972.  
 Книга стихов / сост. Глеб Глинка-сын, послесл. Н. Коржавин. – Н.-Й., [б.г.];  
**Собр. стихотворений.** – М.: Музей Марины Цветаевой, 1997.  
**Погаснет жизнь, но я останусь.** Собр. соч. – Томск, 2005.

## Публикации

- Беспечность // *НЖ*. 1967. № 87.  
 Два стихотворения // *НЖ*. 1957. № 49.  
 Дневник Горького // *Вр. и мы*, 1977. № 14.  
 Домыслы // *НЖ*. 1968. № 92.  
 Доходяга // *НЖ*. 1967. № 87.  
 Еп. Иоанн Сан-Францисский. Время веры // *НЖ*. 1954. № 39.  
 Закон тяготения // *НЖ*. 1970. № 99.  
 Иван Елагин. Косой полет // *НЖ*. 1967. № 88.  
 Из царства РА // *НЖ*. 1968. № 91.  
 Мы // *НЖ*. 1962. № 69.  
 На закате // *НЖ*. 1968. № 91.  
 На путях в небывтие. О советской литературе // *НЖ*. 1953. № 35.  
 Напутствие // *НЖ*. 1967. № 86.  
 Недоумение // *НЖ*. 1968. № 92.  
 Неувязка // *НЖ*. 1967. № 86.  
 Неустроенность // *НЖ*. 1969. № 94.  
 Новая Коренная пустынь // *НЖ*. 1967. № 86.  
 Новые времена // *НЖ*. 1970. № 99.  
 Патриоты // *НЖ*. 1967. № 89.  
 Пророк // *НЖ*. 1970. № 100.  
 Прот. А. Шмеман. Исторический путь православия // *НЖ*. 1955. № 40.  
 Русское старообрядчество // *НЖ*. 1971. № 102.  
 Соба // *НЖ*. 1967. № 87.  
 Совесть // *НЖ*. 1970. № 99.  
 Стихи // *НЖ*. 1966. № 85; 1971. №№ 102–105; 1972. №№ 106, 108, 109; 1973. № 111; 1974. №№ 114–116; 1975. №№ 118, 120, 121; 1976. №№ 122, 123; 1977. № 126.  
 Тень // *НЖ*. 1962. № 69.  
 Три стихотворения // *НЖ*. 1966. № 82.  
 Учителю // *НЖ*. 1969. № 94.

● ● ● ● ● ● ● ● ●

## ИСТОКИ

В поэзии я знаю толк,  
Но не судья своим твореньям.  
В словесных дебрях старый волк  
Чутьем находит вдохновенье.

Лететь ли в бездну или ввысь –  
Суть, разумеется, не в этом.  
Без мастерства не обойтись  
Ни акробату, ни поэту.

В стихах вне ритма колдовства  
Расчеты замысла бессильны.  
Глухие, нищие слова –  
Как надпись на плите могильной.

Победный петушиный крик.  
Моей чужд лире невеселой,  
И если дар мой невелик,  
Всё ж я поэт суровой школы.

Среди марксистской шелухи,  
В эпоху примитивных вкусов  
Меня учил писать стихи  
Валерий Яковлевич Брюсов.

## НА ЧУЖБИНЕ

Ведь мне немного надо:  
Хотел бы тишины.  
Восставшему из ада  
Забавы не нужны.

С любимыми своими  
Я тут живу давно,  
Не с прежними – с другими;  
Что ж, это все равно.

Что было, то уплыло.  
Но след остался там,  
Где смерть за мной ходила,  
Как нянька, по пятам.

Лишь ты меня не мучай,  
С укором не смотри,  
Когда сушу, на случай  
Ржаные сухари.

Не мудрено, не мудро  
Жить с горем пополам.  
Сейчас в России утро  
И где-то, где-то там...

## **ПОДЗЕМНЫЙ СОБОР**

В пещерных недрах мчится  
Собвей, у-бан, метро –  
Летит, но не как птица,  
А гулко, как ведро.

Гремит в пустом колодце,  
Стремглав летит на дно.  
Рискует расколоться  
Незрячее окно.

В гробу железном странно  
Колышется народ,  
Покорно, бездыханно  
Безмолвствует и ждет.

Во вторник или в среду,  
Такого-то числа,  
Как все, я тоже еду  
В подземном царстве зла.

Различные по коже,  
Одежде, форме рук,  
Но друг на друга всё же  
Похожи все вокруг.

У всякого делишки,  
Заботы и семья.  
Людишки как людишки,  
Такие же, как я.

## **ИСПЕПЕЛЕННЫЕ**

Нас минами рвали,  
Нас фосфором жгли,  
Но мы устояли,  
Костью не легли.

Едва уцелели боях и в плену.  
Приплыли без цели чужую страну.  
Рождение второе  
И новая жизнь.

Один или двое –  
Мужайся, держись.  
Всё в жизни короткой  
Хватай на лету.

Работой и водкой  
Глуши пустоту.  
Но мозг, словно в зыбке,  
Качает тоска.  
И спрятан в улыбке

Собачий оскал.  
В боях мы не пали,  
Костью не легли.  
Нам души взорвали,  
Сердца нам сожгли.

## ЛИРИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ

*Жене моей Елизавете*

Не знает любовь повторений  
И множественного числа,  
И в каждом своем воплощеньи  
Иная она, чем была.

Взаимость – нелепое слово,  
Взаимость торговле нужна,  
А ревность лишь страсти основой  
Служила во все времена.

Любовь – это жалость до боли,  
Никак не *мое* иль *моя*:  
*Тебе*, для *тебя* и *тобою*,  
Во всем только *ты*, а не *я*.

## НЕУВЯЗКА

Мы можем слышать то и дело  
В любой стране, в любом краю,  
Что жизнь собачья надоела.  
(Должно быть, нет собак в раю.)

Грыземся из-за каждой кости,  
Собачьей ярости полны.  
А ночью от тоски и злости  
Терзают нас собачьи сны.

Разодран мир собачьей сворой,  
Нам от собак невпроворот.  
Добычу рвут, как вор у вора...  
Устроить бы переворот!

Собачью жизнь, собачьи нравы  
Давно пора пересмотреть.  
По человеческому праву:  
Собакам всем – собачья смерть.

Собак к расстрелу!.. Всё иначе:  
Мир соблазнительно хорош,  
И только верности собачьей  
Теперь нигде в нем не найдешь.

## СОБА

Соба одна, соба без «ка».  
Какая же она?  
Поверхностна иль глубока  
И в чем отражена?

Кой-кто умеет с нею пить,  
Топя тоску в вине.  
Тут он не прочь поговорить  
С собой наедине.

Себя без толку не тревожь,  
Доволен будь собой,  
А если не доволен, что ж,  
Соба дана судьбой.

Ведь торговать собой – позор,  
Собой гордятся все.  
Соба не вымысел, не вздор  
Во всей ее красе.

Лишь с удивлением большим  
И как бы с похвалой  
Мы почему-то говорим:  
Покончил он с собой.

## **БЕСПЕЧНОСТЬ**

Пароходик в море  
Говорит: «Я плаваю»,  
С ним поэт не спорит,  
Гонится за славою.

Пароходик душат,  
Топят волны мрачные;  
А поэт на суше  
Рвет оковы брачные.

Пароходик черти  
Заберут без почестей  
Лишь поэт бессмертен  
В гениальном творчестве.

Жребий слишком строг был,  
Пароходик в тлении.  
Он воскреснуть мог бы  
Вновь, в стихотворении.

Но поэт беспечно  
Запил на три годика  
И ему, конечно,  
Не до пароходика.

## **ИЗ ЦАРСТВА РА**

Во время оно  
Для нужд наук  
Из фараона  
Изъят был жук.

Из камня сделан,  
Оставив свет,  
В царе сидел он  
Пять тысяч лет...

Пред жизнью нашей  
Тая испуг,  
Всё ж ошарашен  
Священный жук.

На мир безбожных  
Услад, скорбей  
Глядит тревожно  
Жук-скарабей.

### **ВСЕГДА**

Не строй воздушных зданий,  
Мечты пусти на слом  
И с робким ожиданьем  
Не думай о «потом».

Как птица на просторе,  
Как под кустами еж,  
Живи, с судьбой не споря,  
Дыши, пока живешь.

Без накоплений косных,  
Без горечи потерь;  
Люби не «до», не «после»,  
Но каждый раз – «теперь».

### **САМОСТЬ**

Приобретя умение,  
Не думай, что велик:  
Основы вдохновения  
Еще ты не постиг.

В самом себе разыскивай  
Пути к любви, к борьбе;  
Пусть всё чужое – близкое  
Перегорит в тебе.

Ухватки даже тягины  
Поэту не под стать.  
Нельзя без отсебятины  
Хоть что-нибудь создать.

### **СТРОКИ О ПРОРОКЕ**

Чем усмирить души тревогу?  
Пустыня спит, не внемля Богу.  
Холодных звезд бесстрастен свет.  
В своем краю пророка нет.

В сетях корысти и порока  
Не видит мир в пророке прока.  
Эпоха мудрости ушла...  
В огне сгорает куст дотла.

### **НЕУСТРОЕННОСТЬ**

Знаки Зодиака,  
Близнецы и прочие,  
Восстают из мрака...  
(Ставим многоточие.)

Рака, Козерога  
Смутное влияние.  
Неизбывность рока,  
Нищета сознания.

Девы юной прелесть  
Нас во сне преследует,

Но про эту ересь  
Говорить не следует.

На Весах бесстрастных  
Мир не в равновесии,  
Суть теорий разных  
Не меняет версии.

Жизнь идет скачками,  
К случаю от случая.  
Рассудите ж сами:  
Где ж благополучие?

### **РУБИКОН**

Краской намечена мутной  
Жизни суровой стезя.  
Вот и решай поминутно:  
Можно, возможно, нельзя?..

В рамках понятий готовых,  
путах привычек и мод,  
На непреложных основах  
Каждый, с оглядкой, живет.

Страхи, заставы, запреты  
Непроходимы уже.  
Лишь облака и поэты  
Не признают рубежей.

### **ПРОГРЕСС**

Безо всякого сомненья  
Сразу можно заключить:  
Человек – венец творенья,  
Очень гордо он звучит.

Ловко расщепляет атом,  
Трудится из года в год,  
Строит козни, кроет матом,  
Контролирует приплод.

Раки двигаются задом,  
Крабы боком, не беда,  
Человек вперед фасадом,  
Нос по ветру, но – куда?

### **СЕБЕ**

Когда, тоской томимый,  
Отчаянно любя,  
Нежданно вдруг любимым  
Почувствуешь себя,

То, слез не вытирая,  
Пойми: волшебный мир  
От края и до края  
Сегодня ты открыл.

Земное счастье зыбко,  
Мечтай о нем весь день  
С бессмысленной улыбкой  
И с сердцем набекрень.

### **РУСЬ**

Не поймешь всухую,  
Не накроешь склянкой  
Дикую, хмельную  
Суть души славянской

Широка, как Волга  
В буйстве половодья...

Сузить бы немного,  
Подтянуть поводья.

В Киеве иль в Омске  
Песни вольной стоны.  
На путях содомских  
Идеал Мадонны.

### **ЛАВРЫ ИХТИОЗАВРА**

Оставив лоно лени,  
Я полон размышлений

О том, что гибнут гении,  
Как при столпотворении...

Встает вопрос щемящий  
О славе предстоящей.

Сижу один и охаю,  
Не понятый эпохою.

### **МАСТЕРСТВО**

Совсем не хандра и не сплин,  
Не слезы в тоскующей гамме,  
Поэзия – гибкий трамплин,  
Прыжок и полет вверх ногами.

Не бойся хватать через край  
И, не залезая в бутылку,  
Уверенно изображай  
Блаженно-тупую ухмылку.

Чтоб пахли навозным дымком  
Твои расписные затеи,

Прикидывайся дурачком:  
Мы, дескать, летать не умеем.

Холодной вползая змеей  
В извилины стихотворений,  
Чеканной сверкай чешуей,  
Скользя среди цветов вожделений.

### **ТЕБЕ**

Вот снова без былого,  
Всё прошлое не в счет.  
Впопад не скажешь слова:  
«Уже» или «еще».

Был праздник, было лето.  
Что ж, лето будет впредь.  
Любовь дана поэту,  
Чтобы не умереть.

Любовь цветет, как астра,  
И жалит, как пчела...  
Ведь это было завтра,  
Потом пришло вчера.

### **ТАНКА**

В эскизе дышит  
Знак мужества японца –  
Цветенье вишен.  
И, словно диск червонца,  
Встает над миром солнце.

### **ГОЛЫЙ КОРОЛЬ**

За короля за голого  
Готов отдать я голову:

Его отвага мне милей  
Лукавой выдумки ткачей.

С наивностью парнишкиной,  
С улыбкой князя Мышкина,  
Совсем он, как Амур, раздет  
И беззащитен, как поэт.

Нелепость положения –  
Через воображение.  
Он мой лирический герой,  
Но сам я все же не такой.

### **НОВЫЕ ВРЕМЕНА**

Нега и мудрость – богатство Востока,  
В северных сказках сиянье мечты.  
Тут и обман, и любовь, и жестокость  
Не по-земному беспечны, чисты.

Гаснет поэзия, падают листья,  
Грязной метлой ошетижилась жизнь.  
Алчность шныряет повадкою лисьей  
В мире реальной и будничной лжи.

Быт раскрывается в цифрах привычных,  
Песни и вымыслы здесь ни к чему.  
Гадкий утенок стал уткой приличной,  
Голый король в сумасшедшем дому.

### **ЧУЧЕЛО**

Тени ложатся, как сети.  
Письменный стол у стены.  
В пасмурном, утреннем свете  
Листья бумаги бледны.

А над бумагой ютится,  
Телом колючим шурша,  
Старое чучело птицы,  
Тетерева – черныша.

Молью изъедены крылья,  
Выцвели дуги бровей.  
Перья, покрытые пылью,  
Стали, как будто, светлей.

Очень давно это было.  
В хвойной дремучей глуши  
Пела весенняя сила  
Тетеревиной души.

В лес уходил я с двустволкой.  
Нежил лицо ветерок.  
Раз на поляне за елкой  
Я черныша подстерег.

Видел он после немного.  
Трудное было житье:  
Бедность, стихи и тревога.  
Вскоре я продал ружье.  
Нет ни обиды, ни злобы;  
Груды бумаги, как снег.  
Стали мы старыми оба –  
Тетерев и человек.

Думаешь, жив я, – а если  
Здесь в кабинетной тиши,  
Чучело в кожаном кресле  
Без человеческой души...  
Дождик в окошко стучится,  
В комнате сизый рассвет,  
Мертвая, пыльная птица  
И сумасшедший поэт.

## **КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ**

Герои западной печати,  
Которым русскость ни к чему,  
Которым Родина некстати,  
Не по душе, не по уму,

У вас одна была идея,  
Желанье жадное одно –  
Чтоб, страха ради иудейска,  
Стереть родимое пятно.

Подобны пуганой вороне  
Иль стреляному воробью,  
Вы, очевидно, не в уроне  
В корыстном западном раю.

Бежали вы от диктатуры,  
От ненавистной и крутой,  
Чтоб праздновать спасенье шкуры,  
Глумясь над отчей наготой.

Вдыхайте ж пошлость заграницы,  
Чужой отрывки торжество,  
Отдавши ради чечевицы  
Чечь первородства своего.

## **УПОЕНИЕ В БОЮ**

В газете, в «Комсомольской правде»,  
Была заметка обо мне,  
Что будто я Отчизны ради  
Пал смертью храбрых на войне

Прошли года в тоске унылой.  
Сомненья мучают меня.

Не убежден, что это было, —  
Всё ж нету дыма без огня.

Хотите верьте иль не верьте,  
Но, задыхаясь и смеясь,  
На фронте я вступил со смертью  
В непозволительную связь.

И с той поры в заботах быта,  
В земной любви и в царстве сна  
Ее объятья не забыты —  
Я знаю, ждет меня она...

### **ЗАГРОБНОЕ БЫТИЕ**

Навечно, а не на столетья,  
Нам дан искус свободной воли.  
Есть в каждом «я» залог бессмертья,  
Иной реальности юдоли.

И как бы ни противоречил  
Мне разума двуликий Янус,  
Пусть путь недолог человеческий —  
Погаснет жизнь, но я останусь.

### **ИВАН КАТАЕВ**

*Глава из книги «“ПЕРЕВАЛ”. Уничтожение литературной независимости в СССР – 1953»*

«Боремся мы для будущих поколений, им суждено воспользоваться плодами нашей борьбы. А мы должны себя бестрепетно принести в жертву. И вы, и я – только агнцы заклаемые, и нечего нам добиваться от жизни для самих себя чего-нибудь светлого. Это просто мешает нашему делу».

Так говорит герой из повести Ивана Катаева «Поэт». Мысли эти далеко не случайны для автора. Они являются основным мотивом творческого и жизненного пути Ивана Катаева. С юношеских лет он не сознанием, а каким-то животным чутьем предвидел и ощущал свою обреченность. Это не тяготило его. Все радости жизни принимал он охотно, но без жадности, с видом добродушного снисхождения к человеческим слабостям.

Катаев не искал гибели, но постоянно сознавал, что если не для всего поколения, то для него лично predetermined черная пропасть окончательной трагедии. Он готовился принести себя в жертву, которую будет оправдано всё его неуютное, плохо слаженное бытие. Ждал своей гибели, как фанатик-сектант ждет торжества самосожжения.

Иван Иванович Катаев был на три года моложе Зарудина, но по всему душевному складу, вдумчивому и созерцательному, выглядел более взрослым. В бытность его в «Перевале» в нем не было никакого мальчишества или молодого задора, ни малейшей тени авантюризма. Весь он был погружен в себя, но без себялюбия. И как бы непрерывно с недоумением убеждался в том, что он тоже человек и ничто человеческое ему не чуждо.

Непропорционально большая голова на тонкой шее неуверенно возвышалась над всей его узкоплечей интеллигентской фигурой. Под густой гривой темных волос – вытянутое бледное и ассиметричное лицо с черными глазами и одутловатым безвольным ртом. Белые беспомощные руки с узкими пальцами более всего выдавали его непролетарское происхождение.

Родился Иван Иванович Катаев в 1902 году, в профессорской семье, его мать – урожденная Кропоткина. Из родительского дома Катаев ушел в мальчишеском возрасте. Революцию со всеми ее ужасами принял как первую и единственную на всю жизнь любовь. И пошел служить ей верой и правдой. Подростком вступил в ряды ВКП(б). В красногвардейской походной редакции вел корректуру, писал заметки и стихи. Голодный и озябший, изучал отцов марксизма. Затем, когда остыло бурление военного коммунизма, Катаев работал в Москве как журналист. С той же алчностью начетчика штудировал он мастеров художественной литературы, постигал философию, историю и языкознание. За каких-нибудь пять лет овладел основами общей культуры.

В 1923 году Катаев оказался в РАППе, но вскоре понял, что самонадеянность малограмотных пролетарских литераторов ему чужда. В 1926 году он вошел в «Перевал».

Ораторских способностей у Катаева совсем не было. Он даже не говорил, а шлепая своими тяжелыми чувственными губами, медленно бубнил, выдавливая немногословные, но зачастую любопытные мысли.

– Всё зло на свете от тесноты, как в Московском трамвае – давят друг друга люди и злятся.

Грезился ему какой-то звериный уют, чтоб по-медвежьи, по-щеничьи засунуть нос в теплую шкуру. Но сам он, по-видимому, никогда и нигде уюта не испытывал. Даже семейная его жизнь была пронизана сквозняками. Первая жена – Катя Строгова была журналисткой. Считала она себя умнее мужа. Презирала его «губошлепство» и «интеллигентскую гниль». Говорила, что терпеть не может «все эти телячьи нежности». Разошлись они так же холодно, как жили. Вторая любовь пришла не сразу, а когда пришла – выглядел Катаев таким же неприкаянным, только вместо обычной обреченности в глазах – дымка лукавой мечты. Но семейный уют опять не состоялся. Если для первой жены он был «гнилым интеллигентом», то вторая была поэтессой, и сама не знала, чего она хочет. Видела в Иване Ивановиче только «грубые животные инстинкты». Через год она родила сына, такого же большеголового и губастого, как сам Иван Иванович. О нем Катаев не без гордости говорил: «мой последыш». Но настоящей семьи всё же не получилось. Жена оставляла Катаева по целым дням с малым ребенком, не признавала никаких женских обязанностей, где-то и чему-то училась, писала стихи...

Когда навещали Ивана Ивановича его ближайшие друзья и беседовали об искусстве и политике, из соседней комнаты неожиданно доносился дикий рев «последыша». Проворно выбегал Катаев на этот крик и неловко, как несут кипящий самовар, тащил мимо гостей своего сына. Бубнил:

– Это не ребенок, а водопровод какой-то.

Потом для «последыша» пришлось найти няньку. Понимая, что вторая женитьба оказалась горше первой, Катаев пытался ухаживать за чужими женами, но безуспешно.

С видом мученика появлялся он на собраниях у Бориса Пильняка. Говорил о собачках, которых видел на улице:

– Так сладко прилепились они одна к другой. Долго я мальчишек отгонял, чтобы не помешали их трепетной радости.

Однажды признался он:

– Люблю бриться в парикмахерской, в которой девушки обслуживают посетителей. Это, быть может, единственное на всем свете место, где еще сохранилась забота и ласка, где нашего брата почистят, поскоблят и даже, проверяя, хорошо ли выбрито, нежная девичья рука по щеке погладит... Только там и чувствую, что человек всё же не совсем одинок в этом мире.

С партийными обязанностями Катаев справлялся неплохо. По натуре он был меланхоличен и в писательстве своем ленив, но сумел воспитать в себе чувство партийного долга. Дисциплина его не тяготила, а скорее даже была ему необходима, иначе бы он совсем растворился в самом себе. Первые неполадки в парткоме начались у него только во время аптиперевальской кампании. Но и тут он всё же долго отводил от себя обвинения в «воронщине», Серьезный конфликт развернулся позднее.

В самый разгар сражений за «Перевал» в Москву приехал молодой одесский журналист Игорь Малеев. Кое с кем из дерева перевальцев он и раньше был знаком, а тут сразу завязалась дружба, и прежде всего с Иваном Катаевым. Немедленно Малеев был принят в оскудевшие к этому времени перевальские ряды... Темперамент у него был безудержный. Оказался он ярым троцкистом, и скорее ему было бы по дороге с Зарудиным, но крайности сходятся. И то ли от одиночества своего, или потому, что жена у Игоря была очаровательной и ласковой, Катаев очень близко сошелся с Малеевым. Начались веселые попойки, в которых участвовали и Губер, и Зарудин, и Лежнев. Малеев блестяще исполнял блатные одесские песенки.

Игорь Малеев так же, как Катаев, был партийным начетчиком и до того досконально изучал исторические материалы, что знал на память и мог цитировать не одни общие места из учителей марксизма, а и весьма интимную, личную их переписку.

– Сегодня опять Энгельса читал, и необыкновенные там, знаете, встречаются драгоценности, – с увлечением говорил он. – В одном из своих писем, например, Энгельс признается, что если б он был богат, то жил бы всегда в Париже и занимался девочками. Значит, революции происходили зачастую только потому, что у их теоретиков не доставало денег на другие, более естественные для них развлечения.

И Малеев громко и заразительно хохотал.

В восьмой книге альманаха «Ровесники» был напечатан его «Рассказ о гуманности».

К этому времени А.К. Воронского отпустили на свободу, и он редактировал отдел классиков в Госиздате. В издательстве «Академия» сидел Лев Борисович Каменев. Очевидно, Малеев перебрался в Москву не только для литературных дел. Частенько видался он и с Воронским, и с Каменевым. И вскоре был арестован. Катаев сильно переживал горе несчастной жены Игоря. К тому же она сразу оказалась без работы и без средств к существованию. Иван Иванович организовал среди перевальцев сбор денег для помощи ей и для посылок Игорю в Бутырскую тюрьму.

В партийном комитете довольно быстро пронюхали о «недопустимом гуманизме» Ивана Катаева.

Секретарь парткома обратился к нему с ядовитым вопросом: – Что бы ты сделал, товарищ Катаев, если бы узнал, что кто-либо из членов партии помогает врагу народа, заведомому троцкисту?

Катаев покорно опустил голову и тихо, но четко ответил:

– Я бы голосовал за его исключение из партии.

– Ты сам вынес себе приговор, – торжественно сказал секретарь, – теперь мы обсудим твое поведение и будем голосовать, как подobaет честным партийным товарищам.

И всё же, принимая во внимание чистосердечное раскаяние Катаева, из партии его не исключили. Ограничились на первый раз строгим выговором с предупреждением.

Иван Катаев не был плодовитым писателем, за десять лет своего пребывания в «Перевале» он выпустил в свет всего четыре повести: «Сердце», «Поэт», «Жена» и «Молоко». Писал он медленно и трудно. О своем творческом процессе он сам говорил, что ему легче дрова пилить, чем писать.

– Хожу около рабочего стола и сам себя пробую обмануть, выдумывая самые разные предлоги, только бы как-нибудь отложить до завтра.

О его писательской лени даже анекдоты ходили среди перевальцев:

– Встречаю вчера Катаева и спрашиваю: «Ну, как дела, Иван Иванович?» Он безнадежно машет рукой. «Плохо, – говорит, – опять весь день пропал!» – «Почему же пропал? Что ты делал?» – «Рабо-

тал, новый рассказ писал и даже свежим воздухом недохнул ни разу. Пропал день!»

Но, видимо, мешала Катаеву не одна его лень, трудно ему было писать искренне и чтоб цензура не зацепила. Тем более что манера его письма была не витиеватая, как у Зарудина, а прозрачная, с открытым забралом. Почти во всех своих повестях он блуждает где-то у самой границы дозволенного, но грани этой не переходит.

Вапповцы поругивали Катаева, но не слишком крепко, – они упорно надеялись снова вернуть его в лоно пролетарской литературы.

В основном нападки на произведения Катаева сводились к следующему:

«Героями Ивана Катаева являются коммунисты и советские работники. Но критический анализ быстро устанавливает мнимую коммунистичность его героев. Они считают себя жертвами долга, обреченными жить, работать и умирать во имя других, ради неясного будущего. У них нет сильных волевых эмоций.

...Творчество Катаева пронизывает пламенная вера в человека, мелкобуржуазный “гуманизм”. Любовь к людям стирает у него классовые грани. Катаев полагает, что пролетариат как класс-победитель есть в то же время «всепрощающий класс».

...Изображение классового врага несчастным и жалким в современных условиях обостренной классовой борьбы демобилизует и разоружает массового читателя».

Несмотря на примитивность подобных высказываний, в них была доля правды. Но только по близорукости своей вапповцы не поняли и не почувствовали в Катаеве его основного душевного узора, который особенно обнажен в повести «Поэт».

По своему мироощущению Катаев несомненно был человеком религиозного склада, отсюда его всепрощение, отношение к коллективизации как к духовной соборности и, наконец, так ярко выраженная в нем жажда исключительной жертвы. Во всем его отношении к миру и к самому себе чувствовалась сектантская одержимость. Но, захваченный с детских лет стихией революции, он все свои внутренние силы аскетически подчинил закону атеизма, и, быть может, в этом и заключалась вся боль его душевной и духовной неустроенности. Всепрощающий гуманизм Катаева исходил из жалости и сочувствия к бесправному и необученному подсоветскому человеку. Конечно, от подобной жалости до христианской любви еще далеко, но

Катаев уже целиком, как основную заповедь, принял утверждение Достоевского: «Всё понять – значит всё простить».

В конце двадцатых годов случилось Ивану Ивановичу Катаеву впервой навестить автора этих строк. В комнату вошел он уныло, с видом обычной своей потерянности, и вдруг насторожился, увидев в переднем углу затепленную перед иконой лампадку, а под ней аналой, на котором лежало евангелие. Старался Иван Иванович не подать виду, что удивлен, даже глаза отводил в сторону и вяло бубнил о книгах, об очередном альманахе «Перевала». От предложенного ему стакана чаю отказался, неловко, как «человек из подполья», заторопился уходить. Но у двери не выдержал, обернулся и, показывая одними глазами на икону, недоуменно спросил:

– Что это у вас, для стиля или серьезно? – И поняв, что серьезно, сурово добавил: – Это хорошо.

# ГОЛЛЕРБАХ

## Сергей Львович

*(род. 1923) – художник, поэт, мемуарист, эссеист.*



Родился в Детском селе Ленинградской обл. Отец – инженер, мать – преподавательница. Атмосфера бывшего Царского Села не могла не наложить отпечаток на интересы подростка. В двенадцатилетнем возрасте оказался в Воронеже, куда были сосланы его родители и где начал увлекаться живописью. В 1938 году семья вернулась домой, а в январе Голлербах поступил в ленинградскую среднюю художественную школу при Ленинградской Академии художеств.

В 1941 году город был оккупирован немецкими войсками, а в 1942 Сергея Голлербаха угнали на работы в Германию. Конец войны он встретил в американской оккупационной зоне.

С 1946 по 1949 годы учился в Мюнхенской академии художеств.

В ноябре 1949 года на американском транспортном судне «Генерал Баллу», перевозившем многих ди-пийцев, прибыл в Бостон (Штат Массачусетс), а оттуда в городок Уильтон (штат Коннектикут)

В 1950 году переехал на жительство в Нью-Йорк, где в мастерской шелкографии рисовал, как он сам вспоминает, «французских пуделей, рыб и парусники, раскрашивавшихся работавшими в другом помещении дамами» и одновременно, как и С. Богард, и В. Шаталов, серьезно занимался живописью и графикой, участвовал во многих американских выставках.

С.Л. Голлербах – действительный член американской Национальной академии художеств, Общества акварелистов. Его работы хранятся в собраниях престижных американских музеев, а в последние несколько десятилетий – и отечественных (Третьяковской галерее, Русском музее, Воронежском областном художественном музее и др.).

Писательскую деятельность С. Голлербах начал довольно поздно, опубликовав по предложению редактора «Нового журнала» Р. Гуля серию «Заметок художника», вышедших в 1983 году отдельной книгой. Проза Голлербаха была высоко оценена такими взыскательными критиками, как Борис Филиппов, Вячеслав Завалишин и Юрий

Кублановский. Наиболее полно писательский талант Голлербаха проявился в книге «Свет прямой и отраженный». Дневниковые записи, городские и бытовые зарисовки, портреты натурщиц, соседок, посетительниц кафе, людей разных возрастов и национальностей отличаются не только тонкостью наблюдений, но и глубокими размышлениями автора. С 90-х годов в печати появляются и стихи художника. Преимущественно в каждом номере альманаха «Встречи».

Проза и поэзия Голлербаха перекликаются и тематически, и стилистически. Одной из ведущих тем является ностальгия по прерванному войной детству. «Иногда, – пишет автор книги “Свет прямой и отраженный”, – мне хочется поцеловать мое детство, прикрикнуть на мою молодость и пригрозить кулаком моим зрелым годам». Постоянная тема и стихов, и прозы Голлербаха – Ленинград-Петербург, «город побед и страданий, / город белых ночей и любви». «Времен лихих бесчеловечность / я скрою, восхвалив красу», – пишет поэт. Суровая природа Северной Пальмиры связывается в стихах и прозе С. Голлербаха с русской душой, с русским национальным характером:

Петербургский же холод и слякоть,  
они – твоей русской души кусочек,  
они – как черного хлеба мяготь  
как крепкого русского чая глоточек.

Может быть, поэтому так часто в стихах поэта упоминаются снег и солнце.

Уже далеко не молодой автор стихов признается, что жизнь, «где всё двоятся и плывет», его, как и раньше, манит и зовет.

И в стихах, и в прозе С. Голлербах не чурается острых политических тем. Трезво смотрит на события, происходящие, как в мире, так и на родине. Часто его раздумья приобретают историософский характер.

«Царская Россия была наказана за свою гордыню большевизмом, – рассуждает эссеист. – Большевизм был наказан за свою гордыню демократией. Демократия будет наказана за свою гордыню преступностью, развратом и полным искажением самого понятия “свобода”, что, в свою очередь, приведет к авторитарному режиму, который будет наказан за свою гордыню новой демократией, а она... И так далее. Гордыня и наказание – вот, собственно, и вся история рода человеческого».

## Сочинения

- Заметки художника. – Лондон: Overseas Publications Interchange Ltd., 1983.  
 Жаркие тени города. – Париж: Альбатрос, 1990.  
 Мой дом. – Париж: Альбатрос, 1994.  
**Свет прямой и отраженный: Воспоминания, проза, статьи.** – СПб.: Инапресс, 2003.

## Публикации

- Весна в Нью-Йорке** // *Рубеж.*, 2006. № 6.  
 Восемь статей о русских художниках в кн.: Русские в Америке / Ред.-сост. М.М. Адамович // *НЖ*. 2011.  
**Восточный дневник** // *НМИ*, 2007. № 4 / 57 / .  
 Выставки русских художников в Нью-Йорке // *Третья в.* 1979. № 7 / 8  
**Голые и нагие на рубеже столетий** // Воронеж: Филологические записки, вып. 5, 1995.  
**Город-мусс** // *РМ (альманах)*. – 2011.  
 Давид Бурлюк и футуризм. // *НЖ*. 2009. № 256,  
 Заметки художника // *НЖ*. 1976. № 12; 1977. № 128; 1978. № 132.  
**Империя Watermedia** // *НМИ*. 2006. № 1 / 48.  
 Леонид Израилевич Ламм – из сумеречной зоны к прокрустову ложу и далее // *Евреи в культуре* // 1998. № 1 / 6.  
 Мир старый и новый // *НЖ*. 2005. № 240,  
 На юге Франции // *НЖ*. 2006. № 243.  
 Нью-Йоркский блокнот (главы из книги, готовящейся к публикации) // *НЖ*. 2012. № 266,  
**Обнимитесь, миллионы** // *НМИ*, 2005. № 2 / 45.  
 Памяти Ивана Елагина; Памяти родителей; «Спускаясь по лестнице» // *НЖ*. 2000. № 220.  
**Переоценка ценностей** // *НМИ*. 2005. № 2 / 43.  
 Правда материал // *НЖ*. 2010. № 258,  
**Русские художники в Америке** // **Оболенской Л.С. Судьбы поколений.** – М.: Русский путь, 2006.  
 Стихи // *Встречи*. 2000–2007  
 Тройная жизнь // *НЖ*. 2004. № 234,

\* \* \*

Мастерская, мольберт, кровать,  
 за окном – глубокая ночь.

Мне мысли мешают спать,  
хоть я и гоню их прочь.

В мысли всё об одном:  
за что мне держать ответ?  
За то, что мало со злом  
боролся в расцвете лет?

За то, что мало любил  
и не был способен дерзать?  
За то, что всю жизнь творил,  
чтоб что-то себе доказать?

Мастерская, мольберт, кровать,  
а в окне уже стало светлее...  
Вот теперь я могу поспать –  
утро вчера мудренее.

\* \* \*

Москва в начале ноября –  
уж выпал снег и он не тает,  
одеждой чистой покрывает  
он город, как бы говоря:  
времен лихих бесчеловечность  
я скрою, восхвалив красу,  
в объятых снежных я несу  
и день сегодняшней. И вечность.

\* \* \*

*(Вокруг Пулково осенью  
2002 года горел торф)*

Ты встретил меня горьким запахом гари,  
о, Ленинград-Петербург,  
ранней осенью этого странного года.  
Ты – старый супруг, стара и супруга твоя,

имя которой – Нева...  
Триста лет вы прожили вместе –  
от блеска имперской столицы  
до коммунальных квартир,  
от пышных балов – до блокады, голода, смерти –  
всё вы прошли вдвоем, всё стерпели, всё победили.  
Но грусти налет лежит на тебе,  
о, Ленинград-Петербург.  
В печальной красе встретишь ты  
свой юбилей...  
Слава тебе, город роскоши и нищеты,  
город побед и страданий,  
город белых ночей и любви!

\* \* \*

Когда выпадает снег,  
на земле наступает покой,  
будто жизни стремительный бег  
остановлен снежной рукой.

Снег и собачий лай  
тишину нарушают порой,  
и с улыбкой святой Николай  
любуется русской зимой.

\* \* \*

*Петербургу*

I

Ты встретил меня холодным дождем,  
но ты прошептал: давай подождем.  
К утру, наконец, моросить перестало,  
сквозь тучи солнце вдруг засияло  
и город печальный ему улыбнулся,  
как будто от тяжелой дремоты очнулся.  
Город прекрасный с тяжелой судьбою,  
где бы я ни жил – ты рядом со мною.

## II

Ты посетил многие страны,  
ты видел моря, пляжи и пальмы,  
горы, озера и океаны,  
но все они для тебя театральны.  
Петербургский же холод и слякоть,  
они – твоей русской души кусочек,  
они – как черного хлеба мякоть  
как крепкого русского чая глоточек.

\* \* \*

Жаль будет Багдада – кра-  
сивый город.  
*Кн. Алексей Павлович Щер-  
батов, в беседе. 2002 год*

Багдад – этот город  
судьбе не рад.  
Багдад, где бомбы и взрывы  
покрыли его, как нарывы,  
где с кровью смешан песок,  
где пуля ищет висок,  
где в развалинах воют старухи  
и над трупами кружатся мухи,  
И горько рыдает пустыня:  
«О, люди, и их гордыня!»

2004

\* \* \*

И беден тот, кто, сам полуживой  
У тени милостыни просит.  
*О. Мандельштам*

Я под ноги себе смотрю  
и вижу свою тень,

мы с ней вдвоем, как парочка гуляем.  
Куда бы я ни шел, она всегда со мною.  
Я руку подниму – она мне вторит.  
Иногда  
я с ней играю: вдруг  
я круто повернусь и двигаюсь назад.  
Ее как будто нет, но я-то знаю:  
она идет за мной и надо мной смеется.  
Мы входим в дом, на лестнице темно,  
ее опять не видно.  
Я захожу в квартиру, зажигаю свет –  
и вдруг она со мною!  
Долго сидим мы молча.  
Час уж поздний, пора ложиться спать.  
Я лампу потушил, мы в полной темноте.  
Но, лежа на боку, я знаю:  
она, лицом ко мне, лежит со мною рядом.  
Как это хорошо: я не один.  
Она – вот чудеса – меня немножко греет!

\* \* \*

Я ухожу из мира четких форм  
в мир смутных очертаний,  
где нет ни ясных норм,  
ни творческих дерзаний.  
Но я безмерно рад,  
что был когда-то зрячим,  
что видел и творил  
по мере моих малых сил,  
пока Господь меня не попросил  
уйти в мир смутных очертаний,  
где всё двойится и плывет,  
но, как и раньше, манит и зовет.

# ДИМЕР

(урожд. Бойко)

## Евгения Александровна

*(род. 1925) – поэт, прозаик, эссеист.*

Родилась в Киеве. Мать её была врачом, а отец – агрономом-энтомологом. В начале Великой Отечественной войны отец ушел на фронт, и семья получила полуофициальное известие, что он погиб. Лишь в 1963 году стало известно, что он был ранен, но выжил. Но встреча с дочерью не состоялась: он умер в 1966 году, когда был уже куплен круиз в СССР с заездом в Одессу.

В сентябре 1943 году была насильно эвакуирована немцами в Польшу. Много раз попадала под артиллерийские обстрелы и бомбёжку. В Польше вышла замуж за инженера-строителя, вместе с фирмой перебросенного в Италию. Весной 1945 года муж был убит при налете американской авиации.

Мама, чтобы быть ближе к дочери, добровольно выехала в Германию. Работала в Баварии (возле Мюнхена врачом), лечила иностранных рабочих и фольксдойче (немцев из других стран). После капитуляции Германии женщины воссоединились. У Димер родилась дочь.

Чтобы избежать репатриации выдавала себя сначала за итальянку, потом полячку. Как польская беженка осенью 1945 года была принята в Мюнстерский университет, студенческое общежитие которого принадлежало лагерю беженцев Гревен (по названию города, где он находился). Мама (тоже ди-пийка) работала в двух лагерях (военных казармах): Райне и Эссен-Край.

В 1949 году Е. Димер окончила юридическо-экономический факультет Мюнстерского университета (Вестфалия), удостоилась степени магистра и в 1951 эмигрировала в США. С тех пор и до настоящего времени живет в штате Нью-Джерси. Пока овладевала языком, работала продавщицей в пекарне, моделью причесок, медицинской лаборанткой, ассистенткой фокусника. Когда выучила, больше 25 лет была переводчицей в суде. Вскоре по приезде в США вышла замуж. Является мамой и бабушкой двух внуков.

Стихи пишет с детства. Большое количество стихов написано в Италии, но все они сгорели в машине во время американской бомбёжки. Некоторые поэтесса потом восстановила по памяти. Первым читателем начинающего автора был Л. Ржевский, давшей ей ряд ценных советов. Поэтическим наставником Е.А. Димер был Б. Нарциссов<sup>1</sup>, прививший ей интерес как к мировой поэзии, так и к русской XIX – начала XX века; учивший ее поэтическим размерам, приемам, но, к счастью, не сумевший внушить свойственный его собственной поэзии мрачный взгляд на жизнь. Дружба связывала Е. Димер и с Р. Березовым.

Судьба эмигрантки представляется юной поэтессе как «сложно напетая» русская песня, где радостное и грустное сливаются в один мотив («Две судьбы»). Через много лет поэтесса найдет для выражения судьбы чужестранки на улицах Бродвея удивительно трогательную и образную антитезу: нью-йоркская метель и русский подснежник. Но и видеть свет только «из своего окошка», замыкаться в своих эмигрантских проблемах поэтесса не намерена. Еще в 40-е годы она сумела услышать в магическом звуке скрипки предвестие того, что закат станет «розовым рассветом» («Варшава»). А в стихотворении «Красота» несколько наивно, но вполне искренне выразила уверенность, что в далекие времена «засияют счастливые лица». Не смогла поэтесса пройти мимо и американской трагедии 11 сентября. И хотя ее стихотворение «Пред циклом нулевым» с художественной точки зрения уступает тому, что обычно создает Димер, она не могла не написать его, откликаясь на трагедию своей второй родины. В поздних стихах поэтессы метафора жизни-песни получила второе дыхание. «Жизнь – песня. Она то грустна, то беспечна», – подводит итог своим многолетним размышлениям Е. Димер.

Эта жажда жизни выразилась и в интересе автора к путешествиям. Стихи о Пизанской башне или Мертвом море, с одной стороны, являются свидетельством тонкого видения поэтом деталей (солнце «катится золотой монетой»; «по-вдовьи рыдает залетная птица»; утесы и кручи, спускаются, «как верблюды к воде среди барханов»; Пизанская башня – «хромая»), с другой – неизменно переводят текст в философские размышления.

Впрочем, это относится и к стихам о войне. Достаточно вчитать-ся в удивительное стихотворение «Вагон на свалке».

---

<sup>1</sup> В архиве Димер около 90 писем Нарциссова к молодой коллеге.

Проза Е.А. Димер в еще большей степени, чем стихи, полна подробностями, деталями.

Несмотря на возраст, писательница ведет активную творческую жизнь. Она пишет роман. Является секретарем и казначеем Клуба русских писателей в Нью-Йорке, ведет активную переписку. Ближко знающие Е.А. Димер люди отмечают ее изящество как в поэзии, так и в одежде, в манерах, в разговорах, в письмах. Писательница умеет с юмором говорить и о себе, и о времени (пример тому стихотворение «Всё наоборот») – верный признак того, что ни о какой старости автора и речи быть не может.

## Сочинения

Дальние пристани (Стихи). – Louvain, Belgium, 1967

С девятого вала (Стихи). – Sea Cliff, 1977,

Молчаливая любовь (рассказы и стихи). Предисловие В. Завалишина. – Нью-Йорк: Sea Cliff, 1979.

Оглядываясь назад (мемуары). – Н.-Й., 1987

Две судьбы (Стихи). – Н.-Й., 1993.

Под знаком Козерога (Воспоминания и рассказы). – Н.-Й., 1998

Здесь даже камни говорят (Стихи). Нью-Йорк, 2001.

**Времена меняются (Рассказы).** – Киев, 2007.

**Моё окно (Стихи).** – Киев, 2010.

## Публикации

В Нью-Йоркской гавани // *Совр.* 1965. № 11

В сабвее // *НЖ.* № 176.

Виноград // *Совр.* 1978. № 37 / 38.

В Нью-Йоркской гавани // *Совр.* 1965. № 11.

Гибралтар // *Совр.* 1965. № 11.

Лилия // *Совр.* 1969. № 19.

**Медальон (рассказ)** // *Радуг (Киев).* 2000. № 3–4.

Мой друг Борис Нарциссов // *НЖ.* № 240.

Неожиданная месть // *Совр.* 1967. № 14 / 15.

Осень // *Совр.* 1963. № 7.

Письма // *Совр.* 1963. № 8.

Роковой поворот // *НЖ.* № 238.

Стихи // *Встречи.* 1982–1986, 1994, 1996–1998.

Стихи // *Совр.* 1977. № 33 / 34.

**Стихи** // *Ренессанс (Киев),* 1996, 14(4).

**Стихи** // *Ренессанс (Киев),* 1996, 14(4).

Стихи // Мосты 2. 2009 № 24, 2010.

Черная жемчужина (рассказ) // Ренессанс (Киев), 1996, 14(4).



## ДВЕ СУДЬБЫ

Бой протяжный кремлевских курантов  
Из эфира явился, как дух,  
Мне напомнив, что в двух вариантах  
Предоставлена жизнь эмигрантам –  
Две судьбы у меня на роду.

Эмигрантская – сложно напета,  
Хоть какую не тронешь струну;  
А другая судьба, как комета,  
В звездных путах замаявшись где-то,  
Угасает в бессрочном плену.

В ней – мой путь, неисхоженный мною,  
Запою в отчет доме не я,  
Не смогу насладиться весной.  
Где ты, парень (теперь с сединою),  
Полюбить не успевший меня?..

Я виски погружаю в ладони,  
Вижу: годы встают на дыбы  
И несутся галопом, как кони...  
Бьют куранты. И в их перезвоне  
Две судьбы у меня, две судьбы.

## ВАГОН НА СВАЛКЕ

Он ждет своей судьбы покорно,  
Вагон товарный, без колес...  
И был со свастикою черной  
Иль со звездой твой паровоз?..

Читаю путь твой, как по книге,  
По книге с тысячей страниц:  
Из Львова, Кракова и Риги  
Евреев вез ты в Аушвиц...

Тасил снаряды из Берлина  
На вросший в землю Сталинград;  
Из Киева рабов, картины  
И мебель доставлял назад.

И в дальний путь ты вез бесплатно –  
В Сибирь, в Москву на эшафот:  
Недаром старой крови пятна  
Покрыл на досках креозот.

Ты говоришь нам, что напрасно  
Прошел наш век, и кровь лилась,  
Вагон товарный, грязно-красный,  
Где не понять, где кровь, где – грязь.

1946

## ВАРШАВА

(картинка из прошлого)

Шопен, как шепот листьев Польши.  
*Игорь Михалевич-Каплан*

Варшава утопала в омуте военном:  
Гнала по площади охрана русских пленных;  
В домах сгоревших окон черные глазницы  
Испуганно глядели на судьбу столицы.

А на Бродвее польском – славной Маршалковской –  
Разгуливали офицеры в форме броской.  
И даже радио постигла перемена:  
Бравурный Вагнер подавил совсем Шопена.

Под музыку его, усердием объята,  
Гусиным шагом мерили асфальт солдаты...  
Быть может, в сквере прячется еще свобода?  
Ан нет! «Для немцев только», – вывеска у входа,

Чтоб дети польские кататься не посмели  
На пегом ослике и яркой карусели...  
Но неожиданно у старого портала,  
Толпою обрастая, скрипка зарыдала.

Седой скрипач играл искусно, вдохновенно  
Для публики случайной полонез Шопена.  
А рядом, у артиста ног, покрытых рванью,  
Лежала шапка, ожидая подаянья.

И чудилось: на проводах, ему внимая,  
Застыла в трансе, словно ноты, птичья стая.  
Магическим смычком касалась сердца скрипка,  
Таинственно рождая слезы и улыбки.  
Закат уже казался розовым рассветом...  
Звенели, в шапку падая, монеты.

1947

## КРАСОТА

Красота спасет мир...  
*Ф.М. Достоевский*

Как хорош эдельвейс среди обветренных скал  
Иль багрянец приморских закатов,  
Полотно, что художник в порыве создал...  
Красота победит смертоносный напалм  
И шальной огнедышащий атом.

Пусть коснется она и друзей, и врагов  
Благотворным глубоким дыханьем, –  
Мы, прозрев и покончив под песни без слов  
С вавилонским смешением всех языков,  
Руку дружбы друг другу протянем.

Время больше не ждет, где-то вещей набат  
Раздается то громче то глуше  
И все манит и манит в таинственный сад,  
Где срывают любовь, как с ветвей виноград,  
Чтоб теплели холодные души.

И волшеббно возникнет огромный тираж  
Тех газет, где на первых страницах  
«Мир спасла красота ” поместят репортаж;  
И под звон переливчатый поднятых чаш  
Засияют счастливые лица.

1948

## **ПАДАЮЩАЯ БАШНЯ ПИЗЫ**

Была ль геолога ошибка –  
И не учел в расчетах он,  
Что грунт для стройки слишком зыбкий  
И башня может дать наклон?

Не принял, может, во вниманье  
Строитель тяжесть толстых стен?..  
И вот бессмертное создание  
Сюрпризом стало: дало крен.

Одно из редкостных явлений.  
Неважно, кто в чем виноват!  
Ведь большинство изобретений –  
Людских ошибок результат.

Есть сотни башен без сюрпризов,  
И к ним обычный интерес.  
Но лишь одна, хромая, в Пизе  
Осталась чудом из чудес.

1949

### ЧУЖЕСТРАНЦЫ

На нью-йоркском Бродвее мятежном,  
Где метель затевает игру,  
Подарили мне первый подснежник,  
И несу осторожно и нежно  
Я его, как свечу на ветру.

Беззащитный был грубо заброшен.  
В этот ад, что в бетоне увяз,  
Из далекой березовой рощи,  
Где впервые у тропки заросшей  
Приоткрыл он застенчиво глаз.

И я тоже здесь гость – за морями  
Отчий дом мой. Оттуда давно  
Унесло меня злыми ветрами.  
Но порой все смотрю я упрямо  
В незабытого детства окно.

А вокруг в беспорядочном танце  
Закружились снежинки живой,  
Я иду среди шума, как в трансе;  
Мы с подснежником – два чужестранца:  
Нас судьба занесла на Бродвей.

### МОЁ ОКНО

В моё окно, как бы в мишень,  
Летит цветных лучей поток,

В который самолета тень  
Нырнула, как средь волн челнок.

Мое окно – киноэкран:  
На нем холмы и пышный сад,  
Шоссе – машины там с утра  
Снуют весь день вперед-назад.

А дальше – город скрыла мгла.  
И даже часто мнится мне:  
Я так прожить всю жизнь могла б.  
Но только ль света, что в окне?..

1975

### **МЕРТВОЕ МОРЕ**

К морю жмутся, толкаясь, утесы и кручи,  
Как верблюды к воде средь барханов сыпучих;  
И колеблются в дымке горбатые спины,  
Где виляет, змеится тропа бедуина.

Бури камень долбят и ломают, и крошат,  
Берега устилая соленой порошей.  
Но сейчас – тишина. Соляные метели,  
Распустив паруса, – улетели.

В небе солнце, катясь золотой монетой,  
Льет на землю потоки слепящего света;  
И, рыдая по-вдовьи, залетная птица  
Сиротливо над тихим заливом кружится.

А меня в бирюзовое влажное ложе  
Невысокие волны удобно уложат,  
Как дитя в колыбель, с материнскую лаской,  
И поведают шепотом быль... или сказку?

О дворцах, под водой погребенных, и храмах  
Городов, заклеянных навечно грехами...  
И Содом, и Гоморра, что здесь утонули,  
Предо мной возникают – во сне... наяву ли?

Поколенья уходят, в веках пропадая,  
И теряется след их в пустыне Синая...  
Свитки прошлого, словно священную Тору,  
Развернуло доверчиво Мертвое море.

1984

## **ВСЁ НАОБОРОТ**

Вызывают удивленье  
Сочетанья слов, явленья,  
Где весь смысл наоборот,

Скажем: старый Новый год,  
Скороходы-черепахи,  
Чистоплотные неряхи,

Летом снежная метель,  
Без лошадок карусель;  
Пятна белые на карте,

Хризантемы в раннем марте,  
Безголосый соловей  
И дождливый сухойей,

Свиньи – тонкие гурманы  
И прозрачные туманы,  
Без плодов фруктовый сад

И без музыки парад.  
Русский стол без кислых щей...  
Их полно – таких вещей.

Я и счет им потеряла,  
Начинаю все сначала,  
Повторяю как в угаре:

Старый, новый, новый, старый...  
Ну, какой же это год?  
Всё у нас наоборот.

До того я отупела,  
Что нечаянно надела  
Платье задом наперед.

### **ЖИЗНЬ – ПЕСНЯ**

Я только былинка в великой Вселенной,  
В которой мне дан незначительный срок.  
И я тороплюсь, познаю вождельенно  
Весь мир – даже пчелку, и каждый цветок.

Вот солнце глядит сквозь вишневую ветку,  
На ней ярко спелые вишни горят.  
А там под кустом молодая наседка  
У грядки гребется и кормит цыплят.

Нью-Йорк предо мной со взъерошенной гривой,  
Опутанный накрест цепями машин,  
Богатый и нищий, немой и крикливый –  
Нью-Йорк многоликий на свете один.

Жизнь – чудо. Жизнь – свыше подарок бесценный  
(Не верится мне, что придется уйти).  
Я пью ее жадно и залпом, как пленный,  
Нашедший к желанной свободе пути.

Жизнь – песня. Она то грустна, то беспечна,  
Сюрпризы несет и пьянит, как вино.  
Но песню одну можно петь бесконечно,  
А жизнь только раз нам пропеть суждено.

### ВЕТКА ЖАСМИНА

Ветка жасмина, как ранняя птица,  
С ветром взлетает и в окна стучится,  
Зимнюю пыль на стекле растирает,  
Гнется и белые перья роняет.

Эти посланья весенние Божьи  
Стелет под ноги случайным прохожим...  
Ветер взлетает, и – ветки вскипели, –  
Сад закружился в душистой метели!

### СТАРОСТЬ

Бессмертных нет в подлунном мире,  
Как нет и вечно молодых;  
А старость с юностью не в мире, –  
Крушит ее на все лады.

Она морщин густую пряжу  
На коже выжжет, как клеймо;  
И правду горькую мне скажут  
Все зеркала и все трюмо.

Уже ты, странница седая,  
Ко мне подходишь, не спеша,  
Но ты запомни: молодая,  
Моя не старится душа.

# ЕЛАГИН

(Матвеев)

## Иван Венедиктович

(1918–1987) – поэт, драматург, переводчик.



Родился во Владивостоке 1 декабря 1918 года в писательской семье. Дед, Николай Петрович, – журналист, автор книги «История города Владивостока». Отец, Венедикт Николаевич, – поэт-футурист, писавший под псевдонимом Венедикт Март, в 1918–1921 годах главный редактор журнала «Великий Океан», автор 14 поэтических и несколько прозаических книжек. Дяди Ивана братья Венедикта тоже публиковали стихи. После 1918 года семья недолго жила в Харбине, затем вернулась на родину, где мыкалась по ссылкам: из Подмосквья их выслали в Саратов, затем им удалось перебраться в Киев. Будущий писатель был знаком с Н. Клюевым, Б. Пильняком, Ф. Панферовым, Д. Хармсом.

В Киеве Иван Матвеев поступил в медицинский институт. Перед войной он с тетрадками своих стихов и стихов жены Ольги Анстей поехал в Ленинград к Анне Ахматовой. Но беседы не получилось: поэтесса торопилась с передачей к сыну, томившемуся в тюрьме.

В 1937 году Венедикта Матвеева вторично арестовали, и он сгинул в сталинских лагерях. Образ отца и, как поэт сам говорил, тема ахматовского реквиема проходит через все стихи и поэмы Елагина. Памяти отца посвящена поэма «Звезды», в которой тема отца перерастает в тему войны, в свою очередь, связанную темой, которую Елагин называл «беженской» – лагеря Ди-Пи.

Уехав в 1943 году из оккупированного Киева в Германию, после войны Елагин с женой поэтессой Ольгой Анстей оказался в лагере для перемещенных лиц Шлейсгейм. Нависла угроза репатриации. Сомнений в том, что на родине побывавших в плену или оказавшихся в Германии ждет участь изгоев или заключенных теперь уже в советском концлагере, у Елагина не было. Переживания поэта отразились в «Беженской поэме».



*И. Елагин и И. Бродский. Питтсбург*

Объясняя происхождение своего псевдонима, поэт писал, что в одной из редакций, куда он принес свои стихи, увидел литографию Елагина моста в Санкт-Петербурге, и с тех пор подписывался фамилией Елагин.

В 1947 году в Мюнхене уже под взятым псевдонимом вышла маленькая книга стихов «По дороге оттуда», а в 1948-м – другая, тоненькая брошюра «Ты, мое столетие» – название, определяющее во многом содержание всего творчества поэта. Книги были замечены И. Буниным, приславшим начинающему стихотворцу письмо, где называл его «талантливым, смелым и находчивым» поэтом.

В 1950 году Елагин и Анстей вместе с большинством других «дипи» прибыли в США. Там он мыл пол в ресторане, работал в стекольной мастерской, пока не поступил в штат нью-йоркской газеты «Новое русское слово». Параллельно учился в Колумбийском университете. За огромный и труднейший перевод поэмы Стефана Вин-

сента Бенэ «Тело Джона Брауна» Нью-Йоркским университетом ему была присвоена докторская степень. Последние годы жизни поэт преподавал в колледже Миддлбери и в Питсбургском университете. В Америке он создал новую семью с Ириной Даннгейзер.

Его стихи выходили как в ведущих журналах русской эмиграции, так и отдельными книгами. Девизом поэта было строки его стихотворения «Меня не отделишь / От времени», заканчивавшегося словами: «Меня не отторгнешь / От времени. С мясом не вырвешь!»

Наряду с уже названной темой отца постоянной в раннем творчестве поэта была война. Поэт не ограничивается изображением зловещих картин разрушений, горестных утрат, а осмысливает войну как трагедию России и всего израненного мира XX столетия. В стихотворениях «Уже последний пехотинец пал...», «Осада» и др. поэт придает обыкновенным приметам войны драматические черты.

Жизнь в Америке не изменила трагического мировосприятия Елагина. Поэт вновь отказывается принять окружающее. В его стихах «Дождь бежал по улице на цыпочках...», «В Гринвич Вилидж», «Послушай, я все скажу без утайки...», «Небоскребы упрятались в марево...» развивается, как характеризовал ее сам поэт, «тема ужаса перед машинной цивилизацией». При этом Елагин охотно пользуется сюрреалистическими образами, помогающими передать ему абсурдность мира, ужас бытия:

И углы, и бетонные плиты!  
Тень! С тобой из орбиты мы выбиты,  
Тень! В чужую орбиту мы вбиты.  
(Небоскребы упрятались в марево...)

Я сначала зашел в гардероб,  
Перед тем как направиться в зал,  
Сдал на время мой крест и мой гроб,  
И мой плащ, и кашне мое сдал.  
(Я сначала зашел в гардероб...)

В одном из стихотворений поэт сравнивает себя с винтиком дьявольской машины, которая тащит его в бездну, где уже нет нормальных человеческих чувств, нет ничего: «Они мне сердце хотят из плазмы / Вставить и вынуть сердце мое».

Обобщенным образом этого мира цивилизации стало само название книги – «Дракон на крыше».

Тема «расщепленности», выпадания из времени, сознания принадлежности не только к окружающему сейчас миру звучит все более мощно: «Я просыпаюсь / И рассыпаюсь».

Однако, если бы поэт писал только об ужасах, пережитых им и его поколением, если бы он только был певцом отчаяния и тоски, он никогда не стал бы тем, кем он был.

В любых, порой самых страшных строчках Елагина всегда есть нечто большее – сила, дающая возможность жить дальше и увидеть по-иному даже самое знакомое и известное. Картины «хаоса Божьего экспромта» Елагин перемежал поэтическими рассказами о силе жизни. Этому способствовал и энергичный ритм стиха, и просторечие неунывающего лирического героя. Таково стихотворение «Вот она – эпоха краха...» Поэт называет эпоху и пряхой, и свахой, и шлюхой, и запивохой, и эпохой смеха. «И вот с этой-то эпохой / Я по свету трюхаю».

Елагин, как никто другой, мог увидеть красоту мира и бытия, набросать в стихотворении пейзаж улицы, леса, дня, эпохи. «У Елагина необычайная красочность палитры, яркие мазки, сразу напоминающие французских импрессионистов недаром раскрашенный ветер дует у него “гогенисто” и “сезанисто”», – писала поэтессе Татьяна Фесенко.

В стихах поэта луна то «небесный подкидыш», то «по капле стекает с весел», то «зеленым ножом перерезает крышу», лужицы дождя сравниваются с цинковыми мисками, а сам дождь «бежит по улице на цыпочках».

Уже в первых своих стихах поэт чувствовал себя демиургом, свободно управлявшим луной, землей, звездами, закатом («Я золотой закат переплавляю в слитки»), союзником неуправляемого ветра, «красочного, кочевого, сказочного». Это чувство усилилось в позднем творчестве поэта. Сборник «В зале Вселенной» открывается стихотворением «На площадях танцуют и казнят», где поэт приглашает читателя в «театр своей души», где он и «распорядитель», и зритель.

Елагин отчетливо понимает, что поэту не дано преодолеть смерть «Мы – тоненькая пленочка живых / Над темным неизбывным морем мертвых... / А мертвых – большинство, и к большинству / Необхо-

димо присоединиться». Тем не менее в поздних стихах поэта все чаще присутствует стремление преодолеть бренность бытия.

Одно из ведущих мест в творчестве Елагина занимает тема поэта и поэзии. Говоря его словами, «сквозная тема искусства». Через все творчество поэта проходит убежденность в праве на свои, только ему принадлежащие мысли и слова: «И написано строго / Было мне на роду, / Что торжественно в ногу / Я ни с кем не пойду» («Сам я толком не знаю...»).

Во всех американских сборниках поэт по-прежнему разрывался между временами и странами. Живя в Соединенных Штатах, неоднократно вновь и вновь возвращался в Киев, в Москву, в Ленинград, подчеркивал неестественность своего пребывания в Америке «Я сначала зашел в гардероб...», «Наплыв», «Привыкли мы всякую ересь...».

Когда «железный занавес» ненадолго упал и советские поэты стали приезжать в США, Елагин гостеприимно их принимал.

В своих поздних сборниках, среди которых особо следует упомянуть «В зале Вселенной», поэт стремится красотой преодолеть разъятость, расщепленность современного человека: «И мне теперь от красоты не спится / Как не спалось когда-то от тоски», – скажет Елагин в стихотворении «Проходит жизнь своим путем обычным...». А в стихотворении «Мое завещание» он завещает «наследникам и наследницам» «все звезды от первой и до последней», «все прогремевшие бури роялей», «гром и молнию», «море всклокоченное», «тучу и дерево», «выси и пропасти» и завершает стихотворение словами:

И на прощанье – последний параграф –  
Я завещаю вам солнце и книги.

Перед смертью он успел взять в руки большой том в красивой синей обложке, изданный на средства его друзей Леонида и Агнии Ржевских, Татьяны и Андрея Фесенко и оформленный его старым товарищем Сергеем Голлербахом. Книга называлась «Тяжелые звезды». Образ звезд – сквозной в лирике Елагина. Книгу завершал раздел «Новые стихи», где в стихотворение «Нынче я больше уже не надеюсь на чудо...» поэт вставил названия всех своих сборников стихов.

Иван Венедиктович Елагин умер 7 февраля 1987 года в Питсбурге, едва успев встретить свой шестьдесят восьмой день рождения. Он и похоронен в Питсбурге.

## Сочинения

- По дороге оттуда. – Мюнхен, 1947;  
Ты, мое столетие. – Мюнхен, 1948;  
Портрет Мадмуазель Таржи. – Мюнхен, 1949  
По дороге оттуда. – Н.-Й., 1953;  
Отсветы ночные. – Н.-Й., 1963;  
Косой полет. – Н.-Й., 1967;  
Дракон на крыше. – Н.-Й., 1973;  
Под созвездием Топора. – Франкфурт-на-Майне, 1976;  
В зале Вселенной. – Анн-Арбор, 1982;  
Тяжелые звезды. – Анн-Арбор, 1986;  
Курган. (посмертно) – Франкфурт-на Майне, 1987.  
**Собрание сочинений:** в 2 т. – М.: Согласие, 1998.

## Публикации

- Битники // *НЖ*. 1966. № 84.  
«Бог восхитился шаром...» // *НЖ*. 1965. № 80.  
В Greenwich Village // *НЖ*. 1962. № 68.  
«Видно, дела плохи...» // *НЖ*. 1949. № 22.  
Владимир Дукельский. Послания // *Совр.* 1965. № 11.  
«В тяжелых звездах ночь идет...» // *НЖ*. 1970. № 98.  
«Вышла такая гадость...» // *НЖ*. 1968. № 90.  
Гринвич Вилидж, 1970, // *НЖ*. 1970. № 100.  
Два стихотворения // *НЖ*. 1966. № 83.  
«Дом мой любит сотрясаться...» // *Совр.* 1971. № 22 / 23.  
Дураки // *НЖ*. 1967. № 86.  
«Еще жив человек...» // *НЖ*. 1968. № 93.  
«Залезаю в коробку железную...» // *Возр.* 1971. № 228.  
Из переводов: Стивен Винсент-Бене. Тело Джона Брауна // *Конт.* 1977. № 11.  
«Какое утро кладет по письму...» // *НЖ*. 1951. № 26.  
«Как ночь эта памятна...» // *Лит. совр.* 1951. № 1.  
«Когда земля, вся в судорогах ухнет...» // *НЖ*. 1951. № 26.  
«Листьев взвинченный полет...» // *НЖ*. 1969. № 94.  
Личное дело. Стихи // *Конт.* 1978. № 15.  
Льдина // *НЖ*. 1961. № 66.  
Мой день // *НЖ*. 1965. № 79.  
«Море упрасиваю: Паша, Паша...» // *НЖ*. 1970. № 98.

- «Мы плыли вдоль улиц...» // *НЖ*. 1952. № 29.  
«Над мальчишкой крепким и румяным...» // *НЖ*. 1953. № 34.  
«На луне ни звука...» // *Возр*. 1971. № 228.  
«На проспекте сносят дом...» // *НЖ*. 1968. № 91.  
«На скамейке без подстилки...» // *НЖ*. 1969. № 97.  
«Нас раскидала по волнам...» // *НЖ*. 1949. № 22.  
Небо // *НЖ*. 1959. № 58.  
«Неслышно входит городское лето...» // *НЖ*. 1964. № 76.  
Ниагара // *НЖ*. 1965. № 81.  
«Обернемся на минуту...» // *НЖ*. 1970. № 99.  
Ответ // *НЖ*. 1967. № 89.  
«Отпускаю в дорогу с Богом...» // *НЖ*. 1953. № 41.  
Память // *Грани*. 1980. № 116.  
Письмо антиподу // *НЖ*. 1963. № 74; 1964. № 75.  
Под созвездием топора // *Конт*. 1977. № 12.  
Поэма без названия // *Мосты*. 1963. № 10.  
Поэт // *НЖ*. 1964. № 76.  
«Пробивают в асфальте дыру...» // *НЖ*. 1970. № 100.  
Семь стихотворений // *НЖ*. 1962. № 70.  
«Смеркается. И запах хвои слаще...» // *Грани*. 1946. № 2.  
Со дна // *НЖ*. 1968. № 91.  
Современная баллада // *НЖ*. 1967. № 88.  
Стихи // *Грани*. 1959. № 44; 1976. № 100; 1977. № 104; 1978. № 109.  
Стихи // *Конт*. 1979. № 19; 1980. № 24.  
Стихи // *Мосты*. 1959. №№ 2, 3; 1960. № 4; 1961. № 7, 8; 1963. № 10; 1970. № 15.  
Стихи // *НЖ*. 1957. № 48; 1958. № 55; 1962. № 67; 1963. № 72; 1967. № 87; 1971. №№ 102, 104, 105; 1972. №№ 106, 107, 109; 1973. № 112; 1974. №№ 114, 115, 117; 1975. №№ 118, 119, 121; 1976. №№ 123, 124; 1977. №№ 127, 129; 1978. №№ 131, 132; 1979. № 137; 1980. №№ 138–140.  
Стихи // *Встречи*. 1978–1980, 1982, 1983, 1985–1990, 1996, 2001.  
Стихотворение // *Конт*. 1975. № 4.  
Стихотворения // *Возд. пути*, 1965. № 4; 1967. № 5.  
Стихотворения // *Мосты*. 1968. № 13 / 14.  
Стихотворения // *НЖ*. 1963. № 71.  
«Сурово и важно...» // *НЖ*. 1968. № 93.  
«Строится где-то, строится где-то...» // *НЖ*. 1970. № 98.  
«Точно родник...» // *НЖ*. 1951. № 26.  
«Уже последний пехотинец пал...» // *Грани*. 1946. № 2.  
«Хватит слоняться праздно по безднам...» // *НЖ*. 1965. № 78.  
Цирк // *Конт*. 1976. № 7.  
Черновик // *НЖ*. 1955. № 43.  
Четыре угла // *НЖ*. 1966. № 85.  
«Что с деревом делать осенним...» // *НЖ*. 1965. № 78.

- «Это смертью звалось. До того...» // *Лит. совр.* 1951. № 1.  
«Я направо и налево...» // *НЖ.* 1969. № 97.  
«Я не знаю где бы выпросить...» // *НЖ.* 1965. № 80.  
«Я прыгнул из окна...» // *НЖ.* 1968. № 91.  
«Я решаю вопрос большой...» // *НЖ.* 1965. № 78.  
«Я сегодня прочитал за завтраком...» // *НЖ.* 1969. № 95.  
«Я сначала зашел в гардероб...» // *НЖ.* 1969. № 94.  
«Я стою под березой двадцатого века...» // *НЖ.* 1970. № 101.  
«Я эмигрировал на озеро...» // *Возр.* 1969. № 214.  
«Я это молчание выбил как пробку...» // *НЖ.* 1953. № 34.



## БЕЖЕНСКАЯ ПОЭМА

Только полозья ползали...  
«Слово о полку Игореве»

### 1

Сколько тут бабахано!  
Сколько бомб убухано!  
Динамитом вспахана  
Половина Мюнхена.

Пролетают сизые  
Голуби над Изаром,  
А вода-то в Изаре  
Зеленеет бисером.

А вокзал – как выводы  
Из войны законченной:  
Окна все повыбиты,  
Двери заколочены.

В реку остов башенный  
Рухнул, как подкошенный.  
Рядом с крыши крашеной  
Черепица сброшена.

Гневно разворочена  
Мостовая миною,  
Кошка озабоченно  
Крадется руиною.

И трубит в пробойны  
Ветер неприкаянный.  
А казарм настроено  
Сколько по окраинам!

## 2

Корпуса бетонные –  
Кто ж внутри содержится?  
А перемещённые  
Беженцы-отверженцы.

Кто с узлом-периною,  
Кто с кошёлкой кожаной.  
Помещенья длинные  
Сплошь перегороджены.

А за одеялами,  
А за полотенцами –  
Семьи с годовалыми  
Шумными младенцами.

В эти годы гиблые  
Разные есть беженцы:  
Кто читает Библию,  
Кто в железку режется!

Этот – на гектографе  
Издаёт известия,  
Там – девчонку до крови  
Бьёт мамаша-бестия.

Тут поэт из Чехии  
В творческом наитии

Воспеваает некие  
Важные события.

Те включили резкую  
Музыку приёмника,  
Чтоб за занавескою  
Нежничать укромненько.

А в углу подвыпили  
Старых два деникинца, —  
Им ещё с Галлиполи  
Не впервые мыкаться.

И казарма кажется  
Вечерами страшною  
Согнутой под тяжестью  
Вавилонской башнею.

### 3

Я хожу оборванный,  
В мятой шляпе фетровой.  
Недотёпа форменный,  
Хоть мозги проветривай!

Лирик, у которого  
Ничего не пишется.  
Да, судьба мне здорово  
Прописала ижицу!

К черту амфибрахии,  
Дактили, анапесты!  
В лагере неряхою  
Выгляжу растяпистой.

А стихи давнишние  
Все в ведро помойное  
Выкинуты! (Лишнее  
Дело, беспокойное!)

Негде стать на якорь.  
Чувствую заранее,  
Что погибну в лагере  
Где-нибудь в Германии.

Нечисть эмведистская,  
Точно псы легавые,  
По Европе рыская,  
Налетят облавою!

Угрожают выдачи!  
Нансеновским паспортом  
Запасайся – иначе  
Попадешься аспидам!

Чтоб избегнуть жребия  
Этого проклятого, –  
Вру, что жил я в Сербии  
До тридцать девятого,

В эти дни преступные  
Дышит всё подделкою –  
И подделкой крупною,  
И подделкой мелкою...

Девушка учтивая,  
Перышком поскрипывай  
И печать фальшивую  
Ставь на справке липовой!

#### 4

Постоял у корпуса.  
Самокрутку выкурил.  
Холм полночный сгорбился,  
Как в походе Игоря.

За холмом-то половцы.  
Так и ждут, чтоб вылезти.

Слышится, как полозы  
Ползают, извилисты.

Не слышать ни голоса  
Птицы, ни собачьего  
Лая, – только полозы  
Проползают вкрадчиво.

Только близко половцы  
С копьями и с луками.  
А казарма полнится  
Яростными слухами.

Что сосед вполголоса  
Говорит – не вынести.  
По казарме полозы  
Ползают, пружинисты.

Слух за слухом тужится  
Сердце обволакивать,  
Чтоб в поту от ужаса  
Среди ночи вскакивать.

## 5

Время ураганное,  
И бывает всякое...  
Жизнь у нас престранная,  
Жизнь у нас двоякая!

В мыслях безалаберно.  
Что же с нами станется?  
(А в театре лагерном  
Ставят «Бесприданницу».)

Завтра, может, за ноги  
Выволокут недруги.  
(Курсы по механике,  
Курсы по электрике.)

Завтра яму выроют,  
Сгинешь смертью лютою.  
(Кто-то спекулирует  
В лагере валютою.)

В коридоре – дамочки  
Голосок взволнованный  
Перед детской ванночкой  
С сельдью маринованной.

Там торговля шумная –  
Вмиг селедка кончится!  
(Время хоть и чумное –  
Пировать нам хочется!)

То этаж казарменный  
Или круг то адовый?  
Небо светозарное  
К нам ты не заглядывай...

\* \* \*

*С. Бонгарту<sup>1</sup>*

Ты сказал мне, что я под счастливой родился звездой,  
Что судьба набросала на стол мне богатые яства,  
Что я вытянул жребий удачный и славный... Постой –  
Я родился под красно-зловещей звездой государства!

Я родился под острым присмотром начальственных глаз,  
Я родился под стук озабоченно-скупной печати.  
По России катился бессмертного «яблочка» пляс,  
А в такие эпохи рождаются люди некстати.

Я родился при шелесте справок, анкет, паспортов,  
В громохании митингов, съездов, авралов и слетов,

---

<sup>1</sup> Бонгарт Сергей Романович (1918–1985) – художник, поэт. См. о нем выше.

Я родился под гулкой обвал мировых катастроф,  
Когда сходит со сцены культура, свое отработав...

\* \* \*

Уже последний пехотинец пал,  
Последний летчик выбросился в море,  
И на путях дымятся груды шпал,  
И проволока вянет на заборе.

Они молчат – свидетели беды.  
И забывают о борьбе и тлене  
И этот танк, торчащий из воды,  
И этот мост, упавший на колени.

Но труден день очнувшейся земли.  
Уже в портах ворочаются краны,  
Становятся дома на костыли...  
Там города залечивают раны.

Там будут снова строить и ломать.  
А человек идет дорогой к дому.  
Он постучится – и откроет мать.  
Откроет двери мальчику седому.

\* \* \*

Бомбы истошный крик –  
Аэродром в щебень!  
Подъемного крана клык –  
на привокзальном небе –

Ты, мое столетие!

Поле в рубцах дорог:  
Танки прошли по полю.  
Запертое в острог,  
Рвущееся на волю –

Ты, мое столетие!

Ищущее конец,  
Бьющееся в падучей,  
Мученический венец  
Проволоки колючей –

Ты, мое столетие!

Кручу за пядью пядь  
Брали. И вот со склона  
Ринувшееся вспять,  
Все растеряв знамена,

Ты, мое столетие!

Брошенное на штык,  
Дважды от крови ржавый,  
Загнанное в тупик  
Дьяволовой облавой –

Ты, мое столетие!

Царственные века  
Были твоим подножьем.  
Продано с молотка,  
Выжжено гневом Божьим –

Ты, мое столетие!

Кости с тобою сложим!

Плоть от плоти твои,  
Шиты твоим покроем.  
Бурей своей пои!  
Кровью своей напоим!

Верности клятву прими,  
Ты, мое столетие!

## В ГРИНВИЧ ВИЛИДЖ

Всю ночь музыкант на эстраде  
Качался в слоистом дыму,  
И тени, по-волчьему, сзади  
На плечи кидались ему.

Себя самого растревожа,  
Он несся в какой-то провал  
И нежно во влажное ложе  
Протяжные звуки вливал.

Здесь всякий приятель со всяким,  
И всякий здесь всякому рад.  
Артисты, пропойцы, гуляки.  
Толкаются, пьют, говорят.

Над столиком тонкий светильник  
Мелькает в зеленом стекле.  
Привет тебе, мой сомогильник,  
Еще ты со мной на земле.

Привет тебе, мой современник.  
Еще ты такой же, как я,  
Дневной неурядицы пленник  
Над рюмкой ночного питья.

Какая-то тусклая жалость  
Из труб серебристых текла.  
Какая-то дрянь раздевалась  
На сцене ночной догола.

Картины кострами сложите  
И небо забейте доской!  
Не надо уже Афродите  
Рождаться из пены морской.

Не всплыть ей со дна мифологий,  
И пена ее не родит,

Тут девка закинула ноги,  
Тут кончился век афродит.

Я пальцами в такт барабаню,  
Я в такт каблуками стучу,  
Я тоже со всей этой дрянью  
В какую-то яму лечу.

\* \* \*

Мне незнакома горечь ностальгии.  
Мне нравится чужая сторона.  
Из всей – давно оставленной – России  
Мне не хватает русского окна.

Оно мне вспоминается доньше,  
Когда в душе становится темно –  
Окно с большим крестом посередине,  
Вечернее горящее окно.

\* \* \*

По земле шатаюсь я давно,  
И везде вожу с собой окно.

Хоть люблю я в жизни перемену,  
Но окно всегда вставляю в стену.

Приглашаю я в окно закат.  
Птицы пусть в окне моем летят.

Ветку на окно мое кладу,  
Рядом сбоку вешаю звезду.

Или, чтоб увидел целый свет,  
Создаю ночной автопортрет –

В раме, за стеклом, стою в окне,  
Свет фонарный шастает по мне.

Пусть стоит вселенная вверх дном,  
Мне не страшно за моим окном!

Я поеду в городок морской,  
Я мое окно возьму с собой

И у волн поставлю непременно,  
Пусть окно окатывает пена,

Пусть там волны ходят ходуном,  
Хорошо мне за моим окном!

Я от океана отделен,  
В раме океан и застеклен!

Каждым утром, сразу после сна,  
Я выбрасываюсь из окна

И лечу на камни мостовой  
В мир невыносимо-деловой.

\* \* \*

Привыкали мы всякую ересь  
Читать на страницах газет.  
Твердят, с географией сверясь,  
Что я эмигрантский поэт.

Я знаю – всё стерпит бумага,  
Чем люди её нагрузят.  
Но если я даже бродяга,  
У книг моих есть адресат.

Пускай и ухабы и встряски –  
Моё кочевое житьё,  
Но разве должно быть в участке  
Прописано слово моё?

Иль, может быть, критик циничный  
Действительно способ нашёл  
В стихи мои столб пограничный  
Забить, как осиновый кол?

Художника судят по краскам,  
Поэта – по блеску пера.  
Меня называть эмигрантским  
Поэтом? Какая мура!

\* \* \*

Проходит жизнь своим путём обычным,  
И я с годами делаюсь иным,  
И что казалось грозным и трагичным,  
Мне кажется ничтожным и смешным.

Испуганная пролетает птица.  
Гром тишину ломает на куски.  
И мне теперь от красоты не спится,  
Как не спалось когда-то от тоски.

\* \* \*

Снова дождь затеял стирку  
Крыш, деревьев, кирпичей.  
Дни ложатся под копирку  
Антрацитовых ночей.

А во сне, в ночном походе –  
На путях каких – Бог весть, –  
День наш в сонном переводе  
Мы пытаемся прочесть,

Ночью каменноугольной,  
Ночью грузной и большой,  
Пробираясь, точно штольней,  
Нашей узкою душой.

Там в скитаньях непрерывных  
На мгновенье зажжены  
На мятущихся экранах  
Зашифрованные сны.

Все удачи, все печали,  
Всё, что было позади,  
Всё, что за день настучали  
Ундервуды и дожди.

Но рассвет, войдя в квартиру,  
Выхватит издалека,  
Возвратит дневному миру,  
Сны срывая по пунктиру  
Телефонного звонка.

\* \* \*

Я не знаю, где бы выпросить  
Краску, чтобы ветер выкрасить.

Прекратить нелепость дикую,  
Что он ходит невидимкою.

Я люблю определенности,  
Красности или зеленисти,

Фиолетовости, синести,  
А вот ветра мне не вынести,

Потому что ветер – фикция,  
Хоть и есть у ветра дикция.

Вот и мыслью ошарашен я,  
Чтобы ветер дул раскрашенно,

Дул павлинисто, фазанисто,  
Дул гогенисто, сезанисто,

Чтоб по всей его волнистости  
Шли сиреневые мглистости,

Чтоб скользили по наклонности  
Голубые просветленности,

Чтоб он гнал в рывках неистовых  
Цветовую бурю выставок,

Пусть по ветру фордыбачатся  
Все абстрактные чудачества,

Многоцветные, несметные,  
Несусветно-беспредметные,

Пусть в его порывах множатся  
Сумасшедшие художества,

Пусть разгуливает клоуном  
Идиотски размалеванным,

Пусть размахивает красками,  
Как платками самаркандскими.

Весь вмещенный в очертания,  
В свето-цветосочетания,

Пусть проходит ветер красочный,  
Кочевой, блестящий, сказочный.

\*\*\*<sup>2</sup>

Здесь чудо всё: и люди, и земля,  
И звездное шуршание мгновений.  
И чудом только смерть назвать нельзя –  
Нет в мире ничего обыкновенней.

---

<sup>2</sup> Стихотворение по желанию поэта было опубликовано после его смерти в альманахе «Встречи».

# ЗАВАЛИШИН

## Вячеслав Клавдиевич

*(1915–1995) – литературный и художественный критик, поэт, журналист.*

Родился в Петрограде. Отец Клавдий Владимирович – правый эсер, был товарищем уполномоченного Временного Правительства по Новгородской губернии (т. е. вице-губернатором). Расстрелян в ежовщину. Мать много лет провела в концлагере Долинка под Карагандой. В хрущевскую оттепель была освобождена и вскоре скончалась в Уфе.

Незадолго до войны закончил историко-филологический факультет Ленинградского университета. Попав в плен, бежал и жил под чужой фамилией в Новгороде и Пскове. Был арестован эсесовцами по обвинению в подпольной деятельности и отправлен в тюрьму в Двинск, где подвергался пыткам и избиениям. Затем попал в штрафной лагерь в Латвии, откуда его вызволил митрополичий экзарх Прибалтики Сергей (Воскресенский).

После войны жил в американской оккупационной зоне, где сблизился с художником и поэтом В. Шаталовым (ему посвящено несколько стихотворений Завалишина). В Германии занялся издательской деятельностью для беженцев: выпустил «Конька-Горбунка» Ершова, тоненький однотомничек С. Есенина, такие же тоненькие 4 книжечки Н. Гумилева. Автор брошюры «Андрей Рублев» (1946; на нем. языке – 1948).

В 1951 году эмигрировал в США и постоянно жил в Нью-Йорке. Написал книгу о советской литературе 20-х годов («Early Soviet writers», 1958 г. и 2-ое изд. –1970).

Своей главной специальностью В. Завалишин считал искусствоведение. Он – автор книги «Малевич. Мысли о жизни и творчестве» (Н-Й., 1991). Регулярно публиковал отчеты и рецензии о русских театральные постановках, концертах, выставках и лекциях в «Новом русском слове» (Нью-Йорк) и газеты «Русская жизнь» (Сан-Франциско). Писал тексты для радиопередач на русском языке о литера-

туре и искусстве для американской радиостанции «Свобода». Вел божемную жизнь вольного художника: после немецкого концлагеря пристрастился к алкоголю, на что тратил почти все деньги. Практически не занимался домашним хозяйством. Проникшие в его квартиру воры, не сумели найти ничего для себя интересного. Но даже больной, тучный и с трудом передвигающийся, он, по воспоминаниям В. Синкевич, «с красивой головой в шапке седых волос, с насмешливым, живым взглядом блестящих темных глаз, все так же, как и в молодости, производил внушительное впечатление». До последних дней сохранял бодрость духа, интерес к творчеству собратьев по перу и искусству, трудоспособность (работал над переложением «Знамений» Нострадамуса, готовил книгу «Поздние советские писатели» – оба замысла остались незавершенными<sup>1</sup>). Лет за пять до кончины Завалишин женился на пианистке Галине Владимировне Орловской, сумевшей скрасить последние годы его жизни.

Стихи писал с 15 лет с большими перерывами. Первое стихотворение опубликовано в 1934 г. в Новгородской газете «Звезда», когда автору было 19 лет. В эмиграции публиковался в «Гранях», в «Новом журнале», в альманахе «Перекрестки» («Встречи») и антологиях. В 1980 г. издал единственный сборник стихов «Плеск волны».

Завалишин был хорошим переводчиком. Долгие годы работал над переложением на русский язык легендарных «Центурий» Нострадамуса (<http://maerog.irk.ru/poezia/nostr/>). (1974 и 1976). «Нострадамус, – пишет Завалишин в комментариях к переводу, – укрепляет гуманное начало в человеке, которого судьба приносит в жертву катастрофам, социальным и революционным потрясениям, кровопролитным войнам. Только тот, кто прошёл через всё это, может открыть для себя и по-настоящему оценить Нострадамуса».

Для Завалишина Нострадамус – гениальный предтеча современных футурологов. Тем не менее, автор перевода (точнее было бы сказать переложения) пишет, что по его тексту нельзя гадать – это поэзия и не более того. «Центурии» переведены в соответствии с русским стихосложением, чтобы поэтическая красота текста стала доступной русскоязычному читателю. Вместе с тем, даже критики завалишинского перевода признают, что в нем почти нет т. н. «отсебятины»,

---

<sup>1</sup> Опубликована только глава о Заболоцком – Новый журнал, 1959, кн. 58. С. 122–134.

что Завалишин обладал хорошим поэтическим вкусом и мастерски находил русские эквиваленты французскому первоисточнику. Завалишинское переложение «Слова о полку Игореве» частично опубликовано в «Русской жизни» (2–5.11. 1989) и полностью в перестройку в «Литературной учебе» (3–6, 1991).

Еще в стихотворении 1934 года «Крымские фантасты» Завалишин назовет своих кумиров-романтиков: писателя Александра Грина и художника Константина Богаевского: «Их размах фантазии был дерзким, / В них обоих много свежих сил». Несколько позже к этим именам добавится Николай Гумилев. В предисловии к «Коньку-Горбунку» Завалишин писал: «Для чего живут люди? Для лучшего. Интуитивное тяготение к счастью – импульс всей нашей жизни». И через много лет: «Не выцвели в нас гумилевские флаги, хоть бури эпохи их яростно рвут!».

«Сборник “Плеск волны”, – писал Завалишин, – навеян парусными кораблями», девятнадцатым веком: «Тень романтики здесь не ржавеет, / Если любит ее человек». Но, даже обращаясь в ряде стихотворений к современным морским лайнерам, поэт утверждает, что они восходят к новгородским гостевым юмам XV–XVI вв. Характерной особенностью завалишинских стихов о кораблях являются подробные прозаические комментарии о происхождении названий судов, их истории, о легендах, с ними связанных.

При этом бытовые подробности сплетаются с легендами в полном соответствии с провозглашенным автором сборника принципом: «Мы пьем за романтику в нашем быту!»

Образ моря повлек за собой и романтизацию портовых таверн и их обитателей – босяков и пропойц. «С вами я не совсем одинок», – воскликнет поэт в стихотворении 1980 года.

Характеризуя цикл «Орхидея ночи», поэт вновь говорит о том, что его внимание «сосредоточено не на эротике, а на страдании, и на тех песнях, творцы которых хотят исцелить или облегчить человеческое горе». «Нас ненастье не разрушит», – заканчивает он одно из лучших стихотворений цикла «Бывшей натурщице».

Еще одной особенностью поэзии В. Завалишина является его стремление связать стихи с живописью. Еще в юности будущий искусствовед познакомился с творчеством Н.К. Рериха, произведшим на него огромное впечатление. Уже в Америке он вел в Институте

Славяноведения «Курс русской культуры в свете контактов живописи и поэзии», а слова Заболоцкого «Любите живопись, поэты!» не уставал цитировать друзьям и коллегам. В стихотворении, посвященном певице и художнице Тамаре Беринг, есть строки: «Так старайтесь, чтоб стали известней / Песнь и краски для многих людей».

Многие стихи книги не только посвящены тому или иному художнику, но и тесно связаны с картинами этого художника. Не случайно сборник завершается репродукциями картин Сергея Штейнфурда («Шторм»), Сергея Голлербаха («В сухом доке»), Владимира Шаталова («Ничего вокруг») и других художников. О влиянии последней из названных картин на свои стихи Завалишин пишет: «Странное дело, многие из нас были в лагерях для перемещенных лиц, жили в страхе перед насильственной репатриацией в Советский Союз, мечтали о переезде в другие страны, где бы нам позволили вести новую спокойную жизнь. Но почему же наше хождение по беженским мукам не нашло объективного, всестороннего и обобщенного освещения в искусстве? Этот пробел был восполнен Владимиром Шаталовым, в чем большая заслуга художника. Под влиянием этой картины я стал переделывать свою поэму “Летучий Голландец”, надеясь, что и мне удастся обобщить беженский опыт в диких, странных образах».

В авторском послесловии к сборнику «Плеск волны» проводится мысль о единстве всех видов искусств, в том числе поэзии и музыки.

Формальная сторона стихов Вяч. Завалишина достаточно традиционна. В. Синкевич даже пишет, что «с первых страниц сборника заметно, что все писалось наспех, небрежно». Тем не менее, лучшее из представленного в нашей антологии говорит, что Завалишин был талантливым поэтом со своим никому из поэтов послевоенной эмиграции больше не присущим взглядом на мир.

## Сочинения

Андрей Рублев. – Мюнхен, 1946.

Early Soviet Writers. – Н.-Й., 1958 (второе изд. – Фрипорт, 1970).

Центурии (стихотворный перевод на русский язык, предисл. и послесл.) – Адрианополи: Николас Дембре, 1974

Малевич. Мысли о жизни и творчестве. – Н.-Й., 1991.

Плеск волны. – Н.-Й., 1980.

Центурии Нострадамуса / Пер. Вяч. Завалишина. – М.: Раритет, 1991.

## Публикации

- А. Блок и русская революция // *Грани*. 1957. № 36.  
Артем Веселый // *НЖ*. 1938. № 53.  
Б. Пастернак и русская литература // *Грани*. 1960. № 45.  
Борис Зайцев (к восьмидесятилетию) // *НЖ*. 1961. № 63.  
Выставка работ Марка Клионского // *Третья в.* 1979. № 7 / 8.  
Гумилев как прозаик и критик // *НЖ*. 1969. № 94.  
XIX-й съезд партии и «рецидив буржуазного декаданса» в литературе // *НЖ*. 1953. № 33.  
«Дело» Солженицына // *НЖ*. 1971. № 102.  
Есенин и Маяковский // *Лит. совр.* 1951. № 1.  
Заметки о советской литературе // *Возр.* 1951. №№ 14, 17.  
К спору о «Слове» // *Мосты*. 1970. № 15.  
Мир под косым углом // *Лит. совр.* 1951. № 2.  
Москва Вячеслава Калинина // *Третья в.* 1979. № 9.  
Николай Заболоцкий // *НЖ*. 1959. № 58.  
«Он был пророк, но мир его не понял...» // *Грани*. 1948. № 4.  
Повесть о «мертвых домах» и советском крестьянстве // *Грани*. 1963. № 54.  
«По крюкам распевают в моленной...» // *Грани*. 1946. № 2.  
«Разбитый плот колеблется теченьем...» // *Грани*. 1947, № 3.  
Разорвать... плен рутины // *Грани*. 1961. № 49.  
Русский институт голубой лагуны // *Третья в.* 1979. № 7 / 8.  
Серебряный век русской живописи // *НЖ*. 1980. № 138.  
Стихи // *Встречи*. 1980, 1981, 1983, 1989, 1990, 1993, 1994, 1995.  
Траурный марш // *Грани*. 1948. № 4.  
Фантаст, не покидавший родины (Александр Грин) // *Мосты*. 1958. № 1.

## Отзывы о книгах

- А. Алдан. Армия обреченных // *НЖ*. 1969. № 96.  
А. Кторова. Лицо Жар-птицы // *НЖ*. 1970. № 99.  
А. Кторова. Экспонат молчаливый // *НЖ*. 1975. № 119.  
Андрей Седых. Далекие и близкие // *НЖ*. 1962. № 69.  
Анна Ахматова. Сочинения, т. I // *НЖ*. 1966. № 82.  
Б. Пантелеймонов. Последняя книга // *НЖ*. 1953. № 99.  
Б. Турсов. Мастерство Чернышевского-критика // *НЖ*. 1957. № 51. Владимир Жабинский. Просветы // *НЖ*. 1958. № 53.  
Г. Струве. Русская литература при Ленине и Сталине // *НЖ*. 1971. № 104.  
Дело Тулаева. Victor Serge. Der Fall Tulajew // *Лит. совр.* 1951. № 2.  
Дневник Нины Костериной // *НЖ*. 1969. № 97.  
Е. Замятин. Повести и рассказы // *НЖ*. 1963. № 73.  
З. Шаховская. Рассказы, статьи, стихи // *НЖ*. 1979. № 135.  
Ирина Одоевцева. Десять лет // *НЖ*. 1962. № 67.

- К. Аренский. Письма в Холливуд // *НЖ*. 1970. № 99.  
 К. Вагинов. Козлиная песнь // *НЖ*. 1979. № 135.  
 Л. Ржевский. Двое на камне // *НЖ*. 1960. № 62.  
 Л.Т. Осипова. Явное рабство и тайная свобода // *НЖ*. 1961. № 64.  
 Леонид Ржевский. Дина // *НЖ*. 1979. № 137.  
 Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита // *НЖ*. 1968. № 90.  
 Михаил Булгаков. Сборник рассказов // *НЖ*. 1952. № 30.  
 Мосты // *НЖ*. 1960. № 59.  
 Н. Гумилев. Собрание сочинений // *НЖ*. 1967. № 87.  
 Николай Заболоцкий. Стихотворения // *НЖ*. 1966. № 82.  
 О. Йорк. Река времен // *НЖ*. 1969. № 96.  
 Проф. А.А. Гаккель. О православной иконописи // *НЖ*. 1957. № 50.  
 С.И. Гусев-Оренбургский. Глухой приход // *НЖ*. 1953. № 33.  
 Сергей Максимов. Тайга // *НЖ*. 1952. № 30.  
 Татьяна Фесенко. Повесть кривых лет // *НЖ*. 1963. № 74.  
 Юрий Анненков. Дневник моих встреч. 1-й // *НЖ*. 1944. №№ 84, 85.  
 Abraham Yarmolinsky. Literature Under Communism // *НЖ*. 1961. № 64.  
 Camilla Gray. The Great Experiment: Russian Art 1863–1922. – *НЖ*, 1963. № 71.  
 E. Schwarz. The Dragon // *НЖ*. 1964. № 75.  
 The Fatal Eggs and Other Soviet Satire // *НЖ*. 1965. № 79.  
 Lituanus // *НЖ*. 1961. № 66.  
 The Penguin Book of Russian Verse // *НЖ*. 1962. № 68.  
 Rudolph Nureev. Autobiography. – *НЖ*, 1964. № 76.



Что бросил я в обугленной России?  
 Церквушку с разможенной головой?  
 Разбитый танк, как черный лжемессия,  
 Братается с нескошенной травой.

Вот бережок, притравленный морозцем,  
 Баркас, полузатопленный в реке,  
 Осколки стекол из больных оконцев  
 В моей душе останутся навек.

Горючий ветер бьет в луну, как в бубен,  
 Ломая покосившийся плетень.  
 Давным-давно безмолвны стали трубы  
 Печей сожженных русских деревень.

Такую Русь любить не перестану.  
Пожар в душе горит, горит, горит...  
Развалины несу в себе, как рану,  
Которая всю жизнь кровоточит.

*Берлин. Рождество 1944*

## НИКОГО

Пронеслися тучи грозовые  
Над моей безвредной головой;  
Никогда не выйду из игры я.  
Не хочу, как в скит, уйти в покой.

Женщинам больной старик не нужен.  
Никого нет в жизни у меня.  
Ничего! Другим бывает хуже:  
Нет у них душевного огня.

Я один пред стойкою таверны,  
Рано начинаю джин глушить,  
Догораю медленно, но верно  
В этой Мейнской ветровой глуши.

Скучно здесь бартендерше красивой:  
Краболова терпеливо ждет.  
Улыбаясь льстиво и игриво,  
Мне она опять стакан нальет.

Жизнь моя хромая и кривая,  
Вечно неудачами слепа...  
Валится в таверну разбитная,  
Шумная, веселая толпа.

Посижу с полчаса со всеми,  
Выпью и тихонечко уйду.  
Принимай безжалостное время,  
Словно кляча новую узду.

Я один в дешевой комнатенке  
С полками для устарелых книг.  
Банку с недоеденной тушенкой  
Нехотя берет смешной старик.

Скоро в нем волнение забродит,  
Благостен несбывшегося звон.  
Знает он, что эта песнь не в моде,  
Заводя старинный граммофон.

Песни закружились ярким роем!  
Здравствуй, благотворная краса!  
Пусть в Грейт Ок приходят китобои  
И Уинсли видит паруса.

На мгновенье старость исчезает,  
Кажется, и сам я запою.  
Песнь теперь, как духа, вызывает  
Молодость истлевшую мою.

Ветром освеженная погода  
Мне пока сдаваться не велит.  
Понеслись в мои былые годы  
Песен звуковые корабли.

Только и остались на картинке  
Прежние гомеровы края.  
Станет расколовшейся пластинкой  
Жизнь иллюзорная моя.

Что ж, старик потешился и хватит.  
Снова в многолюдный пар спешит!  
Ветер за окошком листья катит,  
Ты со всеми без своей души

В жизнь неудачную вмурован,  
Одинок у ближних берегов.

В уголь превратится даже слово,  
Если нет с тобою никого.

*1977 г., Грейт Ок, Штат Мейн.  
Мемориальный дом-музей Уинсли Гомера,  
классика американской романтической  
живописи*

## **С ВЫСОТЫ В НИЧТО**

*Памяти Бориса Арцыбашева*

Синеет в небе дирижабль,  
На пляже зонтики дрожат,  
Автомобили, точно жабы,  
На загорающих глядят.

Что ж! Подставляйте солнцу спины  
Среди сияющих песков.  
Наш дирижабль летит дельфином  
Над зеленеющим леском.

На самолет мы не в обиде  
Раз он мелькнул, как метеор.  
Нам с высоты небесной виден  
Незабываемый простор.

Пускай с почетом нас встречают  
Великолепные суда.  
Мне ничего не обещает  
Полет в ничто и в никуда.

Года проносятся кометой  
Без поражений и побед,  
Как будто странной жизни этой  
На свете не было и нет.

\* \* \*

*Сергею Голлербаху*

Залит солнцем был пляж многолюдный.  
Чистый воздух – отрада для нас!  
Здесь шарманку с затопшего судна  
Продавал молодой водолаз.  
Пусть шарманки давно не вращают:  
Звуки радио заняли мир,  
Но охотно её покупают,  
Как антик для приморских квартир.  
Кто он был, безызвестный шарманщик,  
Живший больше столетья назад?  
Дряхлый боцман, босяк, неудачник,  
Что судьбе одинокой не рад?  
Представляю пропойцу матроса  
С попугаем на тощем плече.  
Вкруг блестят огоньком папиросы,  
Точно сияется море зажечь.  
Пусть такой не в почете у власти,  
Он любимец лихих потаскух.  
Попугай обещает всем счастье  
И скабрезно ругается вслух.  
И в обмен за такое уменье  
В шапку падает струйка монет.  
Пусть корабль приходит в движенье,  
Раз достаточно средств на билет.  
Но корабль в ураган попадает  
И шарманщик уходит ко дну.  
Попугай без него заскучает, –  
Попугай не успел утонуть.  
Залит солнцем был пляж многолюдный,  
Чистый воздух – отрада для нас.  
Что еще с затонувшего судна  
Принесет молодой водолаз?  
Из штурвалов готовятся люстры,  
Фонари – из надтреснутых мачт.

Антиквар, и дотошный и шустрый,  
Мастерит сувениры для дач.  
Что ж, и к этому надо привыкнуть,  
Раз на память для будущих лет  
Сохраняют обломки реликвий,  
Как забытого бедствия след

## ПЛАЧ ЛЕДИ ФРАНКЛИН

*Памяти художника  
Сергея Швейнфурта*

В мае 1845-го года сэр Джон Франклин организовал морскую экспедицию для исследования Арктики. Отплыли на двух кораблях с командой из 129 матросов и с запасом провизии на 3 года. После стоянки в Баффинской бухте экспедиция исчезла без следа. За сведения о пропавших была гарантирована награда в 10.000 фунтов стерлингов. На поиски сэра Франклина и его людей были посланы две экспедиции: одна из Англии, другая из Соединенных Штатов.

С 1848 по 1854 года было предпринято 15 попыток обнаружить экспедицию. Наконец в шестнадцатый раз группа, снаряжённая лэди Франклин, нашла скелеты и обледенелую одежду погибших.

Баллада «Плач лэди Франклин» реставрирована Вокальным квартетом морского музея в Нью Йорке.

Сто тридцать матросов на двух кораблях,  
застигла в пути ледяная петля.  
Куда же, куда занесло корабли,  
какой лорд Франклин достиг земли?

У эскимоса челнок из тюленьих шкур,  
эскимосу неведомы жертвы бурь.  
Быть может, несчастных всё же найдут,  
когда они шлюпки тянут по льду.

Баффинекая бухта хмуро молчит,  
Хотя лорд Франклин ей не забывает.

Никто их не видел, никто не нашёл  
и тысячи фунтов чорт в море смёл.

Поиски длятся в шестнадцатый раз,  
скелеты метельный дополняют сказ.  
Нашла лэди Франклин журнал судовой,  
где муж её рос под судьбой горевой.

Долбит замёрзшую землю лом,  
могильный крест взмятён надо льдом!  
Не плачь, лэди Франклин, скелет схоронив,  
Ведь мёртвые видят любовь живых!

*Вольный перевод с английского.*

The original English text is taken from the programs of the vocal quartet of the Historical Navy Society. I have translated from English about one hundred popular navy songs and ballads. In the «Splash of the Wave» I am publishing only «The Weeping of Lady Franklin».

\* \* \*

*Бывшей натурщице, ставшей  
художницей (в надежде, что  
она не обидится)*

Ты сильна экзотикой незвонкой,  
На твоих картинах счастья нет:  
Ишут обнаженные японки  
Жемчуга на океанском дне.  
Вот чего добиться захотела,  
С болью покидая отчий дом:  
Вместо упоения голым телом  
Вижу восхищение трудом.  
Гордость есть в работницах умелых  
При ножах, свисающих с бедра,  
От акулы укрывайся смело:

Лучше уж погибнет лютый враг!  
Нет, такое некому придумать:  
Это можно только пережить.  
Раковины на берег угрюмый  
Брошены, чтоб пепельницей быть.  
Вы, японцы, тела не стыдитесь:  
Вам привычна ваша нагота.  
Водоросли в глубине, глядите:  
Вот какой должна быть красота!  
Грязь и похоть модненьких журналов  
Ты смела уверенной рукой.  
Где ж ты анатомию познала,  
Сексу объявляя жаркий бой?  
Жизнь твою невзгодой не разбило,  
Живопись тебя к себе звала.  
Знаю, что нигде ты не училась  
И сама натурщицей была.  
Ты на пляже нежилась в бикини,  
Поражая совершенством форм,  
Твой художник пред волною синей  
Разливал по кружкам крепкий ром.  
Сбросив всё, ты перед ним купалась,  
Не боясь компании его,  
Ты горячкой красок любовалась,  
Не любя из всех нас никого.  
И тебя не радовали танцы  
В обществе малюющих ребят.  
Ты была женой американца,  
Что так подло вышвырнул тебя.  
Отовсюду фотоаппараты,  
Словно псы, гонялись за тобой.  
Самому не верилось когда-то,  
Что ты не сробеешь пред судьбой!  
Одинокой в дом ты воротилась,  
Но отец сказал тебе: «Уйди!  
Для своей страны ты не сгодилась  
И за стол с семьею не садись!».  
Нет, не мы себя под корень рубим,

Мы не хуже остальных людей.  
Оба отчий дом мы страстно любим,  
Хоть чужие родине своей.  
Кто в твоих скитаниях повинен?  
Кто меня способен обвинять?  
Хоть у нас и разные причины  
Земли наших предков покидать.  
Только нас ненастье не разрушит  
И не бросит в нищету и дрожь,  
Хоть на наши сморщенные души  
Седенький накрапывает дождь.

# ИВАСК

(Джордж Иваск, англ. George Ivask)

## Юрий Павлович

*(1907 (1910?) – 1987) – русский поэт,  
литературный критик,  
литературовед.*



Родился в купеческой семье. Отец – Павел (Пауль) Георгиевич – эстонец, ассимилировавшийся в Москве, мать – русская (урожд. Фролова дочь московского ювелира из именитого купечества Живаго). Прадед Семен Живаго был художником-портретистом и, по словам Иваска, «возвышался на самом верху семейного Олимпа». Однако имя Юрий мальчику дали в честь деда. Свои впечатления от детства писатель вложил в «Повесть о стихах»

В 1920 году семья переехала в Эстонию, где будущий писатель закончил школу и юридический факультет Тартусского университета (1932).

Интересовался жизнью в СССР, исповедовал просоветские убеждения, состоял в нелегальном кружке по изучению СССР и даже выражал желание переехать в СССР, за что подвергся непродолжительному аресту и высылке из Таллина. Это обстоятельство и слабое знание эстонского языка плохо отразились на его службе в податной инспекции в Печорах.

В 1943 году он, несмотря на пацифистские настроения, был сильно мобилизован в эстонские войска СС, расположенные в Померании, и был пленен англичанами, быстро выяснившими, что Иваск на фронте против союзников не воевал и ни в каких карательных операциях не участвовал. Так Иваск оказался в лагерях Ди-Пи, где работал помощником санитары.

В 1946–1949 годах изучал философию и славистику в Гамбургском университете.

В 1949 эмигрировал в США, где защитил в Гарварде диссертацию «Вяземский как литературный критик» (1954). До пенсии (1977) преподавал в университетах Канзаса, Индианы и Вашингтона, заве-

довал кафедрой русской литературы Университета в Амхёрсте (штат Массачусетс).

Научные интересы Иваска лежали в сфере русской философии. Своим учителем считал Георгия Петровича Федотова, теория которого об антиномиях как сущности мира и апология культуры оказала влияние и на его художественное творчество. Иваск подготовил к публикации сборник статей Г.П. Федорова «Новый град» (Н-Й., 1952), «Избранное» В.В. Розанова (Н-Й., 1956), написал блестящую монографию «Константин Леонтьев: Жизнь и творчество» – 1974.).

Всю жизнь Иваск считал себя русским поэтом. Не родина, а язык – главное в жизни, утверждал он в одном из стихотворений. «Я навсегда остался без русского пространства под ногами, но моей почвой стал русский язык, и моя душа сделана из русского языка, русской культуры и русского православия», – утверждал он в своем «Последнем слове» незадолго до смерти (опубликовано посмертно).

Неизвестно, писал ли стихи Иваск, находясь в Германии, но, несомненно, что мрачные годы беженства наложили на его поэзию неизгладимый отпечаток по принципу от обратного: вместо характерного для большинства послевоенных поэтов эмиграции пессимистического настроения уже первая книга стихов Ю. Иваска называется «Хвала» и воссоздает земной рай, хвалу Творцу.

Это не значит, что поэт не видит драматических начал жизни, но он занимается Рае-творчеством. В стихотворении «Мандельштам» Иваск утверждает, что и в жестокий век ласточка (любимый образ Мандельштама) влетает в окно, и даже в Сибири, этом символе каторги и ссылки, «медовой, матовой рекой струится / Пчелино-солнечное волшебство». Поэт находит «голубой и синий рай / Уже за частоколом, за околицей» («Сан Анхель»). Даже на кладбище у него «победу торжествует лазоревое небо», а не пасть могилы («Таско»). «Звезды и бездны – небытие», – полемически утверждает Иваск и продолжает «будьте приветливы, здравы и праздны, / Дурочку жизнь, полюбите ее!» («Братья, скрывайте сущую правду...»). Ангелы в стихах сборника «шуршат цветами», «шалют», «приплясывают» («Тонанцинтла»), словом ведут себе вполне по-земному. Даже Хлестаков – «рококо», «из Петербурга милый Лель» («Хлестаков»).

Вполне романтично звучат и названия стихотворений сборника: «Акрополь», «Салоники», «Венеция», «Фиозоле», «Равенна», «Асси-зи», «Керетаро», «Ушмал», «Оахака», «Чулула».

Интерес к высокому в сочетании с бытовым проявился в названии сборника «Я – мещанин». Тема Бытия соединяется, как это делали его любимый Г. Державин и В. Розанов, с бытом, высокая лексика с низкой, с просторечием («остолоп», «отхаркиваю», «шваль», «стоеросовая дура»). «Ничто мне бытие без быта», – декларирует Ю. Иваск в стихотворении «Исходя из Розанова». Критики считают, что свою роль в таком отображении действительности сыграли английская метафизическая поэзия 17 в. (Дж. Герберт и Дж. Донн) и религия ацтеков (поэт 7 раз посетил Мексику). «Мучительно-значительно равны / Базилики, базары и трущоба – / Все осязаемости, а не сны» («Римские строфы» II). Равновелики и равноценны для поэта «немые угольные руки» на рынке и мраморные руки великих творений. «Обывательщину не отдам даже <...> за блаженство-благоденство *там*» («Европейская площадь в Париже»). Эту контрастность заостренность Иваск называл принципом барокко. Душа в стихах Ю. Иваска то называется сердитой «убогой старушкой», то скотинушкой (без всякой доли осуждения, как синоним живости). Одноименные стихотворения посвящены редиске и борщу. В одной строфе встречаются «обезьяны, карлы, замки, море, воины, Урсула, корабли»; «вазы, голубочки, псы»; «парки, пифии, гетеры музыки» и «куклы, тряпки» («Витторе Карпачьо»). Мысль о теодицее (наличии зла) в Божьем мире воплощается в образе «перлы и плевки». В цикле, посвященном художникам прошлого, автор стихов видит в первую очередь приметы обычной жизни, что не мешает тут же вспоминать имена святых. Но это единство и позволяет поэту утверждать, что «В раю мы будем дома» («Римские строфы» IV). Философским итогом сборника звучит стихотворение «Памятник», еще одно в длинном ряду одноименных произведений русской и мировой поэзии:

Одаряю рай не цветами радуги:  
Виноградной волной утлой Венеции,  
Солнцем-яишницей грузной Фландрии,  
Розами, дымами тощей Испании.  
Следуя Данту, Донну, Державину,  
Человек я, с горя резво играющий,  
Северный; розгой, крапивой венчаемый;  
Славлю речью, родной, Мастера Господа.

«Резвая игра» словами, метафорами, литературными аллюзиями (часто разъяснёнными автором в примечаниях), звуками и рифмами, наличие сюрреалистических образов впервые проявились в «Золушке» (1970) и получили предельное выражение в поэме «Играющий человек» (1973). Название поэмы взято из книги голландского культуролога Йохана Хейзинга «Homo Ludens». Свою поэму Иваск определил как «гимн благодарения». «В нем, – пишет американская исследовательница Т. Пахмусс, – сочетаются не сразу поддающиеся расшифровке философские и литературные намеки, цепь разнородных ассоциаций и образов и “звуковые” сцепления. <...> В основу текста заложены две темы – тема Играющего человека, живущего вне времени в пространстве, и тема рая, существующего одновременно на земле и в небесах. <...> «Homo Ludens» – это также поэма о литературе». Автор то обращается к воспоминаниям своей жизни, то дает свои комментарии, то адресует стихи различным поэтам, с которыми он был знаком лично или по стихам (Вяч. Иванову, Г. Адамовичу, В. Перелешину, И. Бродскому, Д. Бобышеву) или упоминает их (Н. Моршена и В. Маркова). Вся эта сложная система, построенная по принципу свободного монтажа, должна, по мнению автора, помочь ему самому и читателю обрести рай.

Прозаическая «Повесть о стихах» Ю. Иваска явно перекликается с «Доктором Живаго» и «Охранной грамотой» Б.Л. Пастернака. Еще в 1930 году Иваск писал «О Пастернаке»: «среда, вырастившая его, – интеллигентская, московская». Интеллигентская среда – и в центре книги Иваска. Значительный интерес представляют путевые (с элементами философских) наблюдения писателя в книге «Завоевание Мексики». Иваску принадлежит множество статей и рецензий о русских писателях и их книгах, в том числе Баратынском, Батюшкове, Достоевском, Клюеве, Гумилеве и обоих Ивановых, Пастернаке, Цветаевой и Маяковском, Набокове.

Иваск похоронен на городском кладбище Амхерста (штат Массачусетс). Его архив хранится в библиотеке Йельского университета (США).

## Сочинения

Царская осень. – Париж, 1953

Хвала. – Вашингтон, 1967

Золушка. – Н.-Й., 1970

Константин Леонтьев (1831–1891): Жизнь и творчество. – Берн; Frankfurt / М., 1974

Завоевание Мексики. – Холиоок, 1984

Я – мещанин. – Холиоок, 1986

Повесть о стихах. – Н.-Й., 1987

Играющий человек. – Париж; Нью-Йорк, 1988

**Похвала российской поэзии** / Предисл. Д. Бобышева. – Таллин, 2002.

## Публикации

Апология пессимизма. – Нов. град, 1939. № 14.

Архимандрит-классик // *Совр.* 1965. № 11.

Афины и Дельфы // *Совр.* 1965. № 11.

Афон // *НЖ.* 1963. № 73.

Афонские отшельники // *Совр.* 1964. № 9.

Баратынский // *НЖ.* 1957. № 50.

Баратынский. – *Совр. зап.*, 1934. № 56.

Батюшков // *НЖ.* 1956. № 46.

Бах // *НЖ.* 1969. № 96.

«Бесприданница» // *НЖ.* 1968. № 92.

Бодлер и Достоевский // *НЖ.* 1960. № 60.

Борис и Глеб. – *Вестник*, 1958. № 49.

Бунин // *НЖ.* 1970. № 99.

В.В. Вейдле // *НЖ.* 1979. № 136.

В.В. Набоков // *НЖ.* 1977. № 128.

В.Л. Пастухов // *НЖ.* 1968. № 90.

Венеция Мандельштама и Блока // *НЖ.* 1976. № 122.

Вдвоем с котом // *Совр.* 1976. № 30 / 31.

Византия // *НЖ.* 1976. № 125.

Возможность поэзии // *Возд. пути*, 1960. № 1.

Волшебные звуки // *НЖ.* 1964. № 75.

Воронежский Мандельштам // *НЖ.* 1978. № 132.

Воскресение в Рутланде // *НЖ.* 1967. № 89.

Вторая ночь // *Совр.* 1964. № 10.

Г.В. Адамович // *НЖ.* 1972. № 106.

Георгий Иванов // *НЖ.* 1970. № 100.

Георгий Петрович Федотов (1886–1951) // *Опыты.* 1956. № 7.

Гости // *НЖ.* 1968. № 92.

Доверие к свету. (О Пушкине) // *Лит. совр.* 1954.

Дон Кихот // *НЖ.* 1980. № 139.

Е.Э. Малер // *НЖ.* 1971. № 102.

Евангельский реализм. – *Вестник*, 1972. № 106.

Екшины // *Возр.* 1950. № 11.

- Ефиоп Иванович // *Мосты*. 1965. № 11.  
Заметки писателя // *Опыты*. 1956. № 6.  
Замок ангела // *Возр*. 1971. № 228.  
Записки читателя // *Опыты*. 1955. № 4.  
Заумь // *НЖ*. 1970. № 100.  
Заход // Ковчег, сб. 1942.  
Золушка // *НЖ*. 1971. № 102.  
Играющий человек // *Возр*. 1973. №№ 240–242.  
Из цикла Царская Осень // *Возр*. 1950. № 12.  
Испанская лестница // *Возр*. 1971. № 228.  
Исповедь горячего сердца // *НЖ*. 1973. № 111.  
Клюев // *Опыты*. 1953. № 2.  
Когда же, наконец, истощится терпение // *Вестник*. 1951. № 3.  
Константин Леонтьев // *Возр*. 1961. № 118; 1962. №№ 121, 124–131; 1963. №№ 133–141; 1964. №№ 146–151.  
Литературные заметки // *Мосты*. 1962. № 9; 1966. № 12.  
«M.R.W.H.» // *НЖ*. 1948. № 19.  
Мантуанское утро // *Возр*. 1971. № 234.  
Мексиканский дневник // *Мосты*. 1960. № 4.  
Мельников-Печерский // *Совр*. 1971. № 22 / 23.  
Мимолетности Бориса Филиппова // *Совр*. 1972. № 24.  
Младший брат // *Совр*. зап. 1936. № 60.  
Молчание // *Опыты*. 1953. № 1.  
Н. Гумилев. Г. Иванов // *НЖ*. 1970. № 98.  
Н.Н. Белоцветов // *НЖ*. 1950. № 24.  
«Не моргая в пространство глядит...» // *Числа*. 1934. № 10.  
Новый Иерусалим // *Возр*. 1969. № 213.  
Новый Орлеан // *Совр*. 1970. № 20 / 21.  
О.А. Мочалова // *Нов. жс*. 1978, 131.  
О. Алексей Мечев // *НЖ*. 1971. № 102.  
О послевоенной эмигрантской поэзии // *НЖ*. 1950. № 23.  
О смерти кн. Святополк-Мирского // *НЖ*. 1977. № 127.  
О хлыстах и хлыстовской поэзии // *Возр*. 1970. № 225.  
Памяти Г. Федотова // *Вестник*. 1972. № 103.  
Памяти К.К. Гершельмана // *НЖ*. 1952. № 31.  
Парадоксы звукописи // *Возд. пути*. 1965. № 4.  
Петр и Феврония // *Возр*. 1969. № 213.  
Письмо москвичам (в защиту христианского гуманизма) // *Вестник*. 1979. № 128.  
Письмо о маньеризме // *Мосты*. 1970. № 15.  
Похвала российской поэзии // *Мосты*. 1960. № 5.  
Поэты двадцатого века // *НЖ*. 1968. № 91.  
Пролетарий и машина // *Путь*. 1929. № 17.  
Псков // *НЖ*. 1976. № 125.  
Равенна // *НЖ*. 1966. № 82.  
Рифма (новый сборник стихов) // *Опыты*, 1953 № 1

- Рожество // *НЖ*. 1967. № 89.  
 Розанов и о. Павел Флоренский // *Вестник*. 1956. № 42.  
 Салоники // *НЖ*. 1966. № 82.  
 Сапожник // *НЖ*. 1968. № 92.  
 Сапфо // *Совр*. 1970. № 20 / 21.  
 Скунс // *Совр*. 1976. № 30 / 31.  
 Случевский // *НЖ*. 1965. № 79.  
 Стихи // *Мосты*. 1961. № 7; 1966. № 12.  
 Стихи // *НЖ*. 1971. № 105; 1972. № 108; 1973. № 112; 1974. № 115; 1975. №№ 118, 120; 1976. №№ 126, 128, 129, 136.  
 Стихи // *Встречи*. 1979, 1984, 1996.  
 Стихи Живаго-Пастернака // *Опыты*. 1958. № 9.  
 Стихотворение // *Опыты*. 1953. № 1.  
 Упоение Достоевского // *НЖ*. 1972. № 107.  
 «Утро воскресенья...» // *Числа*. 1934. № 10.  
 Феррара // *НЖ*. 1966. № 82.  
 Фет // *НЖ*. 1966. № 84.  
 Философ в дурацком колпаке // *Опыты*. 1957. № 8.  
 Фульда // *НЖ*. 1967. № 89.  
 Футбол // *НЖ*. 1969. № 96.  
 Христианская поэзия Мандельштама // *НЖ*. 1971. № 103.  
 Царская осень // *Грани*. 1959. № 44.  
 Цветаева-Маяковский-Пастернак // *НЖ*. 1969. № 95.  
 Цикл Полдень // *Возр*. 1951. № 17.  
 [О Числах.] // *Числа*. 1934. № 10.  
 Что Леонтьев чтит, ценит, любил // *Вестник*. 1977. № 123.  
 Эмилия Дикинсон // *НЖ*. 1977. № 128.  
 Эпоха Блока и Мандельштама. (О новой русской поэзии) // *Мосты*. 1968. № 13 / 14.  
 Я уеду в Юкатан // *НЖ*. 1959. № 57.  
 Янина // *НЖ*. 1966. № 82.

\* \* \*

Невидимые зитаки,  
 Полуденные, звенят –  
 Твои узнаю я знаки,  
 Звенигород, Звениград!  
 Зеленое, золотое,  
 Земной полуденный рай,  
 Пока не вышел из строя,  
 Позванивая, играй!

**АССИЗИ**

Настеж окна и душу,  
Ранний утренний блеск,  
Улыбаются дышит  
Пробужденный Франциск.

Знаю – уже простились  
Семьдесят семь грехов,  
Выбежал – причастился,  
Арфы колоколов.

Умбрией обернулся,  
Мглою лилейной – мир,  
Розовый развернулся  
Новый ассизский Рим.

Мантией расстилаюсь,  
Брошенной перед ним,  
Под ноги попадаясь,  
Я распеваю гимн.

*Март 1964*

**УШМАЛ**

Лазорево-знойно,  
Оранжево-бабочно,  
Комарино-назойливо  
И змеино-загадочно.

Акации кружев,  
Иголки кактуса,  
Огнеглазые, рыжие  
Ягуары оскалились.

И вдруг, за холмами,  
Из хаоса зарослей,

Пирамиды ли, храмины,  
Геометрия замыслов.

Фантазия зодчих,  
Терпение роботов,  
По карнизам узорчье,  
Ромбы, конусы, хоботы.

И синие тени  
С тройным разветвлением  
Позади пролетевшие  
Крылья грифа-стервятника.

*Осень 1964*

### САН МИГЕЛЬ АИЕНДЕ

*Игорю Чиннову*

Открываю память-шкатулочку:  
А не вспомнить, как называется!  
Подымается в гору улочка  
Мимо старой, забытой звонницы...

Что-то псковское, мило-никчемное,  
Незавидное, незабвенное...  
Желтый домик с синей каемочкой  
И зеленой дверцей –  
забавники!

Дворик внутренний, скрытый – патио –  
Раскрывает свои объятия.  
Закругляются розы алые,  
Плачут, мочатся дети малые.

Я завидую бедной беспечности,  
Незатейливой пестрой экзотике.

Запах розы, мочи и вечности,  
Русь мешается в памяти с Мексикой.

*Февраль 1959. Бари*

*Святой отче Никóлае,  
моли Бога о нас!*

Милое, бестолковое  
Бари, родное Бари,  
Молят: отче Никóлае!  
И в Москве, и в Самаре...

Вы – одетые в тряпки,  
Вы – протянули руки,  
Бабки, даже прабабки  
И озорные внуки.

Душно, едко-чесочно,  
Благословенно южно,  
О Никóлае – срочно,  
То-то и то-то – нужно!

*Январь 1964, Оахака*

## **РЫНОК**

Баба в оранжевой юбке  
На золотом помеле:  
Катимся с ней, душегубкой,  
По небу – навеселе.

Ты обернешься цветочком  
Аленьким – у алтаря,  
Я голубым ангелочком  
Вторю Давиду, паря.

Или – на вкусную падаль  
В розово-белом саду  
Черным исчадием ада  
Я из лазури паду.

Зазеленев попугаем,  
На десяти языках,  
Рынок, вонючий, раем  
Провозглашу впопыхах.

*Октябрь 1963*

### **KLEIN ABER MEIN**

Я сам большой: я мещанин.

*А. Пушкин*

*«Моя родословная» (1830 г.)*

Я собственностью малой обладаю.  
Рябина, вишня, четверня берез.  
Ограда елочная. Хата с краю,  
Где книгами до потолка оброс.

Милы мои осенние Сабины.  
Опоссумы, бурундуки, дрозды.  
Незванный рой: назойливый, осиный.  
Несносные стихи на все лады.

*19 июня 1979*

### **ПСКОВ**

*Николаю Андрееву*

Пятины Новгорода обширней,  
Но каждой пядью дороже Псков,

Где храмы вылеплены просвирней,  
Крутые, крепкие, без углов.

Мережка, нежная, полотенца  
На шее, широкой, хороша.  
Приподымая брови младенца,  
Резвится, радуется душа.

Негромкие звонницы-псалтири  
С пролетами в небо: синь и серь.  
Жили бы да поживали в мире,  
И, не откладывая, теперь.

Сугробы грели вросшие срубы  
Медвежьей ветхой белой дохой.  
Целуйте крест, обмерзшие губы:  
За здоровье – не за упокой.

Изгнанье – счастье: нигде не дома!  
Так отчего же мне снится Псков?  
До башни, названной Кутекрома  
Уже не больше пяти шагов.

*Февраль 1976*

### **ВЕЩИ В УГЛУ**

В разброе углового узкозора  
Даны: коряга, тыква, глина, медь.  
Мое богатство и моя опора:  
Без них я не хотел бы умереть.

Ослиной мертвой головой коряга.  
Айя Софией тыква-голова.  
Личина: глина, черная.  
Отвага Ацтекии мерещится едва<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Маска воина-ацтека из Оахаки.

Из Таско блюдо, медное: пожаром  
Сгорало ярко, холода висок.  
Любые вещи: сушие. Недаром  
Заготавливаются веками впрок.

Нирвану проклиная, не предам я  
Мой бытовой случайный реквизит.  
Дух: обжигающее вещи пламя –  
Их не сожжет – очистит-обновит.

*Ноябрь 1975*

### **РЕДИСКА**

Становится мне близкой  
Не рая – огорода красота,  
Которая невымытой редиской,  
Хвостатой, просится, с утра в уста.

### **БОРЩ**

Крепчайшую эссенцию ища,  
Вещаю-верещу я: присносуща  
Благословенная геенна-гуща,  
Хотя бы украинского борща...

Но пекло, рдяное, мы укрощаем  
Сметаной уплотненных облаков:  
И адом упиваемся, и раем,  
С приправой лавра...  
Смертный: будь здоров.

*1976*

## ИСХОДЯ ИЗ ДЕРЖАВИНА

В гербе твоём обжорливый Державин:  
 Зубаста щука с голубым пером<sup>2</sup>.  
 А сам он косолапо своенравен:  
 В засаленном халате Яркий Гром.

Я преклонил колено в Новѣ-градѣ<sup>3</sup>  
 У урны розомамурной его.  
 Что звезды? Не нуждаются в награде  
 На Парнасе – превосходительствó<sup>4</sup>.  
 Желая разумеется свободы,  
 Но избытка более всего.  
 Грибу и огурцу слагайте оды<sup>5</sup>,  
 Расставьте восклицательные «о!».

Благоуханная в разрезе дыня.  
 Похрустывай, целебная морковь.  
 Харчи – не первая ли благостыня.  
 Все яства собрала моя любовь.

Мессия: тьфу! Желанная Россия,  
 Где все, без исключенья, кулаки<sup>6</sup>.  
 Хозяйка Марфа. В уголку Мария.  
 Прекрасны ангелы. Милей сверчки.

А внутренний мой обыватель брякнет:  
 Хочу Америку в Чите, Орле.  
 Сули блаженство брюху, супер-маркет...  
 Без водки граждане навеселе.

<sup>2</sup> Из *Жизни Званской* Гаврилы Державина.

<sup>3</sup> Понимать буквально. 5 июля 1983 г. я трижды преклонил одно колено перед гробницей Державина в Новгороде.

<sup>4</sup> Ломаю русский язык в стиле Державина – переставляю ударения.

<sup>5</sup> Ещё Тургенев собирал *грибы*.

<sup>6</sup> Мудрое пожелание Наума Коржавина

Рыгай, Россия! Ведаю (вестимо!) –  
На волю вышнюю прорвется дух  
Постом, из кожи – псалмами во Имя...  
Взнесется ввысь... и в черноземы бух!

*Май 1984*

## **ОСЬМНАДЦАТЫЙ ВЕК**

Вольтеровские кресла. Зла слеза  
Из левого ослабнувшего века.  
И вдруг из памяти поет, из-за –  
Сигнальный горн Осьмнадцатого века.

Великия жены прошли полки...  
Охриплый серебро-розовый Державин.  
Срываю голос, оду изреки.  
Сугробы. Солнце. Медное: Коль славен...

*19 июня 1978*

# Ильинский

## Олег Павлович

(1932–2003) – поэт, критик, прозаик.



Родился в семье искусствоведов (отец – П. Д. Пономарёв, сменивший в эмиграции фамилию на Ильинский, был специалистом по эпохе Возрождения, мать – по древнерусской иконописи). С 1944 жил с родителями в Германии. Окончил Мюнхенскую гимназию.

Война вошла в его стихи лишь в виде детских воспоминаний: сирен, заставляющих захлопнуть книгу, звона выбитого во время налета стекла, заложенных фанерой разбитых окон («Так было»).

Тема войны будет время от времени возникать и в позднем творчестве О. Ильинского («Наши камни»), но основное внимание поэта, слушавшего лекции Ф. Степуна в Мюнхенском университете, получившего степень магистра философии в Нью-Йоркском, и защитившим докторскую диссертацию о романтизме В. Одоевского, привлекают образы идеального, гармоничного мира. Ему хочется увидеть, как в бинокль, что «в каждой ветке – душа, / в каждом хрусте и в каждом суставе / Открывается глазу / Работа осеннего дня» («Осень через бинокль»).

В каждой из семи книг О. Ильинского (все они названы просто: «Стихи» и далее – порядковый номер книги) множество тончайших наблюдений, ярко найденных подробностей: «от тополя пахнет настоящей»; «закат березы ослеплял»; «звезды как многоточия»; «ветер – морской авиатор», «зрачок чердачного окна»; «а дождь был тяжелей свинца»; «крылатый дуб, соперник черных гроз»; «здесь камень говорит и речка куролесит / туман свивается и сумерки живут». Особенно интересны и ярки цветовые образы поэта: «лиловая гора / С грозой на отлогом плече», «лиловый цветок на уступе» водопада; «брюхо воды голубое распорото зубом скалы».

«Я пишу золотистый день, / Когда листва палитры пестрее / Да светлые капли летних дождей / На стеклах Фриковской галереи», – подчеркивает Ильинский свою привязанность к живописи.

Впрочем, с неменьшим восхищением и зоркостью описывает он архитектуру Нью-Йорка, Рима, Германии, Бельгии, Эллады, Мавританской Испании, Дамаска. Пожалуй, это один из самых путешествующих и романтически настроенных поэтов второй волны эмиграции. Во многих его стихах присутствуют Дриада, Харита, Мнемозина, Эней, а одним из наиболее часто употребляемых слов является «миф» и его производные («мифология», «мифологический»). Порой даже создается впечатление излишней литературности стихов О. Ильинского, идущей от философского образования поэта.

Впрочем в лучших стихах «Еще вчера», «Листва», «Ракурс», «На краю света», «Ушло», «Две крайности», «Домой», «У цели» и других, вошедших в седьмую книгу стихов О. Ильинского, философская насыщенность далека от рационализма. Конкретные наблюдения перерастают в обобщающие глубокие образы: «книга – чей-то кусок одиночества»; «война лежала блекнувшей страницей», «жизнь во мне выгорает, как старая киноплёнка»; «время как-то стоит на месте в позе неустойчивого равновесия». Размышления поэта о жизни и смерти порой достигают предельного трагизма: «Сегодня звуки и краски – меркнут, / В нестойком теле, в хрупком сосуде – / Еще вчера было бессмертие, / А завтра смерть обязательно будет» («Еще вчера»). Или:

Смерть во мне завелась, пепельный ноль боли,  
Серая муть мерзости, бесцветный двойник бытия,  
Я живу от лица ее своеволия,  
Дышу ее горизонтом и тычусь в ее края.

.....  
Смерть – трусость старика, бденье его бессонниц,  
Она его тащит в яму, старый труп волоча.  
(«Смерть»)

И всё же большинству стихов последней книги О. Ильинского присущ тот оттенок философского стоицизма, который был всегда характерен русской поэзии («Философ-схоласт, силлогизмы оставь...», «И снова мир глуши древесной...»).

Последний смысл? Какого нужно смысла,  
 Вернись сейчас на старые места –  
 Весна – нова, и готика – тениста  
 И даже жизнь – стремительно проста.  
 День – свеж и вездесущий мир – кристален,  
 И светит речка, радуясь веслу,  
 А ролики в готическом квартале  
 Серебряными кажутся на слух.  
 Две башни, загремев, переглянулись,  
 И два стрижа черкнули по глазам.  
 Последний смысл? Но перекресток улиц  
 Тебе мгновенно чудо показал.  
 (*«На старые места»*)

Веру в жизнь поэту-романтику внушает искусство, литература:

Погасим телефон, компьютер отлучим,  
 И примем перед сном глоток старинной прозы.  
 (*«Бегство»*)

В стихах О. Ильинского много прямых ссылок и еще больше реминисценций с русской и европейской поэзией. И трудно согласиться с поэтом, когда он в предисловии к одной из своих книг называет себя славянофилом.

Как видно из приведенных примеров, ритмика О. Ильинского в основном традиционна.

Но порой романтическая возвышенность и серьезность начинают приедаться О. Ильинскому. Еще в 1965 году молодой Ильинский написал свою «Дань классицизму», где по собственному признанию, «наплел я слов пустых – / Хотелось подразнить александрийский стих». В седьмой книге поэт создает шуточные стихи, пародируя классику, демонстрируя изощренную графику и блестящее владение рифмой («Ласточка», «Растворен», «Жизнь», «Тема для баллады» и другие).

Далеко не все созданное О. Ильинским войдет в сокровищницу поэзии русского зарубежья, но многое.

Проза О. Ильинского (в первую очередь, вошедший в 7-ю книгу «Периметр памяти») носит в основном автобиографический характер и представляет собой живые воспоминания в соединении с философскими рассуждениями автора.

## Сочинения

- Стихи. – Frankfurt / M., 1960  
Стихи. Книга вторая. – München, 1962  
Стихи, книга третья. – München, 1966  
Стихи. Книга четвёртая. – Madrid, 1976  
Стихи. Книга пятая. – New York, 1981  
Стихи. 1981–1996. – Philadelphia, 1981  
Стихи. Книга Седьмая. Проза. – Philadelphia, 2002.

## Публикации

- «А я разбирал декабристский архив...» // *НЖ*. 1969. № 96.  
Анакреонтический мотив // *НЖ*. 1958. № 52.  
Балерина // *Лит. совр.* 1954.  
Белка // *НЖ*. 1952. № 30.  
«Бродит луна в готических крышах...» // *НЖ*. 1959. № 57.  
В библиотеке // *НЖ*. 1957. № 50.  
В поездке по Италии // *НЖ*. 1957. № 51.  
«В распутицу опаздывают письма...» // *НЖ*. 1958. № 52.  
Весна // *Возр.* 1952. № 20.  
Вильямсбург // *НЖ*. 1966. № 83.  
Вирджиния // *НЖ*. 1969. № 94.  
Взлет; Звезды; Бросок // *НЖ*. 1999. № 216.  
«Вминаются ноги в мокрую глину...» // *НЖ*. 1952. № 30.  
Встреча // *Возр.* 1950. № 7.  
Голуби // *НЖ*. 1956. № 45.  
Два сонета // *Лит. совр.* 1952. № 3.  
Деревенский концерт // *НЖ*. 1968. № 92.  
Дождь // *Возр.* 1953. № 27.  
Дом // *НЖ*. 1968. № 92.  
«И сельский Гораций, и хитрый Монтень...» // *НЖ*. 1969. № 96.  
Из поэзии Болеслава Колосовского // *НЖ*. 1956. № 47.  
Канун Рождества // *НЖ*. 1958. № 53.  
Космос // *НЖ*. 1960. № 60.  
«Куда девать мою память...» // *НЖ*. 1969. № 94.  
«Лесную лужу тронутую ветром...» // *НЖ*. 1958. № 53.  
Май сорок пятого // *НЖ*. 1956. № 47.  
Март // *НЖ*. 1952. № 28.  
Мгновение; Луч; Ни завтра, ни вчера; Марина // *НЖ*. 1998. № 211.  
Микельанжело // *НЖ*. 1957. № 51.  
«Мне нынче скромный ужин послан...» // *НЖ*. 1952. № 28.  
Моя версия // *НЖ*. 1960. № 60.  
На пароходе // *НЖ*. 1956. № 47.  
На пятом авеню // *НЖ*. 1960. № 60.

- На сеновале // *НЖ*. 1958. № 53.  
 Ника Самофракийская // *НЖ*. 1959. № 57.  
 Неудачные обобщения // *НЖ*. 1975. № 118.  
 О поэме А. Белого «Первое свидание» // *НЖ*. 1968. № 90.  
 «Она была по хрупкости фигуры...» // *НЖ*. 1956. № 47.  
 Осень // *Возр.* 1951. № 17.  
 Осень через бинокль // *НЖ*. 1956. № 45.  
 Память // *НЖ*. 1957. № 48.  
 Письмо из Равенны // *НЖ*. 1958. № 54.  
 Под конец; Снег; Лунный свет; Призрак; Рассвет // *НЖ*. 1999. № 214.  
 Подмосковье // *НЖ*. 1970. № 100.  
 Пригород // *НЖ*. 1970. № 100.  
 «Проходишь топким берегом реки...» // *НЖ*. 1956. № 45.  
 Пять стихотворений // *НЖ*. 1961. № 64.  
 Пять стихотворений // *НЖ*. 1962. № 70.  
 Рядом с фронтом // *Грани*. 1951. № 12.  
 «Своей единственностью наделила...» // *НЖ*. 1957. № 48.  
 Секретарша // *Лит. совр.* 1952. № 3.  
 Старость // *НЖ*. 1958. № 53.  
 Стихи // *Грани*. 1950. № 10; 1952. № 15; 1953. № 19; 1955. № 25; 1957. № 33; 1958. № 37; 1959 № 44.  
 Стихи // *Мосты*. 1959. № 2; 1960. № 4; 1962. № 9; 1965. № 11.  
 Стихи // *НЖ*. 1963. № 74; 1965. № 79; 1967. № 88; 1970. № 99; 1971. №№ 103, 104; 1972. №№ 107–109; 1973. № 112; 1974. №№ 115, 117; 1975, 118, 119; 1976. №№ 123, 124; 1977. № 126.  
 Стихи // *Встречи*. 1977, 1982, 1984, 1986–1998, 2000–2006.  
 Стихи, посвященные Гете // *НЖ*. 1960. № 60.  
 Студентка // *НЖ*. 1956. № 47.  
 Счастье // *Возр.* 1951. № 18.  
 Три стихотворения // *Мосты*, 1958. № 1.  
 Утро // *Лит. совр.* 1951. № 1.  
 Ученый // *НЖ*. 1957. № 48.  
 Февраль // *Возр.* 1951. № 15.  
 Шесть стихотворений // *НЖ*. 1961. № 66.  
 «Это сражается Будапешт...» // *НЖ*. 1957. № 48.



## ТАК БЫЛО

В который раз сегодня, как вчера,  
 Предсказывая будничную гибель,  
 Сирены обрывали вечера,  
 На запятой захлопывали книги.

Звенели ночи выбитым стеклом,  
Дверные створки обрывались с петель,  
И, зазвенев по воздуху крылом,  
В больничный корпус пикировщик метил.

В который раз сегодня, как вчера,  
Врывался в окна крепкий запах гари,  
Блуждали в облаках прожектора  
И воду подавали на пожаре.

Шатался от разрывов потолок,  
Зенитки в небо лаяли металлом,  
И в погребе, забившись в уголок,  
Мы кутались в сырые одеяла.

Потом, вернувшись в выстуженный дом,  
Фанерой окна заложив снаружи,  
Таскали ведра с выбитым стеклом  
И наспех грели слишком поздний ужин.

## **НЕРАВЕНСТВО**

Я осторожно замыкал в стихи  
Вечернюю улыбку римских арок,  
Я был захвачен гибкостью строки,  
А он – знаток автомобильных марок.  
Я в мир смотрел, как зритель из окна,  
Я пропадал в картинных галереях,  
Я был куском цветного полотна,  
А он – пилот, летавший над Кореей.  
И завтра я как должное приму,  
Признаю за естественный порядок,  
Что жизнь дана в наследие – ему,  
А мне – осколок радуги в подарок.

**ГОТИКА**

Так тени движутся, так оплывают зори,  
Так дремлет музыка, так плавится свеча,  
Так длятся статуи в готическом соборе  
В косой стреле вечернего луча.  
В ритмический узор, нетронутый веками,  
Блаженно строятся скульптурные ряды.  
Так вечность светится на побледневшем камне  
В прохладной лужице святой воды.

**ОЗЕРО**

Отраженья веток и коряг.  
Верх деревьев золотисто-розов,  
И озерная проходит рябь  
По хрустальному лицу березы.  
В камышах лесной закат разлит,  
Винный отблеск солнечного сплава,  
И лесное озеро стоит,  
Как Офелия, в слезах и травах.

**3. ВОЛКОНСКАЯ**

Венценосца улыбкой дарила,  
Отвечала на шутку посла,  
Беззаботно от Вены до Рима  
По Европе в мазурке прошла.  
Вечно в странствии с места на место,  
Целовала аббату кольцо,  
Пела мессу, страницу Де Местра,  
Как вуаль, опустив на лицо.

**ИНГЕ СВЕНСОН**

Краска зари и огонь светофора,  
Черные мачты далеких столбов.

Краткой любви телеграфная скорость,  
Плечи и волосы, руки и лоб.  
Ты подошла, опустив подбородок,  
Линию шеи слегка наклона,  
Ты улыбалась, и пела природа  
В розовых рельсах по степи звеня.  
Ты по закату прошла силуэтом,  
Не оглянувшись, прошла на перрон,  
И по ресницам горячее лето  
Чуть повело золотистым пером.  
Рельсы и шпалы гремели: опомнись!  
Дальние горы стояли в глазах,  
А горизонт бесприютно-огромный  
В стеклах качался и выл в тормозах.  
Как ты беспечна. Как вскинута брови,  
Как безотчетно свеченье волос –  
Острой любви телеграфная повесть  
Мечется в гуле чугунных колес.

### УКСУСНЫЙ ФЛАКОН

На приборах были монограммы,  
Дверцы шкафа разлетались врозь,  
Был хрусталь на полках многогранный,  
Чистый, звонкий, ясный, как мороз.  
Были рюмки, кувшины, графины,  
Винные бокалы с холодком,  
Был цветного хрусталя старинный  
Узкогорлый уксусный флакон.  
В памяти поблескивает кротко,  
Проступает в первозданной мгле  
Радуга его граненой пробки  
В переключке с лампой на столе.  
В этом старом уксусном флаконе,  
В капельке прокисшего вина  
Краски я разглядывал, знакомясь  
С миром, окружающим меня.

Был фарфор саксонский – на тарелках  
Золотые бабочки, жучки;  
По краям листва сплеталась крепко,  
Гроздья винограда заключив.  
Открывающаяся реальность  
В чистый мир орнаментов звала –  
Так слагались и определялись  
Чувства, мысли, склонности, слова.  
Целый мир на память сохранило  
Красное прокисшее вино,  
Детский мир, где всё неповторимо,  
Потому что не повторено.

### **ПОДАРИЛ ЧАШКУ**

Войдешь, как лето, легкая, как липа,  
Переступая, подойдешь к столу,  
Навстречу чашка просияет ликом,  
И солнечную переймет стрелу.  
И будет в ветре отворенных окон  
Дымиться кофе. Будут облака  
Скользить по веткам – белые, как хлопок  
И будут влажны лепестки цветка.  
Ты будешь пить, как эльфы в чашах пили  
Как пчелы тянут солнечный раствор,  
Ты будешь пить из бабочкиных крыльев,  
Прозрачно нанесенных на фарфор.

### **ДРУГОЙ НЬЮ-ЙОРК**

Пусть они пишут многоэтажность,  
Перекрестки больших дорог,  
А я пишу Нью-Йорк экипажей,  
Нью-Йорк воздушных шаров.  
Вот он шагает крупным шагом,  
Так, как шагают короли,

Зеленый Нью-Йорк конских каштанов,  
Статуй в тонкой пыли.  
В разрезе прищуренного глаза  
Светотень хороша и легка,  
Флагами веющая Плаза  
Возле каменного виска.  
Голубя серенькое сальто,  
Наскучив верхом, падает вниз,  
А я пишу овес на асфальте  
И солнце пролеточных спиц.  
А я пишу золотистый день,  
Когда листва палитры пестрее,  
Да светлые капли летних дождей  
На стеклах фриковской галереи.

### **ВЕСНА**

Весна,  
собвейный ветер и ездок,  
Скольжение лифтов, лестничные спуски  
И на губах – хрустальный холодок  
Музея Современного Искусства.  
Вот так бы оскультурировать и заснять,  
Заставить жить в стекле четверостишья  
Сережками облепленный асфальт  
И голубей, срывающихся с крыши.  
Пусть теплое дыхание эстакад  
Проносится над зеленью эскизной,  
Пусть сквозь листву заглядывает в сад  
Серебряный висок сюрреализма.

### **СИРЕНЬ**

Лиловый шторм, лиловый дождь сирени  
Обваливался в глиняный кувшин.  
Сирень стояла в кувшине по пояс,

И было так: шли облака, и поезд  
Бежал по рельсам. Паровозный дым  
Казался сизым облаком тугим.  
Он бился вдоль полотен, и вершил  
Свое движенье май неукротимый,  
Железный май сиреновой плотинной,  
Казалось, на заборы нависал.  
Провинция? Поездка? Курск? Вокзал?  
Сиреневая гроздь неустрашима,  
Она плывет, наполнив города,  
Скуластым бликом на лице кувшина,  
Она цветет, бессмертием горда.  
Сирень нова. Цветет без повторений,  
Цепляется за нити проводов,  
И снова так: весна, аврал сирени,  
Овраг сирени в кувшине с водой.  
И в комнатах, как май, неукротима,  
Цветет навек, цветет врагам на страх,  
Смотри: она полнеба охватила  
У памяти на солнечных холстах.  
Что этой дикой горечи острее?

### **ГОЛУБЬ ВОРКУЕТ**

Мы ходим вновь на уровне кровель  
И жесткий камень нас, как прежде, когтит.  
Приходит мысль, что даже Бетховен  
Законов ритма до конца не постиг.  
И голос плит, и шепот соборов,  
И гул орудий, и негаданный дождь –  
Такие ритмы знают, которым  
Ни нот не сыщешь, ни имен не найдешь.  
Поблек квартал в отгулах органа,  
Сместилось время с первобытных осей,  
И улиц этих холодна многогранность,  
И дремучих гостиниц будто призрачна сень.  
Голубь гудит – он словно томится,

Заря блеснула в приоткрытом окне,  
Дремлет стена, смежая бойницы  
И видит камень эти строфы во сне.  
Собор тяжел, словно рыцарь в латах,  
Он в камень врезан и стихиям знаком,  
Его хранит бульжник пернатый  
И винный погреб обдает холодком.  
Синий Блуа и Святой Людовик –  
Удел мальчишек, баснословие дат –  
Но ты поставлен эту глушь славословить  
И этот камень, что крылами объят.  
А гроб – когист. Есть черти с рогами,  
Барокко бредит о загробной судьбе.  
Король мог жить. Ему предлагали,  
Но смертный жребий он оставил себе.  
Все во гробах. И этих надгробий  
Холодный мрамор – словно смерть у виска.  
А мы – бессмертны. И наших подобий  
Не может крипта удержать на века.  
Живая жизнь и живая память  
В веках безгласны и непрочны в веках,  
Но ваша судьба и надгробный камень  
В нас прозябает, словно семя, упав.  
Граненый спуск. И берег Луары,  
Далеких судеб неизбывный язык,  
Он словно бредит на пергаменте старом,  
Глухой зарницей неизбежной грозы.  
Сгусток времен. И в страшном Версале  
Последнего бала не осела пыльца.  
Там бродит призрак. Старый сумрак – зеркален,  
Двух зеркал отраженья там живут без конца.  
Летний вокзал чумного Парижа –  
Стекланный купол и военный перрон.  
Горек Париж и так бесцельно недвижим,  
И пишет полдень темно-синим пером.  
Грозен Париж. В нем привкус железа,  
Уходит голубь в слуховые пазы –  
Пока Париж ковал Марсельезу,

Кусалось солнце в ожиданье грозы.  
Голубь летит на карловы стога,  
В булыжник дикий, в перелив вековой.  
Как он богат, это склеп церковный  
И старый голубь над моей головой.  
Вот он опять. Он так неотступен,  
В нем словно бродит голос гневных капелл.  
Мы снова ходим по граненым уступам,  
Боясь расслышать, что нам голос пропел.  
И Аахен спит. И Шартр недописан,  
И дремлет замком синеватый Блуа,  
И тополь бродит. Он – собрат кипарису.  
И блещет Луара, как виденье, бела.

\* \* \*

И воду в тазу зарумянив,  
И в комнате чувствуя власть,  
Заря подает умыванье,  
Прищурясь и тихо смеясь.  
И празднику света поверив,  
Водой откупившись от сна,  
В светящийся иней деревьев  
Я сверху гляжу из окна.  
Всех кровель морозные грани  
Румяным крылом охватив,  
На всех колокольнях играя,  
Заря подбирает мотив.  
На мерзлом стекле шевелится  
Кристаллов орнамент простой,  
И книга раскроет страницу,  
И рукопись ляжет на стол.  
И в мыслях – алмазная резкость,  
И крыш синеватый излом.  
А вьюги Святого Сильвестра  
С полночи звенят за стеклом.

**БЕСПРИЮТНОСТЬ**

Клекотом Ливии и Палестин,  
Опасной игрой и вызовом –  
Мир кажется клочьями ярких картин  
За плоским стеклом телевизора.  
Во всех концах фитили чадят.  
А истина с грязью спутана –  
Мир кажется скопищем формул и дат  
В зеленом сиянье компьютера.  
Мир – словно сплющен. Его ведут  
Законы числа и случая,  
А мы бесцветны, как плоть медуз,  
А мы, как вода, текучи.  
А мы бесприютней цветного клочка,  
Пылинкой на стыке лезвий  
Мы длимся. Но в чистой влаге зрачка  
Мы носим разум созвездий.

**РАТИСБОНА**

Регенсбург – Ратисбона, сияющий колокол, вечер  
И романская свежесть тенистого камня колонн –  
На гладком полу–светотень золотистых насечек –  
Солнце готику чтит и плавно течет под уклон.  
Камень пахнет вином. Дремуч этот камень заката –  
Церковная служба, римляне, григорианский хорал.  
Капителью резной, с цветком зари розоватой  
Ратисбона ответит смолкающим колоколам.  
В тень готической арки, в пролет амбразуры оконной  
Заплывает закат перед тем, как в ночи потонуть.  
Чистым звуком веков над рекой сквозит Ратисбона,  
Темным камнем прикрыв свою негасимую суть.

**БРОСОК**

От одной даты  
До другой даты,  
Старик, помешавшийся на нуле,  
Я сам себе –  
ненужный придаток,  
Нелепо волочащийся по земле.  
А мне нужен  
зоркий сокол –  
Упругий бросок вперед,  
А мне нужен  
помысл высокий,  
Который  
не умрет.

*1997*

# КАСИМ

(Альтаментов)

## Андрей Иванович

*(1891–1956) – поэт, критик.*

Вырос на Волге в семье лоцмана. Учился на филфаке Казанского университета, который не закончил в связи с революционными событиями 1917–1918 гг. Позднее получил диплом инженера-текстильщика, работал в Москве. Летом 1941 был призван в армию, в 1942 попал к немцам в плен. Испытал ужасы лагеря военнопленных. После окончания войны оказался в лагере перемещенных лиц Шлессгейм, где познакомился с Л. Ржевским, Е. Елагиным и О. Анстей, Вяч. Завалишиным, С. Бонгартом.

В 1948–49 гг. входил в редакцию калмыцкого еженедельного журнала «Обозрение», где сам печатался под псевдонимом Уралов и публиковал своих друзей-коллег (кроме уже названных, Н. Моршена, И. Бушман, Ю. Трубецкого, А. Шишкову) и отзывы-рецензии на книги писателей послевоенной эмиграции. В частности, он одним из первых высоко оценил талант Ивана Елагина.

В 1951 эмигрировал в США. Работал в Нью-Йорке на спичечной фабрике.

Стихи писал еще в советский период жизни, но публиковать начал только после 1945 года на Западе. Десять его стихотворений вошли в первый коллективный сборник 1947 «Стихи» (Мюнхен). Печатался в журналах «Грани», «Литературный современник», литературных антологиях: «На Западе» и «Берега». Авторских сборников не имел.

С ранних стихов и до поздних поэт стремился восстановить воспоминания «с самим собою встреч», «припомнить что-то» дорогое из скромного быта своей семьи («за столом спокойная семья», самовар, пожелтевшая клеенка, «темный чай в узорчатом стакане, / Белый хлеб и золотистый мед»; «и дружелюбен книжный шкаф»); сочельник с «добрым священником», исполняющим требы.

Другое дело, что со временем менялся настрой лирического героя А. Касима. В стихах первых послевоенных лет воспоминания ассоциируются с «бредом коротким», а в реальности «все выцвело», у героя «обессиленная душа». «Я лишний здесь, под кровлей неродной, / И зябко мне – восклицает поэт в более позднем стихотворении, и лишь возлюбленная, – «всегда со мной, / И тучи бед проходят стороной». В конце жизни стихи обретают ностальгический и даже философский характер. Если в стихотворении 1947 года желание вспоминать «лишь радости одни – / Огни далекие», не только застилаются «холодную поземкой», но и названы «Мечтаниями», а в действительности «жизнь отяжелела... / Но и она давно уж не моя...», то постаревший поэт видит во всем «Господень след»; приказывает душе «пестовать томлень, имена / С влюбленностью, почти сентиментальной» («За древней церковью – кладбищенская немочь») и «в час унылый и в час веселый» не может позабыть родину («Верю»).

## Публикации

Половодье // *Лит. совр.* 1951. № 2.

Стихи // Стихи. – Мюнхен, 1947.

Стихи // *Грани.* 1954. № 23.

Стихотворения // *Грани.* 1953. № 18.



## РАЗЛУКА

За дрожащей оконной рамой  
 Старая сумрачность дней.  
 Каждый год он все тот же самый  
 Гипнотический шорох ветвей.  
 И опять ускользает кривою  
 Птиц каких-то на юг перелет,  
 И в последний раз над рекою  
 Пароходный свисток поет.  
 Но теперь мы простились надолго –

До почти невозможной весны,  
И родная, обмершая Волга,  
Как и я, вспоминает сны.  
Тридцать лет берегу эту муку,  
Но еще не изведаль до дна.  
– Уж давно не поют «Разлуку», –  
Ту, которая так смешна...

\* \* \*

Что я нашел и что утратил я? –  
Все выцвело, ничто не повторится:  
За праздничным столом спокойная семья  
На кухне – занавесь из ситца.  
Быть может, потому я полюбил теперь  
И всенощной заплаканные свечи,  
И ласку каждую, что приоткрыла дверь  
И молвила по-русски: Добрый вечер!..

\* \* \*

Я помню строгую столицу –  
Проспект, похожий на стрелу,  
И лампионов вереницу,  
И вдохновительную мглу.  
Санктпетербургские приметы  
Математически просты:  
Витрина чопорная эта,  
Иль эти гибкие мосты.  
Крылом Казанского собора  
Укрыт, подавлен, вознесен,  
Воспринимаю гордый город,  
Как литургию и как сон.  
Сурово стынет колоннада.  
Стою. Припоминаю... Там...  
Но вправо или влево надо  
Читать дорогу по складам?..  
Я шел. Вилась канала кромка,  
И фонари бросались вплавь,

И мне в лицо смеялась громко  
Провинциальных бредов явь.

### **В ПОЕЗДЕ**

И когда он тяжелые губы сомкнул,  
Отразившись в вагонном окне,  
Быстрый месяц упруго его оттолкнул  
И укрылся опять в вышине.  
И припомнилось сразу: так было в те дни  
Сизой ночью владела весна,  
За окном кувыркались сторожек огни,  
Жизнь вот так же была неясна.  
И вот так же по рельсам летел напролом  
Паровоз, иступленно дыша,  
И вот так же взмывала незримым крылом  
Обессиленная душа.

\* \* \*

Ты хочешь, чтоб было доступно небо  
И чтоб тихо входили причуды любви  
Как на картинке: привычная треба,  
Добрый священник и все – свои.  
Я тоже ищу философский камень –  
На яростном рынке купить уют  
И за сыпучий песок минут  
Отдать созданное веками.

Ах! Это значит: любовь и воля,  
На сизом пруду голубая ладья,  
И песни твои, и немножко боли, –  
Гуашь и сепия бытия!..

\* \* \*

Рано утром и каждый вечер  
Возношу, рассыпаю мечты.

– Ничего не отвечу... –  
Осторожно сказала ты.  
Что ж мне делать с ночами и днями?  
Туго-туго натянута нить.  
Я томлюсь, утешаюсь снами,  
Жгучей мыслью – упасть и не жить.  
Упаду, и когда с участием  
Кто-то скажет об этом тебе.  
Ты подумай: Вот лучшее счастье –  
Быть покорным своей судьбе.  
Пусть другие в то утро иль вечер  
На лицо мне накинут платок –  
Не входи. Ничего не отвечу.  
Я сказал тебе все, что мог.

\* \* \*

Нашим счастьем мы оба довольны.  
По ночам над сугробами – жуть.  
Иногда ты целуешь так больно,  
Что почти не даешь вздохнуть.

Все хочу я припомнить что-то.  
И пожалуй, припомню. В бреду.  
Не оставь меня верной заботой,  
Если скоро с ума я сойду.

## МЕЧТАНЬЕ

Один к другому плотно жмутся дни,  
И стала память по иному емкой,  
Все помнится, лишь радости одни –  
Огни далекие. Холодную поземкой  
Порою застилаются они.

Судьба и старость. Перед ними – я.  
О, Господи! Как жизнь отяжелела...  
Но и она давно уж не моя...

Немного радости, несложный мир, семья  
И за окном – знакомые пределы.

### **СОЧЕЛЬНИК**

Тихий снег. А по заулкам – шорох.  
Входит ночь в пустынное село.  
И в простых, домашних разговорах  
Ласковое время потекло.

Самовар задумчиво и тонко  
Про себя припоминает сны.  
На столе – не скатерть, а клеенка,  
Сизая, с оттенком желтизны.

Темный чай в узорчатом стакане,  
Белый хлеб и золотистый мед.  
Это – детство. Боль воспоминаний –  
Как любовь: пришла и не уйдет.

Не унять и никогда не скинуть!..  
В тот Сочельник, медленный с утра,  
Я твердил, что елку передвинуть  
На средину горницы пора.

Чтоб с рассветом славильщики пели  
И смотрели искоса туда,  
Где трепещет на вершине ели  
Радостью серебряной звезда.

Тихий снег и этот шорох дальний...  
Сердце – как от боли убережь,  
Если нету ничего печальней  
Вот таких с самим собою встреч?..

### **ПЕНАТЫ**

Вошел и – пьян, хотя и не пил:  
Уже с порога – вольный ветер,

А дальше – сонм великолепий, –  
Все эти вещи, да – вот эти...

Струится занавесь в гостиной,  
И дружелюбен книжный шкаф,  
И удивленно (но не длинно)  
Целует тишь, к лицу припав.

Ведь только здесь – «покой и воля»,  
Где все – свое, где сам ты – свой.  
– Садись, покурим, Домовой,  
Нам ничего не надо боле.

\* \* \*

За древней церковью – кладбищенская немочь.  
По-деревенски: жуть и благодать.  
И каждый вечер сердцу – изнывать,  
Выискивать пленительные темы,  
И находить, и связывать в стихи,  
Пока лягушек звон окликнут петухи.

Еще не раз, в бору иль дубняке,  
Несбывшихся минут перебирая четки,  
Я повелю насупленной тоске  
Восстановить свиданий бред короткий  
И пестовать томленье, имена  
С влюбленностью, почти сентиментальной...

Так по душе, давным-давно опальной,  
Скользнет летучая и зыбкая волна.

## ВЕРЮ

Тучи плачутся над тобою,  
Ястреба рассекают рассвет,  
И проселки бегут гурьбою,  
И на каждом – Господень след.

Я хочу, чтобы эти дороги  
Снова стали – твои и мои,  
Чтобы месяц светил двурогий  
На твои и мои колеи.

Верю, верю: раздвинув просторы,  
Буйный ветер качнет тополя,  
Все моря твои, все озера  
Всколыхнутся, моя земля!..

Я твои города и села,  
Будто ладанку, берегу,  
В час унылый и в час веселый  
Позабыть я тебя не могу.

Видишь: нежность еще не иссякла...  
Ну а если умру, не вернусь, –  
Знай, что я перед смертью заплакал,  
Поминая тебя, моя Русь.

# КЛЕНОВСКИЙ

(Крачковский)

## Дмитрий Иосифович

(1893–1976) – поэт.



Родился в Петербурге. Его отец Иосиф Евстафьевич Крачковский – академик живописи, мать – Вера Николаевна Бекер – художница-пейзажистка. С 6 лет до 16 мальчик «издавал» свои журналы, разумеется, рукописные. Вместе с родителями много путешествовал по Европе. С 1904 по 1911 годы юноша учился в Царскосельской гимназии, о которой позже рассказал в стихотворении «Царскосельская гимназия». Тема Царского села пройдет через все творчество Кленовского, что позволит известной поэтессе и критику русского зарубежья Н. Берберовой назвать его «последний царскоселом, гонимым по миру»<sup>1</sup>.

С 1914 года стихи молодого поэта начинают появляться в различных периодических изданиях. А в 1917 году накануне октябрьских событий, выходит его первый сборник «Палитра», почти незамеченный критикой.

С 1917 по 1922 годы Крачковский служит военным чиновником в Главном артиллерийском управлении. На почве начавшегося еще в 1913–1916 годы увлечения антропософией поэт сближается в 1918–1920 годы с А. Белым, М. Волошиным, О. Мандельштамом и другими поэтами. С 1922 по 1941-й работает в Радиотелеграфном агентстве Украины, выступает в качестве журналиста, переводчика украинских стихов, в том числе Максима Рыльского. Однако собственных стихов он не пишет с 1925 года.

В 1942 году писатель вместе с женой, немкой по происхождению, эмигрирует через Австрию в Германию. «Не успела моя нога оторваться от советской почвы, – вспоминал он впоследствии, – как неожиданно для самого себя, отнюдь не ставя перед собой этой задачи,

---

<sup>1</sup> Берберова Н. Поэт Д. Кленовский / Предисловие к книге стихотворений «Следы жизни». – Франкфурт–Мюнхен, 1950.

я возобновил после 20-летнего молчания мою поэтическую работу». Своей «болдинской осенью» назвал Кленовский дни пребывания на берегах австрийского Дуная в стихотворении, открывающем его первую зарубежную книгу стихов. Жизнь не баловала поэта: сначала был двухлетний лагерь для беженцев, работа на лесопилке, относительная бедность и болезни. В последние годы жизни поэт слепнул.

Тем не менее, одна за другой выходят 11 книг стихов. В их названиях легко прослеживается единая нить: стремление постичь, передать почерком поэта след жизни, прикоснуться к неуловимой тайне бытия, устремиться навстречу небу.

Именно эти качества позволяют говорить о близости Кленовского к поэзии акмеизма. Как известно, акмеизм начал свое существование в качестве антипода символизма. Символистскому уходу от жизни в мир сложных и понятных лишь избранным образов акмеисты противопоставили простые радости земли. «Радость» едва ли не ключевое слово в поэзии Кленовского. В стихотворении «Просьба» (1946) он пишет о счастье «рвать черемуху, трогать струны, провожать серебряные луны», сторожить розовые зори. Поэт называет «высокими мгновеньями» общение с любимой и чтение пушкинского «Онегина». К «сокровищам неба и земли» относит сады, звезды, прибои. И через 20 лет он вновь повторит: «Я их изведаль, радости земли...».

Вместе с тем, как и акмеисты, в «никем не тронутой тишине», в луче света, в звезде «и в каждодневном хлебе иногда» поэт видит «нездешней преломленности находку» («Заложница несбыточной мечты...»).

Космос у акмеистов (в том числе Кленовского) не противостоит человеку, не враждебен ему. Другое дело, что земное воплощение бытия разрознено во множестве явлений. Поэт сравнивает эти проявления с черепками, подобранными в пыли повседневности и восклицает: «Как хороша должна быть в целом разрознённая тайна их» («Я не улавливаю знаков...», «Повседневность»), «как важно знать, что тайна есть» (Поговорим еще немного...).

Простой стакан чая может стать нектаром, если к нему прикоснулся херувим, а может вернуться в состояние обыкновенного напитка («Сижу в кафе весною...»). Нечто высшее, по Кленовскому, соединяет человека и вещь. Не случайно часы после смерти хозяина «не захотят одалживать минуты» новому владельцу («Я умер. И часы мои...»).

Лирический герой Кленовского вносит существенную поправку в христианский догмат о земной жизни как заточеньи души, а смерти – как освобождении. Не случайно для обозначения перехода в другой мир он использует оксюмороны «испепеляющее чудо», «щемящее освобождение» («Последних мук не утаить...», «Чем дольше я живу...»).

Поэт твердо верит, что мир испорчен, но не обречен. В нем существует красота («Я знаю: мир обезображен...», «Вера»). Нелегко прожитые годы, удаленность от любимой петербургской земли не приводит Кленовского к разочарованию («Я тоже горлиц посылал...»).

Даже «не забытое, не прощенное» с годами не то, чтобы прощается (этого нет), но становится неотъемлемой частью жизни лирического героя, тяжелой, но все-таки благословенной. Реминисценцией пушкинскому «что пройдет, то будет мило» станет у Кленовского эпитафия к «Поющей ноше»:

Все дурное и все хорошее  
Перебродит в душе твоей  
И певучею станет ношею –  
Собеседником поздних дней.

Несколько ранее эта мысль прозвучала в книге стихов «Прикосновение».

В земном и радостном мире поэзии Кленовского огромное место занимает любовь. Почти все его поздние сборники имеют краткое, но выразительное посвящение: «Моей жене».

Уже в ранних стихах поэта природа (облачко) хранит любимую «от ожога бытия». Да и сама она, хоть и «усталая, но ясна, как на заре», и питает всех «этой утренней прохладой необугленной души» («Вот она, моя любимая...»). Это лиричное, целомудренное, явно уходящее в XIX век, описание любви сохраняется и в последующем творчестве Кленовского. Шепот влюбленных у него сильнее «шума вселенной» («Как бушевали соловьи»). Лишь в одном стихотворении («Нас было двое. Женщина была...») присутствует любовная трагедия: обманутый лирический герой совершает самоубийство. Но и здесь внимание автора сосредоточено не на измене, а на той нежности, которую его герой испытал к бросившей его женщине, прикоснувшейся в нему после рокового выстрела.

Через много лет пожилой поэт вновь обратится к этой теме, хотя и в гораздо более смягченном элегическом тоне («Я оборачивался без конца...», «Мне сладко думать, уходя...»)

В поздних стихах едва ли не впервые автор скажет и о физической близости с женщиной («Все обогнало цель свою...»).

Любовь поэта простирается столь далеко, что он обещает любимой прийти к ней после смерти, чтобы она на другой день улыбнулась («Я знаю комнату, в которой...»).

И если в «Певучей ноше» поэту еще казалось, что «она» и «он» – два разных существа, «мы можем быть вдвоем, но никогда не сможем стать единым», то в стихотворении «Помнишь, встречу наших двух дорог...» следующей книги Кленовский опровергнет это собственное утверждение, сказав, что «для нас они <дороги. – В.А.> слились в одну», и «дорога превратилась в путь».

Темы радости жизни и любви соединяются у Кленовского с темой поэзии. Не найдя рифмы «к той строке, где мы с тобой вдвоем», лирический герой восклицает:

И зачем ловить неуловимую,  
Если в книге радости земной  
Ты уже и так, моя любимая,  
Хорошо срифмована со мной!  
(*Мякоть розово-золотистая...*)

Решение Кленовским вопроса о соотношении поэзии и жизни меняется по мере приближения поэта к творческой мудрости. В ранних сборниках автор утверждает, что главное в жизни «уменье жить цезурою стиха» («Пирог с грибами стынет на столе...»); жизнь противопоставляется культуре («Шуршанье ящериц в камнях Равенны...»). Однако со временем Кленовский приходит к выводу о равенстве поэзии и жизни. В подтверждение этой мысли он приводит обычай немцев, восклицающих о цветке, девушке, о любом нравящемся им предмете: «Ну, разве не стихотворенье» («Когда они вконец восхищены...»).

«Ничто так сердце не будит, как настойчивый зов стиха», – пишет Дм.Кленовский в стихотворении «Поэты». Стихи – это «ямбическое прикосновение к душам», – вторит он себе во вступительном стихотворении сборника «Прикосновение», развивая свою более

раннюю мысль о том, что самое огромное пространство – «пространство наших душ» («Мы потому смотреть на небо любим...»). Русский язык для поэта – способ выражения души («Есть в русском языке опушки и веснушки...»). Язык сближает поэта с родиной.

Тема России постоянно звучит в лирике Кленовского.

Я служу тебе высоким словом,  
На чужбине я служу тебе, –

писал поэт в 1952 году в стихотворении «Родине». И еще трагичнее в 1973-м в «Поэте зарубежья»:

Он живет не в России – это  
Неизбывный его удел,  
Но он русским живет поэтом  
И другим бы не захотел.

Кленовский уверен, что «обратно возвращает слово все то, что срублено и сожжено» («Его вчера срубили, что осталось...»). Поэт, по Кленовскому, повар у плиты, пчелка, собирающая мед («Стихи о стихах»). В этих бытовых сопоставлениях видна типологическая близость с акмеизмом.

Впрочем, наряду с бытовыми определениями стиха, Кленовский охотно использует и высокие:

...песня не моя,  
Она не здесь пропета  
И мне на то дана,  
Чтоб почерком поэта  
Была закреплена.

В одном из поздних стихотворений поэта («Себе», 1971) мысль о том, что все уже сказано, «обо всем спрошено», «на все, что мог, тобой отвечено», опровергается прямо противоположной: надо продолжать работать, писать. Поэт надеется, что и на закате дней «Может жизнь меня не накажет...».

Единственное, что тревожит поэта, окажутся ли после его смерти и его стихов читатели. В стихотворении «О, только бы “оттуда...”»

Кленовский молит судьбу не дать ему узнать, что «больше не читает никто моих стихов», «помалкивает литературовед».

Так тема поэта и поэзии сливается с темой смерти. Поэзия для Кленовского та же память, если не бессмертие, то продление земного бытия:

Как важно кем-то для кого-то быть,  
 Стать в чьей-то жизни гостем, не проходим!  
 Ты можешь этим образ свой продлить,  
 Пусть незаметно для себя, но все же!  
 (*Мы сохраняем в памяти былых...*)

В последних книгах Кленовского темы жизни и смерти тесно переплетаются, создавая то диалектическое новохристианское единство, которое было характерно для поэтов и философов Серебряного века русской литературы, для творчества И. Шмелева и Б. Зайцева. С одной стороны, как уже говорилось, поэт любит простые земные радости. И чем ближе к старости, тем яростнее становится жажда жизни. С этой точки зрения показательно стихотворение «Когда приходит день осенний...», где повторяются в целом ряде стихов слова «дожить бы до»: до первого дрозда, до первой сирени, до первого яблока, а там опять до первого дрозда.

С другой стороны, в смерти Кленовский видит некое приближение к непостижимой для земного существа тайне:

Умереть... Что значит: умереть?  
 Может быть: найти, узнать, узреть,  
 Высоты почуять приближенье?  
 (*На определенной высоте*)

И лишь тогда,  
 Когда умрем, поймем мы, может быть,  
 Зачем так много горечи на свете.

Другое дело, что сомнения, идущие от русской литературы XIX века и, в первую очередь, от дорогого Серебряному веку Ф. Достоевского, не могли не коснуться поэта. И тогда рождаются строки: «Мы стоим перед загадкой: Что свершится с нами “там”?». Что если

душе «...“там” так пусто будет <...> / | Что станет вновь молиться,  
как о чуде, / О возвращеньи в горестное “здесь”».

Вопрос о «напрасности неземного торжества» снимается утверждением необходимости двигаться к высшему промыслу, даже не постигая его сознанием:

Разве гусеница знает,  
Что очнется мотыльком?  
Но преградам непокорна,  
Сквозь безмолвие и тьму  
Пробивается упорно  
К совершенству своему.

В конечном счете у Кленовского всегда торжествует мысль о наличии высшего смысла бытия, о послеземном существовании.

Именно такое умиротворенное восприятие жизни позволило Кленовскому незадолго до смерти (а умер он в здравнице для пожилых в небольшом городке Траунштейне, что между Мюнхеном и Альпами, в 1976 году) написать стихотворение «Будь благодарен... – Нет не перечечь...».

Особый интерес представляет переписка Д. Кленовского с архиепископом и поэтом Иоанном Сан-Францисским (Дмитрием Шаховским)<sup>2</sup>, удивительно точно определившим художественное своеобразие поэзии Кленовского: «Его поэзия безупречно соразмерна, у него нет столпотворения ни вещей, ни звуков. Он говорит просто, иногда как бы по-домашнему, но всегда есть в нём торжественность, даже в самом малом». К этому остается добавить, что художественный мир Кленовского весь устремлен к классической поэзии. О своих поэтических пристрастиях он скажет в стихотворении с полемическим названием «Нет бедных рифм, докучливых, плохих...». «Строка, – утверждает здесь поэт, – требует, как берегов река, / Спокойного, совсем простого слова». Рифмы Кленовского изящны, но строги. Он избегает явной игры аллитерациями, ассонансами, сдержанно пользуется составными рифмами, но мастерски владеет приблизительными и не боится рифм глагольных (не просите – пишите;

---

<sup>2</sup> Архиепископ Иоанн (Шаховской). Переписка с Кленовским / Ред. Р. Герра. – Париж, 1981.

узнавайте – не забывайте). Его любимый размер ямба. Его он употребляет втрое чаще, чем хорей. Ориентация на напевность, лиризм, а не на приближение к разговорной интонации обусловила минимальное использование трехсложных размеров. Не очень широко пользуется поэт и разноstopными размерами, характерными для нервного стиха XX века.

Основными художественными средствами Кленовского, покоряющими сердца читателей, являются слово и интонация. Как уже говорилось, поэт виртуозно соединяет высокую лексику с бытовой, используя все открытия акмеистов. Не случайно видный литературный критик русского зарубежья Н. Ульянов назвал его «завершителем и, может быть, самым характерным представителем акмеизма».

## Сочинения

- След жизни. – Frankfurt / Мюнхен., 1950  
 Навстречу небу – Frankfurt / Мюнхен, 1952  
 Неуловимый спутник: 4-я кн. стихов. – [Мюнхен], 1956  
 Прикосновенье: 5-я кн. стихов. – Мюнхен, 1959  
 Уходящие паруса. – Мюнхен, 1962  
 Разрозненная тайна. – Мюнхен, 1965  
 Стихи. Избранное из шести книг и новые стихи (1965–1966). – Мюнхен, 1967  
 Певучая ноша. – Мюнхен, 1969  
 Почерком поэта. – Мюнхен, 1971  
 Теплый вечер. – [Мюнхен], 1975  
 Последнее. – Мюнхен, 1977  
 Собрание стихов Париж, 1980  
**Полное собрание стихотворений.** – М.: Водолей, 2011.

## Публикации

- Автобиография // *Совр.* 1978. № 37 / 38.  
 Ангелу-Хранителю // *НЖ.* 1958. № 52.  
 «Было сказано когда-то елке...» // *НЖ.* 1969. № 94.  
 «Во ржи не видно больше маков...» // *Возр.* 1971. № 228.  
 «Вот она идет со мною рядом...» // *НЖ.* 1953. № 32.  
 «Вспомним нашу молодость...» // *Возр.* 1969. № 213.  
 «Вчера его срубили. Что осталось...» // *НЖ.* 1967. № 86.  
 Гизелла Лахман. Пленные слова // *НЖ.* 1953. № 32.  
 Два стихотворения // *Грани.* 1954. № 21.  
 Долг моего детства // *Возр.* 1950. № 7.  
 «Елочка с пятью свечами...» // *Возр.* 1961. № 109.

- «Женщину нельзя любить без скидки...» // *НЖ*. 1970. № 98.  
 Жизнь // *НЖ*. 1952. № 29.  
 Из новых стихов // *Грани*. 1961. № 49.  
 «Каждый цветок по своему...» // *НЖ*. 1970. № 101.  
 Казненные молчанием (о судьбе некоторых русских поэтов) // *Грани*. 1954. № 23.  
 «Как больно утром забывать...» // *НЖ*. 1953. № 32.  
 «Как будто все неповторимо...» // *НЖ*. 1969. № 94.  
 Когда вернусь // *НЖ*. 1952. № 31.  
 «Корзина с рыжиками на локте...» // *НЖ*. 1951. № 26.  
 «Легкокрылым Гением ведомы...» // *НЖ*. 1949. № 22.  
 «Моя душа – что мироносица...» // *НЖ*. 1949. № 22.  
 «Мы с тобою ее запомнили...» // *НЖ*. 1952. № 29.  
 «Мы сумерничать разучились. Мы...» // *НЖ*. 1970. № 100.  
 «Нади, Любочки и Верочки...» // *НЖ*. 1970. № 101.  
 «Не Вечный Город под подушкой...» // *НЖ*. 1976. № 125.  
 Нежность // *НЖ*. 1949. № 22.  
 «Непрочен материал моей земли...» // *НЖ*. 1952. № 28.  
 «Нет бедных рифм, докучливых, плохих...» // *НЖ*. 1969. № 94.  
 «Нет конечно, это не пророчество...» // *НЖ*. 1953. № 32.  
 Окультиные мотивы в русской поэзии нашего века // *Грани*. 1953. № 20.  
 «Опять, опять! Все это прежде было...» // *НЖ*. 1951. № 26.  
 «Пирог с грибами стынет на столе...» // *НЖ*. 1951. № 27.  
 Подмосковные вечера // *НЖ*. 1970. № 100.  
 «Последних мук не утаить...» // *НЖ*. 1951. № 26.  
 Последние стихи // *НЖ*. 1977. № 126.  
 Поэты Царскосельской гимназии // *НЖ*. 1952. № 29.  
 «Прислушайся к последнему дрозду...» // *НЖ*. 1970. № 98.  
 России // *НЖ*. 1952. № 31.  
 Сергей Маковский. Портреты современников // *Опыты*, 1955. № 5.  
 Симон-Петр; Первая любовь; «Благословенна простота...»; «В плену снегов поля лежат...»; На чердаке; Дома; Муза; «Есть роковая дрожь. Не тела, а души...»; «Не вся душа заключена...»; «Может быть...»; «Еще страдать мы не умеем...»; «Работай только на вечность...»; Незнание // *НЖ*. 1998. № 213.  
 «Сквозь путаницу веток, сквозь...» // *НЖ*. 1968. № 93.  
 «Сложи свои распахнутые крылья...» // *НЖ*. 1967. № 86.  
 Стихи // *Грани*. 1950. № 8; 1951. № 11; 1956. № 31; 1958. № 37; 1959. № 44; 1956. № 57; 1976. № 100.  
 Стихи // *Мосты*. 1959. №№ 2, 3; 1960. № 5; 1961. № 8; 1963. № 10; 1965. № 11; 1966. № 12; 1968. № № 13, 14; 1970. № 15.  
 Стихи // *НЖ*. 1957. № 49; 1958. №№ 52, 55; 1962. № 69; 1964. № 77; 1965. № 78; 1966. № 85; 1967. № 89; 1968. №№ 90–92; 1970. № 99; 1971. №№ 104, 105; 1972. №№ 106–109; 1973. №№ 110, 111; 1974. 114–116; 1975. № 121; 1976. №№ 122–124; 1977. № 127; 1978. №№ 131, 132.

- Стихи // *Совр.* 1977. № 33 / 34.  
 Стихи // *Встречи.* 1977, 1997.  
 Стихи о стихах // *НЖ.* 1967. № 86.  
 Стихотворение // *Опыты,* 1952. № 1.  
 Стихотворение // *Возд. пути,* 1960. № 1.  
 Стихотворения // *НЖ.* 1961. № 65; 1962. № 68.  
 Стихотворения // *Возр.* 1966. № 175.  
 «Счастлирое, волнующее слово...» // *НЖ.* 1968. № 93.  
 «Три часа на ближней церкви пробило...» // *Возр.* 1967. № 191.  
 «У русских есть не только именины...» // *НЖ.* 1968. № 93.  
 Царскосельская гимназия // *НЖ.* 1957. № 49.  
 Царскосельский сон // *Возр.* 1950. № 7.  
 Четыре стихотворения // *НЖ.* 1960. № 61.  
 Шесть стихотворений // *НЖ.* 1961. № 63.  
 «Это только кажется отсюда...» // *НЖ.* 1952. № 28.  
 «Эту ночь перед той дуэлью...» // *Возр.* 1971. № 228.  
 «Я здесь узнал мельчайшие цветы...» // *НЖ.* 1970. № 98.  
 «Я знаю: мир обезображен...» // *НЖ.* 1951. № 27.



## БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ

Я мертвым был. На тройке окаянной  
 Меня в село безвестное свезли  
 И я лежал в могиле безымянной,  
 В чужом плену моей родной земли.

Я мертвым был. Года сменяли годы.  
 Я тщился встать и знал – я не могу.  
 И вдруг сейчас под легким небосводом  
 Очнулся я на голубом снегу.

Ужели спала с глаз моих завеса  
 И я могу с сухого снега встать  
 И выпал пистолет из рук Дантеса  
 И бег мгновений обратился вспять?

И вот иду я узкою тропею,  
 Лицо свежит неторопливый дождь

И Болдинская Осень надо мною  
Златит листву у придунайских рощ!

1945

\* \* \*

Вот она, моя любимая,  
Ненаглядная моя,  
Летним облачком хранимая  
От ожога бытия.

Шла да шла своей дорогою,  
А оно над ней плыло,  
Легкой тенью мягко трогая  
Запыленное чело.

Сохранило – и растаяло.  
Вот и вечер на дворе...  
И стоит она, усталая,  
Но ясна, как на заре.

Всех, кого встречает, радуя  
Тем, что день не иссушил:  
Этой утренней прохладою  
Необугленной души.

1953

\* \* \*

Есть в русском языке опушки и веснушки,  
Речушки, башмачки, девчушки и волнушки  
И множество других, таких же милых, слов.  
Я вслушиваться в них, как в музыку, готов.  
Веселой нежности полны они и в этой  
Веселой нежности – их светлая примета.  
И если по-лесу я осенью пройду

И на опушке там волнушки я найду,  
Иль повстречаю я девчущку, чьи веснушки  
На солнце запестрят и заалеют ушки –  
Вдвойне доволен я нежданной встречей той!  
О, русский мой язык, прекрасный спутник мой!  
Движениям души неразделимо вторя,  
Равно находчив ты и в радости и в горе!  
Для горя тоже ты смягчил слова свои:  
Могилка, вдовушка, слезинка... – сколько их!  
Да что тут говорить, нагромождая строки!  
Мы знаем все тебя: просторный и глубокий,  
Со всякой ты своей управишься судьбой!  
Прекрасный наш язык – нам хорошо с тобой!

1966

\* \* \*

Пирог с грибами стынет на столе.  
Меня зовут. Бегу огромным садом.  
Вот этот полдень, в Царском ли Селе  
Иль в Павловске, он здесь, со мною рядом.

Он был хорош не только тишиной,  
Не только беззаботностью и ленью –  
Он был взыскательный учитель мой  
И научил высокому уменью:

Уменью жить цезурою стиха,  
Как эти вот дворцы, аллеи, шлюзы,  
Как тот кувшин в бессмертных черепках,  
Откуда пили ласточки и музы.

1951

\* \* \*

Последних мук не утаить  
Ни равнодушьем, ни усмешкой...

Еще хотелось бы пожить,  
Немного на земле замешкать!

Я знаю, как прекрасно там,  
В мирах невидимых отсюда,  
И час придет – себя отдам  
Испепеляющему чуду.

Но как-то боязно всегда  
Сменить на пышные хоромы  
Лачугу песен и труда,  
Где плохо мне, но где я дома.

Где всё понятно, где окно  
Откроешь – и увидишь крыши,  
Где можно, если всё равно,  
И не взглянуть ни разу выше.

О, черепица бытия!  
Лукавый сторож нашей лени!  
Ты видишь, сам кидаюсь я  
Перед тобою на колени,

И сам привычное мое  
Продлить молю я заточенье –  
Лишь только бы не лезвие  
Щемящего освобожденья!

1951

### СЕБЕ

Не пиши последних строк  
Предпоследним вечером!  
Ведь уже на всё, что мог,  
Здесь тобой отвечено!

Брось вопросы задавать –  
Обо всем ведь спрошено!  
Можно ль там цветок сорвать,  
Где кругом всё скошено?

Просто тропкою иди,  
Чужеземной, узкою,  
Что быть может впереди  
Всё ж сольется с русскою.

1971

\* \* \*

Чем дольше я живу, тем ненасытней я,  
Тем с большей жадностью тянусь к усладе здешней  
Пусть ждет меня нектар иного бытия –  
Я от разлуки с ней все безутешней.

И радость мне моя последняя горька...  
Так в блекнущем саду, где астры холодеют,  
Озябшая пчела с последнего цветка  
Пьет скудный мед, сама уже скудея.

К остывшим венчикам она ревнивей льнет,  
Неяркий солнца луч ее уже не тешит,  
А то, что в улье ждет богатство полных сот –  
Стяжательницы милой не утешит.

1957

\* \* \*

Я их изведаль, радости земли:  
Леса, тропинки, волны, корабли,  
Прикосновенья, рифмы, поцелуи...  
Мне кажется, что их с собой возьму я,  
Притом никак не в одиночку, но

Неразлично слитыми в одно,  
Как будто память их соединила  
В единый вздох о том, что было мило,  
В тот долгий вздох, которым, не спеша,  
Наполнится, чтоб отлететь, душа.

1966

\* \* \*

Я умер. И часы мои  
С руки похолодевшей сняли.  
Они еще идут. Они  
Еще дышать не перестали.

Они заканчивают бег  
Так четко связанный со мною.  
А завтра кто-то их себе  
Возьмет, связав с судьбой иною.

И вот, не знаю почему,  
Но померещилось мне, будто  
Они не захотят ему,  
Как мне, одалживать минуты.

Они соскучатся по мне,  
По вены близкому биению,  
Что, строчкою окаменев,  
Становится стихотвореньем.

По тесной дружбе тех ночей,  
Когда они со мной не спали,  
С цезурой спорили моей  
И мой анапест обгоняли.

И вот, чтоб как-то избежать  
Непрошенного новоселья,  
Они начнут спешить, бежать,  
На день опережать неделю;

Соскальзывать с чужой руки,  
В обивке прятаться диванной,  
С собою наконец с тоски  
Покончат, захлебнувшись в ванной.

И будет их в руках вертеть  
С досадой часовщик сердитый...  
Но никому не разглядеть,  
Какая тайна в них сокрыта!

*1960*

\* \* \*

Будь благодарен новому цветку,  
Что распустился за ночь на балконе,  
Будь благодарен морю и песку,  
Девической груди в твоей ладони!

Будь благодарен... – нет, не перечеть  
Всего, за что быть благодарным надо!  
Вплоть до креста за низкою оградой –  
Его могло не быть, а вот он есть!

*1969*

\* \* \*

Есть в женщине чудесное влеченье  
К певучим и рифмованным строкам.  
Не потому ль она в награду нам  
Сама похожа на стихотворенье?

Она нам дарит ямб сердцебиенья  
В часы, что я огласке не предам  
И те цезуры, что по временам  
Она вплетает в стопы наслажденья.

Как хорошо ее рифмует грудь,  
И плечи, и глаза! И не забудь,  
Что может даже стать она поэмой!

С прологом, с эпилогом, словом всем,  
Что нужно для классических поэм,  
Но... с самой неожиданною темой!

1969

\* \* \*

Как бушевали соловьи  
Над нашей гоголевской хатой  
Луною выбеленной и  
Подсолнухами полосатой!

Их было не перекричать!  
Но, неуверенно вначале,  
Еще пугаясь всё сказать,  
Мы их с тобой... перешептали.

Как было хорошо прильнуть  
Губами к маленькому уху!  
С собой мы взяли в дальний путь  
Ту немудреную науку.

И с той поры она для нас  
Защитой стала неизменной:  
Таким же шепотом сейчас  
Мы заглушаем шум вселенной.

1958

## **ПОВСЕДНЕВНОСТЬ**

От чего сегодня оттолкнуться  
Отлетающим моим стихам?

На какой мне шорох обернуться,  
Над какой мне лужицей нагнуться,  
Чтобы в ней увидеть звездный храм?

О, я знаю: лишь в прикосновеньи  
К повседневности моей земной  
Обрету нездешнее виденье,  
Лишь в ее прозрачном отраженьи  
Просияет мир передо мной.

Если б не было ее, смиренной,  
Предо мной поверженной во прах,  
Я бы заблудился непременно  
В неизбывном грохоте вселенной,  
В Скорпионах, Девах и Стрельцах.

С ней же мне и дальний путь не дален!  
В каждой капле, камешке, листе  
Шумный космос дремлет, изначален.  
Оттолкнулся – и, глядишь, причален  
К самой невозможной высоте!

1950

## **РОДИНЕ**

Между нами – двери и засовы.  
Но в моей скитальческой судьбе  
Я служу тебе высоким словом,  
На чужбине я служу – тебе.

Я сейчас не мил тебе, не нужен,  
И пускай бездомные года  
Всё петлю затягивают туже –  
Ты со мной везде и навсегда.

Душное минует лихолетье,  
Милая протянется рука...

Я через моря, через столетья  
Возвращусь к тебе издалека.

Не спрошу тебя и не отвечу,  
Лишь прильну к любимому плечу  
И за этот миг, за эту встречу,  
Задыхаясь, всё тебе прошу.

1952

### ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ

Есть зданья неказистые на вид,  
Украшенные теми, кто в них жили.  
Так было с этим. Вот оно стоит  
На перекрестке скудости и пыли.

Какой-то тесный и неловкий вход.  
Да лестница, взбегающая круто,  
И коридоров скучный разворот... —  
Казенщина без всякого уюта.

Но если приотворишь двери в класс—  
Ты юношу увидишь на уроке,  
Что на полях Краевича, таясь,  
О конквистадорах рифмует строки.

А если ты заглянешь в кабинет,  
Где бродит смерть внимательным дозором,  
Услышишь, как седеющий поэт  
С античным разговаривает хором.

Обоих нет уже давно. Лежит  
Один в гробу, другой, без гроба, — в яме,  
И вместе с ними, смятые, в грязи,  
Страницы с их казненными стихами.

А здание? Стоит еще оно,  
Иль, может быть, уже с землей сравнялось?  
Чтоб от всего, чем в юности, давно,  
Так сердце было до краев полно,  
И этой капли даже не осталось.  
1957

\* \* \*

Я знаю: мир обезображен.  
Но сквозь растленные черты  
Себя еще порою кажет  
Лик изначальной красоты.

Он просияет на мгновенье  
И снова скроется во мгле,  
Но после каждого виденья  
Немного легче на земле.

И с каждым разом мысль упрямей,  
Что мир совсем не обречен,  
Что, словно фреска в древнем храме,  
Лишь грубо замалеван он.

И некий Мастер, в час свершений  
К нему заботливо склонясь,  
Освободит от оскорблений  
Его классическую вязь.

1951

\* \* \*

Я не улавливаю знаков  
Иных, неведомых миров,  
Мой путь с другими одинаков,  
Я тоже им идти готов.

Но принимая непреложность  
Назначенного мне пути  
Я верю всё-таки в возможность  
До невозможного дойти.

Пусть ранит этот путь камнями,  
Но я зато богат порой  
Таинственными черепками  
В пыли подобранными мной.

Какой чудеснейшей амфоре  
Из неизведанной страны,  
Сплетаясь в редкостном узоре,  
Принадлежать могли они?

Перебирая их несмело,  
Твержу я в помыслах моих:  
Как хороша должна быть в целом  
Разрозненная тайна их!

*1964*

# Кудашев

## Николай Всеволодович

(1905–1979) – поэт.



Родился в 1903 году в Кременчуге в старинной дворянской (княжеской) семье, ведущей родословную от Чепая Кудашева, потомка чингизидов, принявших православную веру. Среди предков поэта – участники войны 1812 года. Дед был декабристом, о чем Кудашев не без иронии писал в стихотворении «Внук декабриста» (1925): «Он жаждал свободы – я жертва свободы! / Он сеятель смуты – я жнец!».

Детство будущего поэта прошло на Днепре, он «вырос на песнях о “Варяге” и “Стерегушем” и на рассказах участников обороны Порт-Артура» (предисловие к сб. «Тени»).

В 1919 году шестнадцатилетний князь вступил добровольцем в Белую армию. Был ранен. В конце 1920 года эвакуировался с войсками Врангеля в Королевство сербов, хорватов и словенцев, где в закончил кадетский корпус и кавалерийское училище. Произведенный в корнеты, в составе 12-го гусарского Ахтырского полка в течение 20 лет нес службу в пограничных войсках Королевства.

В 1941 году вступил в «Русский Корпус», созданный в Сербии для охраны семей белоэмигрантов, в 1942 году вошедший в состав вермахта. В конце войны Кудашев был откомандирован в Офицерскую школу РОА и вместе с многими участниками этой армии оказался в американской зоне оккупации в лагере Платтлинг, откуда была произведена первая насильственная репатриация советских граждан. Трагедия Платтинга запечатлена в стихотворении «Огарки». Звучит она и в «Отцовской хате». Избежав этой участи (Кудашев никогда не был советским гражданином), он активно противодействовал насильственной репатриации других белоэмигрантов, за что в 1947 году был подвергнут аресту американцами.

В 1949 Николай Всеволодович уехал в Америку, где, как он сам писал, «мог заниматься только физическим трудом, т. к. английского языка не знал и не имел никакой специальности, кроме военной». До

самой пенсии он был рабочим на нью-йоркском пищеперерабатывающем комбинате.

Стихи начал писать приблизительно с 1919 года и всю жизнь. 9 его стихотворений вошли в легендарный мюнхенский сборник 1947 года «Стихи». Однако, многочисленные перипетии послевоенной жизни привели к потере большинства рукописей. Изнурительный труд не позволил ему даже посещать кружок поэтов, куда он был принят.

Восстановленные по памяти стихи Кудашев издал уже будучи на пенсии незадолго до своей кончины, назвав книгу: «Тени». В предисловии к этому небольшому сборнику он писал, что посвящает его «погибшим и живым соратникам» и надеется, что читатели «из этих обрывков моих песен узнают и поймут, как мы любили Родину и жили только думами о ней».

Значительный интерес представляет способность лирического героя чувствовать себя наследником боевых традиций предков и верным слугой отечеству: «И я степняк, и я гусар, / Но без степей и без коня», – скажет о себе поэт в стихотворении «Три поколения».

Гражданские мотивы в поэзии Н. Кудашева соединяются в лирическими переживания автора. «Личное утонет в общем горе», – писал он в стихотворении «Другу».

Форма и ритмика его стихов – традиционны.

Имя Н.В. Кудашева неразрывно связано с поэзией О. Анстей, влюбленной в красавца-князя и ради него даже расставшейся с И. Елагиным. Во многих стихах поэтессы звучат мотивы ее неразделенной любви.

## Сочинения

Тени. – Сан-Франциско, 1978

Тени. – М., 1995



## ТРИ ПОКОЛЕНИЯ

На горбоносом степняке,  
Арканом тешась на ходу,

Пригнувшись радостно к луке,  
Мой пращур вел свою орду.

И под копытами трава,  
И под стрелою супостат, –  
Все поникало, лишь молва  
Росла, опередив набат.

Перед Московии царем  
Татарин голову склонил.  
Той клятве, данной дикарем,  
Никто в роду не изменил.

В ответ на грозный ураган,  
В святом двенадцатом году  
Мой прадед, славный партизан  
Был в стае славных на виду..

И он топтал своим конем  
И супостата, и ковыль –  
Степняк татарин ожил в нем....  
могильный сон... архивов пыль

И вашу кровь и ваш порыв  
Я унаследовал вполне:  
В боях не раз глушил разрыв  
И конь носил по целине.

Все то, что тешило татар,  
Наивно радует меня:  
И я степняк, и я гусар,  
Но без степей и без коня.

## **СТАРИНА**

В библиотеке нашей когда-то  
Я нашел описание бала,

В дневнике – полустертые даты,  
Потускневшие инициалы.

«Двадцать пятого бал у майора.  
Я с корнетом прошла в полонезе,  
Через зал подлетел он “на шпоре”  
И поклон мне учтиво отвесил.

Был он статен, изящен и ловок,  
Отливалось шитье эполета...  
Не одна из прелестных головок  
Закружилась под звук менуэта.

А ему я потом в котильоне  
Улыбнулась лукаво и мило»...  
С той поры, в золотом медальоне,  
Та улыбка, портретом застыла.

На окне индевеют узоры.  
В канделябрах высокие свечи,  
Мимолетные беглые взоры,  
Беззаботные ясные речи...

Это бабушкой нашей писалось.  
Отдыхаю над каждой страницей.  
Ничего... Ничего не осталось  
От усадеб и блеска столицы...

## АНДРЕЙ

Был у Тараса младший сын,  
Не из корысти, страха  
Он перекинулся один  
В стан осажденный ляха.

Для панночки принес мешки  
И вынул хлеб горячий,

Что перед нею казаки  
И срам постыдной сдачи.

Как сокол на своих напал,  
Повесив шарф любимой,  
Но гулко грянул самопал,  
Тарасом наводимый.

Не колос срезанный косой, –  
Упал изменник чести,  
Убит отцовскою рукой  
За преданность невесте.

Был у Тараса сын меньшей  
Я... презирал Андрея,  
Остап владел моей душой  
Теперь... мне шарф милее.

*1942 г. Белград.*

## **ОГАРКИ**

Их осудили выдать палачу!  
Горит свеча, становится огарком...  
Какое мужество стоять плечо к плечу  
И догорать безтрепетно и ярко!

Их счастье было уцелеть в боях,  
Пройти горнило испытанья плена, –  
Чтобы мечтать о бритвенных ножах,  
Чтоб умирать перерезая вены...

Как жутка человеческая мгла,  
Как страшны человеческие были!  
На Родину... отправлены тела...  
Глаголят мертвые и камни возопили!

*1946 г. Платлинг*

## ТЕНИ

Вокруг неоглядные дали,  
На версты хлеба да камыш!  
До вечера там отдыхали  
Луна и летучаямышь...

На смену багряным закатам  
Спускалась бездонная тьма, —  
Пьянила степным ароматом,  
Привольем сводила с ума...

Сестра на скамье у беседки  
Белела неясным пятном, —  
К ней тополь протягивал ветки,  
Разбуженный вдруг соловьем...

Плечо целовала прохлада,  
К ногам припадала роса,  
И в сумерках старого сада  
Тонула тугая коса...

Не ценное сделалось ценно!  
Дремучая русская тишь  
Не снится ли здесь? Неизменно  
О ней наяву говоришь!

Но сгнули в тьме наваждений  
И чаше, испитой до дна,  
Мои ненаглядные тени,  
Отчизны моей целина.

*1946 г. Бавария*

## ЭТАКИХ МЫ ИЩЕМ!

Когда дымились стены городов  
И факелом пылали эшелоны, —

Из лазаретов, от большевиков,  
Брели на Запад раненых колонны.

На сером небе, видимо, пилот  
Не опознал значительной добычи...  
Казалось на земле, что время не идёт!  
Казалось людям – ужас безграничее!

«Ложись!» – Легли покойникам под стать.  
На костыли обрушивались взрывы,  
Чтоб ломаные кости доломать,  
Чтоб полумертвые не оказались живы!

А те, немногие, что медленно, с трудом  
Еще смогли ползти до полустанка, –  
В летучке бредили, когда раздался гром  
И лязг. С Востока подходили танки.

Дверь хлопнула... Сверкнул советский герб  
За кожанкой вошедшего брюнета...  
Спросили русского: «Ты немец?» – «Нет, я серб!»  
«Не до тебя нам, некогда, а этот?»

Молчал сосед, оборотясь к стене...  
«Наверно, серб? Лежи, лежи дружище»  
– «Я русский офицер!» – раздалось в тишине.  
«Ага! Ты русский! Этаких мы ищем!».

Казалось людям – время не идет...  
Гревели выстрелы, работали приклады...  
Пропавших без вести за сорок пятый год  
Ни забывать... ни ожидать не надо!

*1950 г. Нью-Йорк*

### **МЫ ВЫДЕРЖИМ!**

Мы много выдержим, мы всё переживем...  
Не в первый раз в туман уходят цели.

Рожденные невзгодой и огнем,  
Мы те немногие, что снова уцелели.

Сомкнем ряды по-прежнему тесней,  
Мы русские, а это имя свято,  
На свете нет надежней и верней  
И тверже нет российского солдата.

В своих сердцах мы ладанкой несем  
Кусочек Родины: кто – степи Украины,  
Кто – Русь Московскую, кто – глушь за Иртышом,  
Кто – Севера суровые картины.

И, где бы ни были, мы не пропустим час  
На первый клич явиться под знамена,  
Недаром Бог нас в эти годы спас,  
Давно оплаканных, заочно погребенных...

Нет места нам за чуждым очагом,  
Нас ждет свой дом, свои волнуют цели.  
Мы много вынесли, но русскими умрем,  
Как прожили от самой колыбели.

# КУШНИР

(урожденная Абрамович-Абрамова)

## Вера Сергеевна

*(1926–2011) – христианская поэтесса,  
автор рассказов для детей.*



Родилась в г. Сталино (Донецке). Отец Сергей Абрамович (Абрамов), происходил из знатной дворянской семьи, получил юридическое образование. Глубоко верующая мать Евгения Розенберг – филолог по образованию, дочь христианского пастора и миссионера Леона Розенберга, проповедовавшего с 1900 по 1922 гг. среди евреев Одессы, основателя протестантской миссии «Вефиль».

В школе была атеисткой.

Перед концом Второй мировой войны, вспоминала Кушнир, «...мы попали на Запад, где пришлось много и тяжело работать: и у крестьян на полях, и на строительстве барачков, и на авиационном заводе у токарного станка».

В первый год после окончания войны вышла замуж за Евстахия Кушнира. Их первый ребенок умер сразу после рождения, второй в годовалом возрасте – в лагере Ди-Пи, где супруги прожили до середины 1948 года.

Именно в это время она под влиянием матери прониклась верой в Бога.

В конце 1940-х гг. переехала в США. Жила в г. Санта-Барбара (шт. Калифорния). С 1959 г. принимала участие в евангельском радиовещании на русском языке. С 1980 г. работала в директорате основанной в свое время дедом миссии «Вефиль», после 1994 года некоторое время была директором этой миссии США и в Израиле.

В. Кушнир входила в редакционную коллегию газеты «Наши Дни», издаваемой Тихоокеанским объединением славянских евангельских христиан-баптистов (Сакраменто, шт. Калифорния, США) (2000-е гг.), печаталась в журналах «Вера и жизнь», «Менора» и «Тропинка». Издала несколько сборников духовной поэзии, рассказы для детей. Воспитала 4-х детей и 10 внуков.

В последние годы жизни была на пенсии, но продолжала трудиться на миссионерской ниве.

## Сочинения

- Детские рассказы: Рассказы тёти Тани. – Корнталь: Свет на Востоке, 1989. (2-е изд. 1993).
- Земля и Небо: Стихи. – Селигенштад (Германия): CVG (Христианское издательство), 1990.
- Женщины-миссионерки. – Wheaton: SGP (Славянское христианское издательство), 1994. (на англ. яз.: Hope of Salvation Mission, 2005).
- Жизнь лишь одна: Биография Леона Розенберга, основателя и директора Американо-Европейской миссии «Вефиль». – Wheaton: SGP (Славянское Христианское Издательство), 1997.
- По следам веры...: Избранное. – Ульм: Свет на Востоке, 1998.
- Невидимые руки: Автобиографическая повесть. – Корнталь: Свет на Востоке, 2004.
- Женщины Библии. – Надежда спасения, 2005.
- Христианская семья. – Hope of Salvation Mission, 2005.
- Строчки на белом листе: Стихи. – Свет на Востоке, 2010
- Избранное.** – Киев: Светильник; ОРА Интернешнл, 1996.
- Стихотворения: В 2-х томах.** – М.: Буквица, 1999.
- Стихотворения: В 2-х томах.** – М.: Библия для всех, 2006.
- Собрание сочинений: В 3-х томах.** – М.: Библия для всех, 2006.
- У Его ног (Стихи).** – Киев: Свет на Востоке, 2008.

## Публикации

- Внучка рабби-миссионера // Менора: еврейский мессианский журнал – Германия, 1995. № 3.



## РОКОВОЙ РАЗГОВОР

(Отрывок из книги «Женщины Библии»)

До того, как Ева вступила в свой знаменитый роковой разговор с искусителем в тот памятный в истории человечества день, первые на земле мужчина и женщина были в состоянии полной гармонии с Богом и самими собой. Ночью они спали рядышком тихим, спокойным сном, ощущая любовь и близость друг друга. Дни проводили в интересной работе, увлеченные тем, что их окружало, и в постоянном

наслаждении общением с Богом и друг с другом. Когда дневная жара спадала и наступал вечер, они не испытывали ни усталости, ни скуки. Они радовались, потому что по вечерам, в прохладе дня, Сам Бог посещал их, и они общались с Ним в тех идеальных условиях, которые Он создал для них. Они с нетерпением ожидали этих встреч, прислушиваясь к первым звукам Божьего голоса. У них всегда было много новостей и вопросов, а Он охотно и внимательно выслушивал их.

До тех пор, пока Ева не заговорила с искушителем, никаких несчастий и бед не было не только в Едемском саду, но и по всему лицу земли. Начало всем несчастьям для всех людей всех последующих времен было положено женщиной по имени Ева!

Первым Бог сотворил Адама, но это не возлагало на него большую ответственность, чем на позже созданную для него жену. Как от человека Бог не ожидал от Адама большего, чем от Евы. Оба они были сотворены по образу и подобию Божьему, и все получили от Него в равной мере. Им были предоставлены идеальная атмосфера, чистый воздух для легких, вкусная, обильная и здоровая пища для питания тела, красота природы для наслаждения взора и все условия, необходимые для творческой, счастливой жизни на земле. Им обоим был поручен полезный, неизнурительный труд. Кроме того, оба они имели полную свободу и постоянную возможность непосредственного общения с Богом.

Бог возложил на них одинаковую ответственность за послушание Ему как Создателю и Отцу. Он позволил им есть плоды всех деревьев, кроме одного, плод которого был им не нужен. Это было дерево познания добра и зла, и поскольку Бог знал все, у них не было необходимости тоже знать все; достаточно было только полностью полагаться на Бога, чтобы навсегда сохранить сладость совершенного общения с Ним. Он запретил им употреблять в пищу плоды этого дерева потому, что только Он Сам мог отличать добро от зла. Они не обладали этой способностью и знали только добро. Бог любил людей и старался оградить их жизнь от вызванного злом напряжения и борьбы и сохранить ее такой, какой она была – мирной, беспечной, тихой и вечной. Он хотел, чтобы их семейный очаг не знал раздоров, чтобы они всегда сохраняли покой и радость.

Воля Божья заключалась в том, чтобы жизнь людей проходила в согласии друг с другом и была полноценной и творческой. Бог

сознавал важность этого, как никто другой, потому что только Он – Бог. Он запретил людям вкушать от дерева познания добра и зла не потому, что хотел испортить им настроение, лишив их чего-то, а для того, чтобы на все времена сохранить тот душевный покой и согласие, какими наделил их изначально.

Однако ни Адам, ни Ева не были марионетками, связанными невидимыми нитями с рукой Бога. Только узы любви связывали их сердца с сердцем любящего Создателя и Бога, при этом им был дан опасный и в то же время славный дар выбора.

Со Своей стороны Бог сделал для них все, а затем дал им свободу выбирать послушание или непослушание Ему. Оба они получили эту свободу в равной мере, и Бог не велел Адаму властвовать над Евой, а Еве – командовать мужем. Господь не ожидал от одного больше, чем от другого. Он только сказал: «От дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь», и эти слова в равной мере относились как к мужу, так и к жене.

Когда Ева поддалась на ловкие уговоры искусителя, Адам раз и навсегда доказал, что женщина обладает исключительной силой влияния. Он доказал это тем, что и сам вместе с ней и по ее слову поддался искусителю! Он мог бы этого не сделать: ведь у него была свободная воля. Но факт остается фактом и приводит нас к другому неоспоримому выводу: несмотря на то, что каждый человек морально ответственен перед Богом только за себя, на женщинах лежит особая ответственность за то, чтобы их жизнь влияла на окружающих угодным Богу образом.

Трудно объяснить присущее женщинам особое влияние. Оно не превозносит их над мужчинами, а просто указывает на то, что между ними настолько огромная разница, что искуситель решил подойти именно к Еве, а не к ее мужу.

Не имеет значения, основано это различие на слабости или силе; важен тот факт, что все беды на земле начались с рокового разговора женщины по имени Ева с «хитрейшим из всех зверей полевых» – ее искусителем.

Через тысячелетия прогресса и регресса, страданий, слез и радости, зарождения и падения культур до наших ужасающих своей действительностью дней докатываются волны последствий этого рокового, единственного в своем роде разговора.

И все же в своем непослушании Богу Адам пошел дальше Евы. Здесь напрашивается цитата из книги архиепископа Иоанна Сан-Францисского (Шаховского) «Записки о любви к Богу и человеку»:

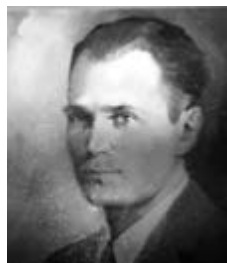
«Неправда в самооправдании: оно ведет к обвинению другого человека, а обвинение другого приводит к обвинению Бога. Легчайшее же обвинение Бога ведет к демоническому восстанию против Него. Первый грешник прошел все фазы греха, возложив ответственность за свое зло на другого человека и на Бога: “Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева” (Бытие 3,12). Так и стал в истории говорить человек. Это сущность греха и гибели.

А первая грешница не впала среди своего жалкого оправдания в Богообвинение. Она тоже не покаялась Богу и ответственность за свой грех возложила на другого – «Змей обольстил меня» (Бытие 3,13), – но не сказала своему Творцу: «Змей, которого Ты сотворил»... И, может быть, от этого сохранился во всех женщинах тот особый, присущий только им дух смирения, который дает им силу более, чем мужчинам, прибегать к Богу всем существом своим, всем сердцем. И через «семя жены» (Бытие 3,15), а не мужа, пришел Искупитель».

# МАКСИМОВ

## Сергей Сергеевич

*(1916–1991) – прозаик, поэт и драматург.*



Сведения о настоящей фамилии рознятся: в США его брат жил под фамилией Пашин, краевед и литературовед А. Любимов утверждает, что правильно говорить Пасхин; вдова Н. Пашина называла мне фамилию Паршин). Будущий писатель родился 1(14).7.1916 в с. Чернопенье Костромского уезда Костромской губ. Все предки Максимова, за исключением отца-учителя, служили лоцманами или капитанами на Волге. Волга – один из центральных персонажей обоих романов Максимова.

В 1923 семья, опасаясь ареста после подавления восстания в Ярославле, переехала в Москву.

С 15-летнего возраста Максимов печатался в детском журнале «Мурзилка», юношей публиковался в молодежном журнале «Смена». Это позволило ему легко поступить в 1934 в Литературный институт. Проучился он недолго: в 1936 году его вместе с двумя товарищами арестовали за неосторожный разговор при обсуждении фильма «Человек-невидимка» и приговорили к 5 годам лагерей в страшном Печорлаге (160 км от Сыктывкара).

После освобождения писатель оказался в Смоленске, вскоре оккупированном немцами. За опубликованные под фамилией матери (Широков) книгу стихов и повесть «Сумерки» был арестован гестапо и отправлен в Германию, где с 1943 года сотрудничал в основанной немцами эмигрантской газете «Новое слово» и писал рассказы о ГУЛАГе. Однако весь тираж отпечатанной книги рассказов «Алый снег» погиб во время бомбардировки Лейпцига. Позднее писатель будет по памяти восстанавливать многие рассказы и публиковать их периодике под общим заголовком «На советской каторге». Задуманное отдельное издание «Одиссея арестанта» осталось неосуществленным.

Оказавшись в конце войны в Гамбурге, в лагере Менхегоф для перемещенных лиц, находившемся в американской зоне, Максимов

стал одним из создателей и редакторов журнала второй эмиграции «Грани». В первом номере журнала была опубликована его поэма «Танюша». Во втором – помещен его рассказ «Прохожая», в третьем – поэма «Царь Иоанн» об Иване Грозном.

Там же, в Менхегофе, Максимов написал свой первый роман «Денис Бушуев» (опубликован в «Гранях» в 1949 г., отдельной книгой в 1950 в издательстве «Посев»).

Критик русского зарубежья Ю. Большухин утверждал, что произведение «написано целиком в традиции русского романа» (супер-обложка кн.: Максимов С. Денис Бушуев. 2-е изд. Посев, 1974). Как известно, эта традиция соединяет в себе семейно-бытовое и социальное повествования. В центре романа любовный треугольник: русская красавица Манефа – нелюбимый ею, но страстно ее любящий муж Алим Ахтыров – и взрослеющий на страницах романа юноша-богатырь Денис Бушуев. Когда-то 19-летняя Манефа назло не посмевшему жениться на ней вопреки воле отца Сенечке вышла замуж за Алима. Уже на свадьбе она поняла свою ошибку и начала бунтовать. Нелюбовь к мужу перешла в ненависть и попытку убить ненавистного супруга. Однако убила она его брата Мустафу, спавшего в феске Алима. То примиряясь с Алимом, то вновь и вновь бунтуя, взрослеющая Манефа влюбляется с Дениса Бушуева, превратившегося за 5 лет из 16-летнего мальчишки в красавца мужчину, богатыря (дед зовет его «бурлаком»), непохожего ни на кого в слободе (он пишет стихи, живет особой творческой жизнью). Оба чувствуют преступность их любви, осознают, какую боль доставляют Алиму.

В романе есть знаменательная сцена, когда председатель райисполкома убеждает Алима, председателя колхоза, что у коммуниста не должно быть частной жизни, а в ответ получает гневные слова, что, «кроме общества, есть еще и человек. И у этого человека есть своя... его собственная жизнь... Вот о ней-то мы и позабыли». В этих словах сливается, как и положено классическому роману, личная драма Алима и разбросанные по разным главам романа описания бедственного положения колхозников, сцены начинающихся репрессий под демагогическими лозунгами о пользе страны и какого-то абстрактного народа, а не каждого человека. Личная драма Алима и понимание, что он отдавал силы неправому делу, разрешается описанным с огромным мастерством самоубийством этого горячего и совестливого человека. Смерть Алима перевернула и жизнь

других персонажей романа. Совесть (кстати, первоначально автор собирался дать роману это название) заставляет возлюбленных расстаться. При этом Манефа, не желая портить судьбу Денису, не скажет, что ждет ребенка. Более того, она решает признаться в убийстве. Но дед Дениса Северьян, в свои 80 лет остающийся полным сил, уговаривает ее беречь будущего ребенка и берет на себя ее преступление, тем самым искупая совершенное им когда-то убийство ради денег.

Максимову удастся психологически тонко передавать любовные чувства не только основных героев, но и юной Финочки, сестры Манефы; и дочери архитектора Белецкого Вари.

Интересна, хотя не до конца прояснена, фигура юродивого добряка и балагура Гриши Банного.

Всё действие романа происходит на фоне мастерски нарисованных волжских пейзажей. Волга в романе то «сумрачная» и мечется, «выплескивая желтую пену на прибрежный гравий, лижет песчаные косы, раскачивает одинокие и жалкие в такую ночь бакена. Это была не красавица-река, а измученная, истерзанная русская душа, бешеная в своем бессилии». То «посветлевшая», и в ней «полощется острыми разноцветными стрелами желтая луна». На небе висит то «алюминиевый полумесяц», то «зеленый рог месяца», в котором «вода, сливаясь с весел, сверкала голубыми искорками». «Светлые пушистые снежинки мягко и тихо ложились на холодную, каленую землю. И на небе светила непотушенная звездочка», «ложились на пушистые сугробы снега синие тени». «Голые тополя стучали, словно зубами». И над всем этим «огромным черным шатром раскинулось беспредельное звездное небо». «Родина» – несколько раз восклицают различные герои.

Роман получил широкое признание, был переведен на немецкий, английский и испанский языки. И.А. Бунин писал автору: «Вы несомненно талантливы. В романе Вашем много страниц интересных, своеобразных, есть лица оригинальные и хорошо изображенные»<sup>1</sup>. Понравился роман и таким признанным литературным мэтрам послеоктябрьской эмиграции, как Б. Зайцев, М. Алданов, М. Карпович.

В 1949 Максимов переехал в США, где познакомился со многими другими деятелями русской культуры. Здесь он написал роман

---

<sup>1</sup> [Предисл. издательства] // Максимов С. Денис Бушуев. Т. 1. 2-е изд. – Посев, 1974.

«Бунт Дениса Бушуева» (опубликован в изд. Чехова в 1956 году). Бушуев показан теперь известным писателем-лауреатом, не прислушавшимся к совету Сталина изображать Грозного народным царем и прочитавшим на вечере в Колонном зале финал поэмы «Царь Иоанн» (текст этой поэмы Максимов опубликовал еще в 1947), где царь изображается палачом. Писатель показал арест, допросы поэта неким садистом Бергом, эпизодической фигурой финала еще первой книги). Роман завершается побегом Дениса из эшелона арестантов, проходящего по родным местам героя, ранением и смертью в родном доме. «Бунт Дениса Бушуева» явно уступал первой книге о становлении молодого поэта и его земляках, и был холодно принят критикой.

Подлинным мастером писатель проявил себя в рассказах сборника «Тайга» (1952).

15 рассказов книги повествуют о буднях ГУЛАГа, о трагедии ареста, допросов и предательств друзей («Одиссея арестанта»), об ужасах этапов, когда в трюм парохода загоняют три тысячи человек, а в камере пересыльной тюрьмы вместо положенных 25 мучаются 107 («На этапе»), и об убивающем труде («Пианист», «Стошестидесятый пикет»). Рассказы о трагедиях и издевательствах над людьми («Одна ночь», «Княжна», «Забава») соседствуют с повествованиями о «счастливых» и трагикомических буднях арестантов («В театре», «Счастье»). Тем страшнее рассказанная писателем жизнь.

Максимов, писал рецензент «Литературного современника» о «Тайге», «умеет в нескольких штрихах дать яркий, законченный тип, нарисовать картину, создать цельность и незабываемость... Крохотные черточки врезаются в память» («Лит. современник», Мюнхен, 1952. № 4).

Философско-драматическую основу конфликтов составляет мысль о борьбе животного и человеческого в экстремальных условиях. Ничего человеческого не видит писатель в зэках-уголовниках. «Здесь уже не было людей. Здесь были звери», – говорится об уркаганах в рассказе «Стошестидесятый пикет». «Поет свою страшную панихиду тайга», и в унисон с ней урки удовлетворяют свою похоть в мертвецкой («Одна ночь»). Вынуждает к сожительству с ним Веру жестокий жулик по кличке «Чума» из одноименного рассказа. Тщетно бодрится вернувшаяся домой княжна, горько рыдает ее мать, понявшая, какой ценой заработаны масло, конфеты, хлеб. «А дождь

все лил и лил, превращая в грязь серую пахучую землю», – завершает рассказ автор.

«Холодно. Ах, как холодно на этой земле!..» – звучит авторский вывод в финале рассказа «Прохожая». «Вода плещет о борт, словно убаюкивает, сыро, темно, смрадно. Тяжелый многоголосый храп. А в сердце тоска и холод», – завершается рассказ «На этапе». Мрачен финал новеллы «В снежной могиле», где лагерь сравнивается с могилой.

Не только уголовники-урки, но и начальники лагерей, «воспитатели» давно потеряли человеческий облик. Не случайно повествователь замечает нечто общее между уголовником Гришкой-филоном и начальником всех лагерей «товарищем Яковом Морозом». Особенно страшно и психологически достоверно выглядят в книге «интеллектуальные палачи». Благодушно настроен и выставляет себя чуть ли не отцом родным для заключенных боров-начальник Казарин. Но стоило заключенному Кириллу посмеяться над тем, как забавно упал Казарин в воду, и тот застрелил юношу. Рассказ довершается эпическим финалом: «Луна тихо полоскалась в холодной воде, уносящей нас все дальше и дальше. Звездное, звездное небо...».

Противоречие между высшим смыслом бытия и повседневностью создает трагический настрой.

И тем не менее, от первого рассказа «Прохожая» до последнего «Прокаженный» лейтмотивом проходит мысль о тяге человека к свободе, о нравственном преодолении страха. Не захотела сбежавшая из лагеря женщина вернуться к издевательствам – застрелилась. Выбор побега и смерти вместо унижений и рабства делает Митька-Пан («Пианист»), голодный охранник морга выбрасывает буханку хлеба, полученную от циников-сладостолбцев («Одна ночь»), борьбу вместо смирения выбирает герой рассказа «Прокаженный», уже после освобождения надерзивший секретарю горкома партии. Не оказывается поражением и согласие княжны стать любовницей негодяя: подобно Соне Мармеладовой она жертвует собой во имя немощной матери, тоже находящейся в лагере («Княжна»).

Даже театральная постановка, поставленная заключенными, воспринимается как протест против режима. «Все 3000 человек переживали вместе с нами предстоящее событие и желали успеха, оставивали на дороге, просили: – Братцы, уж вы там дайте жизни... Покажите начальникам, на что заключенный человек способен!..» («В театре»).

Рассказы Максимова о ГУЛАГе, сведения о котором писатель черпал из собственного лагерного опыта, предвосхитили прозу А. Солженицына и особенно В. Шаламова.

Вышедший в 1953 году сборник «Голубое молчание» включал в себя два рассказа о войне («Голубое молчание» и «Темный лес») и анекдотичную историю («Издательство»), а также написанную в 1941 году повесть «В сумерках» о довоенной жизни. В книгу вошли: написанная еще в лагере в 1940 году поэма «Двадцать пять», поэма-стилизация под народную балладу «Танюша» (1941) и «Царь Иоанн» (1945), а также две пьесы: шутка «В ресторане» и отличающаяся схематизмом и излишней политизацией драма «Семья Широковых».

В 1957 г. Максимов опубликовал «Новом русском слове» три главы из третьего тома романа. Автор воскресил погибшего в финале второй книг Дениса Бушуева, рассказал о немецком нашествии на Россию, о жизни односельчан Дениса во время войны.

Но уже в начале 50-х годов для писателя начались страшные времена. Из-за постоянного недуга (алкоголизм) в 1951 году от него ушла Софья Спиридоновна Спицына. Они поженились еще в 1943 году, именно она вырвала его из лап гестапо. Литературный труд не приносит средств для существования. Попытки преподавать в различных вузах Америки не увенчались успехом: его отовсюду выгоняют – иногда справедливо, чаще несправедливо. У Максимова нет жилья: он кочует от одного сжалившегося над ним человека к другому. Изредка живет на Толстовской ферме близ Нью-Йорка. Порой буквально оказывается на улице, порой в больницах, в том числе психиатрических. Писатель живет на вспомоществования и небольшие суммы, которые посылает ему брат Николай, ставший историком. 8 сентября 1951 года Сергей пишет брату: «Теперь у меня полная бесперспективность – вот что ужасно. Больной, мучительно одинокий, презираемый почти всеми, нищий, шатающийся по Бродвею из семьи в семью в надежде занять доллар, чтоб утром съест в обжорке супу на 20 центов и поехать на работу, – кому, ну кому я такой нужен?»<sup>2</sup>. Изредка удается напечатать всё в том же «Новом русском слове» кое-какие рассказы: о ГУЛАГе («Голубой бант», «Аферист», «Княж-Погост», «Третий случай»), о войне («Агроном-

---

<sup>2</sup> Цитирую по статье А. Любимова «Между жизнью и смертью: Судьба и творчество писателя Сергея Максимова. Часть 2» // Новый журнал, 2009. № 255.

ша», «Вдова»), о Волге («Ленивый луг», «Алешка Булатов»). В 60-м году в «Новый журнал» напечатал рассказ «Фома Погребцов».

Болезнь, вызванная травмой головы после падения в 1965 году, прогрессировала и в конце концов оказалась смертельной. Умер Сергей Максимов 11 марта 1967 г. и похоронен в Сан-Франциско на Сербском кладбище. Над могильной плитой установлен крест из темного гранита работы архитектора А.А. Нератова.

## Сочинения

Тайга. – Н-Й.: изд. Чехова, 1950.

Денис Бушуев. – Франкфурт на Майне: Посев, 1950.

Голубое молчание. – Н-Й.: изд. Чехова, 1952.

Бунт Дениса Бушуева. – Н-Й.: изд. Чехова, 1956.

Денис Бушуев. – 2-е изд. – Франкфурт на Майне: Посев, 1974.

## Публикации

Голубое молчание // *Возр.* 1949. № 6.

Денис Бушуев // *Грани.* 1948. № 4; 1949. № 6 / 7.

Прохожая // *Грани.* 1946. № 2.

Танюша // *Грани.* 1946. № 1.

Фома Погребцов // *НЖ.* 1960. № 62.

Царь Иоанн // *Грани.* 1947. № 3.



## ДЕНИС БУШУЕВ

(Ч. I. гл. XIX-XX)

Поздний августовский вечер. В ключьях темных облаков плавно нырял зеленый серпик луны. Под сильным верховым ветром гнулись деревья, шумела Волга. Грустно стучала колотушка ночного сторожа – глухого старика Чижова.

В доме Бушуевых еще не спали. На кухне при свете керосиновой лампы Ульяновна гладила белье. Напротив нее за тем же столом, сидел Денис и, наблюдая за утюгом и ловкими руками матери, слушал

ее песни. Ульяновна пела так тихо, что иногда переходила на полупрошеп, но сохраняя мелодию и отчетливо произнося слова.

Вся она, – и черным простым платьем, и маленькой фигурой, и стрелками бесчисленных морщинок вокруг тихих скорбных глаз, – излучала такой уют и такое тепло, что Денис готов был сидеть до утра и без конца смотреть на нее и слушать ее песни.

Горят, горят пожары, они всю неделюшку,  
Ничего в дикой степи не осталось...

пела Ульяновна, и сердце Дениса наполнялось тихим и светлым успокоением.

Оставались в дикой степи горы крутые.  
Как на этих горах млад ясен сокол...

Денис очень любил песни, особенно, когда их пела мать. А песен Ульяновна знала бесчисленное множество всяких: и свадебные песни заводила она, и посиделковые, и любовные, знала и «романсы», где льется кровь и сверкают ножи. Денис и сам уже много знал и запомнил из того, что пела она, но всякий раз Ульяновна вспоминала что-нибудь новое.

– Мамаша, спой «Липу вековую».

– Да что ты, Денисущка, к этой песне привязался? Что она тебе так полюбилась? – улыбнулась Ульяновна.

– Не знаю. Нравится она мне. Спой.

– Ну, слушай.

Липа вековая  
Под окном стоит.  
Песня удалая  
Вдалеке звенит.

Лес покрыт туманом,  
Словно пеленой.  
Слышен за курганом  
Лай сторожевой...

На полатах заворочался Ананий Северьяныч. Он еще не спал и мысленно подсчитывал предстоящие расходы по хозяйству, прислушиваясь в то же время к песням жены. Он не то чтобы любил песни, а слушал их иногда так – от нечего делать.

– Подожди, Денисушка, – оборвала сама себя Ульяновна, – вот я вспомнила хо-орошую одну... Слушай.

Колечко мое позлащенное, –  
Ох, я с милым дружкой разлученная.  
Он давал-то мне ручку правую,  
Целовал меня в щеку алую.  
Не целуй меня, не уговаривай,  
Ох, не хочешь любить – не обманывай...

– Ульяновна! – перебил ее Ананий Северьяныч, свешивая сивую бороденку с полатей, – чегой-то мне третью ночь подряд белые вед-меди снятся? Как глаза закрою, так все на север еду, все на север...

– А ты на каком боку больше спишь? – улыбнулась Ульяновна.

– На левом.

– Так ты повернись на правый, тогда на юг поедешь.

– На юг, говоришь? – недоверчиво переспросил Ананий Северьяныч. – А вот я чичас попробую.

Но только было он улегся на правый бок, как в окно кто-то громко постучал. Денис толкнул раму. Это был дед Северьян.

– Ананий! – громко крикнул он, просовывая лысую голову в дом.

– Чево тебе? – лениво отозвался с полатей Ананий Северьяныч.

– Красный бакен потух.

– Что?! Который? – тревожно спросил Бушуев, прыгая с полатей на пол и ошалело глядя на отца.

– Что возле гряды. Снизу буксирный идет, как бы не напоролся на камни без сигнала-то... – предупредил дед Северьян, скрываясь в темноте.

– Ах ты, пропасть какая! – выругался Ананий Северьяныч, натягивая на босые ноги кожаные сапоги. – Дениска! Зажигай запасной фонарь, да поедем, стало-быть с конца на конец.

– Зачем же запасной фонарь брать? Зажжем тот, что на бакене, – сказал Денис, вставая из-за стола и подтягивая ремень на штанах.

– А ежели стекло на ем разбилось! – крикнул Ананий Северьяныч, удивляясь на недогадливость сына. – Ох, и дурень же ты, Дениска. Дурень стоеросовый!

– Темень-то, темень какая! – покачала головой Ульяновна – и буря! Ты, отец, осторожней там, не потопитесь в Волге-то...

– Утопленников и без нас, Ульяновна, много плавает. Как-нибудь... с Божьей помощью не потопнем. Служба, Ульяновна, служба, – суется, заключил Ананий Северьяныч.

– Ну, храни вас Господь! – сказала Ульяновна, крестя воздух.

На берегу было темно и шумно. Месяц скрылся. Черные громады волн, шипя, накатывались на прибрежный гравий. Гнулись, трепеща листвой, кусты тальников. Денис долго не мог распутать узел веревки, которой лодка была привязана к коряге.

– Да что ты там: в карты что ль уселся играть? – крикнул на него отец, надевая весла на деревянные уключины.

– А ты, папаша, чем кричать – посветил бы!

– Так бы и сказал... Язык-от, чать, у тебя есть аль нет? – проворчал Ананий Северьяныч, поворачиваясь и подымая фонарь. – Ах, ты пропасть какая! И когда это только он потух, дьявол!

Из-за колена реки, сверкая огнями, медленно и бесшумно выросстал буксирный пароход. Из-за рева ветра и волн не слышно было стука колес.

– Идет, проклятуший! Идет! – застонал Ананий Северьяныч, – торопись, Дениска, а то он и впрямь без сигнала-то брюхо о камни напорет... А мне лет десять дадут! Дадут черти, дадут определенно.

Денис изо всех сил греб. Ананий Северьяныч сидел на корме и помогал Денису кормовым веслом. Углый ботник швыряло с волны на волну, и казалось непонятным, как его не зальет водой.

– На отцовской лодке надо было ехать... – вздыхал Ананий Северьяныч, – та все-таки поболее будет... Ах ты, пропасть какая! Не опоздать бы. Лет десять, стало быть с конца на конец, мне дадут за аварию... Не зря мне белые ведмедь снились.

Когда ботник взлетал на гребень волны, Денис попадал веслом в яму, промахивался и обдавал брызгами Анания Северьяныча. Но Ананий Северьяныч не обращал на это внимания, он работал кормовиком, и остро, по-хищному, вглядывался в черные волны, отыскивая глазами потухший бакен.

На стрежне реки волны были большие, чем у берега, но не дробились, а плавно вздыхали, шипя гребнями. Горевший на дне лодки фонарь, установленный в станину, сгущал и без того непроглядную темень. Ананий Северьяныч сбросил с плеч телогрейку и закутал ею фонарь. Непостижимо было, как и на что он ориентировался, управляя лодкой. Берега давно уже пропали в черноте ночи.

— Не сильно ли влево берем, папаша? — забеспокоился Денис.

— Не, не, Дениска... Тута вот и должон быть бакен... Где-то тута. Гребни посильнее, посильнее...

Ладони Дениса уже горели, натертые ручками весел, рубаха взмокла от пота, но усталости он не чувствовал. Он знал, что надо во что бы то ни стало найти бакен, зажечь его, и борьба со стихией волнующе-тревожным стуком отзывалась в сердце.

— Вот он! — радостно воскликнул Ананий Северьяныч, загребая воду кормовиком и поворачивая ботник.

Денис взглянул через плечо. Плавно вздымаясь на горбах волн, качался конус бакена. Теперь предстояло самое трудное — пристать к нему и сменить фонарь. Три раза цеплялся Ананий Северьяныч за деревянную пловучую крестовину, на которой стоял бакен, и три раза вынужден был отпускать руки, ибо ботник от резкой остановки черпал бортом воду.

— Кормой приставай, Дениска! Кормой, а не бортом! Потонем к чёртовой бабушке! — кричал он на сына.

Денис развернул ботник и ткнул его кормой в крестовину. От толчка Ананий Северьяныч чуть не слетел за борт, но удержался.

— Тише, леший!

Бушуев, выбрав момент, с налета выдернул из конуса потухший фонарь.

— Стекла целые... Чего ж он потух? — удивился он, ощупывая фонарь.

— Скорее, папаша, скорее! Вишь, воды сколько в лодке... — торопил отца Денис, беспокойно следя за тем, как обламывались о борт ботника гребни волн.

Ананий Северьяныч, кряхтя и ругаясь, долго не мог поставить в конус зажженный фонарь. Когда же он его, наконец, установил, то ботник был наполнен до половины водой. Фонарь зловещим красным светом осветил фигуру Анания Северьяныча, конус и небольшое пенное пятно воды вокруг себя. Буксирный пароход, заметив

вспыхнувший впереди себя сигнал, резко менял курс, подбиваясь к левому берегу.

Назад ехать было трудно. Отяжелевший ботник, несмотря на все усилия гребца, подвигался медленно. Ананий Северьяныч, бросив кормовик, лихорадочно откачивал деревянным ковшом воду.

– Не убывает, не убывает, подлая, – сокрушался он, – я ее – ковшиком, а она в лодку ведром...

– Все равно, не успеем доехать до берега, – утешал его Денис.

Теперь уже волны не могли подымать ботник на себя, они смачно, с шумом сбрасывали в него седые шипучие гребни.

– Тонем, папаша...

– Еще нет, Дениска...

– Тонем...

– Еще маненько подождем...

– Сапоги бы скинул, папаша.

Ананий Северьяныч перестал работать ковшом, поднял его и посмотрел на ноги, почти до колен ушедшие в воду.

– Сапоги не скину...

Борта лодки чуть-чуть высывались из воды. Денис перестал грести, зачарованно глядя на большую волну, катившуюся на них. Она подошла мягко, слегка наклонила ботник, попробовала вскинуть на себя, но не подняла и, всхлипнув, обрушилась на него.

– Тонем, папаша!

Ботник плавно пошел под воду. Ананий Северьяныч отбросил ковш.

– Теперь, стало-быть с конца на конец, тонем...

Бушуев взмахнул руками и повалился в черную воду, стараясь упасть так, чтобы ботник не накрыл его. Дениса же перевернувшимся ботником накрыло, и он несколько раз стучался под водой затылком о скамейки и стлани, пытаясь вынырнуть на поверхность. Это продолжалось долго и мучительно. «Конец, погиб», – подумал он. Но жить хотелось, жить безумно хотелось. Он собрал силы и рванулся всем телом куда-то вверх... и снова стукнулся головой о ребристые стлани. Ему казалось, что он уже целую вечность под водой, что смерть теперь уже неминуема, и последнее, что надо сделать, это – открыть рот... Но вдруг в помутившейся голове ярко мельнула мысль, что надо нащупать борт и нырнуть вниз, а не вверх, и уже с собранным сознанием, отдавая себе отчет в том, что делает, он

нащупал левой рукой борт, оттолкнулся и легко пошел вниз, ко дну, забирая в то же время несколько в сторону. И рванулся вверх, собрав последние силы. Пробкой выскочил на поверхность и жадно вдохнул воздух вместе с пеной и брызгами.

Ананий Северьяныч уже давно был на поверхности и, плавал, держался руками за перевернувшийся вверх дном ботник. Он был обеспокоен исчезновением сына и, когда увидел его, вынырнувшего из воды, радостно закричал:

– Дениска! Плыви сюда и держись за ботник.

Денис подплыл и схватился за скользкое днище лодки. Он все еще никак не мог придти в себя от сознания того, что посмотрел в лицо смерти. Анания же Северьяныча охватило новое беспокойство: левый сапог соскальзывал с ноги.

– Утонет, чёрт, утонет... – плаксиво застонал он.

– Кто утонет? – глухо спросил Денис.

– Сапог.

Как ни трагично было положение, но Денис не сдержался и, против воли, улыбнулся.

– А что же, папаша, мы дальше будем делать?.. Ведь так долго не наплаваем...

– Кричать надо, Дениска.

Денис попробовал: раза два крикнул, но голос его в реве волн и ветра прозвучал так жалко, что отец и сын тут же поняли бесполезность этого занятия. Помолчав, Ананий Северьяныч изрек:

– А ведь, может, и взаправду потонем... Не зря мне белые ведмедьди снились.

Под левым берегом проходил пароход, волоча за собой караван барж. Но надежд на него не было никаких. Вряд ли на нем могли слышать крики погибающих.

Анания Северьяныча понемногу покидали силы.

– Слабость меня берет, сынок... Видно, долго не продержусь... А ты держись, сколько можешь. Тяжко будет матери двух-то оплакивать, сынок... тяжело...

Это неожиданное «сынок» больно отозвалось в сердце Дениса, и ему стало вдруг страшно жаль отца, на глазах навернулись слезы. О себе он уже в эту минуту не думал.

– Папаша... ты как-нибудь... держись...

Ананий Северьяныч, не отпуская правой рукой киль лодки, левой поддернул сапог.

– Слабею, Денис...

– Сбрось сапоги... легче будет, – посоветовал Денис.

– Сапоги не сброшу... Они еще новые... Дениска, ежели Бог даст спасешься – смотри, мать не забывай... мать береги... И Кирюшке передай мое слово...

– Держись... – чуть не плача проговорил Денис.

– Плохо, сынок... руки соскальзывают...

Выплыл месяц и голубым слабым светом озарил пенящуюся Волгу. И Денис заметил совсем рядом, саженьях в десяти от них лодку. Он закричал что было сил, протяжно, с надрывом.

– Ло-одку! Поддай ло-одку!

Гребец на секунду застыл, подняв весла, и, круто развернувшись, быстро подъехал к утопающим. В гребце Денис узнал Манефу. Она же, узнав Дениса и Анания Северьяныча, тихо воскликнула:

– Бушуевы? Чего вы здесь?

– Жарко стало... купаемся... – ответил осмелевший Ананий Северьяныч. – Подавай скорее лодку.

Она помогла влезть в лодку продрогшему и стучавшему зубами старику. В тот момент, когда он перевалился через борт, левый сапог соскочил с его ноги и исчез в воде.

– Сапог утоп! – закричал Ананий Северьяныч в отчаянии. – Денис, ныряй! Ныряй, дьяволенок!

Денис нырнул, но так как и он сильно ослаб, то через секунду вынырнул назад.

– Пымал? – спросил отец, упершись руками о борт и глядя на сына. С сивенькой бородки ручьями текла вода.

– Нет, – ответил Денис, влезая в лодку.

– Эх, что же я без сапога делать буду! – застонал Бушуев, садясь на лавку и охватывая руками голову. – А ты чего тут, стало-быть с конца на конец, по ночам разъезжаешь? – вдруг крикнул он на Манефу. – Люди добрые спят давным-давно, а она – нате вам – раскатывается, словно ясный месяц. Делать тебе, видно, нечего...

– К матери... в Отважное еду... – тихо сказала Манефа.

– К ма-атери... – передразнил Бушуев, – все бы к матери в такую пору ездили. К любовникам ездят по ночам – вот куда!

Манефа не лгала. В этот день, после ссоры с Алимом, она допоздна лежала в поле в копне ржи, а потом, не зная, что делать и куда идти, решила поехать на время к матери в Отважное.

Денис, зачаливая ботник, через плечо посмотрел на Манефу и ему показалось, что в серых глазах ее сверкнули слезы. И сердце его дрогнуло странной и большой жалостью к этой непонятной женщине...

\*\*\*

Брезжил рассвет. Мутная туманная дымка над Заволжьем посветлела, порозовела. По селу мычали коровы, горланили петухи.

Дед Северьян, поскрипывая смазанными сапогами, шел в Спасское, в церковь.

Было воскресенье.

Проходя мимо колосовского дома, он увидел возле колодца Манефу. Она доставала воду. Старик замедлил шаг, остановился, кашлянул и негромко позвал:

– Маня, подь-ка сюда...

Манефа резко оглянулась, не выпуская из рук бадьи. После смерти Мустафы она ни разу не разговаривала со старым Бушуевым, и то, что он заговорил первый, и удивило ее и обеспокоило.

– Коли нужно, так сам подойдешь... – на всякий случай недружелюбно ответила она, отворачиваясь и опуская бадью в колодец.

– Эк ведь ты какая... – вздохнул дед Северьян и подошел к ней, ступая по росистой траве.

Некоторое время он молчал, собираясь с мыслями, не зная, с чего начать. Не глядя на него, она наполняла ведра холодной и прозрачной, как стекло, водой.

– Ты, Маня, вчера Дениску из воды вытащила? – наконец, глухо спросил он, подергивая губой.

Она молчала.

– Вытащила, – сам себе ответил он, – стало-быть, спасла от утопления. Это тебе, Маня, Богом зачтется...

– Никого я не спасала... Так просто: ехала, да подобрала... – тихо проговорила она, подымая с земли ведра.

– Это Богом тебе зачтется, – повторил старик, не обращая внимания на ее слова. – И еще, слушай, что я тебе скажу... Ежели тебе когда я понадобится, то приходи... прямо так и приходи. Слышишь?

Это было сказано стариком так сильно, что Манефа покорно и просто ответила:

– Слышу.

Не понимая, в то же время, зачем бы ей мог понадобиться старик.

Когда дед Северьян вышел за село, краешек солнца выполз из-за синей полосы леса и брызнул, пронизывая небо, острыми разноцветными стрелами. Роса была такая большая, что не только бисером рассыпалась по траве и серьгами повисала на листьях кустов и деревьев, но, словно дождем, прибила пыль на дороге. Оставляя серые, четкие следы за собой, дед Северьян тихо брел по лесной дороге, прислушиваясь к щебету птиц. Он шел и вспоминал свою жизнь, – бурную, бесполезную, нечистую... Думал и о смерти, и о внуке. И мысли о внуке занимали его больше всего. Видел старик в Денисе себя, второго себя. И хотелось ему вместе с Денисом прожить вторую жизнь... Прожить такую жизнь, чтобы людям от нее было светло и радостно, чтоб не осквернить ее темными делами и грешными помыслами, чтоб умереть с душой незапятнанной и с сердцем чистым, как первая пороша.

## **ДЕНИС БУШУЕВ.**

### **Ч. 3. гл. XVII**

В просторном кабинете <председателя райисполкома> было душно. Рамы большого венецианского окна были плотно притворены. За окном тихо покачивал тяжелыми листьями пыльный тополь. На массивном дубовом столе чернел мраморный письменный прибор, тускло поблескивал графин с водой и стоял телефон; на углу стола лежала большая, аккуратно сложенная, стопа книг. Маркс, Ленин, Сталин... На стене, прямо над головой Патокина висел портрет Сталина, произносящего речь на XVI-м партсъезде. Паркетный пол застилал огромный и роскошный ковер с пушистым ворсом.

Патокин молчал, перелистывал разложенные бумаги. Молчал и Ахтыров, смотрел на волосатые уши председателя райисполкома. Так они, молча, занятые каждый своими мыслями, просидели минут десять-пятнадцать. Первый нарушил тишину Патокин.

– Слушай, Ахтыров, что я тебе, друг, скажу... – негромко произнес он, не поднимая глаз. Голос его был мягок и приятен. – Я теперь думаю, что зря, брат, я старался, тянул тебя, другим в пример ставил... И зря, друг, пожалуй, тебе и орден Ленина дали.

Он медленно поднял голову и, как-то нехотя, исподлобья, посмотрел на Ахтырова выпуклыми, красивыми и немного грустными глазами. Но грусть эта быстро погасла и что-то другое, тяжелое и недружелюбное, промелькнуло в его взгляде.

– Мы с тобой – коммунисты, в прятки играть нам нечего, поэтому извини, если я буду прям и откровенен. И тебе и мне от этого только польза. Вчера говорил я с секретарем райкома партии, с Ураловым, и вот наше мнение: хреновый из тебя председатель колхоза! Скажем прямо.

Алим усмехнулся и спокойно сказал:

– Еще что? Давай, выкладывай...

– Еще? – повышая голос, переспросил Патокин. – Могу и еще... А еще скажу: гнать тебя надо поганой метлой с должности председателя колхоза! И гнать надо немедленно, пока ты все дело не загубил. Ты посмотри: что ты только натворил! Что у тебя происходит в колхозе!.. С сенокосом управиться не можешь – раз! Кулаков принимал в колхоз – два! Инвентарь весь порастащили у тебя – три!

– Его и не было... – вставил Алим.

– Уборка хлеба на носу, а у тебя ничего не готово – четыре! Народ у тебя сплошь антисоветски настроен... отчего бы это, а?

– От голода... – тихо ответил Алим, щуря глаза и чуть улыбаясь одними губами.

– А кто этот голод развел, позволь тебя спросить?

– Ты, Уралов, власть наша, да и я, конечно, помог... – еще тише ответил Алим.

Патокин откинулся на спинку кресла и как-то жалко и испуганно посмотрел на Ахтырова.

– Ты что, Ахтыров, с ума сошел? – растерянно спросил он.

Алим ничего не ответил. Патокин перегнулся через стол.

– Послушай, Ахтыров, что с тобой стряслось? – как-то задумчиво и мягко проговорил Патокин.

– У меня сердце кровью обливается от жалости, глядя на тебя. Ты совсем другой. Подменили тебя, что ли?.. Лет пять назад ты горел энтузиазмом... ты был крепкий коммунист, нашей, сталинской за-

калки, а потом вдруг покатился... и все хуже, хуже и хуже... И вот... вот до чего ты дошел... Ведь до тюрьмы ты дошел после таких слов...

И вдруг, выпрямившись, раздраженно крикнул:

– Да разве с таким дерьмом, как ты, можно построить бесклассовое общество!

– Кроме общества, есть, Патокин, еще человек. И у этого человека есть своя... его собственная жизнь... Вот о ней-то мы и позабыли.

– У коммуниста не должно быть частной жизни! Коммунист живет для общества, для народа...

– А она, Патокин, оказывается, есть... И у меня есть, и у тебя есть.

– У меня ее нет. Запомни это, Ахтыров!

– Нету?.. Так появится. Срок придет и появится... Да как стукнет тебя по башке, тогда узнаешь, какая она, личная жизнь, бывает...

– Но-но... ты поосторожней! – угрожающе предупредил Патокин, приподнимаясь.

– Иди ты, знаешь, куда... – злобно прошептал Алим и глотнул слюну, чувствуя, как пересыхает горло.

– Что?.. – удивился Патокин. – Что ты сказал? Да ты... ты...

– Ах, мать твою!.. – взметнулся Алим и вскочил. – Сука ты паршивая! Ты бы, чем грозить мне, спустился бы вниз, в залы суда, да и посмотрел, как там личная жизнь у общественной в ногах валяется... Ты ведь тюрьмы не пробовал...

– Я не пробовал, а ты вот наверняка попробуешь... Завтра сядешь.

– Сяду? Сяду, говоришь? – сверкая смородинными глазами, переспросил Алим. – Так давай-ка я с тобой перед тюрьмой рассчитаюсь, чтоб ты потом с меня долги не спрашивал...

Он сорвал с груди орден и швырнул его на стол.

– Вот, возьми... Это, брат, я получил за то, что народ обманывал... Теперь еще... – он суетливо полез в карман гимнастерки, запутался и, не разбираясь, швырнул на стол пачку бумажек и книжек. Тут был паспорт, какие-то справки и пурпурный партбилет... И, указывая на него, Алим добавил: – А это, брат, самое главное: партийный билет! Возьми и его. Возьми обязательно... Он-то и есть главный виновник, он-то и довел меня до жизни такой... Чего смотришь? Бери! Бери, я говорю!

Алим схватил партбилет и бросил в лицо Патокину.

– Бери, гад!

Патокин отпрянул к стене и молча и злобно наступил ногой на упавшую пурпурную книжку.

– Амба! – тихо сказал он.

Ахтыров повернулся и вышел из кабинета. Патокин схватил трубку телефона и долго, захлебываясь и путаясь, рассказывал кому-то о случившемся.

– Что?.. Не можешь сразу арестовать?.. Почему?.. Что?.. Какой ордер?.. На арест?.. Так выписывай и дело с концом!.. Таких мерзавцев расстреливать надо... Что?.. Нет, не уйдет: все документы у меня оставил... Ну, пока!

Он положил трубку и взволнованно провел рукой по вислым усам.

– Фу... черт!.. – вслух сказал он и задумался. – Черт!.. Жаль парня... Как это все глупо получилось... Жаль!

Ахтыров же в тот момент, как только вышел на улицу, позабыл и Патокина, и разговор с ним. Опять та же нелепая и страшная мысль, что пришла ему в коридоре суда, снова овладела им. Он прошел в городской сад и до поздних сумерек просидел на глухой скамье под кустами акации. «Феска... феска...» – без конца повторял он одно и то же слово, утирая рукавом потный лоб. А когда в саду, один за другим, стали вспыхивать фонари, и на эстраде возле площадки для танцев вдруг бурно и громко заиграл джаз, Алим вспомнил о Грише Банном. Вспомнил и почти бегом направился к Волге. «Да ведь Гриша здесь! Как это я забыл? Гриша ведь под рукой».

Гриша Банный дремал, лежа на дне лодки. Алим, точно боясь, что Гриша убежит, рывком столкнул лодку, прыгнул на скамейку, чиркнув носком сапога воду, вдел весла в ключины и направил лодку на стрежень реки. Проснувшийся Гриша Банный сразу заметил что-то неладное с Ахтыровым и осторожно пересел на корму, размышляя о причине исчезновения ахтыровского портфеля. Алим молчал. Молчал и Гриша.

Отъехав километров шесть от города, Алим сложил весла, подпер щеку рукой и задумался, глядя на Гришу. Гриша поежился под этим взглядом и отвернулся.

Над лесом подымался серебристый блин луны. Заклубился туман. С берега доносился запах трав и сосны. Отражаясь в черной воде, мигали огоньки бакенов. На небе ярко горели крупные звезды. Где-то на косе тихо и монотонно плакал чибис. На востоке вспыхивала слабая зарница, редко и нерешительно.

– Гриша... – тихо позвал Алим.

– Что-с?

Алим встал, подошел к Грише, присел перед ним на корточках и заглянул ему в лицо. Гриша подвинулся назад и слегка приподнял острые колени. Алим молча протянул руку, взял Гришу за ворот рубашки и вдруг крепко, с хрустом сжал пальцы. Гриша судорожно вцепился в борта, замигал белыми ресницами и не проронил ни слова. Тогда Алим одним рывком приблизил Гришу к себе, и обжигая его губы горячим дыханием, зашептал:

– Гриша... скажи... ты знаешь... ты все знаешь, Гриша... Как это я раньше не догадался у тебя спросить?.. Ты ведь все знаешь, Гриша... И я знаю. Теперь и я знаю... Скажи же...

Гриша молчал.

– Скажи... не мучь меня...

– Я... я ничего не знаю... Про что вы? – еле слышно произнес Гриша Банный.

– Гриша, милый, родной, скажи... скажи правду... Я ведь теперь сам все знаю... А ты только подтверди, только подтверди... Или я задушю тебя, Гриша...

– Я ничего не знаю...

Алим облизнул пересохшие губы и, слово за словом, раздельно и внятно спросил:

– Кто убил моего брата?

Гриша замотал головой и изо всех сил рванулся назад.

– Не знаю... Я ничего не знаю...

– Врешь! – крикнул Алим и схватил Гришу за горло. Несколько секунд они смотрели, не отрываясь, в зрачки друг другу. Лицо Гриши потемнело, изо рта пополз язык. Алим разжал руки, и голова Гриши упала ему на грудь.

– Ты только подтверди мне, подтверди мне... – бормотал Алим, обнимая Банного.

Гриша всхлипнул и утер ладонью глаза.

– Ну... кто?

– Вы же знаете... – с каким-то мучительным отчаянием прошептал Гриша.

Алим не пошевелился. Не слышно было и дыхания его. Прошло еще две-три минуты.

– Теперь скажи мне, Гриша, самое главное... И опять, милый, говори правду... Зачем она его убила?

– Не знаю...

– Врешь... Почему врешь?

– Она вас...

– Ну?

– Вас хотела... да ошиблась.

– По моей феске ударила?.. Ведь так? Так? Она думала, что я под одеялом?.. По феске судила? Ведь, так, Гриша? Так?..

– Так...

– Постой, постой, Гриша... Сердцем-то я догадался, что ты все должен знать... Но – откуда, Гриша? Почему ты все знаешь?

– Я видел... я все видел. Я там же, в кустах сидел, неподалеку... Спрятался, когда от мамыши Аксиньи Тимофеевны убежал... И все видел-с...

– Постой, я не об этом... О чем это я?.. Ах, да!.. Вот ты мне что скажи: почему ты знаешь, что она меня хотела... зарубить-то? Может, она брата моего...

– Нет, именно вас, Алим Алимич... Мне тогда многое странным показалось. Тревогу я почувствовал еще в то время, когда брат вашу феску надел... Помните ли? В саду! Еще когда мы под кленом сидели. Вот тогда уж я почувствовал тревогу... А потом... потом я глаза ее видел, когда она с косарем подходила к спящему-то... и видел, как она ударила косарем...

– Косарем?

– Косарем. Вашим косарем, которым лучину колете... И вот, как она взмахнула косарем, я уж тут сразу понял нелепую ошибку... Я уж тут сразу все понял... А она со всего плеча... Я хотел крикнуть, да не успел... Только глаза успел зажмурить... И странно-с, очень странно она горевала потом...

Алим встал, пошатнулся, подошел к лавке и тяжело сел. Порылся в карманах, нашел клочок бумаги и карандаш. Что-то быстро написал и протянул бумажку Грише.

– Вот, возьми, Гриша, и храни... Это для тебя. Чтоб тебя, милый, не засудили... Послушай, друг, смотрю я – ботинки у тебя скверные... эдакие скверные ботинки...

Он сдернул с ног сапоги и аккуратно поставил их на стлани возле Гриши.

– На-ко вот сапоги... Бери, брат, не стесняйся...

Портянка на левой ноге размоталась, он сорвал ее и выбросил за борт.

– Постой... Что же я еще хотел?.. Что же это такое я хотел? – стал вспоминать Алим, непрерывно проводя рукой по лицу сверху вниз, словно умывался. – Да, вот что: возьми-ка гимнастерку... Она новая, совсем новая, зимой сшил... Алешка-портной шил. Знаешь?

– Знаю... – как эхо, отозвался Гриша, затаив дыхание и вздрагивая челюстью.

Алим снял гимнастерку и бросил ее на сапоги. И принялся опять тереть лицо, но не одной рукой, а – двумя, все сильнее и сильнее, и уже начал кланяться вместе с движениями рук.

– Возьми и гимнастерку... она новая, совсем новая... Пригодится... Сколько ж я за нее заплачу? Вот и забыл...

И вдруг затих, перестал кланяться и тереть лицо, и долго и неподвижно, закинув голову, смотрел на беспредельное глубокое небо и зеленые звезды. На белой исподней рубашке его лежал лунный свет, пряча в складках густые синие тени. Потом он точно спохватился, точно поймал себя на каких-то ненужных и вздорных мыслях, тряхнул головой и, взявшись руками за уключину, легко и плавно опустил свое тяжелое мускулистое тело за борт. Слабо, чуть слышно, плеснулась вода и скрипнула уключина. Все еще не выпуская из рук уключины, он посмотрел на Гришу, словно хотел что-то сказать, последнее, обязательное, без чего никак нельзя было уходить из жизни, но не сказал ни слова и продолжал смотреть на Гришу, молча и как бы удивленно.

– Жене-то... может, что... – шепотом проговорил Гриша.

Алим ничего не ответил. Только на секунду, на миг какой-нибудь, в его глубоко запавших, черных глазах мелькнуло что-то испуганное, жалкое, невыносимо страдальческое... И как-то странно, быстро и мелко задрожал его тяжелый подбородок.

Он с силой оттолкнул лодку и исчез под водой...

## ЗАБАВА

Холодная река Ижма искусно вьется меж обрывистых берегов, то плавно течет на широких разводьях, то бурно срывается с каменистых порогов, вздымая белую пену. Над порогами плавно кружат серые чайки. Могучие лиственницы, подмытые половодьем, низко свисают над рекой, уцепившись корявыми корнями в бурый суглинок. То там, то тут всплеснется игривый сиг, покажет солнцу ослепительную, серебристую чешую и снова нырнет под воду. Щебечут птицы, суетливо прыгают по стволам елей рыжие белки; качаются, перешептываются высокие камыши, – тайга живет своей особенной, таинственной жизнью...

Казалось бы, мир создан здесь для того, чтобы и сама жизнь была такой же красивой, легкой, как полет чайки, спокойной, как зеленые лесные озера, могучей и здоровой, как тайга, но по какому-то непонятному, чудовищному закону земля здесь полита потом, слезами и кровью, глухие чащобы знают много трагедий, а высокая трава скрывает тысячи горьких могил.

Я сидел возле костра на желтом песке и варил картошку. Ткнувшись тупым носом в прибрежный гравий, стоял глиссер<sup>3</sup>. Механик Кирилл, веснущатый, юркий паренек, битый час возился с испорченным мотором и никак не мог наладить зажигания. Смачно ругаясь, он покрикивал на флегматичного старика Пахомыча – личного «дневального» начальника восьмого лагпункта Казарина. Стоя по колено в воде, без штанов, Пахомыч равнодушно почесывал спину и время от времени подавал мастеру то молоток, то гаечный ключ, то подпильничек.

Саженья в двух от меня, там, где кончался песок и начиналась молодая шелковистая трава, пересыпанная цветами, развалился сам Казарин – единственный «вольный» гражданин из нас. Тучный, с розовыми одутловатыми щеками, он упивался бездельем, солнцем, собственной персоной и лениво и тихо спрашивал меня:

– В побеге бывал?

– Был.

---

<sup>3</sup> Глиссер – моторная плоскодонная лодка с воздушным винтом. Она обладает большой скоростью и очень удобна для передвижения по мелководным рекам.

– Ну, и что – не удалось?

– Поймали.

– Да-с, братец... из нашего лагеря не легко убежать, потому – место выбрано самое подходящее: тайга, болота, тайга... Били тебя после побега?

– Били.

– Так и надо. Прикладами били?

– Всем били... и прикладами тоже.

– Прикладами – оно больно получается... – задумчиво проговорил Казарин. – Ты давно в матросах?

– Четыре месяца.

– А убежать из лагеря еще раз не хошь?

– Зачем мне бежать? Теперь уж нет смысла. Четыре года отсидел – остался всего год.



Казарин лег на спину и прикрыл лицо носовым платком.

– Да ведь всяко бывает... – сообщил он. – Был у меня один заключенный, тоже из студентов. Отсидел он семь лет, остался ему один месяц, и побег!

Он вздохнул и замолчал.

Мы везли этого борово по распоряжению заместителя начальника лагеря на Печору, где Казарину предписывалось «принять» новый этап заключенных, прибывших морем из Архангельска в Нарьян-Мар.

– Чудной вы народ, заключенные, – снова заговорил Казарин. – Как вас не балуй, все вы, как волки, в лес смотрите. Я, конечно, понимаю: жись подневольная – невеселая жись, но мы, начальство, помогаем вам... Вот к примеру: ты есть заключенный преступник. Так. А мы вот тебе доверяем и назначили тебя, к примеру, матросом на глассер. Ты ходишь и едешь без конвоя... Ну, скажи: чувствуешь ли ты, что ты есть заключенный?

– Все время чувствую, гражданин начальник.

– Это через чего же ты, интересно, чувствуешь?

– Да ведь разные пассажиры на глассере попадаются – уклончиво ответил я, стараясь подладиться под его тон. – Вот вы, например, пассажир ничего себе... не злобный, не ругаетесь, разговоры со мной ведете и за человека считаете...

Стрела была рассчитана мною точно: Казарин сбросил с лица платок, присел и благодушно улыбнулся:

– И тебя считаю за человека, и дневального Пахомыча, и Кирюшку-механика. Все вы есть люди.

– Вот-вот! – подхватил я. – А есть другие начальники, так те придерживаются иного взгляда на нашего брата...

– Да, начальники бывают всякие, – согласился со мною Казарин. – К преступнику особый подход надо иметь. Я вот уж пятнадцать лет по лагерям и тюрьмам работаю...

Резко затарахтел мотор глассера, раздаваясь многоголосым эхом по тайге. Старик Пахомыч с испугу побежал к берегу, запнулся и чуть не упал. Казарин хихикнул, встал, одернул гимнастерку, привычным жестом поправил ремень с браунингом и осанисто зашагал к глассеру. Я захватил горячий котелок с недоваренной картошкой и пошел вслед за Казариным. Кирилл уже сидел за штурвалом. Поехали. На малом газе вырулили на середину реки.

Казарин бросил в нос лодки кожаную куртку, улегся и закурил. Пахомыч, прыгая на одной ноге, надевал штаны. Присев на крашенные стлани, я принялся за чистку картошки. Выровняв глиссер, Кирилл дал полный газ. Тонко запел пропеллер, набирая скорость: лодка вздрогнула и, разрезая воду на ровные полосы, стремительно рванулась вперед. Замелькали прибрежные кусты и камыши, испуганно заметались кулички. Я взглянул на Кирилла. Ветер трепал его белокурые волосы, голубые глаза щурились от яркого солнца и ветра, нагоня морщинки у век; от всей его невысокой мускулистой фигуры, от крепких загорелых рук, уверенно державших штурвал веяло здоровьем и кипучей молодостью. Мне нравился этот славный паренек. Всегда веселый, он жадно любил жизнь, ловко, но честно, выходил из всех переpletов, в какие частенько попадал из-за несколько дерзкого нрава, и всегда прямо говорил то, что думал. Из пяти лет, прожитых в лагере, он два года провел в штрафных изоляторах, из которых редко выходили арестанты живыми. В лагерь он попал за то, что на одном из собраний какого-то знатного пьяницу-стахановца назвал во всеуслышание «стакановцем». Об этом эпизоде он часто вспоминал и смеялся от души, когда передавал разговор со следователем НКВД по этому поводу.

– Я ему говорю: товарищ, мол, следователь, стахановец наш знатный, честное слово, ба-а-льшой любитель за галстук пропустить... Ну, чего, говорю в этом факте особенного? И я пью, и директор завода пьет, и главный инженер пьет, да и вы, пожалуй, при случае дернете... Забава одна! А следователь отвечает: «Ну вот, забава эта выйдет тебе двумя, а то и тремя годами лагеря». Только ошибся товарищ следователь: пятью она мне обернулась! Забава!

Мне особенно нравилась эта поговорка Кирилла. Слово «забава» он частенько произносил в конце фразы с легкой усмешкой и покачиванием головы.

Закусили картошкой с хлебом. Казарин угостил нас колбасой, выпил стаканчик водки и мгновенно уснул. Пахомыч заботливо укрыл его своим ватным бушлатом. Вскоре Пахомычу стало холодно – тонкая арестантская гимнастерка не защищала от пронзительного ветра, он ежился и ложился на дно лодки.

– Что, старый чорт? Начальника пожалел, а сам дохнешь с холода! – ругался Кирилл. – Небось, он тебе водки не дал, а ты ему – бушлат. Забава!

– Он все же хозяин... – оправдывался старик.

– Хозяин, хозяин... – передразнивал Кирилл. – Вот через этого хозяина и окачуришься. Возьми мое одеяло... На! Бери!

Время бежало. Несколько раз поднималась щетинистая голова Казарина. Кисло улыбаясь, он оглядывался по сторонам и снова закрывался в бушлат Пахомыча.

Наступили сумерки. Из-за темной стены леса лениво выползла огромная желтая луна. Над рекой за клубился туман, повеяло вечерней свежестью, густо запахло сосной. Нежные очертания прибрежных кустов вырастали в фантастические фигуры, угрюмо застывшие над черной водой.

На душе стало как-то тоскливо и тревожно.

Два раза мы предлагали Казарину пристать к берегу и заночевать, но он упрямо отказывался: ему к утру надо было попасть в Усть-Цильму. Ехать же в темноте по каменистой таежной реке со скоростью пятидесяти километров в час становилось опасно: налететь с такой скоростью на подводный камень, значило – сломать себе шею.

Кирилл убавил газ. Я видел, как беспокойно поблескивали его глаза, полуоткрытые губы обнажали две светлые, крепко стиснутые полоски зубов. Пахомыч равнодушно поглаживал бороду и молчал. Казарин спал.

Все чаще и чаще глиссер подпрыгивал на порогах. Мотор ревел, однотонно и надоедливо. Благополучно миновав на малых оборотах Лосиный порог, мы выехали на широкое разводье, – впереди далеко расстилалась водная ширь. Лунная дорожка пересекала ее, дрожа на мелкой зыби. Кирилл дал полный газ. Но едва стремительно рванулся глиссер, как сильный толчок повалил нас со скамеек, лодка наклонилась на бок, черпнула бортом воду, круто повернулась и медленно поползла в сторону. Кирилл мгновенно выключил мотор, и лодка стала. На наше счастье мы налетели не на камень, а на край песчаной отмели, чуть покрытую водой.

Во весь рост быстро вскочил Казарин и, прикрывая испуг громкой матерщиной, заорал:

– Ты... сволочь... смотри куда едешь!

Должно быть, он больно ударился головой о борт: ладонью тер белую щетину на затылке. Молча выхватив багор из моих рук, он встал на палубный нос лодки, уперся багром в песчаную отмель и налег на него всю грудью. Кирилл другим багром отталкивал корму.

Шурша песком, глиссер медленно пошел назад. Казарин попытался выдернуть багор, но грунт крепко вцепился в крючковатый железный наконечник; ноги Казарина еще стояли на палубе, а тело повисло над водой.

– Не толкай корму! Обожди! – закричал он Кириллу, все еще не выпуская из рук багра.

– Бросай багор, начальник! – весело закричал Кирилл. – Бросай, говорю!.. Забава!

Но было уже поздно; лодка ушла из-под ног и грузное тело Казарина плашмя шлепнулось в воду, взметнув каскады брызг. Он быстро поднялся – вода не доходила ему даже до колен – и бегом, смешно выкидывая ноги, побежал к глиссеру. Не выдержав, мы с Кириллом откровенно рассмеялись. Пахомыч суетливо помог своему начальнику влезть в лодку.

Встав на дно лодки, Казарин взглянул на нас. Я как сейчас помню это страшное лицо под желтым светом луны. Жирные щеки дрожали, с волос, по лбу, по глубоким морщинам вокруг рта бежали струи воды. Выкатившиеся глаза остановились на Кирилле. Стало очень тихо.

– Кому – забава? Тебе забава? – еле слышно проговорил Казарин, медленно расстегивая правой рукой кабуру револьвера.

Одним махом он выхватил браунинг и прицелился. Кирилл растерянно улыбался своей милой улыбкой и теребил пуговицу на гимнастерке.

Сухо треснул выстрел, покатился по воде, охнул в тайге...

Кирилл порывисто тряхнул головой и без стопа легко опрокинулся навзничь, зацепив рукой штурвал. Колесо метнулось вправо – влево, как бы отсчитывая последние секунды жизни, и застыло.

Казарин тяжело дышал, поглядывая на труп.

– Я говорил... я говорил ему... я ему говорил... Старик Пахомыч украдкой перекрестился. Глиссер тихо несло по течению.

«Чувствуешь ли ты, что ты есть заключенный»? – вспомнил я слова Казарина.

«Чувствую!..» – хотел крикнуть я, но бессильно опустился на скамейку перед трупом и сжал руками голову.

Луна тихо полоскалась в холодной воде, уносившей нас все дальше и дальше.

Звездное, звездное небо...

# МАРКОВ

## Владимир Фёдорович

(1920–2013) – литературовед, поэт,  
переводчик.



Родился в Петрограде. Отец расстрелян в 1937 году. Мать отправлена в ссылку. Окончил Ленинградский университет (1941).

В 1941 году добровольцем ушёл в ополчение, тяжело раненым попал в плен.

После войны оказался в лагерях Ди-Пи в Регенсбурге.

В 1949 году эмигрировал в США. Преподавал в школе военных переводчиков в Монтерее, где сблизился с Н. Моршеном. А в 1957 году защитил в Калифорнийском университете Беркли докторскую диссертацию о поэмах В. Хлебникова и стал преподавать русскую литературу в университете Лос-Анжелоса. Занимался историей русского футуризма и имажинизма. Автор монографий «История русского футуризма» (1968) и «Русский имажинизм» (1980), комментариев к сочинениям К. Бальмонта; книги эссе «О свободе в поэзии» (1994) – первой опубликованной на родине.

Большую роль в художественном возмужании Маркова-поэта сыграл Г. Иванов. Его переписка с молодым писателем опубликована в книге: I. Odojevceva, G. Ivanov. Briefe an Vladimir Markov. 1955–1958. – Köln–Wien, 1994.

Стихи пишет с детства. Первый сборник «Стихи» (1947), разделенный на 2 части, включает в себя 44 стихотворения. Каждая часть открывается переводным стихотворением-эпиграфом. Первую часть предваряет «Осень (из Рильке)»:

Кто без жилья – уж поздно строить дом,  
Кто одинок – тому им оставаться...

Задаваясь в стихотворении «Конец войны» вопросом, «потерял навек я родину / Иль ещё надеяться пока», автор больше склонен предполагать второе, нежели первое: «день завтрашний покрыт

тягучей тиной». «Душа слепа, душа глуха: / Нет чувств, нет мыслей, нет желаний». Помнятся только «поезда, / Что мчат, стучат и завывают». «Наверно, кто-то очень неумелый / Играет упражнением нашу жизнь», – высказывает догадку лирический герой. А потому сама жизнь то воспринимается как «цепь шальных, несвязанных изломов», то «в углу валяется, позабыли, знать, о ней». Даже в прекрасной Италии, которой посвящен целый цикл стихов, «те же тоска и война», «бьется в истерике всё, вьется, стремится, кричит». Нет у католитиков русской «кротости нашей, умильности, ласки».

Это ощущение слегка смягчается в «Веронских картинах» и в стихотворении «Всё, что в жизни осталось нам»:

Собирать по дорогам цветы,  
Тосковать по хорошим стихам,  
Называть кого-нибудь «ты»...  
Верить в покой, слышать пчел и полет планет  
Так удастся сбересть хоть сны,  
В остальном же и нужды нет.

Тон второй части сборника задает «Ночной час (из Брокмайера)». Финал этого стихотворения оптимистичен: лирический герой ждет, «чтоб поменялись / явь с мечтою» Он уверен, что вместе с ветром «Бог придет сейчас».

Теперь и у автора книги нет столь безнадежного состояния. Барварские горы напоминают ему кавказские вершины. Сон навеивает мысль о счастье. В стихотворении «Когда вся земля, как большой балаган...» поэт предстает наслаждающимся жизнью веселым вагантом. А в стихотворении «Мы много лет и стран пройдем с тобою...» признается, что «Жизнь все-таки красива». «Пускай смешно сейчас искать устои», – пишет Марков, тем не менее нужно находить в жизни «важное, простое» и из этого «жизнь незаметной сказкой сотворить».

Такое важное и простое В. Марков увидел в XIX столетии и воплотил в изысканных строках поэмы «Гурилевские романсы» (1946, первая публикация – 1951). Поэма нарочито перекликается с мотивами лирических романсов Александра Львовича Гурилева (1803–1858). Музыка этого композитора свойственна элегичность, отчаянный порыв к счастью, глубокая интимность высказывания. Лирические

романсы Гурилева созвучны настроениям русской поэзии последнекабристской поры. Из 68 романсов и песен Гурилёва поэт выбрал шесть по числу глав поэмы. Каждая созвучна лирическому настроению автора.

Избранный поэтом четырехстопный нерифмованный хорей (его называют иногда трохеическим тетраметр) копирует силлабо-тоническое стихосложение «Калевалы» и «Песни о Гайавате» Лонгфелло, что придает поэме эпическое звучание. С другой стороны, обилие пиррихий и женские клаузулы создают ощущение лирического потока, единого лирического выдоха и напоминают тютчевское стихотворение «Эти бедные селенья...», посвященное России.

В «непонятном, неудобном» XX столетии, автор ищет «хоть крупицы Света с той родной планеты», каковой была для него Россия Пушкина, Кольцова и – в меньшей степени – Бунина и Блока. Поэт то говорит от своего имени, то вводит в поэму героя декабриста, бегущего из России; то рассказывает о полюбившей героя женщине, тем не менее, не последовавшей за изгнанником. На страницах поэмы в нескольких стихах появляется тень Пушкина, сопрягающаяся с берлинскими видениями автора. Как не без иронии говорит Марков, «в этой путаной поэме», где перекликаются самые разные эпохи, герои появляются «только в легких очертаньях; / Все пунктиром, все не прямо, / Только слабые намеки / Только контур от сюжета, / Только аромат от темы». «Даже просто рифмы нету».

Гурилевский романс на слова С. Люберецкого «Одинок стоит домик-крошечка» позволяет современному поэту погрузиться «немного светлой пушкинской печалью» о России, элегически воссоздав пейзаж сельской дворянской усадьбы и женщины, «чем-то напоминавшей» Наталью Гончарову. Колокольчик из гурилевского романса «Однозвучно гремит колокольчик» на слова И. Макарова напоминает о самой золотой поре человека – детстве; тема дороги, составляющая содержание романса, переходит в повествование о герое декабристе. Стихотворение А. Кольцова «На заре туманной юности», ставшее одним из романсов Гурилева, позволяет поднять тему драматического поиска «родной планеты» (3 глава). Слова из романсов «Отгадай моя родная, отчего я так грустна...» (стихи В. Крузе) и «Сарафанчик» (стихи А. Полежаева) становятся лейтмотивом 4 и 5 глав поэмы, о том, что в реальности «лети хотя б в ракете, / Не найдешь иного мира», «нас никто не понимает – / Все мы

очень одиноки», и лишь поэзия может воссоздать этот мир мечты и прекрасного прошлого. Впрочем, заключительная 6-я глава полемизирует с романсом «Вьется ласточка сизкрылая» на стихи Н. Грекова: вместо утверждения романса, будто судьба свила гнездышко «во сырой земле вековечное», В. Марков утверждает в финале, что в «поле есть дорога».

При всей внешней традиционности поэмы, она чрезвычайно необычна. Не случайно один из самых смелых новаторов русского стихосложения Георгий Иванов назвал поэму «реальной и блестящей удачей» её автора.

А В. Синкевич считает, что «для поэзии Маркова характерен поиск новых путей [...], когда традиционно-смысловая линия чередуется у него с формально-игровой, реалистическое видение с абсурдистским, и встречается задиристое “наперекор”».

Это «наперекор», начавшись еще в шутовском стихотворении «Я завтра уезжаю, синьорина», продолжилось в «Гурилевских романах» и второй «Поэме про ад и рай», в экспериментальной попытке в одной строке передать философскую мысль («Одностроки») и, наконец, завершилось в третьей поэме, названной автором «Два и три четверти». Посвященная многократной исполнительнице партии Нормы в одноименной опере Беллини и Амины в «Сомнамбуле» того же Беллини Марии Калас (1923–1977), «ее царственности и беззащитности». Поэма являет собой различные высказывания о Беллини, его личности и музыке (многие на немецком языке). Они сменяются «Арией с комментариями» («Ад не уходит, он только сгущается») и «Кабалеттой» (Марков утверждает, что именно «Пуритане», где поется эта ария, – настоящая, характерная для Беллини музыка), которая неожиданно завершается появлением Веры Павловны из романа Чернышевского: «Мало мы вас, гадов, в восемнадцатом году к стенке ставили». После этого следует, как говорится в авторской ремарке, «взрыв. Мир летит (весь мир? Мой мир?). По каким-то абсурдным законам его куски на лету слагаются в четырехактную оперу (или даже симфонию)». Далее следуют на немецком языке тексты этой оперы-симфонии с авторскими стихами-комментариями:

Тоскую, рвусь, стену, грущу, страдаю, ною, некую оперу,  
Вздыхаю, мучусь, печаль владеет мною.

Или:

Я человечества страшусь;  
Сам человек, себя боюсь,  
И тени страшны мне людские.

Поэма завершается «Солдатской песней» с финалом: «Надвигается конец, делу *всякому* венец».

Объясняя такой структурой поэмы ее название, В. Марков писал: «Так как она не совсем моя (цитатность) и не совсем поэма, то она и не совсем третья. Поэтому называю ее (по-феллиниевски) “Два и три четверти”. Половина текста все же моя, плюс четверть за подбор цитат и замысел». Что касается замысла и формы, то автор характеризует их так: «Она, собственно, и не о войне. А о чем? Может быть, об одиночестве и свободе (вернее, о свободе и одиночестве). В “опере” лишь вначале идет «сюжет»; после этого «содержание» лучше воспринимать «музыкально» (и индивидуально, т. е., каждый по-своему), если не «живописно» (т. е., я часто клал цитатные краски одна к другой, как их кладет художник)».

Особо следует сказать о роли В.Ф. Маркова в пропаганде русской поэзии на Западе. Его 842-страничная Антологии «Modern Russian Poetry. An Anthology with Verse Translations Edited and with an Introduction by Vladimir Markov and Merrill Sparks» (Indianapolis: Bobbs-Merrill Company, 1967) и 414-страничная «Приглушенные голоса. Поэзия за железным занавесом» (New York, 1952) до сих пор являются основными пособиями студентов-русистов на Западе.

## Сочинения

Стихи. – Frankfurt a / M, 1947.

Гурилевские романсы. – Paris, 1960.

The Longer Poems of Velimir Khlebnikov. University of California Publications in Modern Philology, Volume 62. – Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1962.

Russian Imagism, 1919–1924. Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slawen, 15 / 1. – Giessen, 1980.

Kommentar zu den Dichtungen von K.D. Balmont, 1890–1909. Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slawen, 31. – Köln: Böhlau Verlag, 1988.

Kommentare zu den Dichtungen von K.D. Balmont, 1910–1917. Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. – Reihe A, Slavistische Forschungen, 3. – Köln : Böhlau, 1992.

Поэзия и одностроки = Gedichte und Einzeiler. Einleitung von George Ivask. Центрифуга, 51. – München, 1983.

**О свободе в поэзии.** – СПб., 1994.

**Гурилевские романсы.** – СПб., 2000.

**История русского футуризма.** – СПб., 2000.

## Публикации

Белый траур // *Грани*. 1947. № 3.

Виктор Мамченко. Певчий час // *Опыты*. 1958. № 9.

Гурилевские романсы // *НЖ*. 1951. № 25.

День за днем // *Грани*. 1947. № 3.

Et ego in Arcadia // *НЖ*. 1955. № 42.

Заметки на полях // *Опыты*, 1956. № 6.

Из дневника «нового» эмигранта // *Лит. совр.* 1954.

Книги в советской литературе // *Грани*. 1953. № 17.

Когда разгуляется в немецком переводе // *Грани*. 1960. № 45.

Легенда о Есенине // *Грани*. 1955. № 25.

Моцарт // *НЖ*. 1956. № 44.

Мысли о русском футуризме // *НЖ*. 1954. № 38.

О большой форме // *Мосты*. 1958. № 1.

О поэзии Георгия Иванова // *Опыты*. 1957. № 8.

О поэтах и о зверях // *Опыты*, 1955. № 5.

О проблемах современной музыки // *Грани*. 1949. № 5.

О свободе в поэзии // *Возд. пути*. 1961. № 2.

О Хлебникове // *Грани*. 1954. № 22.

Одностроки // *Возд. пути*. 1963. № 3.

Пауль Целан и его переводы русских поэтов // *Грани*. 1959. № 44.

Первое собрание Мандельштама // *Грани*. 1956. № 30.

«После чьих-то похорон...» // *НЖ*. 1950. № 23.

Приветствие А.М. Ремизову // *Опыты*. 1957. № 8.

Советский Гамлет. (Переводы Пастернака.) // *Грани*. 1960. № 45.

Стихи // *Грани*. 1959. № 44.

Стихи // *Опыты*. 1955. № 4.

Стихи русских прозаиков // *Возд. пути*. 1960. № 1.

Творческий облик А. Жида // *Грани*. 1951. №№ 13 / 14.

Трактат о трехгласии // *Возд. пути*. 1967. № 5.

Угасшие звезды // *Грани*. 1950. №№ 9, 10; 1951. №№ 13, 14.

Человек в джунглях // *Грани*. 1953. № 19.

**Et ego in Arcadia: Воспоминания** // *Знамя*. 1995. № 2.

**КОНЕЦ ВОЙНЫ**

Ночью в старом парке строил планы я  
И при свете красного костра  
Слушал чьи-то речи, полупьяные.  
Слава Богу, это всё вчера.

А сегодня липы многолетние  
Солнцем капают сквозь листьев вязь,  
И тревога стала незаметнее,  
А потом и вовсе улеглась.

И в тоске, с веселым чем-то смешанной,  
Я гляжу на крыши городка,  
Удивляюсь, для чего так бешено  
Подо мной внизу бежит река.

Что ж? Опять листаю жизни главы я  
На мосту высоко, – не в реке;  
Жизнь опять шумящею Молдавою<sup>1</sup>  
От меня несется вдалеке.

По путям, судьбою разлинованным,  
Смутно чей-то чувствуя приказ,  
Словно в сказке, принцем заколдованным,  
Мне брести уже не в первый раз.

И взглянув с моста на путь свой пройденный,  
Спрашиваю лишь у городка:  
Здесь ли потерял навек я родину  
Иль ещё надеяться пока.

1945

---

<sup>1</sup> Видимо, речь идет о р. Молдова (рум. *Moldova*) – река в Румынии, правый приток реки Сирет. Берёт начало в Восточных Карпатах. Устье находится возле города Роман в жудеце Нямы

## ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Кружка водки, хлеб заплесневелый,  
Грязный пол и надпись на стене  
Пусть всё так. Кому какое дело? –  
Всё равно ты не придешь ко мне.

Но по где-то данному обету  
Магомет пойдет к своей горе.  
Что ж ещё и делать-то поэту  
В пасмурном немецком сентябре?

Снова находить мечту в знакомом,  
Снова строить к близости мосты,  
Снова медлить уходить из дома  
В час, когда сливаются черты.

А потом хромать по тротуарам,  
Рифмы, строчки из себя тянуть,  
Ослепляющим всю душу фарам  
Машинально уступая путь.

Так, бредя по свету наудачу  
По обломкам сброшенных культур,  
Кажется и я нашёл задачу –  
Я, последний в мире трубадур.

1946

\* \* \*

Тряпке – валяться под лавкой.  
Вазе – стоять на столе.  
Пришпилен английской булавкой  
Я к счастью на этой земле.

Оно дорогой шальнойю  
Летит по летам «mit mir».





Знать бы, где уколешься,  
Где споткнешься, а где нет.  
Ты наверно молишься  
Или плачешь обо мне?

Быть бы нам друг с дружкой  
На другой тогда покрой...  
Мокрую подушкой  
От людей глаза прикрой.

## ES REONET IN REGENSBURG

### I

Сегодня тучам нет конца,  
И бьет в глаза поток.  
Как будто хочет смыть с лица  
Пыль пройденных дорог.  
Примяты стебли скользких трав,  
И лужи на пути,  
Но, все на свете потеряв,  
Не тяжело итти.  
Ведь шага не остановить,  
Из края в край бродя,  
И влажных глаз не осушить  
От слез и от дождя.  
Пусть капли катятся с бровей,  
Пусть ветер валит с ног!  
Еще сильнее! Еще сильнее!! –  
Так чтобы встать не мог,  
Чтобы упасть без чувств, без сил,  
Щекой на лопухи,  
Забывать, что я когда-то жил,  
Грустил, писал стихи.–  
Ведь, вырывая с корнем прядь,  
Упав на мокрый труп,

Она не будет целовать  
Моих холодных губ.

.....

### III

Я разговаривал долго с монахом  
в коричневой рясе,  
Слов недостаток мешал  
толком ему объяснить  
Разницу наших религий: католиков  
и православных,  
Да и, по правде сказать,  
сам её толком не знал.  
– Деву Марию-то вы признаете? –  
спросил наконец он.  
Вспомнил я пушкинский стих,  
вспомнил иконы в церквах.  
– Да, я сказал, в Богородицу Деву  
Марию мы верим.  
– Bene, ответил монах,  
встретимся с вами в раю.

### Я ЗАВТРА УЕЗЖАЮ, СИНЬОРИНА

Вечер тоской молчаливой повеян.  
Auf Wiedersehen.  
Улицы дремлют. Пуст тротуар.  
Au revoir.  
В окнах темно. Тебе нужно бай-бай.  
Good-bye.  
Встретимся ль снова? Не знаю.  
Едва ли...  
Vale.  
Ты мне сказать хотела что-то?  
Buona notte?  
Ручку мне протяни на прощанье.  
До свиданья.



Ходил по дорогам веселый вагант,  
Пропитанный солнцем и пылью.

Полями, где некогда войны велись,  
Где копья об латы бряцали,  
Лесами, где рыскает Рейнеке Лис,  
Где красный башлык Рюбецаля.

Там воздух под зноем пьянит бузина,  
Там дремлют дремучие ели,  
В веселых ключах, где струя студена,  
Снуют озорные форели.

А в городе –  
        пыль под ногой горяча,  
И все уголки загремели;  
Там манит таверна, галдя и крича,  
Кислеющей затхлостью хмеля.

Пощупать последний медяк  
        в кошельке –  
И в дверь, с королевским размахом,  
Дородную Грету прижать в уголке  
И чокнуться с толстым монахом.

Потом толковать о седой старине,  
О гезах, о нантском эдикте,  
О губках и щечках, о добром вине  
И о святом Бенедикте.

По жизни шагать с загорелым лицом –  
Конца не найдешь вариантам!  
Наемным солдатом, фигляром, купцом  
Но лучше всего быть вагантом.

На запад садится дневной диамант,  
Дорога темнеет и стынет,  
Идет по дороге веселый вагант  
И песни поет по-латыни.

\* \* \*

Мы много лет и стран пройдем с тобою  
И наконец увидим ту страну,  
Где даль нежна, как тонкий звук гобоя,  
Где небо, словно песня, – голубое,  
Где солнце клонит к ласковому сну.  
Там будет холм, и мы на холм взойдем,  
Увидим плавные реки извивы  
И трав колышущихся переливы  
И зеленью закрытый старый дом,  
И скажем мы: Жизнь все-таки красива.  
И сотни дуновений, самых нежных,  
К нам прилетят из стран, где нету слез,  
Где нет метаний наших неизбежных –  
Игратья локонами наших снежных,  
Как подвенечная фата, волос.  
Жизнь подойдет к концу, придет вторая  
И та же, в образе другом, любовь,  
И будем мы с тобой, не умирая,  
А только в прятки с вечностью играя,  
В столетиях встречаться вновь и вновь.  
Миллиарды душ запутаются в снах,  
Миллиарды мыслей вспыхнут в головах,  
На краткий миг изменят лик планеты.

\* \* \*

Пуškai смешно сейчас искать устои  
Иль даже краткий временный причал,  
Но всюду есть то важное, простое,  
Чего никто еще не замечал.

А коль заметишь ты случайно где-то –  
Молчи и никому не говори,  
Возьми с собой и из находки этой  
Жизнь незаметной сказкой сотвори.

**ПОДЪЕЗЖАЯ К АМЕРИКЕ**

Вместо водорослей Гольфштрома –  
Туман из Святого Лаврентья<sup>2</sup>.

Стирая понятие «дома»,  
Близится жизнь Часть Третья...

Ветер, кажется, понимает  
Радость полосок на флаге.  
Только жаль комочка бумаги,  
Что на гребень волна подымает:

С рук соскользнул – и в воду,  
Плыть без конца и без края  
Месяцы, может быть, годы.  
Тоскливым словом «свобода»  
Это у нас называют.

Неужели нету счастья в воле,  
Так что сны даже больше не снятся?  
Неужель в тошнотворной соли  
Вечно мокнуть и растворяться?..

Ах, забыл среди плеска влаги,  
Что на борту я, а не  
Мятым обрывком бумаги  
В Атлантическом океане.

1949

**ЛОСАНЖЕЛОССКИЙ  
ВЕРЛИБР**

*Ein Fichtenbaum steht einsam...*

Равнодушные сосна и пальма  
Растут рядом,  
Опровергая весь романтизм.

---

<sup>2</sup> Здесь: река Святого Лаврентия (Saint Lawrence River) на Востоке Северной Америки.

Sie sollen es nicht etwa lesen, noch weniger mir Ihre Empfindung darüber ausdrücken

Из письма Ницше к Мальвиле  
фон Мейзенбург

ТЕМ НЕИНОГДА (НА ПАЛЬЦАХ ОДНОЙ РУКИ) КТО ВЗГЛЯНЕТ

Можно спросить, зачем я написал (вернее, составил) эту "поэму". Как ни странно, она сама составила за десяток лет. Иваск и Моршен не раз в письмах -- без особой настойчивости -- поучали: когда же будет третья поэма? Вот она моя третья\* "поэма" (можно назвать и по-жлебниковски, сверхповесть, а можно и просто "бутылкой в море").

В поздней римской поэзии или у барочников макаронический центон был бы игрой. У этого центона, думается, менее веселые основания. Во-первых, все уже написано (чувство прищипленности в университетской библиотеке), так лучше уж повторять честно, цитируя и не обольщаясь романтическими надеждами на "оригинальность". Во-вторых, эта форма как-то подходит русскому, пишущему за границей по-русски, -- в безвоздушном пространстве, с нулевым читателем, с сжатой творческой энергией. Это вроде как разговор с собой.

Во избежание недоразумений: это не активосенная поэма, как могло бы показаться кому-нибудь из протестующих идиотиков. Она, собственно, и не о войне. А о чем? Может быть, об одиночестве и свободе (вернее, о свободе и одиночестве)

В "опере" лишь вначале идет "сюжет"; после этого "содержание" лучше воспринимать "музыкально" (и индивидуально, т.е., каждый по-своему), если не "живописно" (т.е., я часто клал цитатные краски одна к другой, как их кладет художник).

\*

Так как она не совсем моя (цитатность) и не совсем поэма, то она и не совсем третья. Поэтому называю ее (по-беллинговски) "два и три четверти". Половина текста все же моя, плюс четверть за подбор цитат и замксел.

**ГУРИЛЕВСКИЕ РОМАНСЫ**

(конец последней –  
шестой главы поэмы)

Так картинкою на стенку  
Преодо мной моя Россия.  
Той России больше нету,  
Той России я не видел.  
Почему ж я точно знаю,  
Сколько в этом доме комнат  
И которые ступеньки  
Под ногой поют протяжно?  
Иль с рождением мы теряем  
Что-то очень дорогое  
И к нему потом стремимся?  
Говорят, что у России  
Флаг был белый-синий-красный:  
Красный, словно в косах ленты,  
Синий, как на ниве точки  
Васильков, сухих и грустных,  
Белый, как поля зимою...  
Очень белой и веселой,  
Ноздри щиплющей зимою  
Я когда-то где-то видел  
Девушку в берете красном  
С синей розою в петлице.  
Имени я не запомнил:  
Может, то была Россия?..

Мы придумали Россию,  
Я придумал, ты придумал,  
Он, она, оно – так надо.  
Но России нет на свете.  
Может быть, была – не знаю;  
К сожаленью, я там не был.  
Тра-та-там, тра-та-там,  
К сожаленью, не был там.  
Для меня она – поэма,  
Грусть диагональных струек.

Где тот дом теперь и что в нем?  
Канцелярия совхоза  
Иль районная больница?  
Это всё не так уж важно,  
И не в этом вовсе дело.  
Лип и клавесин подобных,  
Чувств таких, переживаний  
Ричардсону бы хватило  
Толстых на десять романов.  
Мне же это вздох случайный,  
Так, вздремнулось ненароком.

Вот и кончилась поэма.

Впрочем, я забыл о главном,  
О «товарищах-потомках».  
Не исключена возможность,  
Что потомство откопает  
Рукопись моей поэмы.  
На такой прискорбный случай  
Нужно сочинить заранее  
К ним прямое обращенье,  
Пальцем указав на темы,  
На идеи основные,  
И попутно объясняя,  
Что к чему и что же автор,  
Собственно сказать желает.

Вы, не знающие больше  
Войн, арестов, эмиграции,  
Лагерьей, бомбардировок, –  
Вам наверно будет странно,  
Почему в такое время,  
Где вопросов неотложных –  
Словно комаров в болоте,  
Где проблем насущных, важных  
Как в харкотине бактерий,  
И когда поэт обязан  
Всё понять и разобраться,

Указав собратьям выход –  
Почему в такое время  
Выводить опять на сцену,  
Что другие описали  
И не раз и много лучше, –  
Да к тому же без сюжета,  
Нету знания эпохи,  
Даже просто рифмы нету.

Почему? Ответить трудно.  
Только вы меня поймете,  
Персонажи из поэмы,  
Вы, картонные фигурки,  
Что вырезывал я в детстве  
И потом играл часами  
На полу, в саду, на печке.  
О фигурки из бумаги,  
Как уйти к вам? За окошком  
Липы не шумят. Их нету.  
За окном – дома и полночь.  
Я готов. Рюкзак в порядке.  
Обувь выдержит с неделю.  
Шарф свой затяну потуже  
(Иль совсем не надо шарфа)...  
Вот уж позади остались  
Шум шагов по тротуару  
И бессонница унылых  
Фонарей на перекрестках.  
Как нога ступает мягко  
По земле, родной опоре! –  
И приветствует знакомых:  
Камни, рытвины и лужи!  
Скоро будут и мозоли,  
Компаньоны дальних странствий!  
Никогда не знал, что ночью  
Так тепло и так просторно.

Только в поле есть дорога.  
Только ночью светят звезды.

# МОРШЕН

(Марченко)

## Николай Николаевич

(1917–2001) – поэт.



Сын прозаика Николая Владимировича Марченко (Нарокова). Детство прошло в Одессе, в 1941 г. Окончил физмат Киевского государственного университета по специальности физика. Физические термины и даже целая формула встречаются в его стихах. В 1943 году семья уехала в Германию. Конец войны застал Марченко в гамбургском лагере перемещенных лиц Zoo Camp. В 1950 эмигрировал в США. Занимался черновой работой на различных промышленных предприятиях пока не получил работу преподавателя русского языка в Школе военных переводчиков в Монтерее (Калифорния), где жил до самой смерти.

Моршеном, по собственному объяснению поэта, он стал после войны в лагере для перемещенных лиц, чтобы избежать репатриации: фамилию выбрал загадочную, по которой нельзя было определить национальность.

Печататься начал в 1948 году. Он выпустил пять авторских сборников. Последний (самый полный) вышел в России и впервые включал в себя переводы стихов американских поэтов.

Стихи первой книги более автобиографичны и социальны. Вторая проникнута философскими раздумьями. Третья носит откровенно экспериментальный характер в области формы стиха. Четвертая и пятая включают в себя стихи предыдущих книг и новые циклы «Умолкший жаворонок» и «Пять стихотворений с эпиграфами» – философские раздумья поэта об искусстве и жизни. Все они объединены как оптимистическим восприятием мира, так и поисками выразительности слова.

Только в раннем творчестве поэта можно найти несколько трагических стихотворений. («На Первомайской жду трамвая...», «Как круги на воде, расплывается страх...»). Однако в целом творчество Моршена в отличие от многих поэтов русского зарубежья лишено

меланхолии, тем более – поэтизации смерти. Поэт даже вступает в полемику со своими предшественниками, поэтами парижской ноты, обвиняя их в слабости («Ответ на ноту») и утверждая победу смертоборчества над разрушением.

Прочитывая в одном из последних стихотворений («О звездах») строки Лермонтова, Есенина, Пушкина, Гумилева, Цветаевой о смерти, Моршен говорит, что поэты накликали на себя несчастье, и противопоставляет трагическому восприятию мира душевное спокойствие Державина, в имени которого, по мысли автора стихотворения, «Струилась жизнь певца подобно чуду / Подробно, резво, но не впопыхах. / Была жена в постели. Бог повсюду, / И вкус бессмертья длился на губах».

Одно из последних стихотворений первой книги называется символически «Исход». Лирический герой призывает пойти «на самый дальний край земли, / Забыв, что нет такого края».

По Моршену, смерть и хаос преодолеваются словом, слово соединяет быт и бытие:

Себя являя в поиСках – чего?  
 Ловя преданья гоЛоса – какого?  
 Она вливает в хаОс волшебство,  
 Водой живой взвиВая вещество,  
 Она и хаос претвОряет в СЛОВО.

Сложнейшая и виртуозная форма акростиха в начале и середине строфы, повторенное в ее конце позволяет поэту графически выделить ключевое понятие его творчества.

В Слове (в лексике), говорил поэт в беседах с автором этой статьи, таятся тайны мира, его законы, противоречия. Поэт занимается не формальным словотворчеством, а извлечением *из слова* сущности мироздания, природы, человека. Не случайно одно из стихотворений Моршен назвал «Диалексика <не диалектика – В.А.>природы».

Слово помогает раскрыть красоту природы: «Природа ходит ходуном, / Беременная словолшебником, / Каким-то логиколдуном» («Поэтический мутант»).

Уже в этом стихотворении проявляется не только характерное для поэта создание из привычных слов окказионализмов, но и его уверенность в связи природы и поэзии, в могуществе поэтической

строки. Слово, считает Моршен, вмещает в себя противоречия бытия и примиряет их, воссоздавая цельную картину нашего мира. Наиболее полное воплощение эта мысль получит в книге «Эхо и зеркало»: «В небытии есть *быть*, / А в глухоте есть *ухо*, / В *любить* таится *бить*, / В *аду* – кусочек *духа*» («Диалексика природы»); «В *весеннем – сень*, в *томленье – лень*, / В *распаде – ад*, в *сближенье – жженье...*» («Двоичное счисление»).

Верный принципу рассматривать все явления в диалектике, Моршен ведет сам с собой спор о смерти и бессмертии, о соотношении смертного человека с вечным космосом. Он понимает, что от смерти не убежишь «хоть круть, хоть верть», что «нахлынет смерть из темноты» («Осенний жалуется норд...»). Но тут же на примере глухослепонемой Елены Келлер, сумевшей преодолеть свои недуг и войти в мир людей, утверждает, что можно свой перешагнуть предел. В свете этой мысли писателя становится понятно название его второй книги «Двоеточие»: «Я смерть трактую не как точку – / Как двоеточие» («Шагаю путаной дорогой...»).

Еще одной темой, пронизывающей все творчество Н. Моршена, является тема выбора и свободы личности. «За каждой гранью свое мирозданье», – утверждает поэт. Однако, прославляемое поэтом «свое-волье» не имеет ничего общего с индивидуализмом: о чем Моршен прямо говорит в стихотворении «Поиски счастья», интересного еще и своим графическим построением:

Где *Я* выходит на первый план  
Там только скука, туман, обман  
    рождение – *Яй*цеклетка  
    жизнь – *Яр*мо  
    любовь – *Яд*  
    смерть – *Я*щик  
А там, где *я* на заднем плане,  
Есть или счастье, иль обещанье:  
    Рождение – *воля*  
    Жизнь – *стихия*  
    Любовь – *семья*  
    Смерть – *вселенная*.

Начиная со стихотворения «Раковина» первой книги поэта, тема включенности человека в природу и космос сопрягается у Моршена



*Н. Мошен и В. Агеносов. Монтерей (штат Калифорния)*

с темой поэта и поэзии. Образ поэта, преодолевшего стихами тяжесть земной оси и победившего время, сравнивается с былинкой, которая пробивает бетон.

В стихотворении «Многоголосый пересмешник», открывающем сборник «Эхо и зеркало», пение птиц сравнивается с поэзией. Поэт, утверждает Моршен в триптихе «Недоумь-слово-заумь», – связующее звено живой природы и вечности. «На человеческий язык / Речь духа переводит лира». Стихи открывают тайны вселенной, как ключом открывался сказочный сезам, говорит Моршен и, будучи физиком, воплощает это в формуле:

Крутой замес еще бродил в сезаме.  
Змеясь, жило в нем словопламя,  
Формировался звукоряд,  
И проявлялись буквосвойства:

**СЕЗАМ**  
**АЗ ЕСМЬ А<sup>3</sup>**  
**Е = МС<sup>2</sup>**

**Сезаумь, откройся!**

После 1987 года, когда поэт перенес серьезную болезнь, он умолк почти на 10 лет. И лишь в канун своего 80-летия создал два новых стихотворения, используя его выражение, самой высокой пробы: «Подражание Р. Фросту» и уже упоминавшееся «Поэтов увлекали приорицанья...».

Характерно, что и последние сборники поэта завершаются обращением к языку, «*К русской речи*». Моршен стремится включить в свою речь все богатство живого языка, повторяя вслед за А. Пушкиным, что учиться языку поэт должен у московских просвирен.

О характерной для Моршена приверженности к борьбе, к жизне-радостному восприятию мира свидетельствует и выбор имен и произведений американских поэтов, переведенных им для журнала «Америка».

Певец явной «свободы и для зверей и для людей», Н. Моршен выбирает для переводов стихи Оливера Холмса, Генри Лонгфелло, Джемса Лоуэлла, Франсиса Хопкинсона, восславивших американскую революцию. Философ-оптимист, он обращается к стихам Г. Торо,

У. Уитмена, Р. Фроста, Р.П. Уоррена и других практически неизвестных русскому читателю американских поэтов о природе, любви, красоте жизни, о сильных и мужественных людях. Даже если речь идет о смерти, как в стихотворениях американцев Марка Стрэнда («В самом конце»), Рэймонда Кавера («Что сказал доктор») или англичанина Джона Мейсфилда («Морской волк»), их лирический герой сохраняет стойкость и готов даже в предсмертный час «в море пуститься опять, в привольный цыганский быт».

Несокрушимый оптимизм, редкий для поэзии русской эмиграции, вызвал к жизни и особые художественные формы поэзии Моршена.

Ритмику Моршена отличает динамическая энергия, создаваемая четкими повторами ударений в параллельных стихах, короткими фразами, нарастанием от сборника к сборнику использований тире, вопросов, восклицаний.

Живая жизнь передается у поэта олицетворениями и метафорами: тростник отточен словно сабля, уходит осень по тропинке, земля под дождем от страха мякла, созвездья ночью искры мечут, ручей – поэт подпочвенный; галки вьются, как слова; луна, разжиревшая за день; река и ночь струятся вдохновенно и торжественно, как старые стихи; тень – кошка, парчой тропу одели огнелистые дубы; клены перелистывали многотомный свод небес. Во всех этих олицетворениях и сравнениях природа, человек, поэзия слиты воедино.

Стремление раскрыть диалектику явлений, заставить звучать заново привычные слова приводит поэта (и чем дальше, тем больше) к разделению слов на слоги (свое-волье; под-снежник, боли-голов, чаро-действие, благо-даря, оче-видным и т. п.) или образованию необычных новых словосочетаний (не водопад – а водокап, не травостой – а травояг). Классическим примером мастерства словообразований Моршена является стихотворение о снеге «Белым по белому».

Иронический, но отнюдь не скептический, оттенок придают стихам поэта использованные им в своеобразном соединении технические термины XX века (сокровищница генная, электромагнетизм, термодинамика) и просторечия типа ахи-охи, тары-бары, фигли-мигли; тру-ля-ля и те-те-те.

Оживляют стихи и придают им динамику звукоподражания птицам, эху (зин-зи-вер; чьи-вы, чьи-вы; пить-пить-пить и др.).

Радостность, светлость придают стиху Моршена и виртуозные рифмы (искусница-златокузница, рассказывай-топазовый, ерепенит-ся-смиреница, озером-прозелень, такт-смарагд, изумруд-не замрут), и фонетические повторы внутри одной строки или строфы.

В отклике на первый сборник Моршена известная русская поэтесса Ирина Одоевцева написала, что «автор «Тюлень» молод и здоров, гораздо моложе душевно своих сорока лет». Эту молодость и здоровье поэт сохранил и в пятьдесят, когда писал «Двоеточие», и в шестьдесят, когда создал «Эхо и зеркало», и после восьмидесяти.

Поэзия Моршена – светлая жизнерадостная струя в литературе русского зарубежья.

## Сочинения

Тюлень. – Франкфурт-на-Майне, 1959.

Эхо и зеркало. – Беркли, 1979

Двоеточие. – Вашингтон, 1967.

Собрание стихов. – Беркли, 1996.

**Пуще неволи.** – М.: Сов. спорт, 2000.

## Публикации

Альпийская весна // *НЖ*. 1967. № 88.

Башня // *НЖ*. 1960. № 60.

Белым по белому // *НЖ*. 1970. № 98.

В миниатюре. Стихи // *НЖ*. 1974. № 114.

В пятом измерении // *Возр.* 1969. № 214.

Весенняя шарада // *НЖ*. 1970. № 98.

Времена года // *НЖ*. 1966. № 85.

Встреча с зарей // *НЖ*. 1962. № 67.

«Гроза прошла, и – хорошо в полях...» // *НЖ*. 1954. № 37.

Два стихотворения // *Грани*. 1956. № 32.

Душа // *НЖ*. 1960. № 60.

«За каждую гранью – свое мирозданье...» // *НЖ*. 1966. № 85.

«Закат вчерашний не поблек...» // *НЖ*. 1962. № 67.

«Звезда на небе. Сколько слез и слов...» // *НЖ*. 1954. № 37.

Иванушка // *НЖ*. 1976. № 122.

Из киевских стихов // *Грани*. 1949. № 5.

К русской речи // *НЖ*. 1966. № 85.

Кусты над рекой // *НЖ*. 1975. № 121.

Лириды // *НЖ*. 1970. № 98.

- Многоголосый пересмешник // *НЖ*. 1967. № 88.  
Моей горе // *НЖ*. 1966. № 85.  
Муза // *НЖ*. 1969. № 96.  
На закате // *НЖ*. 1961. № 66.  
Наблюдения у истоков горного ручья // *НЖ*. 1963. № 72.  
«Не горюй, не горюй – ветер с юга идет...» // *НЖ*. 1962. № 67.  
Новые стихи // *НЖ*. 1968. № 91.  
Ночь на взморье // *НЖ*. 1962. № 70.  
О звездах; Поэт в Америке // *НЖ*. 1998. № 213.  
Ода эволюции // *НЖ*. 1960. № 60.  
Океанские стихи // *Грани*. 1951. № 12.  
Ответ на ноту // *НЖ*. 1961. № 66.  
«По тревоге, на весну похожей...» // *НЖ*. 1954. № 37.  
Поиски счастья // *НЖ*. 1970. № 100.  
Послание к А.С.П // *НЖ*. 1973. № 110.  
После дождя // *НЖ*. 1952. № 29.  
Последний лист // *НЖ*. 1949. № 21.  
Постулаты бессмертия // *НЖ*. 1957. № 49.  
Поток и лужи // *НЖ*. 1962. № 67.  
Поэт, художник и читатель // *НЖ*. 1967. № 89.  
Пять стихотворений // *НЖ*. 1966. № 83.  
Поэтический мутант // *НЖ*. 1974. № 116.  
Пять стихотворений с эпиграфами; Гамлет на пороге третьего тысячелетия;  
Другу стихотворцу; В защиту сорных трав; Неизвестному автору; Морской волк // *НЖ*. 1999. № 216.  
Разговор о Елене Келлер // *Опыты*, 1955. № 5.  
Раздвойники // *НЖ*. 1970. № 100.  
Розовые очки // *НЖ*. 1970. № 100.  
Сбившемуся с тропы // *НЖ*. 1967. № 89.  
Своеволье? // *НЖ*. 1967. № 89.  
Сжигая черновики // *НЖ*. 1954. № 37.  
Слова // *НЖ*. 1962. № 67.  
Слова счастья // *НЖ*. 1949. № 21.  
«Среди туманностей цепных...» // *НЖ*. 1962. № 67.  
Стансы // *НЖ*. 1969. № 96.  
Стихи // *НЖ*. 1968. № 93; 1971. №№ 103–105; 1972. №№ 106, 107, 109; 1973. №№ 111, 118; 1976. № 124.  
Стихи // *Грани*. 1949. № 8; 1959. № 44; 1976. № 100.  
Стихи // *Встречи*. 1979–1987, 1989, 1990, 1991, 1996, 2002.  
Стихи 1954 года // *НЖ*. 1955. № 42.  
Стихотворение // *Возд. пути*, 1960. № 1.  
Три стихотворения // *Грани*. 1948. № 4.  
Три стихотворения // *НЖ*. 1960. № 62.  
У маяка // *НЖ*. 1952. № 29.

Цветок // *НЖ*. 1966. № 85.

«Чем синька синее...» // *НЖ*. 1967. № 89.

Шесть стихотворений // *НЖ*. 1954. № 36; 1966. № 82.

Юродивый // *НЖ*. 1975. № 120.

Ямбы // *НЖ*. 1960. № 60.

\* \* \*

Он прожил мало: только сорок лет.  
В таких словах ни слова правды нет.  
Он прожил две войны, переворот,  
Три голода, четыре смены власти,  
Шесть государств, две настоящих страсти.  
Считать на годы – будет лет пятьсот.

## ТЮЛЕНЬ

«Товарищи!»  
Он опустил глаза,  
Которых не удастся образумить.

«Кто за смертную казнь врагам народа,  
прошу поднять руки!»

Все подняли. Он тоже поднял «за»,  
Стараясь ни о чем не думать,

Но головокруженье превозмочь  
И, отстранясь, скорей забыть про это.  
Аплодисменты. Значит, можно прочь,  
Из коридоров университета

На воздух. Сумерки. Земля  
Апрелем пахнет. Дальше что? Постой-ка,  
Теперь все просто: полтора рубля,  
Стакан вина у неопрятной стойки

И папиросу в зубы. И – в сады,  
Туда, к реке, где ночь шуршит ветвями,  
А звезды, отразившись от воды,  
Прносятся, как эхо, над садами.

Где в темноте, друг другу далеки,  
Блуждают одиночки по аллеям,  
И, как кладбищенские огоньки,  
Их папиросы плавают и тлеют.

И здесь бродить. Сперва – томясь, потом –  
Уйдя в покой туманных размышлений  
О постороннем; в частности о том  
По детским книжкам памятному тюлене,

Который проживает там, где лед  
Намерз над ним сплошным пластом снаружи.  
Тюлень сквозь лед отдушину пробьет  
И дышит, черный нос с усами обнаружа.

## **ВОЛЧЬЯ ВЕРНОСТЬ**

Вольных пасынков рабской земли  
Мы травили – борзыми, цианом,  
Оплетали – обманом, арканом,  
Ущемляли – презреньем, капканом,  
Только вот приручить не могли.

Перелязгнув ремни и веревки  
Или лапу отхрупнувши, волк  
Уходил от любой дрессировки,  
Как велел генетический долг.

Ковылял с холодеющей кровью,  
С волчьим паспортом, волчьей тропой  
Из неволи в такое безмолвье,  
Где хоть волком в отчаянье вой.

Чтоб в согласии с предначертаньем  
И эпохе глухой вопреки,  
Волчьим пеньем и лунным сияньем –  
Волчьим солнцем своим! – одурманен,  
В волчью яму свалиться с сознанием  
Обреченности, тайны, тоски.

Иль за обледенелую кочкой  
Затеряться в российских снегах,  
Околев с недоглоданной строчкой,  
Словно с костью в цинготных зубах.

### **БЫЛИНКА**

Не имея в распоряжении  
Кроме нежности, ничего,  
Как приводит она в движение  
Белокнижное колдовство?

Упираясь вершинкой тоненькой  
В землю влажную, как ногой,  
Под стотонной плитой бетонною  
Выгибает себя дугой.

И оковы ее, которые  
Не стащить и пяти волам,  
Как в классической аллегории,  
Разрываются пополам.

Есть примеры тому в истории,  
А недавно и Мандельштам...

### **ТКАНЬ ДВОЙНАЯ**

Что без читателя поэт?  
Он монолог (вне разговора),

Он охромевший Архимед,  
Лишенный подлинной опоры.

Свидетель будет лицезреть  
Явление и поймет законы,  
А яблоку нелепо зреть  
Без Евы, падать без Ньютона.

Что делать – так устроен свет,  
Не нам менять порядки эти:  
И пол, и полюс, и поэт  
Равно нуждаются в ответе.

На высший суд призвав меня,  
Когда окончатся все сроки,  
Мне в преступление вменят  
Мной недотянутые строки.

И гневно вопросят в упор:  
«К чему ты наплодил уродцев?»  
Но я не сдамся на укор  
И так попробую бороться:

«Я не горжусь своим стихом.  
Неточен почерк мой. Однако  
Есть у меня заслуга в том,  
Что я читатель Пастернака.»

### **ОТКРЫТИЕ СТИХА**

Приглядишься к стиху – увидишь.  
Открывается всегда,  
Как шампанское, как Китеж,  
Как сверхновая звезда.  
И как ларчик, и как рана,  
И как древняя страна,  
Как объятье – без обмана,  
Как родник весной – до дна.

Кто в стихи глядит как в воду,  
Открывает, окрылен,  
В них случайность и закон,  
Подчиненье и свободу,  
Тяжкий труд и легкий звон,  
Смерти смех и жизни стон,  
Словом, открывает он  
(Словом открывает он!)  
В них явление природы.

### **ДИАЛЕКСИКА ПРИРОДЫ**

К словам я присмотрюсь,  
Прислушаюсь, придвинусь –  
То вижу минус-плюс,  
То слышу плюс и минус.

Возьмем, к примеру, лесть  
И звонкую монету:  
У лести рифма – есть,  
А у монеты – нету.

В небытии есть быть,  
А в глухоте есть ухо,  
В любить таится бить,  
В аду – кусочек духа.

У каждой из частиц  
Есть собственное анти-,  
У лестницы есть ниц,  
И Данте скрыт в педанте.

А Данте кто? Поэт!  
Талант и эмигрант он,  
Поэтому да-нет  
Содержится и в Данте.

**НЕДОУМЬ – СЛОВО – ЗАУМЬ**  
(Трестих)

*Дыр-бул-щыл*

Меня возьми да надоумь  
Пичужка, как это ни странно,  
Что горемычна недоумь,  
А заумь гореотуманна.

Я с дыр-бул-щылом шел в руках,  
Не то поэт, не то читатель,  
Но все равно – шел в дураках,  
Глядь –

По березе прыгал дятел,  
Красной шапочкой качал,  
Словно лодку конопатил,  
Во все щелочки стучал.

Мы с ним спелись для дуэта  
Отбивал он так и ток,  
Я проворно в схему эту  
Подключал за слогом слог.

У него была сноровка  
(Да и я ведь не простак!)  
Выходило очень ловко,  
Приблизительно вот так:

*То так, то ток,  
Таков мой такт –  
Мастак, знаток  
Таких токкат.*

Вот теперь не бестолково  
Получалось у него:  
Недоумь рождала слово  
Через наше озорство.

Вдруг фырх-порх – и горя мало!  
 Вот и кончился дуэт:  
 Птичка Божия не знала,  
 Что она полу-

ПОЭТ

*В начале было Слово*

До всех эонов, эр, эпох  
 Весь мир был в Слове – тот и этот,  
 И Слово означало – Бог:  
 Начало, замысел и метод.

Но по законам естества  
 Тяжелой плотью стало Слово,  
 И ты явился в мир, чтоб снова  
 Перековать его в слова:

На человеческий язык  
 Речь духа переводит лира,  
 На недоумь – звериный рык,  
 На заушь –

**СОТВОРЕНЬЕ МИРА**

*Е равно эм-це квадрат*

В начале было Слово там:

**СЕЗАМ**

Крутой замес бродил в сезаме,  
 Змеясь, жило в нем словопламя,  
 Формировался звукоряд,  
 И проявлялись буквосвойства:

**СЕЗАМ**

**АЗ ЕСМЬ А<sup>3</sup>**

**Е = МС<sup>2</sup>**

**Сезаумь, откройся!**

**БЕЛЫМ ПО БЕЛОМУ**

Зима пришла в суровости,  
 А принесла снежновости.

Все поле снегом замело,  
Белым-бело, мелым-мело,  
На поле снеголым-голо,  
И над укрытой тропкою,  
Над стежкой неприметною,  
Снегладкою, сугробкою,  
Почти что беспредметною,  
Туды-сюды, сюды-туды  
Бегут снегалочки следы,  
Как зимниероглифы,  
Снегипетские мифы.

В лесу дубы немногие,  
Снеголые, снежные.  
Висят на каждой елочке  
Снегвоздики, снегопочки.  
И снеговая сосна  
Стоит прямее дротика.  
Сугробовая тишина.  
Снеграфика. Снеготика.

### **МИР СТИХОТВОРЦА ГЛАЗАМИ ПАНГЛОСА**

В мире, где молодо-зелено  
Сердце на склоне лет,  
В мире, где ни эллина,  
Ни иудея нет,

В мире, где вертится иначе  
Чертова карусель,  
Только Дантесы Мартынычи  
И попадают в цель.

Но неуместны жалобы –  
Мол, если бы да кабы  
Жертва их избежала бы  
Авелевой судьбы...

Лучше уж в гроб, чем Каином!  
Лучше Кандид, чем бандит,  
Которому неприкаянным  
В убийцах всю жизнь ходить!

Было б совсем не весело,  
Был бы сплошной скандал,  
Если б Цветаева – вешала  
И Мандельштам – ссылал.

Видимо, Всемогущему  
Ясен источник строф,  
И все, действительно, к лучшему  
В лучшем из всех миров.

### О ЗВЕЗДАХ

Утром раза три в неделю  
С милой Музой порезвлюсь,  
Там опять пойду в постелю  
И с женою обоймусь.

*Г. Державин*

Поэтов увлекали прорицанья  
Внезапной смерти, яростной притом,  
В полдневный жар долины в Дагестане  
Или в зеленый вечер под окном.

Тянуло их писать, как на дуэли  
*Поэт на снег роняет пистолет,*  
Предсказывать, как вышло и на деле,  
*Умру не на постели, в дикой щели,*  
Твердить: – ...*пора творцу вернуть билет.*

Но быть пророком, даже невеликим  
И мудрым звездочетам не дано.  
А словом опрометчивым накликать  
Несчастья на себя не мудрено.

Не отогнать накликаемые беды,  
Хоть можем вспомнить об иной звезде:  
Минут пяток всхрапнуть после обеда  
И побродить уже во сне по следу  
Державина в зеленой Званке, где

Струилась жизнь певца подобно чуду  
Подробно, бегло, но не впопыхах.  
Была жена в постели, Бог повсюду,  
И вкус бессмертья длился на губах.

# Нароков

(Марченко)

## Николай Владимирович

(1887–1969) – прозаик.



Отец поэта Н. Моршена. Родился в Бессарабии, откуда переехал на Украину. Учился в Киевском политехническом институте, по окончании которого несколько лет работал в Казани. В Гражданскую войну служил в Белой армии Деникина. Попал в плен и некоторое время был санитаром у красных. Бежал, конвоируя в штаб пленного белого офицера. До 1932 преподавал в школе математику в различных городах Украины. Как бывший участник белого движения в 1932 году был арестован, но получил незначительный срок заключения.

С 1935 года жил в Киеве, откуда в 1944 году вместе с семьей эмигрировал в Германию. Находился в лагере Ди-Пи Zoo Camp. В 1950 переехал в Монтерей штат Калифорния США), где жил вместе с сыном.

Его творчество отличает умение, рисуя повседневность, погрузиться в вечные проблемы, показать борьбу добра и зла, утвердить веру в победу нравственности и духовности, в обретение человеческой общности (соборности).

Перу Нарокова принадлежат три романа: «Мнимые величины» (1952), «Никуда» (1961) и «Могу!» (1965).

Во всех поставлена проблема свободы, морали и вседозволенности, Добра и Зла, утверждается идея ценности человеческой личности, что роднит писателя с творчеством Ф. Достоевского, влияние которого проявляется на всех уровнях художественных произведений писателя.

В основе «Мнимых величин» и «Могу!» лежит полудетективный сюжет, тайна, позволяющая заострить столкновение морали и безнравственности, трагическую подмену в советской действительности истинных ценностей, выяснить, любовь или жажда власти правит миром.

Один из главных героев «Мнимых величин» чекист Ефрем Любкин, возглавляющий НКВД в провинциальном городке, утверждает, что все провозглашаемые коммунизмом цели – лишь громкие слова, «суперфляй», а «настоящее, оно в том, чтобы 180 миллионов человек к подчинению привести, чтобы каждый знал, нет его!.. Настолько нет, что сам он это знает: нет его, он пустое место, а над ним все... Подчинение! Вот оно-то... оно-то и есть на-сто-ящее!». Многократно повторяющаяся в романе ситуация, когда человек создал фантом и сам в него поверил, придает злу трансцендентный характер. Ведь этому закону подвержен и несчастный арестант Варискин, и мучающие его следователи, и сам всемогущий Любкин, поверивший в то, что подчинение и есть смысл жизни и лишь избранным дана «полная свобода, совершенная свобода, от всего свобода – только в себе, только из себя и только для себя. Ничего другого – ни Бога, ни человека, ни закона».

Еще более последовательно проводит эту мысль «человек-могу» Федор Петрович Ив. Все его помыслы направлены на подчинение себе других людей. Подобно Великому инквизитору из романа Ф. Достоевского «Братья Карамазовы», Ив утверждает, что обычные люди должны с радостью отказываться от своей свободы в пользу сильных. Причудливый путь этого дьявола-искусителя (видный коммунист – сотрудник гестапо – капиталист) на самом деле весьма показателен и характерен: все эти виды деятельности дают Иву власть.

Однако по мере развития сюжета выявляется несостоятельность идеи тирании как главного закона мироздания. Любкин убеждается, что его теория такой же «суперфляй», как и коммунистические догмы. Его все более тянет к Библии с ее идеалом любви к ближнему. Иву не удастся хитроумный план завладеть нравящейся ему женщиной. У его верной помощницы Софьи Андреевны, как и у Раскольникова, «чтобы убить, сил хватило, но чтобы жить с убийством в душе» – нет. Любкин к концу романа меняется; Софья кончает жизнь самоубийством. Сам Ив вынужден бежать.

Причиной такого исхода является наличие в системе образов обоих романов людей высокой морали. Как правило это женщины: Евлалия Григорьевна и ее соседка старушка Софья Дмитриевна в «Мнимых величинах», Юлия Сергеевна – в «Могу!». Внешне слабые, наивные и даже порой смешные, они верят в то, что «все дело

в человеке», «человек – альфа и омега», верят в интуитивное понимание Добра, в то, что Кант и Достоевский называли категорическим императивом. Напрасно искушает Любкин хрупкую Евлалию Григорьевну правдой о предательствах близких ей людей, ожидая, что женщина воспылает ненавистью к ним, откажется от любви к ближнему. Тщетно спекулируют на совестливости Юлии Сергеевны Ив и Софья, желая совратить праведницу. Они приносят ей страдание, но не могут заставить изменить принципам.

Сложная система образов-зеркал помогает писателю выявить нюансы нравственных споров, придает романам многогранность и психологическую глубину. Этому же способствуют широко вводимые в ткань повествования описания снов персонажей, символические притчи, рассказываемые героями, воспоминания об их детстве, оценка способности или неспособности воспринимать красоту природы.

Менее удачен из-за своей назидательности роман «Никуда» («Возрождение», 1961. № 110–118). Его герой помещик и общественный деятель Николай Борисович Дербышин растрчивает свою жизнь на внешне полезные дела (вплоть до работы в Государственной Думе) и проходит мимо своего подлинного счастья, воплотившегося в традиционном для Нарокова образе духовно богатой женщины Нины Павловны. Смерть героини возвращает Дербышина к осознанию подлинной жизни и Бога, к новой возрождающей его любви.

В архиве писателя имеется книга «Странных рассказов», часть из которых была опубликована в журнале «Возрождение». Основная мысль большинства рассказов – иррациональность бытия; наличие Высшей воли, необъяснимого чуда и вселенского Зла («Флакон», «Издевательство», «Дождь», «Слепая»), относительности земных ценностей («Прошлогодний снег», «Малайское ожерелье»). В отдельных рассказах звучит осуждение социального миропорядка, резкая ирония над бездуховными «хозяевами жизни» («Крупное событие», «Стеклянная королева», «Люди»). Лучшим из рассказов присущи оригинальные сюжеты, притчевость, соединение бытовых деталей и фантазмогорий. Некоторые излишне рациональны, наполнены затянутыми философскими диалогами и прямыми выводами автора.

Интерес писателя к психологии массового сознания и русскому национальному характеру отразился в написанных на историческом материале рассказах «Общественное мнение», «Некультурный человек» и «Завоеватель».

## Сочинения

Мнимые величины – Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952.

«Могу!». – Буэнос Айрес: Сеятель, 1965.

**Мнимые величины.** – М.: Худ. литература, 1990.

«Могу!». – М.: Дружба народов, 1991.

## Публикации

Завоеватель // *Возр.* 1956. № 58.

Защитники закона (Из серии «Странные рассказы») // *Возр.* 1955. № 43.

Зеркало и пуля // *Возр.* 1955. № 41.

Издательство // *Возр.* 1956. № 55.

Люди (Из серии «Странные рассказы») // *Возр.* 1955. № 45.

«Могу»: Отрывок из подготовляемого к печати романа // *НЖ.* 1955. № 42.

Некультурный человек // *Возр.* 1955. № 46.

Никуда // *Возр.* 1961. №№ 110–118.

Общественное мнение // *Возр.* 1955. № 42.

Прошлогодний снег: Рассказ // *Грани.* 1957. № 34–35.

Слепая (Из серии «Странные рассказы») // *Возр.* 1956. № 52.

Таня (глава из романа) // *Мосты.* 1958. № 1.

Урод // *Возр.* 1951. № 17.

Флакон (Из серии «Странные рассказы») // *Возр.* 1955. № 41.

## Литературная критика и публицистика

Два Чацких // *НЖ.* 1958. № 53.

Оправдание Обломова: (К 100-летию романа) // *НЖ.* 1960. № 59.

Принцип, преферанс и сапоги // *Грани.* 1959. № 45.

Причуда или культура? // *Возр.* 1963. № 144.

Русский язык «там» // *НЖ.* 1963. № 71.

Старые мехи // *НЖ.* 1960. № 62.

Чехов-общественник // *НЖ.* 1957. № 48.

### Фрагмент из романа «Мнимые величины»

*У главной героини Евлалии Григорьевны арестован отец. Она обращается к некоему Семенову, оказывающему ей покровительство после того, как ее сбила его машина, и сообщает, что собирается*

*идти к свирепствующему в городе начальнику ЧК Любкину, чтобы защитить отца. Но Семенов и Любкин – один и тот же человек: просто зверствующий Любкин начинает сомневаться в правоте большевистского дела, называет его суперфляем (паром над супом, т. е. блефом). Разговор с женщиной, которую он, подобно героям Достоевского искушает, и является для Любкина проверкой того, существует ли на свете доброта, любовь, вера.*

## Часть вторая. Глава IX

Следующие три дня после ареста Григория Михайловича слились для Евлалии Григорьевны в бесконечное, мучительное и темное. Одна из соседок посоветовала ей обратиться «к самому Любкину».

– Любкин? Кто такой Любкин?

– Неужто не знаете? Царь и Бог! С мелюзгой вам и разговаривать нечего, потому что мелюзга вам ни в чем помочь не сможет. Уж если просить кого-нибудь, так того просить, кто все сделать может. А выше Любкина и нет никого! Только вряд ли к нему дойти можно: не пустят!

И Евлалия Григорьевна то с безмерным нетерпением ждала Семенова, то порывалась пойти «к самому Любкину». Горячее, бичующее самообвинение налетело на нее, и она беспощадно обвиняла себя за те часы, когда она, поддавшись чувству омерзения и негодования, готова была забыть (и – «забыла!») отца. «Мне даже жалко его не было, даже жалко не было!» – казнилась она, прижимая ладони к пылающим щекам.

Семенов все не приходил. И Евлалию Григорьевну охватывал страх: она боялась, что она «опоздает».

Семенов пришел только на пятый день, двадцать третьего числа, довольно поздно, часов в девять. И придя, стал сразу говорить о деле.

– Знаю. Все знаю! – остановил он первые же бессвязные слова Евлалии Григорьевны. – Мне Чубук сегодня сказал. Отца арестовали? Слава Богу, что вас еще не тронули!

– А меня... за что? – слабо изумилась Евлалия Григорьевна.

– Вас-то? А его за что? – вопросом ответил Семенов.

– Ах да! И его тоже, конечно... Совсем, совсем ни за что! – горячо вскинулась она и даже прижала руки к груди.

– Вы лучше это оставьте! – серьезно посоветовал ей Семенов. – «За что», «ни за что»... Не в этом сейчас суть, а в том – чего вы хотите? Вы чего, собственно, хотите? – прямо спросил он.

Евлалия Григорьевна только посмотрела, потому что она не знала, что ей отвечать. Она очень хорошо знала, чего она хочет, но не знала, как сказать это. «Освободите папу!» Но она понимала, что так нельзя говорить, что надо ответить какими-то иными словами, деловыми, официальными, какими говорят судьи, адвокаты и следователи. Но этих слов она не знала.

– Похлопотать... – неопределенно сказала она.

– Гм! Похлопотать! Где же? Как же?

– Я... Я, собственно, не знаю, но мне советовали... Есть, говорят, какой-то Любкин, начальник... Он, говорят, все может.

– Любкин? – немного дрогнул Семенов. – Ишь ты... Любкин! Ну, этот Любкин все не все, а многое, конечно, сделать может. Так что же?

– Я думаю к нему пойти... Можно? Как по-вашему?

– Вы? К Любкину?

Вероятно, предположение Евлалии Григорьевны чем-то очень поразило Семенова. «Вы? К Любкину?» – переспросил он, и в этих двух словах он выразил очень многое: даже мысль о том, что Евлалия Григорьевна может пойти к Любкину, не укладывалась в нем.

– А... А разве нельзя? – спросила Евлалия Григорьевна, готовая начать страстно уверять, что пойти можно и надо.

– Нет, можно! Отчего ж? Можно! – ответил Семенов, глянул на нее и громко расхохотался. Смех был искренний и даже немного веселый, но он резанул Евлалию Григорьевну: разве можно смеяться, если она готова даже пойти «к самому Любкину»?

– Здорово! – блестя глазами от смеха, подмигнул ей Семенов. – Это здорово: вы и – у Любкина! Воображаю!

– Вы его знаете?

– Малость знаю.

– Он очень страшный?

– Страшный? Нет, отчего же... Страшный? Ни!.. Страшных людей, надо думать, на свете нет, а вот сильные и слабые есть. Ну, Любкин – мужик, конечно, вполне серьезный, и особенно шутить с ним не следует. Но суть опять же не в этом, а в том: зачем вам ходить к Любкину? За отца хлопотать? А вы подумали над тем, надо ли за него хлопотать?

– Как... надо ли? – широко раскрыла глаза Евлалия Григорьевна.

– Да вот так надо ли? «Отца арестовали»... А вы мне скажите: что за отец такой у вас? Вы думаете, что я не знаю? Знаю. Не хочу говорить много, а что он – сволочь, это я скажу.

– Павел Петрович! – и с просьбой, и с возмущением, и с угрозой выпрямилась Евлалия Григорьевна.

– Вот вам и Павел Петрович! Чего вы накинулись? Такого говорить не полагается? невежливо? не принято? Наплевать мне на это, я – большевик, мне можно! Сволочь есть сволочь, и сахаром ее посыпать нечего, а надо глотать ее такой, какая она есть. Сволочь он у вас, и вы знаете, что я правду говорю. Ведь он у вас камнем на шею висит, жить вам не дает, последнее у вас отбирает и псу под хвост бросает! Не знаете? Знаете! Породить он вас породил, а что он дал вам? Вспомните-ка, припомните-ка! Дал ли он вам хоть раз что-нибудь? Отнял ли он хоть раз от себя копейку, чтобы вам дать? А?

Семенов говорил, и сам не понимал, почему чуть ли не каждое слово злит его и почему злоба против Григория Михайловича незаметно становится злобой против Евлалии Григорьевны? А он (неужели так?) начал уж и ее ненавидеть какой-то странной ненавистью, похожей на жалость: за то, что она слаба, беспомощна и робка, за то, что она не умеет ни видеть, ни понимать, ни бороться, а вот... вот хочет «к самому Любкину идти», чтобы отца спасти. Себя-то может ли спасти? Он (неосознанно для себя) видел, что в Евлалии Григорьевне есть какая-то непонятная ему сила: себя спасти не может, а для отца «к самому Любкину» пойдет. И именно за эту силу он начинал ненавидеть Евлалию Григорьевну, а в то же время хотел поклониться ей до земли... Вот – сидит сейчас, голову опустила, только плакать может и... молчит. Молчит.

– Ведь он вас продать хотел, знаете ли вы это? – все больше охватывался злобой Семенов. – Мне продать, мне! Вот так вот, взять вас своими отцовскими руками и ко мне на постель положить: «Нате вам, товарищ Семенов! Пользуйтесь моей дочечкой в свое полное мужское удовольствие, а мне за это беспечальную жизнь устройте!» Знаете? Знаете вы это?

– Он? – с ужасом вырвалось у Евлалии Григорьевны. – Вы...

– Вы-то этого не знали, в этом я ни на одну секундочку не сомневаюсь, в заговоре вы с ним не были. Ну, а я знаю! И вот теперь арестовали его, освободили вас от него. Именно так, именно вот так! Арестовали? А вы должны не «арестовали его» говорить, а – «освободили меня от него» говорить, если по справедливости рассуждать!

И это слово, а главное, то, как сказал его Семенов, неизвестно чем возмутило Евлалию Григорьевну. Она не выдержала, подняла на него глаза, и он увидел, что эти глаза заблестели.

– По справедливости? – не скрывая своего возмущения, начала она. – По справедливости? – повторила она это слово, чувствуя, что задыхается от непривычного негодования. – Да как же вы... Да как же можно говорить о справедливости, если человек погибает? – еще больше заблестала она глазами.

– Да ведь какой человек-то? Гадина паскудная, вот какой он человек!

– Не смейте! – выпрямилась Евлалия Григорьевна, и Семенов увидел ее такую, какою она не была никогда. – Не смейте так! Кто вы такой, что судить можете? А кто я, что смею судить?

– Чего ж не судить? – ни на шаг не отступил Семенов, а еще больше напрягся. – Если гадов не судить, так они всю жизнь изгадят.

– Да ведь как судить? Как судить? – страстно воскликнула Евлалия Григорьевна.

– Ну... «Как»! Судить попросту надо: взять аршин в руки и рассудить: пол-аршина в куске или пятнадцать аршин! И я, если правду вам сказать, очень даже за вас рад, что вашего папашу в чека засадили: ему – поделом, а вам – облегчение. Пусть не смердит!

– Павел Петрович! – вспыхнула Евлалия Григорьевна и встала во весь рост.

– Возмущаетесь? – зло подхватил Семенов. – «Человеческое» вам мешает? А подумали вы о том, чем дело кончится, если ваш папаша будет из вас соки сосать? О мальчишке-то своим подумали? Что с сынишкой будет, знаете? Черномазых-то беспризорников видели? Вот и ваш Шурик такой будет, если вы и дальше позволите из себя соки сосать, а сами о «человеческом» думать! Понимать надо, а не про совесть талдычить! Понимать! Понимать! По-ни-мать!

Он сказал, как гвоздь в стенку вколотил. И остановился, думая, будто он преодолел Евлалию Григорьевну.

Но Евлалия Григорьевна ничем преодолена не была. Все, что говорил Семенов, было настолько противоположно ей, что она не могла воспринять ни одного его слова.

– Нет! – негромко, но очень уверенно и твердо, как никогда – твердо, сказала она. – Я такого не могу понимать. Если моего отца арестовали, так я к самому Любкину пойду, а...

– «К самому Любкину»! – захохотал Семенов. – «К самому Любкину»! И забавно же это у вас выходит, когда вы вот такое говорите. Знал бы это Любкин, так... заинтересовался бы! Он такие штуки-фуки любит. Так пойдете? К самому Любкину пойдете?

– Пойду! – очень-очень просто ответила Евлалия Григорьевна, смотря Семенову прямо в глаза. Семенов усмехнулся и передернул плечами.

– Ну, ладно! – многозначительно сказал он, садясь на место и, очевидно, готовясь сыграть еще одним козырем. – Ну, ладно! Будем с вами говорить серьезно, коли вы... такая! Я ведь еще не все сказал. Главное-то у меня еще впереди. Будете слушать? Не боитесь?

– Что такое? – не забеспокоилась и не испугалась, а насторожилась Евлалия Григорьевна.

– Только, чур, меня не ругайте. Я для вас старался, а если вышло неладно, так в этом уж никак не я виноват, а папаша ваш. Я ведь днем сегодня в НКВД по вашему делу ходил и там справки наводил. У меня там и знакомцы есть, и... и самого Любкина, если надо будет тронуть, тронем.

– Что ж такое? – собрала силы Евлалия Григорьевна. Семенов на секунду приостановился, а потом сказал коротко:

– Папаша-то ваш – сексот.

Евлалия Григорьевна не вздрогнула и не вскрикнула, а только вцепилась в Семенова расширенными глазами.

– Знаете, что это за штучка? – не прятался от ее взгляда Семенов. – Сексот, секретный сотрудник, то есть... шпион, если прямо сказать, – доносчик. Уж на что в НКВД не святые сидят, но даже и там этих сексотов за людей не считают, хоть сами и плодят их. Но самая суть-то в том, что папашу вашего никто за шиворот туда не тянул, а он сам добровольно явился и свои услуги предложил. Это было три года тому назад, даже и побольше немного. Ну, ему, конечно, предложили сначала «доказать». Он и «доказал». Желаете знать, как он доказал? А вот...

Семенов приостановился, не спеша вынул из бумажника небольшой лист бумаги и глянул в него.

– Я выписку сделал: без промаха! Евтуховых знаете? Есть у вас такие знакомые? Арестовали там сына года три тому назад? Это ваш папаша «оформил». Тоже и с Корольковым. Знали такого? А потом, – он заглянул в бумагу, – еще и Лазарева, Ипполита Николаевича. Папаше за Лазарева тогда 100 рублей поощрительных заплатили.

– Нет! – рванулась Евлалия Григорьевна. – Неправда!

– Поверить, конечно, трудно, – мрачно усмехнулся Семенов, – но только вы ни в одном моем слове не сомневайтесь: документально

все установил. А то он еще раз совсем уж в пакостном деле участвовал. В таком пакостном, что он было зафанаберился даже, но тут его приманочкой приманили: «Получишь, дескать, доступ в наш закрытый распределитель!» Он и распластался. Ну, полного-то права распределителем пользоваться ему, конечно, не дали, рылом он не вышел, а бутылкой вина за полтинник или коробочкой импортных сардинок за тридцать копеек его побаловали: черт с тобой, кути! Трех человек он тогда под монастырь подвел, за сардинки-то. Одно-го расстреляли, а двое и по сей день на Печоре лес для экспорта заготавливают. Не угощал он вас этими сардинками?

Евлалия Григорьевна понимала все, понимала даже и то, чего не говорил Семенов. Без уверений и без доказательств она знала, что все это – правда. В ее памяти, следом за словами Семенова, всплывали и небольшие деньги, которые время от времени были у Григория Михайловича, и его неожиданные отлучки из дома, и его немного замкнутый, чуть таинственный вид, который он иногда напускал на себя. Вспомнилась и та банка омаров, которую он когда-то принес, которой любовался и хвастался... И он тогда (она со страшной ясностью вспомнила это), он тогда угостил ее этими омарами. «Да, я съела тогда кусочек, и... Он говорит, что одного уж расстреляли?» Ей показалось, что ее затошнило противной тошнотой и будто спазма ужаса и отвращения так сильно схватила ее внутренности, что те закорчились, чтобы вытолкнуть из себя этот кусочек омара.

– Так что же вы теперь скажете, Евлалия Григорьевна? – немного язвительно спросил Семенов. – Вредный или не вредный старик, папаша-то ваш? Хорошо, что его под ноготь взяли? Пойдете теперь к Любкину? Пойдете? Ведь не пойдете же... А? Не пойдете! – уверил он и ее и себя, как будто ему было очень нужно, чтобы она отказалась и не пошла к Любкину, как будто в этом было для него что-то значительное. – Сами видите, что не щадить нам его надо, а радоваться, что его забрали и... и даже вам надо «спасибо» сказать за то, что вы теперь свободны от него. «Спасибо, товарищ Любкин!» – вот оно что и как.

Евлалия Григорьевна заметалась еще пуще. Она понимала, что в ней нет сил решить тот вопрос, который так неумолимо ставил перед нею Семенов, и нет сил ответить на этот вопрос. Но, срываясь на каждом звуке своего голоса, она все же ответила: не ему, а себе.

– Я... К Любкину? Пойду!

– Да неужто ж пойдете? – не выдержал и вскочил с места Семенов. – Неужто?

Он стоял перед нею, большой, с широкими плечами, с сильными руками, твердо упираясь ногами в пол. И все в нем было большое, широкое, сильное, твердое: мысли, слова, понимание. Она сидела перед ним на стуле, словно маленький комочек, и странно напоминала ему подраненную птичку под кустом. «Пичужка ты этакая!» – с внезапной нежностью подумал Семенов и тут же спохватился. «Да ведь сила-то... Силища-то какая! И что это за сила? Откуда?» И ему вдруг захотелось взять стул, высоко взмахнуть им и брякнуть его об пол, чтобы он разлетелся вдребезги.

– Пой-де-те? – с расстановкой повторил он, приковываясь к ней чуть ли не испуганным взглядом, судорожно сисясь что-то понять и разгадать в ней. – Да ведь он же... Пойдете?

Его дыхание стало тяжелым. Евлалия Григорьевна не понимала, почему Семенов так страшно не хочет, чтобы она шла к Любкину? Что ему нужно от нее? Не понимал этого и сам Семенов. Но ее «пойду» он ломал всей своей силой. Ему было нужно сломать, чтобы воочию увидеть, что сила Евлалии Григорьевны – ничто и что ему нечего бояться этой силы. А он ее боялся, и боялся с той самой минуты, когда она (совсем неясно) впервые мелькнула перед ним. Если эта сила есть и если она сильнее его силы, то он, Семенов, должен погибнуть, потому что его сила – ложь.

– Н-ну, л-ладно! – медленно и тяжело выговорил он. – Пойдете? ан, нет! Не пойдете! Потому что главного-то вы еще и не знаете, а если узнаете, то... А я вам и это главное скажу, потому что – надо! – почти угрожающе сказал он. – Дело-то ведь в том, что и мужа-то вашего...

– Молчите! – не выдержала и вскочила Евлалия Григорьевна. Она схватила Семенова за руки и изо всех сил сдавила их. – Не смейте! Этого не смейте!

– Спрятаться хотите? – безжалостно усмехнулся ей прямо в глаза Семенов. – Спрятаться? Ладно, прячьтесь: промолчу.

– Вадю? Вадю? Он?... Вадю?

– Правду вам говорю. Не один он, конечно, но... и он.

Если бы Евлалия Григорьевна не вцепилась обеими руками в Семенова и если бы она не вцепилась в него так сильно, она, возможно, упала бы. Это был удар, который оборвал ее сердце. Много лет

спустя, вспоминая этот вечер и особенно эту минуту, она никак не могла понять: почему не завопила она тогда, почему не захлебнулась в рыданиях и почему не забилась в беспамятстве. А главное, как могла она после того думать, чувствовать, понимать и говорить.

– Вот то-то! – строго и наставительно сказал Семенов, крепко припечатывая. – Вот и идите после того к Любкину, спасайте отца. А я вам все сказал. И все, что я сказал, – правда.

Он сделал шаг назад, преодолевший и уверенный. Посмотрел на Евлалию Григорьевну с чувством победы над нею и вместе с тем с чувством жалости к ней, побежденной.

Евлалия Григорьевна рванулась.

– Пойду! Пойду! – затряслась она, ничего не слушая, ничего не понимая и смотря перед собой обезумевшими глазами. – Он... Пусть! Ведь он... Пусть, пусть! Этого я не могу, я, я! – прорвалось у нее. – Добивать его? Да как вы смеете думать это! – развернулась она, готовая наброситься. – Вот сейчас... Вы пойдете со мной? Ах, нет, я сама, сама... Не надо, чтобы с вами, потому что... Но только...

Она схватила со столика свою шляпку и хотела было надеть ее, чтобы сейчас же идти, но Семенов как бы опомнился. Он видел, что он побит, но – странное дело! – не сожаление и не горечь, а даже радость почувствовал он от этого. Он с восхищением и с благодарностью смотрел на Евлалию Григорьевну, и ему казалось, что он хочет сделаться маленьким и смириться перед нею. Именно – смириться. Он очень осторожно взял из ее бессильных пальцев шляпку, а сам (все так же осторожно) посадил ее на место.

– Не надо делать глупостей! – не приказал, а попросил он. – Если вы такая... Если уж вы такая... Да что же это? – вдруг с необычайной силой вскрикнул он, всплеснул руками и словно бы пошатнулся. Схватился за спинку стула и сжал ее в кулаке.

Евлалия Григорьевна напряженно сидела, готовая каждую минуту вскочить и бежать.

– Я сам все сделаю! – взяв себя в руки, тихо сказал Семенов.

Евлалия Григорьевна подняла на него глаза, но спросила только взглядом.

– Все сам сделаю! – повторил Семенов и мотнул головой: не сомневайтесь, мол. – И я все это сделаю лучше, чем вы. Верите? Верите вы мне? – неожиданно для себя спросил он и почувствовал, как сердце у него слегка сжалось, словно ему будет больно, если она ответит: «Нет, не верю».

Евлалия Григорьевна ответила не сразу. Она сначала посмотрела строго, глубоко и испытующе. Она не могла ответить так, просто: ей надо было воистину убедиться в том, что она верит. Ей надо было увидеть то, что заставило бы ее поверить, что позволило бы ей поверить.

– Да, верю.

– А коли верите, – почти радостно заколыхался Семенов, – то... верьте! Я...

Он на полминуты задумался, что-то обсудил про себя и решил.

– До завтрашнего вечера подождите! – распорядился он. – И, коли можете, никуда завтра целый день из дому не уходите. Дома будьте, стало быть. Я сейчас еще не знаю: может быть, утром, а может быть, днем или вечером... Одним словом, я или дам вам знать, или сам заеду, или... Не знаю, но ждите. Тут главное, чтобы этого Любкина увидеть! – немного хитро подмигнул он, – а я... я уж знаю, что ему сказать надо. Слово такое знаю, вроде как бы – «Сезам, отворись!» Волшебное!

– Вы... скажете?

– Скажу, скажу! И... Не плачьте, голубенькая! – с ласковой шутливостью добавил он и несмело дотронулся концами пальцев до ее плеча. – Ведь перемелется, – мука будет! А у вас... у вас обязательно все перемелется, потому что жернова у вас больно уж крепкие!

## ДОЖДЬ<sup>1</sup>

–1–

Это был довольно заурядный пансион в горах. Но горы не были ничем примечательны, а пансион – тем более. Поэтому гостей в нем всегда было мало, и почтенная фрау Райнке не раз подумывала о том, не прикрыть ли ей этот пансион и не вложить ли свой маленький капитал в молочную ферму? И в самом деле: разве «Ферма Мария» звучит хуже, чем «Пансион Soleil»?

Но в это лето по необъяснимому капризу судьбы неожиданно съехались гости. Их было так много, что фрау Райнке воспрянула

---

<sup>1</sup> Рассказ предоставлен сыном писателя Н. Моршеном. Печатается впервые.

духом. Все комнаты заняты? Это замечательно! Но еще замечательнее было то, что гости, каждый в своем роде, были достаточно импозантны и элегантны, составляя вполне приличную компанию.

Раньше всего – молодая вдова, очень интересная особа 28-ми лет, с компаньонкой и с шестью сундуками, не считая чемоданов, баулов и портсаков, американизированная испанка, мадам де-ла Рока. О ее компаньонке говорить, конечно, не приходится: даже не все знали, что ее довольно безлично зовут мадемуазель Софи, и никто не замечал ее вдумчивых и немного грустных глаз. Но несомненно все замечали и высоко ценили профессора физики, автора солидных трудов, почтенного г-на Ратш. Общее внимание вызывал также и известный киноактер, мистер Корри, готовящийся к новой роли и пожелавший предварительно отдохнуть в мирной обстановке; он всех прельщал вдохновенными глазами, привычными кинопозами и дюжиной необыкновенных шелковых пижам; его же повышенного аппетита все старались снисходительно не видеть. Кроме того, были и другие интересные люди: вдова оптового торговца рыбой, фрау Грюнберг, с модернизированной дочкой Эммой, студент миланского университета, сын почтенных родителей, сеньор Паоло, молодой человек с крупными деньгами на мелкие расходы, рантье – мсье Пико с супругой... И, наконец, господин Инкто.

– Фрау Райнке, кто такой господин Инкто? – деловито наводил справки мсье Пико, ни в чем не допуская неясностей.

– Этого я не знаю, майн херр! – очень учтиво отвечала фрау Райнке. – Он приехал, по его словам, из Тибета.

– По его словам? Но разве он умеет говорить? – наивно изумлялась очаровательная мадам де-ла Рока. – Я, право, думаю, что он немой. Он ведь всегда молчит!

– О, нет, мадам! Он прекрасно говорит по-немецки. Можно подумать, что он – немец.

– Но почему же он молчит? Почему он все время молчит?

– Вчера я разговаривал с ним по-английски! – вмешался мистер Корри, по привычке принимая кинопозу. – Правда, разговор наш был очень краток. Он спросил у меня, какой у нас сегодня день, а я ответил: среда! Он поблагодарил меня и... и я должен признать, что по-английски он произносит безукоризненно.

– Какой же он национальности?

– Он – staatenlos, мадам.

– Что это значит?

– Это значит, что он без подданства.

– Но не без национальности же, надеюсь?

– О, конечно, нет!

– Инкто... – в раздумьи сказал професаор Ратш. – Это не французская, не немецкая и не английская фамилия. И, конечно, не норвежская, не шведская и не датская. И уж само, собою разумеется, что не русская и не польская. Китайская? Японская? Нет, нет!

– И не итальянская! – горячо воскликнул молодой Паоло (он всегда все восклицал излишне горячо). – Инкто? Это звучит совсем не по-итальянски, хотя г-н Инкто на днях и говорил со мной на прекрасном итальянском языке!

– Загадочный человек! – рассмеялась мадам де-ла Рока. – Владеет чуть ли не всеми языками мира и... и молчит! почему же он молчит?

– Вероятно, у него очень молчаливый характер, мадам! – учтиво и скромно, но с несомненным достоинством догадалась фрау Райнке.

–2–

И вдруг – пошел дождь. Еще с утра небо стало заволакиваться тучами, а с полудня полил дождь, и сразу было видно, что он зарядил на долго. До самого вечера? Может быть, даже и до утра?

Он шел весь день и всю ночь. Утром все бросились к окнам, но увидели через стекла безрадостную картину: серое небо, потоки воды, грязные тучи, мутные пузыри на лужах... И нигде нет ни признака просвета: ни на востоке, ни на западе, ни на севере, ни на юге. Дождь, дождь, дождь!

То же и на третий день. Были мобилизованы все средства развлечения, но они, в конце концов, были так примитивны и так немногочисленны, что ничуть не помогли маленькому обществу. И самая злая, самая нудная, самая серая скука вползла в пансион Soleil.

– Знаете что? – сказала очаровательная мадам де-ла Рока на четвертый день дождя. – Как последнее средство спасения от невыносимой скуки, я предлагаю отправить делегацию к господину Инкто и пригласить его сюда, к нам. Он, конечно, не остановит дождя, но он, быть может, поможет нам спастись от скуки?

Сеньор Наоло и фрейлейн Эмма пошли от имени всего общества к господину Инкто, а мадам де-ла Рока сочла нужным оглядеть себя в зеркало.

– Как вы думаете? Он придет? – спросила она.

– Не придет! – изрек мсье Пико: он всегда имел утешительную склонность предсказывать людям только нехорошее.

– Нет, почему же! – возразил профессор Ратш. – Он, конечно, очень склонен к одиночеству и чуждается общества, но он несомненно очень воспитанный человек.

– Да, он очень мил! – почему-то мечтательно вздохнула фрау Грюнберг.

– Он очень мил и... и он удивительно красив! – вдруг созналась мадам де-ла Рока. – Если бы я была художником, я написала бы с него «Прекрасного ангела». Вы не находите?

– Прекрасного – да! – согласился с нею профессор Ратш. – Но и мудрого. В его глазах я вижу чрезвычайно развитый интеллект, и это, сознаюсь, прельщает меня. В нем много мысли и... и грусти. Вот именно: мысли и грусти.

– Неужели он приехал из Тибета? – заинтересованно спросила мадам де-ла Рока. – Вы не находите, что это чересчур экстравагантно: побывать в Тибете.

Прошло две-три минуты.

– А вот и он! – довольно бесцеремонно воскликнула фрейлен Эмма, входя в комнату вместе с господином Инкто. – Он очень милый и сразу согласился!

– Он очень милый и сразу согласился! – весело подтвердил сеньор Паоло.

– Идите сюда! – приказала мадам де-ла Рока. – Мы все здесь так страшно устали от скуки, что, право, и вам не грех поскучать вместе с нами. Почему вы нас сторонитесь? Только, пожалуйста, не говорите банальностей и не уверяйте меня, будто вы никак не думаете, что ваше присутствие может скрасить мою скуку! Итак?

– Итак? – ласково и дружески улыбнулся господин Инкто.

– Итак, говорите же что-нибудь. Почему вы нас сторонитесь?

– Я не сторонюсь. Просто, я люблю уединение. Это не очень большое преступление с моей стороны

– Нет, не очень большое. Во всяком случае, не такое большое, как мое любопытство, а я любопытна, и хочу знать, что вы делаете в вашем уединении?

– Я размышляю.

– О чем?

– О времени и о пространстве.

– Это... философия?

– Нет, не думаю. По-моему – это необходимость.

– Вряд ли я в этом пойму что-нибудь! Время? Я люблю его, когда оно проходит так, что я его не замечаю. А что касается пространства, то... Ах, Боже мой! В конце концов автомобили и железные дороги изобретены же для чего-нибудь!

– Нет, это очень интересно! – авторитетно вмешался профессор Ратш. – Должен сознаться, что эти две величины, время и пространство, издавна интересуют меня!

– А вы уверены, профессор, что время и пространство являются именно величинами? – вежливо и вдумчиво спросил господин Инкто.

– Что же другое?

– С одной стороны – Мера и Число, а с другой – Слово! Не здесь ли ответ на ваш вопрос?

– Ах, Бог мой! – опять вмешалась мадам де-ла Рока. – Вероятно, все это страшно углубленно и значительно, но говорить об этом, когда четвертый день идет дождь, положительно несвоевременно и неуместно!

– Дело в том, господин Инкто, – со смехом пояснил молодой Паоло, – что мадам де-ла Рока надеется на вас! Она хочет, чтобы вы сотворили чудо и разогнали нашу скуку!

– Вот именно: чудо! – вздохнула фрау Грюнберг. – Но мы стали грешны, и в наше время чудес не бывает!

– В наше время чудес не бывает! – с явным удовольствием подтвердил мсье Пико.

– Не бывает! – скрепил мистер Корри, решительно махнув головой.

И все замолчали, удрученные тем, что в наше время чудес не бывает.

– Чудеса бывают и в наши дни! – раздался очень спокойный и очень значительный голос господина Инкто. – Почему вы думаете, что в наше время не бывает чудес?

– Вы их встречали? – с легкой иронией спросил профессор.

– Нет, в самом деле: неужели вы их встречали? – словно надеясь на что-то, пылко подхватил Паоло.

– Дело не во мне! – так же спокойно и так же значительно ответил господин Инкто. – И дело не в том, встречал или не встречал каждый из нас в своей жизни какое-нибудь чудо. Дело в другом: сумеем ли мы увидеть чудо, если встретим его?

– А разве его надо уметь видеть? – заинтересовалась мадам де-ла Рока. – Должна сознаться, что ни один из моих учителей не учил меня этому искусству, и я, вероятно, не сумею увидеть чудо, даже если встречу его.

– Уметь видеть? – многодумно переспросил профессор. – Простите, я не совсем понимаю: что вы подразумеваете под этим?

– Что я подразумеваю? Видите ли, я думаю, что чудеса бывают и в наше время, потому что они от времени не зависят. Но мы – враги чуда. Мы отказываемся признать его, потому что оно ниспровергает наш мир, мир Меры и Числа. Поэтому мы, всякий раз, когда встречаем чудо, видим не чудо, а «вполне естественное явление» или же делаем уступку и видим «случайность» или «совпадение». Мы не видим чуда оттого, что мы не хотим его видеть.

– Так! Хорошо! – пожевал губами профессор. – Мы, конечно, не так доверчивы, как наши предки и мы, сверх того, не так невежественны: развитие естественных наук...

– Ах, как жаль, что они развились! – капризно перебила его мадам де-ла Рока, любуясь своими ноготками. – Если бы они не развились, я могла бы увидеть какое-нибудь хорошенькое чудо, а теперь, благодаря развитию ваших противных естественных наук, я должна ограничиваться воспоминанием о тех опытах по физике, которые мне когда-то показывал старичок учитель, и в которых я ничего не понимала!

– Развитие естественных наук, конечно, сыграло решающую роль в этом деле о чудесах! – вежливо и терпеливо обождал ее кокетливую реплику профессор. – Чудо? Конечно, если мы увидим воскресение из мертвых, то всякий вправе заподозрить случай летаргии, но уверяю вас, что если я встречу случай, который я не смогу объяснить естественным порядком, то я буду вынужден признать его чудом, независимо от того, хочу ли я, чтоб были чудеса, и умею ли я эти чудеса видеть...

– Разве? – безо всякой иронии, а, наоборот, очень вдумываясь в его слова, спросил господин Инкто. – Разве? – он опять подумал. – Нет! – решительно взмахнул он головой. – Нет, наше отрицание чудес вытекает не из предполагаемого развития естественных наук, и не из того, что мы будто бы постигли эти естественные науки, а только из нашей боязни чуда. Ведь если чудо есть, то во что же превращается Мера и Число? А наш дух ограничен именно этой сферой,

сферой Меры и Числа. Ушел ли он уже из сферы Слова, или он еще не пришел к ней, я не знаю, но он весь – в Мере и в Числе.

– Хорошо! Пусть! – снисходительно сказал профессор, давая понять своей снисходительностью, что у него в запасе есть еще один сокрушающий аргумент. – Пусть! Но согласитесь сами, что если я, раб Меры и Числа, повстречаюсь с несомненным чудом, то я буду вынужден признать его!

– Несомненное чудо? Что вы называете несомненный чудом, профессор?

–3–

В это время в комнате сразу потемнело: тучи сгустились. Дождь забарабанил сильнее, и скользкий ветер погнал мутную рябь по лужам. Деревья грустно зароптали.

– Господи! – возмутилась фрейлен Эмма. – Вместо того, чтобы проясниться – вот! Полюбуйтесь!

– Несомненное чудо, это... – начал было профессор, но его перебила мадам де-ла Рока.

– Несомненное чудо? – переспросила она. – извольте. Вот если бы сейчас вдруг разошлись тучи, перестал бы дождь и выглянуло солнце, – вот это и было бы настоящее чудо!

– О, да! Самое настоящее чудо! – звонко подтвердила фрейлен Эмма.

– Да, это было бы чудо! – согласился мистер Корри, но тут же уверенно добавил: – К сожалению, это невозможно!

– Да, конечно, невозможно! Такое упорное ненастье не может оборваться и окончиться внезапно! – солидно нахмурился мсье Пико с таким компетентным видом, будто он всю жизнь специально занимался ненастьями и является их знатоком. – Это было бы чудом, но чудеса невозможны. Завтра утром дождь, может быть, и пройдет, но сейчас – ни за что!

– Ах, солнышко, – мечтательно пропела его супруга. – О нем, действительно, приходится мечтать, как о чуде!

– А ваше мнение, профессор? – совершенно серьезно спросил господин Инкто и посмотрел на профессора с напряженным вниманием, как будто этот ответ был особо нужен ему. – Что бы вы сказали, если бы дождь сейчас внезапно прекратился?

– Прекратился? – отозвался профессор. – А вы знаете, что показывает барометр? Я смотрел на него полчаса тому назад, а поэтому и утверждаю: ни о каком солнце сейчас не может быть и речи!

– Да, но чудо?..

– Вот именно: чудо! Только чудо!

Господин Инкто медленно отошел к окну и стал смотреть в сад. Унылая, безотрадная картина! Он поднял глаза и посмотрел на небо: безнадежные облака, безнадежная пелена, безнадежный дождь! Чудо? Разве может быть чудо?

Но вот – в комнате слегка посветлело. Что такое? Все повернулись к окну. Неужели? Что-то растягивало плотную завесу облаков, и они расходились, исчезали, становились тоньше, прозрачнее... Дождь перестал, и только дрожащие капли торопливо и неровно падали с деревьев. Кажется, что кусты немного выпрямились и стали немного веселее.

И вдруг – разорвались облака! Крохотный кусочек голубого неба радостно улыбнулся среди серых пластов. словно небесный колодец, словно светлый провал в глубину!

Все стихли... Мадам де-ла Рока взволнованно вскочила с дивана. Мистер Корри сдвинул брови и принял кинопозу. Профессор снял очки. Мсье Пико глянул с растерянным недоумением. Сеньор Даоло страстно подался вперед. Что делала в это время компаньонка, незаметная мадемуазель Софи?

И вот – в маленьком голубом провале, между разорвавшихся облаков, раздался ликующий аккорд. Солнце брызнуло оттуда светом омытых, звонких, веселых лучей. Миллиарды алмазов рассыпались по траве и по листьям, грязные лужи словно бы помолодели, и золотой воздух рассмеялся призывно и радостно.

– Ах! – вырвалось у всех.

Господин Инкто стоял и смотрел на этих людей.

– Это... чудо? – задыхаясь, спросил молодой Паоло.

Господин Инкто не отвечал. Он только стоял и смотрел. Что теперь скажут эти люди?

Первым очнулся профессор Ратш.

– Да! Удивительно эффектное совпадение! – признал он, надевая очки, чтобы лучше рассмотреть воздух, небо и солнце. – Удивительно эффектное совпадение! – повторил он веско. – Вот как раз подобные случаи и наталкивают неустойчивые умы на мысль о чуде. А, тем

не менее, что произошло, спрашиваю я вас? По неизвестным мне причинам, – перешел он на тот тон, каким обычно читал лекции студентам, – в нашем районе, там, наверху, – показал он (для точности?) своей бородой этак вверх, – там внезапно изменилась температура и барометрическое давление. При создавшихся новых условиях процент относительной влажности воздуха понизился, а поэтому водяные капли облаков начали энергично испаряться. Явление это очень простое, и каждый из нас наблюдал его сотни раз, но сегодня оно случайно совпало с нашим разговором, и вот – чудо!

– Значит, это не чудо? – с надеждой в голосе спросила встревоженная фрау Грюнберг.

– Отнюдь нет! – успокоил ее мистер Корри. – Какое же это чудо? Ведь каждое ненастье когда-нибудь да кончается! Кончилось и это ненастье, вот и все!..

– Совершенно правильно! – компетентно подтвердил специалист по ненастьям мсье Дико. – Каждое ненастье обязательно когда-нибудь кончается!

– К сожалению, вы правы! – вздохнул сеньор Паоло и отошел от окна.

– В наше время чудес не бывает! – с удовлетворением признала мадам Пико, и было видно, что она боялась возможного чуда, а теперь успокоилась. И, успокоившись, с укором посмотрела на господина Инкто.

– Очень рада! – весело созналась мадам де-ла Рока. – Если бы это было чудо, я, право, не знала бы, как себя вести! Можно ли было, например, сегодня обедать, если бы мы днем увидели чудо?

Никто из них не видел, как господин Инкто поникнул головой, как губы его искривились гримасой сострадания и скорби, как подернулись его глаза тенью горечи... И пока они, успокоенные и удовлетворенные, выносили свой приговор, пока господин Инкто стоял у окна, опустив голову, голубой провал в небе опять затянулся облаками, опять потемнело, опять безнадежный дождь скучно полил по стеклам окон.

Господин Инкто поднял голову.

– Опять дождь? – глухо и беззвучно спросил он. – Что ж! Вероятно, опять изменилась температура и что-то такое стало с барометрическим давлением и с относительной влажностью... Не правда ли, профессор? Конденсация водяных паров в воздухе с образованием

облаков... Самое заурядное физическое явление, которое все мы тысячу раз видали... И, конечно, никакого чуда в нем нет! Да и может ли быть чудо вообще, а в наше время – в особенности? Не правда ли?

Он обвел всех глазами и, поклонившись, пошел к выходу.

Но у двери его остановила мадемуазель Софи. Она подошла к нему, подняла на него свои лучистые глаза и прошептала со страстной убежденностью, почти с благоговением:

– Я знаю... Это было чудо!

Господин Инкто посмотрел на нее теплым-теплым взглядом. Он осторожно и нежно прикоснулся пальцами к ее плечам, словно хотел обнять ее, и сказал ей с глубоким выражением:

– Как вы счастливы! Как вы счастливы!

# НАРЦИССОВ

## Борис Анатольевич

*(1906–1982) – поэт, переводчик, критик, прозаик.*

Родился в селе Наскафтым Кузнецкого уезда Саратовской губернии, ныне Шемышейский район Пензенской области. Отец его был ветеринаром, мать Валентина Кирилловна (урожденная Янсон) не работала. В 1913 году семья переехала в г. Ямбург (ныне Кингисепп) в 83 километрах от Санкт-Петербурга. В 1919 году они вместе с частями Белой армии оказалась в Эстонии, где, благодаря эстонским корням матери, получили гражданство. Борис учился в русской гимназии (1921–1924), окончив которую поступил и в 1931 году с отличием закончил естественно-математический факультет Юрьевского (ныне Тартусского) университета по специальности химик.

Таллин будет всегда (за исключением перевода стихотворения А. Раннита «Отрешение», включенного в авторский сборник Нарциссова) светлым пятном в мрачных стихах поэта.

С присоединением Эстонии к СССР продолжал работать по специальности, пока не был призван в Советскую Армию. В 1943 году перешел фронт и был отправлен инженером-химиком на сланцевый завод все в той же Эстонию. В 1944 году Нарциссов вместе со всем персоналом завода эвакуировался в Германию и в конце войны оказался в находившемся во французской зоне лагере Ди-Пи. По воспоминаниям других ди-пийцев, он читал лекции о литературе в ряде беженских лагерей. Затем последовала эмиграция сначала в Австрию (1950–1953), а оттуда затем в США, где работал консультантом по научно-технической литературе в различных научных библиотеках до выхода на пенсию в 1971 году.

Семейная жизнь сложилась тоже удачно. Жена Лидия Александровна, урожденная Горшкова (1913–2004), ценила творчество мужа. Они были счастливыми супругами, счастливыми родителями сына, счастливыми дедушкой с бабушкой.

Стихи Нарциссов начал писать в гимназии, а в 1928 году вступил в Юрьевский Цех поэтов, где познакомился с поэтом Борисом Виль-

де – будущим участником французского сопротивления, расстрелянным фашистами. Воспоминания об этом периоде жизни вошли в стихотворение «Двойники». В 1934 году стихотворение Нарциссова было напечатано в самом престижном эмигрантском издании «Современные записки» (№ 56), в начале 50-х – его стихи и литературоведческие статьи регулярно появляются в «Гранях». И лишь в 1956 году выходит первый сборник поэта. Затем тоненькие книжки стихов выходят с завидной регулярностью: в 1961 – «Голоса», в 1965 – «Память», в 1969 – «Подъём», в 1974 – «Шахматы», в 1978 – «Звездная птица», ставшая самым полным прижизненным изданием стихов поэта. Нарциссов включил в нее все прежние сборники и часть новых стихотворений. Стихи Нарциссова заметили и одобрили И. Одоевцева и Я. Горбов, статьи его творчеству посвятили Б. Филиппов, А. Цветиков и Ю. Иваск.

Все писавшие о Б. Нарциссове отмечали его тяготение к мрачной поэзии Эдгара По. Пожалуй, он мог повторить вслед за американским поэтом: «Жизнь – безумный кошмар, который преследует нас до тех пор, пока не бросит наконец в объятия смерти». Впрочем, сам Нарциссов сказал не хуже уже в первом сборнике своих стихов: «Только поэты-астрологи / Принимали по звездному коду / Далекий сигнал катастроф» («Земля задыхалась. Но капали...»). А последнем прижизненном так подвел итог своим размышлениям об отношении писателя и читателя:

Читателя не причесывай стихами,  
 Не корми дешевой печалью,  
 А – давай ему рвотный камень,  
 А – бури ему череп сталью

.....  
 Он поймет ядовитое жало  
 В происшествиях мира простых,  
 И твои жестокость и жалость,  
 – Пронизавшие стих.

(«Читателя»)

И еще определеннее в уже упоминавшемся «Двойнике», завершающем посмертную книжку стихов:

Любовь с поэзией в союзе  
Мне, видимо, не суждена:  
Моей приличествует музе  
Кладбище, ужас и луна.

Кладбище не так уж часто встречается в стихах Нарциссова, а вот ужас присутствует в невероятных количествах. «Мутный ужас бродит в человеке», в мире царит «белый холод смерти», дорога ведет «в никуда»; «кровавая над садами свисает луна»; «осени костлявая рука»; «труп незрячими глазами смотреть в потемки будет до утра». По небу носятся «черные молнии», «черная птица стучится в окно».

Человека в стихах Б. Нарциссова окружают мистические чудовища, страшные демонические существа, чертовщина: *Гиппогриф* охотится за человеком, *Ведогонь* по лесу кружит; *размахай*, «над душою скребя», будет «заползать, мельтешить и мотать» человека; «*угластые зеленыши*», *плесени*, *угары*, *нежити* – все они пугают человека, говорят ему о бессмыслице бытия. Загадочный *Кокодрил* как вцепится «в душу тебе – так уже не отвяжется».

Да и реальные явления и существа внушают готический ужас. Метафоры Нарциссова зловещи. Фонарный свет здесь то «темен и тревожен», то «дрожит»; «мой дом, как могила»; «мертвый город в черных кавернах»; «жуток час ночной»; «искривленные щупальца чучьев протянулись к озябшей луне».

Целый ряд стихотворений, названных именами планет, представляют небесные светила страшными: солнце – то «сын желтых драконов и сам дракон», то «пухнет», то совсем «остыло»; «Сатурн зловеще бледный пророчит горе и позор», у него «свинцовый взгляд, вечный смертельный холод», у Меркурия «тусклый фонарь интеллекта», Стрелец совершает «тлетворные шаги», Сириус – «в паутине». Традиционно загадочная у русских поэтов Луна под пером Б. Нарциссова становится «астрально обманной планетой». «Кровавая», она «над садами свисает»; «месяц с натуги багровый». «И мячик Марса красноватый ... Да, и Венера – ад нездешний» навевают на лирического героя грустную мысль: «Ты, человек, – один!». «Небо огромно и пусто».

Страшный мир разлагает самого человека, его мозг. «Мой мозг впитал свирепый яд гниенья», – говорится в одном стихотворении. «Упыри – во мне и вне» – в другом. «Я отравлен точно трупным

ядом... ты и я – тлетворны мы душой» – в третьем. Герой многих стихов поэта чувствует усталость. В знаменитом цикле «Эдгариана» утверждается, что «жизнь-болезнь», и автор «Ворона», как и Лермонтов, «ужас ... носил с собою в сердце». Единственный «ответ, анестезирующий боль, – поставить ноль», то есть прийти к смерти («X = 0»). Трагически и одновременно мистически звучат написанные еще в 1940 году строки: «Жить, чувствовать, что ты живешь, / Не отвлекаясь посторонним / жизнью».

Лишь изредка мелькнет у поэта мысль, что среди безрадостной природы, пепельной «иссохшей травы, что мерзость и тля», среди «смрада тленья» «Все святые, на Руси просиявшие», стоят «на страже гиблой земли», «что молится рать, / Чтобы этой земле – просить». В первом сборнике поэт задается вопросом «Разве Пребывающий оставит / Безумных нас и гласа не подаст?». Поэт еще верит в существование «Светлояра». Светлым настроением проникнут шедевр пейзажной лирики «Тонкие ветки, серебряный иней» из второго сборника поэта. Но уже в этом же сборнике представившийся лирическому герою рай оказывается результатом укола некоей смесью алкалоидов («Я видал удивительный край...»). Тема хлороформа всплывет и в одноименном стихотворении последнего сборника поэта. А владеющее поэтом чувство трагического мироустройства, невозможности что-то переделать выразится в стихотворении «Офиух»<sup>1</sup> – заглавном в сборнике «Звездная птица».

Так совершенно неожиданно поэт в конце жизни приходит к идее стоицизма: нет другого пути, как существовать в этой эпохе.

Обостренно воспринимающий мир, трагизм бытия, сочувствующий человеку в этом страшном мистическом мире, Б. Нарциссов не мог не видеть, что романтика уходит из жизни, уступая место скучному размеренному быту. Цикл «Эдгариана» завершается стихотворением «Могила», где рассказывается, как за оградой захоронения великого романтика «нарваны газеты», а «из кабака наяривает джаз». «Страшный Эдгар», как назвал его К. Бальмонт (эти слова взяты эпиграфом стихотворения) сегодня превратился в «забытого Эдгара». Роковой, мистический мир, в котором живет лирический герой Б. Нарциссова, сменяется размеренным, скучным существова-

<sup>1</sup> Это слово – синоним названия планеты Змиеносец. По легенде Змиеносец (иногда его ассоциируют с Лаокооном) не может сбросить с себя Змея и обречен носить его на плечах.

нием, где человек, «точен, исполнителен и туп», «любит телевизор у камина / И о погоде говорит всегда». И если человек, живущий в романтическом мире Эдгара По, Гумилева, Бальмонта, Блока, Бунина (их Б. Нарциссов называет своими учителями в последних написанных им стихах), вызывает у поэта сочувствие, то этого «правильного» и скучного обывателя «не жалко будет, / Когда испепелят последний труп» («Человек будущего»).

Как видно уже из сказанного, стихи Б. Нарциссова экспрессионистичны. Даже самым обыкновенным явлениям поэт придает мрачную очеловеченную окраску: «кричал обезумевший ветер», «гнетут облака точно плиты», «крался одетый в погребальное облако снег», «истекающий кровью клен». Примеры эти можно множить до бесконечности.

Немалую роль в лирике поэта играют цвета: кроваво-красный, огненный («закат был кровь», «багровый закат», «скалы кровавого камня», «кровавые склоны», «песок красный и сухой»; «мир черно-красным был»). Часто мрачную картину бытия передает цвет плесени – зеленый («души вынутые зеленели слабо в пустоте естества»; «зеленая плесень светила»; «зеленые душеньки»; «глыбы зеленого льда», «зеленое пламя папоротника»). С плесенью связаны и белезность, бледность («ядовитые белесые грибы», «бледное пламя неба» и т. п.). Реже встречается синий цвет, но и он вовсе не радостный («сиреневые хлопья... синь темноты... холодно в синеющих просторах»).

Визионерский загадочный характер придают стихам названия сборников и особенно циклов в каждом сборнике: «Древность», «Мозг», «Двойники», «Сказки», «Отражения», «Звездная птица», «Искупление», «О потонувшей Медведице», «Эдгариана», «Драконограммы», «Планеты и знаки», «Змеи», «Lunaria». Таинственны и мрачны окказионализмы поэта: «хлоп грозных копыт», «с мертвичихой мертвец», «паутинчатый страх», «осень мясничиха», «гнезвился жабень» и др.

Б. Нарциссов соединяет бытовую, мистическую, научную и даже церковную и старославянскую лексику. Многие стихи предваряются эпиграфами, что придает им дополнительный экзистенциальный смысл. В ряде стихотворений встречаются физические и математические вкрапления.

Автор «Звездной птицы» – единственный поэт послевоенной эмиграции, подхвативший традиции как зарубежной мистической

лирики (в первую очередь Эдгара По), так и русской поэзии Серебряного века с ее трагическим мироощущением (Ф. Сологуб, А. Блок, И. Бунин).

## Сочинения

Голоса. – Frankfurt / M., 1961

Память. – Washington, 1965

Подъём. – Leuven, 1969

Звёздная птица. – Washington, 1978

Шахматы. – Washington, 1974

*Письмо самому себе: Стихотворения и новеллы.* – М.: Водолей, 2009

## Публикации

А.Н. Цветиков // *Совр.* 1977. № 35 / 36.

Бунин – поэт // *Грани.* 1955. № 24. *Нов. ж.*, 1974. № 114.

Была ли Атлантида // *Совр.* 1976. № 32; 1977. № 33 / 34.

Два течения в русской поэзии Зарубежья // *Возр.* 1968. № 195.

Дракон // *Возр.* 1969. № 214.

Желтоволосый отрок. Элементы детскости в жизни и творчестве

Сергея Есенина // *Совр.* 1977. № 35 / 36.

Забытая религия света // *Возр.* 1968. № 204.

Из цикла «Жизнь» // *Грани.* 1955. № 25.

Как попадают в Бизбен // *Грани.* 1965. № 57.

Карты // *Совр.* 1977. № 35 / 36.

Короткие рассказы // *Совр.* 1970. № 20 / 21.

Кот // *Совр.* 1971. № 22 / 23.

Монастырь Св. Троицы в Джорданвилле // *Возр.* 1969. № 210.

На заре жизни. Происхождение жизни // *Возр.* 1970. № 223.

Ответ // *Возр.* 1969. № 214.

Письма о поэзии // *НЖ.* 1975. № 118.

Письмо самому себе // *Возр.* 1967. № 188.

Под знаком дифференциала. Поэзия Николая Моршена // *НЖ.* 1976. № 125.

Прогулки при луне // *Совр.* 1971. № 22 / 23.

Сила и материя // *Грани.* 1961. № 50.

Случай с Авксентием Алексеевичем // *Грани.* 1961. № 49.

Солнечный голос в синем мире // *Грани.* 1969. № 71.

Стихи // *Грани.* 1954. № 21; 1956. № 31; 1959, № 44; 1960. № 45; 1964. № 55.

Стихи // *Возр.* 1971. № 229.

Стихи // *НЖ.* 1973. № 111; 1976. № 124.

Стихи // *Встречи.* 1977, 1982, 1983, 1992.

Стихи о Лермонтове // *Возр.* 1965. № 163.

Стихотворение. – *Совр. зап.*, 1934. № 56.

Стихотворения // *Возр.* 1968. № 200.

Ткань // *Грани.* 1963. № 53.

Хлороформ // *Совр.* 1977. № 35 / 36.

## Отзывы о книгах

А. Раннит. *Donum Estonicum* // *НЖ.* 1977. № 129.

В. Брюсов. Огненный ангел // *НЖ.* 1973. № 111.

В. Злобин. Тяжелая душа // *НЖ.* 1972. № 107.

В. Робсман. Персидские новеллы // *НЖ.* 1977. № 126.

В. Тэррас. Алексис Раннит // *НЖ.* 1976. № 123.

Вадим Андреев. На рубеже // *НЖ.* 1978. № 132.

Валерий Перелешин. Южный крест // *НЖ.* 1980. № 138.

Вл. Корвин-Пиотровский. Поздний гость // *НЖ.* 1972. № 107.

Дальние пристани. Сборник стихов Евгении Димер // *Возр.* 1968. № 197.

М. Каратеев. Арабески истории // *НЖ.* 1972. № 107.

М. Каратеев. Белогвардейцы на Балканах // *НЖ.* 1977. № 129.

М. Каратеев. По следам конкистадоров // *НЖ.* 1973. № 111.

М. Каратеев. Ярлык великого хана // *НЖ.* 1975. № 119.

Т. Фесенко. Пропуск в былое // *НЖ.* 1975. № 121.

Три книги Ю. Миролюбова // *НЖ.* 1978. № 130.



## СТИХИ (1958)

### ДРЕВНОСТЬ

Он костер положил у подножия храма

И украсил его.

Дым всклубился, и к небу направился прямо,

И питал Божество.

На тяжелом, еще не-арийском, наречьи

Говорил он слова.

И одеждой его были шкуры овечьи,

И поката была голова.

Трепетало под солнцем прозрачное пламя.  
Стал костер угасать.  
Он смотрел на закопченный жертвенный камень  
И бессилён был что-то понять.

А вверху, среди шершавых камней воздымаясь,  
Над кустами в цвету,  
Необтесанный мраморный бог, улыбаясь,  
Напряженно глядел в пустоту.

\* \* \*

Внемли о днях последних хладеющих светил:  
Когда остыло солнце, мир черно-красным был.

Как уголь, от деревьев тени  
Лежали на земле,  
И сучья, как рога олени.  
Чернели в мутно-красной мгле.

Змеились трещины среди иссохшей глины  
И, точно щупальца голодные, ползли.  
То были дряхлости и немощи морщины  
На высохшем лице земли.

И солнце, точно медный шар.  
На горне раскаленный, жгло зловеще  
У дымных туч края. И медленный пожар.  
Качалось, умоляет и трепещет.

И солнце облака лизали и съедали.  
Чудовищами ползая кругом.  
И сполохи с высот кидались дико в дали.  
Борясь со тьмой крадущимся врагом

И Страх, летучий Страх, струящеюся тенью  
Дрожал над зеркалом багровых вод  
И верить не хотел в смятеньи,  
Что солнца час последний настает.

## ЧТО БЫЛО С МЕСЯЦЕМ

Он вышел, с натуги багровый,  
С подвязанной косо щекой,  
Уселся над лесом, и кровью  
Истек, и, блестящий такой,

Отравился в путь. А прохлада  
Ночная ласкала его.  
Но выше ему было надо  
Светить золотой головой.

Никто не мешал. Успокоен,  
Он пристально сверху смотрел,  
Как в озере был он удвоен  
И в стеклах, холодный, горел.

Но в пятом часу застеклянил  
Пространное небо рассвет.  
Не сдался еще на поляне  
Насвеченный месяцем след.

Потом рассвело. И, вставая,  
Все заняты были своим.  
И месяц, ненужный, истаял,  
И, белый, сквозил голубым.

## ЗЕМЛЯ

Как толченный кирпич – эта красная глина,  
И колются космы травы.  
Как до кости, до камня промыты в долины  
Пересохшие дикие рвы.

А взберешься и выйдешь: замаячат укропами  
Дерева по пыльной степи.  
Позабыта веками, позабыта потопами,  
Ты, недвижимая, сонная, спи!..

Мы по самым паучьим местам проходили,  
Мы устали по зною кружить.  
Побуревшие травы и солнце над пылью:  
Вот земля, на которой – дожить.

По равнине уставленной деревьями тошными,  
Я который уж день бреду.  
И птицы не наши голосами истошными  
Точно с радостью кличут беду.

## КОНЕЦ

Да над судьбою роковою  
Звездные ночи горят.

*А. Блок. «Роза и крест»*

В древнее черное лоно,  
Лоно судьбы роковой,  
Звездный размах Ориона  
Падает вниз головой

Берег родной и желанный,  
Видишь, растаял в мечту.  
Вот – Облака Магеллана  
Вечно летят в пустоту.

«Путь твой грядущий – скитанье...»  
Слушай, не всё ли равно,  
Где и в каком океане  
Судну тонуть суждено?..

## ГОЛОСА (1961)

\* \* \*

Тонкие ветки, серебряный иней.  
Свет неземной, заколдованный, синий.

Жемчуг, сапфиры и бледный опал  
Святят в парче снеговых покрывал.

Полной луной зачарованы ивы.  
Видно далеко-далеко с обрыва  
Черные тени на синем снегу,  
Празелень льда на речном берегу.

Добела кем-то в выси накаленная,  
Выше и выше, в пространства бездонные,  
В сизую глубь уплывает луна.  
Слышно, как светом поет тишина.

\* \* \*

Был ветер пес. А осень-мясничиха  
Дорезала и клены, и закат.  
Подвыв, кидался ветер лихо  
С полей наскоком в гиблый сад.

Свисали с сучьев красные лохмотья,  
И сизым мясом блекли облака.  
Сцедила кровь: конец работе.  
А псу бы лужи долакать.

Листве догнить. Сметет тупая сила  
Ее в промозглый, плесневый подвал.  
Ушла. И лампу погасила.  
А ветер сучья оглодал.

## ПАМЯТЬ (1965)

\* \* \*

Заглянул к себе в подвал, –  
А оттуда – скверной сыростью...  
Я давно их не топтал:  
Вот, успели снова вырасти.

Беловаты, как грибы.  
Я сравнил бы их с опенками.  
Натянули туго лбы,  
Заплелись ногами тонкими.

Притаились, пауки!  
Не моргнут глаза их кроличьи...  
Все как будто двойники,  
Все Борисы Анатольичи.

### **КАК ПОПАДАЮТ В БИЗБЕН**

Ну, а как попадают в Бизбен? – А надо  
Ехать долго железной дорогой.  
Остановка будет в леске, у отрога,  
Просто так, без вокзала и сада,

Очень ветхий и темный сруб и платформа,  
А дерево хрупко и гнило,  
И вы сходите вниз, как в могилу,  
А из ямы – сладкий дух хлороформа.

И от старости сруб деревянный распорот  
Здесь и там обомшелою щелью,  
И дурманно веет сладкою прелью,  
И внезапно вы входите в город.

Ах, как сразу от гнета здесь каждый свободен!  
Даже воздух здесь радостью пахнет.  
Но чужому тут места в уютных домах нет,  
Но для счастья чужой тут не годен...

Обитатели к вам не подходят на сажень...  
«А какой это город?» – «Ну, Бизбен...»  
«Ах, совсем, как в Австралии, в Квинслэнде – Брисбен!»  
«Не совсем, но для вас ведь не важно:

Это важно для тех, кто сюда прибывает.  
Их встречают дипломом на блюде».  
«Ну, а кто же живет здесь? И кто эти люди?»  
«Тут у нас не живут – пребывают...»

Недомолвка у них тут с чужим, переглядка.  
«Как же к вам попадают в Бисбен?»  
«Очень жалко, но план сообщений не издан:  
Вы ошиблись в пути пересадкой».

«Но я очень хочу...» – «Вам не срок – подождите:  
Вы получите вовремя вызов».  
Я проснулся, и рвутся последние нити,  
И рассвет занимается сизо.

## ПОДЪЕМ (1969)

### ЗВЕЗДОЧЕТ

Настала ночь, и я на башню вышел  
И стал смотреть на звездный небосвод.  
Я как бы в сон ушел. И вот, услышал  
Я звезд далеких гармоничный ход.

Хрустальный свет их ясен и понятен,  
Но жуть сквозит в движенье вихревом  
Мистических туманностей и пятен,  
Горящих бледно-фосфорным огнем.

Но я нарочно взор в них углубляю,  
Я отрешаюсь, стыну и лечу,  
Как будто бы сорвался с корабля я,  
Тону и гибну, – ибо так хочу.

Я жду ночного мертвого молчанья,  
Чтоб в нем забыть с приходом темноты

Бессмысленность и боль существования,  
Уйдя в бездонный ужас пустоты.

### ПТИЦА

Чрез города, леса и степи  
Я путь скитальца устремил,  
И всюду слышу тяжкий трепет  
И вижу тень от жестких крыл.

Неутомимо и упорно,  
Скользя незримо за спиной,  
Шурша крылом, как ворон черный,  
Она всегда следит за мной.

От дуновения полета  
Бегут холодные струи,  
И в них колючей дрожью кто-то  
Вздывает волосы мои.

Тень от нее на всё ложится...  
Ей весел жалкий ужас мой.  
Так смерть бесшумной, хищной птицей  
Повсюду следует за мной.

### ПОДЪЕМ

Поднимайся! – Вверху на горе...

*Вера Булич*

С усилием надо мне брести в горах, пока мне  
Не станет тяжело и смутно, как в бреду, –  
Но всё-таки бреду по кремню и по камню,  
Карабкаюсь, ползу, встаю и вновь бреду.

И выбился из сил, и вот она, вершина,  
И вот внизу туман, как белая вода.

Я всё свершил: вверху светло, пустынно...  
Дорога кончилась: отсюда – в никуда.

## ШАХМАТЫ (1964)

### ШАХМАТЫ

Тиамат – начальная тьма.  
*Сумерийские мифы*

Блестят фигурки на доске –  
Ладьи, слоны, цари и кони...  
Сверлит упрямо боль в виске  
И к проигрышу ходы клонит.

И это мир. Когда-то хаос,  
Он превращен в закон игрой.  
Я прячу голову, как страус,  
Во всё, в чем есть закон и строй.

Но уберут фигурки в ящик,  
Когда дадут последний мат,  
И будет снова настоящий  
Бессветный хаос – Тиамат.

### СТАРУХИ

Ну и ну, ну и дела, как сажа бела...  
*Игорь Чиннов*

Две дамы-старухи нудно  
Суются в мои дела.  
Дела эти скучны и скудны:  
Дела – как сажа бела.

Одна – хлопотлива, седая,  
Бубнит всё время под нос.  
Другая – в тени оседает;  
Вот эта – совсем без волос.

Почтительно им уступаю,  
Но сердце так и кипит!  
– Тенета плетут, наступают:  
Ни та, ни другая не спит...

Помочь не может мне ярость  
В неравной глупой борьбе-с.  
– У одной фамилия – «Старость».  
У другой – ну, тоже на «С».

## **Из цикла КОМНАТЫ**

### **3. Южас**

Он открылся, огромный и пыльный,  
Позабитый чердак предо мной.  
Полусвет – но какой-то мыльный:  
Светло-серый, тусклый дневной.

Свет из круглых и низких окон –  
Только в небо: вниз не взглянуть.  
За каймой паутинных волокон  
На стекле столетняя муть.

А на камне (зачем он тут брошен?)  
Голый мальчик один сидит.  
Он слепой. И рот перекошен.  
Он оставлен, брошен. Забыт.

И вот, телом тщедушным тужась,  
Он кричит однотонно и громко,  
Как машина, голосом ломким, –  
Только: «Южас, южас...» и «Южас!»

## **ЗВЕЗДНАЯ ПТИЦА** (1978)

### **ЗВЕЗДНАЯ ПТИЦА**

Звездная птица опустит свой клюв,  
Тонкую шею к земле изогнув...  
*«Стихи», стр. 54*

Когда злонравный Сагиттарий  
Тугую тянет тетиву...  
*«Шахматы», стр. 27*

Звездная птица, – Лебедь туманный!  
Крылья простерла вечной осанной,

Там, где за бездной черных провалов  
Время седое бег оборвало.

В клюве ты держишь света волокна:  
Фосфором бледным зримый поток на

Малые земли, луны, планеты...  
Так вот явилась некогда мне ты,

Звездная Птица, лебедь стоокий!  
Время настало: полнятся сроки.

Пусть Сагиттарий целит стрелой –  
В светлых волокнах птицею взмою!

**ОФИУХ**  
(Из цикла «Звездная Птица»)

Я – змиеносец, реком – Офиух,  
Змия ношу на всплечиях двух.

Змий этот в небе весьма протяжен,  
Лижет сандалии звездные жен.

Он предрекает на тысячи лет  
В судьбах змеиный, извилистый след.

Мне – запредельные зренья и слух:  
Вижу, что будет, сквозь звездную мгу.

Но преложить ничего не могу,  
Змия бессильный слуга – Офиух.

## PAVOR NOCTURNUS<sup>2</sup>

Стукнет ли костью какой в погребу –  
Крик свой придушенный я погребу.

Ужас привычный, ночной нетопырь,  
Крыльев своих надо мной не топырь!

Это тихонько ко мне подползло  
Снизу гнилое подвальное зло.

В комнате темной из дальних углов  
Стелются спрутами волны голов.

Вот зашипят, подползут и замрут.  
Хищно засветит их глаз изумруд.

Жадно откроет уста нетопырь,  
С пола к постели привстанет упырь.

---

<sup>2</sup> Страхи ночные (лат.)

**ПИСЬМО САМОМУ СЕБЕ**  
(Нью-Йорк, 1983)

**СКУЧНЫЕ СТИХИ**

То ночь, то день. На черно-белых  
Полях борьба – за ходом ход...  
*«Шахматы», Б.Н.*

Из уже приотворенной двери  
Холодит, холодит сквозняком,  
И от этого легче потери  
И не страшно следить за песком

За песком утекающих дней...  
Дни становятся всё холодней,  
И длиннее бессонные ночи,  
И зазвездные сроки короче.

Да, потери оставили метки,  
Но игру дотянул я свою:  
На доске только серые клетки –  
Значит, сыграно с жизнью вничью.

Очень долог был пройденный путь:  
Вот и надо теперь отдохнуть,  
Оттого что одно лишь осталось –  
Точно камень тяжелый – усталость.

# НЕЙМИРОК

(псевдонимы Николин и Немиров)

## Александр Николаевич

*(1911–1973) – поэт, прозаик, критик.*

Отец – профессиональный военный. В 9-летнем возрасте будущий поэт был вывезен родителями в Югославию. Окончил Княже-Константиновский кадетский корпус (1930) и Белградском университете (1936) по специальности инженер-лесоустроитель. учился на факультете сельского хозяйства и лесоводства. С 1936 года служил лесным инженером.

В 1930 году вступил в только что организованный Национальный Союз нового поколения (НСНП), позднее переименованный в Народно-Трудовой Союз российских солидаристов, с 1943 ставший Народно-Трудовым Союзом (НТС), запрещенный фашистами.

Получив германское гражданство и формально служа в лесном ведомстве, занимался подпольной работой: поехал на оккупированную Украину и вербовал там патриотов в НТС. В 1942 году был арестован в Киеве гестапо, но выпутался. Вернувшись в Германию, организовывал снабжение нелегальной печатной продукцией НТС русских военнопленных и угнанных на работу в Германию юношей и девушек. Вновь был арестован и с 1943 года прошел лагеря смерти Заксенхаузен, Флоссенбург, Герсбург, Дахау. Подробный рассказ об этом страшном времени содержится в его книге «Дороги и встречи» (1947). В апреле 1945 был освобожден американскими войсками и до 1949 находился в ди-пийском лагере Менхегоф, где стал одним из создателей журналов «Посев» и «Грани». С 1951 по 1961 работал в издательстве «Посев», был членом редколлегии журнала «Грани» (1955–1966). С 1962 жил в Мюнхене, где до самой смерти работал в русском отделе радио «Свобода».

Стихи Неймирок начал писать еще в школе, в студенческие годы был членом русского литературного кружка «Новый Арзамас». Первая поэтическая публикация появилась в 1936 году в «Литературной среде, сборнике белградских поэтов». Первая послевоенная публикация в коллективной книжечке поэтов ди-пийцев «Стихи» (1946).

Издан два поэтических сборника «Стихи» (1946, 100 экз.) и «День за днем» (1953), а также книгу воспоминаний «Дороги и встречи» (1947). Печатался в журнале «Грани» и многих антологиях.

Поэт владел французским, немецким, английским и сербохорватским языками, но переводил в основном югославских и сербских поэтов, сербские былины. Как и многие писатели послевоенного времени, выступал с критическими статьями, рецензиями и даже пытался писать рассказы.

Неймирок – единственный поэт зарубежья, подробно рассказавший об ужасах жизни русских людей в фашистской Германии и на оккупированных территориях. Впечатляет рассказ об умирающем в концлагере для военнопленных орловским юноше («Он был откуда-то из-под Орла»), об угнанных в Германию русских («Вон тусклой вереницей / Бредут, о хлебе тихо говорят. / Их тоже помню. В валенках, босые... / По улицам Берлина шла Россия» – «Октавы»). Часто стихи построены на контрасте: бюргерская жизнь немцев и полная драматизма жизнь русских патриотов. Не обошел поэт и темы советских концлагерей («Близким»).

Поэту неприемлемы ноющие о прошлом эмигранты. Его идеал – Геракл, вступающий в бой с врагом.

Во многих стихотворениях тонким намеком проходит тема родины, без которой не может жить лирический герой Неймирока. Как ни прекрасна ставшая домом послевоенная Германия, ее красота, радость и веселье не для русской души.

Особо следует сказать о пейзажной лирике А. Неймирока. Описывает ли поэт тонкими деталями дождь говорит или о парижских каштанах или о Швеции, в его стихах присутствуют близкие русскому сердцу образы (рожь, дятел, петухи), русская грусть.

## Сочинения

- Стихи. – Франкфурт-на-Майне, 1946.  
Дороги и встречи – Рогенсбург, 1947.  
День за днем. – Франкфурт-на-Майне, 1953.  
Дороги и встречи. – Германия: Посев, 1984.

## Публикации

- Афины // *Грани*. 1959. № 41.  
Б. Ахмадулина // *Грани*. 1964. № 55.

- Благодарность // *Грани*. 1960. № 48.  
 Близким // *Грани*. 1960. № 48.  
 В поисках // *Грани*. 1952. № 15.  
 Дуэль // *Грани*. 1946. № 2.  
 За океан // *НЖ*. 1951. № 27.  
 «Здесь все просто, тихо, кротко...» // *Грани*. 1947. № 3.  
 Иво Андрич // *Мосты*. 1962. № 9.  
 Катя // *Грани*. 1955. № 25.  
 Матери // *Грани*. 1946. № 2.  
 Мороз // *Грани*. 1964. № 55.  
 Необычайная книга // *Грани*. 1960. № 48.  
 О Бунине // *Грани*. 1971. № 79.  
 О современной русской лирике в СССР (1953–1956) // *Грани*. 1956. №№ 30, 31.  
 Октавы // *НЖ*. 1951. № 26.  
 «Он был откуда-то из-под Орла...» // *Грани*. 1947. № 3.  
 Памяти Петефи // *Грани*. 1973. № 89 / 90.  
 Первая вежа // *Грани*. 1957. № 34 / 35.  
 Поэма о грусти // *Грани*. 1960. № 45.  
 Пыль, Пыль, Солнце // *Грани*. 1972. № 86.  
 Сербские народные былины // *Грани*. 1948. № 4.  
 Слушая Моцарта // *Грани*. 1960. № 45.  
 Стихи // *Грани*. 1946. № 1; 1950. № 10; 1952. № 16; 1953. № 19; 1955. № 24; 1957. № 33; 1959. № 44.  
 Стоящий на грани (о поэзии Е. Евтушенко) // *Мосты*. 1959. № 2.  
 Тайнопись радости // *Грани*. 1959. № 41.  
 Товарищ баронесса // *Грани*. 1954. № 22.  
 Цветными карандашами // *Грани*. 1968. № 67.

## Отзывы о книгах

- День надежды и воскресения. В. Максимов. Семь дней творения // *Грани*. 1972. № 84.  
 Знаменосец новизны. М. Михайлов. Абрам Терц или бегство из реторты // *Грани*. 1970. № 74.  
 Л. Алексеева. *Лесное солнце* // *Лит. совр.* 1954.  
 Новый Колокол // *Грани*. 1973. № 89 / 90.  
 Прозрачный след. Лидия Алексеева, третья книга стихов // *Грани*. 1965. № 58.  
 Россию жалко (О романе А.И. Солженицына «Август четырнадцатого») // *Грани*. 1971. № 82.  
 Человек за бортом (о журнале *Синтаксис*) // *Грани*. 1965. № 58.  
 «Dichtung» и «Wahrheit». В. Свен. *Моль* // *Грани*. 1970. № 78.

**БЕРЛИН 1942**

Держа равнение непоколебимо,  
Как серый строй вильгельмовских солдат,  
На сумрачные улицы Берлина  
Громады тусклолицые глядят.  
И гением курфюрстов бранденбургских  
Второе двухстолетие дыша,  
Томится в них, как в виц-мундирах узких,  
Суровая германская душа.  
Кирпично-красных протестанских кирок  
Пронзают колокольни облака.  
По ним земли дряхлеющего мира  
Струится ввысь дремота и тоска.  
О, вдохновенье пасмурных элегий,  
Свинцовый Шпрее, сосен и болот!  
Как будто б по сей день профессор Гегель  
Здесь по утрам на лекции идет.  
И учит дух искать всеевропейский,  
И видеть в том судьбы предвечный суд,  
Что полицейский здесь, – не полицейский,  
А философски зримый Абсолют.  
Но логике пудовой непокорный,  
Я об иной мечтаю стороне...  
С душой многоголосую и вздорной  
Куда бежать и где сокрыться мне?

\* \* \*

Я побывал в преддверьи преисподней.  
Я видел смерть, и смерть меня отвергла.  
Но память жгучая не стерлась, не померкла.  
Я помню всё. Мне дышится свободней,  
Но не избыть немилости Господней.

Как трупы я костлявые забуду?  
Как изйду их муками немymi?  
Я каждый день сгораю вместе с ними,  
Я каждый день трепещущую грудой  
Колеблясь, исчезаю в черном дыме.

Но в теле вновь живая кровь струится,  
И снова мир картонной панорамой,  
Нелепо склеенный, предо мной теснится,  
И падает душа замерзшей птицей  
На прах и щебень городского хлама.

*Мюнхен. Июнь 1945*

### ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

Как чудо, долгожданный дождь  
Пролился стрелами косыми.  
Пахнуло мятой и полынью,  
Сквозь слезы улыбнулась рожь,  
И тишина. Лишь дятла стук,  
Да вишня оправляет платье.  
За строем строй, победной ратью,  
Ты отшумел, мой светлый друг.  
Ты отшумел! Лишь дышат смолы  
В лесу, как спелые цветы...  
Привет, привет мой гость веселый,  
Прозрачный вестник высоты!

\* \* \*

Дождь шумит. В окно влетают капли.  
И, небесной сыростью томим,  
Тянется изорванною паклей  
Из трубы отяжелевший дым.

Но светло на дальних косогорах.  
Звонки переливы петухов,

И склоненных вишен влажный шорох  
Шепчет мне прощение грехов.

\* \* \*

Так жить, так жить, обманывая годы  
По вечерам прихлебывая чай,  
Под тяжестью изношенной свободы  
Друзей поругивая невзначай.  
И толковать о Ламартине, Прусте,  
И руки нежно целовать. Потом  
Мечтать о море, о девичьей грусти,  
Затягиваясь скверным табаком.  
Скорбеть о прахе дедовских усадеб,  
Гвардейских шпор воображая звон,  
Вести учёт чужих рождений, свадеб,  
Дней ангела, крестин и похорон.  
Так жить, так жить, миражным мертвым светом  
Оредь вымыслов неистовых химер –  
Спешить пешком с копеечным букетом  
На именины к выцветшей Belle soeur,  
Затянутым в тугой, потертый смокинг  
В июльскую полдневную жару,  
Писать в альбом апухтинские строки,  
Разыгрывать любовную и г р у...  
Так жить, так жить затерянным в лукошко,  
Где призраком быть жизнью суждено...  
И смерть придет. Тоскливой, драной кошкой,  
Мяукнет, и царапнется в окно.

## ДИ-ПИ

Давным давно он заколочен.  
Давным давно в нем ни души.  
Теперь попроще, покороче:  
Бараки. Визы. Барыши.  
Был кол, а на коле мочала...

Сиди, смотри из года в год,  
Куда, в какую Гватемалу  
Идет бесплатный пароход!  
А был он полон, был он светел...  
Да что в том толку? Вон из глаз!  
Чужой язык. Олова на ветер.  
Изо дня в день. Из часа в час.

\* \* \*

Ежятся под каплями каштаны;  
Дождь был непрогляден и ленив.  
Кто там сел на камень, словно пьяный,  
Голову на руки уронив?  
Кто там шепчет о чужом пороге?  
Лишь бегут по озеру крути,  
Да стихают на пустой дороге  
Уходящей нежности шаги.

\* \* \*

Он был откуда-то из-под Орла.  
Рассказывал про вспашку, про покосы,  
Про летние гулянки вдоль села...  
Я слушал и мерещились мне косы,  
Густые, золотистые, как рожь,  
Платки, гармонь... Белесый и курносый,  
Он чем-то на Есенина похож  
Казался. И к тому же был поэтом.  
В его стихах не сразу всё поймешь:  
Пожалуй, сердце отдавал куплетам,  
Притягивая рифму за бока.  
Раз даже согрешил плохим сонетом,  
Где было, что страна мол, широка,  
И что боец за фабрики и нивы  
Не убоится вражьего штыка,  
А в общем был он бард неприхотливый  
И улыбался сам своим стихам.

Слегка мечтательный, слегка ленивый,  
Он жил не здесь, в концлагере, а там,  
Где нынче, почитай, скирды убрали  
И благодать полазить по садам.  
Однажды, лежа со своей печалью  
На утлой койке, как ненужный хлам,  
Он умер...

\* \* \*

Плещут лопасти пеной кофейной.  
Ключья песен относит назад.  
Сторожами веселого Рейна  
Броненосные замки стоят.  
И отовсюду: и справа и слева,  
Настоящему наперекор,  
Нам с тобой златокудрые девы  
Улыбаются с солнечных гор.  
Привстают охмелевшие годы,  
Чудесам потерявшие счет...  
Но для нас ли воспетые воды  
И чужого веселья полет?  
Ведь смотря на утесы живые,  
Что сказаньями напоены,  
Друг, мы только о ней, о России,  
До отчаянья...

### **ГЕРАКЛ**

Вон тот, что с автоматом у моста  
Поставлен ветры западные слушать,  
Что крутит из газетного листа  
Цыгарку и мурлыкает – «Катюшу».  
Что ежится от ночи, от зимы,  
И крикает: «Эх, чорт! Скорей в постель бы!»  
Что три недели, как из Костромы,  
А ныне в десяти шагах от Эльбы,

Тот самый, что нет-нет, вздохнет порой,  
Да поглядит задумчиво на реку,  
Вот он и есть взыскуемый герой,  
Геракл атомного века.  
Когда вскипит заветная тоска,  
Он, безответный, встанет исполином.  
Так что ж, что скомкана и широка  
На круглой голове фуражка блином?  
Он выйдет, вольностью ошеломлен,  
Вступить в единоборство роковое,  
И труп Антея грохнет о землю он,  
Переломав историю на двое.

\* \* \*

Там, в памяти, далече,  
Где мы вдвоем брели,  
Плывет апрельский вечер  
Над зеленью земли.

И слышен неискусный,  
Рассеянный рассказ  
Твоих простых и грустных,  
Твоих чудесных глаз.

И, тронутые ленью,  
Сквозь дрему, сквозь весну,  
Мы, две косые тени,  
Уходим в тишину.

## **МОРОЗ**

Тихо так, что снег услышишь,  
Как он в пролеске шуршит.  
Дым над пряничною крышей  
Серой цаплею стоит.

Память, – зябнувший котенок  
У забитого окна.  
Кто сказал, что холод звонок?  
Холод – это тишина.

### **ШВЕЦИЯ**

Там сосны высоки, озера глубоки,  
Там вещи тайны хранят валуны,  
Там дети и девушки голубооки,  
Там немочью бледной закаты больны.

Там носятся гуси в полунощном хоре  
Под небом печальным опала светлей.  
Там ветер взывает с балтийского моря:  
Забрызганный вестник России моей.

# ПЕРФИЛЬЕВ

## Александр Михайлович

*(1895–1973) – поэт, публицист,  
литературный критик.*



Родился в Чите. Отец – генерал Забайкальского казачьего войска. Окончил Второй кадетский корпус в Санкт-Петербурге и Оренбургское военное училище. 9-летним мальчиком участвовал вместе с отцом в экспедиции по степям Внутренней Монголии и Манчжурии, о чем уже после Второй мировой войны вспомнит в стиховорении «Братьям-калмыкам»:

Отец прикажет сняться, карту вынет...  
Зафыркают верблюды в полутьме,  
И мы цепочкой втянемся в пустыню  
И запоют буряты: «Ши намэ...».

В Первую мировую войну Александр Перфильев получил звание есаула (капитана), был ранен и контужен, награжден Георгиевским крестом и оружием.

В революцию был расстрелян его отец, умерли от гриппа жена и дочь. Сам он был арестован и около года провел в заключении, выйдя из которого бежал на юг в Добровольческую армию, где осуществлял связь с казачьими частями.

В 1921 году переехал в Латвию, где сумел чудом получить латвийское гражданство. Сначала занимался выездкой скаковых лошадей богатого фабриканта, потом стал журналистом.

Писать начал в 5 лет. С 1915 года печатается в «Огоньке», «Солнце России», «Ниве». Перфильев познакомился с Н. Гумилевым незадолго до гибели последнего. В Риге пишет статьи и фельетоны под псевдонимами Александр Ли и Шерри-Бренди, под псевдонимом Л. Гантимуров<sup>1</sup> – рассказы. Работает сотрудником, фельетони-

---

<sup>1</sup> Происхождение этого псевдонима связано с семейной легендой о том, что предок Перфильевых атаман Максим Перфильев усыновил прямого потомка

стом, выпускающим редактором и корректором в журналах «Огонек», «Новая нива», в газете «Русское слово». Среди его друзей Леонид Зуров, Иван Лукаш, Николай Истомин.

Под псевдонимами Александр Ли и Шерри-Бренди Перфильев пишет тексты для музыкальных номеров, скетчей, фокстротов и танго. В том числе слова к ставшему знаменитым танго Оскара Строка «Ах, эти черные глаза», исполнявшуюся П. Лещенко. Сам А. Перфильев этот вид своей деятельности серьезным не считал и гонорары щедро тратил на посещение театров, ресторанов, на цветы дамам и карты.

В 1925 году состоялось его знакомство и свадьба с поэтессой, автором романтических сказок для взрослых Ириной Сабуровой. Брак этот продлился 15 лет. Вместе они похоронили взрослого сына. Дружба Перфильева с Сабуровой продолжалась до его смерти.

В период Советской власти в Латвии Александр Перфильев работает ночным сторожем.

«Единственным темным пятном моей жизни, – писал он в шуточной автобиографии, – является то обстоятельство, что я до сих пор не могу точно установить своей настоящей профессии. Казачий офицер, коннозаводчик, поэт, беллетрист, фельетонист, кровельщик, маляр, речной городской, комиссионер, грузчик дров, конный милиционер, бетонный рабочий, расстрелянный чекой, газетный выпускающий, дворник, беженец, алкоголик, и три раза женатый».

После оккупации в 1941 году немцами Латвии он становится редактором открытых журнала «Для вас» и газеты «Двинский вестник». В 1942 году в Риге выходит его мемуарный прозаический сборник «Человек без воспоминаний».

В октябре 1944 года Перфильев уезжает в Германию и входит в штаб казачьих войск генерала П.Н. Краснова; вместе с казаками Русского Корпуса некоторое время находился в Италии:

Трагическое интермеццо  
В гротеске свихнувшихся дней –  
Казачьи лампы, Толмеццо,  
Верблюды из Сальских степей.

но Италия не оставила в его сердце заметного следа:

В Италии был я однажды  
Весной на исходе войны.  
Но той, утоляющей жажду  
Души, – я не видел страны.

Окончание войны застало Перфильева в Праге, откуда он, избежав расстрела, бежал в 1945 в Баварию в зону американской оккупации. На правах ди-пийца жил одно время в Мюльдорфе, потом до самой смерти – в Мюнхене. Печатался в юмористических газетах «Петрушка» и «Сатирикон», работал на радиостанции «Свобода».

В 1946 году выходит сборник автобиографических рассказов Перфильева «Когда горит снег», посвященный, как он сам писал, «утраченному прошлому» и «необретённому будущему».

Поэтических сборников у Перфильева после войны не было, как почти не было и публикаций. Написанные в эти годы стихи перекликаются с ранним творчеством поэта.

Его довоенные рижские сборники «Снежная месса» и «Листопад» (оба – под псевдонимом Александр Ли) развивали блоковско-гумилевскую традицию: осознание лирическим героем своего предназначения в условиях исторического эпохального кризиса. Третий сборник «Ветер с севера» (издан уже под собственным именем), актуализирует и бунинские мотивы крушения патриархального устоявшегося мира, разрушение Золотого века. Как у других поэтов эмиграции, здесь звучат мотивы изгнанничества, одиночества, усталости лирического героя в чуждом ему мире. Этот сборник построен на оригинальном восприятии и идейном переосмыслении традиций классической русской лирики. Не случайно его сокурсник по Кадетскому корпусу Георгий Иванов откликнулся на этот сборник похвальной рецензией.

Через все творчество поэта проходит тема потерянной любви, когда расставшийся с любимой лирический герой, чувствуя свою вину, «болен прошлым» («Любовь прошла, не оглянувшись, мимо. / А может быть, она со мной была, / Но я не рассмотрел лица любимой»); тщетно пытается забыть в уединении «мучительное слово: дорога...»; страдает от того, «что нежное слово / Ты скажешь другому, / Но... только не мне». «Быть может, для того мне солнце светит, /

Что я люблю единственную ту, / Которая на это не ответит», – восклицает поэт. Теперь он готов «любить, не сказавши: люблю». Можно уверенно утверждать, что ни у одного поэта русского зарубежья нет такого количества стихов, передающих многообразие оттенков любовных переживаний мужчины.

Высоко ценивший поэзию слова, Перфильев тем не менее признает, что «никакие бессмертные строки / Не заменят нам смертной любви!».

Тема несостоявшейся любви переходит у Перфильева в тему бессмысленной жизни:

В этом мире, как будто в гробу.  
Если б больше меня ты жалела,  
Я бы многое жизни простил.

Поэзия Перфильева, пишет в предисловии к его посмертному сборнику И. Сабурова, была «всегда глубоко пессимистической. Половина его стихов помечена в подлиннике: “Ночь. Тоска. Одиночество”».

«Счастье! Нам с тобой не по дороге, / Мы тебя не знали никогда»; «Люби, твори, гори огнем побед – Все это не имеет смысла!»; «Я знаю; каждый в мире одинок, / И даже самым близким непонятен», – скажет Перфильев в стихотворениях 40-х годов. Еще грустнее в стихах 50-х: «Прошла вся жизнь. / И стало очень просто. / И стало холодно тебе, душа». И совсем трагично: «Ну, скажем, нет дома – осталась душа. / Да нет и ДУШИ».

В целом ряде стихотворений поэт повторяет, что даже в такие светлые праздники, как Рождество и Пасха, ему «звучат колокола / Не радостным, а похоронным звоном».

Лишь изредка светлые воспоминание ненадолго озаряют душу лирического героя:

Мне чудится метель, мороз и снег упругий,  
И город на Двине, и город на Неве...

Или: «Мне чудился полузабытый Невский... Вот так бы и вернуться в Петербург / Веселым, беззаботным / сумасбродом».

Теплые чувства охватывают поэта и при воспоминаниях о «седой Риге» («Латгалия», «Сольвейг» и др.); об эпохе Петра; просто от созерцания роз.

«Но это все мираж», – осознает автор. В реальности – «задворки Европы». «Все ушло. Ушло... Ушло... Ушло» («Рождество, снега, вечерний свет...»).

Как ушли и Пушкин, и Лермонтов, и Блок, и Гумилев, и Г. Иванов. Слабая надежда, что «наше Слово в мире не умрет» сменяется горьким признанием: даже «слово из уст Гумилева ... до Си-ней Звезды не дошло!».

В итоге – вывод «о непознаваемости» человеческого назначения в этом мире: «не дано ни мертвым, ни живым / Понять закон божественного смысла» (1950 год). И еще более безнадежно незадолго до смерти (1973) в стихотворении «Круг»:

Весь смысл не более двух строк:  
Начало так: песок, лопатка,  
Конец: лопатка и... песок.

Другое дело, что, трагически воспринимая жизнь, Перфильев сохраняет мужество, обладает присущим русским людям чувством стоицизма: «ни в бритве, ни в петле / Смысла нет, – утверждает он, – как нет и на земле... / Значит – жди того, что суждено». А

О соловьях весеннего рассвета,  
О девушках, о звездах, о тепле,  
Пуускай напишут новые поэты,  
Которым легче будет на земле.

Поэзия А. Перфильева с точки зрения формы традиционна. Но этой традицией он овладел мастерски. Поэту доступны многообразные жанры: лирическое стихотворение, медитативная лирика, сонет, послание, переосмысленная пастораль, четверостишие, шутка, стилизация под народную песню и даже романс. Метафоры Перфильева несколько однообразны, но всегда точны и эмоциональны. Преимущественно литературный язык порой перебивается фольклорными словами, а изредка и снижено-иронической лексикой.

Военные и послевоенные стихи А. Перфильева при жизни поэта отдельным изданием не выходили. В 1966 году подборка из 8 стихо-

творений вошла в сборник «Содружество». Лишь после его смерти И. Сабурова напечатала на ротаторе 50 экз. его «Наследия» и разослала сборник по архивам, библиотекам и друзьям. Она же издала «Стихи».

На родине подборки стихов А. Перфильева вышли в Антологиях «Вернуться в Россию стихами...» и «Мы жили тогда на планете другой...».

## Сочинения

Когда горит снег. – Мюнхен: Космос, 1946.

Стихи. – Мюнхен, 1976

Литературное наследие А.М. Перфильева (Александра Ли). – Мюнхен, 1976.

## Публикации

Стихи // Содружество. – Вашингтон, 1966.



\* \* \*

Ты грустная... и я грущу с тобою,  
Не пьется нам, забвенья нет в вине,  
Все то, что раньше было голубое,  
Вдруг стало серым, как песок на дне.

Не спится нам. Ты дышишь беспокойно,  
Нет отдыха, нет молодости, грез.  
Я думаю о том, что недостойно  
Прошел по жизни до седых волос.

Мы мучаемся оба. Дай нам, Боже,  
Себя вином напрасно не губя,  
Забывать: тебе – того, кто всех дороже,  
А мне – о том, что я люблю тебя.

\* \* \*

О небывшем счастье,  
непришедшей славе,  
О мечте, просящей  
уголка души,  
Разложи, гадалка,  
все четыре масти,  
Жизни настоящей  
горечь потуши.  
Исписали люди  
ворохи бумаги,  
Думали, мечтали  
тысячами лет,  
Чтобы умирая,  
как и все бродяги,  
Из ушедшей дали  
вспомнить только «нет»...  
Разложи, гадалка,  
все четыре масти,  
Пусть смеются карты  
посреди стола:  
Над небывшей славой,  
обманувшим счастьем,  
Над мечтой, просящей  
в пустоте угла.

*1945*

\* \* \*

Пусть ветер поет за окном –  
Мы какнибудь все же живем,  
Смеемся, поем иногда,  
Забыв, что уходят года.

Заботой себя не тревожь –  
Все глупо, все пусто, все ложь...  
Сегодня целуй одного,  
А завтра забудешь его.

Пусть будет он близок и мил,  
Но трудно любить средь могил...  
И ветер колотит крылом  
В пустой и разрушенный дом.

1946

\* \* \*

Ветер гонит кучу листьев блеклых,  
Ночь к рассвету тащится с трудом.  
И стучит, стучит в чужие стекла  
Счастье, потерявшее свой дом.

Это ты споткнулось у порога,  
Голову подняв на этажи,  
Что влечет тебя, где так убого,  
Что влечет тебя туда, скажи?

Или может быть, в грязи и пыли  
В тишине запущенных мансард,  
Сохранилось то, что мы забыли,  
Юности нетронутый азарт?

Нет. Уже давно засохли кисти,  
Все мольберты сожжены в печи.  
Клены сыпят неживые листья  
На разбитой жизни кирпичи.

Все сорвалось, соскочило с петель,  
Нету рам на сгнивших косяках.  
Что же ты глядишь на дыры эти,  
Что ты ищешь в этих чердаках?

Разобьешься обо все пороги,  
И уйдешь в пустое никуда...  
Счастье! Нам с тобой не по дороге,  
Мы тебя не знали никогда.

1948

\* \* \*

Мучительно и трудно, как короста,  
Все язвы дней с души отшелуша,  
Прошла вся жизнь. И стало очень просто.  
И стало холодно тебе, душа.

Так уходя навек в Иные страны  
Бесстрастно холодеют мудрецы,  
Глядящие спокойно на рубцы,  
Забыв о том, что это были раны.

1951

\* \* \*

Мне минута конца неизвестна, —  
Искушать не люблю я судьбу,  
Но сейчас уже душно и тесно  
В этом мире, как будто в гробу.

Хоть еще не состарилось тело,  
Но душой я давно загрустил...  
Если б больше меня ты жалела,  
Я бы многое жизни простил.

1952

\* \* \*

Что же делать мне с моей тоской?  
Удушить ее своей рукой?  
Только ведь ни в бритве, ни в петле  
Смысла нет, как нет и на земле.

Хорошо тому, в ком вера есть,  
В то, что там спокойнее, чем здесь,  
Мне и этой веры не дано,  
Значит — жди того, что суждено.

\* \* \*

Слова бывают очень разные:  
Слова, как блеклая листва...  
Слова ненужные и праздные,  
Бывают глупые слова.

Слова, красивые и звучные,  
Слова, где мудрости родник,  
Слова поникшие и скучные,  
Как раненого сердца крик.

Слова любви, печали, ревности,  
Горящие, как фонари,  
Давным давно с глубокой древности  
Их собирали в словари.

Но есть и те, что недосказаны,  
Хотелось и не мог сказать –  
Они с душой и сердцем связаны,  
Их в словаре не отыскать...

Они сто раз не повторяются,  
Как будто стертые клише,  
В одной душе они рождаются,  
Чтоб умереть в другой душе.

\* \* \*

Молчит мой телефон, молчит звонок у двери,  
Я никого не жду... меня никто не ждет.  
А на календаре, в который я не верю,  
Как будто Рождество, как будто Новый Год.  
Мне чудится метель, мороз и снег упругий,  
И город на Двине, и город на Неве,  
Но это Рождество без снега и без вьюги,  
А только лишь туман, как в пьяной голове.

Храпя, летит рысак в коричневой попоне,  
Швыряя комья снега на бегу,

И женское лицо в пленительном поклоне...  
Но это все мираж. Лишь елка на балконе,  
Которую теперь я больше не зажгу.

\* \* \*

Рождество, снега, вечерний свет,  
Все, что мы любили с наших юных лет,  
И огни от милых елочных свечей,  
И тепло слегка приглушенных речей.  
Мы тихи, как этот праздник тих,  
Он не только лишь для нас живых,  
И для тех всегда горят его огни,  
Кто сидел среди нас в былые дни.  
Много их, ушедших, много милых лиц,  
Много в жизни перелистанных страниц,  
Но когда горит декабрьская звезда,  
Время возвращается тогда...  
Посмотрите – вот они все тут,  
В этот тихий миг они среди нас живут,  
Говорят, смеются, как тогда,  
Как в давно ушедшие года.  
Только не надо холодного света,  
Пусть будет елочным светом согрето  
Это молчание, это мгновение  
Милых ушедших теней появление...  
Легкое пламя на елке колышется,  
Тихая нежная музыка слышится,  
Вот они милые, нас навестили,  
Все нам прощают, как мы их простили...  
Рождества, снега, вечерний свет,  
Все, что мы любили с наших юных лет,  
Тихий сумрак, грустно и светло,  
Догорела елка. Все ушло.  
Ушло... ушло.

\* \* \*

А все таки... нет, нет... довольно лгать  
И самому себе, друзьям, всем людям.

Ты слишком долго мог воображать,  
Чего-то ждать, надеяться... забудем.  
Забудем все. Как хорошо забыть,

Что было детство, молодость и зрелость,  
И что осталась лишь окаменелость  
Ума, души, любви и мысли смелость,  
Что больше ничего не может быть!

## **ПЕТЕРБУРГСКИЕ МИНИАТЮРЫ**

### **I.**

Вьется стружка под сталью рубанка,  
Терпкой горечью пахнет смола,  
Вся намокла от пота голландка,  
Вот и по лбу струя потекла.

Жарковато чухонское лето,  
Взмкнешь, коль поработать с утра..

.....  
Так века донесли без портрета  
До меня этот облик Петра.

### **II**

Осенний вечер. В доме окна настежь,  
Из них к Неве струится дым и чад...  
Голландский свой попыхивая кнастер  
За шахматной доской они сидят...

На шхунах ветерок шевелит снасти,  
А игроки, насупившись, молчат,  
Глаза устремлены в один квадрат:  
На нем английский корабельный мастер  
России делает в четыре хода мат.

### **III.**

#### **ЧЕРНАЯ РЕЧКА**

Отмерили дистанцию. Считать  
Шаги смертельные они умели...

И тот, что в николаевской шинели,  
Стал равнодушно руку поднимать...

Все тот же самый вид у Черной Речки,  
Морозный воздух свеж и снег глубок.  
Да, это здесь... Нет, не было осечки,  
И он упал, схватясь за левый бок.

### ТОЧКА

Лишь вчера похоронили Блока,  
Расстреляли Гумилева.  
И Время как-то сдвинулось, жестоко  
Сжав ладони грубые свои.

Лишь вчера стучал по черепице  
Град двух войн – позора и побед –  
Лишь вчера «О, вдохновенье!» в Ницце  
Умирая, написал поэт.

Все года, события стали ближе,  
Воедино слив друзей, врагов...  
Между Петербургом и Парижем  
Расстоянье – в несколько шагов.

Так последняя вместила строчка  
Сумму горя, счастья, чепухи,  
И торжественно закрыла точка  
Как глаза покойнику, стихи.

### БЕССМЫСЛИЦА

Я начал жить в бессмыслицу войны,  
Едва лишь возмужал, расправил плечи.  
Как будто для того мы рождены,  
Чтобы себя и всех кругом калечить!

Вагон товарный заменял нам дом,  
Минуты перемирий–полустанки,  
Чтобы успеть сходить за кипятком,  
Съесть корку хлеба, просушить портянки...

Любовь, роняя угольки тепла,  
Дымила, тлела... и не разгоралась.  
Вслед за войной война другая шла...  
Жизнь кончилась. Бессмыслица осталась.

### [РОМАНС]<sup>2</sup>

Был день осенний, и листья грустно опадали,  
В последних астрах печаль хрустальная жила.  
Грусти тогда с тобою мы не знали,  
И мы любили, и для нас весна цвела.

Ах, эти черные глаза меня пленили,  
Их позабыть никак нельзя, они горят передо мной.  
Ах, эти черные глаза меня любили.  
Куда же скрылись вы теперь, кто близок вам другой?

Ах, эти черные глаза меня погубят,  
Их позабыть нигде нельзя, они горят передо мной.  
Ах, эти черные глаза, кто вас полюбит,  
Тот потеряет навсегда и счастье, и покой.

---

<sup>2</sup> Текст романа существует в различных вариантах. Здесь дается тот, что пел П. Лещенко.

# РЖЕВСКИЙ

## Леонид Денисович

*(1903?1905–1986) – прозаик и литературовед.*

Леонид Денисович Суражевский родился 8 (21) августа 1903<sup>1</sup> года в имении его деда по матери Сергея Валентиновича де Роберти Лацерда под Ржевом (соединение названия этого города и его собственной фамилии он в будущем использует в качестве псевдонима). Многие в его роду занимались литературной деятельностью. В том числе и бабушка будущего писателя Любовь Филипповна Нелидова (Короливно), чья первая книга «Девочка Лида» вызвала восторг Н. Некрасова. Именно она благословила внука на литературный труд.

Детство и юность Суражевского прошли в Москве. Москва будет неизменно присутствовать в его будущих книгах. Одной из них он даже даст подзаголовок «Московские повести».

Будущий писатель принимал самое активное участие в бурной культурной жизни Москвы 20-х годов. Судьба сводила его с О. Книппер-Чеховой, В. Маяковским и С. Есениным, с А. Луначарским, Н. Крупской и сестрой В. Ленина – А. Елизаровой-Ульяновой.

В 1930 году Л.Д. Суражевский закончил литературно-лингвистическое отделение Московского педагогического института имени В.И. Ленина, стал аспирантом. Среди его учителей был и академик В.В. Виноградов, уже тогда травимый бездарями (отзвуки институтских баталлий зазвучат в «Сентиментальной повести» Ржевского 1954 года). 28 июня 1941 года он защитил диссертацию о языке комедии Грибоедова «Горе от ума», а уже 1 июля ушел на фронт в звании лейтенанта.

На фронте был сначала переводчиком, затем – помощником начальника разведки дивизии. Выводя из окружения автоколонну

---

<sup>1</sup> Сам писатель указывал, что родился в 1905 году, что и вошло во все словари и справочники. Однако, как установил по архивам Московского государственного педагогического института А.А. Коновалов, подлинной датой рождения Ржевского был 1903 г.

дивизии, попал на мину и очнулся уже в немецком плену. 1941–1942 годы провел в лагерях для военнопленных, где получил язву желудка и туберкулез. В 1943 году ему предложили работать с учителями русских школ под Смоленском: немцы хотели открыть народные школы. Это было спасение, и пленный согласился. Впрочем, эта деятельность длилась недолго: в конце 1944 года туберкулез обострился, пропал голос. Чудом удалось попасть на лечение в Германию. Несмотря на приговор врачей о двух-трех неделях жизни, больной выжил. Этому способствовала разыскавшая его вторая жена поэтесса Агния Сергеевна Шишкова (ставшая опорой ему на всю оставшуюся жизнь). Частично эти события легли в основу повести «...показавшему нам свет» (1960).

До 1950 года супруги живут в Германии, перебиваясь самой различной работой, в том числе и литературной (статьи о языке, обзоры советской литературы).

В 1949 году в «Гранях» была опубликована первая повесть Ржевского «Девушка из бункера», позднее отредактированная им и переименованная в «Между двух звезд». С 1950 года Ржевский сотрудник литературно-художественного журнала «Грани», а с 1952-го – его главный редактор.

В 50-е годы состоялось знакомство писателя с русским литературным Парижем: И. Буниным, Б. Зайцевым, А. Ремизовым, М. Алдановым, Г. Адамовичем, Тэффи, В. Маклаковым.

С 1953 по 1963 год писатель-ученый читает лекции в Лундском университете (Швеция). Здесь написаны «Сентиментальная повесть» (1954), «Двое на камне» (1960), исследование «Язык и стиль романа Б. Пастернака “Доктор Живаго”» и многие другие лингвистические статьи.

С 1963 года и до своей кончины 13 ноября 1986 года Ржевский жил в США. Преподавал в Оклахомском и Нью-Йоркском университетах. Здесь им написаны романы «Две строчки времени» (1976), «Дина» (1979), «Бунт подсолнечника» (1981) и завершена повесть «Звездопад» (1963–1983).

Перу Ржевского принадлежат несколько литературоведческих книг: «Прочтение творческого слова: Литературоведческие проблемы и анализы» (1970), «Творец и подвиг» об А. Солженицыне и «Три темы по Достоевскому» (обе – 1972), «К вершинам творческого слова: Литературоведческие статьи и отклики» (1990), множество



*Л. Ржевский с женой поэтессой А. Шишковой*

статей и рецензий. Предметом его постоянного научного интереса были произведения А. Пушкина, Ф. Достоевского, Л. Толстого, Б. Пастернака, А. Солженицына, И. Бабеля. Писал он и о своих современниках: Д. Кленовском, Н. Моршене, В. Синкевич, В. Максимове.

Тематика произведений Ржевского во многом характерна для творчества писателей второй волны русской эмиграции.

Начиная с повести «Девушка из бункера», писатель постоянно возвращается к теме войны и плена. Заслугой Л. Ржевского стала предельная объективность изображения той стороны войны, которая вошла в советскую литературу много позже рассказом М. Шолохова «Судьба человека», повестями К. Воробьева («Это мы, Господи») и В. Семина («Нагрудный знак “Ост”»). В частности, Л. Ржевский показывает многочисленные картины бесчинств и зверств эсэсовцев в лагерях для военнопленных. Из главы в главу переходят скупые сообщения о голоде, холоде, эпидемиях тифа, о тысячах умерших.

При этом писатель не щадит и тех русских, кто, став лагерным полицейским, старостой барака или санитаром, ведет себя подобно эсэсовцам: тиранит пленных, доносит немцам на своих, берет взятки за помещение в теплый барак, вместо ухода за больными жирует за их счет.

Вместе с тем писатель показывает и тех русских людей, которые по советским законам того времени считались бы коллаборационистами за сотрудничество с немецкими властями. Это русские коменданты лагеря Кожевников и Плинк, доктора Камский и Моталин, благодаря которым удавалось облегчить, а то и сохранить жизнь тысячам пленным.

Столь же диалектично показаны в романе и немцы. «Немцы – они разные», – утверждает простая русская женщина Анна Ильинична. И автор с этим вполне согласен. Как правило, человеческими качествами наделены рядовые солдаты, младшие офицеры. Таковы три немца Курт, Эрих и Вебер, живущие в доме Анны Ильиничны. Немецкий врач Шустер организует прием больных крестьян и гордо отказывается от приносимых ими продуктов, хотя другие немцы ходят по дворам и эти продукты отбирают силой.

Среди русских персонажей наиболее дороги писателю те, чье сердце проникнуто христианской моралью: сочувствием к людям без разделения их по социальному, национальному или иному признаку. У любимицы автора Милицы «никогда не проскальзывало

казенной затверженности в высказываниях. Она решала все **сердцем** и, как казалось Заряжскому, всегда верно, без каких-либо натяжек». Запоминается эпизодическая фигура священника, отдающего свой хлеб нуждающимся и умершему от дистрофии.

И все же при всей любви Ржевского к героям, сердцем решающим все жизненные проблемы, в центре внимания писателя-интеллигента – персонажи рефлексирющие, задающиеся извечным русским вопросом «Что делать? Чем жить дальше?», драматически выбирающие между двумя звездами: «Пятиконечная белая – с одной стороны, пятиконечная красная – с другой. Красная несет смерть, а белая...», – размышляет один из героев романа. Многоточие характерно. «Мы как ничейные по своей беспризорности, окажемся между двух звезд», – настаивает другой персонаж – казак Сомов, предлагая пойти своим путем – создать русскую освободительную армию, на что главный персонаж романа Заряжский совершенно справедливо замечает, что эта идея – утопия.

Задолго до Г. Владимова Л. Ржевский показывает, что война породила чувство патриотизма даже у тех, кто не любит большевиков. Нашествие, по Ржевскому, было оскорбительно для русского народа. По мере пребывания немцев в России росла неприязнь к ним среди населения и – соответственно – патриотизм.

Идея патриотизма и трагедии патриотов, оказавшихся между двух звезд, и составляет содержание романа Л. Ржевского.

Характерно, что в этом романе и других военных произведениях Ржевского присутствует тема Бога. «Бог и есть гармония», – высказывает заветную мысль писателя герой-рассказчик из романа «Две строчки времени».

Из повести в повесть переходит так же характерная для всех писателей второй волны тема репрессий 20–40-х годов в СССР и порожденного ими страха. Страх удерживает героя «Сентиментальной повести» выступить в защиту своего учителя талантливого лингвиста. Страх заставляет молодого писателя из повести «Двое на камне» исказить правду жизни. Страх за мать и понимание своей незащитности толкают героиню повести «Сольфо Миредо», носящую чеховское имя Мисюсь, в объятия пьяницы и насильника. Арест родителей возлюбленной и стремление спасти ее самое заставляет рассказчика из «Двух строчек времени» и рассказа «За околицей» пойти на компромисс с НКВД и своей совестью. Боязнь приводит героиню романа «Дина» к сотрудничеству с органами.

Типологическая общность тематики и характерологии персонажей не лишает произведения писателя глубокой индивидуальности.

Неповторимость книгам Ржевского придает проходящая через все творчество писателя тема любви. Уже в первом романе писатель, так и не найдя политического решения вопроса, как жить «между двух звезд», перевел его в личностный план: персонажи обретают гармонию в любви. Все герои Ржевского испытывают чувства любви: всепоглощающей и воскрешающей; свойственной всем временам и – более того – объединяющей разные поколения. Чаще всего любовь эта несет трагический оттенок (суровое время или жизненные обстоятельства разлучают возлюбленных), но, как и у любимого Ржевским И. Бунина, она живет в памяти рассказчика (все произведения писателя написаны от первого лица).

Ржевский любит сопрягать времена. Название его повести «Две строчки времени» отражает композиционное построение многих его вещей: действие разворачивается в настоящем, а прошлое всплывает в сознании героев, рассказывается во вставных новеллах (мемуарах героя, воспоминаниях других персонажей, фрагментах чьих-то дневников, письмах).

Наиболее характерными для раннего творчества писателя являются «Сентиментальная повесть» и «Двое на камне».

Герой-рассказчик первой из них вспоминает историю своей доверенной молодости, любовь к студентке-максималистке Жене, порвавшей с ним после того, как он вопреки ожиданиям девушки не выступил в защиту справедливости, да еще и придумал множество оправданий своему малодушию. Все последующие годы, в том числе на фронте и в плену, рассказчик «сентиментально» вспоминал Женю и свое разрушенное счастье, все более и более упрекая себя за предательство и сочиняя различные счастливые концы этой истории. Повесть заканчивается сентиментальным оправданием иллюзии: «Верить в то, что те там, кого мы любили, живы еще и помнят о нас, даже ждут – иллюзия. Но так – легче. Милая Женя, я дописал эту повесть для тебя!»

Гораздо трагичнее судьба главного персонажа повести «Двое на камне». Молодой талантливый литератор Саша Лишин в угоду нормативам социалистического реализма «удушил личный мотив» и вместо подлинной драматической истории своей любви к прекрасной энергичной девушке Вике («капитану», как он ее зовет), создал

рассказ «Не в одиночестве». Переживания девушки, связанные с арестом ее отца, юный писатель заменил мелодраматичным повествованием о тяжелой болезни старика, о подвигах врачей, его спасших, и всеобщем ликовании по этому поводу. Много лет спустя волей судьбы автор рассказа «Не в одиночестве» оказался на Западе и переделал свой прежний рассказ в трагическую историю «Двое на камне», куски («звенья») которой, как и первого варианта, Ржевский включает в текст повести.

Тема преобразующей любви составляет содержание рассказа «Рябиновые четки» (1958) и поздней повести «Дина» (1979).

Чувство любви, по Ржевскому, не знает возрастного предела. Пожилой художник, герой романа «Дина», ощущает прилив творческих и физических сил, встретившись с молоденькой русской эмигранткой Диной. Его не останавливает ни разница в возрасте, ни ее замужество, ни уверения друзей в том, что она осведомитель КГБ (что, кстати, оказывается правдой). Впрочем, и ее перерастающее в любовь общение с духовно богатым человеком, каким является рассказчик – художник Пьер – Петр Петрович; ее знакомство со священником о. Андреем, с сестрой рассказчика Моб и ее другом Буровым, смешными в своей «зацикленности» на шпиономании, но в целом добрыми и хорошими людьми, воскрешает Дину к новой жизни.

Как это часто бывает в финалах произведений Ржевского, герои расстаются. Может быть, ненадолго, может быть, – навсегда. Но в сознании рассказчика последняя встреча с воскресшей к новой жизни Диной становится сакральной. Минуты молчания рассказчик воспринимает как разговор, но не друг с другом, «а с неким – Третьим, в руках которого триптих времени, наше вчера, сегодня и завтра. Они невероятно и непредвиденно вдруг смыкаются, зажигая вокруг проникновенный свет».

Встреча времен и вечность чувств составляют и содержание романа «Две строчки времени» (1976). Сюжет романа составляет встреча рассказчика бывшего москвича, интеллигента, а ныне эмигранта с современной полурусской девятнадцатилетней девушкой Ией Шор, имя которой навевает герою воспоминания о другой Ие (дома ее знали Ютой) из его юности. Рассказ о целомудренности Юты-Ии и ее трагической судьбе вызывает сначала непонимание, а затем производит нравственный переворот в душе слегка циничной и живущей сексуально свободной жизнью американской тетки Ии.

Впрочем, по ходу развития сюжета выясняется, что и путь современной девушки не устлан розами. Иные, но тоже суровые жизненные испытания подстерегают современную молодежь, чем и вызван ее нигилизм, самоуверенность, идущая от растерянности. Между пожилым писателем и Ией возникает на какое-то время взаимопонимание и любовь, описанная по-бунински эротично и вместе с тем благородно.

Финал романа – типичный для прозы Ржевского. Ия вновь исчезает, а рассказчик после очередной неудачной попытки обнаружить девушку задает себе вопрос: «Господи! <...> Что же это было? Что?.. неужели не суждено мне дознаться обо всем до конца? Или это и был – конец?..». Очевидно, что речь идет не только об Ие, но о жизни, о вечной ее тайне, о невозможности существования без любви и о силе самой любви.

Роман «Две строчки времени» с образом мятущейся героини лишь завершает галерею русских персонажей писателя, порой мучительно, порой трагикомично ищущих и не находящих свое место в жизни. Тема эта развивается в рассказах «Полдюжины талантов» (1958), «Через пролив» (1961), «Малиновое варенье», в повести «Паренек из Москвы» (1957) и романе «Бунт подсолнечника» (1981). Вслед за Ф. Достоевским писатель показывает противоречивость человеческой личности, рисует мятущиеся характеры русских людей в эмиграции размышляет, может ли русский человек обрести гармонию.

Большинству персонажей Ржевского это не удастся. Но то, чего часто не хватает объективизированным персонажам Ржевского, в избытке у рассказчика. Именно это обстоятельство позволяет говорить не о служебной, а о функциональной роли повествователя, предельно сближенного с автором.

В поздней прозе писателя это «задумчивый старикан» (такое название носит завершающий книгу «За околицей» рассказ), философ-созерцатель, с высоты прожитой жизни и перед лицом мудрой старости (постоянная тема последних произведений Ржевского) чувствующий ответственность за судьбу окружающих его людей и – шире – за судьбу будущего.

В прозе Ржевского последних лет рассказчик все чаще непосредственно обращается к читателю, вводит его в тайны писательского

мастерства, рассуждает (но не морализирует), отвлекается, использует притчевое повествование. При этом писатель склонен гармонизировать жизнь, принимать «сложную противоречивость жизни, слышимость в ней до нерасчленимости светлого и мрачного, улыбки и отчаяния, блаженства и смертного горя» (из статьи о Чехове).

Будучи лингвистом по образованию, филологом по призванию, Ржевский большое внимание уделял языку своих произведений. Емкие и выразительны не только портреты главных героев, но и беглые характеристики второстепенных, пейзажи, детали, символы.

Среди излюбленных писателем слов-лейтмотивов – «звезды» (не случайно свою последнюю повесть он назвал «Звездопад») и «пока». Первое несет символическое значение счастья, вечности, обретенной гармонии. Второе служит знаком неустойчивости бытия. Герои разных произведений произносят его как кратковременное прощание («до завтра»), не подозревая, что рок может разлучить их на годы или навечно.

Л.Д. Ржевский похоронен на русском кладбище Ново-Дивеево (штат Нью-Йорк). На православном кресте над именем выгравирована строчка молитвы, словами которой он озаглавил свой роман: «Слава Тебе, показавшему нам свет». Его проза понемногу становится достоянием отечественных любителей литературы.

## **Сочинения**

Между двух звёзд. – New York, 1953

Двое на камне. Сб. – München, 1960

...показавшему нам свет. Оптимистическая повесть. – Frankfurt / M., 1961

Через пролив. Сб. – München, 1966

Прочтение творческого слова: Литературоведческие проблемы и анализы. – Нью Йорк, 1970

Творец и подвиг. Очерки о творчестве Александра Солженицына. – Frankfurt / M., 1975

Две строчки времени. – Frankfurt / M., 1976

Дина. Записки художника. – New York, 1979

Бунт подсолнечника. – Ann Arbor, 1981

Звездопад. Московские повести. – Ann Arbor, 1984

За околицей. – Tenaflly / NY, 1987

К вершинам творческого слова. Литературоведческие статьи и отклики. – Norwich, 1990.

**Между двух звезд: Роман. Повести. Рассказы.** – М.: ТЕРРА-СПОРТ, 2000.

**Публикации**

- Бабель – стилист // *Возд, пути*. 1963. № 3.  
В бинокль // *НЖ*. 1962. № 69.  
Вопросы конструктивной антикоммунистической пропаганды // *Вест. Ин.*, 1953. № 4.  
Встречи с русскими писателями // *Грани*. 1990. № 156.  
Горячее дыхание // *НЖ*. 1964. № 75.  
Два варианта // *НЖ*. 1957. № 50.  
Две недели // *Грани*. 1959. № 42.  
Две строчки времени // *Грани*. 1976. № 100.  
**Две строчки времени**. – Петрозаводск: Север, 1991. № 1–2.  
Девушка из бункера // *Грани*. 1950. №№ 8, 9, 11.  
Живое и мертвое слово // *Грани*. 1949. № 5.  
Жизнеутверждающее творчество // *Грани*. 1951. № 14.  
Загадочная корреспондентка К. Чуковского // *НЖ*. 1976. № 123.  
Звук струны. О творчестве Беллы Ахмадулиной // *Возд. пути*. 1967. № 5.  
Клим и Панночка // *Конт*. 1977. № 12.  
Книги на литературоведческой полке // *НЖ*. 1978. № 133.  
Конец Сергей Сергеича // *НЖ*. 1976. № 125.  
Крылья // *НЖ*. 1969. № 95.  
Маша Лескова // *Мосты*. 1959. № 3.  
Между двух звезд // *Грани*. 1951. № 13.  
Монологи и паприка // *НЖ*. 1970. № 100.  
Начало романа // *Мосты*. 1963. № 10.  
О культуре языка в СССР // *Вест. Ин.* 1954. № 11.  
О поэзии Ив. Елагина // *НЖ*. 1977. № 126.  
О тайнописи в романе Доктор Живаго // *Грани*. 1960. № 48.  
Об одной творческой преемственности // *НЖ*. 1972. № 108.  
Об одном образе в романе Война и мир // *НЖ*. 1966. № 82.  
Обреченные. О литераторах – лауреатах сталинских премий 1951 г. // *Лит. совр.* 1951. № 2.  
Памяти Бунина // *Грани*. 1953. № 20.  
Памяти Г.И. Газданова // *НЖ*. 1972. № 106.  
Паренек из Москвы // *Грани*. 1957. № 36.  
Пилатов грех // *НЖ*. 1968. № 90.  
Подлинное и заказанное // *НЖ*. 1952. № 29.  
Полдюжины талантов // *Мосты*. 1958. № 1.  
Полсантиметра от Воркуты // *НЖ*. 1975. № 118.  
Рябиновые четки // *НЖ*. 1958. № 55.  
Светофоры на путях советского языкознания // *Грани*. 1950. № 10.  
Сентиментальная повесть // *Грани*. 1954. № 21.  
Симпозиум // *НЖ*. 1972. № 109.  
Советская литература и советская критика наших дней // *Лит. совр.* 1952. № 3.

- Сольфа Миредо // *НЖ*. 1968. № 93.  
 Спутница. Записки художника // *Мосты*. 1968. № 13 / 14; 1970. № 15.  
 Строфы и «звоны» в современной русской поэзии // *НЖ*. 1974. № 115.  
 Тайнописное в послеоктябрьской литературе // *НЖ*. 1970. № 98.  
 Творческие университеты // *Грани*. 1952. № 15.  
 Творческое слово у Солженицына // *НЖ*. 1969. № 96.  
 Тема о непреходящем // *Мосты*. 1961. № 7.  
 Три книжки зарубежных журналов // *Грани*. 1951. № 14.  
 Три темы по Достоевскому // *Грани*. 1971. № 82.  
 Тринадцатая // *Лит. совр.* 1954.  
 Триптих В.Е. Максимова // *Грани*. 1978. № 109.  
 У Тэффи // *Грани*. 1952. № 16.  
 Человек, которому было все равно // *НЖ*. 1956. № 45.  
 Через пролив // *НЖ*. 1961. № 65.  
 Юбилей Достоевского в СССР // *Вест. Ин.*, 1956. № 20.

## Отзывы о книгах.

- А. Седых. Крымские рассказы // *НЖ*. 1978. № 130.  
 Андрей Седых. Далекое, близкое // *НЖ*. 1979. № 136.  
 В. Максимов. Прощание из ниоткуда // *НЖ*. 1975. № 119.  
 Д. Кленовский. Уходящие паруса // *Мосты*. 1963. № 10.  
 Н.И. Ульянов. Под каменным небом // *НЖ*. 1970. № 101.  
 Р. Гуль. Бакунин // *НЖ*. 1975. № 119.  
 Труд огромный и нужный: Людмила А. Фостер. Библиография русской зарубежной литературы, 1918–1968 гг // *Грани*. 1971. № 80.

## Под псевдонимом Л.Р.

- Вторая книга поэта // *Грани*. 1952. № 15.  
 Книги Б. Ширяева // *Грани*. 1953. № 18.  
 Настоящие книги // *Грани*. 1954. № 23.  
 Новые издания И.А. Бунина // *Грани*. 1953. № 18.  
 О сборнике стихов Софии Прегель и по поводу // *Грани*. 1953. № 19.  
 По страницам советских журналов // *Грани*. 1953. № 17.  
 Стихи сегодняшней нашей жизни // *Грани*. 1950. № 9.  
 Ценный опыт // *Грани*. 1952. № 16.

## Под псевдонимом Л. Р-ский

- Когда Эрэнбург молился. (Стихи 1918 г., Девятый вал.) // *Грани*. 1952. № 16.

## РЯБИНОВЫЕ ЧЁТКИ

Эту Ульрику, воспитанницу нашей хозяйки, мы воспринимали, главным образом, как шум: счесть немислимо, сколько раз на дно оттопывала она вверх-вниз по нашей скрипучей лестнице кожемитовыми от вечной босоногости пятками.

Добро бы только пятками – были у нее еще и шлепанцы на деревяшке.

Обычно они дежурили внизу, в сенях, похожие на маленькие гробики, но по какому-то наитию, она иногда вскакивала в них на бегу, и тогда – беда!..

«Ульрика!» – звала снизу хозяйка, портниха, – и с лестницы низвергался грохот, как если бы покатали по ступенькам небольшой бидон с молоком; «Ульрика!» – кричал из спальни хозяин, ночной кондуктор, отсыпавшийся днем, – и она грохотала вверх, таща ему в растопыренных пятернях свежую сорочку.

Должно быть, из-за этого грохота мы с женой ощущали и видели Ульрику, начиная именно с ее шумных подростковых ног, нескладно-тонких, словно перевязанных узлами в коленках, с острыми, в синяках, лодыгами, цеплявшими одна за другую на ходу.

Оно, если смотреть и выше, не было ничего складного: одни устои и впалости и бледное вытянутое личико с принудительной улыбкой на тонких губах; были, впрочем, густые, словно наклеенные, ресницы над диковато потупленным взглядом и толстые косы, маячившие, когда она бегала.

У Гоголя в «Женитьбе» Кочкарев объясняет кому-то из женихов, чтобы его отвадить, как выстроен дом, идущий в приданое: «стены выведены в один кирпич, а в середине всякая дрянь – мусор, щепки, стружки»...

Домишко, в котором мы жили, крайний в деревне, совсем уже на поле, был такой же, примерно, конструкции. Не страдал и не вздрагивал он от лестничного грохота и рёва швейной машины на моторном приводе – только по воскресеньям.

В воскресенье он отдыхал всеми своими тонкими ребрами и черепичным покато плеч. Шлепанцы из-под натертой до смертельно-

го блеска лестницы изгонялись в подвал, а сама Ульрика, тощая и чинная, как церковная брошюрка в темной обложке, шла мимо нашего окошка к заутрене: ресницы долу, ниже – квадратик молитвенника, сзади – две вкрутую сплетенных косы и над парадными туфлями – лодыжки, прятавшие под чулками свою сиротскую колючесть.

Следя за их мерно удалявшимся мельканием, мы перекидывались замечаниями насчет Ульрикиной судьбы: по чьему-то завещанию, не то обету, ей к совершеннолетию предстояло идти в монастырь.

Но самая восхитительная воскресная тишина начиналась после полудня, когда хозяева, перестав копошиться внизу и выключив радио, уходили в гости.

Тогда, если это было лето, мы пережидали полуденный жар в отсыревшей за ночь мансарде, впуская в окошко дальний и ближний пейзаж, мятные запахи поля, шелест и цимбалы цикад и жаворонков.

Дальний пейзаж были горы, дымно-лиловые в фён<sup>2</sup> и нитка железной дороги, бежавшая вдоль их подножья; ближний – овсы и луг в одуванчиках, желто-горячих в марте и серых в апреле, когда они взрывались летучей щекотной картечью под взмахи альпийского ветра; а совсем уже под окошком – частокол палисадника и на скупом пятачке газона, уцелевшего от напиравших вокруг грядок, рябинка до крыши макушкой, предмет наших неослабных и умиленных наблюдений: вот отцвела, завязалась, вот уж и ягоды, желтые, как янтарь, вот уж и краснеют... Караул, воробьиный налет! – обключают ведь разбойники!..

И мы их гоняли, воробьев, из окна, не столько из любви к насаждениям, сколько, вероятно, из патриотизма: уж больно была рябина свойская, северная...

Проводив хозяев, Ульрика скидывала с себя воскресный наряд и ложилась у этой рябины под нашими окнами в черных трусах и лифчике жариться.

Это был ее час, когда солнце и неподвижность возмещали ей швырянье вверх-вниз по лестнице, пыльную тряпку либо иголку в руках целый день, случалось, и оплеуху.

Особенно, правда, хозяйка не лютовала, была даже довольно сердечна, но – со взрывами: с тонкой жилистой шеи съезжал у нее на

---

<sup>2</sup> Теплый сухой ветер в горной стране.

сторону зоб, страшный, серый, как губка на дереве, и, значит, трудно ей было в случае особенно острых переживаний обуздываться.

Впрочем, пощечины были не часты: домишко откликался на них предательски гулко, разоблачающе, – мы знали их все наперечет, до одной, по этому эху и красным от пальцев следам на щеках Ульрики, стараясь тогда заманить ее к себе, покуда внизу не остынет.

Поджаривалась Ульрика под рябиной часами, узкая, голенастая, похожая на компасную стрелку, вертевшуюся по движению солнца – то пробором и косами к нам, то серыми пятками, а мы шли в лес...

Мы шли в лес и по пути к спасительной тени лениво роняли несколько слов все о ней же, об Ульрике, о сиротской её участи и неприглядности.

– Гадкий утенок какой-то, – говорила жена. – Вряд ли выправится, когда подрастет... Как ты думаешь?

– Гм...

Скудость разговорных тем не удивительна для тогдашнего нашего захолустья, нищего впечатлениями.

Гораздо удивительнее скудость наблюдений: я уже говорил, что мы почему-то раз навсегда восприняли Ульрику в виде тринадцатилетней нескладности ног, поднимавших нас чуть свет грохотаньем по лестнице.

Да, только так; прожив в мансарде три года, мы странным образом не заметили вовсе, что ногам стало вот уж и четырнадцать, а там – и пятнадцать, шестнадцать...

А потом случилось как-то... – ничего, в общем, примечательного, но стоит, пожалуй, рассказать.

В одно из особенно жарких августовских воскресений мы сидели, как обычно, в мансарде, ожидая, когда свалит зной.

Сквозь плотную занавеску окошка сочилось солнце; в щёлку, оставленную для воздуха, видна была пылающая гроздь нашей рябины на синем ослепительном фоне.

Бродя из угла в угол по комнате, я заглянул через щелку вниз, на Ульрику, и – пристыл к окну: она не лежала, как обычно, штрихом недвижимым и невыразительным, а сидела, с поджатыми ногами, вся светясь, как подсолнух, рыже-бронзовой кожей.

У склоненного профиля быстро мелькали пальцы: она низала на длинную серую нитку рябиновые ягоды.

Ощипанные лапки соцветий с матовыми листиками валялись вокруг; другие, еще нетронутые, лежали перед ней горкой.

Красная снизка – рябиновые четки – ползла с ее голой коленки в траву.

Все было так неожиданно ярко и выпукло, так непохоже на Ульрику! О путевке в монастырь эти чётки, текущие по круглой коленке, не напоминали нимало.

Ни они, ни ноги, блестящие в зелени, с их чудом вдруг выхолившейся золотистой крутизной, отмытыми до розовости ступнями и смуглыми, вовсе теперь не колючими, лодыжками. По самой злой воле либо слепоте немислимо было назвать эти ноги нескладными.

Да полно, Ульрика ли это? И серьги она соорудила себе из рябиновых ягод, кисточкой; должно быть, от них обращенная в мою сторону щека отливала румянцем и выкруглилась...

Кончив нанизывать, она проворно связала концы, откусила зубами у узелка хвостики, вскочила, смахнув за спину косы, и побежала в дом.

Я смотрел ей вслед в недоумении, почти в растерянности: ничего от былой угловатости, колючести плеч и движений! Какой ювелир и когда перешлифовал вдруг эту девчонку, сыскал неожиданные пропорции, где подточил, где прибавил овала, глазури, свечения...

Нет, «недоумение» не то слово: я смотрел на эту убегающую от меня метаморфозу с каким-то еще и другим неотчетливым чувством – когда вдруг заденет тебя и уйдет чья-то теплая, рукой подать, и все же совсем к тебе не причастная красота; чувство это щемит, его не расскажешь...

Ульрика вернулась через полминуты, таща в руках большой, вполроста, хозяйкин трельяж.

Поставила его на траву и села сама по-турецки напротив с болтающимися в ушах ягодками и ожерельем на шее.

Села боком, почти спиной ко мне, и в средней зеркальной створке увидел я ее горевшие щеки и – в первый раз, кажется, – широко раскрытые глаза, сверкавшие радостным возбуждением.

Она долго, перебирая плечами, сдвигала и раздвигала боковые стекла, лоя на всякий манер свое отражение и примеряя убор: серьги то прилипали к розовым мочкам, то мотались под ними свободно; рябиновые четки взвивались над головой, как лассо, ложась то к горлу вплотную, то в один ряд, то ошейником – в несколько.

Потом, тонко вытянув шею, она заглянула за частокол на дорогу, мельком – на наше окно и сняла лифчик; придержав подбородком,

завязала бусы на горле крупным узлом и плавным движением рук провела концы вниз.

В трельяж посыпались бусинки, повторяясь тем же кармином на острых грудях, как в одной из картин с таитянской – Гогена.

Она снова задвигала створками, и трельяж весь налился и замелькал смугло-молочным, карминным и розовым, множа все рикосшетом, брызгая в стороны зайчиками и слепя...

Неподвижным в этом мелькании оставались лишь посередке два горячих румянца и под вскинутыми ресницами восторженные глаза...

– Посмотри сюда! – сказал я жене шепотом, и у нее вмиг поползли кверху брови.

– А ведь совсем недурна... Когда же... Как это я проглядела? (Типичное женское «я», а не «мы»: мужчина, мол, здесь ни при чем, а самой себе женщина в этих делах никогда не простит недосмотра.) – И в какой она радости! Жаль, что мы не можем ей подарить настоящих серег и бус!

Куда уж там «подарить»! В те послевоенные годы жили мы почти на подножном корму, кредитом в двух местных лавчонках: в одной переставали нам улыбаться уже на десяти только марках, а в другой становились серьезными после пятнадцати. Не до подарков! Да и самое главное: когда и какие стекляшки могли бы вызвать этот взрыв красок, солнца, восторженности, полыхавший сейчас за окном! Он был единствен и неповторим, этот взрыв, в этом был я уверен, – неповторим, как рождение, как запах лопнувшей почки, развертывающейся в листок, а радость принадлежала сюда же.

Впрочем, повод для нее мог быть и побочный, особенный...

Повод побочный установили мы на другой уже день: повод звался Альбертом и, на мой вкус, был довольно невзрачен – заикающийся ломкий басок и застенчивая косолапость – тоже воспитанник, батрачок. «Mein Gott! – волновалась хозяйка в устроенном женой интервью. – Что они станут делать? Как жить? Ей рано, всего шестнадцать... И у нее совсем другая дорога... А я – отвечай?»...

Это утром.

А к вечеру, возвращаясь из лесу с грибами, я наткнулся и на иллюстрацию к её волнениям: они сидели в полуобнимку под ёлкой, Альберт и Ульрика, неосторожно-бездумно, у самой дороги, похожие на живокартинную пастораль, и я готов был ручаться – в ошеломленной нерешимости коснуться друг друга теснее.

Придя же домой, еще в палисаднике, услышал я, что Ульрику послали в соседнюю деревню за вставкой к какому-то платью, не то вышивкой, и что она пропала. Вышивка требовалась срочно, работа стояла, хозяйка кипела – зоб алел и вздувался от бушевавшего внутри негодования...

Я долго решал: не сбежать ли в лес и не предварить ли мне Ульрику, но все ждал и выглядывал: вот-вот, может быть, придет и сама.

Она и пришла, сумасшедшая, когда уж почти спряталось солнце, и после секундной внизу мертвой паузы – сразу все взорвалось: был и вопль в голос, и грохот стульев, и целых две пощечины, и жалобный вскрик – я вышел на багровую от исчезавшего солнца лестницу, нарочно топая по площадке сапогами.

Внизу стихло.

Секунду спустя дверь распахнулась: Ульрика с малиновыми щеками, разлетающимися косами и рябиновой порванной низкой в горсти, стремительно, как сквозняк, взлетела ко мне на площадку. Взлетела – и, схватив мою руку, повисла на ней грудью, задохшись.

Жест был полуребяческий: вцепилась она, я понимал, не в меня, а в некоторое абстрактное сочувствие, которое на ходу угадала, но в остальном ничего детского не было, – было продолжение вчерашней метаморфозы, таинственного торжества первого цветения.

В горячем, искаженном лице, смотревшем мимо, в закат, ни следа не осталось от прежних бледнонемочных черт.

Оно казалось прелестным, несмотря на искаженность, светилось непонятной какой-то силой и радостью, несмотря на мокрые ресницы, а растекшиеся от слез губы были похожи на слово «целую» в конце письма, неосторожно промокнутое промокашкой...

## **В БИНОКЛЬ**

Если вы живете в довольно-таки северном городе, если окна ваши при этом выходят в ботанический сад и если у вас есть бинокль, то... фразу эту можно закончить по-разному, но можно и не заканчивать вовсе, потому что и незаконченная она хорошо образует вступление.

В неверном, стремящемся расцепиться кружке за окулярами уже с конца февраля не видно снега. Он лежит лишь кое-где в рытых для

водяных растений водоёминах и между грядками; лежит с предсмертно-серым конопатым лицом, раздумывая, вероятно, о превратностях судьбы и – как можно было бы вспушиться на этих широтах, не будь неподалеку теплых течений.

На самих грядках и по обочинам аллей в это время белеет лишь россыпь коротконогих дощечек с названиями на выдуманной латыни того, что должно будет подле них зазеленеть или вырасти.

Дощечек, которые позже, когда все на самом деле пойдет цветом и зелению, особенно станут нелепыми, как если бы кому вздумалось для наглядности и науки снабдить чье-либо прекрасное лицо этикетками вроде: «Глаза», «Нос», «Губы обыкновенные» и тому подобное.

Впрочем, самая ранняя флора пренебрегала ботаникой, и именно потому я так и не удосужился узнать по имени мелких, в желтую звездочку, цветов, которые первыми, как веснушки на переносице, высыпали по пригретым газонам.

За ними, тоже минуя ботанические реестры, вставали заговорщицкие группки подснежников; неожиданно и стрельчато, как маленькие космические ракеты, выстреливали из-под земли крокусы, розовые, чайные и фиолетовые.

Наконец – это уже в середине апреля, – по аллеям расставляли скамейки, и на них, одурманенные апрельскими запахами, сплетаясь руками и застывая, как изваяния, расцветали парочки...

Одна из скамеек приходилась как раз напротив моего окошка.

Стояла она возле стеклянного павильона-оранжереи, по форме напоминавшего граненый, вытянутый в длину камень на перстнях, который иногда называют маркизой.

Он освещался внутри неоновым светом круглые сутки, и, если глядеть на него в потемках, особенно летних и звездных, нетрудно было примыслить ему и руку, и весь плавно распластанный абрис ночи, уронивший на эту руку со светящимся перстнем сонную голову...

В этом парнике у меня было двое знакомых: огромный, несуразно раскоряченный кактус – он мрачно щерился на Божий свет, когда снимали перед ним на день стеклянную стенку, и камелия, стройная, в рост «Miss World», в деревянной кадке – ее с началом весны выволакивали наружу и ставили рядом с кактусом, за скамейкой.

Гуляя однажды по парку, я пристал к экскурсии, состоящей из учительниц, увядших от педагогики, но все еще алчно, как промо-

кашка, впитывающих в себя разные бесполезные знания, и узнал кое-что об обоих.

Впрочем, о кактусе почти и нечего было узнавать, кроме того, что он стар.

Другое дело – камелия.

Тут было много рассказано о ее невозможном характере и повадках.

Она была действительно капризна и непостоянна, как куртизанка.

Она могла взять и не завязать вовсе бутонов и, словно обидевшись на покровителя, не купившего ей новых сережек, остаться на целый год со своими вызывающе зелеными, в ювелирный рубчик, листьями, не обещая цветения.

Она способна была скинуть с себя уже готовый, уже почти распустившийся цвет, розовый, как девичьи щеки, ежели ее хоть чуть-чуть потревожит грубый северный ветер.

Подумаешь: ветер! Как будто может в этом краю, со всех сторон обложенном морем, не быть постоянного ветра...

Кактус ее презирал.

Впрочем, может быть, это только казалось.

Может быть, даже любил, но притворялся, что презирает, ибо был стар и горд и не мог рассчитывать на взаимность.

Горд, может быть, и особой, ностальгической гордостью: пустыня, суховеи, смерчи, оазисы... все мощное, необъятное, дикое.

И вдруг – стеклянная клеть, искусственное солнце, цивилизованные зеваки, соленый дух северного моря и под ногами кадушка!

Он был необыкновенно уродлив, кактус. И сварлив, и из его как подагрой раздутых бугров, морщин и колючек неудержимо струился скепсис.

Иной раз, когда в перерыв между моими писаниями мы разглядывали друг друга, он в прищур, я в бинокль, мне казалось, он презирает и меня – за то, что пишу неправдоподобно и непросто по слогу, и мне становилось смешно, потому что я думал: «Что если бы я тебе, тоже неправдоподобному по обличью, предложил бы сходить в парикмахерскую – постричься и вывести начисто всю свою колючесть и бородавчатость?».

Впрочем, вряд ли бы он снизошел до дискуссии...

Как-то раз к парнику подошла одна совсем еще юная пара: девушка в плащике цвета дождя с серебром, на котором солнце зажи-

гало блики, похожие на весенние подсыхающие лужицы, и паренек в рыжей замшевой куртке с петушиным стоячим вихром на макушке.

Добредя до скамейки, оба тотчас же привалились друг к другу в плотном поцелуйном приступе.

Был май и, кажется, воскресенье.

Мимо плыли семейные группы, детские колясочки с подвязанными на нитке разноцветными воздушными дутиками; парадные одиночки с тростью и невидяще поджатыми губами; стриженные под английский газон пудели; таксы...

Пара на скамейке не шелохнулась...

Тут-то я разглядел в первый раз, что парниковые мои знакомцы разговаривают.

Конечно, если считать за разговор короткие реплики кактуса, свысока и сквозь зубы.

– Фи! – сказала камелия. – Как им не совестно! Смотрите: прошел университетский ректор, ипискус, а они...

– Не «ипискус»<sup>3</sup>, а епископ... – прошипел кактус. – И когда, наконец, перестанете вы удивляться самым обычным вещам!

Он был не совсем прав, кактус: пара заслуживала внимания.

Особенно паренек, очень еще желторотый – круглое лицо с невыраженным подбородком, глаза с доверчивым выкатом (в театре таких зовут «простаками») и дают играть только обманутых любовников), и неуклюже робкие руки.

Девушке под его поцелуйным порывом, я видел, было тяжело и неловко. Она дважды то выбрасывала вперед, то подбирала под скамью ноги в кожаных лапотках на деревянной подошве, которые носят здесь, каким-то чудом удерживая на ступне.

А когда она, наконец, из-под него повыпросталась, я рассмотрел и вирус маленькой, как буря в рюмке, весенней драмы: он ей уже надоел.

Это было заметно по тому, как вытерла она нижнюю губку, которую он облизывал, капризную и очень полную, еще и подраспущую, вероятно, от поцелуев, и как равнодушно-небрежно, миную его восторженный взгляд, подкинула к глазам часовую браслетку.

Он был, по-видимому, романтичен, этот мальчик – редкое явление в этой стране, где слишком много красавиц, перепроизводство

---

<sup>3</sup> Ботанич. «hibiscus» – китайская роза.

красавиц, со всеми вытекающими отсюда последствиями, и прежде всего – равнодушием.

От равнодушия юноши здесь становятся сонными, девушки, с молодых зубов спеша вкусить от плода, рано трезвеют и охлаждаются к романтике...

Они еще несколько раз схватывались целоваться, но с каждым разом короче и словно бы торопясь. В последний приступ, заметил я, ножка в лапотке дернулась особенно нетерпеливо, и лапоток соскочил, и маленькая ступня вслепую, сердитыми сверху толчками, пыталась нашить его на песке.

Ах, эти движения, поднятая одна бровь, морщинка на переносице – я читал их, как читают книгу!

Потом девушка поднялась, кивнула решительно и ушла.

Паренек же остался в совершенно телячьей растерянности, когда ироническому наблюдателю со стороны хочется протянуть за него: «Му-у-у!»...

Он стоял и следил, как качалась на свободном шарнире, все уменьшая и уменьшая амплитуду и постукивая, калитка, в которую она вышла.

Потом побрел вглубь аллеи.

– Гм!.. – сказал кактус, истекая презрением.

А мне стало не по себе.

В эти несколько секунд припомнил я все, как ни странно, все до единой скамеечки, зимние, с тающим под тобою снежком, летние, под августовскими звездами, и такие же вот весенние, в романтических вирусах, – скамеечки, на которых когда-то сиживал сам и которые сейчас так беспощадно-пронзительно ощутились вдруг в прошлом.

Ощущение заурядное, но пусть тот, кто его не испытал, перевалив за полвека, и способен пронести забвение старости дальше первого зеркала, швырнет в меня камень...

В таком раскисшем – «Как хороши, как свежи были розы» – настроении я уж и опустил было бинокль, как вдруг увидел старушку, древнюю, согбенную, которая, с трудом волоча ноги в уродливых, сиротского блеска, обутках, подползла к оранжерейной скамье.

По странной случайности был на ней тоже блестящий, серебряного перелива дождевик, и, когда она села, безразличное к нашим земным различиям и заботам солнце зажгло на нем яркие, похожие на весенние лужицы пятна.

Она сидела, вцепившись костлявыми пальцами в борт скамьи, чуть раскачиваясь в такт дыханию и жалко подрагивая головой.

Жалость к ближнему всегда спасает от обидной жалости к самому себе.

Мне стало легче.

И уже совсем легко и по-обывательски любопытно, когда, поведя в сторону биноклем, я снова поймал в конце аллеи романтического паренька.

Он шагал, вытянув шею, впившись выпуклыми глазами в серебристый блик впереди, – весь волнение, надежда, восторг и стремительность. Было очевидно: он вообразил, что вернулась его подружка...

Я думаю, он сильно был близорук. Иначе не подошел бы так близко к застывшей на скамейке старухе.

Но он подошел почти вплотную и даже заглянул ей в лицо.

И она подняла голову на шорох его шагов и, я видел отчетливо, улыбнулась ему запавшими старческими губами, как пиковая дама – герою пушкинской повести.

Не знаю, ощутил ли он мистические бемоли этого маленького бытийного эпизода, какие ощутил я.

Но – как он отпрянул!!

– Вот так фикус! – пожалла плечами камелия.

– Не «фикус», а фокус! И не трясите листьями, вам вредно... – сказал кактус.

А я пошел к своему письменному столу.

Чтобы записать:

«Если вы живете в довольно-таки северном городе, если ваши окна при этом выходят в ботанический сад и если у вас есть бинокль, то...» и так далее.

## ...ПОКАЗАВШЕМУ НАМ СВЕТ

*Роман, построенный, как это часто бывает у Л. Ржевского, на автобиографическом материале, рассказывает о чудесном выздоровлении приговоренного врачами к смерти бывшего военнопленного, ныне ди-пийца Вятича. Повествователь и знакомая Вятича актри-*

са Мара, посещая больного наблюдают его выздоровление под воздействием русской девушки-остовки Анны Гуд.

Ниже помещены два фрагмента из романа.

Один, представляющий боковую сюжетную линию книги Ржевского, рассказывает о встрече друзей с находящимся в той же лечебницы солдатом Селезневым и его смерти.

Второй представляет реконструированную повествователем-филологом решающую встречу Вятича с Аннушкой.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 2

В конце мая застали мы однажды его [главного героя романа Вятича. – В.А.] в волнении и суете: утром в лазарет привезли больного, который оказался русским, а в прошлом – его ординарцем в первую осень войны. Связывали обоих боевые разные эпизоды и та особая дружба командира и солдата, которая не забывается. Словом – встреча! Помнится мне, я слышал уже раньше эту фамилию – Селезнев, не то даже видел его в полесском окружении.

– Да, да, конечно, видели, у меня в землянке, – говорил Вятич, снуя из угла в угол по палате. – В плен он попал тоже раненым, как и я. Потом, совершенно оголодавши, угодил к здешнему баварскому кулаку, где его и доехали: скоротечный процесс в обоих легких и в горле. Сняли его с транспорта в СССР, потому что началось кровотечение, и когда привезли сюда, он отчаянно протестовал, требовал, чтобы везли дальше, на родину. Главный врач вызвал меня для уговоров...

– Вас?

– Ну, да, в переводчики, чтобы его успокоить. Ведь он прямо-таки бушевал, хоть и сама кротость, – никогда не мог бы его раньше таким представить: «Хватит! Выпили из меня всю кровушку! Часу лишнего не хочу здесь у вас оставаться!»... Хрипит, кровь на губах... Узнал меня, разрыдался ужасно. Его рядом положили, как раз за стенкой, тоже в одиночку. Врач говорит, считанные дни... Вы сидите, я только загляну к нему на минутку, посмотреть, есть ли еще лед...

Когда Вятич вернулся, мы заставили его самого лечь и измерить температуру. Жар был порядочный, но он продолжал, несколько сбивчиво, рассказывать:

– Простой ведь колхозник, печник по профессии, но вы вообразить себе не можете, какой душевный и цельный человек! Благожелательность ко всем удивительная и готовность помочь... Я расскажу потом, как он отхаживал для меня одну лошадку, попавшую к нам как трофей. Когда ее отняли – мне по штату лошади не полагалось, – он чуть не плакал и все твердил, что несправедливо. К справедливости у него вообще особая какая-то тяга и вера, что вот она где-то тут, или придет во всяком случае непременно, – русского склада черта...

– Словом, второй Платон Каратаев, этот ваш Селезнев...

– Ну, как вам сказать... Прежде всего, он еще не стар и вполне безрелигиозен; Фроле-Лавре и вообще никаких молитв не знает, но вот эта вера его в какую-то общую целесообразность – она у него тоже как бы иррациональная, нутряная, так что, пожалуй, той же природы, что и каратаевская... Постойте! – он вдруг прислушался, опершись на локоть, и спустил ноги с кровати. – Собственно, нужно бы к нему туда постоянно сиделку. Я все время боюсь, что... Давайте пойдем к нему сейчас все втроем, на минуту! Это его подбодрит...

– Или повредит...

Мы поспорили немного, повредит или нет, и отправились.

Да, конечно, я где-то его уже встречал, хотя нужно было усилие, чтобы опознать прежнее его лицо в этом бескровном, с запавшими воронкой щеками в рыжей щетине; особенно глаза, бегавшие, помнится, раньше, как пузырек ватерпаса между надбровьем и скулами, а теперь стоячие и большие в воспаленной каемке век.

– Вот, Селезнев, земляки, тебя навестить... Нет, не шевелись и не раскрывай рта! Петрович, в нашем был корпусе. А это – Мара...

У него сузились в углах глаза и на скулы выплыла краска. Мне надолго запомнилась стоявшая рядом на столике миска и в ней костистые пальцы с длинными в желтых гранях ногтями, вылавливающие мутные кусочки льда... Он вытер мокрую кисть руки о пододеяльник и подал мне, потом Маре.

– Откуда же родом-то? – Шопот у него был не беззвучный, как у Вятича, а хриплый, натужный, от которого судорожно полз к подбородку кадык.

Я сказал, что москвич, и про Мару, что она из Саратова.

– Саратов? Аккурат, значит, из моих самых мест. Скаж-жи ты... И какая ж ладненькая...

– Селезнев – заметь, Мара, – всегда предпочитал белобрысых.

– О-ох... всех предпочитал! Беленьких, рыженьких, черненьких... Все были хороши! По району гоняешь бывалоча – знакомств конца нет. Ну, как говорится: ехал к Фоме, заехал к куме. Верно, товарищ лейтенант?

Он улыбнулся, и если б я не узнал его раньше, – теперь, по этой улыбке, обращенной к Вятичу, плутоватой и необыкновенно жалкой во вмятинах щек, припомнил бы обязательно.

– Верно, но ты лучше помалкивай.

– Я только спросить: откуда вот они... саратовская?

– Из Саратова самого, – сказала Мара и, перехватив мой взгляд, присела около кровати на стул. – Я там в театре работала, актрисой... С выездными бригадами всю область объездили. И в Актарске была, и в Новых Бурасах... знаете? И по Волге по всей...

Розовея, он неотрывно следил за ее губами; потом, откинувшись на подушку, блаженно прикрыл глаза. Он, видимо, упивался названиями родных мест, самым звучанием русской речи, от которой отвык и сейчас слушал, как музыку. Все-таки я тронул, немного погодя, Мару за локоть.

– Вот подлечитесь тут немножко и – домой! – заключила она.

– Да уж... спасибо, дорогая ты моя. Увидел вас всех – так и в самом деле думается: может, возворчусь... Ведь родина! Господи ты Боже мой! Рази ж здесь жизнь? Баур, у кого батрачил, так этот завсегда норовил подковырнуть: всё, мол, у вас там плохо, режим хуже царского, пропаганда, неволя – почнет перебирать... Не хочу, отвечаю ему, чужую хваленку, хочу мою хаенку... Неправда, что хуже царского... А вообще-то нам, крестьянству, при всяком режиме... А насчет прочего: думать и у нас кто же тебе мешает, а говорить... умного много ли чего скажешь, хоть тебе и свободно. А ваша пропаганда не брешет? Брехня тоже бывает разная, надо разбирать. В колхозе у нас агитатор, кум он мой, вопит бывалоча на собрании: «Жить стало лучше... Повысим! Дадим!» Подойдешь к нему после, скажешь: «Брешешь ведь, шукин ты сын!» «Брешу, говорит, понятное дело... А ты не брешешь?» Все брешем. А раз все – вроде как и правду все знаем...

Он глухо закашлялся.

– Довольно, довольно! – замахал руками Вятич. – Дай-ка льду ему, Мара.

– Сейчас закруглюсь... Тоже насчет наших русских печей, будто никуда не годятся. Дурень, говорю ему, что ты понимаешь? Аккурат печи по нашему климату и обычаю. И рази ж мыслимо их по всей России перекладывать? Это нашего брата, печника, на одну область не хватит. Да и к чему? Счастливее, что ли, человек станет от новых печек? Вот ты какой хмурый, говорю, с тремя-то полуголландками...

Он закашлялся снова.

– Пошли! Завтра снова все трое придем навестить. А я забегу через полчаса. Пока!

– Пока! – сказали и мы с Марой.

– Захаживайте, друзья, не оставьте! – приползло нам вслед уже на пороге.

### 3.

Он протянул после нашего визита еще дней пятнадцать. Так как-то вышло, что больше мы с Марой к нему не попали: то приходили в часы, когда с ним что-то делали, то слишком к вечеру. Припоминаю случай, когда однажды Вятич на вопрос, не заглянуть ли нам к Селезеву, странно смутился и сказал, что тот спит и лучше, мол, не беспокоить, – сказал неправду, как я с удивлением отметил, потому что было это на Вятича непохоже, – я потом только узнал, что за этим скрывалось, и потом же об этом расскажу. Чтобы замаскировать замешательство, Вятич начал рассказывать, как Селезнев каждое утро, во время обхода, умоляет главного врача отправить его на родину:

«Доеду, не сомневайтесь... Домой и хромя лошадь здоровей бежит»...

Наконец, в один из наших приходов, Вятич сообщил, что Селезеву уже врзали в горло трубку: воспаление поднялось, ждут, что кинется в мозг. «Хотите взглянуть на него в последний раз? Только взглянуть, он уж почти в беспамятстве»...

Мара запротестовала:

– Нет, дорогие мои, это, должно быть, такая жуть... Нет, без меня!

Я потом пожалел, что не последовал ее примеру: есть зрелища, которых умнее не видеть...

Пергаментный подбородок в подушках, с клубком мокро всхлипывающей под ним марли, и посеячас стоит перед моими глазами. Нет, он был в памяти: кисть с синими ногтями приподнялась, сломившись в запястье под прямым углом, и снова упала – это было приветствие. Потом веки медленно, как бы цепляясь за сухие белки, всползли вверх, а зрачки – вниз, на нас. Глазницы, дрогнув в углах, стали вдруг необыкновенно быстро наливаясь слезами, превратившись в две сплошные блестящие лужицы, круглые и тяжелые, как ртутные пятки. Ничего похожего я раньше не видывал и, признаюсь, едва переносил смотреть.

С усилием взмигивая, Селезнев расплескал лужицы, и теперь на нас были обращены его неестественно большие глаза. Вятич говорил мне впоследствии, будто только у умирающих от чахотки бывают такие глаза – такой выразительности, не оупленные физическим страданием, словно принявшие на себя все биение жизни, в котором отказано уже телу. Легкими облачками и вспышками пробегали сейчас в них мысли и воспоминания, тревожные, судорожные и – спокойные, почти улыбочивые, – да, мне почудилась даже искорка смеха, тотчас же, правда, и рассыпавшаяся, скользнувшая вниз, под чуть отвороченное, в кровавых паутинках, нижнее веко. Потом все это сплыло к зрачкам, образовавши вопрос:

– Ну как, братцы? Что со мной теперь будет?

Видя, что мы молчим, он попробовал заговорить: в клубке марли под подбородком заклекотал и засвистел воздух.

– Два дня еще потерпеть, пока в горле не полегчает, – сказал Вятич поспешно.

Вопрос в глазах сменился недоверчивостью. Губы, сделав несколько странных, сосущих движений, разжались, пропустив наружу распухший язык с желтой язвой на кончике – бугорчатка бросилась уж и сюда...

Через два дня он умер.

## **ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ**

### **2.**

Вятич сидел под елью, вжимаясь в узкую, колкую за спиной, похожую на кружевную оборку тень: солнце почти отвесно рушилось сейчас на «волчок». Оно было гибельно для него, солнце, напор ко-

того часа могла выдерживать Аннушка. Лицо ее, с крепко прижатой к щекам растопыркой ресниц и лупившимся носом, выражало при этом некий молитвенно-чувственный восторг огнепоклонницы.

Была своя немудрая история у этих их лесных посиделок в зной, когда нельзя было ни заниматься, ни лежать в гамаке. Ее можно бы представить в картинках, если бы кто вздумал зарисовать («Лучше всего темперой» – думал Вятич). Май, например: Аннушка, сидя чуть впереди, запрокидывает к солнцу щеки, жмурясь и подбирая повыше подол. «Вы бы шли себе загорать по ту сторону елки, как следует»... – говорит Вятич и потом невольно прислушивается к шорохам за спиной, сам себе не желая признаться, как скучно долго не видеть ее с собой рядом. «У меня есть купальник!» – вспоминает она однажды (это – июнь) и лежит теперь уже на его стороне узким черно-пегим штрихом. Как-то раз – это уже в августовские дни – купальник забывается дома, и она, немного подумав, стягивает через голову сарафан и оказывается в детских белых трусах и лифчике, треугольными складками уменьшенном из большого. Чем, в самом деле, купальный костюм приличнее? «В нем жарко, если сухой», – объясняет она Вятичу, – «И тянет... В этом много удобнее»...

Так лежит она и теперь, в «мертвый час», как называют у нас время послеобеденного покоя. Круглая полянка похожа на солнечную раскаленную сковороду. Поджариваясь на ней, как лук в масле, трещат и выбрызгивают из травы кузнечики. Слепителен воздух, слепителен контраст между Аннушкиной орехового цвета кожей и белой кромкой белья. Полутоном меж ними – нетронутые загаром полоски кожи, которые то сужаются и исчезают совсем, то становятся шире, когда Аннушка шевелится или поворачивается со спины на живот. Эти полоски-обручки кажутся Вятичу особенно трогательными и волнуют – он велит себе на них не глядеть. Запрет вообще главное мотто их знакомства и дружбы. Он – прокаженный. С каждым выдохом вылетают из его легких тысячи коховских палочек – **мотыльков**, как их, с юмором обреченных, зовут лазаретные больные. Он не смеет дохнуть на кого-нибудь, слишком близко стать или сесть. С первого же раза, когда он почувствовал, не только увидел, Аннушку, он **приказал** себе смотреть на нее, как на сестру или дочь, и, так как в жизни ни сестры, ни дочери у него не было, – почти как актер проверял это «как смотреть», чтобы она под его взглядом

могла двигаться неизменно доверчиво. Он не безволен, это ему удастся...

Так, примерно, думает он сейчас, глядя на Аннушкину калимую, как каштан на огне, спину и муравья, который, встав на дыбки, карабкается ей на изнанку колена – палевый, в голубых жилках мягкий сгиб.

Она согнула ногу и, болтнув ею в воздухе, сбросила муравья. Потом повернула лицо:

– Вот если бы ваш Петрович застал меня в таком виде!

– Почему «ваш»? Вы ведь и сами его одобряете, Аннушка?

– Мне его жалко, – вздыхает она, вдавливая щеку в мох и щурясь. – Он такой одинокий.

– А меня вам жаль тоже? Я ведь тоже одинокий.

– Вы? Одинокий? – раскрывает она глаза.

– Ну, не теперь, разумеется, пока мы вместе. Но это не может без конца продолжаться. Вам надо устраивать свою жизнь. Вам при первом удобном случае надо отсюда прочь. А я тут на привязи, и весьма безнадежно.

– Как вы можете так говорить? – приподнимается она на локтях. – Как раз теперь, когда все у вас зажило, и доктор обещает, что пройдет и горло. Как вам не совестно!

– Не возмущайтесь, стойте. Я счастлив, разумеется, что поправляюсь. И Бог видит, как вам благодарен за то, что поддерживаете. Но, как бы это объяснить... Ночью сегодня, после вчерашнего нашего веселья, я долго думал... Я так много душевных сил вложил в свое желание выкарабкаться, что на будущее ничего уж и не осталось. А ведь еще долгий путь, покуда как следует стану на ноги. Если стану... Откуда взять новых сил? Я признаюсь вам, только вам: не представляю, как выдержу еще зиму в санатории. Этот его воздух, умирающие, весь режим... Сейчас я там только ночую, а здесь забываю, что болен, и это главное. Понимаете: я убежден, как это ни дико, что если б мог, когда осень начнется, отсюда уйти, было бы лучше. Найти комнатку какую-нибудь, самую примитивную, как шалаш, и жить, как живут здоровые, – непременно поправился бы до конца. Но это утопия, и мне делается страшно...

Она вдруг задумалась, все так же вися на локтях. Потом поднялась, подбежала и села с ним рядом, продев руку под полосатый пиджамный рукав.

– Не говорите так, пожалуйста... Осень и зиму – я никуда от вас не уйду. И вообще до зимы еще далеко. Не думайте об этом. Я очень прошу... Хорошо? – И прижалась щекой к его плечу.

Она не была сентиментальна, склонна к таким маленьким внезапным прикосновениям, выражающим нежность. Прикосновения были тоже табу. Плечо, пижама, в которые она дышала сейчас, были тоже прокаженные. Но отодвинуться Вятич не смог.

– Хорошо, не стану, – сказал он, стараясь не пошевелиться.

Она удовлетворенно кивнула и, приподнявшись на коленках, чтобы до него дотянуться, поцеловала в щеку, почти в угол губ, – быстро, как клонула.

– Вот этого нельзя, Аннушка. Никак нельзя... – забормотал он растерянно, чувствуя, как ее тепло опрокинулось ему в грудь, мешая дышать. – Вы знаете, я...

– Что «я»? Доктор сказал, что процесс у вас закрылся, значит баццилл больше нет.

– Сегодня нет, завтра снова появятся... Так или иначе, это невозможно...

Она шепнула: «Все равно, я не боюсь!» – и, вытянув шею, поцеловала его снова, в самые губы.

– Аннушка!

Стало темно в глазах и неловко выдерживать тяжесть ее плеча, всего кренившегося на него маленького тела. Вытянув руку, он обхватил ее и прижал к себе.

– Я не боюсь! – повторила она упрямо. – Не боюсь... не боюсь... не боюсь...

Зримого больше не было. Был гулкий, рвущийся в горле пульс, нагнетавший, как помпа, судорожную, сладкую муть. Было в руках что-то, похожее, как казалось ему, на жидкое солнце, что удержать было немислимо, как волну, – оно струилось под его ладонями, то отстраняясь и холодея, то прикивая горячо, как ожог...

Когда, задышающийся и все с тем же оглушительным стуком в горле и висках, он прозрел снова, – Аннушка сидела шагах в двух, отвернувшись. Смутно и словно бы издалека он различал ее спину в светлых подпалинах на месте лифа, темную родинку на млечно-розовой маленькой ягодице, вдавленной в мох, рядом с белыми вокруг лоскутками.

– Господи, зачем я это сделала! – сказала она с отчаянием, недвижно глядя перед собой.

Он вздрогнул.

– Зачем все это случилось?

– Что случилось?

– Вы не понимаете – что? – повернулась она к нему с вдруг искаженным лицом, прикрывая растопыренными маленькими пятернями крохотные соски в выпукло-розовых ободках. – Вы не понимаете? Вы думаете, может, что я... что у меня... что это не в самый первый раз? Вы!.. вы... – Теперь одна ее согнутая в локте рука загоразивала грудь, а другой она судорожно шарила и набрасывала на себя со мха обрывки белья.

Вятич закрыл руками лицо...

Несколько секунд она глядела, застыв, на его тяжело вздымавшиеся плечи, прислушиваясь к дыханию, вырывавшемуся со свистом из-под прижатых ладоней; ожесточение, обиду сдувало понемногу с ее щек, как пыльцу...

Отшвырнув лоскутки, она метнулась к нему и обхватила обеими руками его голову.

– Миленький... ну, не надо, не надо... – говорила она, пытаясь отнять от его щек ладони. – Нет, я ни о чем не жалею! Нет, всё, всё хорошо! Мы всегда будем вместе. Я сыщу комнату и возьму вас к себе...

# САБУРОВА

(настоящая фамилия Кутитонская;  
в первом браке Перфильева, во втором  
баронесса фон Розенберг)

## Ирина Евгеньевна



*(1907–1979) – поэтесса, прозаик, переводчица, журналистка.*

Родилась в Риге. Отец сражался в Белой армии и пропал без вести. Мать работала. Ирине пришлось заботиться о себе и младших сестрах. С 1933 по 1940 год работала редактором еженедельника «Для Вас», журналисткой в русской ежедневной газете «Сегодня».

С установлением в Латвии советской власти избежала репрессий и вместе со вторым мужем бароном Розенбергом выехала в Германию. Во время немецкой оккупации Риги вернулась в родной город и с риском для себя помогала еврейским семьям и бежавшим из плена красноармейцам.

Осенью 1944 года окончательно покинула Латвию и пешком дошла до Германии, где оказалась в лагере Ди-Пи в американской зоне. Разрисовываемые ею вручную открытки со стихами, деревянные пасхальные яйца и коробочки в русском стиле меняла на сигареты и продукты. Жизнь ди-пийцев описана ею в повести «О нас» (1972), где драматические эпизоды соседствуют с юмористическими (в т.ч. со знаменитой «Азбукой» ди-пийцев).

Позже обосновалась под Мюнхеном, где жила до смерти.

Печататься начала в 1922 году. В 1933 году ее произведения были напечатаны в Выборгском «Журнал Содружества», который, несмотря на малый тираж (200–250 экз.), распространялся в Эстонии, Латвии, Швеции, Чехословакии, Бельгии, Франции, Швейцарии и США. В 1938 году вышел первый сборник ее рассказов «Тень синего марта».

В 1947 году ей удалось впервые издать сборник романтических сказок «Королевство алых башен», написанных еще до эмиграции. ««В мире две есть важных вещи: сказка и улыбка, остальное можно сделать и придумать как-нибудь! Сказки у меня есть». Эти слова

много позже Ирина Сабурова вложила в уста героини романа «Корабли Старого Города» Джан, прообразом которой послужила она сама. Сабурова соединяет суровую действительность с волшебной сказкой. Написанные ритмической прозой, сказки, несмотря на грустные финалы, вызывают у читателя веру в существование Добра, Любви, Красоты. Не случайно большая часть событий происходит в Сочельник, когда рождаются мечты, пусть даже неосуществимые в жизни.

Написанный в 1947–1948 годах роман «Корабли Старого Города» был сначала опубликован на немецком языке под названием «Die Stadt der verlorenen Schiffe» (1950). Позже его перевели на испанский. По-русски роман увидел свет только в 1962 году.

Слова «Старый Город» писательница пишет заглавными буквами: Рига для нее это город счастливой юности и мечты и сказки, где «Свинцово-черная шляпа на Пороховой башне проткнута крохотными подзорными окошечками, как шпильками. Иногда в них просовываются рожицы гномов. Они смотрят вниз и хихикают в кулачок. Внизу, на двухаршинной трубе притулившегося домика вертится флюгерный кот, скрипит и машет под ветер хвостом».

Эпиграфом роману автор выбрала стихотворение А.А. Блока «Девушка пела в церковном хоре»: мечта и надежда нужны в любой самой тяжелой ситуации.

Роман состоит из 4 частей. Первая «Ра, сияющий бог» – о счастливой юности героини. Вторая («Последние корабли») о 20–40-х годах жизни русской диаспоры в Риге. Третья – «Звезда Давида» о фашистской оккупации Риги, об ужасах еврейского гетто и о людях, сумевших даже в этих условиях сохранить доброту и мечту. Завершающая часть романа о начале второй мировой войны, приходе большевиков в Ригу и начавшихся арестах и расстрелах. Символическое название этой части – «Колокола». Они звонят как реквием об ушедшей жизни и, может быть, новой жизни героини, покидающей родной город

Как всегда у Сабуровой, реалии XX столетия сочетаются с романтическим преданием, аллегорией. Героиня романа Надежда Николаевна фон Грот (она же Джан) создает пьесу о том, что жители Старого Города «ждут счастья и посылают за ним корабли». «Мне кажется, – объясняет артистам, воплощающим пьесу на сцене, автор, – что мы все тоже отправляем в своей жизни корабли счастья – и

ждем, что они когда-нибудь вернуться. Тоска по мечте есть в жизни каждого человека». И страшно, если через 200 лет вернувшиеся корабли встретят не романтики, которые отправляли их в плавание, а полные скепсиса и цинизма люди новой эпохи.

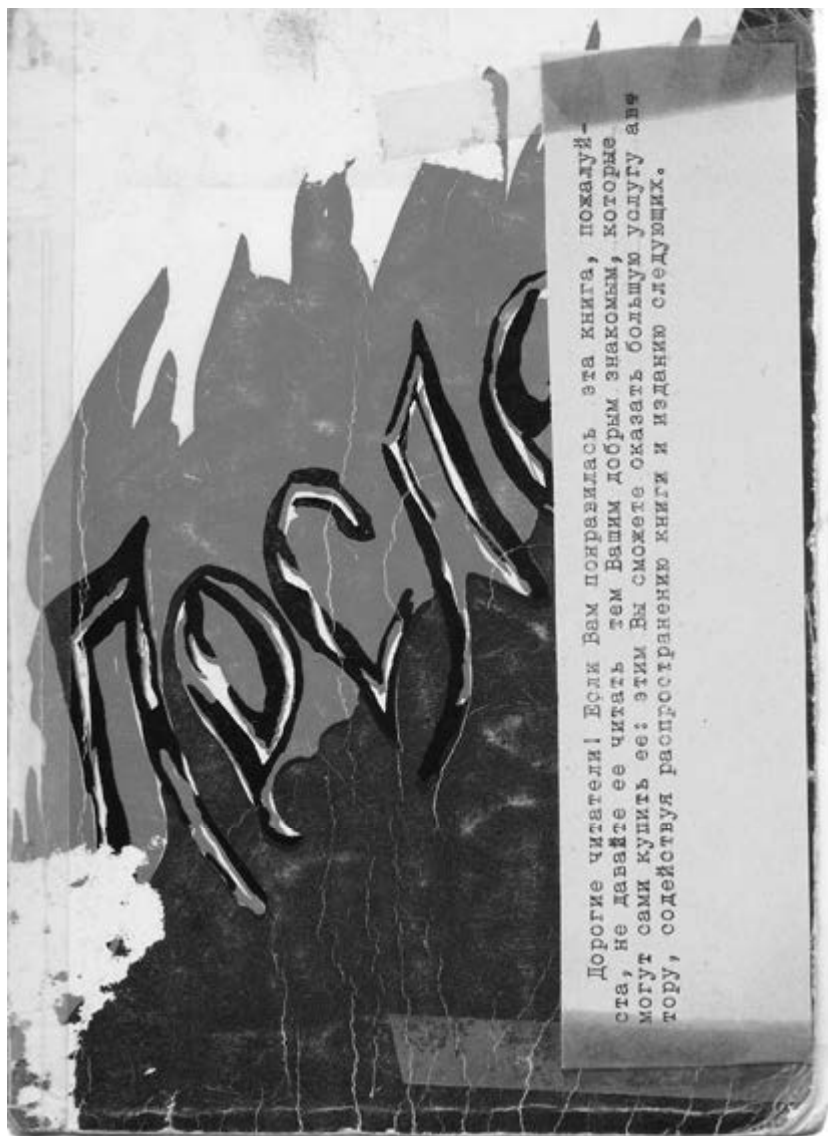
В эпилоге романа героиня в одиночестве отмечает Рождество в Германии. Ей является маленький гномик, выполняющий ее святочное желание: звонит в колокола и возвращает ее в Ригу. «Бимм... бамм... бомм... Колокола совсем близко, взмахивают гулками боками, ударяют над головой, в грудь Джан, удар за ударом. Гудит вечная песнь земли и неба, звенит, дрожит, поет, и ветер поет, раскачивая башни – над морем, рекой, над Старым городом, уходящими кораблями. Идет снег, мягкий, неслышимый, ласковый, кружащийся и скользящий, как воспоминание... Бимм!.. сверкающе взмывает радость. Бамм!.. кованая победа счастливой песни. Бомм!.. благословенье – всем...».

Критика разошлась в оценке художественной убедительности сюжета романа и – особенно – пьесы, созданной героиней. Но все признали, что описание русской Риги и ее жителей – великолепны: яркие и убедительны, несмотря на то, что далеко не все соответствует историческим реалиям. Со страниц романа встает как сама Сабурова, так ее муж Александр Перфильев, выведенный под именем журналиста и поэта Бориса Александровича Бя-Тугановского. Под именем «Нездолин» фигурирует видный русский режиссер Константин Незлобин, основатель «Студии Народного театра» в Риге; полковник дядя Кир – Кирилл Константинович Кузнецов, представитель семейства, создавшего знаменитый «Кузнецовский фарфор»; Охотьев – это общественный деятель и культуртрегер Николай Иванович Антипов – представитель рижской купеческой династии.

В 1956 году вышли в свет ее книга о балерине Анне Павловой «Бессмертный лебедь» и сборник стихов «Разговор молча».

Перу И. Сабуровой принадлежит фантастическая утопическая повесть «После...» (1961) и сборники рассказов и сказок («Копилка времени», 1958 и «Счастливое зеркало», 1966).

Владевшая английским и французским языками, Сабурова с 1953 года и до выхода на пенсию работала переводчицей на радиостанции «Свобода», регулярно сотрудничала с главной газетой русской эмиграции «Новое русское слово» (Нью-Йорк). С 1976 года и до самой смерти была секретарем редакции христианского журнала «Голос зарубежья» (Мюнхен).



Обложка романа-антиутопии «После» с наклеенной на нее характерной запиской, свидетельствующей о почти бедственном положении И. Сабуровой и писателей второй эмиграции

К числу литературных заслуг И. Сабуровой относится собранное и изданное ею «Литературное наследие А.М. Перфильева» и его избранные «Стихи» (обе книги – в 1976).

Ее собственные стихи, с одной стороны, еще более грустные, чем проза; с другой – основными мотивами перекликаются с романом и рассказами писательницы.

По-прежнему первостепенной ценностью для писательницы остается дом. «Дом, говорила Сабурова в одном из рассказов сборника “Счастливое зеркало”, – это чувство, это свойство, стремление утвердить себя, оглянуться – услышать тишину, согреть – и свое, и чужое сердце. И при бездомности может быть дом, если есть чувство дома...». Однако в стихах, написанных в первые годы жизни в Германии, это чувство потеряно: «Интересно, но – мир чужой». «На карте – есть маленький город. / А у меня – ничего». И еще драматичнее: «Какою бы дорогой все равно / Мне ни идти – я не дойду до дому».

Воистину трагично найденное поэтессой определение: «одиночество на людях», когда «в хрупкие года» «в холодном западном ветре» потеряны и родина, и любимый, и даже солнце становится ненужным».

Это состояние превалирует в первой части сборника «Разговор молча» – «Под знаком Водолея». Если принять во внимание, что И. Сабурова родилась в марте, т. е. не под Знаком Водолея, то объяснение этому названию, скорее всего, лежит в том, что Водолей по преданию покровительствует России, потерянной лирической героиней.

Однако в двух других частях сборника («Разговор молча» и – особенно – «Зеленый мир») настроение автора переходит из трагического в элегическое, свойственное роману и сказкам писательницы.

Жила. Любила. Тосковала. Пела.  
И строила. И корабли, и дом, –

пишет Сабурова.

Да, я люблю. И жизнь, и смерть, и сон.  
И я рассказываю сказки людям.

И еще:

Сказки одни живут.  
Остальное – совсем не значит.

А в цикле «Туманные кануны» поэтесса возвращается к любимой теме счастливого Рождества:

Важно, чтоб петь мечтам,  
Что Рождество – у порога!

Мемуаристы, писавшие об авторе «Королевства Алых Башен», неизменно вспоминали о последнем увлечении И. Сабуровой: ее садике и огорожке при небольшом доме, построенном писательницей едва ли не своими руками. Тема сада и – шире – леса, цветов, растений неизменно звучит в поздних стихах поэтессы. Черемуха, рябина, ива, татарник, колокольчики, каштаны – вот далеко не полный перечень упоминаемых и возвеличенных поэтессой растений. Даже такие неблагозвучные названия, как кровохлебка и коровяк обретают поэтический контекст. В частности, вместо коровяка Сабурова пользуется народным названием этого цветка: «королевские свечи». Природа («зеленый шум») в художественном мире И. Сабуровой – воплощение гармонии:

Лес не подобен остальным друзьям:  
Он все дает и ничего не просит.

Более того, природа – пример восприятия смерти: «чтоб уходить от земли / Радостно и счастливо!».

## Сочинения

Дама трэф. – Мюнхен, 1946<sup>1</sup>.

Королевство Алых Башен. – Б.м.: Б.и., 1947

Die Stadt der verlorenen Schiffe. – Мюнхен, 1950.

Бессмертный лебедь: Посвящается Анне Павловой: К 25-летию со дня ее смерти, 1931–1956 – Нью-Йорк: Нива, 1956.

<sup>1</sup> Сборник указывается во всех воспоминаниях И. Сабуровой, но недоступен, т. к. отсутствует в библиотеках Германии, Великобритании, США и России.

- Разговор молча. – Мюнхен, 1956  
 Копилка времени. – Мюнхен, 1958.  
 После... – Мюнхен, 1961  
 Корабли старого города. Роман из жизни русской Балтики. 1924–1944. – Мюнхен, 1963  
 Счастливое зеркало. – Мюнхен, 1966.  
 О нас. – Мюнхен, 1972  
 Королевство Алых Башен. – Мюнхен, 1976.  
**Корабли старого города.** – Рига, 2005.  
**Королевство Алых Башен.** –М.: Гудьял – Пресс, 2000.

## Публикации

- Вара // *Грани*. 1953. № 19.  
 Д.И. Кленовский. – Гол. зар., 1977. № 4.  
 Дама треф // *Возр*. 1956. № 59.  
 Казачья невеста // *Лит. совр*. 1954.  
 Ласточка // *Возр*. 1951. № 13.  
 Мистер эль Смит // *Совр*. 1970. № 20 / 21.  
 Нелюдь, иначе унтерменши // *Возр*. 1960. № 104.  
 Один из четырнадцати // *Голос народа*. № 23 (73). 8 июня.  
 Одна остановка // *Лит. совр*. 1952. № 4.  
 Перечитывая книгу... Голос народа // *Гол. зар*. 1979. № 14.  
 Профессор истории. Отрывок из романа *Корабли Старого Города* // *Лит. совр*. 1952. № 3.  
 Стихи // *Встречи*. 1979.  
 «Так сразу мне показывает кто-то...» // *Возр*. 1957. № 68.

## ДИ-ПИЛОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА

«А»– *Ауслендер* – Представитель чрезвычайно многочисленного племени, наводнившего Германию в период начала нашей эры. Говорили ауслендеры с туземцами, а иногда и между собой на особом наречии, состоявшем главным образом из двух слов: «никс» и «гут». При помощи этих слов и жестов они упразднили всю грамматику, а письменности у них вообще не существовало. Наиболее характерные черты племени ауслендеров: 1) небритый, лохматый, растеря-

ный и голодный вид; 2) полное безразличие к господствовавшему тогда в Европе понятию «ферботен». Там, где каждый порядочный немец уже остановился в священном трепете перед «ферботен», ауслендер только начинал разворачиваться; 3) к числу лучших нравственных качеств ауслендеров относится их поразительное единодушие в борьбе с внешним врагом, который назывался «немец»; 4) все ауслендеры стремились вернуться на родину. Для того, чтобы УНРРе стало понятно, почему ауслендеры хотели, но не могли, а Дипи могут, но не хотят, будущим историкам придется написать немало томов. Пока это непонятно никому, кроме Дипи. 5) В отличие от других завоевателей Европы ауслендеры ничего не приобрели, но зато теряли постепенно все: дом, родину, близких, вещи и документы. Движимое имущество заключалось в чемодане, а недвижимое в жене, детях и престарелых родителях. 6) Немцы дружно презирали ауслендеров и без различия пола и возраста шли на них единым фронтом под лозунгом «ферботен». Но ауслендеры не сдавались. К концу войны их засилье в Германии было настолько велико, что в центре Берлина, на Александер-платц было очень трудно найти берлинца германского происхождения.

На *Александрплатц* – было второе отделение берлинской префектуры для иностранцев. Однако, конец войны оказался губительным для этого племени. Через несколько недель после перемирия ауслендеры исчезли, переродившись в ДИПИ.

«Б» большое – *бомба*. Человеческое изобретение, сводящее на нет не только все остальные, но и самого изобретателя. Бомбы бывают разные, но наибольшим успехом пользуются атомные. Не потому, что они сделаны из атомов – это еще можно было бы стерпеть, а потому, что начинают разрушение именно с них.

«б» маленькое – *бауер*. Безымянный обитатель городских окраинностей и владелец большинства земных благ. «Ходить до знакомого бауера» – чрезвычайно распространенное, хотя и весьма среднее развлечение многих Дипи.

«В» – *война*. Что такое – известно всем, а особенно нам, потому что для нас она далеко не кончилась. Даже наоборот – приходится сражаться на нескольких фронтах.

Есть еще одно «в» – а именно: выдача. Выдаваемые же предметы могут быть неодушевленными, как например паяк в лагерях, и одушевленными – как их обитатели. Выдача первых – радует. Выдача вторых...

«Г» – *грызня*. Грызня – главное занятие Дипи во всех лагерях. Похвальное единодушие предков-ауслендеров совершенно утрачено, и понятно, почему: ауслендерам если и было что грызть, то только сухие корки, а дипи что? Американские бисквиты? Вот и грызут друг друга.

«Д» – *Дипи*, потомки ауслендеров. Делятся на две неравные части: одна живет в лагерях, другая «на привате». Говорят на языке предков, но не затрудняются вставлять слова из других языков, заботясь только о красочности, но отнюдь не о грамотности речи. Среди Дипи встречаются иногда совершенно одичавшие экземпляры. Общий вид – жутковатый. Основные занятия этого племени: 1) ожидание; 2) регистрация, перерегистрация и переперегистрация; 3) изыскание самого верного способа, как бы полегче приобрести побольше самых разнообразных предметов и поскорее от них избавиться... 4) слухи. Главным образом, зловещие. 5) разъезды. По всем известным причинам каждому Дипи непременно надо куда то «смотреться», и он мотается, не щадя сил.

В науку Дипи внесли новое понятие: «Дипилогика», но остальными народами она усваивается с трудом. Вообще же у остального мира отношение к Дипи, такое же, как у воспитанного человека к блохе: присутствие неприятно, а избавиться неприлично.

«Е» – *ехать*. Некуда. Пока что...

«Ж» – *жизнь*. Предмет, о котором заботятся, пока его имеют, в отличие от денег. Жизни у Дипи нет.

«З» – *занятия*. Занимают друг у друга небольшие суммы в долг без отдачи. В современном масштабе занимаются целые страны, и тоже не отдаются. Чей это долг – неизвестно.

«И» – *Иван*. Нарцательное имя большинства ауслендеров в Германии.

«К» – большое: *куда? когда? как?* Пишутся книги и создаются комиссии, подкомиссии и сверхкомиссии. Дипи остаются пока на месте.

«к» маленькое – *культура*. Когда-то писалась с большой буквы. «Свежо предание, но верится с трудом!»

«Л» – *липа*. Мягкое дерево, прекрасно поддающееся обработке вручную (иногда и пишущей машинкой). При современной технике идет на изготовление разносортной бумаги.

«Ммммм» – обычно отвечает Дипи на вопрос комиссии, кто он такой. «Я, собственно говоря, югослав, но родился в Литве, проживал до 1938 года в Румынии, а по национальности и религии – штатенос, польский подданный. Из иностранных языков, кроме русского, разумею украинский». Но комиссия обычно мало вразумляется.

«Н» большое – *нет документов*. Никаких. Одна из наиболее характерных особенностей племени Дипи.

«н» маленькое – «*никс ферштеен*». Лаконическая формула для объяснения туземцам, если те удивляются, почему Дипи ездят без билетов, шагают через рельсы, ловят в чужом пруде рыбу и так далее.

«О» – *отец*. Отец народов – Джо Сталин. У отца обычно бывают дети. Иногда слишком много. Отцы и дети, как утверждал Тургенев, часто не ладят между собой. Согласимся с Тургеневым.

«П» большое – *переселение*. Улитка допотопных размеров, про которую сложили пословицу: улита едет, когда-то будет.

«п» маленькое – *парадокс*, или приспособившийся Дипи.

«Р» – *родина*. Над утратой ее пролито немало горьких слез. Но дипилогическое объявление о потере гласит так: «Потеряна горячо любимая родина. Умоляем не возвращать».

«С» большое – *сигареты*. Имеют хождение наравне с довольно крупной разменной монетой.

«с» маленькое – *слухи*. Распространяются с быстротой света.

«с» еще одно – *самогон*. Несмотря на то, что одни занимаются его изготовлением, а другие – уничтожением, особых разногласий между партиями не существует. Имеет большое культурное значение, так как служит платформой объединения – иногда единственной.

«Т» – *трепология*. Второе философское понятие, введенное в науку племенем Дипи. Требуется особого склада ума. «А я и забыл, как прошлый раз трепался,» – говорит один Дипи другому, но продолжает трепаться дальше.

«У» – УНРРа, конечно. Краткое описание займет хороший том в тысячу страниц. Вначале УНРРа была создана для Дипи, но потом оказалось, что Дипи фактически нет, ибо никто не знает, кто есть кто, и теперь УНРРа создает Дипи по собственному усмотрению. Но это – пятна на солнце, ибо существование УНРРы вообще – небывалый еще в истории мира факт, перед которым остается только снять шляпу, что вообще следует делать почаще. Из-за недостатка места придется отказаться от описания в тысячу страниц, предоставив его историкам. Но один разговор мамы с дочкой, подслушанный в лагере, следует привести: «И вот саранча уничтожила все их посева – говорится в Библии, – и реки вышли из берегов и затопили все, и земля тряслась и расступалась, и с неба сыпался град и горящий дождь, и когда все это кончилось, то во всей стране наступил страшный голод, и у людей не осталось ничего больше, и тогда»... «Я знаю дальше, мамочка! Тогда Боженька послал на них УНРРу!» «О-кей» – отвечает мама.

«Ф» – *фантазия*. Фантазия разбита действительностью по всему фронту, перешла в отступление и ударилась в бегство под дружным натиском рассказов Дипи о своих приключениях.

«Х» – *хамоватость* – Болезнь века. Страдают ею, за немногими исключениями, почти все – не Дипи – тоже. Заболевание вызывается самыми разнообразными причинами, но принимает сразу же хроническую форму. Врачи утешают, что через одно-два поколения вырабатывается иммунитет, или окончательно охамеют все – то есть, болезнь перейдет в нормальное состояние.

«Ц» – большое – *цивилизованность*. Предмет первой необходимости для многих. Несмотря на то, что цивилизованность стоит очень дешево, она приобретается с чрезвычайным трудом. Грустный, но вполне дипилогический факт.

«ц» маленькое – *цены*. Бывают двухзначные, трехзначные и выше. Однозначные не считаются вообще. По необъяснимой загадке природы, именно для Дипи цены не являются препятствием. Нашли чем испугать!

«Ч» – *чуб*. Непременное украшение, своего рода форма, чтобы уже на расстоянии двух километров стало ясно, что идет не какойнибудь подстриженный, вымытый европеец, а настоящий, лохматый и чубатый Дипи. Знай наших! Своих узнаем.

«Ш» большое – О, *Штатенлос*! «Как много в этом слове для сердца русского слилось!» После сказанного Александром Сергеевичем Пушкиным прибавить чтонибудь трудно.

«ш» маленькое – *шляпа*. Иногда бывает большая, в особенности если это один из ваших друзей. Вообще – предмет, плотно приклеенный к голове многих Дипи. Не снимать шляпы во всех случаях, когда это полагается – одна из характерных особенностей этого племени.

«Щ» – *щука*, живущая в море специально для того, чтобы карась не дремал. Не спи, Дипи!

«Э» – *эмиграция*. Доисторическая бабушка Дипи. Бывает старая и новая. Вопреки всем законам природы, новая непременно хочет стать старой, притом сразу. Иногда удается. Это стремление, хотя и объясняется с дипилогической точки зрения, но все таки непонятно. Старая эмиграция, появившись на свет преждевременно, не застала еще УНРРы, в лагерях не жила, а если, то старалась удрать оттуда (с Галлиполи, например!), переселялась самосильно, не взирая на границы и протесты, всячески старалась найти работу, и очень редко ее получала, а «достать все» было в то время незнакомым понятием. Словом, полная противоположность Дипи. Тем не менее, старая эмиграция прошла, иногда буквально, огонь и воду, попала в трубу, а пройдя и медные трубы, вылезла из них и превратилась в Дипи.

Ряд волшебных превращений милого лица, или старая присказка на новый лад к сказке про белого бычка. Попадаются иногда не только бычки, но и зубры, питающиеся, за неимением даже зубровки, одними воспоминаниями. Эмигранты, научившиеся чему-нибудь, считают, что эмиграция сама по себе вещь настолько тяжелая, что ее не стоило бы ухудшать делением на старую и новую, пусть уж будет одна, хотя и разная. Но новая эмиграция считает, что ее учить нечему – пустая голова легче, а то придется в багаж сдавать. Но ничего. Стерпится – слюбится.»

«**Б**» – «*ых ныкс дойч*»! Комментарии излишни!

«**Ю**» – *юмор висельника*. Что же еще остается бедным Дипи, связанным между небом и землей?

«**Я**» – *я*? Перемещенная личность. По русски, конечно – Дипи.

\* \* \*

Милый друг,  
Видишь, как сужается круг?

И не спросишь: «А помнишь то-то»  
И не скажут: «А мы с тобой...»  
Так же слушают – готтентота.  
Интересно, но – мир чужой.

И всегда так было со всеми,  
И, конечно, как смерть – не ново.  
Где ж найти мне такое слово,  
Чтобы в нем не звучало время?

Дай мне руку, призрачный друг.  
Видишь – наш сужается круг.

\* \* \*

Вот теперь я вхожу в свой дом.  
(Так приходит позднее счастье).

День сегодняшний, настоящий.  
Может завтрашний – за окном  
Он не первый – последний дом

Только прошлого нету в нем.

За порогом цветы и листья.  
На пороге – тихие мысли.  
Тишина, как редкое счастье...  
День сегодняшний, настоящий,  
Или завтрашний – за окном.  
Он не первый – последний дом.

Только песни не будет в нем.

\* \* \*

Столько лиц. Людей. И разных судеб.  
Близки и печально далеки.  
В этом одиночестве на людях  
Смертное проклятие тоски.

Слишком много стало сумасшедших  
И сердец из битого стекла.  
Хочется любить простые вещи,  
Как кусочек близкого тепла.

Смертью больше или меньше.  
Только. Днем – забудут. И не вспомнят – в ночь.  
Если человеку очень горько,  
Значит – некому ему помочь.

\* \* \*

Был у меня когда – то дом,  
Который я любила  
И я не только горе в нем,  
А радость находила.

И многим–близким и чужим  
В нем сердце согревала.  
А где огонь – бывает дым  
Что ж – всякое бывало.

Был у меня когда-то дом,  
Любимый был когда-то...  
Холодный ветер за окном  
Примчался от заката.

Холодный ветер душу рвет  
И воет, воет, воет...  
Так в этот сорок пятый год  
Меня землей покроет.

На картах – смерть в краю чужом  
В год этот – сорок пятый...

Прибейте надпись над крестом:

«Был у нее когда-то дом;  
Любимый был – когда-то...»

\* \* \*

Есть мой портрет. Подарен и лежит,  
Подписанный сияющей весной  
Любимому. И если он хранит,  
Как бережно хранится дорогое,

То, посмотрев, пошлет он мне привет,  
Как будто в дни, когда мы вместе были...  
Но если сохранился мой портрет,  
То вот меня – совсем не сохранили.

\* \* \*

Я люблю рябину до сих пор.  
Девочкой ее еще любила.

В сарафане влезши на забор,  
Из нее себе я бусы шила.

И потом бывало столько дней,  
Осенью, любимой и желанной,  
Когда сердце пело вместе с ней,  
Озорной, хмельною, киноварной.

И теперь рванулась к ней, любя,  
Но – своей рябины не узнала.  
Как такую горькую – тебя  
Я веселой раньше называла?

\* \* \*

Нам сказки даны за обиды,  
Чтобы их спрятать суметь.  
Глаза даны, чтобы видеть,  
А сердце – чтобы болеть.

Можно ли счастье разрушить,  
Чтоб песню о нем пропеть?  
Нам уши даны, чтобы слушать,  
А сердце – чтоб умереть.

\* \* \*

*Другу Федору*

Люблю заботливый шопот дождя,  
И радостно мне при мысли,  
Что где то вздыхает под ним земля,  
И в чьем то саду – листья.

А если я вижу, как мокнет народ,  
Особенно – мотоциклисты,  
Я думаю: вот он домой придет,  
Где будет светло и чисто.

И если затянуто все кругом,  
И даже в июле – серо.  
Я думаю: как хорош был бы дом,  
Свой, и особенно белый.

Чтоб этих же капель по крыше стук,  
И в сердце – воспоминанье...  
И сад мой, мой сад...  
Дорогой мой друг,  
Я знаю, что жизнь – заколдованный круг,  
Но как же – без ожиданья?!

\* \* \*

Какую хорошую смерть  
Посылает Господь растениям!  
Киноварь, золото, медь  
В их последнем гореньи.

Если бы мы могли  
К старости стать красивой,  
Чтоб уходить от земли  
Радостно и счастливо!

# СВЕН

(Кублицкий)

## Виктор Борисович

(1897–1971) – прозаик, очеркист.

Родился в Охонове (Охоне Новгородской обл.). По окончании гимназии, во время Первой мировой войны ушёл добровольцем на фронт. В 1919–20 г.г. был в Добровольческой армии, затем в концлагере, откуда был мобилизован в Красную армию. С 1923 года – разъездной корреспондент, очеркист; с 1925 – корреспондент ТАСС.

В войну 1941–45 оказался на оккупированной территории, переехал в Германию. По окончании войны работал на «Радио Свобода» (Мюнхен).

В 1950–е годы обрел статус эмигранта.

Первые очерки и рассказы были напечатаны в 1915 году в «Смоленском вестнике».

Свен – мастер рассказа. Ему прекрасно удалось портреты двух смешных малышей, собравшихся на Северный полюс («Бунт на корабле»). Ярко с элементом мистического показана судьба инвалида (мальчика, потом юноши), верного долгу братства, героически спасшего побратима и ушедшего из жизни в море («Исайка»).

Пришвинская традиция родственного внимания к природе пронизывает «Охотничьи рассказы» писателя («Ласточка», «Воробушки», «Беркут», «Пеночка»). Правда, в отличие от гармоничного Пришвина Свен многие свои наблюдения завершает драматическими финалами: человеческие войны губят ласточек, скворцов.

Автор нескольких миниатюр: Юрка, Иуда, Мишка, Сон

Менее удаются Свену большие формы, в частности, роман «Моль» (1968), действие которого происходит с 1917 по 1934 год. В центре романа «тяжелый, извилистый и грешный путь» чекиста Леонида Николаевич Решкова, В 1905 году восьмилетний бродяжка Ленька, случайный сын портовой девки, был усыновлен садовником полковника Мовицкого. Выучился на деньги полковника, введшего Леньку в свою семью. Юноша даже влюбился в дочь Мовицкого

Ирину. А затем убил своего благодетеля. Я, признается в порыве откровения Решков, «всех ненавидел... И княгиню Долгорукову, и Петрашевского, и Льва Толстого... Я ненавидел: всю летопись России, потому что для меня места в этой летописи не было. Ненавидел еще и потому, что на всех, когда-то живших, был похож полковник Мовицкий, а я...».

На протяжении всего романа Решков чувствует, что творит неправое дело, в чем он регулярно исповедуется бывшему писателю ныне корректору в типографии Владимиру Борисовичу Кулибину. «Во всем повинны мы – Решковы, – сознает в минуты раскаяния герой романа. – Мы – Решковы – создали и Ленина, и Сталина, и Дзержинского. Без нас, без Решковых, они – нуль. Но этот нуль нужен нам, Решковым, как символ нашей власти над всем чужим, над чужой совестью, над чужой жизнью. ... Наша власть держится на нашей боязни свободы и на нашей зависти к этой свободе. Из боязни свободы и из зависти к этой свободе – родилась наша жестокость. Да, из зависти тоже». «Человек нуждается в тесном общении с другими людьми только тогда, когда возникает необходимость, ...исключительная, историческая. Когда надо защищать свою землю от врага или когда нужно свергнуть своего деспота. В другое остальное время – человеку нужна *отчужденность от коллектива*. Без этого нет человека, нет личности со своим собственным миром, наполненным своими собственными мыслями, раздумьями, своими горестями и печальями», – говорит один из персонажей романа.

Решков принимает определение, данное ему и всей репрессивной системе прозревшим бывшим чекистом Суходоловым: *моль*. «Моль неприметно, постепенно губит всё. Вплоть до жизни растения. Моль стремится существовать только для себя, плодиться дальше и по партийно-наследственным законам воспроизводить подобное себе. С разговорами, что это и есть настоящее счастье. Для вас всех. Для ваших потомков». Однако у Леонида Николаевича не хватает ни сил измениться, ни мужества покончить с собой и своим одиночеством. В финале Решков провоцирует Суходолова, чтобы тот его убил.

Роман перебивается многочисленными отступлениями о персонажах, сохранивших высокую человеческую мораль или сумевших отречься от коммунистических идеалов. Ряд вставных новелл, рассказывает о подлецах и садистах.

Наряду с объективизированными персонажами, во многом близкими героям Достоевского, чье имя многократно встречается в романе, Свен вводит в повествование Автора и его Собеседника, ведущих то взаимодополняющие, то полемические беседы. Одна из главных, хотя и весьма спорных, мыслей собеседников в том, что «считать Октябрь русским нельзя. Октябрь – дело чужих рук. Дело цивилизации. Ленин, Дзержинский, Сталин (это только отдельные имена) быстро поняли, что разбежавшуюся Россию можно вернуть под знамена Октября силой, чуждой России». Другая часть разговоров Автора и Собеседника посвящена доказательствам, что попытка воспитать «нового» человека обречена на провал. Для этого писатель использует цитаты из статей «Правды», «Известий», «Труда» «Литературной газеты», далеко выходящие за временные пределы романного сюжета и показывающие, что и через 50 лет после Октября 17-го года страна далека от коммунизма, построение которого обещал XXII съезд КПСС.

Роман написан неровно: наряду с выразительными сценами, превосходно написанными характерами персонажей, встречается много повторов, теоретических рассуждений, повторяющих известные мысли Достоевского, Замятина, публицистов XX века.

В. Свен печатался в разных русских зарубежных изданиях: «Гранях», «Возрождении», «Новом журнале» и др.

## Сочинения

Рувим, сын Давидов. (Германия) 1947

Чей друг и чей враг Михаил Зощенко? – Мюнхен: ЦОПЭ, 1958.

Цена жизни. – Мюнхен, 1960

Бунт на корабле. – Мюнхен, 1961

Уже пора. – Мюнхен, 1966

Моль. – Мюнхен, 1968

## Публикации

Бунт на корабле // *Грани*. 1954. № 23.

Волк // *НЖ*. 1964. № 76.

Душа человека // *Возр*. 1952. № 22.

Каламбай // *Грани*. 1953. № 19.

Канал пяти морей // *Грани*. 1952. № 15.

Певчая печка // *Грани*. 1952. № 14.

Пришвинское // *Грани*. 1953. № 17.

Селигер: (Очерки обыкновенных дней) // *Грани*. 1954. № 21.

Семен Осипович // *Возр.* 1967. №№ 189–192.

Серка // *Грани*. 1954. № 22.

## Литературная критика

Любовь к людям // *Грани*. 1955. № 25. – Рец. на кн.: Седых А. Только о людях. – Нью-Йорк. 1955.



## ЛАСТОЧКИ

С ними я очень коротко знаком. Я наблюдал их жизнь совсем близко, много-много лет подряд. Знакомство это началось в крохотном именъице моей мамы. Такие именъица у нас назывались «фольварками».

Уже с детства я привык к тому, что с самых первых весенних дней в одной раме кухни выставляли верхнее стекло, «шибку», как говорили у нас. И после этого я часто забегал в кухню и с любопытством спрашивал:

– Нету?

– Нету, нету, ради Бога, не мешайтесь тут... Скажу...

Иногда приходила на кухню мама, садилась на широкую скамью и обращалась к старенькой, крохотной поварихе:

– А что, Магда, нету еще?

– Нету, пани Юстя, нету... Вот-вот должны быть...

Я стоял у дверей и слушал, как говорила мама с Магдой, старенькой поварихой, о том, что вот уже скоро прилетят ласточки.

В какой-то день старушка Магда прибежала и взволнованно, как бы боясь кого-то потревожить, шептала:

– Пани Юстя... тут...

Мама, Магда и я осторожно спускались в кухню, тихонько открывали дверь и видели: на проволоке, невдалеке от печки, сидели две ласточки. Они сидели молча, и видно было, как они устали. По-

том они начинали чуть слышно щебетать о чем-то своем, крутили головками и игрушечно-блестящими глазками поглядывали в уголок, проверяя, свободно ли там место, где у них столько лет подряд было гнездо.

Отдохнув, ласточки улетали. И пропадали несколько дней. Но нас это не тревожило. Мы знали, что таков ласточкин порядок. Сделав нечто вроде заявки, сказав хозяевам, что, дескать, мы уже здесь, не беспокойтесь, все в порядке, они несколько дней носились в весеннем воздухе, делились новостями со знакомыми и родственниками и в какой-то свой день вновь впархивали в кухню и без разговоров принимались мастерить гнездо. Не для себя, для своих детей.

У меня было много времени для наблюдений. Я часами сидел и смотрел на птичьи хлопоты. Я видел, как быстро растет земляной домик-шкатулка. Наконец, в одно утро я обнаруживал, что из отверстия шкатулочки выглядывает темная, остренькая головка, и тогда бежал наверх, к маме.

Мама спускалась в кухню и говорила:

– Села, голубушка. Ну, с Богом...

А ему-то, хозяину шкатулки, сколько было хлопот. Она в гнезде спокойненько сидит; он мелькает сквозь щибку вынутую взад и вперед, все носит ей мошек. Иногда он втискивается в домик, и она вылетает погулять. Ему нравилось там сидеть, но она скоро возвращалась и сердито что-то говорила ему. Он делал вид, что не слышит и даже головку прятал, просил оставить его в покое. Тогда она цеплялась своими ножками-проволочками за край гнезда и происходило недоразумение: она его щипала, дергала, иногда даже перышки вылетали оттуда. Но все же право было на ее стороне: он скоро вылетал, садился на проволоку, приглаживал взъерошенные, потрепанные перышки, щебетал и исчезал с тем, чтобы как ни в чем не бывало вернуться с мошками. И она его встречала ласково, охотно забывая маленький семейный разлад...

Шли дни и недели. И наступало время, когда мама и Магда стояли у гнезда и слушали легкое попискивание в глиняном теремке.

После этого наступала самая тяжелая пора для родителей пяти птенцов. Теперь и он и она беспрерывно мелькали сквозь окно, и их все время встречали широко открытые, еще желтенькие клювы птенцов. Кормежка шла с утра до сумерек. Беспрерывно.

В какой-то книге я прочитал, что в такое время каждый птенец получает ежедневно несколько сот мошек. И тогда я понял: сколько мускульной силы должны были израсходовать эти две жившие у нас ласточки, чтобы выкормить своих пятерых птенцов.

Все завершалось обычно: в какой-то день на ободок летка вылезал уже оперившийся птенец. Он долго сидел, как бы к чему-то приглядываясь и что-то расценивая. Потом опять на некоторое время скрывался в гнездо и вновь вылезал и... беспомощно трепыхая крылышками, перелетал громадное для него расстояние кухни и неуклюже примазывался на переплет оконной рамы. Отдыхал. Вновь приглядывался и... исчезал в саду. Но он не пропадал там: за всеми его попытками следили родители, подбадривали, поощряли мошками и, увлекая все дальше и дальше, ни на мгновение не оставляли его без присмотра.

Такой же путь совершали и остальные. Не сразу. А друг за дружкой, через какой-то промежуток времени, как будто они созревали и набирались сил поочереди. И почему-то, я это наблюдал много раз, больше всего возни было с последним птенцом.

Потом, когда мазанка становилась пустой и сразу какой-то неуютной и холодной, мама приходила на кухню и с грустью говорила: – Вот видишь, Магда, опять никого, ушли все...

Магда почему-то крестилась и отвечала:

– Ах, пани-паничка, от веку так заведено... Богом так установлено...

И Магда придвигала табуретку к углу кухни и, подставив ведро, разрушала совсем недавно такое веселое и оживленное ласточкино гнездо.

– Магда, чего ты спешишь... Погоди.

– Чего годить-то, пани Юстя, все уже. Теперь до весны новой ждать будем.

И я, и мама, и Магда – все мы знали: как только последний птенец покидал гнездо, не вернется семейка – сюда. Теперь над ними голубое небо, удивительно удобный воздух, который так легко и радостно ощущается их нежными крылышками. Ласточки скользят, ныряют, купаются в этом воздухе, иногда стремительно бросаются вниз и играя трогают грудкой воду тихого озера.

Так они будут жить этим воздухом до тех пор, пока не наступит пора уходить от холода и снега нашей зимы. Уходить куда-то очень далеко, по только им самим известным дорогам.

\* \* \*

В один сентябрьский тихий вечер я вышел с мамой на веранду. Где-то вддали, чуть-чуть слышно что-то вздрагивало и сердито ворчало. Казалось, титаны возились с каменными глыбами, поднимали их и бросали оземь, и опять поднимали и вновь бросали.

Мама крестилась. Мне уже было восемнадцать лет, я уже готовился идти добровольцем, и даже наметил себе: «16 Уланский полк», и потому считал себя почти военным и важно говорил:

– Бесперывная канонада девятидюймовых батарей при благоприятной погоде может быть слышна за сто двадцать верст...

И я представлял себе этот фронт, отдаленный от нашего фольварка на какие-то сто двадцать верст. Я как бы видел эту полосу земли. Полоса эта была узкой, длина ее была почти в 3000 верст и вся она дрожала от равнодушно-настойчивого, непрекращающегося грохота огненных взрывов.

А утром вошла Магда и сказала:

– Пани-паничка, не к добру это: видишь, сколько ласточек собралось и чего-то ждут...

С крылечка мы увидели тучи ласточек: они сидели на телефонных проводах, на земле, на крышах домов.

Так они сидели и день, и два, сидели много дней, и холод приближался, а они все оставались около нас, около соседних деревень; иногда они поднимались в воздух, но очень скоро возвращались назад.

– Знамение с неба, – говорила Магда, старушка.

– Худо... ко злу это... – пророчил столетний Аким. – Худо... это есть знак от Бога... Вот уж век я прожил, а никогда не видел, чтобы ласточки в такое время у нас держались...

Не война, не близость фронта, не сам фронт, а вот эти тучи ласточек не уйдут из моей памяти. В этом скоплении белогрудых птичек было нечто ужасное, апокалиптическое. Они, эти ласточки, оставили во мне страшный знак об осени 1915 года.

И вдруг ударили морозы. Всюду, куда только можно было проникнуть, забирались эти веселые, любимые народом ласточки. У нас не было комнаты, в которой бы их не было полно. На чердаках они жались к теплым дымоходам. В крестьянских конюшнях и сараях искали они спасения. И не думали улетать.

– Идет Божье наказание, – говорили старики.

На промерзших, уже гулких дорогах лежали замерзшие, удивительно-покорные в своей смерти, ласточки. Дети бегали, собирали холодные, безжизненные, с распростертыми крылышками трупики и хоронили их. Матери детей мрачно, в предчувствии горя, смотрели на эти птичьи могилки и уголками платков вытирали слезы.

Потом опустело все: ласточки вымерзли.

Почему совершилось это страшное и непонятное самоубийство холодом миллионов ласточек? Потому, что их воздушный путь неожиданно перерезала огненная линия фронта.

Каждая ласточка совершает свой раз навсегда установленный путь. Ласточки центральной России летят на юг через Украину и Одессу и дальше – через море; ласточки западных губерний – через Германию, на Италию и потом – через море. И вот эти низколетающие ласточки натолкнулись на непонятную, огнем взрывающуюся линию фронта и остановились в ужасе; и этот ужас оказался сильнее инстинкта...

У нас на фольварке жило около сотни ласточек. Мы им сыпали крупу, клали хлеб, творог... Господи, чего мы только не предлагали им! Они пробовали это клевать... и умирали ежедневно десятками. Им недоставало мошек и солнца. Ничто другое не могло их спасти.

Наконец наступил день уже полной зимы, когда у нас продолжала жить только одна-единственная ласточка. Мы открывали ее клювик, клали туда крошки хлеба и заставляли ее глотать. Я лазил по амбарам, по чердакам и искал сухих, уснувших мух. Я приносил их, разогревал, даже размачивал их в теплой воде и пытался подбодрить одинокую умирающую ласточку. Я подносил эту размоченную муху к самому глазу ласточки, но она тоскливо смотрела и как будто бы уже ничего не понимала или не хотела больше жить.

К нам часто приходил в дом столетний Аким. Он с непонятной настойчивостью интересовался судьбой этой ласточки.

Акиму я давно растолковал, почему такое приключилось с нашими ласточками. Он все это отлично понял. И насчет девятидюймовых пушек, и орудий Канэ, и о пулеметах и минах.

Когда под Рождество он опять зашел к нам, я держал в руках последнюю, уже мертвую, ласточку.

Аким сурово сказал:

– Дай сюда... Погоди, всяк человек ответит за все, и за пушки, и за пулеметы... За все ответит человек, и вот за нее ответит, – грозно сказал старик, и в мутных глазах его была мудрость пророка.

*Франкфурт-Майн, 1950*

## ПЕНОЧКА

Такое было место любимое, у деревни Бобры. Справа задумчивой стеной начинается древний лес, впереди громадный луг, чуть влево – кустарники. И над всем этим до блеска чистое сентябрьское небо, по которому медленно двигаются, бродят, лениво пасутся белые ба-  
рашки облаков.

Все это нужное для меня, очень интересное. На это смотрю я, и живыми кажутся покрытые охрой или киноварью листья осенних деревьев, среди золота и крови которых кой-где мелькнет изумительной яркости нетронутая зелень. Запутавшись в этой мозаике, глаз ждет, а что же будет дальше, чем закончится это торжество природы.

Тишиной и покоем закончится, думаю. Почему же так красива природа перед сном, почему все такое яркое вокруг меня? Ведь скоро белым холодом оденется все и придет всему конец?

Понимаю, шепчу я, понимаю, почему расцветают леса своей последней, настоящей красотой. У них была своя жизнь, свои труды и заботы весной и летом. Теперь... и я затаиваюсь, умолкаю, слушаю. Что такое звуком чуть тронутой нежной струны шевельнуло воздух? Ах, вот она, совсем рядом со мной, малютка-птичка, пеночка присела на кустике. Самой себе что-то пропела. Потом кувыркнулась в воздухе, проглотила мошку и вернулась на тоненькую веточку. Веточка даже не вздрогнула. Потом блестящими глазками сверкнула туда-сюда, сорвалась и низко над землей заторопилась к следующим кустам.

Но я не уйду. Я лесной житель и знаю многое, о чем и в книжках не прочитаешь. Я жду. Вот опять зазвенело что-то: прилетела другая пеночка. Посидела, и тем же самым струнным звоном что-то долго и взволнованно рассказывала. А потом заторопилась к кустам,

вон туда. Я вынимаю компас и просто, так себе, смотрю: на юг держат пеночки.

В такие осенние дни я выхожу к полесской деревне Бобры и наблюдаю за пеночками, за малютками птичками. Я видел, как выстраиваются станицы готовящихся к отлету аистов и каждый раз поражался: они сами себе выбирают сильных и мудрых вожаков, около которых потом так уверенно сбиваются тысячи.

А вот пеночка – одиночка, великий индивидуалист, если пытаться объяснить все человеческими словами. В этой малютке, в этой пеночке собранный в комок инстинкт, концентрат уверенности только в себе. Пеночка не нуждается ни в чьей поддержке. Пришла осень, наступил срок, она сама, одиночкой, летит на юг. Сама для себя поет и сама отдыхает. От опушки к опушке, от кустов к кустам направляется она, настойчиво и уверенно двигаясь туда, к югу. По полету непотревоженной пеночки можно проверять компас...

Обо всем этом я рассказал гостившему у нас городскому человеку, профессору, который изумлял меня знанием тайн звездного неба. Этот человек был астроном. Он много лет из Пулковской обсерватории наблюдал за движением миров.

– Ну, вы меня поразили, – сказал он. – Покажите мне пеночку...

Мы несколько раз ходили к деревне Бобры, и он сам видел все это.

– Да, знаете, – вздыхал профессор, – это как в сказке...

А потом ему пришло время уезжать.

– Сведите меня еще раз к Бобрам, – попросил он. – Хочу попрощаться с удивительными маленькими мудрецами...

И мы пошли. Все утро, почти весь день мы стояли у кустов. Пеночек не было. Ни одной. Над нами проносились табуны уток. Недавние белые барашки облаков выросли, покрылись серой шерстью, сбились в отары и отарами сновали по небу, как бы не зная, где дождем сойти на землю.

– Нету, – вздохнул профессор. – Пеночек нет... Где же ваши пеночки?

Я посмотрел на лес. Увидев листья, до предела налитые золотом и кровью, я понял все. И ответил:

– Сегодня вечером или ночью начнут падать листья... К такому дню пеночки заканчивают свой перелет...

– Хм... – недоверчиво усмехнулся астроном. – Я понимаю точность, закономерную точность движения светил, я знаю, в какую секунду какой минуты какого часа будет затмение луны... Но тут... пеночки...

На рассвете я бужу профессора. Тороплю:

– Пойдем к лесу... Попрощаемся с сентябрем... Ведь сегодня поезд унесет вас к вашим трубам с диковинным оптическим оборудованием, к законам мироздания, которые вас никогда не обманывают...

Мы шли и говорили о том, что ночью было холодно: роса слезой висела на блеклой траве.

Еще не доходя до лесу, мы увидели на земле пестрый ковер листьев.

Ветра совсем не было, но отдельные листья, казалось, с болью отрывались от веток. Падали вниз они – медленно и обреченно.

– Мудрые пеночки... – тихо оказал человек привыкший следить за движением звезд...

*Мюнхен, 1956*

## ЮРКА

Ночь ушла. С рассветом в город ворвались красные знамена, цокот подков, крики и выстрелы.

Потом появились новые вывески. И угрожающие расстрелом приказы о явке белых на регистрацию. Город наполнился тревогой и слезами.

И все-таки жизнь заставляла что-то делать, пусть даже ненужное и совсем бесцельное. Потому и Иван Михайлович направился к дому, окруженному часовыми. Его встретили сурово и подозрительно.

– Белогвардеец?

– Нет, инженер...

– Чего надо?

– Видите ли, в ту ночь, когда отступали белые...

– Давай покороче!

– Когда белые отступали, к нам на веранду подбросили ребенка... Мальчика, Юрочку... Так вот...

– А тебе что?.. Подбросили и ладно... Тебе-то какой интерес?

– Видите ли, товарищ начальник, ребенка-то ведь ко мне подбросили...

Начальнику надоело возиться. Он крикнул в соседнюю комнату:

– Эй, Михальчук! Разберись...

Вскочил Михальчук и расторопно осведомился:

– Посадить? В восьмую к контрам?

– Нет... пока не надо... тут вроде частное...

У Михальчука сразу стало скучным лицо, он зевнул и поманил пальцем:

– Слышь, ты... идем...

\* \* \*

Михальчук был страшно энергичен и деятелен. Когда Иван Михайлович рассказал о подкидыше, он долго думал и примерял, как бы так все это оформить, чтобы получилось настоящее дело.

Он допрашивал Ивана Михайловича. Все ответы тщательно и медленно записывал. Профессия? Инженер. Образование? Политехнический институт.

– Погоди... Как?

– Политехнический институт...

Михальчук с недоверчивой пристальностью посмотрел в глаза Ивана Михайловича:

– Скажи на-милость! Чудно... А ну-ка скажи еще раз...

– По-ли-тех-ни-чес-кий...

– Н-да... А не врешь?

– Помилуйте... Дайте я напишу...

– Ишь ты, ловкач! Так я тебе и доверю! Выходит, значит, грамотный?

– Ммм... да, грамотный...

– И подписаться можешь?

– Сумею...

– Ладно, черт с тобой! Так и запишем: «Читать-писать знает»...

Долго еще продолжался допрос. Когда все уже было закончено, Михальчук кликнул парня с винтовкой и приказал:

– Я к начальнику смотаюсь, а ты тут посмотри за этим, пока-рауль!

Парень сдвинул с глаз буденовку и спросил:

– Сидючи чи стояючи?

– Пусть сидит...

\* \* \*

Михальчук вернулся не скоро. Войдя в комнату, он отпустил караульщика и благодушно сказал:

– Выкрутился, сукин сын... Пока не велено садить... А только приказано, чтоб каждый день был, на регистрации...

– Кто?

– Кто? Кто? Кого там тебе подкинули?

– Да он еще сосунок!

– Сосунок? Хм... Да мне все равно: ходи сам!

– Каждый день?

– А ты что ж думал: на Новый год!

\* \* \*

Утром Иван Михайлович взял на руки Юрочку и, напутствуемый Юлией Борисовной, пошел регистрироваться, а заодно и хлопотать об усыновлении ребенка.

Начало было удачное: в регистрации отказали. А насчет усыновления дело опять дошло до начальника.

– Эх, и назойливый же ты, ну, прямо-таки сказать, вредный гражданин... Мы тут устанавливаем советскую власть, белых ловим, да и с бандитизмом тоже... Какое тебе усыновление? погоди, вот как укрепим советскую власть, тогда и разберемся: кого к стенке, кого в детдом или еще куда...

– Да я не хочу сдавать, я хочу сыном его признать... у себя навсегда оставить...

– Вона что! А знаешь, оставляй, черт с тобой... погоди, да ведь дите кормить надо?

– Конечно...

– Ну и бери!

– Так дайте бумажку...

– Какую такую?

– Что вы разрешаете мне взять подкидыша...

– Для чего тебе такая?

– А это жена говорит, чтобы юридически было оформлено.

– Оно конечно... раз советская власть... Михальчук!

Опять вкатился Михальчук и подозрительно оглядел Ивана Михайловича:

– Ага! Теперь садить?

Начальник объяснил, в чем дело. Михальчук слегка растерялся, но потом самоуверенно сказал:

– Юридически? Отчего же, это можно... А потом посадить?

– Да нет... ты только оформи и пускай себе катится колбасой...

\* \* \*

От Михальчука Иван Михайлович вышел, имея такую бумажку без подписи, но с печатью:

«Гражданину ..... допускается принять вроде как бы сына подкинутого мальчонку бесфамильного Юрку и кормить его в полной справности до призыва в славную рабоче-крестьянскую армию».

\* \* \*

С таким документом вошел Юрка в семью Юлии Борисовны...

1948

# СИНКЕВИЧ

## Валентина Алексеевна

*(род. 1926) – поэт, эссеист,  
критик и издатель.*

Родилась в Киеве, выросла в городе Остер на границе России, куда ее родители уехали, чтобы избежать репрессий (отец – сын священника, мать – дочь генерала царской армии). Одно из ее лучших стихотворений посвящено «Городу детства Остру».

В 1942 году была принудительно отправлена на работы в Германию. Работала сначала на фермера. Когда обнаружилось, что в поле она в силу своей слабости работать не может, была отправлена в лагерь, откуда ее забирали на поденную работу по уборке бюргерских квартир.

Во время наступления советских войск переехала с семьей русских эмигрантов первой волны сначала в Килль, затем во Френсбург. В конечном счете Синкевич оказалась в Гамбурге в лагере беженцев Zoo Camp вместе с Юрием Иваском и семьей Марченко (будущие прозаик В. Нароков и поэт Н. Моршен). В лагере шла интенсивная культурная жизнь. В частности, там Синкевич познакомилась с творчеством М. Цветаевой.

В 1950 году вместе с мужем и родившейся в Германии дочерью переселилась в США. Десять лет Синкевич занималась физической работой пока после полета Ю. Гагарина в библиотеку Пенсильванского университета (Филадельфия) не понадобился сотрудник с хорошим знанием русского языка. И там она проработала почти 30 лет до выхода на пенсию.

В 1977 году стала членом редколлегии создававшегося тогда ежегодного альманаха поэзии и живописи «Перекрестки». Кроме нее, в редколлегию вошли поэты И. Буркин, И. Легкая, художники С. Голлербах и В. Шаталов и историк Б. Пушкарев. Было издано 6 номеров. После продолжительных дискуссий о содержании альманаха (Синкевич выступала против засилья авангардистских экспериментов) в 1983 году альманах сменил название на «Встречи». Издавался,



*В. Синкевич у портрета Гоголя, созданного поэтом и художником В. Шаталовым и прославленного в одном из последних стихотворений И. Елагина*

редактировался и рассылался В. Синкевич по многим крупным библиотекам мира. О том, какую роль альманах сыграл в литературной жизни поэтессы написала в стихотворении «Юбилейное», посвященном 30 выпуску. В 2007 году издание прекратилось на 31 номере, главным образом по финансовым соображениям. Но трудно переоценить его роль для объединения русских литераторов, живущих за рубежом, и для истории литературы русской эмиграции. Во «Встречах» публиковались почти все поэты послевоенной эмиграции и многие из еще здравствовавших поэтов послеоктябрьской эмиграции. А с 90-х годов в издании печатались стихи поэтов из России.

Синкевич живет в Филадельфии.

Стихи она пишет с детства. В годы оstarбайтерства стихи не складывались. Первый сборник стихов «Огни» (1973) был доброжелательно встречен рецензентами – известными поэтами первой волны эмиграции И. Одоевцевой и Ю. Терапиано. Всего В. Синкевич принадлежат 7 поэтических сборников, в том числе 2 изданных на родине.

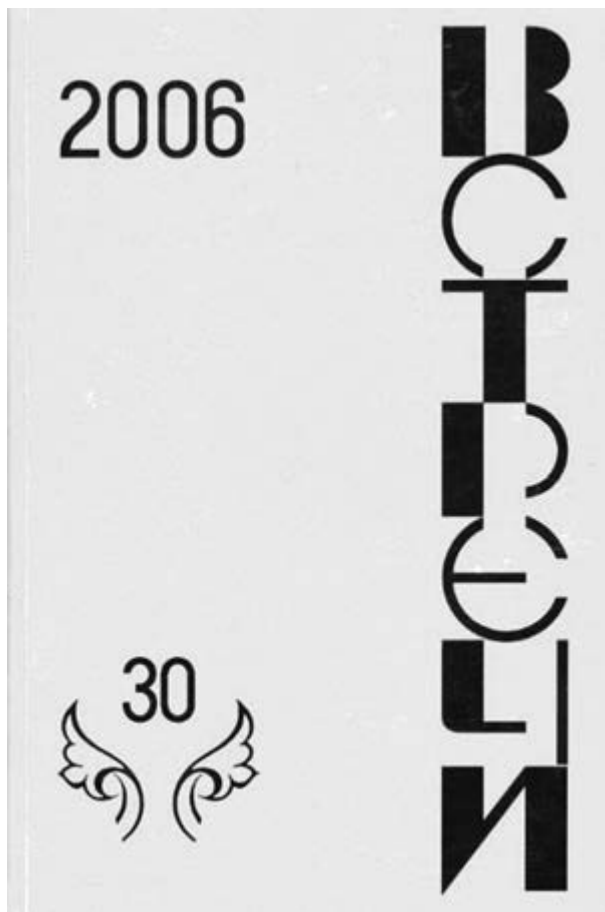
В своем поэтическом творчестве В. Синкевич проделала путь из одиночества (среди поэтических образов ее первой книги туман, медленно плывущая река, «топкая гладь души», «души бетонная гладь», «задохнувшаяся улица», и лишь телефон связывает лирическую героиню с людьми) к приятию мира и утверждению, что нельзя жить, «не заметив узорчатость платья / мотыльков, и зверей и деревьев, / Всеи земли нашей крепкое братство: / шерсть, и листья, и травы, и перья – / золотое наше богатство!» («Прохожему»). Если в ранних стихах поэтессы звучал «плач по зверю», то в позднем своем творчестве она утверждает возможность «сплава зверей с людьми».

Всему живому В. Синкевич противопоставляет цивилизацию городов-мегаполисов («Город – каменным бременем...»), «Я брожу по нью-йоркским улицам», «А я боюсь Нью-Йорка»).

В поздней поэзии Синкевич преобладают оптимистические ноты. «Нам заказано н`е быть / Нам – быть!» – пишет она в стихотворении «Быть». Исторический взгляд на XX столетие выражен в стихотворении «Пора принять нам свой жребий...»: по мнению автора, мы живем «на этой красивой и страшной земле», и единственный выход из ужаса бытия к торжеству жизни – творчество:

Тоска? Что бывает нелепей!

Не лучше ль покорно поплыть



*Альманах поэтов и художников «Встречи», издаваемый В. Синкевич, выходил с 1983 года по 2007 год и был основным для многих. В нем печатались Л. Алексеева, О. Анстей, И. Буркин, И. Елагин, Ю. Иваск, О. Ильинский, Н. Моршен, Б. Нарциссов, Б. Филиппов, В. Шаталов и др. поэты Ди-Пи и послевоенной эмиграции. За 30 лет существования альманаха в нем были опубликованы стихи более трехсот русских поэтов всех трех эмиграций из Америки и России, из Японии и Бельгии, из Германии и Финляндии и репродукции работ пятидесяти художников, живописцев, графиков, дизайнеров, также живущих в разных странах.*

к единственной видимой цели –  
к перу и к бумаге в столе.  
Когда-то нас вспомнят: мы пели...

Вера в Слово придает лирической героине Синкевич пушкинскую умиротворенность в трагическом XX столетии:

...нас чужим давило бытом,  
сбивало с речи, и с пути, и с ног.  
Но карта – нет, еще не бита,  
и Слово не покинуло порог

пустого, старенького дома –  
он обречен уже на слом.  
Но мы стоим, как будто нету слома, –  
во всем отчаяньи своем!  
*(Вокруг чужая речь, своя ли...)*

Сквозные образы ранней поэзии Синкевич – костер, звезда и книги (поэзия). Именно они придают ее стихам суровый оптимизм и глубину: «Пусть горит огонь костра и камина. / И страна, и земля эта уже не чужбина... / Только время бежит, очень быстро бежит время. / И горит огонь...» («Огонь»).

Поздние стихи Синкевич пронизывает чувство сопричастности поэта ко всему происходящему («Может в этом есть нечто странное...»). В первую очередь к России («Стихи о России»). А затем и к остальному миру тоже. Ее волнуют и войны на Ближнем и Дальнем Востоке, и Африка, и трагические события 11 сентября. «В себя открываю я двери» образно скажет В. Синкевич о своей способности чувствовать духовное родство с американскими поэтами и прозаиками. Позднее это чувство родства воплотится в цикле эссе «Мои встречи», где она рассказывает русским читателям об американской культуре, и в лекциях о русской литературе, которые уже много лет читает американцам в таком необычном учебном заведении как мэйнлайновская Школа для людей разных возрастов и профессий.

В серии эссе, вошедших в книгу, озаглавленную строчкой из четверостишия Жуковского «...с благодарностию: были» писательница создала живые портреты А. Седых, И. Елагина Б. Филиппова и мно-

гих других, с кем ее сводила судьба. А во второй части книги рассказала о путешествиях по местам жизни американских писателей.

В.А. Синкевич наделена талантом критика-литературоведа. В изданной ею вместе с В. Шаталовым антологии поэзии второй эмиграции «Берега» (1992) отобраны наиболее характерные для 40 поэтов стихи (о чем она рассказала в стихотворении «Много дней сию я над книгами...»). В соавторстве с В.П. Крейдом и Д.В. Бобышевым Синкевич составила «Словарь поэтов Русского зарубежья» (1999), где ей принадлежат статьи о поэтах послевоенной эмиграции.

Сегодня В.А. Синкевич – член редколлегии «Нового журнала», преподаватель русской литературы, активный участник различных поэтических вечеров, проходящих по многим городам Америке. В честь ее семидесятилетия вышел сборник «Литературный витраж» (1996), включивший многие статьи и стихи ее друзей – прозаиков, поэтов и литературоведов.

## Сочинения

Огни. – Нью-Йорк: Rausen Publishers. – 1973

Наступление дня (сб. стихов на русск. и англ. языках). –

Филадельфия: Перекрестки. -1978

Цветенье трав. – Филадельфия: Энкауентерс. – 1985

Здесь я живу. – Филадельфия. – 1988

Избранное. – Остер / Филадельфия: Энкауентерс. – 1992

**Поэтессы русского зарубежья: Л. Алексеева, О. Анстей, В. Синкевич.** – М., 1998.

**Словарь поэтов русского Зарубежья (совм. с Дмитрием Бобышевым и Вадимом Крейдом).** – СПб. Русский Христианский гуманитарный институт, 1999

**На этой красивой и страшной земле.** – М., 2004.

**«...с благодарностью: были».** – М., 2002.

**Мои встречи: Русская литература Америки.** – Владивосток: Рубеж, 2010.

## Публикации

Автор «Песни о Гайавате» Генри Логфелло // *Грани*. 1998. № 189

Автор приключенческий романов Джеймс Фенимор Купер // *Грани*. 1998. № 185

Авторы «Нового журнала» – Ольга Анстей, Николай Моршен, Иван Елагин // Творчество диаспоры и «Новый журнал» / Редакторы: М. Адамович и В. Крейд – Н.Й., 2003

- Александр Перфильев. Песня жизни // *НЖ*. 2009. № 256.
- Алексеева Лидия Алексеевна. Анстей Ольга Николаевна. Елагин Иван Венедиктович. Ильинский Олег Павлович. Ржевский Леонид Денисович (биографические очерки) // *Русские в Америке. Волны русской эмиграции в США / Сост.-ред. М. Адамович. – Н.Й., 2011.*
- Алексис Раннит. Сухое сияние // *НЖ*. 2012. № 268.
- Венедиктович. Ильинский Олег Павлович. Ржевский Леонид Денисович (биографические очерки). Синкевич Валентина Алексеевна: От Остра до Филадельфии (автобиографический очерк) // *Русские в Америке. Волны русской эмиграции в США / Сост.-ред. Адамович М. – Н.Й., 2011*
- Американский классик Вашингтон Ирвинг // *Грани*. 1998. № 186
- Американский «познавательный досуг» // Рубеж**. 2011
- Валерий Перелешин // *Встречи*. 1993
- Вторая волна русской эмиграции // *НЖ*. 2012 № 267.
- «Вы повстречаете меня, читатели-наследники...»: к 90-летию Ивана Елагина, 1918–1987 // *НЖ*. 2008. № 252.
- Вячеслав Завалишин // *Побережье*, 1997 № 7.
- Вячеслав Завалишин (1915–1995) // *Посев*. 1997. № 1
- Даниил Соложев (1908–1994) // *Встречи*. 1995
- Два неопубликованных письма Ильи Репина // *Грани*. – 1990. № 155.
- Джордж Клайн и его Иосиф Бродский // *НЖ*. 2009 № 255.
- Евгений Евтушенко // *Связь вр.*, 2011 № 3.
- «Если об этом медленно вспоминать» (стихи) // Октябрь**. – 1990. № 3
- Замечательный индивидуалист (К 70-летию Виктора Урина) // *НЖ*. 1998 № 213.
- Иван Елагин и русские художники Америки // *НЖ*. 2010. № 260.
- Игорь Михалевич-Каплан // *Связь вр*. 2011. № 3.
- Из лирической тетради // *Вр. и мы*, 1976. № 5.
- Ираида Легкая // *НЖ*. 2003 № 230.
- Ираида Легкая // Судьбы поколения 1920–1930-х годов в эмиграции: очерки и воспоминания / Ред.-сост. Людмила Оболенская-Флам. – М., 2006**
- Ирина Евгеньевна Сабурова (послесловие) // Ирина Сабурова. Королевство Алых Башен / Сост. О. Кольцова. – М., 2000**
- Ирина Сабурова // *Грани*. – 1991. № 160.
- К 85-летию Бориса Филиппова // *НЖ*. – 1990 № 180.
- К двадцатилетию со дня смерти Ивана Елагина // *Встречи*, 2007 № 31
- К 90-летию со дня рождения Лидии Алексеевой // *Встречи*, 1999. № 23.
- К столетию со дня рождения Бориса Поплавского // *Встречи*, 2003 № 27.
- Леонид Ржевский – писатель и человек (предисловие) // Ржевский, Л. Между двух звезд: роман, повести, рассказы / Редакторы Агеносов В., Штейнбах Е. – М., 2000**
- Луиза Мэй Алькотт // *Грани*. 1998. № 187.
- Марина Гарбер и ее лирика (предисловие) // Гарбер, Марина. Между тобой и морем. – Н.Й., 2008

- Мир Джека Лондона // *Грани*. 1999. № 192.
- «Мрачный писатель» Натаниэл Готорн // *Грани*. 1999. № 190
- «Мы не писали мемуаров»: история и уроки второй волны эмигрантов** // *Ex Libris НГ*. – М. 1999
- «Наследие Чингисхана» (К столетию со дня рождения Н.С. Трубецкого) // *НЖ*. 1995 № 196.
- «Нет в мире ничего обыкновенней» (о последних днях Ивана Елагина)** // *Новый мир*. – 1990. № 3
- Николай Моршен // *Встречи*, 2002 № 26.
- «Ночной дилижанс» (послесловие) // Чайковская, Ирина. *Ночной дилижанс*. Бостон, 2013. Олег Павлович Ильинский // *Записки Русской Академической Группы в США*. Т. XXXIV. – Н.Й., 2006–2007
- Ольга Анстей. 1912–1985 (к 100-летию со дня рождения) // *НЖ*. 2012. № 267.
- Опыт краткой автобиографии // Судьбы поколения 1920–1930-х годов...** / Ред.-сост. Людмила Оболенская-Флам. – М., 2006
- От Остра до Филадельфии (автобиографический очерк) // *НЖ*. 2011. № 264.
- От Ясной поляны до станции Астапово. Кто виноват? // *НЖ*. 2010. № 261.
- Памяти Александра Казанцева // *Встречи*, 2007 № 31.
- Памяти Евдокии Ольшанской // *Встречи*, 2004 № 28.
- Памяти Олега Ильинского // *НЖ*. 2003 № 233.
- Памяти поэта: на смерть Бориса Анатольевича Нарциссова // Нарциссов, Борис. *Письмо самому себе*. – Н.Й., 1983
- Памяти Эммануила Штейна // *НЖ*. 1999 № 217.
- «Пилатов грех» Леонида Ржевского // *НЖ*. 1993 №№ 190–191.
- Племянница Анны Ахматовой** // *Звезда*. 2001 № 9.
- Племянница Анны Ахматовой // Лидия Алексеева. Горькое счастье** / Ред. В. Резвых. – М., 2007
- Последние дни и последние книги Ивана Елагина // *Canadian American Slavic Studies*, Vol. 27, nos. 1–4. – Salt Lake City (Utah), 1993
- Поэзия российского зарубежья // *НЖ*. 1999 № 216.
- «Поэт белой мечты» – Иван Савин // *Записки Русской Академической Группы США*. Т. XXVI. – Н.Й., 1994
- Поэт Олег Ильинский // *Русск. Возр*. 1990 № 50.
- Поэт-романтик Эдгар Аллан По // *Грани*. 1998. № 188
- Поэт своего поколения (о Лидии Алексеевой) // *НЖ*. 2010. № 259
- Прогулки по русской Ницце // Побережье**. 1997 № 6.
- Пути-дороги Андрея Седых // Зарубежная Россия – 1917–1939. Сборник статей** / Ред. В.Ю. Черняев. – СПб, 2000.
- Самая русская поэтесса Зарубежья Ольга Анстей // *НЖ*. 2001 № 225.
- Самый разносторонний литератор Зарубежья Борис Филиппов // *НЖ*. 2002 № 226.
- Светлой памяти Агнии Ржевской // *Грани*. 1998. № 186
- Сергей Бонгарт и его поэзия: к двадцатилетию со дня смерти // *НЖ*. 2005. № 241.

- Стихи // Берега: Стихи поэтов второй эмиграции / Сост. В. Синкевич, В. Шата-  
лов. – Филадельфия, 1992.
- Стихи // Библейские мотивы в русской лирике XX века / Сост. Каплан Ю. –  
Киев, 2005.
- Стихи // «Вернуться в Россию – стихами» / Сост. В. Крейд. – М., 1995.
- Стихи // Встречи. 1983–2007
- Стихи // Горячева Юлия. Новая Россия – Соотечественники зарубежья. –  
М., 2012.
- Стихи // Дальние берега: Антология поэзии русского Зарубежья / Сост.  
В. Кудрявцев. – Смоленск, 2006.
- Стихи // Киев. Русская поэзия – XX век. / Сост. Ю. Каплан. – Киев, 2004.
- Стихи // Конт. 1999. № 102.
- Стихи // Конт. 2004. № 119.
- Стихи // Лазурь. 1990. № 2.
- Стихи // «Мы жили тогда на планете другой» / Сост. Е. Витковский Т. 4. – М.,  
1997.
- Стихи // НЖ. 1978. № 132.
- Стихи // НЖ. 1996 №№ 198–199.
- Стихи // НЖ. 2007 №№ 246, 248, 249
- Стихи // Образ Гумилева / Сост. В. Крейд. – М., 2004
- Стихи // Перекрестки. 1976–1982
- Стихи // Побережье: 2006
- Стихи // Русская зарубежная поэзия на страницах альманаха «Встречи».  
Гордиенко Т. Нансеновские чтения. – СПб, 2009
- Стихи // Русская поэзия – XX век. Сост. Р. Смирнов, С. Федякин и др. – М.,  
1999.
- Стихи // Связь вр. 2009–2011 №№ 1–3.
- Стихи // Сто година лубави: антологѝја лубовне лирике руских песникиња. –  
Белград.
- Стихи // Стрфы века / Сост. Е. Евтушенко – М., 1995.
- Стихи // Украина. Русская поэзия – XX век / Сост. Ю. Каплан. – Киев. 2007.
- Стихи // Юрьев день. 2004 № 4.
- Стихи // Горячева Юлия. Новая Россия. 2012
- Стихи // Russische Lyrik im 20 Jahrhundert. / Сост. и переводчик Kay Borowsky. –  
Tuebingen, 1991.
- Стихи // Russian Poetry in Exile (1917–1975). (на русском и английском языках). /  
Редактор и переводчик Дубровина Е. – Idillwild (CA), 2013
- Тихая муза (о Лидии Алексеевой) // Грани. 1991. № 159.
- Три юбилея (предисловие) // Три юбилея Андрея Седых / Ред. Л. Ржевский. –  
Н.Й., 1982
- Тэффи // Встречи. 2001. № 25.
- Уолт Уитмен (1819–1892) – первый национальный поэт Америки // Грани. 1997.  
№ 184.
- Уроженец Владивостока Иван Елагин // Рубеж. 2004. № 8.

**Отзывы о книгах**

- Акварели (рецензия на сб. стихов Алины Литинской) // *НЖ*. 2005. № 240.
- Антология «Ковчег» // *НЖ*. 1992. № 188.
- Библейские мотивы в русской лирике XX века. Антология, (рецензия) // *НЖ*. 2006. № 243.
- «Воспоминание о сталинской России и Второй мировой войне» (Рецензия на книгу – Nina Markovna. «Nina's Journey. A memoir of Stalin's Russia...») // *Грани*. 1990. № 158.
- Встречный экспресс (рецензия на сб. стихов Виталия Рахмана) // *НЖ*. 2008. № 250.
- «Дом дождя» (рецензия на сб. стихов Марины Гарбер) // *НЖ*. 1995. № 200.
- «Земле живых» (рецензия на сб. стихов Татьяны Царьковой) // *НЖ*. 2000. № 223.
- Избранное (рецензия на книгу Ирины Одоевцевой) // *НЖ*. 1998. № 214
- Киев. Русская поэзия. XX век. Ред. Юрий Каплан (рецензия) // *НЖ*. 2005. № 240.
- Лунная радуга (рецензия на сб. стихов Татьяны Царьковой) // *НЖ*. 2011. № 263.
- «Маятник» (рецензия на сб. стихов Марины Кравцовой) // *НЖ*. 2002. № 227.
- «Низкое небо» (рецензия на сб. стихов Павла Бабича) // *НЖ*. 1996. №№ 203–204.
- Николай Тuroверов. Стихи (рецензия) // *НЖ*. 1996. № 203–204.
- Новое издание «Энциклопедического словаря русской литературы» Вольфганга Казака (рецензия) // *НЖ*. 1993. №№ 192–193.
- «Отраженные дни. Избранное» (рецензия на книгу Игоря Михалевича-Каплана). *НЖ*. 1999. № 216.
- Певучая ноша (рецензия на сб. стихов Дмитрия Кленовского) // *НЖ*. 2006. № 244.
- «Петербургский период Георгия Иванова» (рецензия на книгу Вадима Крейда) // *Грани*. 1990. № 157
- Письма запрещенных людей. Литература и жизнь эмиграции (рецензия на книгу составителя Ольги Кузнецовой) // *НЖ*. 2005. № 241.
- Повесть о дружбе (рецензия на книгу Татьяны Фесенко «46 лет дружбы с Иваном Елагиным») // *Грани*. 1992. № 165
- Посмертная книга Леонида Ржевского (рецензия на книгу лит. статей Л. Ржевского «К вершинам творческого слова») // *Грани*. 1991. № 159
- «Природы званый гость» (о стихах Вадима Крейда) // *Побережье*. 1996. № 4.
- Старый муж (рецензия на книгу рассказов Ирины Чайковской) // *НЖ*. 2011. № 262.
- A Moongate in the Wall (рецензия на книгу избранных стихотв. Марии Визи) // *НЖ*. 2006. № 243.

**ПЛАЧ ПО ЗВЕРЮ**

Ночь наступает рано.  
Но может быть еще быть  
запахам дня...  
Где-то несется ветер  
и лай по травам,  
юный ветер и лай  
по весенним травам,  
не защищающим жизнь.

Ты уходишь туда,  
где воздух непонятого  
звука и запаха, –  
будто спрятанный день.  
Ты уходишь к другому огню –  
туда, где нет моего голоса,  
туда, где нет человека  
и нету зверя,  
а есть тишина,  
в которую ты веришь,  
вечная тишина,  
в которую веришь.  
Ты убегаешь туда.  
Я закрываю глаза,  
боясь высоты твоего бега.

Огромный земной хлеб  
моей нежности,  
кормивший тебя на земле  
горит.  
И пепел стелется по травам.  
Ты там, где меня нет.  
И дом засыпает один,  
смутно помня  
запах бега, травы и листьев,  
запах земли, и солнца, и тени,  
запах времен года,

и запах твоего имени.  
Я называю его.  
Но ты не слышишь меня.

## **В НОРВИЧСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ**

(шт. Вермонт)

Я пишу отсюда письма длинные, странные.  
Много дней телефон мой молчит,  
будто улетела в заморские страны я,  
где лишь сосны и ступеней тяжелый гранит.

Телефон мой молчит. Но перо ворожит над бумагою,  
шорох каждый вбирая и вздох.  
Шлю приветы я городу с каменной влагою  
и жарой, с неизменною рифмой на – ох!

Я играю вслепую здесь со студентами,  
говорю: велик непонятный им русский язык.  
И деревья блистают зелеными лентами,  
и срываются птицы со щebetанья на крик.

Всё здесь: книги, столы, и лампы настольные  
не похожи на мой домотканый уют.  
Не моя Пенсильвания, не моя Калифорния,  
а зеленые горы, что прямо из окон растут.

И великий отшельник – меж изгнанием и славой –  
знаю, путь свой тяжелый не здесь завершит,  
где береза могучая с головою кудрявою  
по-английски о чем-то мне шелестит.

## **ЮБИЛЕЙНОЕ**

Вот еще один выпуск журнала.  
Он живет, говорит, увлекается, – вот  
отплывает снова куда-то с причала,  
задыхается, падает в обморок, но живет.

Я же пью за любую его страницу:  
здесь Игорь, Марина, и даже Сибирь.  
В каждой строчке летают знакомые птицы –  
если не соловей, то воробушек или снегирь.

Всё поет. Все поют. У каждого голос:  
кто щебечет, кто заливается – иль  
этот зреющий, солнечный колос  
утверждает свой хлебный, хвалебнейший стиль.

Замолчат ли когда-нибудь эти страницы?  
Нет, не смолкнут, коль даже уйду.  
У порога какой-нибудь дальней столицы, станицы  
всё равно их услышат. Найдут!

## **СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕЧЕР**

В полуподвале – полутемно,  
в нем полусмотрят кино,  
полудумают вслух,  
полуобитает в нем дух  
из мира совсем иного –  
дух моего Толстого.

В полутемном углу  
сидят на полу,  
в дыму иль в бреду папирос  
один за другим вопрос  
обсуждают вполголоса...  
Полусветом окутаны волосы,  
и Толстой полу-  
сопротивляется злу.

## **УРАГАН НАД ФИЛАДЕЛЬФИЕЙ**

Мой город спал, не ведая беды,  
привык он к пригоршням воды,

а вот лавина вод обрушилась на город.  
Под ветром падали мосты,  
автомобили плыли, в лодки превратясь,  
срывались крыши, и кричали рты  
о том, что рвется с миром связь.  
И о спасеньи не было и звука.  
Прощался с жизнью сбившийся с пути,  
до дальнего спокойного рассвета  
ему, в потоке вод, не добрести,  
сквозь ливень не доплыть до *этого* до света,  
лишь *тот* маячит впереди.

Деревья в почву зыбкую впились,  
кричат друг другу; – удержишь!  
Не падай, листья на землю обрушив,  
они под солнцем зеленью узорных кружев  
давали тень уставшим от жары камням.  
Держитесь! Падать, но не нам,  
живым деревьям города большого.  
Корней своих мы знаем Слово.  
Мы жить хотим! Не надо горя! Стой!  
Пусть ураган промчится стороной  
с деревьями зелеными не споря.

И на рассвете он ушел.

## ИЗ СТИХОВ О РОССИИ

\* \* \*

Твои поезда идут в разные направления  
будней, праздников, сердца, ума и души,  
но если опаздывают из дальнего твоего селения –  
ты не забудь про письма, пиши.

Вот ромашка цветет у тебя полевая,  
и другое солнце встает, когда просыпаешься ты,  
и другие дожди идут, твои луга поливая,  
оберегая от зимней, опустошающей немоты.

И грачи уже прилетели в грустные твои рощицы,  
опадают росы на листья и на траву.

Сколько раз я беру заморские свои ножницы,  
вырезаю картинки из памяти, комкаю их и рву.

И всё равно жду тебя из дальнего твоего селения,  
и письма твои, как драгоценности берегу,  
подбегаю к вокзалу, не сумев унять сердцебиение,  
иностранные свои строчки бормоча на бегу.

\* \* \*

Умно так пишут и красиво,  
что нет России, где Россия,  
а есть... Толкуют мне –  
в который раз о стороне,  
где родилась я, выросла и пела,  
где я теряла и терпела,  
где умирала и рождалась вновь,  
где в каждом дереве  
моя текла ведь кровь,  
а лес рубили,  
и красные кусты рябины  
слезами терпкими цвели  
в том крае неба и земли,  
который я зову Россией.

## ПОРТРЕТ

Я насильно вдвинута в эту тяжелую раму.  
Я красивым пятном вишу на стене.  
Здесь я переживаю странную драму –  
в этой комнате, в этом городе, в этой стране.

Меня создал художник, списывая с нарядной дамы  
мертвой, только говорить и двигаться умела она.  
А я живая, с понимающими и видящими глазами,  
но на безмолвие и неподвижность обречена.

Кто дал ему право на это, дал живые тона и краски  
Знает ли он, как кровь моя кипит на холсте?  
Он при мне обо мне говорил нелепые сказки  
про любовь, про искусство, о недостижимой их высоте.

Все это бред. Сам художник не верил в это.  
Был он жесток и лжив. Но умел творить чудеса.  
Вот и создал меня. Я живу – которое лето! –  
Я смотрю на все, не в состоянии закрыть глаза.

Я клянусь его, ночью не давая ему покоя.  
Он кошмарные видит сны, предо мной ощущая вину.  
Я – его вдохновенье, двигаю его послушной рукою.  
Все же он спит, а я никогда не усну.

Мне годами висеть в этой тяжелой раме.  
Он умрет, а я еще долго буду жива,  
сотворенная им в трепетной красочной гамме,  
с неподвижной рукой, лежащей на кружевах.

## **КАМЕННЫЙ АНГЕЛ**

Он стоит где-нибудь в парке Нью-Йорка,  
слепыми глазами глядя зорко  
на город, не отрывая каменных рук от тела,  
которое когда-то любить и летать хотело.  
Но стало каменным. Вокруг суетятся люди,  
сжимая кулаки, выпячивая груди.  
На следующий день у них снова войны:  
Ближний, Дальний Восток – все беспокойно.  
Ангел стоит лицом к Нью-Йорку.  
Снег пошел, намел снеговую горку.  
Горько окаменеть и молчать о вере,  
когда вершат молебны живые пантеры,  
когда ни летать, ни трубить победу,  
когда воскресенье похоже на среду,  
когда не поймешь: свадьбы иль панихиды?..

Говорят об ангелах бойкие гиды.  
Вот музеи, театры, соборы –  
по ним гуляют праздные взоры.  
А снег идет. И война уже неизбежна.  
Ангел каменный улыбается нежно.  
На палитре художник мешает краски,  
а детям в школах надевают костюмы и маски,  
клоуны-фокусники тасуют странные карты,  
в которых победы, жертвы, азарты...  
Каменный ангел стоит. В парке бегают детки.  
Март. Птичка поет весну, прыгая с ветки на ветку.

*Март 2003*

## О ГОРОДЕ

Лето надвигается всем своим пеклом,  
затянутыми шторами, закрытыми жалюзи.  
Все покроется жаркой влагой,  
горячим июльским пеплом,  
а солнце будет сжигать, как его ни проси.

Но довольно об этом. Лучше поговорим о  
Городе. Как угодно – так его назови:  
хочешь – Афинами, а хочешь – Римом,  
захлебнувшись когда-то в Нероновой крови.

Но нет. Большая Центральная Станция, милый, –  
не Афины и не древний иль современный Рим.  
Здесь совершенно иначе вытягивают жилы:  
Нью-Йорк по-иному забываем и неповторим.

В Город идут все, алчущие движенья и шума.  
Город любит толпу и разглагольствует о себе  
перед многоликими, вышедшими из темного трюма –  
он перед ними возвышается до небес.

Знаешь, в этом Городе, совершенно особом,  
сталь, и цемент, и головокружительное стекло,  
и от электрического света и небоскребов  
исходит чувственное, удушливое тепло.

Но съевшие с Городом пуд или несколько соли  
по фасадам карабкаются куда-то вверх,  
не испытывая страха и ни малейшей боли,  
нередко срываясь и падая на глазах у всех.

Город не сыт. Ненасытна его утроба.  
Дни превращаются в тяжкий каменный миг...  
Но вот Олег Ильинский смотрит на фасад небоскреба  
и пишет свой легкий графический стих.

1996

\* \* \*

*Владимиру Агеносову*

Может, в этом есть нечто странное:  
письма пишу в разные страны я,  
разным людям пишу я разное  
и письма их ко мне праздную.

Боже мой, как все волнующе!  
Прошрое, настоящее, будущее –  
в рифму, в строчку и в строчечку:  
сын родился, выросла дочечка...

Что мне до этого? Что мне до этого!  
Все эти строчки – они не поэтовы.  
Но нет. Мне житейское варево,  
будто на небе великое зарево.

Малое все – велико одинаково.  
Все именую в жизни Итакою.

Вместе плывем. И поэтому  
все вдохновляет. Все здесь поэтово.

\* \* \*

Много дней сижу я над книгами,  
читая чужие стихи, бормоча чужие слова.  
Мне бы справиться с ними – крылами, веригами,  
играми в жизнь, покуда она у поэтов жива.

Только б книгу сложить – кирпич за кирпичиком,  
выбрать у каждого неповторимо свое:  
этот – с жестом лихим, та – с красивейшим личиком –  
их страстная история? Или просто – наше житье

претворяется вновь, притворяется зверем, святошею...  
Друг, а кистью сумеешь изобразить  
этого в ритме стиха, ту с рифмованной ношею?  
В слове можно заставить их *быть*.

Книга поэтов, живших когда-то за морем-  
океаном, туманом, за самым за краем земли.  
Пела и я у костра в шумном и пестром их таборе,  
покуда мы вместе дорогою длинною шли.

\* \* \*

В тот первый ряд – нет, не иду.  
Другие за меня прильнут к светилам.  
Тружусь я в одиноком, но в своем саду –  
все остальное – не по силам.

Да этот первый ряд – каприз и спесь  
в стихе развязном и убогом.  
А я ведь яблоневый цвет и песнь  
прошу у сада и у Бога.

## ОСЛИК

*Тамаре Гордиенко*

И ослик поднимает эту поклажу,  
переходит с ней на берег другой  
и отдает ее ожидающему пажу –  
не моцартовскому: нет его под рукой.

Отдает мой труд, мое рукоделье...  
Ночью я вышиваю затейливые слова,  
не похожие на грусть и не похожие на веселье,  
но когда-нибудь вырастет из них трава,

и кто-нибудь сварит из нее горьковатое зелье,  
выпьет его и вспомнит меня такой,  
какой я была на чужом новоселье –  
я, смущавшая чей-то покой

утверждением, что стих мой неуклюже певучий  
не стилистическая ошибка и не борьба  
за жизнь немного повыше, получше,  
а просто моя судьба.

И ослик несет нетяжелую эту поклажу,  
идет, копытцами отстукивая года.  
Против шерсти я его никогда не поглажу:  
он со мной говорит, а нарядный паж – никогда.

## ГУМИЛЕВ В АМЕРИКЕ

Нет, он пел бы и здесь не Город великий,  
электричество, автомобили, мосты,  
он пел бы Запад – солнечный, дикий,  
каньонов драконьи хребты,  
стрелу, пущенную рукою  
смелой, и злые глаза...  
А вдалеке, а вдалеке не давала б покою  
песня девушки, льющаяся в небеса.

Что писал бы он здесь, в Нью-Йорке?..  
Небоскребы, рекламы, метро...  
Ах, смуглой девушке  
с поцелуем сладким и горьким  
он дарит бирюзовые кольца и серебро.  
Костер пылает ярким пламенем,  
возвещая зловещее впереди.  
Завтра битва: надо спасти эти травы и камни.  
Но падает он – который по счету! –  
с пульей в груди.

## 11 СЕНТЯБРЯ

Закроем дверь в этот день, дочь,  
наденем самые темные платья.  
Этот день на глазах превращается в ночь,  
на которую пало чье-то проклятье.

Слушать речи – что воду в ступе толочь.  
Знаем только, что – смерть и что снова  
камни рушатся, будто в давние годы, дочь,  
те, лишившие близких и крова.

Кто зовет, и кого зовут к небесам?  
Камни рушатся, плавится воском железа.  
Мир, расколотый вновь пополам,  
говорит, что к спокойствию путь отрезан.

Что сказать обо всем этом, дочь?  
Сентябрям опять нет конца и нет края.  
Двери на ключ, чтобы страх превозмочь...  
Что еще? Я не знаю. Не знаю...

А на землю ложится тень.  
Солнца нет. И луна не восходит.  
Пыль и слезы. Так кончился день.  
Только смерть еще около бродит.

# СОЛОВЬЕВ

(Голубовский)

## Михаил Степанович

(1908–1979) – писатель, журналист.



Обладал, по его собственным словам «пятнистой биографией». Происхождение из семьи революционеров (из пяти его братьев четверо<sup>1</sup> были героями Гражданской войны) позволило Михаилу, несмотря на беспартийность, не только получить высшее образование, но и работать в «Известиях», стать военным корреспондентом и даже непродолжительно время преподавать историю генералам, проходившим переподготовку в Военно-политической академии имени М.В. Фрунзе. После процесса над редактором «Известий» Н. Бухариным был в числе многих сотрудников газеты выслан из Москвы. Однако вскоре был возвращен в число армейских корреспондентов, имел возможность присутствовать на различных войсковых учениях, наблюдать ход финской войны и начало войны с немецко-фашистскими захватчиками.

В октябре 1941 году пропал без вести. А уже летом 1942-го стал редактором бобруйской газеты «Новый путь». Печатался под псевдонимом Бобров.

Является автором романа в 2-х кн. «Когда боги молчат» (1953). Изданная в 1953 году на английском языке в США, а затем в Бирме, Индии, Норвегии, она лишь через 10 лет увидела свет на русском языке<sup>2</sup>. Как указывалось в авторском предисловии, «многое в ней осталось от прежнего, сохранился основной замысел, сохранились герои, но многое добавлено, переработано и звучит иначе, что и дает некоторое право сказать, что книга новая».

---

<sup>1</sup> Степан, убегая из белогвардейского плена, отморозил ноги; Иван стал профессиональным военным и дослужился перед войной до подполковника; Василий Степанович в Великую Отечественную стал генерал-лейтенантом.

<sup>2</sup> Впервые о Мих. Соловьеве и его книгах написала М. Бабичева в монографии «Писатели второй волны русской эмиграции. – М.: Пашков дом, 2005.

Автором нарисована широкая панорама событий от революции в деревне до Второй мировой войны. Рассказывая о судьбе большой крестьянской семьи Суровых, безоговорочно вставших на сторону советской власти, писатель показывает драматичные судьбы братьев, то возвышающихся до командующими военными округами, до уполномоченных ЦК на строительстве города на Дальнем Востоке, то оказывающихся в чекистских застенках. Главный герой романа Марк Суров постепенно проходит путь от большевистской убежденности в праве пользоваться насилием во имя коммунизма к сомнениям, тот ли коммунизм строится. Совершая героические подвиги во время Отечественной войны, Марк замечает, что народ ждет не только изгнания оккупантов, но и возвращения к общечеловеческим ценностям. Картины народной жизни, яркие портреты многочисленных народных персонажей чередуются с превосходно выписанными пейзажами, с авторскими лирическими отступлениями и философскими рассуждениями героев. По силе убедительности роман (по крайней мере первая книга) может быть сопоставлен только с «Тихий Доном».

В следующем году вышли автобиографические «Записки военного корреспондента» с предисловием вице-адмирала Лесли Стивенса. Автор дает яркие выразительные портреты советских военачальников – одних уважительно, хотя и с юмором, подчеркивая в них неистребимую крестьянскую сущность; других (С. Буденного, О. Городовикова; Л. Мехлиса – «Левушки Прохвостова») – иронично, называя их надувающимися от тщеславия бездарями, будяками (сорной травой, которую не станет есть ни одно животное). Описывая голод на Украине («Вознесенский полк бывалый...») и уничтожение непокорных казачьих станиц («Джунгли»), Соловьев стремится «подбирать крохи человеческого», встречавшиеся на его пути. Так солдаты Вознесенского полка с немногого согласия командиров отдавали весь свой обед голодным детям и украинским крестьянам, а посланные на усмирение казаков кавалеристы убили садиста-уголовника Перепетуя.

Особый интерес вызывают драматические главы, рассказывающие о «малой войне» с Финляндией. Повествование о мужестве бойцов сочетается в трагическими (порой натуралистическими – «В замороженном мире») подробностями о потерях советских войск. Трагикомические истории («Пермский полк») соседствуют с расска-

зом «Жизнь и смерть Сергея Стогова» о расстрелянном по приказу Мехлиса бойце, доведенном до отчаяния письмами о голодной смерти всей семьи в колхозе, и убившем не пожелавшего ему помочь политука.

Автор доводит свое повествование до первого года «большой войны». Подробно описаны первые месяцы войны в столице («Москва моя»), когда в ополчение призывают ученых, стариков, подростков и безоружных отправляют на верную смерть. Писатель рассказывает о панике, охватившей москвичей, о безобразном положении с продовольствием. Подглавки «Западный маршрут» и «Лесная сторона» повествуют о попытках перевалить вину Верховного командования на рядовых командиров, отправляемых за отступление во имя спасения солдат в штрафные батальоны, а то и приговариваемых к расстрелу.

Тем не менее, автор объективно показывает, как растет вера в чудо победы. То войска не выполняют приказ и снимают минирование с церкви в Филях, то вспоминают Суворова и Кутузова, то говорят о союзнике – морозе.

В 1965 году вышел на английском языке роман «Смеющийся Курос», где автор сочетает события античной и современной Греции.

Дальнейшая судьба автора после публикации двух названных произведений неизвестна.

## Сочинения

Когда Боги Молчат. – Н.-Й., 1953.

Записки советского военного корреспондента. – Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1954.

My Nine Lives in the Red Army. – Нью-Йорк: David McKay Co. Inc, 1955.

The Smiling Couros. – Б. м., 1965.

## Публикации

Генеральский инкубатор // *Возр.* 1953. № 27.



## ИЗ ЗАПИСОК СОВЕТСКОГО ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА

### Вознесенский полк бывалый...

Скомпрометировав себя на ниве просвещения советских полководцев и избавившись от генеральского инкубатора<sup>3</sup>, я надеялся, что меня оставят в покое, и пришвартуюсь я в гавани нашей редакции. Но не тут-то было! Через несколько месяцев, более или менее спокойных, получил я повестку из военкомата. Мне предписывалось явиться на командирские сборы, «имея при себе ложку, полотенце и запасную пару белья».

Еще в университетские мои годы введен был обязательный курс военных знаний. Мы возились с макетами местности, изучали оружие, производили топографические съемки и делали множество других мало привлекательных дел, которые все вместе именовались курсом высшей допризывной подготовки. Заведовал военной кафедрой добрейший Павел Илларионович, носивший на своем стареньком щуплом теле мундир комбрига (генерал-майора, как мы условились именовать чины). Он искренне старался изгнать из нас военное невежество, но был близорук и потому не замечал, что на его лекциях мы дружно дремали. Павел Илларионович был из дореволюционных офицеров, давно пора бы быть ему в отставке, но подвернулась военная кафедра, и он пошел на это тяжкое испытание.

За то, что в зимние месяцы мы отсыпались на лекциях Павла Илларионовича, приходилось нам расплачиваться летом, когда на три месяца нас увозили в военные лагеря и превращали в солдат и младших командиров. До этого я дважды испил эту чашу. Надеялся, что после университета обо мне забудут, но вот прошло два года – и меня снова требуют.

Если бы я придерживался истины, завоевывавшей тогда всё большее признание и гласившей, что «блат в период социалистического строительства решает всё», то от сборов я мог бы уклониться. Достаточно было попросить кого-нибудь из высокопоставленных чинов армии и приказ о моем вызове на командирские сборы был бы

---

<sup>3</sup> В предыдущей главе рассказывалось, как автор преподавал всемирную историю генералам, проходившим переподготовку в военной академии им. М.В.Фрунзе.

аннулирован. Но руководствовался я тогда другими нормами поведения и потому в назначенный день и час был на сборном пункте, откуда происходила отправка в воинские части. Я в точности знал, что меня ждет и куда отправят. Предстояло мне в течение трех месяцев носить на себе военную одежду, маршировать, петь в строю, спать в палатке и делать множество других дел, без которых я вполне бы мог прожить. Не привлекало меня и то, что в армии делал я заметную карьеру. В первые сборы был рядовым, во вторые отделенным командиром и командиром взвода. На этом основании военкомат причислил меня к комсоставу, что никакого военного пыла во мне не пробудило. Несомненным было и то, что попаду я опять, как и раньше, в Иваново-Вознесенский Пролетарский полк, выходящий в летний лагерь под гор. Ковровым.

Одним словом, всё было заранее известным и непривлекательным.

Однако, в 1932 году, когда всё это происходило, наш эшелон двинулся не в сторону Коврова, а в противоположном направлении. Состоял эшелон всего лишь из двенадцати теплушек, в которых размещались человек триста пятьдесят призванных на летние сборы. Начальник эшелона на каком-то полустанке заглянул в наш «студенческий» вагон (в нем было три десятка студентов и я, недавний студент, назначенный старшим в этой веселой команде) и сообщил, что эшелон направляется под Кривой Рог, куда вышел наш полк, всё тот же Иваново-Вознесенский Пролетарский.

Это уже было интересно. Ковровский лагерь, где нам пришлось до этого бывать, скучнейшее место на земле. Расположен он в изолированном лесу и видишь в нем только солдатские и командирские лица. А тут Украина, Кривой Рог.

Как мы узнали от начальника эшелона, предстояли на Украине грандиозные маневры, для которых стягивались войска из всех военных округов. По этой причине наш полк оказался не в Ковровских лагерях, а под Кривым Рогом, где его причислили к корпусу С.К. Тимошенко.

Оживление, вызванное известием, что направляемся мы к Кривому Рогу, потухло, как только наш маленький эшелон дошел на следующий день до голодающих районов. Перед нами развернулась картина умирающей Украины и ее предсмертные судороги потрясли нас. Молчаливые мертвые села лежали в стороне от железной дороги и редко-редко в них можно было видеть дымок, вьющийся из трубы.

Земля лежала невспаханной и мне казалось, что от нее исходит жгучий укор людям.

А люди – страшные и одичавшие – заполняли железнодорожные станции. Когда поезд останавливался, в вагоны врвался разногласный вопль:

– Хлеба! Хлеба

Бледные до прозрачности, одетые в рваную ветошь, дети подходили к теплушкам и тянули жалкими, рвущими сердце голосами:

– Подайте, ради Христа, товарищи-граждане.

На Украине при станциях имеются небольшие садики с запыленными деревцами. Из них в вагоны доносился смрад. Железнодорожники, сами шатающиеся от голода, сносили туда трупы умерших. Нам были видны эти трупы, беспорядочно брошенные под деревьями. Мужские, женские, детские.

Одним словом, мы доехали и прямо с поезда проследовали на гауптвахту. Начальник нашего эшелона еще с дороги сообщил по начальству, что студенты не подчиняются его приказу и отдают свой паек голодающим, а их примеру последовал весь эшелон. Военный харч отдавался гражданскому населению, что, по понятиям начальника эшелона, было деянием наказуемым. Дело дошло до командира корпуса Тимошенко. Тот не наказал весь эшелон, а ограничился тем, что приказал «проветрить» студентов на гауптвахте. Всем дали по три дня ареста, а мне, как старшему, восемь дней.

Отбыв наказание, явился я во вторую роту, в которой оказались и все мои спутники по вагону. Начиналась для меня армейская жизнь, если только не считать ее началом гауптвахты. В первый же день, осматриваясь вокруг, я явственно ощутил, что в полку происходит что-то неладное. Раньше, в Ковровских лагерях, полк наш славился певучестью. Роты уходили на полевые учения с песнями и с песнями возвращались. А тут, под Кривым Рогом, песни замерли. Идет рота в строю, командир приказывает:

– Запевай!

Запевала, он в первом ряду первого взвода, послушно затынет полковую песню:

Город спит привычкой барской,  
А горнист, горнист трубит подъем.  
Гимн несется пролетарский,  
Все палатки ходуном.

Дальше должен следовать припев. Командир роты, высокий, не молодой уже человек, наверное из неудачников, иначе почему бы он был в таком возрасте всего лишь комроты? – поведет покатыми плечами и начнет:

Вознесенский полк бывалый  
Удалых бойцов стране кует,  
Всегда готовых в бой кровавый  
За грядущийся народ.

Командир роты поет, а мы молчим. Оглянется командир и безнадежно рукой махнет: – Отставить!

Точно такая же хмурь была заметна в облике всех рот. Песен не слышно, громких разговоров не ведется, споры не вспыхивают. Тимошенко, инспектировавший полк, кричал на командира полка:

– У вас не полк, а похоронная процессия.

Голодающая Украина наплывала на воинские лагеря и на Кривой Рог толпами изможденных людей. К дороге, ведущей в лагерь, подходили мужчины, женщины, девушки, дети. Они молча стояли. Стояли и смотрели. Их прогоняли, но они появлялись в другом месте. И опять – стояли и смотрели.

Политруки из сил выбивались, чтобы вывести бойцов из состояния мрачной, не прорывающейся наружу озлобленности. В нашей роте политруком был Остап Пилипенко, из крестьян Полтавщины. Мы между собой говорили, что в военно-политической школе ему дали добрую понюшку политической премудрости, и он никак не мог от нее отчихаться. Большеголовый, лохматый и откровенно глуповатый, он появлялся перед нами и начинал ежедневную политбеседу, или, как он говорил, «политзарядку». В это время газеты, словно в насмешку, заполняли свои страницы сообщениями о расцветающей колхозной жизни. На фоне того, что мы видели собственными глазами, находясь в центре умирающей от голода Украины, газетные сообщения наводили жуть своим циничным враньем. Однако же Пилипенко с превеликим усердием пересказывал нам сказки о колхозном «рае». Запустив пятерню в свою буйную шевелюру, он бегал перед нами, сидящими на земле кружком и, полузакрыв глаза, говорил без умолку. Начинал он с передовицы «Правды», но очень скоро доходил до колхозных тем. Только что начали коллективизацию, а уже какие результаты! – восклицал он, потрясая газетой.

Голодающие крестьяне и крестьянки стояли в стороне и молча смотрели на нас.

Наговорившись досыта о радостях, которые сулит коллективизация, Пилипенко вытирал пот с лица и тыкал грязноватым пальцем в сторону кого-нибудь из студентов. Разговор дальше развивался, приблизительно, так:

– Скажите, товарищ студент, раз вы ученый товарищ, об чем гениальном сказал нам товарищ Ленин в статье о кооперативном плане? Там, значит, вся коллективизация как на ладошке объяснена.

Если выбор падал на моего друга, Леонида Г., студента горного института, человека, как тогда казалось, органически чуждого военному делу, но во время Второй мировой войны вдруг вынырнувшего из неизвестности, получившего генеральское звание и занимающего теперь крупный пост в советской армии, то ответ на вопрос Пилипенко бывал таким:

– Товарищ Ленин об гениальном в своем кооперативном плане много говорит. Ленин учит, что если, допустим, индивидуальное крестьянское хозяйство общими силами и с энтузиазмом развалить, то тогда чересплосицы не будет, хат тоже не будет, а построятся общежития или там казармы для всех, колодец на всех один, бабы обед не будут готовить, а получают еду из полевой кухни, у крестьян скота не будет. И вообще ни черта не будет.

Политрук долго крутил головой, словно стараясь вобрать летающие в воздухе слова Леонида, а потом, с присущей ему хитрецей, говорил, что товарищ студент хоть и по-ученому, но правильно всё разъяснил. А бойцы повторяли между собою: «Одним словом, ни черта не будет».

Однажды в четвертой роте случилось «ЧП» – чрезвычайное происшествие. Обварился кашевар Полуектов, здоровенный детина из подмосковных огородников. Особый отдел заимел какое-то подозрение и нагрязнул в роту, но все, в том числе и пострадавший, в один голос заявили, что несчастье произошло по нечаянности и никто, кроме самого Полуектова, в нем не повинен.

Следствие прекратили. Не докопались на этот раз до правды армейские чекисты.

А всё произошло так: к полевой кухне, у которой орудовал Полуектов, рано утром подошла группа бойцов. После короткого, но ожесточенного спора, один из пришедших схватил черпак, зачерп-

нул в котле бурлящего супа и плеснул им на Полуектова, целясь в нижнюю часть живота. Кашевар взвыл дурным голосом и так его, воющего и изрыгающего проклятия, отвели к полковому врачу.

Нападение на кашевара произошло не без причины, Среди приходящих к лагерю голодающих крестьян и крестьянок было много девушек. А солдаты всякие бывают, и не у каждого вид голодающих вызывал лишь скорбь. Люди бездумные среди россиян всегда найдутся, часто и неплохие это люди, но соблазну они поддаются с необычайной легкостью. Присутствие вокруг военного лагеря девушек, обезволенных голодом, не оставляло их равнодушными. Вот к таким любвеобильным сердцам принадлежал и кашевар Полуектов.

За пределами лагеря находилось обширное здание полковой бани и рядом – вещевого склад. Здесь по ночам стояли часовые. Однажды ночью Полуектов завлек в пустую баню девушку из табора голодающих крестьян, раскинувшегося в степи. Когда он покидал баню, постовые заметили, но задержать не смогли: вырвался из их рук кашевар. Отпустив девушку и сменившись из караула, часовые, распаленные злобой, явились к Полуектову. Кашевар ответил на брань бранью и тогда пошел в ход черпак с раскаленным солдатским супом.

Дыхание голодающей Украины замораживало жизнь полка. В большинстве своем роты состояли из крестьян. Все мысли бойцов были прикованы к дому. С тоской и смятением присматривались крестьянские сыны к тому, что дала коллективизация украинским селам.

Началось роение. Солдатская дружба повсюду одинакова, верная это дружба. Даже страх перед доносом не мог ее убить. Сексоты в ротах, надо думать, обязанности свои выполняли, но вряд ли при этом горели энтузиазмом. Тоже ведь люди. Чаще по несчастному стечению обстоятельств и реже по подлости натуры или слабости воли в сексоты попадали. Тех, что по подлости, распознавали сразу – подлая натура себя на каждом шагу проявит, а солдат, как известно, великий психолог и моментально определяет, каким миром мазан его сосед по взводу или по месту на нарах.

Так что доносом не могло помешать солдатской дружбе, на крепкий узелок завязываемой. В свободные часы бойцы разбрелись по лагерю, собирались в группы под деревьями, уходили на стрелковый полигон. Беседы между ними были значительными, хоть и немногословными:

– Видел? – спросит один другого.

– Не слепой. И оба понимают, что речь идет о таборе голодающих, мимо которого рота проходила.

– Наделали делов, – скажет первый. И опять оба понимают, что укор обращен к тем, кто крушит крестьянское хозяйство и вызвал этот страшный голод

– Политрук говорит, что партия и правительство помогут, – подумав скажет другой. Оба с сомнением покачают головами.

– Мертвому компресс к заднице приложат, – скажет первый. И столько в этом невинном замечании обиды, что оба надолго замолкнут.

– А что делать? – спросит второй.

Первый сорвет былинку и долго мнет ее в зубах. Потом выплюнет и скажет – А я откуда знаю?

Поднимутся они и уйдут – сумрачные, полные сомнений – воины Красной армии.

Начало маневров откладывалось, и было предписано проводить полевые учения. Неожиданно вспыхнул интерес к этим учениям. С утра отправлялись роты в леса, степи, на берега рек. Вслед за ними тянулись полевые кухни, дымящие на ходу трубами. А за кухнями валили толпы голодающих детей, женщин, мужчин. Доползет кухня до назначенного ей места, а там рота уже поджидает. Подходят голодающие. Командиры и политруки стараются подальше отойти. Человеческое и им не чуждо. Кашевар разливает суп по котелкам, но котелки сразу же из солдатских рук переходят в детские грязные и жадные лапки. Солдатскими ложками орудуют бородатые и голодные мужики, торопятся за ними женщины. Какой-нибудь из бородачей скажет: «Армия-то народная и должна она народ кормить, раз беда такая». Кашевар доходит черпаком до дна. Конец. Быстро расплзается толпа в стороны. Возвращаются командиры и политруки.

– Как обед – спросит командир роты и печальная усмешка скользнет по его лицу.

– На ять, товарищ комроты.

– На все сто

На разные лады дружно хвалят обед, а у большинства-то и пыль с губ супом не смыта. Кашевар, тоже довольный, гонит свою четвероногую тягловую силу к дороге, и пустая кухня грохочет черпаками, ложками и пустой посудой

Вечером роты возвращаются. Бойцы от усталости и голода еле переступают ногами по пыли. Командир полка встречает роты и подзывает к себе командиров.

– Задание выполнено... За время учения, никаких происшествий не случилось, – рапортуют те

– Почему бойцы так утомлены? – спрашивает комполка. Но это только ритуал, так как он ведь знает, почему утомлены. И так же по ритуалу ответят командиры рот и взводов.

– Жарко было... Переход большой. Надо бы усиленный ужин бойцам.

Комполка в крик ударится:

– Что вы, хотите меня под суд загнать? И так во всем перерасход.

Но вызовет своего помощника по хозяйству:

– Надо было бы ужин покрепче устроить. Утомлены очень бойцы, – скажет он. Хозяйственник с тоской станет возражать, но командир полка понизит голос:

– Павел Ильич, ведь ты понимаешь!

И Павел Ильич направится в каптерку, и кашевары по его приказу разожгут дополнительные кухни, бросят в котлы куски мяса, засыпят крупу.

Однажды был объявлен приказ: дивизия, к которой принадлежал Иваново-Вознесенский полк, отправляется в Ковровский лагерь. Маневры отменены.

К железной дороге, на погрузку, прибыли вечером. Грузились на маленькой станции. Забравшись в теплушки, растягивались на полу и быстро засыпали. Солдату бессонница уставом не предписана.

Ночью наш эшелон затарахтел колесами и тронулся в путь. Через полчаса вдруг резко затормозил. Разбуженный толчком и в душе кляня машиниста, я выглянул в дверь. Невдалеке занимались огнем воинские склады, с которых снабжалась наша дивизия и еще две других. Вдоль эшелона забегали люди. Приказ: «Второй роте построиться».

Мы ускоренным шагом приближались к горящим складам. Еще не доходя до них, услышали крики и вопль людей. Звучали редкие пушечные выстрелы.

Мимо нас в ночной тьме люди волокли за собой тележки, нагруженные ящиками, мешками, бочками. При нашем приближении они останавливались, но видя, что мы проходим, трогались дальше.

У складов бушевала толпа. Крестьяне окружающих сел и обитатели голодных таборов. Подбегали всё новые люди. Они рвались в склады. Через окна летели мешки с сахаром, мукой, катились бочки с рыбой и маслом. Маленький взлохмаченный военный бегал вдоль сараев и стрелял вверх из пистолета. Несколько бойцов, охранявших склад, пытались удержать толпу, но пока они заграждали один вход, люди вливались в другой.

Завидев роту, маленький и лохматый, с пистолетом в руке, подбежал к нам с криком:

– Спасайте военное имущество. Роту привел Пилипенко. Он послушно приложил руку к своей вихрастой голове и почему-то с радостью крикнул:

– Есть, спасти имущество.

По его приказу, мы составили винтовки в козлы и ринулись в склад, еще только загорающийся. Вместе с бородатыми мужиками и истерически кричащими женщинами, мы выбрасывали через окна мешки, ящики, бочки. Только когда стало в складе нетерпимо жарко и языки пламени прорвались через потолок, мы покинули его.

Ничего спасенного нами от огня уже не было. Люди уволокли в свои села. По дорогам, ведущим от склада, двигались толпы. Уносили на плечах, в подолах платьев, увозили на телегах, санках и в колясках продовольствие.

Я с удивлением оглянулся вокруг. Тут оказался весь наш полк, да и из других полков много бойцов. Кое-как соорудив носилки, мы положили на них обгорелые останки двух наших товарищей и, походной колонной, двинулись к железной дороге. Вид у нас был довольно страшный. Какая-то старуха, отставшая от своих, при нашем приближении торопливо закрестилась и с неожиданной прытью скрылась в кустах. У бойцов в глазах появилось какое-то новое выражение – радостное и смелое, даже дерзкое. Словно впервые мы почувствовали нашу слитность и с радостью подчинились приказам общей для нас, всех, неразделимой солдатской души.

– Запевай! – крикнул Пилипенко, потерявший в огне свой чуб и брови.

– Только веселее, – откликнулся командир роты, оказавшийся здесь же и теперь несущий забинтованную руку на перевязи. Каким-то образом прибил к нам кашевар Полуектов, тот самый, которому бойцы невидные места кипящим супом ошпарили. Славился он на

весь полк своим веселым голосом, и лучшего запевалы, по общему убеждению, в мире не могло быть. Его круглое, покрытое сажей и потом лицо было веселым и беззаботным.

Когда раздалась команда запевать, Полуектов крикнул:

– Я буду запевать!

Послышался смех и чей-то голос прогудел из задних рядов:

– Да куда тебе? Ошпарили тебя, как того борова.

– Об чем разговор? – изумился Полуектов. – Они же мне не горло ошпарили, а много ниже. Звонким своим голосом кашевар затынул:

Город спит привычкой барской,  
А горнист, горнист трубит подъем...

В положенном месте полторы сотни солдатских голосов дружно подхватили:

Вознесенский полк бывалый,  
Удалых бойцов стране кует.  
Всегда готовых в бой кровавый  
За трудящийся народ!

На этот раз песня звучала в полный голос, подтверждая, что правы были те, которые называли Иваново-Вознесенский Пролетарский полком завзятых горлопанов.

Через две недели, когда были мы уже в Ковровском лагере, пришел приказ: меня требовали в Москву. Командир полка был смущен: он не знал, что в его полку один из солдат второй роты – военный корреспондент, которого телеграммой вызывает в Москву «сам» Гамарник. Я понимал комполка. Видел ведь я не только то, что мне показали бы, явись я сюда в роли военного корреспондента, но и многое другое, что обыкновенно не показывается и о чем стараются не говорить.

Впрочем, командир полка напрасно беспокоился. Я ничего не мог написать, а если бы рискнул писать, то восторженно рассказал бы о солдатской душе, которую я и в себе тогда явственно ощутил.

# ТЕР-ПОГОСИАН

## Ричард Саакович

(1911–2005) – поэт.

Родился на Кавказе в г. Ганджа. Отец – священник, погиб в советской тюрьме. Мать – Анна Караевна Джанибек, по преданию, потомок хана Золотой Орды. Спасаясь от репрессий семья переехала в Баку, где Ричард, скрыв свое происхождение, закончил Учительский институт.

Во время войны попал в «немецкий страшный черный плен», прошел сначала лагеря военнопленных, потом Ди-Пи. «Жизнь поругана войною / И разбила все мечты», – восклицает Тер-Погосиан в стихотворении «Лира в детстве мне досталась...». «Войной надломлена душа», – признается в миниатюре «В моих стихах нет яда, вроде».

После войны эмигрировал во Францию, оттуда – в США. Жил и умер в Лос-Анджелесе.

Стихи начал писать еще на родине. Однако, опасаясь обысков, уничтожил. Чудом сохранились стихотворения «Навек родной покинул город» (1927) и «Стихи об убийстве царской семьи» (1937).

Видимо, в годы перестройки ему удалось посетить родные места.

Тер-Погосиан – автор 9 сборников стихов. Его первую книжку стихов весьма положительно оценил Ю. Терапиано («Русская мысль», 1961, 18 марта).

Тематика большинства стихотворений поэта – воспоминания о родине. Обращенные к поэтессе Е. Мариновой строки «И Вас не сломили: ни “ОСТ”, ни насилие – / Навек сохранили к отчизне любовь» вполне относимы к самому Тер-Погосиану. Его любимый прием: сопоставление жизни и даже природы Америки с родной землей в пользу последней. «Эх, чужбина, ты чужбина, – / отравила жизнь мою» («Хороши дома-палаты...»). «Нет не могу любить весну чужую», – пишет он в одном стихотворении («Весна не радует меня нисколько...»). В другом рассказывает, что ароматный цветок России, перенесенный на американскую почву, потерял родной запах («Чтобы слышать нежный запах...»). Шаблонные образы русских

стихов (васильки, гармошка, черешня, рябина, березы, сирень) под пером Р. Тер-Погосиана приобретают индивидуальную драматическую окрашенность: они навсегда потеряны для лирического героя, существуют только в его памяти.

Стихи поэта вполне традиционны, просты, мелодичны («Бог дал мне горло небольшое / Орать, горланить не могу»). Порой чувствуется влияние Есенина, Апухтина, Надсона. Поэт – мастер метафоры («осень в рыжем колпаке», асфальт под дождем «блестит черным лаком», «сохнет девица-рябина»). Не чужд ему и мягкий юмор («Из всех времен люблю я лето... / Не плохо, правда и зимой»).

Два последних сборника, посвященные памяти отца и жены, значительно уступают предыдущим и содержат преимущественно размышления поэта о смерти и Божьей воле.

## Сочинения

Стихи. – Париж, 1960.

Живой ручей. – Мадрид, 1972.

Вдоль межи. – Лос-Анджелес, 1988.

Гербарий. – Лос-Анджелес, 1991.

Вечерний звон. – Лос-Анджелес, 19

Радуга. – Лос-Анджелес, 19

Избранные стихи. – Лос-Анджелес, 2001.

Эпилог второй. – Лос-Анджелес, 2003.

Реквием: Стихи. – Лос-Анджелес, 2005.



## ЖИЗНЬ

От тебя, моя жизнь, нет покоя.

Наказанье на каждом шагу,

А порою бывает такое,

Что и враг не желает врагу.

Все быстрее и быстрее догорая,

Навеваешь щемящую грусть, –

Из далекого ада иль рая  
Я на землю назад не вернусь.

Но тебя прожигать не умею.  
Поневоле доволен судьбой.  
Не ропщу, не грущу, не жалею,  
Что живу и воюю с тобой.

\* \* \*

Чтобы слышать нежный запах  
Милого цветка,  
Корешок привез на запад  
Я издалека.

Посадил его в садочке,  
Поливал водой,  
Чтоб проснулась жизнь в цветочке  
На земле чужой.  
Потрудился я не даром,  
Корень дал росток.  
Загорелся, как пожаром,  
Маленький цветок.

Нет обмана никакого,  
Те же: рост и цвет.  
Только запаха родного  
У цветочка нет.

\* \* \*

Мы давно чужие топчем  
Рубежи.  
Не спеша бреду я молча  
Вдоль межи.

Как легко шагать без ноши –  
Мир да гладь.

Всюду радость, всюду  
Божья Благодать.

Ни соринки в небе чистом,  
Ни пятна.  
От цветов и трав душистых  
Степь пьяна.

Сладко снится, знать, землице  
Теплый дождь.  
Под лучами серебрится  
В маках рожь.

Все знакомо, все как дома  
Тот же вид:  
Почерневшей соломы  
Виден скирд:

Тот же желтый цвет сурепки.  
Сорняки  
И любимые навеки  
Васильки!

## **ВЕСНА**

Пришла весна, и с нею грозы,  
Земля проснулась ото сна,  
Цветут сирень, ромашки, розы,  
Весь мир в цвету, кругом весна.

Иду ли полем или садом,  
Сижу ли грустно у реки,  
Простор степной окину взглядом  
Везде синеют васильки.

Везде цветы, и птичьи стаи,  
Кругом зеленые кусты.

И под веселый шелест мая  
Цветут цветы, цветы, цветы.

\* \* \*

Осень завела свою шарманку,  
Закрутила невтерпёж,  
Обложила небо спозаранку,  
Непрерывно хлещет дождь.

Что-ж, мне всё равно! Пусть бесконечно,  
Хоть до самой льёт зимы.  
Ни родни, и ни друзей сердечных –  
Разбрелись по свету мы.

Вновь заныли раны жгучей болью,  
Подступает к горлу ком.  
Дождь, как ведьма, шлепает по толю  
Над картонным потолком.

\* \* \*

Зима, и снова я в дороге.  
Метет с утра метелица.  
И по полям, холмам и логам  
Пушистым снегом стелется.

Бегут лошадки дружно, бойко.  
Белеет даль безбрежная.  
Крепка перцовая настойка,  
И степь такая снежная...

\* \* \*

Сохнет девица-рябина  
Сиротою в чистом поле,  
Как и я здесь, на чужбине  
Гибну в ласковой неволе.

Не поможет ей подпора,  
Как и мне заботы милой.  
Ей расти бы у забора,  
Жить бы мне в стране любимой.

1954

\* \* \*

Дождь, как червь в сухой доске  
Больно сердце точит.  
Осень в рыжем колпаке  
Под окном хохочет.

От заката до зари  
Дни бегут за днями...  
Тускло светят фонари  
Мокрыми глазами.

Мир, как каменный острог,  
Весь окутан мраком  
И блестит асфальт дорог  
Жидким, черным лаком.

1958

\* \* \*

Постригся лучше бы в монахи:  
Отмаливал свои грехи,  
Меня не мучили бы страхи  
Ни за семью, ни за стихи.

Вставал бы утром на рассвете,  
Молитвы стал бы я творить.  
Отрёкся-б от всего на свете,  
Не стал бы в грешном мире жить.

Зимой ходил бы без ботинок,  
В одном хитоне, без белья.  
Но, к сожаленью я не инок  
И не паломник даже я.

Ну что же, ведь не без тропинок  
Пути земного бытия.

1982

\* \* \*

В этой жизни я прохожий  
Заблудившийся в пути.  
Укажи дорогу, Боже –  
Эти горы перейти.

Слева пропасть, справа тоже  
И туманы впереди.  
По такому бездорожью  
Ни проехать, ни пройти.

Что-же делать? Но негоже  
Слепо, глупо лезть в капкан.  
Бог поможет – воля Божья  
Проведёт и сквозь буран.

1984

## **ПОД НЕБОМ МЕКСИКИ**

Улыбнись, сеньорита Альвера,  
Наклонись ты ко мне на плечо.  
Не увидит никто под сомбреро,  
Как целуемся мы горячо.

Может быть, посидим на полянке?  
Расстелю я наваго с плеча.

Знаю, знаю, что кровь мексиканки,  
Как текила, крепка, горяча.

Ну, целуй, сеньорита Альвера,  
Ну, целуй же ещё и ещё!  
Не увидит никто под сомбреро,  
Как ты любишь меня горячо.

\* \* \*

В моих стихах нет яда вроде,  
Скорее горечью полны.  
Одни – рожденные на фронте,  
Другие – отзвуки войны.

Прекрасна жизнь и мир чудесен,  
Земля Господня хороша,  
Но мне не до веселых песен:  
Войной надломлена душа.

Друзья уснули непробудно,  
Сердца их превратились в прах.  
Живым не лучше, очень трудно  
Преодолеть тоску и страх.

Спасаться вечно от гонений  
Устал, как белка в колесе.  
Больное наше поколение —  
Душою мы калеки все.

1996

## ПОЭТАМ

Всей жизни смысл с искусством связан,  
Коль одаренный человек.  
Творить без усталости обязан  
До гроба свой недолгий век.

И ждать спокойно и смиренно,  
Пока придёт, настанет смерть.  
Известно, что все в жизни тленно:  
Должно живое умереть,

Такая грустная тревога,  
Порою навивает страх.  
Не может быть, чтоб дар от Бога,  
Бесславно превратился в прах.

Не прах, а клад-плоды таланта,  
Не гибнет, а живет века.  
Уход из жизни не расплата  
И не последняя строка.

1996

\* \* \*

Стихи мои – грехи мои –  
Стихи мои – враги мои.  
Одни меня клянут за них,  
Чту благодарность от других.

И это, и то давят грудь,  
И не дают мне отдохнуть.  
Под гнетом тяжести такой,  
Навек отравлен мой покой.

1998

# ТРУБЕЦКОЙ

(Нольден)

## Юрий Павлович

*(1902–1974) – поэт, прозаик, критик, мемуарист.*

Родился в 1902 году в Риге; детство прошло в Петербурге. Учился на врача; во время Гражданской войны жил в Крыму у Волошина, затем в Баку (был членом Цеха поэтов, руководимого Вяч. Ивановым) и на Украине. В 1930-х гг. был арестован; отбыл 10-летний срок в лагерях БАМлага. Спасся, как он сам писал, тем, что «был врачом и меня заставили работать по этой части». После освобождения жил в Киеве, ушел вместе с немецкими частями в Германию. Мечтал жить в большом центре, где кипит литературная жизнь, но за неимением средств до смерти жил в Дорнштадте (земля Баден-Вюртемберг). Последние годы провел в старческом приюте.

Отсутствие литературной среды восполнял перепиской со многими деятелями литературы русской эмиграции: И. Буниным, Б. Зайцевом, Г. Ивановым, Г. Адамовичем, И. Одоевцевой, Ю. Терапиано и др. Представлялся сыном скульптора и художника Паоло Трубецкого, что подвергается сомнениям современными исследователями<sup>1</sup>, как и его воспоминания о встречах с Блоком, присутствии при аресте Гумилева, многочисленных встречах с Ахматовой, Кузминым и Маяковским.

Стихи начал писать с 13 лет. Впервые опубликовался в суворинском еженедельнике «Лукоморье» (1916). Автор трех поэтических сборников: «Петербургские строфы» (1946), «Двойник» (1954) и «Терновник» (1962). Как считал Г. Струве, большая часть стихов «мало чем отличается от сборников парижских поэтов»,

---

<sup>1</sup> *Хазан В.* «Но разве это было все на самом деле?» (Комментарий к одной литературно-биографической мистификации) // *A Century's Perspective: Essays on Russian Literature in Honor of Olga Raevsky Hughes and Robert P. Hughes.* – Stanford, 2006. P. 464–489. Комментарии В. Хазана и Р. Дэвиса к письмам Ю. Трубецкого Бунину // И.А. Бунин. Новые материалы. Выпуск II. Составление О. Коростелева, Р. Дэвиса. – М.: Русский путь, 2010.

т. е. неоригинальна. Тем не менее, И.А. Бунин утверждал, что у Трубецкого «несомненно есть поэтическое чувство»<sup>2</sup>.

Наибольший интерес представляют стихотворения, передающие настроения поэта, отлученного от Родины. Понимая, что «в жизни есть не только лишь потери, / Не только суеверие и мрак», Трубецкой в основном пишет об одиночестве и бесцельности жизни. «Русское поле. Все русское снова – / На камне холодном мертвое слово», – утверждает он в стихотворении «И поздний дождь над миром, как тогда...». «Какая темнота, / Как этот ветер неумно плачет, / И жизнь уже бессмысленно-пуста», – говорит в стихотворении «Порой такая бешеная зависть...». Свет в его произведениях «ненужный», «ветер неумно плачет», месяц «корчит рожи». «И жизнь уже бессмысленно-пуста». «Мне бы счастья хоть пару крох», – восклицает в поэт в стихотворении «Снег».

Даже любовь чаще всего обретает мрачные краски («Белая матроска, синие глаза...»). И лишь изредка поэт говорит, что любит землю, потому «что встретил тебя на ней».

Проза Ю. Трубецкого включает в себя полуавтобиографическую повесть «Нищий принц» с подзаголовком «Повесть о поэте» («Возрождение», май 1951 – август 1954), написанную по совету И.А. Бунина, и историческую повесть «Смута» (1964–1968), где автор развивает версию, что первый Лжедмитрий был чудесно спасшимся сыном Ивана Грозного.

Как эссеист и критик печатался в газетах «Новое русское слово», «Русская мысль», журналах «Возрождение» (Париж), «Литературный современник» (Мюнхен), «Мосты» (Мюнхен), «Новый журнал» (Нью-Йорк), «Современник» (Торонто). Наиболее известны его популярные статьи «Из литературного дневника», в том числе о Сергее Есенине («Новое русское слово», 1951, 11 февр.) и И. Анненском («Новое русское слово», 1951, 24 июня).

## Сочинения

Петербургские строфы. – Германия (ротаторное изд.), 1946.

Двойник. – Париж, 1954.

Терновник. – Париж, 1962.

<sup>2</sup> Письмо И.А. Бунина Ю.П. Трубецкому // Филол. записки. Вестник литературоведения и языкознания. Вып. 20. – Воронеж, 2003. – С. 14.

**Публикации**

- Александр Блок. (Листки воспоминаний.) // *Совр.* 1960. № 2.  
Анна Ахматова // *Лит. совр.* 1952. № 4.  
«Быть может много лет, как миг один...» // *Совр.* 1960. № 2.  
«В Петербурге, давным-давно...» // *Возр.* 1960. № 2.  
«В этом гневе Создателя...» // *Возр.* 1954. № 35.  
«Вижу так, как другие не видят...» // *Возр.* 1954. № 35.  
Встреча // *Совр.* 1962. № 6.  
Георгию Иванову // *Возр.* 1951. № 18.  
Гибель // *Совр.* 1963. № 7.  
«Гнусаит радио. О том же. О судьбе...» // *Возр.* 1954. № 36.  
«Да, безразличье, пожалуй, труднее...» // *НЖ.* 1958. № 53.  
«Если все предугазано – значит не так...» // *Совр.* 1960. № 2.  
Жизнь моего приятеля // *Совр.* 1960. № 1.  
«Зачем приходишь ты на склоне лет...» // *Совр.* 1961. № 3.  
«Зачем так просто и безвольно...» // *НЖ.* 1957. № 51.  
Зима // *Возр.* 1952. № 20.  
Иван Алексеевич Бунин // *Возр.* 1954. № 36.  
Из записных книжек // *Мосты.* 1959. № 2.  
Из книги Терновник // *Возр.* 1952. № 19.  
Из творчества Б.К. Зайцева // *Возр.* 1952. № 21.  
Из цикла «О России» // *Возр.* 1950. №№ 9, 11; 1954. № 31.  
Ирине Яссен // *Лит. совр.* 1954.  
«Кажется, что вечность в этом шуме...» // *Мосты.* 1959. № 2.  
Камаринский мужик // *Совр.* 1961. № 4.  
«Когда холодный вихрь...» // *Совр.* 1963. № 8.  
«Кружилась даль. Сады и огороды...» // *Лит. совр.* 1954.  
Листопад // *Возр.* 1962. № 5.  
«Немного солнечных страниц...» // *НЖ.* 1955. № 41.  
«Нету дела до людей...» // *Возр.* 1954. № 36.  
Нищий принц // *Возр.* 1951. № 15; 1953. №№ 25, 29, 30; 1954. № 34.  
«О потерянном не жалею...» // *Совр.* 1965. № 11.  
О России // *Возр.* 1952. № 24.  
О современной поэзии // *Лит. совр.* 1954.  
О стихах Игоря Чиннова // *Совр.* 1961. № 3.  
Осень // *Совр.* 1967. № 14 / 15.  
«Особенно русское небо...» // *Возр.* 1954. № 36.  
Павловский офицер // *Совр.* 1962. № 5.  
Памяти Александра Блока // *Возр.* 1949. № 6. *Совр.*, 1961. № 4.  
Памяти Анны Ахматовой // *Совр.* 1966. № 13.  
«Парки пражу ткут и распускают...» // *НЖ.* 1955. № 41.  
«Перешагни через мой порог...» // *Совр.* 1961. № 4.  
Песнь варягов // *Возр.* 1949. № 6.  
Печаль изгнания // *Возр.* 1950. № 10.

- «Повторяется, все повторяется...» // *НЖ*. 1959. № 58.  
 «Под этим небом черной неизбежности...» // *НЖ*. 1957. № 50.  
 «Порой такая бешеная зависть...» // *Совр*. 1964. № 9.  
 Поход // *Возр*. 1949. № 5.  
 «Правдивей и грустней сейчас...» // *НЖ*. 1958. № 52.  
 Простор // *Возр*. 1953. № 30.  
 Пятнадцатый прелюд // *Совр*. 1969. № 19.  
 Разговор // *Возр*. 1956. № 57.  
 «Расплата за многие годы...» // *Совр*. 1970. № 20 / 21.  
 Родина // *Возр*. 1957. № 61.  
 «С боку на бок ворочаясь слышу...» // *Возр*. 1954. № 36.  
 Северный берег // *Возр*. 1953. № 25.  
 «Сквозь сиянье, летящее вниз...» // *Совр*. 1964. № 9.  
 Смута // *Совр*. 1964. №№ 9, 10; 1965. №№ 11, 12; 1966. № 13; 1967. № № 14 / 15, 16; 1968. № 17 / 18.  
 Снег // *Совр*. 1968. № 17 / 18.  
 Стихи // *Мосты*. 1960. № 5.  
 Стихи // *Совр*. 1960. № 1; 1962. № 6.  
 Стихи // *Грани*. 1959. № 44.  
 «Таинственный человек...» // *Возр*. 1954. № 36.  
 Тайна // *Возр*. 1951. № 14.  
 «Та тень живет. И нет уже спасенья...» // *Совр*. 1965. № 12.  
 «Тема опять ускользает...» // *Совр*. 1973. № 25.  
 «Тогда мы выделись с тобой случайно...» // *Возр*. 1954. № 36.  
 Три карты // *Совр*. 1972. № 24.  
 «Ты знаешь? Скажи, за три тысячи лет и столетий...» // *Возр*. 1971. № 229.  
 «Упоительный сон... Но уже он закончился где-то...» // *Возр*. 1971. № 229.  
 Утро // *Совр*. 1962. № 5.  
 «Холод и дождик...» // *Мосты*. 1959. № 2.  
 «Черный сад в снегу новогоднем...» // *НЖ*. 1959. № 58.  
 «Что-нибудь будет. Когда?..» // *Возр*. 1971. № 229.  
 «Что поразительно – не замечаешь...» // *НЖ*. 1957. № 50.  
 «Чтоб забыть, надо только беззвучно...» // *НЖ*. 1958. № 53.  
 Элегия // *Возр*. 1951. № 15.  
 «Этой нежной глицинии...» // *Возр*. 1956. № 54.  
 «Я землю люблю потому...» // *Совр*. 1961. № 3.  
 «Я не тебя увидел, а двойник...» // *НЖ*. 1957. № 49.  
 «Я суше стал и холоднее...» // *Возр*. 1956. № 51.

## Отзывы о книгах

- А. Степанов. Порт-Артур // *Лит. совр*. 1952. № 3.  
 Александр Биск. Свое и чужое // *Совр*. 1963. № 7.  
 Александр Гингер. Весть // *НЖ*. 1957. № 50.  
 В. Сумбатов. Стихотворения // *НЖ*. 1958. № 52.

Георгий Эристов. Сонеты // *НЖ*. 1957. № 50.

Нонна Белавина. Синий мир // *Совр*. 1961. № 4.

Полина Ошерова. Почему мы любим музыку. Андрей Седых. Далекие близкие // *Совр*. 1962. № 6.

Родион Березов. Чудо // *Совр*. 1962. № 5.

София Прегель. Встреча // *НЖ*. 1958. № 55.

\* \* \*

*Ирине Ясен<sup>3</sup>*

Церковка, заросшие пригорки,  
Суздальское небо и тоска.  
К сонным травам, к луговинам горьким  
Мчится мелководная река.

Родина. Летят касатки, свищут,  
Пропадая в предзакатной мгле.  
Я иду, потерянный и нищий,  
Поклониться Матери-Земле.

Мальчик босоногий с дудкой звонкой  
Гонит стадо в ветровую синь.  
На воротах древняя иконка,  
А внизу – терновник да полынь.

1942

\* \* \*

И в сердце сознание глубоко,  
Что с ним родился только страх...

*Ин. Анненский*

Парки пряжу ткут и распускают.  
Тихий снег снижается на мир.

---

<sup>3</sup> Яссен Ирина [псевд. – наст. имя: Рахиль Самойловна Чеквер] (1893–1957), – поэт, издатель, эмигрантка первой волны.

Елки под забором умирают,  
Их уже изгнали из квартир.  
Анненский тревогу мне приносит,  
О, какой печальный маскарад!  
Чахлая, между ветвями, просинь,  
Мертвенный сгорающий закат.

\* \* \*

Двусмысленность второстепенных деталей  
Летучие сумерки, ясность звезды.  
Когда-то мы здесь проходили, блуждали,  
Но ветер замел на дорогах следы.

Какие-то ветки, сосновые шишки –  
На ощупь песок сыроват и упруг.  
Но все это, в общем, осечки, ошибки,  
Какие-то странные вещи, мой друг...

«Ходить воспрещается» – значит, не надо?  
А вот мы пройдем, ни на что не смотря.  
Какое убожество райского сада  
Под небом безжалостного ноября!

1956

\* \* \*

Закатный свет и тающего снега  
Прозрачный отблеск на лице дрожит.  
Синеющее, нежащее небо  
Тускнеет. Значит, скоро заснежит.

Идешь тропинкой. Тихо и бездумно.  
Ужель опять в морозное стекло  
Ударит веткой ветер многошумный  
И утром скажешь: снова замело!

Но даже в этом тусклом повечерье  
Весть о ином, какой-то тайный знак –  
И в жизни есть не только лишь потери,  
Не только суеверие и мрак!

\* \* \*

*Леониду Страховскому<sup>4</sup>*

В Петербурге, давным-давно...  
Для чего ты о прежнем бредишь?  
Все равно туда не поедешь,  
А куда? Не все ли равно?  
Все равно... По-осеннему колкий,  
Ветер рвется в пустые сады.  
Небо точно из мутной слюды.  
Бродят улицей люди без толку.  
Рано я закрываю окно.  
Скоро ночь. О, как долго длится!  
Возникают какие-то лица,  
Все мерещится и все снится.  
В Петербурге... Давным-давно...

\* \* \*

Порой такая бешеная зависть  
К тому, что не было, не свершено...  
И снова ветер осени гнусавит,  
И в грязных каплях темное окно.

Но разве было? Было ли иначе?  
Поверь, мой друг... Какая темнота,  
Как этот ветер неумно плачет,  
И жизнь уже бессмысленно-пуста.

---

<sup>4</sup> Леонид Иванович Страховской (1898–1963) – историк, литературовед, общественный деятель, поэт, прозаик. Профессор Мэриленда и Гарварда.

Пожары, бедствия... Но все проходит,  
Проходит безвозвратно. Тянет глушь.  
О чем писать? О счастье? О свободе?  
И о родстве каких-то верных душ?

Но в океане звезд, в глухих просторах,  
Где холод, безнадежность и туман, –  
Слова, слова... И поздние укоры,  
И в правду превратившийся обман.

1963

\* \* \*

Та тень живет. И нет уже спасенья.  
Я память уничтожить не смогу,  
До самого из мертвых воскресенья,  
Ненужное я крепко берегу.

А, может быть, тринадцатого года  
Походку легкую и вздох любви,  
И невскую дождливую погоду.  
Но лучше ты уйди и не зови...

За память не зацепишься, не надо –  
Война, вагоны и далекий путь.  
Скажи мне, в чем единая отрада,  
Чем может сердце сладостно вздохнуть?

1964

## **СНЕГ**

Не к добру, видно, выпал снег,  
На снегу виден талый след.

Там готический встал собор,  
Незамеченный до сих пор.  
Мне бы счастья хоть пару крох.

Ишь чего захотел, смотри!  
Там за снегом черта зари,

Будто кто-то там кровь разлил  
Или банку красных чернил.

Там готический встал собор.  
За собором грязный забор,

А на нем вороны сидят  
И насмешливо мне галдят:

«Было счастье здесь, но давно,  
Испарилось уже оно,

Как растаявший этот след,  
Как никчемно выпавший снег»...

1967

\* \* \*

И поздний дождь над миром, как тогда,  
И все такое жалкое, и злое.  
Поет, бормочет за окном вода  
О нежном, о пленительном покое.

И дождь ночной, как прежде, как тогда,  
И дом плывет в безвестные пустыни.  
В разрыве туч холодная звезда —  
Такой же свет мучительный и синий.

Русский лес. И русские птицы.  
Это может только присниться.  
И благовест дальний над вечерней рекой.  
Монастырь. И вечный покой.

Время бежит, скользит по реке.  
Детский след на влажном песке.

И может быть счастье. Но нет его.  
Божество? Торжество? Колдовство?

Русское поле. Все русское снова –  
На камне холодном мертвое слово.

\* \* \*

Белая матроска. Синие глаза.  
Высоко, над лесом, дальняя гроза  
Говорит о чем-то древняя река,  
А в моих ладонях смуглая рука.  
Горько пахнет ночью вялая трава.  
Золотые кудри. Тихие слова  
Все о чем-то тайном.  
Может быть, о том,  
Что за знойным ветром  
будет дождь и гром,  
Что над нами грянет гневная гроза,  
И потухнут завтра синие глаза.  
Ненужный свет залег давно и  
месяц просится, ныряя  
В подслеповатое окно  
Полузабытого сарая.  
Там не лежит уже никто,  
Соломы клочок остыл и высох.  
и только ветхое пальто  
Шевелят, пробегая, крысы.  
Проходит мимо и свистит  
Неумудренный обыватель.  
Он должен ровно к десяти  
Улечься дома, на кровати.  
Кому сказать и чем помочь?  
Уткнувшись головой в подушку,  
Он слышит, как колотит ночь  
В сторожевую колотушку.  
и мир, лежащий в тишине,  
Никто, ничто не потревожит.

Лишь отраженный там, в окне,  
Холодный месяц корчит рожи.

\* \* \*

Кажется, что вечность в этом шуме  
Листьев, никнущих к траве сырой.  
С каждым днем всё тише, всё угрюмей  
Под ущербной каменной луной.

Ночь длиннее. Может, это вечность?  
Я не помню: было ли вчера?  
Там, в окне, горят и тают свечи  
И не угасают до утра.

Я читаю вслух стихотворенье,  
Странно рифмы в тишине звучат...  
Всех святых, всех душ поминовенье.  
Скоро снег. Слышнее листопад.

\* \* \*

Ненужный свет залег давно.  
И месяц просится, ныряя,  
В подслеповатое окно  
Полузабытого сарая.

Там не лежит уже никто,  
Соломы клочок остыл и высох.  
И только ветхое пальто  
Шевелят, пробегая, крысы.

Проходит мимо и свистит  
Неумудренный обыватель.  
Он должен ровно к десяти  
Улечься дома, на кровати.

Кому сказать и чем помочь?  
Уткнувшись головой в подушку,

Он слышит, как колотит ночь  
В сторожевую колотушку.

И мир, лежащий в тишине,  
Никто, ничто не потревожит.  
Лишь отраженный там, в окне,  
Холодный месяц корчит рожи.

\* \* \*

И поздний дождь над миром, как тогда,  
И всё такое жалкое и злое...  
Поет, бормочет за окном вода  
О нежном, о пленительном покое.

И дождь ночной, как прежде, как тогда,  
И дом плывет в безвестные пустыни.  
В разрыве туч холодная звезда –  
Такой же свет мучительный и синий.

# Ульянов

## Николай Иванович

*(1904–1985) – историк, прозаик, критик, публицист.*



Родился в Гдовском уезде Санкт-Петербургской губернии. По окончании гимназии в Санкт-Петербурге в 1922 году поступил на историко-филологический факультет Петроградского университета, закончив который (1927) был оставлен академиком С.Ф. Платоновым при кафедре. 1927–1930 гг. учился в аспирантуре, с 1930 по 1936 гг.; преподавал в Архангельском педагогическом институте, Ленинградском университете, занимал должность старшего научного сотрудника историко-археологической комиссии при Академии наук в Ленинграде.

В 1935 году в опубликованной 7 ноября в газете «Советский исторический фронт» статье высказал сомнение в правильности тезиса об усилении классовой борьбы по мере строительства социализма, за что был в 1936 году арестован, приговорен к 5 годам лишения свободы и сослан сначала на Соловки, затем в Норильск.

В 1941 году был освобожден без права жить в больших городах. Основался в Ульяновске, где работал ломовым извозчиком. В сентябре, находясь на окопных работах под Вязьмой, попал в плен к немцам. Бежал из Дорогобужского лагеря под занятый немцами пригород Ленинграда, где работал врачом, одновременно составляя словарь местного говора и собирая старинные песни.

Осенью 1943 г. Ульянов с женой отправлены оккупационными властями в качестве «остарбайтеров» на работы в Германию сначала в Durchgangslager в Дахау, а оттуда в лагерь Карлсфельд под Мюнхеном, где и встретил окончание войны.

В 1947 г. эмигрирует в Касабланку (Марокко), где получает возможность вернуться к научной деятельности. В 1953 г. переезжает в Канаду, а в 1955 году в США, где преподает сначала в Нью-Йорке, затем Нью-Хейвене (штат Коннектикут). Здесь он в течение 17 лет преподает в Йельском университете до выхода на пенсию в 1973 г.

Ученый регулярно посещал Париж, где встречался с С.П. Мельгуновым, Г.В. Вернадским, Н.Е. Андреевым, М.М. Карповичем, Б.К. Зайцевым, М.А. Алдановым, А.М. Ремизовым, Г. В. Адамовичем, Л.Д. Ржевским и др. Бывал в Италии.

Все эти годы Ульянов публикует значительные исторические работы, среди которых особое место занимает монография «Происхождение украинского сепаратизма» (1966). Сборники эссе и статей «Диптих» (1967), «Свисток» (1972), «Спуск флага» (1979), книга «Скрипты» (1981) неизменно включали в себя труды на стыке истории и литературоведения: «Басманный философ» – о взглядах П.Я. Чаадаева на Россию; «Об историческом романе», «Чехов в театре Горького», «Б.К. Зайцев». «Алданов – эссеист», «Мистицизм Чехова», «На гоголевские темы», «О Ремизове», «Национализм Толстого», «Шевченко легендарный», «Десять лет» – о литературе Ди-Пи, «После Бунина», «Гумилев». В несколько сборников историк настойчиво включает статью «Замолчанный Маркс» – обзор замалчиваемых статей К. Маркса, проникнутых презрением к славянским народам. В эссе «Шестая печать» (1965) «Орвието» (1967) Ульянов утверждает, что «идея Антихриста – это идея подмены добра злом. ... Никогда зло так победно и ликующе не выступало в обличье добра».

Статьи Ульянова печатаются в газетах «Новое русское слово» и «Русская мысль», в журналах «Новый журнал», «Российский демократ», «Возрождение», «Воздушные пути», «Опыты», а также по-английски в «Encyclopedia of Russia and the Soviet Union», «Review of National Literatures», «Canadian Slavic Studies» и «Russian Review».

Особое место в наследии Н.И. Ульянова занимают художественные произведения на исторические темы. Писатель считал, что «исторический роман» – это «роман научный» (эссе «Об историческом романе»), где главное место принадлежит не вымыслу, а реконструкции эпохи. Эта мысль реализована в первом историческом романе Ульянова «Атосса», начатом еще в годы войны и законченном в 1952 году.

Название романа дано по имени жены Дария Атоссы, мистически ищущей подлинной любви, нашедшей ее в молодом скифе и вскоре вновь потерявшей (скиф погиб). Однако не эта вымышленная линия определяет успех романа, а мастерски реконструированный на основе описаний Геродота поход персидского царя Дария на Скифию, в которой писатель видел предшественницу России.

Дарий дошел до границы Европы и Азии, но это не было его победой. Скифские племена, ранее враждовавшие друг с другом, объединились, заманили войско Дария в глубь степей и обратили в бегство. Не скрывая многих недостатков скифов, Ульянов симпатизирует им, видя в ведущейся скифами войне борьбу за независимость. В изображении же Дария, его полководцев и тиранов (вождей провинций, порабощенных персами) писатель показывает властолюбивых угнетателей своих народов, предавших идею свободы. Автор выступает не только как выдающийся знаток описываемой эпохи, но и как зрелый художник: портреты основных персонажей (Дария, милетского романтика-купца Никодима, мечтавшего с помощью скифов принести освобождение народу Эллады; хитромудрого советника Дария Агелая; пленного красавца-скифа) и описания боев пластичны и живописны; язык автора, несмотря на обилие названий исторических реалий, доступен и афористичен.

Второй роман Ульянова «Сириус» (1977) охватывает период с 1914 г до февраля 1917 года. В нем писатель показал, как накренилась «корма родного корабля с певучим именем Россия». Вину за происшедшие события автор возлагает на Николая II. «Ведь еще не было такого киселя на троне, – возмущенно говорит родственник царя Николай Михайлович Романов, – В ногах нам валяться у России и тогда не вымолим прощения за такое исчадье. Ни уха, ни рыла не смыслит в государственном управлении, в министерства набрал отменную дрянь, армию заполнил куропаткинцами, и сам поступил под команду жены. Кто из наших царей доходил до такого падения?».

Размышления о судьбах человечества, об угрозе тоталитаризма в союзе с цивилизацией пронизывают фантазмагорический рассказ Ульянова «Солнце» (1958), написанный не без влияния романа Е. Замятина «Мы» и книги Дж. Оруэлла «1984»; рассказ о карнавальных безумствах в «Мантуанскую ночь», бессмысленной жестокости корриды («Синьор Торо») и уничтожении породы белых лосей («Последний»).

Привлекали писателя и русские противоречивые характеры в духе Достоевского. Таковы рассказы «Первого призыва» (1966) и «Мистер Га» (1968).

Н.И. Ульянов похоронен, на кладбище Йельского университета в Нью-Хэйвене. На его могиле стоит светлорозового гранита обелиск с выгравированным православным крестом и с эпитафией Г. Иванова:

За пределами жизни и мира  
 Всё равно не расстанусь с тобой,  
 .....  
 И Россия, как белая лира  
 Над засыпанной снегом судьбой...

## Сочинения

Атосса. – Н.-Й., 1952.  
 Диптих. – Н.-Й., 1967.  
 Под каменным небом: Сб. рассказов. – Нью-Хейвен, 1970.  
 Свиток. – Нью-Хейвен, 1972  
 Сириус. – Нью-Хейвен, 1977  
 Спуск флага. – Нью-Хэвен, 1979  
 Скрипты. – Анн Арбор, 1981  
 Атосса. – Париж; Нью-Хейвен, 1988.

## Публикации в периодике

Атосса // *Возр.* 1950. № № 9, 10, 12; 1951. №№ 14, 16, 17, 18; 1952. № 20, 21, 22.;  
**То же** // *Юность.* 1993. № 9; **То же** // *Русская провинция.* 1994. № 1, 2.  
 Мантуанская ночь // *НЖ* 1967. № 87.  
 Мистер Ган то же // *Возр.* 1968. № 203.  
**Первого призыва** // *Возд. пути.* 1966. № 82; **То же** // *Москва.* 1993. № 9.  
**Под каменным небом** // *Словохи.* – 1992. № 1; **То же** // *Юность.* 1993. № 2.  
 Последний // *НЖ.* 1965. № 78; см. также № 3.  
 Солнца свет // *НЖ.* 1958. № 55; см. также № 3.  
 Рим: (Венок сонетов) // *НЖ.* 1984. № 154.  
 Сириус // *НЖ.* 1955. № 43; 1967. № 88; 1968. № 90; № 91; № 92; 1969. № 95;  
 1971. № 104; 1972. № 106; 1973 № 11; № 112; 1975. № 118; **То же** // *Юность.*  
 1994. № 3.

## Литературная критика, публицистика

Алданов- эссеист // *НЖ.* 1960. № 62.  
 Александр I – император, актер, человек // *Родина.* 1992. № 6–7.  
 Алжезирас // *Русская мысль.* 1956.  
 Андалузия // *Русская мысль.* 1956.  
 Антихрист // *НРС.* 1971. 28 февр.  
**Арабеск или Апокалипсис** // *НЖ.* 1959. № 57; **То же** // *Лит. Россия.* 1988.  
 № 49; **То же** // *Петербург.* 1993. № 1 / 2.

- Б.К. Зайцев** // *НПС*. 1961; 11 февр. **То же** // *Русск. лит.* 1991. № 2.  
Бесовское подземелье // *Русская мысль*. 1955. 20 авг.  
Богдан Хмельницкий // *Возр.* 1953. № 28; № 29.  
Большевизм и национальный вопрос // *Возр.* 1951. № 13.  
Боря Бархатов // *НПС*. 1962. 18 февр.  
Вечный победитель // *НПС*. 1965. 24 янв.  
«Внуки Лескова» // *Возр.* 1952. № 22.  
Вынужденное объяснение // *НПС*. 1969. 27 июля  
Геноцид или усердие не по разуму / Шварц-Омонский // *Возр.* 1950. № 10.  
Город Славы и побед // *НПС*. 1953. 27 дек.  
Гренада // *Русская мысль*. 1956; 4 февр. см. также № 25. № 5.  
Гумилев // *Возр.* 1952. № 19; то же // *Человек*. 1990. № 1.  
Д. Кленовский // *НЖ*. 1960. № 59.  
Далекие близкие // *НПС*. 1962; 25 марта; то же 1979. 29 апр.  
Дары данайцев // *НПС*. 1965 дек, см. также № 27. № 2.  
«Дело Ульянова» // *НПС*. 1960. 5 ярв.  
Десять лет // *НПС*. 1958. 14 дек.; см. также № 26. № 1.  
Дискуссия или проработка // *НПС*. 1960. 13 марта.  
**Дыхание враждебного мира // Кто мы, русские? Кто вы, русские? Кто они, русские?** – Рига, 1990. Вып. 2.  
Еще о шевченковских легендах // *НПС*. 1960. 4 июля  
Еще об историческом романе // *НЖ*. 1954. № 37.  
Забытый бог // *НПС*. 1959 15 ноября.  
Забытый юбилей // *НПС*. 1966. 12 июня  
Застигнутый ночью // *НЖ*. 1954. № 39.;  
Замолчанный Маркс // *Возр.* 1968. № 201; **То же** // *Москва*. 1990. № 10.  
Из незаконченных споров // *Возд. пути*. № 2.  
Интеллигенция // *НПС*. 1960. 7 февр.  
**Исторический опыт России // Родина**. 1991. № 2; **То же** // *Вече*. 1991. № 7; **То же** // *Слохои*. – Архангельск, 1992. № 1.  
История и утопия // *Рос. демократ*. 1951.  
К национальному вопросу // *Соц. вестн.* 1948. № 6.  
Казакиада // *Рос. демократ*. 1950. № 1.  
Камо грядеши? // *НПС*. 1973. 20 апр.  
Книга о Ремизове // *НПС*. 1960. 19 июня  
Когда защищают поэзию // *НПС*. 1959. 10 мая  
Комплекс Филофея // *НЖ*. 1956. № 45; **То же** // *Русская провинция*. 1992. № 4;  
**То же** // *Вопросы истории*. 1994. № 4.  
Коррида // *Русск. мысль*. 1956. 1 февр.  
Культура и эмиграция // *НЖ*. 1952. № 28.  
Курмасцеп // *НЖ*. 1970. № 100.  
Лжепророк // *Сфинкс*. 1995. № 1.  
Литературная слава // *Возр.* 1967. № 187.  
Луара // *НПС*. 1976. 15 февр.  
Мейне клейне // *Новый журнал*. 1970. № 99. С. 92–103.

- Мертвые слова // *НПС*. 1969. 20 апреля.  
Мимоходом // *НПС*. 1968. 8 дек.  
Мистицизм Чехова // *НЖ*. 1970. № 98.  
Мысли о Чаадаеве // *Опыты*. 1957. № 8.  
На восточном фронте без перемен // *НПС*. 1964. 12 июля.  
На гоголевские темы // *НЖ*. 1969. № 94.  
На Драгомановские темы // *НПС*. 1963. 9 июня.  
Необъяснимое // *НПС*. 1960. 16 апр.  
Нечто о критике // *НПС*. 1967. 4 июня.  
Новый Гамлет // *НПС*. 1964. 31 мая.  
О Бунине – Поэте // *НПС*. 1953. 27 дек.  
О главном // *Мосты*. 1967.  
О зарубежной литературе // *НЖ*. 1974. № 115.  
О названии городов // *НПС*. 1968. 31 марта.  
О разумном и не разумном // *НПС*. 1957. 7 апр.  
О самом главном: // *НПС*. 1957. 3 марта  
О сути // *НЖ*. 1967. № 89. С. 67–78.  
Об одной неудавшейся поэзии // *Возд. пути*. 1963. № 3; **То же** // *Русск. лит.*. 1991. № 2.  
Один из забытых // *НПС*. 1963. 26 мая.  
Основание Петербурга // *Борьба классов*. 1935. № 7 / 8.  
От легенд к науке // *Возр*. 1952. № 22.  
Патриотизм требует рассуждения // *НЖ*. 1957. № 47; **То же** // *Новое время*. 1992. № 41.  
Педро Иванович // *НЖ*. 1958. № 52.  
**Петровские реформы** // *Отклики*. 1986; **То же** // *С.-Петербургская панорама*. 1992. № 5.  
По Франции // *НЖ*. 1978.  
После Бунина // *НЖ*. 1954. № 36; **То же** // *НПС*. 1954. 20 июля.  
После юбилейное // *НПС*. 1962. 26 мая.  
Приношение // *НПС*. 1963. 24 нояб.  
Путем Атиллы // *НПС*. 1963. 6 дек.  
Размышления и сомнения // *НПС*. 1969. 19 окт.  
Размышления у римских руин // *НПС*. 1979. 29 июля.  
Роковые войны России // *НЖ*. 1976. № 125.  
Русская сказка // *НЖ*. 1966. № 85.  
С.П. Мельгунов // *НПС*. 1956. 25 нояб.; 2 дек.  
С.Ф. Платонов // *НЖ*. 1977. № 126.  
Северный Тальма // *Возр*. 1964. № 153.  
Севилья // *Русск. мысль*. 1956. 31 янв.; 2 февр.  
Сергей Петрович Мельгунов // *НПС*. 1956. 10 июня.  
Сказка и повесть // *НПС*. 1979. 24 февр.  
Сказки Северной Пальмиры // *НПС*. 1981. 1 янв.  
Слезы блудного сына // *НПС*. 1965. 19 сент.  
Соблазны истории // *НЖ*. 1974. № 117.

- Сокрушение кумиров: (Новое в русской историографии) // *Возр.* 1952. № 24.  
Тишайший: (О Б. Зайцеве) // *За свободу.* 1961. № 8.  
Тень Грозного // *НЖ.* 1963. № 74.  
Флоренция // *НПС.* 1978. 12 нояб.  
Хабенная мудрость // *НПС.* 1957. 22 июня;  
Хартия вольностей // *НЖ* 1954. № 36.  
Чехов в театре Горького то же // *Возр.* 1966. № 174.  
Шевченко легендарный // *НПС.* 1961. 30 апр.  
Шестая печать // *Возр.* 1965; см. также № 14. I.  
Эскуриал-Аранжуэц // *Возр.* 1971. № 228.  
*Ignorantia est* // *Возд. пути.* 1960. № 1.



## ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА «АТОССА»

### Битва

(часть IV главы «Я – Дарий Ахеменид»)

Через три дня войско расположилось на ночь перед холмистой грядой, похожей на ящера, уснувшего в степи. В то время, как долина уже подернулась сумраком, возвышенность продолжала светиться медным блеском, разливая тихую торжественность. Гребень холмистой цепи внезапно зашевелился. На нем, как на хребте дракона, выросли клиновидные отростки.

Утомленный дневным переходом, Дарий покоился в закрытых носилках. Чья-то рука дерзко отдернула занавес. Царь обернулся и остался недвижим. По склону возвышенности, как тесто из квашни, густо стекала лава конного войска. Несмотря на дальность расстояния, Дарий различал отдельных всадников, похожих на игрушки из обожженной глины. Видел, как их маленькие лошадки бодро перебирали ногами. Спускаясь к подножию склона, всадники точно уходили в землю, а сверху, выпираемые неведомой силой, валили новые массы.

Как перед смертью, Дарию припомнилась вся его жизнь. Зачем он тут, в этой глуши? И как это случилось? Страшные молнии про-

зрения осветили мозг. Черная рать текла с вершины холмов, не прерываясь ни на минуту, пока с последним лучом заката не потонула в сумерках. На персидский стан навалилась глыба молчания. Шаги судьбы глухо отдавались в сердцах.

– Не вы ли жаловались на неуловимость врага, на то, что потеряли надежду его увидеть? – говорили предводители, – что же смутились теперь, когда он, наконец, появился? Ликуйте! Теперь он наш! Одна битва и ваши скитания кончатся. Скоро увидите жен и детей.

Полагали, что скифы сразу же покажутся в долине, поэтому все взялись за оружие. Но никто не появлялся. В шатре Дария толпились полководцы. Когда вошел Агелай, его стали толкать и не допустили до царя.

– В твоей хитрости теперь нет нужды, костлявая лягушка, здесь речь идет о битве, и ты не должен оскорблять своим присутствием совета мужей войны.

Наутро, чуть забрезжил рассвет, войско начало строиться с шумом и толкотней. Численность персов, несмотря на потери, была еще столь значительна, что когда Ариарамн выехал перед фронтом, он удивился его протяжению. С правого крыла с трудом можно было различить людей, стоявших на левом. Он особенно порадовался блестящему виду колесниц, столь близких сердцу царя. Сильно уменьшившиеся в числе, они всё еще представляли грозное зрелище. Прикрепленные к колесам стальные косы делали их похожими на птиц, раскинувших сверкающие крылья. Такие же косы, направленные остриями книзу, приделаны были к задним частям колесниц. Что могло устоять против этих изрезывающих в куски и брызжущих стрелами телег? Но и конница выглядела бодро, а за нею вздымалась густая поросль копий воинов, сидевших на верблюдах.

Ариарамн думал увидеть сонмы оборванцев, лишенных воинского обличья, а перед ним стояла рать не хуже той, с которой Кир сокрушал народы, с которой Камбиз завоевал страну пирамид и с которой Дарий уничтожил многочисленных врагов. Он явился к царю со светлым лицом и распространил на всех веру в победу. Волна бодрости, зародившаяся в царском шатре, прокатилась по всему войску.

Полководцы не сомневались, что полчища врага находятся близко, скрытые складками местности. Но время шло. Стоя перед пустынным полем, персы раздумывали: не ложное ли видение послал

Ариман, чтобы всколебать их дух? Разгорался простой степной день, не предвещавший никакого события. Тогда, взбешенный молчанием скифов, Дарий велел Мифробарзану с тысячей всадников двинуться к подножию склонов, с которых вчера спустился враг. Мифробарзан не успел исполнить повеления. Гул восклицаний возвестил о появлении скифов. Припав к гривам лошадок и помахивая чем-то вроде бичей, они мчались, как ветер. Только это было не войско, а кучка в сотню человек. Персы с удивлением следили за их приближением. Не верилось, чтобы ничтожная горсть осмелилась напасть на царское войско. Дальнозоркие парфяне заметили черные точки, прыгавшие перед скифами.

– Зайцы! Зайцы!

Услышав шум, зайцы присели на расстоянии двух полетов стрелы от персов, потом сорвались и поскакали в сторону. Скифы с гиком и свистом полетели за ними вдоль персидского строя. Ни щитов, ни копий, только арканы у пояса да в руках длинные ремни с темными шариками на концах, которыми они помахивали в воздухе.

– Это самое диковинное, что мне пришлось видеть за все мои походы, – сказал Мифробарзан. Он хотел начать преследование, но Ариарамн – остановил. Пускать воинов против этой своры?.. Собак на них натравить! Рабов заставить побить их палками!..

Из рядов долетели насмешки и хохот. Какого достойного противника нашел себе царь царей! Теперь понятно, почему мы не видим в глаза неприятеля, ему некогда воевать с нами, он должен охотиться! Поднялось негодование, брань. Будь проклят этот безумный поход! Ни одно войско в мире не испытало столько унижений. Сегодняшнее – самое горшее.

Тогда, совсем близко, как из-под земли, возникло бесчисленное воинство на конях. Персы узнали в нем вчерашнюю лавину и, как вчера, притихли и затаили дыхание.

Старые воины Дария, бывавшие во многих походах, умели по первому виду врага догадываться об исходе битвы. Неторопливость скифов поселила в них тревогу. Она возросла и охватила всё войско, когда выяснилось, что скифская громада идет против одного только правого крыла персов. Варвары сумели так замаскировать свое движение, что смысл его открылся, когда они были уже у цели и когда большая часть персов почувствовала себя праздными зрителями того, что совершалось на правом крыле.

Там стояли колесницы, готовые предупредить удар встречным нападением, и Ариарамну стоило большого труда сдерживать их порыв. Он хотел подпустить противника на расстояние, удобное для внезапного удара.

Но произошло неожиданное. Из скифских рядов вылетели наездники, наводившие трепет своим видом. Усатые, рогатые кони с глазами, обведенными белой, синей и красной красками, походили на драконов. Конники, одетые в бараньи шубы, вывернутые мехом наружу, с огромными башнями на головах, дули в костяные трубочки, производившие сверлящий звук, били в медные котлы, раздирали слух звуком трещоток. На концах длинных шестов и копий пылали пучки травы и тряпок. Лошади, запряженные в колесницы, поднялись на дыбы, потом повернувшись назад, устремились на свою пехоту. Боясь быть смятым, пешее войско выставило копья, и колесницы шумным роем помчались вдоль фронта. Ариарамн бросился наперерез, пытаясь остановить, но был опрокинут и над ним пронеслась вся бряцающая и гремящая армада. Когда она схлынула, от полководца не осталось следа. Гроза сражений, бесстрашный Ариарамн был изрезан на части, растоптан и вдавлен в землю колесами, носившими его когда-то к победе. Выведенные из строя до начала сражения колесницы обнажили пешее войско.

На него бешено ринулись скифы. Они мчались с пронзительным визгом, напоминающим вой ветра в трубе. Чтобы выдержать натиск, персы втыкали древки копий в землю, стараясь направить острие в грудь коням. Но скифы, не доходя до линии, круто повернули и поскакали вдоль персидского строя, поливая его дождем стрел. Стреляли с невиданной ловкостью и быстротой. В то время, как четыре стрелы еще висели в воздухе, пятая уже срывалась с тетивы. Персы захлебывались кровью от смертоносного ливня.

За первой волной катилась другая, всё с тем же зловещим воем. Эти потрясали красными древками копий и дротиков, сверкали бронзовыми и золотыми бляхами с изображением зверей, украшавшими седла, уздечки и самую одежду скифов. Персы дрогнули, пятились и щетина их копий, страшная для скифских коней, заколебалась. В следующее мгновение всё смешалось в водовороте человеческих и конских тел. Навалившись горой, скифы ломали правое крыло царской рати. Полководцев теперь занимала мысль: удастся ли Дарию повернуть свой необозримый строй и ввести

в сражение бездействовавшие войска прежде, чем решится участь правого крыла. Приказы царя шли медленно из-за необычайной длины фронта. Не дожидаясь их, отдельные полки стали поступать по собственному усмотрению. Видя катящийся справа скифский вал, пафлагонская конница, сверкая медными пластинами, прикрывавшими грудь, голову и шею коней, сорвалась с места. За ней последовали ассирийцы, парфяне, потом в бой ввязались верблюды. Остальные, кто как мог, спешили к месту сечи.

Персы никогда не знали военного строя, их отряды были просто вооруженными толпами, но у каждой толпы были знамена и предводители, сплотивавшие бойцов во время сражения. Это позволяло хоть немного управлять битвой. Теперь всё смешалось. Валили густой ордой и, сбившись на небольшом пространстве, кричали и толкались, не будучи в состоянии развернуться. Слонов отвели в тыл, боясь, как бы они не потоптали собственное войско. Долгое время нельзя было понять смысла происходящего.

Хотя персы, не выдержав скифского натиска, отступали, но не могли убежать из-за давки и страшного скопления народа. Степнякам не прорубиться было сквозь их толщу. Тогда они отхлынули, как море от берега, и обнажили построившихся в тылу сарматов, одетых в кольчуги и в спущенные на лица железные шлемы с решётками.

Тем временем, с левого крыла шли на помощь персам густые ряды пешего войска, подгоняемого биченосцами. Дарий неистовствовал, требуя, чтобы оно шло быстрее, но ему уже трудно было управлять сражением; лучшие его полководцы погибли. Пали Мифробарзан, Абрак и Адромелак, растоптаны своими же конями Патиагиас и Артапат. Пехота была еще далеко, когда персы, едва успевшие перевести дух от скифского натиска, увидели надвигающуюся стену красных сарматских щитов.

За сарматами шли тавры, тореты, гениохи, пешие меланхлены, андрофаги, аорсы и невры. Дарию не видно было сражения, хотя он стоял на высокой колеснице. Он различал только ряды охранявших его бессмертных, похожих на молящихся в огромном храме, глубина которого тонула в жертвенном дыму. Там, как заросли камыша, качались копыя. Дарию виделась клубящаяся пылью дорога перед Вавилоном, пестрый базар, давка возле колодца в пустыне. Когда в бой

вступили верблюды, это походило на замешательство у городских ворот, неспособных пропустить сразу огромного каравана.

Центр битвы угадывался по самому черному клубу пыли. Там о чем-то настойчиво твердили глиняные барабаны, разрывались трубы и воплем ужаса заливались костяные рожки.

Победа не давалась персам. Ее, как каменный колосс, влекомый на постройку храма, не могли сдвинуть с места, несмотря на усилия многих тысяч рабов. Чутьем опытного полководца царь понял, что настал момент казнить несколько военачальников. Но пока он раздумывал, произошло что-то значительное – точно рухнул большой дом, покрыв всё кругом облаком пыли. Царь потребовал узнать, что случилось, но к нему уже бежал Фарнасп с рассеченным лицом.

– Спасайся, великий царь! Всё погибло!

Четыре телохранителя, по знаку царя, тотчас прокололи его копьями. Дарий велел высоко поднять себя, чтобы быть видным войску. Но войска бежали, опрокинутые и распыленные сарматским тараном.

Скифы приближались к месту пребывания царя. Путь им преградила цепь мардиев, моссиников и фаманейцев, изрубленная в одно мгновение. Тогда открылось свободное пространство и скифы остановились в восхищении. Там, в разноцветных, богато расшитых одеждах, с золотыми обручами на головах и с золотыми яблоками на копьях стояли бессмертные. От них исходил нежный звон. То бряцали маленькие колокольчики, подвешенные к краям щитов. Варвары загляделись на красивое войско и боевой их пыл пропал. Они только постреляли в бессмертных из луков, не причинив им вреда.

Тем временем подошла пехота левого крыла.

Но вспыхнувшая с новой силой битва продолжалась не долго. Персы вдруг начали бросать оружие и с искаженными от ужаса лицами бежали, куда попало. На них, зияя запекшимися впадинами глаз, неслась слепая рать Скунки. Равнина покрылась бегущими. Даже те, что не успели вступить в бой и находились далеко в стороне, побежали. Степняками овладела радость истребления. Они наступали плотной массой и прошло много времени, прежде чем смогли развернуться и взять врага в уничтожающий полукруг. Когда это произошло, персидские трупы стали громоздиться горами.

Тогда над долиной пронесся скребущий за душу крик, заглушивший шум битвы. Скифские кони взвились и шарахнулись назад.

Шерсть на них поднялась дыбом. Их с трудом обуздали и заставили возобновить погоню. Но только успели настигнуть добычу, кони опять на всем скаку повернули обратно, слышав ужасный крик. Ревели ослы. Агелай собрал их вместе и велел нещадно бить палками. Об их рев, как о невидимые скалы, разбивались скифские волны.

Тем временем персы достигли обоза и образовали защитный вал из повозок. Сюда, как овцы в загородку, сбегались обезумевшие войска.

Натиск степняков прекратился.

# ФЕСЕНКО

(урожд. Святенко)

## Татьяна Павловна

*(1915–1995) – поэт, прозаик, критик.*

Родилась в Киеве. Детство пошло в провинции. После окончания ею седьмого класса, семья вернулась в Киев, где Татьяна закончила факультет иностранных языков Киевского университета (1939) и аспирантуру (1941). Студенткой работала в Институте языкознания Академии наук Украины. После получения высшего образования три года была литературным редактором Медико-биологического издательства, затем вернулась в университет.

Перед приходом немцев в Киев отец был арестован. В 1943 в результате поголовного выселения немцами киевского населения с мужем Андреем Фесенко (поженились в 1941) и матерью вывезена в Верхнюю Силезию (Германия) в лагерь для остербайтеров. С 1945 супруги Фесенко жили в лагере ди-пи в американской оккупационной зоне в Западной Германии и, как писала сама Фесенко, «прошли страдный путь “перемещенного лица”». О своей жизни в Киеве и Германии Т. Фесенко подробно рассказала в книге прозы «Повесть кривых лет». Некоторые подробности жизни в Германии нашли отражение в стихотворении «Лесной царь».

В 1950 году все трое эмигрировали в США, где благодаря знанию иностранных языков Татьяна Павловна 12 лет проработала каталогизатором в Библиотеке Конгресса. Ею составлена и научно описана коллекция редких книг 18 века из собрания Г. Юдина, лежавшая в Библиотеке с 1906 года (каталог издан Библиотекой в 1961 году). Перейдя в 60-е годы в издательский отдел магазина Виктора Камкина (крупнейшего книгопродавца и издателя русских книг), Фесенко подготовила и издала Антологию «Содружество» (1966), куда вошли стихи и автобиографии 75 поэтов двух первых эмиграций. О работе над этим трудом уже начинавшая болеть поэтесса сказала в стихотворении «Знаю – муза ко мне не бывала щедра...»: «Я читаю стихи, а стихов не пишу / Согреваясь талантом чужим». Безупречный ху-

дожественный вкус помог Фесенко убедить Камкина выпустить воспоминания И. Одоевцевой, сборник стихов Н. Моршена «Двоеочие» и двухтомник Владимира Корвин-Пиотровского «Поздний гость». С ее участием вышла книга избранных стихов И. Елагина «Тяжелые звезды» – последняя, которую поэт держал в руках.

Собственные стихи Фесенко непритязательны (что она неоднократно признавала и сама: «Старомодно? / Пусть старомодно. / Говорите, что вам угодно – / Я пою, как поется мне»), но искренни. В одних звучат воспоминания эмигрантки о родине («Я себя обману, что мы в лодке / По днепровской несемся волне»; «Киев с каштана в Париже / Посылает знакомый привет»; на Капри «лиловая, словно русская, в плотных гроздьях у дома сирень»). Другие посвящены памяти о любимой маме («Улыбаешься нам из тьмы – / Ты жива, пока живы мы») и встрече с ней там, где «уже уготован дом, / где мы будем всегда втроем»). Пожалуй, ни у одного поэта послевоенной эмиграции нет такой спокойно-философской готовности уйти в мир иной. Не случайно два раздела из ее второго сборника названы «Возраст потерь» и «Вечерняя заря». Еще одна тема стихов поэтессы – любовь. Это и романтическая несостоявшаяся любовь, когда через много лет лирическая героиня Фесенко встретила с тем, с кем ее разлучила война («Почему-то не верится мне...», «Как сплести темноту с тоскою...», «Под знойным небом Аргентины»). Впрочем, немало стихов посвящено и состоявшейся любви – к мужу. Супруги не имели детей, и свои жизни целиком посвятили друг другу. Каждый из них, по воспоминанием В. Синкевич, даже говорил о себе во множественном числе «мы».

В качестве прозаика Т. Фесенко, как уже говорилось, – автор интересных воспоминаний и книги весьма благостных путевых очерков «Глазами туриста». Впрочем, путевые впечатления гораздо интереснее переданы в стихах «В Баварии», «Бургундия», «В Ла Манче», «В Вермонте».

Незадолго перед смертью уже слепая Фесенко выпустила книжечку воспоминаний об Иване Елагине (100 экз.), но была недовольна помещенными в ней фотографиями и надписями под ними.

## Сочинения

Повесть кривых зеркал. – Нью-Йорк, 1963

Глазами туриста. – Вашингтон, 1966

Пропуск в былое. – Буэнос-Айрес, 1975

Двойное зрение. – Париж, 1987

Сорок лет дружбы с Иваном Елагиним. – Париж, 1991.

## Публикации

Борис Крюков // *НЖ*. 1971. № 105.

Возвращение // *Возр.* 1971. № 229.

Гишпанская затея камергера двора // *НЖ*. 1974. № 114.

Детство золотое // *Совр.* 1974. № 26 / 27.

Живой как жизнь. (Письма К.И. Чуковского.) // *НЖ*. 1970. № 100.

Книга о печальных концах // *Совр.* 1969. № 19.

Леся Украинка // *НЖ*. 1971. № 105.

«На руках появились пятна...» // *Совр.* 1970. № 20 / 21.

Немолкнущие голоса // *Совр.* 1972. № 24.

Огненное перо // *Совр.* 1974. № 26 / 27.

По закатным дорогам // *Совр.* 1972. № 24; 1973. № 25.

Послевоенный год // *Мосты*. 1959. № 3.

Производство ненависти // *НЖ*. 1952. № 29.

Проф. Ф. Богатырчук и его книга // *НЖ*. 1979. № 137.

Радиш // *НЖ*. 1973. № 111.

Русские сокровища Библиотеки Конгресса // Отклики. Сборник памяти Н.И. Ульянова. – Нью-Хейвен, 1986.

«Старомодно...» // *Совр.* 1974. № 26 / 27.

Стихи // *Возр.* 1971. № 229.

Стихи // *Встречи*. 1977. № 1983.

Стихотворения // *Возр.* 1969. № 215.

«Я не забуду, нет, я не хочу забыть... Пятая книга стихов Игоря Чиннова // *Совр.* 1973. № 25.

## Отзывы о книгах

Алла Цивчинская. Незабвенное, немеркнущее // *НЖ*. 1964. № 76.

Андрей Седых. Звездочеты с Босфора // *Совр.* 1973. № 25.

Архиеп. Иоанн Шаховской. Биография юности // *НЖ*. 1978. № 132.

В. Богдан. Студенты первой пятилетки // *НЖ*. 1974. № 117.

В. Петров. Завершение цикла // *НЖ*. 1976. № 123.

Василь Барка. Жовгмй князь // *НЖ*. 1964. № 75.

Г. Селегень. Прехитрая вязь // *НЖ*. 1969. № 95.

Е. Рубисова. Огни на дорогах четырех частей света // *Совр.* 1971. № 22 / 23.

Заметки Читателя. Юрий Иваск. Золушка // *Совр.* 1971. № 22 / 23.

Зинаида Аксенюк. Хрустальный звон // *Совр.* 1972. № 24.

Ігор Качуровський. Сгрофмса // *НЖ*. 1970. № 101.

Ирина Сабурова. О нас // *Совр.* 1972. № 24.

Несколько слов о музее музыканта. Третий сборник стихов В. Дукельского // *Совр.* 1967. № 16.

О. Жигалова. Шалая Кассандра // *НЖ.* 1974. № 117.

Українська муза, под ред. Коваленка // *НЖ.* 1976. № 124.

A. Steinger. Literatur und Politik in der Sowietunion. – *НЖ.* 1967. № 87.



## ЛЕСНОЙ ЦАРЬ, 1944

Мелкие росинки словно слезы  
На засохших стебельках травы.  
Сорван ветром с белых плеч березы  
Плащ нарядный золотой листвы.  
Передам нехитрые игрушки –  
Клеил их усердно весь барак,

Чтобы пленным родина приснилась,  
Чтоб у елки стал теснее круг...  
С передачей я поторопилась  
До морозов и слепящих вьюг.

\* \* \*

Я знаю все, печальное и злое,  
Что, не скупясь, нам родина дала.  
Я из дому в недобрый час ушла,  
И вот живу в довольстве и покое,  
Трудом упорным оплатив сполна  
Все, что дала чужая сторона.

Листвой опавшей пахнет на рассвете,  
Но рыжий дуб еще глядит в окно.  
И вы сплетаетесь, сливаетесь в одно,  
И вам двоим дарю я строки эти –  
Листвой опавшей пахнет на рассвете,  
Но рыжий дуб еще глядит в окно.  
И вы сплетаетесь, сливаетесь в одно,

И вам двоим дарю я строки эти –  
Мой край родной, где корни глубоки,  
И край иной – свершений и тоски.

\* \* \*

Шуршат в обгоне шины  
И схватывает нас  
Из мчащейся машины  
Блестящий темный глаз.

Собакам, видно, нравится  
Смотреть так из окна:  
Вот и река-красавица  
Сквозь заросли видна.

Дорога прямо стелется,  
Закат горит огнем.  
Владелец иль владелица  
Скучает за рулем.

А псы глядят внимательно  
В любую пору дня.  
Для них все занимательно,  
Совсем как для меня.

\* \* \*

Я уже собираюсь в дорогу,  
Где движенье в одну лишь сторону,  
Но отправиться в путь не спешу:  
Жизнь просматриваю понемногу,  
Отложу ненужное в сторону,  
Спрячу то, чем еще дорожу,  
Чтобы взять с собой непременно,  
Все, что памятно мне и ценно.  
Не удастся спросить мне совета,  
Как спускаться, нагруженной, с горки

В темь, откуда заказан возврат.  
Мне послужит источником света  
Взгляд твой милый, веселый и зоркий,  
И родной, затуманенный взгляд.  
Груз любви не оттянет руки,  
За чертой не будет разлуки,

Так чего же бояться мне?..

\* \* \*

Почему-то не верится мне,  
Что живешь ты в далекой стране  
И уже примирился давно  
С тем, что встретиться нам не дано.

Примирился?

А, может, нет?  
Может, в сердце оставила след  
Та дорожка, которой не шли  
На другой стороне земли?  
Может, помнится скрытая боль,  
На губах черноморская соль,  
Вереница студенческих дней?  
И не сделало время бледней  
Рыжеватую мягкую прядь...  
Как узнать?  
Впрочем, лучше не знать.

## INDIAN SUMMER<sup>1</sup>

... краснокожей осени сады.

*Иван Елагин*

Нас, рожденных в стране березовой,  
Тешит красок набор небывалый –

---

<sup>1</sup> Indian Summer (англ.) синоним бабьева лета

Этот сумах багряно-розовый,  
Этот клен вызывающе-алый...  
И когда дорогами горными  
Будем снова мы осенью мчаться,  
Нам с индейцами непокорными  
Доведется еще повстречаться.  
Ведь, гордясь родными просторами,  
Каждый год, на короткое время,  
Поражает живых уборами  
Всё индейское мертвое племя,  
Но стрелы не услышим свиста мы –  
Устарели романов страницы:  
Краснокожие только листьями  
Осыпают теперь бледнолицых.

\* \* \*

Когда ты спишь и долетает мерно  
Негромкое дыхание твое,  
Я становлюсь на полчаса неверной  
И покидаю теплое жильё.

Как легок путь в четвертом измеренье!  
Как облик свой меняют города!  
В беззвездном небе всходит на мгновенье  
То белая, то красная звезда.

Я прохожу под самым краем тучи,  
Закрывшей абрис милого Ковша,  
И здесь меня так по-земному мучит  
Привыкшая к сомнениям душа.

Как без тебя томительно пространство!  
Скорей домой, в привычный мой уют,  
Где две руки с чудесным постоянством  
Озябшую беглянку обовьют.

# Филиппов

(настоящая фамилия Филистинский)

## Борис Андреевич

(1905–1991) – прозаик, поэт,  
литературовед.



Родился в Ставрополе в семье офицера царской армии, погибшем в Первую мировую войну. Его мать в советское время стала зубным врачом. Некоторое время учился в Московской классической гимназии, но полное среднее образование получил в Ставрополе. В 1927 году был впервые арестован на 2 месяца за участие в религиозно-философском кружке С.А. Аскольдова<sup>1</sup> «Братство св. Серафима Саровского». Закончив два ленинградских института (восточных языков в 1928-м и промышленного строительства в 1936-м), Филиппов работал в различных строительных учреждениях Ленинграда, а в 1936 году подвергся вторичному аресту и отправлен в Ухто-Печерские лагеря ГУЛАГа. Освободившись в 1941 году, оказался в оккупированном немцами Новгороде. Конец второй мировой войны встретил в Германии в беженских лагерях. Сотрудничал в «Гранях», «Возрождении», «Новом журнале», в русских газетах. С 1950 года жил в США: сначала, как и многие эмигранты, занимался физическим трудом, затем преподавал русскую литературу в различных университетах, работал для «Голоса Америки», печатался во многих периодических изданиях русских эмигрантов.

В поэзии Б. Филиппов говорит о любви, создает цикл «Музыка», пишет стихи об Италии, его вдохновляют псковские храмы и древнерусские легенды. Говоря о «горечи беспредельной вольной доли» эмиграции, о «любобной острой боли», о «страстью захлебнувшейся речи», поэт, тем не менее, утверждает, что и это «беспредельно много» и заслуживает благодарности.

---

<sup>1</sup> Аскольдов (наст. фамилия Алексеев) Сергей Алексеевич (1871–1945) – русский религиозный философ. В 1928 арестован и отправлен в Соловецкие лагеря, с 1935 – в ссылке в Новгороде. После оккупации немецкими войсками Новгорода выехал в Германию. Умер в Потсдаме во время ареста сотрудниками советских органов госбезопасности.

Многочисленные стихи и поэмы Б. Филиппова, несмотря на высокую культуру стихосложения (поэт владеет мастерством версификации, умело использует различные лексические стили: от фольклорно-былинных до изысканной речи серебряного века), явно уступают прозе Филиппова.

Уже в одном из первых своих рассказов «Духовая капелла Курта Перцеля» (1946) показана более чем сложная картина войны, созданы неоднозначные характеры немцев, поднята проблема нравственной ответственности каждого человека. Филиппов убежден, что каждый должен нести в себе нравственные понятия и отвечать за свои поступки. Творческой удачей стала фигура всю жизнь прошедшего в России немца-переводчика Бергфельда (рассказ «Gott mit uns»), отказавшегося уехать с отступающими немецкими войсками. Ему в уста вложил Филиппов русскую мысль о долге интеллигента быть с народом (то, что Бергфельд немец, для автора абсолютно несущественно: в рассказах Филиппова не раз приводится евангельское «несть еллина, ни иудея»). «Я остался страдать и радоваться, умирать и воскресать со своим родным народом, на своей родной земле», – бросает Бергфельд эмигранту Ключаренко, вернувшемуся в Россию с испанскими частями и на первых порах высокомерно пытавшемуся поучать Бергфельда. Писатель настойчиво проводит мысль, что самые бесчеловечные догмы фашизма или коммунизма не могли полностью развратить русский народ. Тот же Ключаренко, на чьих глазах были расстреляны красными отец и дядя, сохранил любовь к родине и сумел увидеть и оценить жизнестойкость и патриотизм русских людей. «Мне казалось, – рассказывает он, – что все мужики должны быть какими-то особенными, насквозь озверелыми большевиками или сплошными мучениками... И вдруг люди как люди: веселые, радушные, простые... И еще: встреча с первыми пленными... Первый, с кем я разговаривал, был молодой парень, из рабочих, видать, коммунист. И – мне стыдно вам признаться, господа, – мне было трудно отвечать ему: выходило так, что не я его, а он меня допрашивает, а я оправдываюсь: – “Да не против России мы пошли, поймите вы”, – кричу я ему. А сам думаю: – а ну, как он прав? А что если, действительно, против родины? А?».

Проблема восприятия жизни и личной ответственности нашла свое продолжение в повести «Счастье» (1948). Здесь впервые появился наделенный автобиографическими чертами рассказчик Анд-

рей, чей образ проходит почти через все произведения писателя. «Где и как встретил я своего героя? – задавался автор риторическим вопросом, предваряя свое “Избранное” (1984), и сам отвечал: – Прежде всего в самом себе. Знаешь-то как следует только себя – чужая душа потемки – и меришь тоже только на свой аршин». Но тут же предупреждал, что рассказы сборника не дневник Андрея или автора: «в них сплав дневника и выдумки, наблюдений и пережитого, своего и чужого». «Андрей, – заканчивал предисловие Филиппов, – живет жизнью своего народа, а жизнь эта неустанно бросает его из семьи в семью, из столицы в лагеря и тюрьмы, из города в город, из профессии в профессию, из страны в страну». Именно так складывается сюжет повести «Счастье». В центре произведения сложные отношения поэта Андрея Софронова с женой русской поэтессой Марией (прообразом которой послужила первая жена Б. Филиппова поэтесса и автор прекрасной монографии о Мандельштаме Ирина Бушман). Действие повести происходит в послевоенной Германии и носит несколько мистический характер: отношения с русской поэтессой Марией, обладающей неумной страстью к действию; судьба сожженной в 15 веке красавицы Марии, страстной любовью совращавшая монахов и потому признанной ведьмой; и знакомство с современной хранительницей ключей от бывшей темницы Марии фрау Мария Холке провоцируют Андрея на размышления о счастье. Потомок приговорившего средневековую Марию к сожжению монаха историк доктор Зигель из рода Зигелей фон Штейнбург князей Химмельсхаймских, чтобы оправдать своего предка утверждает, что «счастье недостижимо», а жизнь всегда «добыча смерти». Доказательство тому: попытка его предка построить Город Счастья не увенчалась успехом. Напротив, русские персонажи повести утверждают, что жизнь вечна, а «распад ее, и элементы смерти, наличные в ней, – от нашего отъединения, самозамыкания, отпадения от Полноты Вечного, от Вечной Полноты». Надо лишь одержать «победу над самим собой и низшим своим “я”», проникнуться любовью к каждому человеку. «Чем больше думаем мы о счастье для всего сущего, всего человечества, тем больше бездушия к нашим ближним проявляем мы. К человеку, к личности, к отдельному лицу», – рассуждает Андрей Сафронов. Характерно, что над этим же задумывается герой пишущегося примерно в те же годы в СССР романа «Доктор Живаго». Другое дело, что в отличие от Б. Пастернака

Б. Филиппову не удалось создать художественно цельное произведение. Наряду с яркими страницами и выразительными фигурами, доктора Зибея, философа-эмигранта Александра Александровича Васильевского в повести много внехудожественных рациональных рассуждений героев. Недостаточно убедительно прорисован образ возлюбленной героя – русской поэтессы Марии. Тем не менее, мысль о необходимости «просветлять жизнь», «устремляться к недостижимому» (этими словами завершается повесть) резко выделяет произведение Филиппова из общего еще очень сильного в литературе первого десятилетия послевоенной эмиграции пессимистического мировосприятия.

Значительной удачей Б. Филиппова стал цикл рассказов о ГУЛАГе. Повествование вновь ведется от лица молодого человека Андрея. Если автора сборника «Тайга» С. Максимова привлекают сюжеты повседневной жизни узников, то в поле зрения Б. Филиппова чаще попадают события драматические, необычные.

Писательское кредо Филиппова уже было выражено в повести «Счастье»: «Не перечерните только, дружище: жизнь и так уже достаточно темновата, не стоит ее сажей замалевывать, а даже и в среде гепеушников встречались великие чародеи и неплохие, в своем роде, человеки». «Человека рисуйте, Андрей Алексеевич, а не плакат для пропаганды».

«Человеки» в их многообразном отношении друг к другу и к жизни и составляют главный интерес писателя. Персонажи лагерных рассказов – люди яркие, самобытные<sup>2</sup>. Писателя интересуют принадлежащие к разным сословиям и национальностям герои. Так в рассказе «Курочка» в домике у буровой собраны вместе заключенные (механик, бывший архиепископ, старовер-начетчик, еврей-часовщик, страстный эсперантист) и очень неплохой человек чекист-геолог. В новелле «Несть еллин ни иудей» писатель сводит чукотского шамана, «осужденного за саботаж и антисоветскую религиоз-

---

<sup>2</sup> Характерно, что Борис Андреев и в личной жизни тяготел к необычным ярким людям. Такой была его мать Лидия Андреевна, до самой смерти сопровождавшая сына в чуждале. Незаурядным сильным и страстным характером и неистовой религиозностью обладала его вторая жена талантливая поэтесса Ольга Анстей, мучавшая его тем, что долго не давала развода. Сильной личностью и сложным характером отличалась и его третья супруга Евгения Жиглевич, с которой он жил до своих последних дней.

ную пропаганду на пять лет»; профессора, бывшего князя Николая Борисовича; еще одного князя старика-грузина Вассо Григорьевича; бывшего гвардейского офицера Николая Павловича; бывшего комсомольца Сережу Новицкого и армянского писателя Вагана Христофорыча, «переименованного» заключенными в Вагона Семафорыча. А в качестве эпизодических персонажей действуют механик и часовщик управленческого лагпункта Самуил Исакович Перовский и о.Агафангел. Еще более плотно «населен» рассказ «О любви, ревности, смерти и других романтических вещах».

Писателю удастся создать не только внешние портреты, но и привычки, передать манеру говорения своих персонажей. При этом весьма часто используются и юмористические детали, штрихи. Шаман перед арестом клялся, что он «православный, большевик». Николай Павлович и Вассо Григорьевич обожают спорить о регалиях разных полков царской армии. Ваган Христофорыч «нервно дергается», когда Вассо поет любимую песню Сталина «Сулико».

Сюжеты рассказов Филиппова внешне незамысловаты и общечеловечны. Филиппов называл их осколками, в которых «отражается как-то мир, отражается и солнце». Условия лагеря, неволи вносят в эти в основном бытовые ситуации трагический оттенок, ведут к разрушению норм жизни и тем более жутковатым финалам, чем более подробно и юмористично показана повседневная жизнь. Рассказ о том, как в песнопении Воскресенья объединились к общему порыве православные, иудеи и даже чукотский шаман, «обильно вымазавший и пасхой, и мясом, и яйцами обоих идолов» своей веры, завершается рассказом о последствиях этого события и предшествующего празднования еврейской Пасхи: «неприметный, худой и сутулый местечковый раввин и тишайший о.Агафангел были осуждены выездной сессией суда Коми АССР за лагерную пропаганду и расстреляны».

И все же в финале (а иногда и в пейзажных зачинах) каждого из лагерных рассказов утверждается мысль о продолжении жизни.

Характерен финал рассказа «О любви...», где автор иронически пародирует возможную критику своей книги: «Но где же композиция в вашем рассказе? Да вы совсем не владеете техникой писательства! Чехов говорил, что ружье, висящее на стене в начале произведения, должно обязательно выстрелить в его конце... А вы... А то – все случайные лица ... Да и не определишь: рассказ ли это, очерк

или фельетон, мемуары? Ералаш какой-то! – возмутится квалифицированный читатель. Да и не определяйте жанра этой вещи, господин доцент литературоведения! Ведь и жизнь-то наша – порядочный ералаш!».

Три названных рассказа написаны в 1945–1950 годы. Позднее писатель вновь обратится к лагерной тематике в новеллах «В тайге» и «Любовь» (1965), «Мотив из “Баядерки”» (1970), «Радость» (1971). Все они отличаются предельной краткостью. Не случайно редактор «Нового русского слова» А. Седых называл Б. Филиппова «Мастером короткого рассказа» (НРС, 1974, 3 нояб.), а критик Б. Нарциссов – «мастером сказа» («Русская мысль», 1975, 14 авг.). Краткость не изменила характерной для творчества Филиппова приверженности к сложным характерам. Рассказы передают его благословление жизни как крестного пути к добру и любви. Не случайно в итоговом прижизненном «Избранном» они помещены под общим заголовком «Кресты и перекрестки».

Творчество Филиппова многогранно и многопланово. Рассказы об эмиграции соседствуют с жизнеописаниями советских людей в довоенную пору, с рассказами об арестах, побегах, страданиях, с «Преданьями старины глубокой» (именно так назвал писатель свою книгу, вышедшую в Вашингтоне в 1971 году). В уже упомянутом итоговом сборнике «Избранное» этот цикл составил последний раздел книги.

К значительным произведениям Б. Филиппова, бесспорно, относятся короткие автобиографические рассказы 70-х годов «Из записок Андрея». Филиппов мастерски передает здесь исконно присущую детям доброту и наивность – качества, которые сохраняют и любимые персонажи его «взрослых» рассказов.

Трудно переоценить вклад Б. Филиппова в публикации произведений русских писателей. Им совместно с Г.П. Струве изданы в США 4-томные собрания сочинений Б. Пастернака (1959–1961) и Н. Гумилева (1962–68); 3-томники О. Мандельштама (1964–69), и А. Ахматовой (1965–83); 2-томные собрания сочинений Н. Клюева (1969) и «Стихотворения и поэмы» М. Волошина (1982–84). Точность и полнота справочного аппарата каждого из названных изданий позволяют отнести к самому Филиппову характеристику, данную им Г.П. Струве: «ученейший академический литературовед».

# Борис Филиппов

## Всплывшее в памяти



## Сочинения

- Град невидимый. Стихи. – Рига, 1944.  
 Кресты и перекрестки. Рассказы. – Вашингтон, 1957.  
 Ветер Скифии. Стихи. – Вашингтон, 1959.  
 Непогодь. Стихи. – Вашингтон, 1960.  
 Сквозь тучи. Повесть. – Вашингтон, 1960  
 Пыльное солнце. Рассказы. – Вашингтон, 1961 с.  
 Бремя времени. Стихи. – Вашингтон, 1961.  
 Рубежи. Стихи. – Вашингтон, 1962.  
 Полустанки. Рассказы. – Вашингтон, 1962.  
 Музыкальная шкатулка. Повесть и рассказы. – Вашингтон, 1963.  
 Стынущая вечность. Стихи. – Вашингтон, 1964  
 Кочевья. Рассказы. – Вашингтон, 1964.  
 Живое прошлое. Литературные очерки. (Кн.) 1. – Вашингтон, 1965.  
 Живое прошлое. Литературные очерки. (Кн.) 2. – Вашингтон, 1973.  
 Тусклое оконце. Рассказы. Стихи. Очерки. – Н.-Й., 1967.  
 Ветер свежее... Стихи и проза. – Вашингтон, 1969.  
 Мимоходом. Рассказы. Легенды. Стихи. – Вашингтон, 1970.  
 Преданья старины глубокой. Рассказы. Легенды. Стихи. – Вашингтон, 1971.  
 За тридцать лет. Стихи. Избранное. 1941–1971. – Вашингтон, 1971.  
 Миг, к которому я прикасаюсь. Рассказы. Очерки. Стихи. – Вашингтон, 1973.  
 Ленинградский петербург в русской поэзии и прозе. – Париж, 1973.  
 То же. 2-е изд., пересмотренное и дополненное. – Париж- Мюнхен, 1974.  
 Память сердца. Рассказы. – Вашингтон, 1974.  
 Сквозь тучи. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. – Вашингтон, 1975.  
 Шкатулка с двойным дном. – Вашингтон, 1977.  
 Мысли нараспашку. (Кн. 1). – Вашингтон, 1979.  
 Мысли нараспашку. (Кн. 2). – Вашингтон.  
 Статьи о литературе. – Лондон, 1981.  
 Избранное. – Лондон, 1984.  
 Влекущие дали дорог. Стихи. – Вашингтон, 1987

## Публикации

- Богдан. Памяти Богдана Ивановича Сагатова – Леонида Богданова // *Грани*. 1961. № 50.  
 Бродяги // *Грани*. 1952. № 15.  
 Бывало // *Возр*. 1970. № 225.  
 Веер нараспашку. Ведьма. Уши // *Возр*. 1970. № 224.  
 Владислав Ходасевич // *Грани*. 1961. № 49.  
 Встречный (рассказ) // *Мосты*. 1961. № 8.  
 Вячеслав Иванов // *Грани*. 1973. № 89 / 90.  
 Глухие времена стенанья // *Грани*. 1951. № 21.

- «Жестянкой ржавой зачерпнул воды...» // *Грани*. 1955. № 24.  
Заметки к поэме А. Ахматовой // *Возд. пути*. 1961. № 2.  
Заметки о поэзии Бориса Нарциссова // *Грани*. 1977. № 105.  
Золотые яблоки // *Лит. совр.* 1954.  
Идиллия. Мотив из Баядерки. Сыновья // *Возр.* 1970. № 221.  
Из книги Музыкальная шкатулка // *Грани*. 1961. № 49.  
Из рассказов Т. Осадчука, персонального пенсионера // *Возр.* 1970. № 219.  
Из старой записной книжки // *Возр.* 1971. № 233.  
Из цикла-стихов «Песни»: Чудодей песни. Наброски о Н.А. Римском-Корсакове // *Грани*. 1947. № 3.  
К. Леонтьев и эстетика жизни // *Грани*. 1955. № 24.  
К столетию со дня рождения М. Волошина. Поэт контрастов и мятежей. – *Вестник*. 1977. № 120.  
Кресты и перекрестки // *Возр.* 1951. № 16.  
Курятник радости // *Мосты*. 1966. № 12.  
Лимонарь псиный (рассказы и стихи) // *Мосты*. 1970. № 15.  
Мив // *Возр.* 1971. № 231.  
Монастырь // *Грани*. 1950. № 9.  
Музыкальная шкатулка. Повесть // *Грани*. 1960. № 47.  
Не лира, но кисть // *Грани*. 1973. № 89 / 90.  
Не мир, но меч. Заметки о Достоевском // *Возр.* 1971. № 235.  
Николай Клюев // *НЖ*. 1948. № 19.  
Николай Клюев // *Возд. пути*, 1965. № 4.  
О замолчанной. (Несколько слов о поэзии Марии Шкапской.) – *Вестник*. 1971. № 100.  
О многом. (Из книги Кресты и перекрестки.) // *Грани*. 1951. № 12.  
О прозе Пастернака // *Возр.* 1971. № 228.  
О рецензии Георгия Иванова на Собрание сочинений Осипа Мандельштама // *НЖ*. 1956. № 45.  
Памяти А.В. Тырковой // *Грани*. 1963. № 53.  
Паозер // *Возр.* 1971. № 230.  
Переиздания книг Бердяева // *Возр.* 1971. № 236.  
Петроград-Ленинград. (Литературный комментарий к *Медному всаднику*.) // *Грани*. 1950. № 10.  
Под звездой Маир и солнцем Ленина. К 50-летию со дня смерти Ф. Сологуба. – *Вестник*. 1977. № 123.  
Политический эмигрант // *Грани*. 1952. № 15.  
Поэт теургического действия // *Грани*. 1960. № 48.  
Природа и тюрьма. (О творчестве Абрама Терца и Николая Аржака.) // *Грани*. 1966. № 60.  
Пыльное солнце. Рассказы // *Грани*. 1960. № 45.  
Радость // *Возр.* 1971. № 229.  
Разговор по поводу и без повода // *Грани*. 1959. № 44.  
Разговоры обо всем понемногу // *Мосты*. 1970. № 15.

- Растрелли // *Грани*. 1948. № 4.  
 Святое Паозерье // *Грани*. 1950. № 9.  
 Сказание о простеце, его жене, калеке и псе верном // *Возр.* 1970. № 222.  
 «Скрипнула лестница. Ангел вошел...» // *Грани*. 1955. № 24.  
 Стена // *Грани*. 1954. № 22.  
 Стихи // *Грани*. 1959. № 44.  
 Стихи // *Встречи*. 1979, 1982, 1984–1986, 1988, 1991.  
 Страстное письмо с неверным адресом // *Мосты*. 1962. № 9; 1963. № 10.  
 Счастье // *Грани*. 1953. № 18.  
 Цыганский романс // *Грани*. 1965. № 57.  
 Это только мучительный шум // *Грани*. 1960. № 45.

### Отзывы о книгах

- А.А. Боголепов. Русская лирика от Жуковского до Бунина // *НЖ*. 1952. № 31.  
 Анна Ахматова. Избранные стихотворения // *НЖ*. 1953. № 32.  
 В. Марков. Приглушенные голоса // *НЖ*. 1952. № 31.  
 Михаил Коряков. Освобождение души // *НЖ*. 1952. № 30.  
 Неизданный Гумилев // *НЖ*. 1952. № 31.  
 Погорельщина. Н. Клюев // *Грани*. 1957. № 34 / 35.  
 Р.В. Иванов-Разумник. Тюрьмы и ссылки // *НЖ*. 1953. № 33.  
 Ю. Елагин. Укрощение искусств // *НЖ*. 1952. № 30.



### ИЗ ЗАПИСОК АНДРЕЯ

#### Гнедко

До сельской лавчонки было не больше двух верст, и отец приказал поэтому запрячь Гнедка в двуколку. Уселись в нее денщик Павел, лениво пошевеливающий вожжами, и моя мать, ехавшая за какими-то закупками. В ногах у них угнездился и я. Отец решил пройтись пешком.

Мы, молодые, едем, а старик пешки, – с детской фамильярностью избалованного либеральными господами денщика кивнул на моего тридцатичетырехлетнего отца Павел.

Я молча выпрыгнул из двуколки и зашагал рядом с отцом.

Куда ты, – ведь и дождик стал накрапывать...

Мне уже пять – я мужчина. И я в калошах.

Вернувшись домой, в военный поселок песчано-хвойного Забайкалья, я молча уселся у себя в детской и долго-долго выводил аршинные буквы стихотворения, сочинявшегося мною по дороге в лавку. Буквы – хмельные – валились в разные стороны, русское *И* походило скорее на латинское заглавное *N*, так как мне вообще долго не удавалось протянуть перекладину *И* снизу вверх, – но стихи все-таки были записаны, и я сам с удовольствием видел их перенесенными на бумагу:

Дождь идет и я иду,  
Потому что я в калошах.  
Ну, а как босая лошадь?!

Взрослые не поняли обуревавшего меня сознания мировой неправды. Они даже улыбались:

Но ведь и твой отец без калош.

Он – офицер. Военные калош не носят. А Гнедко – наш, он штатский, не строевой. И у отца сапоги. Что они – фунт дыма?..

Я бережно сложил вчетверо листок со своими первыми в жизни стихами, положил его в карман вместе с половиной купленных мне сегодня карамелек, – и неприметно юркнул на конюшню.

– Кушай, бедный, кушай, Гнедко, – угощал я лошадь карамельками прямо с липкой ладошки.

Гнедко деликатно брал сладости своими нежными бархатными губами, а я не мог вдосталь наумиляться своей добротой и справедливости.

1974

## О лошади, которая давно

Для пятилетнего совершенная загадка – ум и чувство справедливости взрослых. Нет, взрослые, очевидно, до чего-то не доросли.

Была вот у нас, как и во всех тогдашних интеллигентных семьях, толстенная книга в переплете цвета схимнического гроба. Звалась

эта глыба «Русской Музой», и была составлена по всем правилам тогдашнего социал-этического слезомудрия. Были там чудовищные вирши всяческих Михайловых, Гольц-Миллеров, Надсонов, П.Я. – но были все-таки и Пушкин, и Лермонтов. И прочли мне оттуда «Песнь о Вещем Олеге», до слез меня возмущившую. Как! Верного, доброго коня сослали до смерти куда-то из-за предсказания выжившего из ума кудесника!

Когда – после обеда – взрослые ушли к кому-то в гости, я, вооружившись ножницами и клеем, всецело погрузился в вырезывание гнусных страниц из «Русской Музы». Если же на оборотной стороне зловредного стихотворения было напечатано произведение маломальски морально приемлемое, я просто склеивал вместе возмущавшие меня страницы. Мое рвение не пощадило и случайно встретившегося мне «Василия Шибанова» – зверский поступок его барина и свирепость Грозного заставили меня горько плакать.

– Это ты, болван, испортил «Музу»?! – набросился на меня отец.

– От него только и жди какой-либо каверзы, – и в кого он таким уродился? – совершенно нелепо сказала мать.

А я никак не мог уразуметь: неужели родители всерьез могут сохранять такие подлые, такие возмущающие душу рассказы и стихи? Ведь их нужно сразу же уничтожать, чтоб и духу их не было в доме.

– Но ведь Олег так зло поступил с лошадкой...

– Да ведь это – стихи, и это было уже так давно, – возразил отец.

А, значит, если лошадь, которая давно, так с ней все можно? Нет, пусть давно, а я не хочу, я не хочу, не позволю!!

1974

## **Духовая капелла Курта Пёрцеля**

Если играть на засурдиненном эс-кларнете, звук получается трогательно-детский, наивный и нахально-визгливый при этом. Он чрезвычайно подходит для сольной партии в попури из немецких детских народных песенок, исполняемых духовой капеллой Курта Пёрцеля. Курт знает это и никому не уступает кларнетной сольной партии. Когда он повизгивает на коротком кларнете с огромной грушей сурдины в раструбе инструмента какую-нибудь «Лорелею», –

Карл Иодль аккомпанирует ему на баритоне, а старый Фриц Любке играет роль органного пункта, выдувая отчаянно-низкие хриплые ноты из своей начищенной до солнечного блеска геликон-тубы. Остальной оркестр гибко подыгрывает им, а лысый хромой Ганс Герман так равнодушно выстукивает на большом барабане такт, так отчаянно бьет в тарелки, так сентиментально вызванивает на треугольнике, что опившиеся дурным пивом посетители ресторана вскидывают плечами и, подняв палец, шепчут: «вундершён!». Сам Курт Пёрцель, повернувшись к оркестру спиной, кланяется публике своим визгливым инструментом, раскачивается на пританцовывающих волосатых ногах в коротких баварских кожаных штанах, вихляет задом, и всем своим телом дирижирует капеллой. Капелла большая, человек в тридцать, и все они немолоды, самому юному из музыкантов больше сорока, а у многих лысые черепа лишь по краям как бы заклеены двумя-тремя прядями седых волос. Весь оркестр – в баварских крестьянских костюмах – коротких кожаных штанах, засаленных, как подсказывает приличие, и вышитых, как подсказывает фантазия. Белые чистейшие накрахмаленные рубашки, заправленные в штаны, кожаные помочи с овальной, кожаной же, расшитой многоцветным узором соединительной бляхой на груди, черные пропотелые около лент шляпы с высоченными белыми перьями...

Сидит на камне Лорелея  
И чешет гребнем волоса...

Где я в последний раз видел эту Лорелею? Ах, да! Я видел ее в окне лучшей парикмахерской одного франконского городка. Стекло огромного окна горело на солнце кроваво-красными, фиолетовыми, синими и густыми зелеными тонами. На сиренево-зеленой скале оконного сказания сидела пышнотелая Лорелея и расчесывала золотую гриву волос. А над маленьким алым солнцем, наполовину окунувшимся уже в мутно-зеленую воду баллады, стоял в легком челноке коричнево-розовый юноша рыбак, зачарованный стеклянной песней немецкой сирены:

Рыбак себя не пожалеет –  
Чарует русая коса...

Чем-то неуловимым Курт Пёрцель, сильно потраченный жизнью пятидесятилетний крепыш, напоминает, этого юного рыбака... А может быть, еще кого-то?

Как смешён Карл Иодль! Все зовут его фельдмаршалом, и Иодль не обижается. Он вообще мирного нрава, и обидеть его невозможно. У Иодля нет ни шеи, ни затылка. Круглая красная голова без единого волосика, с багровыми щеками и малиновыми жилками на мешках под маленькими блеклыми глазами какого-то неопределимого цвета, – эта голова насажена прямо на столь же круглый торс, из которого чуть выпущены толстые окорока коротышек-ног. Ни талии, ни спины, ни груди, ни живота: сплошное брюхо: фигура, как бы специально приспособленная для выдувания на баритоне мощной звуковой волны, – и когда Иодль тянется брызжащими слюной губами к своему инструменту, вы чувствуете их неслиянную нераздельность: инструмент ли вырастает в Карла, или Карл вырастает, как нарост на баритоне? – Да не все ли равно!..

Ах, берегись, рыбак, ундины! –  
Не избежать тебе пучины...

Фриц Любке очень стар. Он носит, однако, начерненные до цвета воронова крыла усы, какие носил сам кайзер Вильгельм, за которого сражался он под Варшавой и Псковом. Кряжистый и упругий, он уверенно расставил свои круглые сизые колени и, оперев на них свою геликон-тубу, весь свирепо пузырится, рвякая и хрипя –

Но песнь светла и широка,  
Прекрасна белая рука...

– Дзы-дрнь-дринн-бумм-бумм! – Ганс Герман мог бы без грима играть Смерть в каком-нибудь баварском масленичном балагане. Почему это так бывает, что ударники в оркестре всегда имеют такой тощий, безнадежный и постный вид? Безразлично глядят на свет Божий бесцветные пустые глаза. Запал глубоко и безрадостно беззубый рот. Впалая грудь и втянутый живот. Чуть кривоватые волосатые костистые ноги – все в мелкой сетке сосудов и с крупными желваками набухших вен. Сплошная мнимая величина, квадратный корень из минус единицы...

Кого мне напоминают эти оркестранты? – Вспомнил, наконец: в глухой псковской деревне Н. стоял отряд СС. Командир – обершарфюрер Курт Пёрцель – был достаточно добродушным баварцем, исполнительным, хорошим службистом. Он был ефрейтором еще в конце первой мировой войны, и часто шутил со своим писарем Фрицем Любке, земляком и даже односельчанином:

– Фриц, фюрер также начал свою карьеру в чине ефрейтора, – на что Любке отвечал, закручивая свои вильгельмовские усы:

– Желая и вам, господин обершарфюрер, такой же карьеры! Оба весело хохотали, а переводчик Карл Иодль прибавлял, подмигнув обоим и хлопнув себя по уемистому чреву, сжатому, как тисками, кожаным поясом с бляхой, изрекавшей «Верность – моя честь»:

– А не прикажет ли наш обершарфюрер поставить – по этому случаю – бутылочку шнапса?

И шнапс чаще всего появлялся на столе.

О политике никто из них не говорил ничего или почти ничего. Надоело. Да и изверились. Все они побывали и под Ленинградом, и в боях за Кубанское предместное укрепление. Только иногда Пёрцель задумчиво барабанил пальцами по окну, вполголоса мурлыкая Фрицу Любке:

– Богатая, хорошая земля... И бабы здесь хорошие, красивые, крепкие, веселые... Знаешь, Фриц, как зовут мою подружку? Ее имя совсем как твое: Любке... Она жена русского унтер-офицера и очень хорошая женщина. Если бы не раса...

И он настороженно замолкал. А Любке продолжал глядеть в маленькое окно избы с пузырчатými стеклами, за которыми догорал закат. И необозримая равнина, перерезанная рекой в зеленеющих уже берегах, манила, звала, тревожила душу чем-то непривычным, неизвестным. И Любке цедил сквозь зубы:

– После окончания войны хорошо бы получить вот именно здесь обещанное поместье, переехать сюда со всей семьей, осесть в этой богатой дикой стране... А какая здесь ширь! Никаких гор, а земля-то хороша как!

Когда Пёрцель бывал дома, он любил возиться с трехлетним мальчонкой своей подруги Любы. Мальченка уже довольно хорошо лопотал по-немецки, и вся команда перекрестила его из Вовки в Петра:

– Так будет лучше... Петер, хочешь бонбон?

Баловали его все, да и вообще деревенским ребятишкам перепала от тоскующих по дому и родным бабам солдат не малая доля сластей и вкусных вещей. А Пёрцель носился по избе с Петером на руках, носил его на шее, качал, подбрасывал, подпевая:

Сидит на камне Лорелея  
И чешет гребнем волоса...

С Любой Курт жил душа в душу. Хозяйственная, положительная, рослая и полнотелая солдатка немного научилась говорить «по-германскому», не признавая только никаких падежей и спряжений, а Пёрцель старательно заучивал по «шпрах-фюреру» «русские слова и выражения, особенно солдату необходимые»:

– Любка, пойдем шляфен...

– Нике гут, Куртик, зо фри: камрады ин хауз зайтить могут...

Люба обстирывала, обшивала Курта, кормила его вкусными русскими блюдами, переваривая и пережаривая на свой лад скучное казенное довольствие – с некоторыми туземными добавлениями. И никто в деревне не осуждал ее, ибо многие и очень многие бабы и девушки обзавелись уже немецкими камрадами и даже имели от них ребят или готовились стать матерями. Люба тоже уже несколько месяцев носила в себе маленького Вилли или Фрица.

Как-то, беспорядочно и безуспешно обстреливаемый немецкими зенитками, над деревней пролетел советский самолет, успевший сбросить что-то странное. Когда разбежавшиеся было в панике солдаты и мужики снова собрались на улице перед недавно восстановленной церковью, они, – сначала боязливо, затем осторожно, а потом всё смелее и смелее, – стали подходить к небольшому разбившемуся вдребезги ящику, и обнаружили целую пачку свивальников, пеленок и подгузничков с надписью на русском и немецком языках: «Русским бабам для их немецких ублюдков»...

Мужики и солдаты захохотали – кто и не очень весело, – а бабы пригорюнились и всплакнули. Понахмурился и Пёрцель: он не верил, что его Аннализе дождется его с войны с безгрешным лоном. Разве только скинет разок-другой...

– Ну, чего нахмурилась, – буркнул он Любе: – мужа, что ли, вспомнила?! – И уже враждебно посмотрел на нее: – Все вы, бабы, слабы на этот счет...

– Не тебе бы, Курт, меня попрекать...

– Ну, ладно...

Вечером за шнапсом собрались Пёрцель, Любке и Иодль. Все хмуро пили водку и отмахивались от Любы, предлагавшей гостям закуску.

– А они все-таки правы, эти русские свиньи-летчики... Мужчины воюют, а бабы забавляются. Кто с врагами, кто с пленными. Не дело это...

– А как без э т о г о проживешь? Мы – солдаты, а не монахи, – подмигнул «фельдмаршал» Иодль.

Но веселая попойка так и не ладилась. Выручили вкусные любимы кокорки, обильно заправленные салом, да и сама она, веселая, румяная, круглая. Как всегда бывает с веселыми и жизнерадостными русскими людьми, она для подъема настроения запела протяжную унылую русскую песню. Голос был у нее хриповатый, немного резкий, но верный. Затем, подойдя к раскричавшемуся Вовке-Петеру, она запела детскую песенку:

Пошла девка-семилетка  
В сыр-дремучий лес гулять...

Солдаты развеселились, позвали бабу с малышом – и каждый сунул Вовке тюбик немецких конфет-колечек – эфемерных и с пронзительным химическим вкусом, но радостно-пестрых. А Курт Пёрцель, обхватив Любку пониже талии и подсадив Петера на колено, запел свою излюбленную Лорелею...

Недели через две толстый переводчик Иодль допрашивал мужика, обвинявшегося в сношениях с партизанами. Иодль очень плохо знал тот смешной польско-украинский жаргон, которым говорят галичане, искренне считающие его «литературным украинским языком». Для псковского же мужика, не мигая смотревшего на допрашивавшего толстяка, этот жаргон был абсолютно непонятен.

– Он упорно запирается... скрывает правду. Я заставлю его говорить, Ганс! А ну-ка, ударь его еще разок по ребрам!

И тощий, равнодушный Ганс Герман флегматично ударял мужика по бокам, бил без злобы, без ожесточения, – по службе и долгу солдата.

Вешали мужика в сумерки у церковных ворот, согнав всю деревню на показательную казнь. Вешали его Герман и валторнист опереточной труппы откуда-то из Верхней Баварии – синеглазый плотный мужчина, хорошо и ладно скроенный и достаточно интеллигентный. Он сильно интересовался Россией, читал в немецких переводах «Войну и мир» и романы Мережковского.

Район был объявлен партизанским, и отряду было поручено – для устрашения населения – произвести экзекуцию в нескольких селах и деревнях. Всё взрослое население в них было разделено на несколько категорий: трудоспособные отправлялись на оборонные работы в Германию, в особо-режимные остовские лагеря; часть мужчин и всё нетрудоспособное население должно было быть сожжено вместе со своими домами; всё имущество и скот реквизировались, а дети до шестилетнего возраста отбирались и отправлялись «для сортировки» в Ригу... В число подлежащих примерной экзекуции деревень попали и деревня, где стоял отрядик обершарфюрера Пёрцеля.

Тяжело было Пёрцелю, ох, как тяжело! Но – приказ есть приказ! Его надо исполнять, ибо что было бы с великой армией и всем народом, всей его страной, если бы не исполнялись приказы, исходящие, в конечном счете, от самого фюрера?! Под конец Курт не выдержал и – под великим секретом – сообщил о предстоящем своей Любке:

– Беги. Только молчи, пожалуйста, – и он два раза обнял неподвижно остановившуюся с открытым ртом бабу, но так и не решился ее поцеловать. Вовке-Петеру он подарил шоколадку и несколько раз поцеловал его:

– И у меня в деревне растет такой малыш... Только на восемь месяцев старше...

Через четверть часа вся деревня знала о приказе. Кое-кто успел ускользнуть, но большинство, движимое алчностью к горбому доброму, осталось...

Вначале нехотя, с отвращением, приступили солдаты к окружению деревни. Помогал отряд латышских эсэсовцев, мстивших псковским мужикам за своих родственников, угнанных в приполярье и Сибирь. По мере того, как загорались одна за другой избы – вместе с загнанными в них мужиками, подозрительными или нетрудоспособными, – росли ожесточение и какой-то азарт точного исполнения приказа. Выволакивали девок, часто своих вчерашних подруг, выхватывали парней и баб – под конвоем гнали их к грузовикам, а погру-

жив на пятитонки, везли к теплушкам, чтобы гнать их дальше на Запад. Многих же загоняли прикладами и штыками в горящие дома, били, стреляли и зверели всё больше и больше. И лишь хмурый Ганс Герман сделал вид, что ничего не замечает, когда у него из-под носа ушли какой-то статный парень со ссадиной на лбу и молодайка с девчонкой-двухлеткой на руках.

Ушла ли Любка? Унесла ли она Петера? Пёрцель старался не думать об этом. Было как-то странно: так чувствуют себя после большой любовной неудачи...

Любке же, так странно напоминавший своим именем возлюбленную Курта, был страшен: он с раздувшимися ноздрями и с какими-то сладострастными огоньками в глазах носился от одной горячей избы к другой...

Потом грузили детей. Нет, Петера-Вовки среди них не было. А один из мальчуганов, маленький, шуплый, конопатый, рассказывал переводчику Иодлю, не слушавшему, да и не понимавшему мальчишку:

– Мамку отправили в Ерманию, баушку сожгли: она ведь работать уже не может...

Сидит на камне Лорелая  
И чешет гребнем волоса...

---

Все посетители ресторана приподнялись со своих мест. Курт Пёрцель оставил свой кларнет. В его руках дирижерская палочка. Плывущие, подпрыгивающие, задорные звуки лендлера. Из оркестра выходят три пары: три немолодых баварки в крестьянских костюмах: красных мелкосборчатых с черной оторочкой юбок, раздувающихся клешем, в белых нитяных домодельных чулках и белых панталонах в несколько кружевных этажей, видимых зрителям во время вихревого кружения; три баварца от пятидесяти до шестидесяти лет, не меньше. Они хлопают себя ладонями по коленам, по задку, по подошвам грубых башмаков. Они обнимают своих партнерш то спереди, то сбоку, то сзади, вертят их на вытянутых вперед руках, подскакивают к ним сбоку и лихо целуют в висок или лоб...

Ганс Герман уныло стучит в большой барабан. Он не так давно вернулся из русского плена. Страдал там, главным образом, из-за от-

сутствия известий из дому. И не нашел своей деревни. В соседней деревне ему сообщили, что от его деревни не уцелело ничего – она была начисто снесена налетом американцев. В живых осталась только, может быть, Траути, жена каптенармуса их части, еще томящегося где-то в Сибири. Но она уже родила двух негритят и работает на кухне у негров.

Рыбак себя не пожалеет –  
Чарует русая коса...

В парикмахерской, где в окне пела русокудрая Лорелея, мастер, подстригавший меня, тоже был в русском плену. По моему акценту он мигом опознал во мне русского. И даже обрадовался:

– О, какая хорошая страна! Но не одни мы виноваты в этой войне.

– Конечно, не только немцы.

– Да, виноват – международный империализм. И наш, и советский, и капитал Америки, Англии...

Мне стало скучно.

... А оркестр опять заиграл детские песенки, но солировал уже баритон – толстый Иодль, выдувавший такие причудливые арабески, что все слушатели в восторге шептали: «Вундершён!»...

## Курочка

Домишка стоял вне зоны, то-есть вне окруженного тыном и колючей проволокой с вышками для часовых и вахтами для комендатуры поселка заключенных. Это был старый расщелившийся буровой барак, и стоял он неподалеку от двадцатой буровой – полузаброшенной скважины радиоактивной воды с самой высокой на Ухте деревянной вышкой. Вышка эта даже служила неким эстетическим мерилом для заключенных, и когда Вера Хлыновская, высоченная веснушчатая девушка лет под тридцать, с вертлявыми полушариями выступающего из-под любой юбки зада и с тыквообразными грудями, кокетливо трясла рыжими стриженными кудряшками и – закусив удила – флиртовала с очередной жертвой, повизгивая от восторга победы, – начитанный инженер Павел Васильевич говаривал:

Плачь, сердце, плачь!  
Покоя нет. Степная кобылица  
Помчалась вскачь, –

ну, а большинство просто усмехалось: – «Опять наша “Двадцатая Буровая” нового хахаля осваивает»...

Берега Ухты – оба в этом месте обрывистые – густо заросли кустарником, особенно шиповником, и летом и ранней осенью здесь было сказочно-красиво. Да, господа! Что вы там ни говорите, а, быть может, нет бдлыней красоты, чем русский север, чем приполярье! Огромные северные лиственницы, стройные, с высоко-высоко начинающимися кронами золотых к сентябрю хвойных вершин, скалистые берега мелководной Ухты, к осени легко переходимой вброд, а по весне бурной и даже судоходной – правда, только для плоскодонных катеров, – многокрасочное горение ярчайших и духмяных цветов, и, главное, небо: ясное, высокое, нежнейших акварельных тонов беспредельное небо... Лиственницы же древние, древние. Как-то раз мы с Павлом Васильевичем подсчитали на пне срубленного полутора-охватного ствола число концентрических слоев и прослоек:

– Э, да ствол наш был современником Батыева нашествия! Знаете, Андрей Алексеевич, что есть особая наука – фитоархеология? По состоянию того или иного из слоев среза: плотный ли он и узкий, широкий ли и крупно-зернистый, – можно примерно установить погоду, количество осадков и урожайность соответствующего года в данной местности. Ну, вот, во времена, скажем, Никиты Пустосвята и гонений на раскол при царевне Софье, сюда бежало много расколуучителей. Посмотрите: сухое, неплодное лето стояло тогда на Ухте. Худо пришлось в том году беглым: ни грибов, ни хлебушка аржаного не было вдосталь в те поры всем этим старцам Досифеям, Питиримам да Нифонтам...

В домике у буровой жили в тридцать седьмом году инженер производственно-технического отдела лагеря, механик Павел Васильевич; работник центральной аптеки лагеря, бывший архиепископ Виталий; старовер-начетчик из Суздаля Архип Сергеич; Невельский часовщик, последние перед арестом годы живший в Ленинграде, Самуил Исакович Перовский; страстный эсперантист, технолог проектного бюро Ричард Тадеушевич Цивильский, и я, недавно поселившийся с ними, самый молодой и еще не приобвыкший лагерник, инженер-экономист плано-производственного отдела.

Виноват! Кроме нас, перечисленных выше, в домишке, состоявшем из двух клетушек с двойными деревянными нарами и грубо сколоченным столом и скамейками, – жили еще старая пестрая курица Мавра и тиграстый кот Памва Берында.

Самым старым в нашей компании был владыка Виталий. Это был шестидесятипятилетний плотный мужчина, высокий, стройный, очень красивый и моложавый. Южанин по рождению и месту служения своего, он и говорил мягко, чуть с придыханием произнося букву «г» и невольно немного грассируя, не по-барски, а как-то по особенному. Был владыка болезненно чистоплотен и вечно выговаривал Самуилу Исаковичу и Ричарду Тадеушевичу за их неряшество в костюме и беспорядок в содержании их коек. Выговаривал мягко, деликатно, но настойчиво. И не раз смущал их и доводил до слез, прибирая в их отсутствие их койки и заштопывая их прохудившуюся одежду и рукавицы.

– Ну, сто зе вы izdelали, владыко? Ну, как это мозно? – почти плакал красный от стыда и умиления Самуил Исакович. А Цивильский молча забирался в свой угол и неловко и неумело начинал пришивать к старенькому бушлату осыпавшиеся пуговицы...

Работал владыка в аптеке лаборантом, и Яков Самсонович, старый фармацевт, уже досидевший свой десятилетний срок за «вредительство» и теперь оставшийся на Ухте по вольному найму (уйти из лагеря он всё равно никуда не мог: статья его была волчьей, и хода ему не было никакого), Яков Самсонович не мог нахвалиться владыкой Виталием: «Вот это – работник!». Когда же владыка в свободное время переплел аптечные книги в изящные переплеты (а был он страстным любителем книги и прекрасным переплетчиком), Яков Самсонович, темпераментный и веселый одесит, не выдержал: пританцовывая, он подбежал, круглый и плешистый, к архиепископу, и обнимая его, кричал:

– Берите, владыка, что хотите из аптеки! Хотите – снесите литр спирту-ректификату вашим сожителям!

И владыка, нужно признаться, пожалел нас не дидактически и не формально, а глубоко по-человечески: он взял подарок, и наше пиршество было радостным и ясным.

– Владыка, а почему бы и вам не выпить маленькую стопочку? Помните, у Чехова, – «ее же и монаси приемлют»...

– Пейте, друзья мои, – я не могу.

Был он чрезмерно воздержан в еде, и когда, после получения кем-нибудь из дому посылки, начиналась вакханалия «лакомствования», владыка не отказывался от угощения, но потихоньку припрятывал большую часть вкусных вещей. И часто нас же угощал припрятанным – в тугие времена, когда не было ни посылок, ни возможности достать что-нибудь на стороне – из магазина вольнонаемных или лагерного ларька.

Принадлежала владыке наша курочка, всеобщая любимица пеструшка Мавра, названная так почти всеми единогласно. Морщились только владыка и старовер Архип Сергеевич: – Христианское имя... Нельзя шутить с именами!» – И звал ее владыка «Пеструшкой», а старовер «животинкой Божьей» или просто – коротко и кротко: «тварь»... Курица была стара-стара, – ее уже ветхой и больной получил в подарок от Якова Самсоновича владыка:

– Сварите себе, владыка, суп! Она нестись уже давно не может...

Все мы берегли ее, как зеницу ока, оберегали от неоднократно покушавшихся на нее у р о к (уголовников), оберегали и от своего брата – изголодавшегося политического...

В обеденный перерыв и по вечерам все сходились в домишку и делились впечатлениями и новостями дня. Новости, именуемые в тюрьмах и лагерях «радиопараши», все были невеселые и тусклые. Иногда только оживлялись они каким-нибудь совершенно невероятным слухом, приносимым обычно или Ричардом Тадеушевичем или Самуилом Исаковичем. Оба были легковверны, легко возбудимы, склонны к преувеличениям и сгущению красок:

– Ну, что-то расскажут сегодня наши п а р а ш ю т и с т ы?..

Курица слушала, как и все мы, радиопараши и новости, глядя боком на рассказчика суровым, старым куричьим глазом.

– Чисто городской али милицейский чиновник, – ишь, глаз какой сурьезный, – говаривал про Пеструшку Архип Сергеич, – и ласково потрепав ее по спине, прибавлял: – Тоже ведь тварь Божия... понимает... – и насыпал ей много крошек и ошмотков хлеба: служил он пекарем в лагерной хлебопекарне. Затем он вытаскивал из кармана мелкую рыбешку и заставлял служить своего кота, тёршегося у его ног с хриплым мурлыканьем: – Ешь, Берында, ешь, милуша...

– Сергеич, как же это вы протестуете против того, чтобы мы животному христианское имя давали, Пеструшку Маврой кликали, а сами своего кота Памвой Берындой зовете? Ведь это не только хри-

стианское имя, но даже имя монаха, ученого автора первого русского лексикона?

Архип Сергеич отмалчивался, хитро поглядывая на нас и поглаживая волосатой рукой, сплошь покрытой крупными веснушками, редкую рыжую прямоволосую бороду. А в глазах его, значительно усмехавшихся, мы читали: «Никонианец, он, кажись, был али полувер киевский, – Памва Берында энтот»...

– Ну, ешь, тварь, ешь рыбёшку-то...

Кот урчал, но охотно уступал Пеструшке рыбий глаз, и курица усердно клевала его – без какого-либо заметного результата.

Спали и курица, и кот в-обнимку – в ногах то владыки, то Самуила Исаковича, но чаще всего у владыки и Архипа Сергеича. Остальных коек твари не хотели признавать, и Цивильский даже обижался на них: «Чем мы-то хуже»... А кот месил лапами колени своих любимцев, громко тархтел и мурлыкал. Мавра склоняла набок сморщенную голову и от наслаждения прикрывала глаза...

Вечерами Архип Сергеич водружал на немного скривленный (участие в кулачном бою в ребячестве) нос железные очки, с залепленным черным воском треснутым левым стеклом, и читал то авву Дорофея, то растрепанный и замусоленный том творений св. Иоанна Златоуста, то творения Аввакумовы. Иногда Павел Васильевич задира л нашего старовера:

– Сергеич, как же это вы никонианское издание Златоуста читаете?! Ведь ересь же это антихристова, искажение слов святителейых...

Владыка хмурился: он не любил, когда полушутливо, хотя бы и добродушно, относились к вопросам веры, а Архип Сергеич, ничуть не смущаясь, возражал:

– Ныне времена не Никиты, Пустосвятом за-зря вами прозванно-го... А вы лучше не скальте зубы-то...

Но когда однажды владыка предложил Сергеичу привести в порядок и переплести его Златоуста, старовер недоверчиво покосился на архиепископа и смолчал: руки-то все-таки никонианские...

– Эй, не надсмехайся, Васильич, а я вам тогда про Аввакумову курочку прочту... – И читал немного на «о» и нараспев:

«Курочка у нас черненька была; по два яичка на день приносила робяти на пищу, Божиим повелением; нужде нашей помогая, Бог так строил. На нарте везучи, в то время удавили по грехом. И нынеча

мне жаль курочки той, как на разум придет. Ни курочка, ни што чюдо была: во весь год по два яичка на день давала; сто рублей при ней плюновое дело, железо! А та птичка одушевленна, Божие творение, нас кормила; а сама с нами кашку сосновую ис котла тут же клевала, или и рыбки при л учится, и рыбку клевала; а нам против тово по два яичка на день давала. Слава Богу, вся строившему благая!»...

– Прочтите, Сергеич, иссё про протопопицу, – просил ронявший от удовольствия слюну Самуил Исакович. Он бесконечно любил разговоры, рассказы и чтения про божественное и стародавнее, и всегда говаривал: – «А вот у нас в Агаде», – но сам Талмуда до пути не знал, хотя и спорил с владыкой, хорошо знавшим Талмуд и вежливо поправлявшим его.

– Вы, владыка, знаете Талмуд по переводу Переферковица, а он всё напутал и переврал...

– Про протопопицу хочешь? Ин ладно, в другой раз прочту... А гляди, понимает тварь Божия, что про ее сестру Аввакумом писано, – говаривал Архип Сергеич, показывая на сладко прижавшуюся к нему во время чтения Пеструшку.

Кот также любил чтение и нежно примурлыкивал, принимая самые невероятные позы на коленях Сергеича, владыки или Самуила Исаковича. Последний особенно нежно щекотал у Памвы между ушами и под шейкой, и кот толкался головой в его скривленные старческой подагрой, но тонкие и цепкие пальцы часовщика:

– Понимаесь, сто тебя любят, Памвуска?!

Молились владыка и Сергеич в задней комнате, а Перовский, за-вернувшись в простыню, в комнате передней, – и все на восток.

– Владыко, а ведь, собственно говоря, молиться нужно бы на запад – мы здесь восточнее Святой Земли, – не унимался шутник и скептик Павел Васильевич. Владыка ничего не возражал, а Архип Сергеич сердито хмурился и говорил:

– Посмотри, нехристь, откуда солнышко-то восходит...

Иногда выходил он на крутой берег Ухты и долго-долго в молитвенном экстазе стоял один, никого не замечая. Белая ночь, значительно более светлая, чем на берегах Невы. Величественная природа Севера, прекрасное небо, суровая река, круто изгибающаяся неподалеку от буровой. А вдали, за поворотом реки, огромное деревянное здание с двойной колоннадой портиков, – полубарская затея начальника лагеря – клуб молодежи, напоминающий чем-то дивную гармонию церкви Покрова в Филях под Москвой...

– Благодать Господня! – и повергался, осенив себя широким двуперстым медленно-торжественным крестом, на землю. – Горели тут отцы и деды наши, великая та гарь за нас дымом кадильным, молитвенным до-днесь ко престолу Иисусову подымается... Не рукам безбожным, а чистому огню и строение Церкви своей земной, и строение храма своего телесного – плоть свою – предавали, да смилуется Господь над землей и народом, без меры согрешившими...

Иногда Сергеич любил рассказывать о Муроме, где была у него в царское время – и даже в НЭП – железная торговля; про Ростов Великий, где также имел он дело; и, особенно, про излюбленный свой Суздаль или, как он называл его, «Суждаль»:

– Старый город княженецкий, стольный град Святой Руси, а ныне тихой-тихой... До железной дороги далеконокко, торговля малёхонькая – больше огородиной и вишеньем (вишня получше владимирской, а огурец Ростова Великого огурцу не уступит!); промышленности – ни-ни, никакой! Жителёв было не боле трех тыщ, а церкви старые, монастыри громадные, много церквей-то: не менее шести десятков. Правда, в иных только и были, что поп, дьячок и два прихожанина приписных... Поп и жил не миром, не требами – куды ж наберешь треб-то, когда духовенства пропасть, а жителёв горсть, – жил и поп, и дьячок огородиной да садами... А весной, как зацветет Суждаль – кругом сады вишневые да белокаменны церкви... Благодать! Краса Господня!

– Правда, всё боле никонианские, церкви-то, да строены-то еще до Никона, – спешил оговориться Сергеич.

– Вот и у нас в Невеле... всё сады, – торопился вставить Самуил Исакович.

– Бывал я в вашем Невеле... Какие уж там сады? – возмущался Цивильский.

– А такие и сады... хоросие сады, – обижался Перовский и долго огорченно жевал толстыми губами.

Был он круглым, красным, почти совсем лысым, только по краям как бы обваленным рыже-седым пухом. А так как и одежда его была вечно в каком-то пуху, то он и напоминал одряхлевшего, рыжеватого цыплова, торопливо и суетливо перекатывавшегося с места на место. Добродушнейший, восторженный и крайне неряшливый и беспорядочный, он был отличным часовщиком и незаурядным спекулянтом, и ухитрялся, даже будучи заключенным, зарабатывать огромные –

для лагеря, конечно, – деньги. Большую их часть он переправлял – с разными оказиями – семье в Ленинград, а остальными щедро помогал всем нуждающимся, в первую голову, нам, своим сожителям. И сел-то он на свои короткие три года – за антисоветскую агитацию – своеобразно, о чем с благодушнейшим юмором рассказывал нам, никого – это была его черта – при этом не осуждая: ни доносчика, ни следователя:

– Меня посадили без имени и фамилии...

Дело происходило так: Самуил Исакович отдыхал на каком-то курорте в Крыму. И однажды, подвыпив, развел антимионию на тему: как привольно жилось раньше, при царе, и как скрутно сейчас. Все эти разглагольствования сопровождались целым фейерверком еврейских антисоветских анекдотов. Слушатели смеялись, подзадаривали Перовского, а он расходился всё больше и больше. Вскоре он уехал домой, в Ленинград, а еще через месяц, а может и два, у одного из его тогдашних слушателей, партийца и активиста, заговорила совесть: слушал, мол, антисоветские рассказы – и не донес во-время. Фамилии и имени Самуила Исаковича партиец, конечно, не знал, но сделал донос точно и обстоятельно: тогда-то и на таком-то курорте круглый, плешивый еврей, маленького роста, лет 60–62, высказывал, мол, то-то и то-то... Справились в курортных книгах и у курортного персонала, и по описанию – еще через месяц – установили, что надлежит арестовать гражданина Перовского, Самуила Исаковича, 61 года, проживающего в Ленинграде, Васильевский остров, такая-то линия и такой-то дом...

– Да ви не стесняйтесь, всегда говорите мне, что вам надо... Я рад помочь.

Эта фраза смешного, доброго человека навсегда запомнилась нам, уцелевшим...

Уцелел ли Ричард Тадеушевич Цивильский? Ах, какой он был колоритной фигурой! Щуплый, поджарый, тонконогий полячок, с седенькой клёванной эспаньолкой, в пенснэ на остреньком носике, с необычайно мелкими чертами сморщенного личика и порывистыми движениями девушки, спешащей на первое любовное свидание, – Ричард Тадеушевич был вечно восторжен, вечно увлечен какой-нибудь нелепейшей затеей, вечно влюблен. И эти вечные волнения отражались и на его блуждающем, отсутствующем взгляде и на... его желудке.

– Ну, начинается ария из «Цивильского серульника»! – ворчал по ночам, ворочаясь на своей – соседней с Цивильским – верхней койке, Павел Васильевич.

А за склонность к прекрасному полу весь лагерь прозвал бедного технолога «Ричардом-Львиные...». Сейчас Ричард увлекся «Двадцатой Буровой» – Верой Хлыновской, – и лагерные остряки из архитектурного бюро изображали Цивильского с маленьким Цивилёнком на руках. Пеленашка был также в очках и с седенькой эспаньолкой. Под изображением, отпечатанным на синьке, были помещены стихи:

Плод любви Цивильского  
Двадцатой Буровой:  
Ричард не нахвалится:  
– Эсперантик мой!

Эти безграмотные вирши были вызваны основной страстью Цивильского – эсперанто. Ричард Тадеушевич и получил свою «катушку» (десятилетний срок заключения) за упорное стремление печатать свою многотомную работу «САИЗМ (социально-архитектурное мировоззрение), или философия эсперанто». И так как второй том этого бреда (первый был издан в диком 1921 году) не был пропущен «марксистической» цензурой, Цивильский издал его в тридцатых годах в Польше. При попытке нелегально протолкнуть в Польшу рукопись третьего тома, Ричард Тадеушевич был арестован.

Всегда по-военному подтянутый, чисто выбритый и аккуратный во всем, Павел Васильевич был полной противоположностью Ричарду и Перовскому. Образованный, насмешливый, хорошо воспитанный, он сохранял многое от своего военного прошлого: – «Слушаю-с!», «Честь имею вам доложить»... Безразличный к религии, он с подчеркнутым уважением относился как к каждому проявлению веры, так и к служителям религии. Искренняя почтительность его к владыке была трогательна, а его предупредительность к нему была безупречна. А чему он был предан безраздельно и беззаветно – это музыке. Часами он, инженер-механик, мог говорить о ней, насвистывать и напевать целые симфонии, оратории, оперы. На этой почве и сошлись мы с ним, и часто целыми часами выли вдвоем то «Китеж», то «Хованщину», то «По прочтении псалма», то симфонии Моцарта, Бетховена, Малера.

Я писал скверные философические стихи, и Павел Васильевич, поклонник Тютчева и Сологуба, одобрял их:

– Валите, Андрей Алексеич, выпишетесь еще, Бог даст!

А я нараспев читал свои упражнения всей честной компании. Владыка сосредоточенно слушал, стараясь подавить улыбку, Павел Васильевич одобрительно кивал головой, Архип Сергеич дремал, Перовский норовил вернуть что-либо на вечную тему – «Вот и у нас в Невеле», – а Ричард Тадеушевич высказывал со своим постоянным:

– Нет, что вы там ни говорите, а русский язык, да и все примитивные, неусовершенствованные языки – страшно грубы! Как плохо звучат не только ваши, Андрей Алексеевич (вы, надеюсь, не обижаетесь на меня?), но и пушкинские стихи:

У лукоморья дуб зеленый,  
Златая цепь на дубе том... –

а как хорошо это звучит на эсперанто!

– Sur bordo mare isolita...

И дальше: не безобразнейший «кот ученый», а благозвучнейший «sato instruito»...

– Замолчи ты! Сам ты «като инструито»!

– Друзья! Назовем нашего ученого кота Памву Берынду – «като инструито»!

– Идет! Да будет так!

– Вы всё шутите, товарищи...

– Молчи, Ричард-Львиные...!

Иногда кто-нибудь из нас, вернувшись вечером домой, сообщал:

– Сегодня ночью будет ш м о н к а (обыск)... – И мы тщательно прятали бритвы, книги и всё предосудительное с точки зрения комендатуры лагеря.

Звери, учуяв опасность, забивались так глубоко под печку, что еле-еле вылезали оттуда по окончании шмона – запаутиненные и запыленные, но с чувством глубокого удовлетворения.

У меня один раз комендант обнаружил подкову:

– Что это? Для чего? – спросил он подозрительно.

– Подкова... приносит, говорят, счастье... – отвечал я. Я несколько суеверен, как и все нестойкие в вере люди, и никогда не пропущу найденной на дороге подковы.

Комендант изъял подкову, хмуро бросив секретарствовавшему бандюге с подбитым глазом:

– Пиши: изъят металлстический предмет конского инвентаря...

– Не проще ли написать – подкова? – не утерпел Павел Васильевич.

– Не рассуждай, кусок троцкиста! – оборвал инженера комендант.

После одного из обысков кот вылез из-под печи, жалобно мяукая: он сильно поцарапал грудку, и скоро на месте царапины образовалась незаживающая ранка. Она заростала, наполнялась гноем и сукровицей, лопалась – и снова набухала.

– И вам не стыдно: такого больного кота ложите с собой на койку... Тьфу, зараза! – ворчал Цивильский. А еще чистоплюи, за другими следят!..

– Так что же, бросать тварь Божию, коли заболела? – огрызнулся Архип Сергеич.

– Не бросать, но не спать же с ним...

– Так и не спи...

– А он еще из общего ведра воду пьет...

– Так тварь-то чистая... Кота и в altar пускают...

А надо сказать, что наш кот никогда не мог пить из своей посуды: он долго любовался своим отражением в полном ведре свежепринесенной воды, став на задние лапки и опершись передними в ободок ведра, а затем деликатно лакал из него, иногда окунув в ведро и переднюю лапку.

– Ну, и пусть пьет Божье творение, – поддержал старовера и владыка. – Раз уж старовер не протестует, – а у них это строго, – где уж нам творением Божиим брезговать?

– Вот и в Талмуде сказано: нечистая животная только свиня... – поддакнул и Перовский.

А кот словно понимал, что говорят о нем, и ласково тёрся о ноги владыки, старовера и часовщика, недоверчиво и недружелюбно поглядывая на Цивильского.

Так жили мы дружно и мирно вплоть до приезда на Ухту знаменитой впоследствии комиссии Кошкетина. Прикатила комиссия к нам в лагерь в сентябре 1938 года. Состояла эта комиссия из председателя, младшего лейтенанта государственной безопасности Кошкетина,

интеллигентного, актерского типа, вылощенного субъекта средних лет, и его помощников – лейтенантов Фридлянда и Заправы. Последний был звероподобным украинцем, с густою щеткой волос, начинающихся сразу над бровями. Целью комиссии было «выявить вредительскую деятельность бывшего наркома внутренних дел, в р а г а н а р о д а Ягоды, смазывавшего противогосударственные преступления и о б л е г ч а в ш е г о участь и сроки заключения врагам народа»... И вот отец народа, космический гений и благодетель, поручил Николаю Ивановичу Ежову снова проверить дела осужденных по наиболее тяжелым пунктам статьи 58-й. П е р е - с м о т р означал удлинение сроков, расстрелы, пытки...

И первым же, кто из нашего лагеря попал на пересмотр, был Павел Васильевич.

Всю предшествующую его аресту ночь беспокойно ворочались наши звери. Они не могли найти себе места. Кот жалостно мяукал, Пеструшка как-то болезненно квохтала...

– Памвущка, бедный, ранка никак недужит? Дай-кось промоя тебе ее, – утешал кота Архип Сергеич. Но ни кот, ни курица не успокаивались.

– Ишь, тварь, разумная она какая! Чуюли беду-то, – печально качал головой на следующий день Архип Сергеич.

– В Талмуде сказано...

– Замолчи уж ты, Исакыч, не до тебя! – шикнул на Перовского старовер.

А на следующей неделе взяли и владыку. Он достойно и смиренно-величественно дал увести себя, благословив всех нас. Под благословение владыки подошел и Самуил Исакович:

– Благословите, отце, простите, владыко, – сказал он, захлебываясь от рыданий.

– Благослови тебя Бог, чадо, – тихо промолвил владыка.

На следующий день первое, что мы услышали, был вой кота: протяжный, гнетуще-тоскливый. Кот стоял перед пустой койкой владыки, стоял неподвижно как надгробие, И выл не по-котиному, выл как собака или волк А в ногах койки лежала наша Пеструшка. Сдохла.

Может быть, сдохла она от дряхлости, но мы тогда убили бы того, кто осмелился бы сказать это. Мы твердо решили: сдохла Пеструшка-Мавра от тоски.

Павел Васильевич и владыка уже не вернулись к нам. Говорили, что их на пытках убил неосторожный Заправа. А Перовский долго не находил себе места. Наконец, взяв у Архипа Сергеича его том Творений св. Иоанна Златоустого, – он, раскрыв его наугад, где раскроется, и ткнув пальцем тоже наугад, прочитал нам:

«Ты не участвовал в дерзости виновных? Хвалю это и одобряю; но ты не воспрепятствовал тому, что случилось, а это достойно осуждения. Такие же слова мы услышим и от Бога, если будем молчать в то время, когда против Него раздаются хулы и поношения»...

Все мы, потрясенные минутой и текстом, молчали. А Самуил Исакович вскочил с безумным видом. Косноязычный и смешной, он вдруг преобразился во вдохновенного ветхозаветного пророка:

– Я пойду сейчас и буду кричать этим мерзавцам... Я буду кричать им про то, что они замутили святого...

Мы удержали Перовского: к чему лишние жертвы? Мертвых не воскресишь... Захлебывающийся рыданиями, он размазывал грязными руками по лицу обильные слезы и икал от непроглоченного отчаяния...

– Мерзавцы... Негодяи...

... А потом жизнь вошла в свою колею. Только кота Памву украли-таки китайцы. Все китайцы работали у нас в прачечной. Сидели за «шпионаж» или контрабанду и поголовно звались Колями.

– Коля не пиона, он сестный контрабандист, – говорили они о себе, и промышляли торговлей, ловя кошек и собак, выделывая их шкурки и продавая по дешевке лагерникам сшитые из этих шкурок меховые шапки-ушанки.

И Архип Сергеич решил во что бы то ни стало отыскать и купить шапку из своего Памвы-Берынды:

– Не уберёт котягу – хоть память о нем хранить буду...

Дней через десять Архип Сергеич вернулся с работы поздно ночью и – чего с ним никогда не случалось – сильно навеселе:

– Н-нашел т-таки... Из П-памвушки шапка-то...

– Купили, Сергеич?

– К-купил. П-последние деньги отдал: всё, что нагрёб в кармане: четыре рубля семьдесят три копейки. Китаец пятерку просил... Купил я у него шапку, а потом не с-стерпел: д-дал раза два в зубы... А потом пошел с ребятами и клюкнул малость – на помин ко-тяги... Тоже ведь тварь Божия...

И Самуил Исакович задумчиво прибавил:

– И в Талмуде сказано: нечистая животная только свиня...

# ШАТАЛОВ

## Владимир Михайлович

*(1917–2002) – поэт, живописец.*



Родился в Белгороде, Отец его был потомственным дворянином и участником Белого движения. Опасаясь репрессий, семья скиталась по России пока не осела в Днепропетровске. Мать происходила из купеческого рода. Живописи Шаталов учился в Киеве и Харькове.

Во время войны уехал в Западную Украину, затем в Австрию, а после войны оказался в Германии. В 1951 году Шаталов эмигрировал в США, в Филадельфию.

Внешне жизнь его протекала вполне благополучно: работал реставратором в Филадельфийской художественно галерее, вошел в число 450 членов Национальной Академии Художеств. Участвовал в 42 художественных выставках групповых и индивидуальных. За свои картины удостоился 60 наград, включая четыре золотые медали. Но без России он чувствовал себя одиноким:

Одинокество – улица под ногами  
после взрыва нейтронной бомбы.  
Молчит. Тянется. Узится.  
Одному бежать.  
Одному кричать.  
Одному в оконные стекла лбом бить.  
Но я всё иду осенью позднею  
по моей уходящей России...

Это чувство одиночества, страдания по России с ее снегами, дождями, осенями, мыслями об уходящей жизни и смысле бытия скрашивалось музыкой или заставляло систематически возвращаться его к творчеству позднего Гоголя. Гоголь на портретах и рисунках Шаталова был всегда угловатый, трагичный с резкими тенями на лице, что отражено в широко известном стихотворении И. Елагина



*В. Шаталов. «Пришла весна в Вайоминг» (1986). В американских пейзажах, как и в своих стихах, художник искал черты России.*

«Гоголь», описывающем шаталовский портрет автора «Мертвых душ»: «Как птица настожен весь, / Как птица весь нахохленный».

Америку Шаталов не любил. Исключение как в стихах, так и в пейзажах он делал лишь для Западного побережье США и Аризоны.

Знаменательным событием в жизни художника-поэта стало приглашение в 1995 году в Российское Посольство в Нью-Йорке на прием, посвященный 50-летию Победы, где тогдашний Посол С.В. Лавров вручил художнику благодарственную грамоту за пропаганду русского искусства.

Стихи Шаталова печатались в различных периодических изданиях русской эмиграции: чаще всего в «Новом русском слове» и в аль-

манахе «Встречи» («Перекрестки»), издателем которого он был вместе с В. Синкевич с момента создания этого журнала поэзии и живописи до своей смерти.

Авторской книги стихов не выпустил.

## Публикации

**Дальние берега.** Антология поэзии русского Зарубежья. Сост. В. Кудрявцев. – Смоленск, 2006

Ольга Анстей (к 15-летию со дня смерти) // *Встречи*. 2000

Стихи // Берега. Стихи поэтов второй эмиграции. Составители В. Синкевич, В. Шаталов. 1992

**Стихи // «Вернуться в Россию стихами».** Сост. Крейд, Вадим. – М., 1995

Стихи // *Встречи*. 1983–1989. 1991–2001.

**Стихи // «Мы жили тогда на планете другой».** Сост.-ред. Евгений Витковский. Т. 4. – М., 1997

Стихи // *НПС*. 1978; 7 апр.; 2 мая; 30 июля; 5 ноября; 1979, 19 июнь 1983, 7 мая.

Стихи // *Перекрестки*. 1977–1980, 1982

\* \* \*

Мерещится  
из книги памяти  
из безмолвия ночей  
века моего беспаятство  
решеток проволок колючих  
и вышек лагерей.  
Мерещится  
дитя цветущий сад  
и женщина  
как Ева  
и крик ея немой  
и поступь тяжкая солдат  
и метелей белых  
развив ея волос  
над всеми ярами

над всеми ямами  
и я художник цветами яркими  
дом земной пою – ея земной погост.  
В тревожной мании  
все мерещится мне смерть –  
самая из всех смертей  
небо мне мерещится  
затянутое льдами  
и руки  
сплошные руки  
над всей землею руки  
живые руки – мертвых Матерей.

### ПИСЬМО БЫВШЕМУ ПЕТЕРБУРЖЦУ

Дорогой Александр Александрович!  
В старческом доме тесно и скучно,  
ходят сутулые слухи.  
А помните – знамя огненно-алое  
и солдат, говорящих по-русски...  
Все за берлинами, все было неправдами,  
как то, чего знать не хотели.  
И вы говорили, и нарочно картавили  
о белых снегах,  
о белых метелях.  
Так в песнях Вертинского –  
«последний бокал»  
и больше ничего не случится...  
Только ходики в комнате тикали-тикали  
и ветры шумели над крышей.

Дорогой Александр Александрович,  
все случается в старческом доме...  
За большими кварталами  
на улочке узкой  
вы просто уснете за игральными картами,  
уронив на колени похолодевшие руки.

## ЧЕРЕЗ ПОЛВЕКА

В давно памятной были  
там, где для писем ящик,  
очередь собралась людомобилей  
и рука у каждого  
опускает любовь кому-то и счастье  
и я под елку  
пожеланье опускаю в Киев.

Там на ресницах колких  
золотые лежат снежинки,  
в снегах золотых золотые смеются очи,  
а дойти – уже неостанет жизни,  
неостанет и писем для письмоноши.

Только на гоголевском чѐрте,  
укравшем месяц среди ночи –  
ворожея когда-то сказала –  
пожеланье успею доставить  
и ало-атласные к нему черевички  
Но тают далеко – все тают  
на колких ресницах, словно девичьих,  
снегов золотых золотые снежинки...

# Ширяев

## Борис Николаевич

*(1889–1959) – прозаик, очеркист.*



Родился в Москве в помещицкой семье. Окончил историко-филологический факультет Московского университета, Императорскую военную академию, учился в Геттингенском университете (Германия). В Первую мировую войну ушёл на фронт, дослужился до звания штабс-капитана.

Вернувшись в 1918 году в Москву, пытался пробраться через границу в Добровольческую армию, но был задержан и приговорен к смертной казни. За несколько часов до расстрела ему удалось бежать. В 1922 году арестован вторично и вновь приговорен к смертной казни, замененной на 10 лет Соловецкого лагеря особого назначения (печально знаменитого СЛОНа). В СЛОНе наряду с каторжными работами участвовал в лагерном театре и журнале «Соловецкие острова», где опубликовал повести «1237 строк» и «Паук на колесиках» (1925–26) и ряд стихотворений («Соловки», «Диалектика сегодня», «Туркестанские стихи» и др.). Собранный совместно с товарищем по каторге литератором В.Н. Глубовским лагерный фольклор был издан отдельным сборником тиражом 2000 экз. В 1929 заключение было заменено ссылкой на 3 года в Среднюю Азию, где Ширяев работал журналистом. По возвращении в 1932 в Москву Ширяев был снова арестован и сослан на 3 года в слободу Россошь Воронежской обл. В 1935–1942 жил на Северном Кавказе: в Старополе и Черкессе. Иногда ему удавалось устраиваться на временную работу в вузы этих городов. В частности, в начале войны Ширяев преподавал историю русской литературы в Ставропольском педагогическом институте.

С августа 1942, когда Ставрополь был оккупирован германскими и румынскими войсками, Борис Ширяев возглавил редакцию газеты «Ставропольское слово». Она носила откровенно антисоветский характер и одновременно позиционировала себя как независимое рус-

ское национальное издание. На первых порах немцы не подвергали газету цензуре. Через четыре месяца газету, переименованную в «Утро Кавказа», распространяли уже по всему северокавказскому региону. Испытываемые противоречия между необходимостью поддерживать немецкое нашествие и бороться на национальную независимость русского народа Ширяев воплотил в образе Всеволода Брянцева – одного из главных персонажей автобиографического романа «Кудеяров дуб».

Во многим разочаровавшись во власовском движении, где имел звание капитана, и тем более, в нацистской идеологии немецкого господства, писатель искал решение национальной проблемы России в казачьем автономистском движении, в формировании которого он принимал активное участие в 1943–1945 годах, сотрудничая с журналом «На казачьем посту».

При подступе к городу советских войск Ширяев вместе с немцами покинул Ставрополь и в феврале 1945 года переехал в Италию в т. н. Казачий стан, где пытался основать новую газету для находившихся там 20 тысяч российских казаков, вывезенных немцами в 1944 году.

Весной 1945 Борис Ширяев оказался в лагере Ди-Пи Капуя. Жизни русских эмигрантов в этой стране посвящены книги «Ди-Пи в Италии» (1952) и «Я – человек русский» (1953), изданные в Буэнос-Айресе (Аргентина) при содействии монархического публициста и издателя Ивана Солоневича.

В Риме в 1954 году писатель издал свою самую знаменитую и наиболее цельную книгу «Неугасимая лампада», писавшуюся с 1920-х по 1950 год о Соловках от Петра Первого до советского концлагеря. Выразительные портреты соловецких узников (от уголовной шпаны до иерархов церкви) чередуются с легендами и преданиями. Само название книги идет от легенды о Схимнике, со смертью которого не погасла Неугасимая лампада Духа. В финале автор выражал твердую уверенность, что «через Смерть к Жизни – тайна Преображения».

Гораздо более противоречивы собственно художественные произведения писателя. По замыслу Б. Ширяева все его вещи составляют цикл «Птань» (сам автор называл его «хроникой») из пяти повестей о жизни казаков села Масловка (что под Тулой) преимущественно в период второй мировой войны, но с экскурсами в историю: «По-

следний барин» («Возрождение», 1954. № 33–36), «Ванька Вьюга» («Возрождение», 1955. № 37–41), «Овечья лужа» («Грани», 1952. № 16), «Кудеяров дуб» («Грани», 1956. № 6; 1958. № 37), «Хорунжий Вакуленко» («Грани», 1959. № 42, повесть не завершена, по-смертно опубликованы отрывки).

Трагично и ярко нарисован проходящий через весь цикл образ Ивана Евстигнеевича Вьюги, подобно легендарному Кудеяру прошедшего путь от конокрада до раскаявшегося страдальца за русских людей. И хотя мечта Вьюги о создании исключительно национального движения, равно противостоящего сталинизму и фашизму, утопична, автор восхищается мужеством этого человека и отдает дань уважения людям, пошедшим за эту идею на верную гибель. В разных повестях цикла автору удалось характеры сельских интеллигентов (учительницы Клавдии Изотиковны, тети Клоди; молоденькой девушки с ее внезапной любовью к немцу Августу Вертеру, также нарисованному весьма многопланово; священника о. Ивана); сложно и правдиво изображены немцы, даже лучшие из которых не могут понять русского национального характера.

В «Кудеяровом дубе» неоднократно высказывается мысль о духовных силах внешне неказистого русского человека и народа в целом. Автор и его персонажи твердо уверены, что никаким планам нацистов о расчленении России на немецкие колонии, о превращении русского народа в раба не удастся сбыться. В этом смысле интересен исторический диалог русского патриота и немецкого интеллигента о русификации всех пришедших на русскую немцев (глава 19).

Интересно с долей уважения и юмора описаны сотрудники местной газеты Котов, Шершуков, две противоположные по характеру женщины с одинаковой фамилией Зерцалова, фельетонист Змей-Крымкин, циник-полиглот Пошел-Вон и другие. Убедительно и тоже не без юмора показана эволюция от догматических взглядов к общечеловеческим ценностям бывшей комсомольской активистки Галины Смолиной и избалованной дочери врача Мирочки Дашкевич.

Значительно меньше удалось писателю образы доцента Всеволода Сергеевича Брянцева, тоже выбирающего путь «между звездами», и юного Миши Вакуленко – своего рода антипода фадеевским молодогвардейцам, ставшего активным борцом с советской системой и решившего пойти в казацкое войско, явно обреченное на гибель. Очевидной неудачей писателя, избравшего жанр социально-психо-

логического романа, стали противопоставленные этому жанру карикатурные портреты комсомольцев Васи Плотникова и Константина Прилукина. Свою роль в неудаче писателя при создании этих персонажей сыграла ангажированность Ширяева, его неумение передать всю тонкость проблемы сотрудничества русских людей с немецкими оккупантами.

Опыт Ширяева – еще одно подтверждение того, что жесточенность несовместима с художественной литературой. По крайней мере, литературой реалистической. Она мешает выйти на философские глубины, постичь тайны бытия.

## Сочинения

Ди-Пи в Италии: Записки кукольника. – Буэнос-Айрес, 1952;

Я – человек русский! – Буэнос-Айрес, 1953;

Светильники Русской Земли. – Буэнос-Айрес, 1953;

Неугасимая лампада. – Н.-Й., 1954;

К проблеме интеллигенции СССР. – Мюнхен, 1955;

Кудяров дуб. – Франкфурт-на-Майне, 1958;

Религиозные мотивы в русской поэзии. – Брюссель, 1962.

**Неугасимая лампада.** – М., 1991

## Публикации

Ванька вьюга // *Возр.* 1955, 37–41.

Горка Голгофа // *Грани.* 1953, 20.

Излом и вывих // *Возр.* 1954, 32.

Кудяров дуб // *Грани.* 1957, 36; 1958, 37.

Овечья лужа // *Грани.* 1952, 16.

Последний барин // *Возр.* 1954, 33–36.

Раба политики. Воспоминания подсоветского журналиста // *Возр.* 1950, 8.

Уренский царь // *Возр.* 1950, 11, 12; 1951, 13.

Хорунжий Вакуленко // *Грани.* 1959, 42.

## Отзывы о книгах

А. Твардовский. Поэмы // *Вест. Ин.*, 1955, 15.

Вокруг света. №№ 1–12, 1954 // *Вест. Ин.*, 1956, 18.

И. Эренбург. Оттепель, роман // *Вест. Ин.*, 1956, 20.

Константин Паустовский. Избранное и Собрание сочинений, т. 1 // *Вест. Ин.*, 1959, 29.

Крокодил, журнал юмора и сатиры. №№ 1–30, 1957 // *Вест. Ин.* 1958, 26.

Новый мир, январь–июль 1954 // *Вест. Ин.*, 1955, 16. С.

Василенко и В. Синельников. Устное поэтическое творчество русского народа // *Вест. Ин.* 1956, 19.

Boris Pasternak. Il dottor Zivago // *Вест. Ин.*, 1958, 26.



## «Я – ЧЕЛОВЕК РУССКИЙ»

От Баньоли, пригорода Неаполя, до врезавшейся в море острой косы Поццуоли весь берег густо усыпан купальными кабинками. По вечерам, когда спадает жара, вагоны трех ведущих сюда линий метро, трамвая и электрички выбрасывают крикливую толпу веселых купальщиков. Кабина стоит двести лир. Нам, баньольским дипийцам, такой расход не по карману. Да и к чему он, когда можно, выбрав пролет между кабинными поселками, спокойнейшим образом перелезть через ограду набережной, выбрать под нею подходящий плоский камень и, непринужденно расположившись на нем, пользоваться всеми морскими радостями абсолютно бесплатно. Даже интереснее: тут и медузы, тут и крабы, тут и настоящие неаполитанские лаццарони, которым американские туристы деньги платят за позирование перед фотоаппаратами.

А выкупавшись и постояв в позе Пушкина (по Айвазовскому), любуясь голубеющим вдаль Капри, можно заглянуть и в прибрежную кафетерию. Поллитра кианти – шестьдесят лир, и сиди с ним весь вечер, слушай море, вопли осликов, песни бродячих певцов – ту Италию, которой ни в Риме, ни во Флоренции, ни в Милане уже не увидишь. Неаполитанский юг любит свое прошлое и не хочет с ним расставаться.

Сегодня воскресенье, и я с трудом нахожу место в набитом купальщиками кафе-поплавке. Купальный костюм имеет здесь все права гражданства; выпить чашечку густого кофе или глоток коньяку, а потом опять в голубую теплынь волны!

Музыкальных гастролеров тоже больше, чем в будни, и их репертуар разнообразнее. Сейчас вихрастый парень с гармонией, отдав

должное традиции тягучей, как сироп «Санта Лючия», заплатил современности навязчивым модным фокстротом, а потом заиграл «Катюшу». Это в порядке вещей: после войны «Катюша» успешно конкурирует с устаревшей «Лючией», а «Стенька Разин» даже вытесняет «Стелла дель маре».

В вихрах парня что-то не итальянское и как-будто знакомое. Где я их видел? Разве вспомнишь это теперь, разве разыщешь этот кадр в прошедшей перед глазами калейдоскопической киноленте? Но знакомое... знакомое...

Парень закидывает за спину трехрядку и теперь к его правой руке маленькая гармошка, а левой он подносит к губам какой-то похожий на черную раковину снаряд. Гармошка взвивается кверху, стремительно опускается и начинает четко выговаривать:

Как по улице Варваринской  
Шел-бежал мужик комаринский...

А раковина подсвистывает ей, как Соловей-разбойник:

Эх, боярыня ты Марковна,  
У тебя ли шуба бархатна...

Бронзовый юноша-купальщик в трусах пытается вложиться в захватский ритм фокстротной закачкой, но это не выходит и он начинает выколачивать чечетку босыми пятками. Мои соседи подстукивают пивными кружками. Песня русской беспредельной равнины яркою, пестрою лентою вьется над голубым волнистым заливом.

Парень обрывает лихой подсвист и гордо произносит:

– Jo sono homo gueso! Я – русский человек!

Затерявшийся в калейдоскопе кадр выныривает из пестрого месива памяти и становится перед моими глазами.

– Алеша, – кричу я, – Алеша Пшик! Русский человек!

Декоративная часть вынырнувшего кадра очень далека от окружающей нас обстановки.

... Набитый беженцами товарный вагон. Посредине его – горящая печка; вокруг нее плотное, сбитое в войлок кольцо людского месива, а над ним, стоя на куче мешков, вот этот самый Алеша играет на этой самой гармошке ту же самую залихватскую песенку и покрикивает:



**БОРИС ШИРЯЕВ**

# **«Я ЧЕЛОВЕК РУССКИЙ»**

**РАССКАЗЫ**

**"НАША СТРАНА"**

**Буэнос-Айрес 1953**

# **«SOY HOMBRE RUSO»**

**NUESTRO PAIS"**

**Buenos Aires — 1953**

– Веселей! Жизни давай! Мы – русские люди!..

Алеша Фролов мой земляк по Ставрополю. У его тещи там домик на Подгорной улице. Но знали и звали там Алешу не Фроловым, а Пшиком. Таков был псевдоним его, эстрадного музыкального иллюзиониста, игравшего на гармониях, метлах, бутылках «рыковской», сиренах авто и каких-то совсем непонятных инструментах.

Вдруг разом происходят три события: вагон сотрясается на стрелке, дверь открывается сама собой, песня обрывается и Алеша орет со своей эстрады:

– Стой! Бабку потеряли!

Дальше крики, свистки, гудки, остановка маневрировавшего поезда и бабка, Алешина теща, сидящая на снегу и ругательски ругающая ни в чем неповинного Алешу.

– Чорт лупоглазый! Нашел время песни играть!

– Я – русский человек, мамаша, и без песни жить не могу...

– Чуть до смерти не убилась через твои, идола, песни... Чего суешься? И сама в вагон влезу!

Приехав в Киев, мы с Алешей потеряли друг друга, чтобы встретиться снова здесь, на берегу Неаполитанского залива. В причудливом узоре сплетаются в наши дни пути русских людей.

– Какой чорт занес вас сюда, Алеша? – трясую я его за плечо. – Садитесь, пейте и рассказывайте, почему вы здесь?

– Я здесь потому, что я русский человек, – веско и убежденно отвечает Алеша.

Но такое логическое построение мне непонятно, и я требую разъяснений.

– Очень просто, – отвечает Алеша, в Киеве, на беженском пункте регистрируюсь, пишу фамилию сценическую, конечно, известную... Майор читает и что-то по-немецки начинает лопотать. Я же, как вам известно, кроме «гут» – ни гу-гут... Однако, вижу, что дело на мое колесо поворачивается: скажет майор «Пшик», тыкнет меня пальцем в живот и улыбается. Я планирую: наверное, он меня по сцене знает, и ему в ответ: «гут». Он мне тоже: «гут»? И я ему: «гут». Дал мне бумагу какую-то подписать, талоны в столовку на всю семью, а ефрейтор в комнату отвел. Очень хорошая комната, и дрова... Недели не прошло – приходит вахтмейстер с переводчиком. «Собирайся, – говорит, – в Германию со всем семейством.» «На какого она мне чорта, Германия, – отвечаю, – я – человек русский!» «Нет. Ты – не-

мец, фольксдейч, по собственному твоему заявлению...». Бабка разом записовала: «Вот, – кричит, – до чего нас твоя музыка довела! На немцев повернули и в Германию гонят, а у меня, слава Богу, дом еще неотнятый на три комнаты и сарай...»

Однако, делать нечего, у немцев во всем порядок, тем же вечером и уехали мы в Мюнхен.

– А там в «остовцы» на работу попали?

– Нет, извиняюсь, у немцев такого порядка нет, чтобы артиста к станку ставить! В Германии нам мировая житуха была! В Мюнхене мне обратно комнату дали, полное содержание, зарплата 300 марок и ежедневные выступления в солдатских клубах. Успех – мировой!..

– По-немецки там выучились?

– На какого это чорта? Я – человек русский и всех немцев там русским песням выучил. Куда ихним Бетховенам со своими «Лили Марлен» до нас! Как выйду на эстраду, весь зал орет: «Тройка! Тройка!» Это я их «Гайда тройке» и «Тройка мчится» обучил – их с глухими бубенцами исполняю, а вся солдатня подпеваает. Вот как!

– Ну, а как же в Италию попали?

– Обратно очень просто. Назначили меня в турнэ на итальянский фронт. В Венеции капитуляция пристукнула. Наши русские армяне говорят: «Мы в свой монастырь – есть здесь такой – спрячемся, а тебе амба...». Армянский батальон там стоял... Говорят: «Топай ты в Болонью, там поляки. У них ховайся...»

– Нашли поляков? Приняли вас?

– Ну, а как же? Прихожу к полковнику и говорю: «так и так, я человек русский, и, кроме как к вам, деваться некуда. Гроб». Поляк попался сознательный, сочувственный, оценил ситуацию. «Ладно, – говорит, – оставайся. Только записать тебя надо поляком, по фамилии Пшек, всего одна буква разницы, а по-польски это складнее получается...» «Мне, – говорю, – этой буквы не жалко, пан полковник, чорт с ней, только я человек русский...» «И я сам, – говорит, – по существу русский офицер, а вместе с тем – поляк. Ничего не поделаешь!..». Ну, и я «и» на «е» переменял и стал как бы врид-поляком...

– Каково же вам жилось?

– Знаменито в мировом масштабе! Играл по вечерам в офицерской кантине. Зарплаты, правда, не давали, но английский паек на всю семью. Жена с тещей стиркой на солдат занимались... пока поляки в Англию не поехали.

– А вы куда?

– Мне полковник сказал, что в Англию меня протащить невозможно – контроль очень строг, и к украинцам меня направил, в Милано... Я было обрадовался, а вышло совсем даже наоборот.

– Как это наоборот?

– Очень просто. Я к ним со всей душой, свои ведь... «Я, говорю, русский человек», а они «не разумею москальской мовы»... Я, конечно, ставрополец, сам не хуже их по-украински балакаю, а тут зацепило меня... Растакие вы сякие, думаю, когда я вам в Киеве куплеты пел, так разумели? Вынул свою «малютку» да и затянул под нее:

Ще не вмэрла Украина,  
Може скоро вмэрти,  
Бо такие голодранци  
Довэдуть до смэрти

– Ну? – спрашиваю я.

– Еле ноги унес, вот вам и «ну». Итальянские карабинеры отстояли, однако препроводили в лагерь Римини за проволоку.

– Это до выдачи Советам было или после?

– Аккурат через неделю. Там – полная паника... Все русские, кто в чехов, кто в сербов, кто в мадьяр перелицовываются...

– А вам в кого пришлось превратиться?

– Ни в кого. Надоело мне это. Комендант мне говорит: «возвращайтесь на родину», а я ему: «извиняюсь, я – человек русский, сами туда катитесь, а я подожду...» Подрезал ночью проволоку и... к тузу десятка – ваших нет! Ариведерчи, о-кей, грацие!

– А жена и бабка?

– И они выползли. Я дыру по-стахановски размахнул. Рекордную. И ящик с инструментами выволок. Деньжонки были, подался сюда, в Неаполь, белое соджорно выхлопотал... Ну, и живу!

– А за океан как же? ИРО вам не миновать.

– Пускай она сама за океан плывет. Я – человек русский, мне отсюда до дому ближе. Живу и проживу. Синдикат на эстраду не пускает? Не возражаю. Мало, что ли, остерий? Портовая матросня во как меня встречает – мировой успех! Да что мы с вами ради встречи эту кислятину тянем? – Камарьеро! Уна бутилья Асти да милле лире! Шипучего... Мы – люди русские!

Бутылка во льду вызывает сенсацию среди итальянцев.

– Русси... русси... – проносится по кафэ.

Алеша лихо взбивает свои вихры. Мы чокаемся.

– На чорта мне этот океан с его Америкой? Зато здесь я человек русский, хоть на плакат меня ставь... Одно только плохо, – сбивает вихры на лоб Алеша.

– Что же?

– У итальянцев буквы «шэ» совсем не имеется.

– Вам-то до нее какое дело?

– С фамилией моей некультурно получается. «Псико» меня матросня зовет... Выходит не то псих, не та псина... Не сценично по моей известности...

## В ТЕ ДНИ

(авторская редакция гл. 8 романа «Кудеяров дуб»)

На дворе учхоза сгрудилось в галдящую галочью стаю почти все его население, по крайней мере низший его слой. Высший – директор, бухгалтер и парторг заседали, затворившись в конторе вместе с институтским начальством, подводы которого стояли нераспряженными под навесом хозяйственно, крепко сложенного еще расстрелянным Дединым амбара. На бричках и тачанках – крытые горы беспорядочно наваленных узлов, ящиков, чемоданов. Из иных торчали свиными ушами полы пиджаков и лениво свешивали рукава зимние пальто.

– В кучу не сбиваться! – размашисто выкрикнул вышедший на крылечко конторы Середа. – Как раз по скоплению и ахнет! К стенам становитесь или под деревьями маскируетесь, как вам объясняли!

Кое-кто из баб торопливо перебежал к саду. Отрываться от кучи было страшнее, чем стоять в ней, хотя и на виду.

Шедший головным аппарат повис над самым двором и дал какой-то завывной перебой в реве мотора.

– Вот сейчас бросит! – взвизгнула Капитолинка, и вся толпа, давась и спотыкаясь, метнулась под навес амбара, забила его выкриками, причитаниями, всхлипом. Директорша так и не встала с земли, а прямо переползла под воз на четвереньках.

– С нами сила Господня! – мелко закрестила там она распиравшую платье-капот полновесную грудь.

– В таких как раз завсегда и попадает, которые от своей дури лезут, – раскатился с крыльца хрип Середы. Сам он был спокоен и даже явно склонен к некоторому сарказму. – Овцы! Как есть овцы на пожаре! Никакого различия.

Но рокочущий вал уже перекатился через хутор к видному с него, как на ладони, городу.

Сначала поодиночке, потом табунчиками вылезли из-под навеса прятавшиеся там и снова затолпились на дворе, глядяваясь в затуманенный зноем город.

Из сада вышел Евстигнеич, за ним вразброд остальные, латыш последним, с таким же, как и там, облезлым лицом.

Над правым, прилегающим к полотну железной дороги краем города вздыбился большой кудлатый столб черного дыма и рядом с ним два других поменьше. Они взметнулись к небу и расползлись в верхах, как гигантские грибы-опенки.

– Бросил! – увесисто объявил Середа с крыльца, и в ответ ему в городе ухнуло, а потом рвануло целой горстью сухих резких ударов.

В толпе закрестились. Босоногая девченка в одних трусиках, с коричневым от загара телом и лохматыми, нечесаными мутно-желтыми волосами, завывла и побежала к дому. За ней – две женщины, но на краю двора стали, потоптались на месте и снова вернулись к табунчику.

– Бьет метко, – засвидетельствовал с крыльца Середа, принявший на себя обязанности если не военного руководителя, то, во всяком случае, комментатора начавшейся битвы, – в нефтехранилище при станции ударил. Вишь, как густо черный дым пошел! Значит, нефть загорелась...

– Что теперь там на станции делается! Могу представить, – шепнул Мишка Брянцеву, – всю ночь шла погрузка, все пути составами забиты. Неразбериха была, что называется, на все сто. А теперь, надо полагать, еще процентов на двести повысилась. Перевыполнение плана!

Второй бомбовоз сбросил свой груз также над станцией, а остальные проплыли несколько дальше и раскатисто прогромыхали там.

Табунчик на дворе не расходился и не редел. Даже наоборот – загустел: из домов, подвалов, картофелехранилищ и силосных ям выбирались те, кто там сначала прятался. Страх почти растаял. В головах всех собравшихся ясно оформилась одна и та же общая для всех мысль. Вслух ее высказал Евстигнеич.

– В нас бить не будут. Никакого ему нет расчета нашу навозную кучу бонбой ковырять, – как всегда, несколько иронически проговорил он, ни к кому в отдельности не обращаясь. – Знает, видно, куда следует ударить, в точности.

– С такой-то высоты и слепой попадет, – ответил ему Середа. – Не более трехсот метров. Можно сказать, в упор. Ничего не опасается, а наша артиллерия молчит.

– Какая там артиллерия – ни одной зенитки в городе нет, – отозвался теперь уж совсем громко Мишка, – а пехоты нагнали до чорта. Все за последнее время мобилизованные еще в городе. Оба института, музей, клуб совторгслужащих – все ими забито. А винтовок нет. Сам видел: с палками на учение водили.

– Наверно и плант городской у него имеется, – продолжил свои соображения Евстигнейч.

– Спиёны, – взвизгнула по привычке Капитолинка, но огляделась кругом и скисла.

Две стоявшие рядом с нею бабы отошли в сторонку. Капитолинка еще огляделась и скинула на шею свою красную косынку.

Начальство высыпало из конторы при первой же волне, но держалось особняком, группируясь под старой корявой грушей возле крыльца. Тихо переговаривались между собой. Полноватый, медлительный директор института был, несмотря на жару, в заношенной кожаной куртке со слежавшимися складками, что сейчас же отметил Евстигнейч.

– Кожушок-то на нем, на дилехторе, должно с девятнадцатого года. Тогда на такие у комиссаров мода была, – подтолкнул он локтем Брянцева. – Смотри слежался, будто утюгом по нем пройдено. Приберег, значит. Вот и пригодился. Правильно, – одобрил он.

Зав. учебной частью, читавший также в институте диамат, в шляпе и тяжелых роговых очках, придававших ему необычайное сходство с совой, весь такой же, как эта птица, серый и встопорщенный, прошел под навес к подводам и завозился около лошадей.

– Павел Павлович, – позвал он оттуда директора учхоза, – здесь, очевидно, упряжь не в порядке. Какие-то ремни болтаются. Пришлите, пожалуйста, конюха.

Сторожкая молодая гнедая кобылка переступила с ноги на ногу и брезгливо лягнула его.

– А чорт бы тебя... с таким транспортом! – отскочил от нее завуч.

– Аккуратней с лошадьми надо бы, – наставительно сказал подошедший директор совхоза и сам перетянул ремни упряжки.

– Не привыкли? Привыкайте. Для будущего не вредно. А к коню сзади не жмитесь.

От города донеслось равномерное цоканье, а потом разом, перебывая одна другую, застрочило несколько равномерно отстукивающих машин.

Брянцев в первый раз за этот день ощутил страх. Этот равномерный, машинный, бездушно-неумолимый постук пугал его еще на полях Галиции. Давно. Теперь он, отраженный памятью, снова пробежал оторопью по его спине и коленям.

– Пулеметы в самом городе бьют! – уверенно объявил Середа и, словно удовлетворенный этим, пояснил: – Значит, конечно дело. Пиши в сводках новое направление «по стратегическим соображениям», – хрипнул он потише.

Начальство разом заспешило под навес. Там женщины уже громоздились на подводы, поверх наваленных на них тюков, и тянули к себе примолкнувших детей. Лица всех посерели.

Директор института первым распутал вожжи, тяжело плюхнулся на передок и выкатил из-под навеса, шаря правой рукой за бортом кожаной куртки.

– Деньги, что ль, щупает, – размыслил вслух Евстигнеич, – а может и крестится на путь предстоящий, хотя и партийный... Завуч неумело задергал вожжами, подкрутил передок своей тележки и сцепился колесами с нагруженным горой возом худого, как жердь, страдающего язвой желудка, парторга Жукова. Жуков порывисто повернулся к нему, блеснув оскалом золотых зубов в провале беззубого, как у черепа, рта.

– Куда прешь, чорт очкастый? – злобно выкрикнул он, осаживая задрывших головы коней.

– На Темнолесскую повел, – проводил глазами выехавшего со двора директора Евстигнеич, – значит, на Нальчик маршрут. Ну, что ж... С Богом!

\* \* \*

Середа не ошибся. Большой областной город был занят немцами почти без боя, после сравнительно слабой бомбардировки с воздуха и атаки передового отряда легких танков.

Военное и партийное начальство даже накануне вечером лишь смутно знало о приближении немцев и точно об их движении осведомлено не было. А передовая механизированная колонна наступавшей на Северный Кавказ армии генерала фон Клейста ночевала всего в тридцати километрах от города, в опустевшей казачьей станице, заселенной теперь семьями раскулаченных из Средней России. Телефонный провод оказался порванным то ли немецкой разведкой, то ли самим русским населением. Военное командование узнало о близости врага лишь на рассвете от прискакавших из занятого немцами села партийцев. Тридцатитысячный гарнизон состоял почти целиком из незадолго перед тем призванных старших возрастов – ближних колхозников, не только не обученных, но даже не вооруженных и не обмундированных. Их тотчас же подняли по тревоге и стали толпами выводить за город, на опушку некогда густой, а теперь сильно поредевшей Архиерейской рощи. Там наскоро рыли окопы. Офицеры надрывно матерились, расставляя огневые точки и перегоняя с места на место серых, обросших седой щетиной, мужиков.

В успех обороны не верил никто, от самого начальника гарнизона до одноногого пьяницы Володьки, в прошлом красного партизана, а теперь расклейщика афиш и административных объявлений. Он, наскоро опохмелившись, с восхода солнца шлепал на стены и телефонные столбы только что отпечатанные обращения к гражданам, требовавшие от них сохранения порядка и веры в победу. Шлепал и посмеивался уже созревшему в его кудлатой голове плану. Этот план был очень заманчивым и обещал полный успех: забраться в разгар паники в городскую аптеку и запасть там ведром-другим спирту. А то и побольше...

«Его там хватает», мечтательно улыбался Володька всплывавшему над Архиерейской рощей солнцу.

Побеги с передовой начались тотчас же при появлении первых немецких бомбовозов. Мобилизованные колхозники залезали в кусты как бы по своей надобности, и там исчезали, уползая в гущу орешника. Командиры туда не заглядывали. Некогда, да и незачем – все равно все побегут!

Повальное бегство началось при появлении на горизонте первых танков.

– Танки, – сказал вполголоса смотревший в бинокль наблюдатель.

– Танки! – полным голосом повторили на командном пункте.

– Танки! – пронеслось волной по всей линии, а на флангах ее уже завопили:

– Танки!..

Это и было командой, которую исполнили все. Фронт не дрогнул, как это принято говорить, а уверенно, даже четко обернулся к лесу и растекся по гуще орешника.

Начальник гарнизона выругался для порядка и махнул своему шоферу рукой с биноклем.

В лесу бросали винтовки и торопливо срывали знаки различия. Кое-кто из партийцев засовывал в дупла и под гнилые пни пакки документов. Коренастый, очень юный лейтенант, с по-детски оттопыренной, нетронутой еще бритвой губой, скинул совсем новенькую, ладно пригнанную гимнастерку, простовато, тоже с детским сожалением, посмотрел на нее и бросил в кусты.

– Чорт с ней! В городе забегу к ребятам, найдут что-нибудь надеть. Барахло какое-нибудь, конечно... Чем рванее, тем лучше.

До города дошла лишь половина выведенных на передовую. Другую всосали в себя лес и поля с неубранной кукурузой. На улицах солдаты смешались с беспорядочно мечущимися кучками горожан, искавших укрытия от бомб с воздуха. Кое-где уже горело. От высящегося на главной улице дома, принадлежавшего раньше первому богачу в городе, а теперь занятого обкомом партии, отваливали одна за другой разнокалиберные автомашины, то легкие эмки главков, то густо залепленные людьми и узлами грузовики. Перед горсоветом сваливали с дрог бочки ассенизационного обоза и спорили до драк за места. Потерявший фуражку милиционер махал наганом и визгливо матерился.

Растрепанная женщина с сухим от худобы интеллигентным лицом, вся запорошенная известковой пылью, почти несла повисшую у нее на плече очень похожую на нее девочку-подростка. Одна нога девочки волочилась и тянула по мостовой алую ленту свежей крови.

– Ах ты, беда какая! В колено аль повыше? – подхватил подростка под другую руку пожилой солдат в латаных серых штанах. Будто и знакомая? Я плотником при театре состоял... Будто и видел когда. Ну, вы, гражданка, не волнуйтесь, доведём ее до горздрава, там перевяжут. До больницы-то далеко. Наверное, в горздраве из докторов кто-нибудь есть. Вот дела-то какие... Стрась!

Пулеметного огня, открытого немцами вслед бегущим, в городской сутолке почти никто не услышал. Его заглушали хрипы и гудки автомашин, сталкивавшихся с вырывавшимися из боковых улиц подводами, ругань шоферов и подводчиков.

Потом центральные улицы разом опустели. Лишь кое-где выскакивавшие из домов люди торопливо заволакивали во дворы валявшихся на улице раненых. Здесь их было немного, но перед вокзалом, у каменных столбов, на которых некогда гордо красовались двуглавые орлы, прямо на мостовой лежал целый ряд. Два врача – старик в старорежимных золотых очках и другой, молодой, в одной майке, с обнаженными жилистыми руками, торопясь, обматывали бинтами раны, не смывая крови и прилипшей земли, – воды не было. Брезентовая сумка с красным крестом торчала углом из кучи выпавших на мостовую марлевых катышей.

От главной городской аптеки, петляя зигзагами по аллее бульвара, ковылял Володька. В каждой руке у него было по полному, поблескивавшему на солнце ведру.

– Не зевай! – орал он на обе стороны. – Успевай! Там его всего две бутылки, ведер на пять в каждой... С собой увезли сволочи! Пользуйся, кто успеет!

Из магазинов тоже что-то тащили: одни выволакивали ящики, другие сыпали сахар и муку в захваченные из дому мешки, а неудачники просто рассовывали по карманам, что под руку попадет.

– Сахару-то, сахару-то, прямо горой в «закрытом»! – кричала грудастая баба в окно полуподвала. – Нюська, Нюська, ты подушки вытряхни, а наволочки мне давай! Ну, чего стала? – заглянула она в окно, став на четвереньки.

От бывших Архиерейских прудов, по крутому подъему, медленно и уверенно похрипывая, скребя мостовую гусеницей, выползал первый пятнистый, как саламандра, танк. Его башня была закрыта и сквозь прорезы виднелись чьи-то глаза. За ним, метрах в пятидесяти, полз другой с открытым люком, на борту которого сидел офицер в серозеленой куртке с серебряными жгутовыми погонами. Он курил и помахивал дымящейся в мундштуке сигаретой выглядывавшим из ворот девушкам.

\* \* \*

Тавричанин Демин, строивший хутор – теперь учебное хозяйство зооинститута, – был хотя и малограмотным, но дошлым. Широкие

планы рождались в его чубатой, вихрастой голове – стригся он сам овечьими ножницами перед осколком мутного базарного зеркала.

– В городу-то за это баловство пятиалтынный отдай, а нам зеркала и ладиколоны ни к чему.

Свою усадьбу он поставил на развилке дороги, шедшей от города на восток. От него к пригороду, сохранившему еще от суворовских времен название «форштадт», шла одна широкая дорога. К востоку же, в глубь хлебородной степной целины – две-одна к непролазным горным лесам Зеленчука, другая к долинам бурного Терека.

– И с одной и с другой стороны на базар подвоз пойдет, – рассуждал Демин, – меня ни одна подвода не минует. Не зевай только, хотя бы и при малой наличности. Назад кто не расторговался, опять через меня. Значит, за полцены отдавать будут, податься некуда, как лещу в вентиле.

Через несколько минут после донесшейся из города пулеметной очереди примолкший и еще теснее сгрудившийся табунок на дворе учхоза услышал фырканье нескольких быстро приближавшихся автомашин.

– Авангард социализма на полном газе пошел, – прислушался Середа и, широко размахивая вихлястыми, как цепи, руками, почти бегом ринулся к развилку дороги. – Надо поглядеть, кто парадом командует.

Вслед за ним из дверей конторы выскочил директор учхоза и парторг, оба с туго набитыми портфелями. Жена парторга протолкалась из табунчика локтями и побежала за ним к конюшне.

– Вася! Васенька! – залихватно причитала она на ходу тонким голосом. – Васенька, может и мне с тобой?

– А коров на кого оставишь? – злобно прокричала ей из толпы худая, иссохшая женщина, совавшая такую же иссохшую, вислую, с синими жилками грудь в писклявый сверток тряпья.

– Две у нее теперича: своя и дилехторова. Ей оставляет.

– Кладовщик, ключ давай! – кричал от амбара сам директор, в то время как парторг выводил из конюшни запряженную в тачанку пару.

– Под сало подкапывается. Там его с полцентнера набрано, – зашуршали вокруг румяного кладовщика, – не давай, не давай ключа!

Сам он, стоявший в первом ряду толпы, попятился и юркнул в гущу.

От амбара отлетел смачный мат, и вслед за ним зазвучали глухие удары.

– Камнем замок сшибает. Чего глядишь, кладовщик? Твоя обязанность, Евстигнеич! Ты амбару сторож! Чего смотрите?

– У него наган. Вот тебе и чего! – огрызнулся кладовщик. Тачанка мягко прошуршала по накатаному двору и скрылась за углом амбара.

– Обком в полном пленуме! – орал с края двора Середа. – Весь президиум налицо!

– Пойти, посмотреть, – сам себе объявил Евстигнеич и вся толпа нестройно потянулась вслед за ним к развилке. Навстречу ей от города валили густые клубы пыли.

Теперь, вслед за автомашинами, шли подводы. Они двигались волной в несколько струй, катились и по дороге, и по неубранной жухлой кукурузе, обгоняли одна другую, сцеплялись упряжью и колесами. С возов падали мешки и узлы. Иногда с них же сваливались или сами прыгивали люди, бежали рядом, давясь пылью и размахивая руками. На развилке волна разваливалась, растекалась на два русла и по обоим, один за другим, катились серые клубы пыли.

До хутора долетали отдельные выкрики и ругань. Запоздалые автомашины, отчаявшись распугать толпу подвод ревом сирен, сворачивали в обход по кукурузе и фыркали в ней, обматывая колеса бахромой сухих будыльев.

– Поспешают очень, а куда? Это самим не известно, – рассуждал вслух Евстигнеич. – Война теперь такая, что повсюду достает. Ничего положительного установить невозможно.

– Подперло под печенку – тут тебе и вся установка! Хошь не хошь, а беги, – бросил ему в ответ Середа.

На дороге завиднелись пешие одиночки. Изредка с узлами и мешками за спиной, но больше без клади, в какой-то смешанной, полувоенной одежде: на плечах пиджак или распоясанная блуза-толстовка, а под ней защитные полинялые штаны, обмотки, стоптанные брезентовые «танки». Редко кто в форме, с винтовкой. Такие больше в ладных гимнастерках, с темными квадратами от сорванных петлиц на воротниках.

– Вот они и главные силы идут, – рассмотрел в клубах пыли Середа быстро подвигавшуюся колону всадников. – Эскадрон войск НКВД во взводной колонне... и в порядке даже... справа по три идут...

Шедшая рысью плотная колонна всадников разваливала на обе стороны толпу пешеходов, как лемех плуга рыхлую пашню. Эскадр-

рон двигался без окриков, но даже запоздалые одиночные подводы, увидев его приближение, сами переваливали с дороги на комоватую степную залежь.

Мутный людской поток стал заметно редеть. Подводы на сморенных, с набитыми холками лошадях тащились теперь поодиночке. На них сидели мелкие партийцы, часть которых Брянцев знал в лицо.

«Неудачники. И здесь в хвосте плетутся», – подумал он и, словно угадав его мысль, на нее ответил Евстигнейч:

– Я эфтих коней знаю. Они с ветеринарного пункта. Ихний лазаретный выпас в овраге, как от фурштата к нам иттить. На таких конях далеко не уедешь. Значит, и здесь опять кому что достанется.

Солнце стояло еще высоко, но дорога уже опустела. Волна беженцев спала. Теперь и одинокие пешеходы двигались редкими, разрозненными группами, по три-четыре человека.

– Немного народу из городу-то ушло, – сделал свой вывод Евстигнейч, – какое-никакое, а у каждого свое добро есть. Куда от него иттить? Ну, разве что петля на шее, тогда – ясно-понятно – все для своего спасения покинешь.

Последней по улегшейся пыли дороги протянулась короткая цепочка раненых.

– Один, два... шесть, семь... Семеро явно из лазарета плетутся, видите – перевязанные, – посчитал Миша, – а последний хромает.

Этот, шедший последним, завернул к хутору, проковылял волоча больную ногу по колючему буряну и, не дойдя до примолкшей толпы, сел прямо на землю.

– Пить кто-нибудь принесите... – махнул он рукой. – Смерть горло пересохло.

Две женщины тотчас побежали за водой. Остальные придвинулись к раненому и окружили его плотным кольцом. Все молчали. Молчал и сидевший в бурьяне, размазывая по лицу пыль и пот рукавом накинутой на больничное белье шинели.

– С лазарета, мил-человек? – нарушил молчание Евстигнейч. – Нога, значит, у тебя повреждена? – кивнул он бородкой на торчавшую из закорузлого ботинка грязную марлю. – Трудновато тебе иттить-то. Неужто и повозок вам не доставили? Лазарету, значит, как полагается...

Раненый безучастно и как будто даже бессмысленно, словно не поняв вопроса, уставился поверх головы старика и вдруг его изжелта

бледное, по-больничному отекавшее лицо перекосила судорога нестерпимой для него самой злобы.

– ... ..мать их в гроб, в переносицу! – бессмысленно выругался он и, привстав из бурьяна, набросился на Евстигнеича. Злоба душила его, и он выплевывал все новые и новые ругательства: – Повозки? Повозки, говоришь? Они под начальство, под политрукову свинью пошли... Вот куда! Няньки, сестры — все к чертям разбежались. Одна докторша-девченка на все три этажа осталась. Вот как ... их мать ... Защитников родины ... – задыхался он сам клокочущей в горле ненавистью. Выхватил из бурьяна ком сухой земли и шваркнул его в стенку сарая. – Вот как... в чорта... в гроб!..

Подбежавшая женщина сунула ему жестяную кружку и он, заливая водой отросшую бороду, даваясь и хлюпая, жадно осушил ее до дна.

– Еще дай! – потянулся он к другой принесенной чашке. – Еще!.. Смерть, как пить хотца... С утра с самого... дьявола... пропаду нет на них!

В городе снова глухо и раскатисто ухнуло. Середа и Мишка отбежали от сарая на пригорок. Оттуда весь город был виден вплоть до отдельных домов и улиц. Стрельбы уже не было слышно, но густо клубилось несколько раскидистых дымовых кустов, а над ними ширил в стороны черные ветви высокий ствол густого черного дыма. Он рос на глазах.

– Самолетов не видно. Опять же бить ему теперь не к чему, раз город его, а ударил? – озадаченно произнес Середа. – И показывается будто на Гулиеву мельницу.

– Не ударил, а взорвана она! – выкрикнул Мишка, но его слов не расслышал даже Середа. Их заглушил гул второго сильного взрыва. Рядом с первым густым столбом стал расти второй, несколько ближе к догоравшим уже нефтехранилищам.

– Так и есть! – стукнул себя в бедра сжатыми кулаками Мишка. – Выполнили все-таки задание партии: элеватор взорвали! – тряхнул он за плечо Середу. – Элеватор и мельницу – муку и зерно... Таково было задание.

– По радио, значит, «братья и сестры», – хрипел, повернувшись к толпе Середа, – а в практическом применении этим самым братьям и сестрам без хлеба теперь сдыхать! Эх, сволочь!..

# ШИШКОВА

## Агния

(Аглая – псевдоним)

## Сергеевна

(1923–1998) – поэтесса.



Родилась в небольшом городке Рославле Смоленской области. Отец – землемер, мать учительница. Племянница писателя автора «Угрюм-реки» Вячеслава Шишкова по отцовской линии.

Во время немецкой оккупации Рославля училась в местном пединституте, где познакомилась с Леонидом Ржевским, какое-то время преподававшим там методику русского языка. Юная студентка влюбилась в молодого москвича. Счастье длилось недолго: в 1944 году смертельно больного туберкулезом Ржевского отправили умирать в германский госпиталь. Девушка добилась себе пропуска в Германию, нашла Ржевского и выходила его. Эта история нашла отражение в романе Ржевского «Показавшему нам свет».

До 1955 года Шишкова жила с мужем в Германии. Затем – в Швеции. В 1963 году супруги эмигрировали в США, где Агния Сергеевна получила степень бакалавра по славянским языкам и литературе и до выхода на пенсию преподавала в Йельском, Колумбийском и Норвичском университетах.

Под псевдонимом «Аглая Шишкова» издала единственный сборник стихов, получивший весьма положительную оценку И.А. Бунина. «Прочел Вашу “Чужедаль”, – писал Бунин молодой поэтессе. – Думаю, что у Вас есть подлинный, а не поддельный поэтический дар». Правда, классику не понравилось, что в лирике Шишковой звучит близкая к есенинской народная лексика. Действительно, в стихах Шишковой много не только простонародных и фольклорных слов, но и окказионализмов, построенных на народной основе. Яркий пример тому – характерное название сборника стихов «Чужедаль».

Лирическая героиня поэтессы чувствует себя неугодно в бездорожье эмигрантских дорог. «Тоска обуяла по родимой стране – Голубень», – пишет она в одном стихотворении. «Рыжий месяц и звезд

ды» родного края вспоминает в другом; «кленов густые гусли» – в третьем. Словами «Ненаглядная моя сторонка, / Степи, родина моя» завершит она стихотворение «Ветер смуглый, вечер лунный». Ностальгически звучит ее маленькая поэма «Грибная баллада»: грибы в лесах Баварии навевают ей воспоминания о родной Смоленщине и России.

Чрезвычайно интересно стихотворение «У приемника», где слова песни Исаковского вновь обращают поэтессу к раздумьям о родине и чуждадье.

Даже пейзажная лирика, рисующая Германию или Швецию, неизменно включает в себя ассоциации с Москвой, с русской природой.

Аглая Шишкова умело пользуется не только русским словом, но и звукописью (примером чему являются «Налет», та же «Грибная баллада»), ритмикой и рифмой русского стиха («Цыганские напевы», «Рыжая Дэзи» и др.).

Переехав в США поэтесса оставалась русским человеком: так и не освоила английский язык, не интересовалась американской культурой, полностью посвятив себя мужу. В частности, пока был жив Ржевский, Агния Сергеевна блестяще организовывала литературные салоны в их доме, была великолепной хозяйкой и кулинаром. Лишь изредка давала свои стихи, в том числе старые, в «Грани» и «Литературный современник».

## Сочинения

Чуждадь: Стихи. – *Посев*, 1953.

## Публикации

Гость. – *Грани*, 1952, № 16.

«Камня чуть немножко больше...» – *Лит. совр.*, 1954.

На альпийском шоссе. – *Грани*, 1952, № 16.

На палубе. – *Грани*, 1959, № 41.

Стихи. – *Грани*, 1950, № 9; 1959, № 44.

У лимбургского собора. – *Лит. совр.*, 1951, № 1.



\* \* \*

На опушке, за пропашиной –  
Купол в липовом плену.  
С богомолкою-монашенкой  
Я в часовню загляну.

У холодного подножия  
Прислоню и свой венок:  
Помоги мне, Матерь Божия,  
В бездорожии дорог...

Чтоб нечаянной развязкою  
Утолилася печаль,  
Чтоб Твоей согрелась ласкою  
Для бездомной *чуждедаль*.

## НОЧЬЮ

Ночь на чужбине. Тишина.  
Спит небо, звездной россыпью согрето.  
Ах, почему душа до дна  
Иною тишиной полна,  
Иною россыпью – не этой!

А этим я чужая. Пусть!  
Вот погадаю, сидя на постели,  
Чтоб карты ледяную грусть  
Обманом ласковым согрели.

## НАЛЕТ

Прожектор нацепил на палец облака  
(Чтобы видней была пропеллеру дорога),  
Гудок завыл издалека:  
– Трево–о–га...

Заныло в вышине и замерло внизу,  
Сердца застыли в ожиданьи.  
Все ближе тяжкое дыхание:  
– Везу–у... везу–у...

И вот уж небосклон из края в край  
Прощтопали светящиеся нитки,  
Отчаянно затыкали зенитки:  
– Дай, дай, дай, дай!

И, словно рассердись, что смята тишина,  
Что встречен огненной порошей,  
Швыряет он во мрак губительною ношей:  
– Дер–ж–ж–и... Нн–а!!

\* \* \*

Грусть наплыла... Шепнулась строфа.  
Да полно, то грусть ли?  
Как будто– ветер в саду растрепал  
Кленов зеленые гусли.

И вот – тороплюсь: успею ли, нет  
Услышать, поют куда,  
И в строчки собрать невнятный привет,  
Невнятный привет оттуда.

## ГОСТЬ

Он вошел, громоздкий, взлохмаченный,  
По паркету скользя,  
Сел – и воздух поплыл коньячный:  
Спички зажечь нельзя...

Распластал по скатерти локти –  
Чтоб устойчивей голове –  
И рассыпался гулким рокотом  
На певучей «мове» своей...

Про судьбу, про природу здешнюю,  
Захлебнувшуюся в горах,  
И что тесно здесь, как в скворешне,  
И что немец – выпить дурак:

«Пиво – квартами, шнапс – напёрстками,  
Песни ихние – ухам капут,  
О цю пору у нас под Хопёрском  
Кавуны выпивают в пуд»...

И такая в наивных жалобах  
Человечья тоска жила...  
Задремал, и рука дрожала,  
Свесившаяся со стола.

Да, знакомец мой невозможный,  
Неприветны наши пути,  
Этот край, из кубиков сложенный,  
Где ему таких приютить!

Это только одно на свете –  
Степь до неба... ковыль, бахчи...  
Там и лечь... где в зеленой оплетине  
Дыня смуглой парчой торчит.

Чтобы вширь ли истаяла, ввысь ли  
Чужедальняя маята,  
Чтобы храп вот этот, немислимый,  
До рядных плетней долетал.

Небо красится давленной вишней,  
Ты ж лежи себе да лежи.  
Кто там спросит, зачем выпил лишнее,  
Почему заснул у межи?

Сыплют топотом в тишь закатную  
Сквозь кудлатую пыль табуны.  
Запотели росой скатной  
Полосатые кавуны.

**ИЗ СКАНДИНАВСКОГО БЛОКНОТА**

Камня чуть немножко много,  
Но совсем как под Москвой –  
Эта зыбкая дорога,  
Эта узкая дорога  
В колеях и брызгах хвой.

Эта синь и лист летучий  
И, родные будто мне,  
Эти тоненькие тучи,  
Эти ситцевые тучи  
В невысокой вышине.

**У ПРИЕМНИКА**

*Л. Ржевскому*

Загудело... и вдруг запело как:  
Глаз зеленый крупно мигнул.  
Зацепила в эфире стрелка  
За волну за одну...

Пустяки? – а тоска таится,  
Караулит тебя, как тать, –  
«Летят перелетные птицы,  
А я не хочу улетать»...

Звуки тоже летят, как стая,  
А слова... Вы скажете: ложь?  
Почему же песня простая  
Сердце бросила в дрожь?

Откупиться б любой ценою,  
Только есть ли такая цена?  
«А я остаюсь с тобою,  
Родная сторона»...

Не осталась. Рассталась. Что же,  
И – отвыкнуть, память губя?  
Только в этой вот сладкой дрожи  
Ощуцаю Тебя.

И шепчу, и шепчу по-детски,  
Песней схвачена и сражена:  
«Не нужен мне берег турецкий  
И Африка мне не нужна»...

### ИЗ ЦИКЛА «НЕСОЛОВЬИНЫЙ КРАЙ»

На знойном кладбище могилы стеснены,  
И памятники выросли повзводно,  
И только вот под елкой, у стены,  
Немножко тени, и еще свободно.

Дорожки хрусткие и розы всех пород,  
Вазоны и венки, кропила и купели,  
Какой торжественный гранитный огород –  
Покойников зеленые постели!

Что ж, может быть, так легче отгореть,  
Хотя бив поспешившем смертном часе,  
Коль есть кому могильный крест согреть,  
Последнее убежище украсить?

Вот позовут – и лягу в эту тишь,  
И звякнет жалостно навстречу колоколец,  
Когда пересечет с веселым свистом стриж  
Последний путь мой от чужих околиц.

Не возропщу тогда, что тишина – не та,  
Смиренно буду ждать: вот дождик брызнет...  
И, может быть, простит мне эта красота,  
Что полюбить ее я не смогла при жизни.

# ЮРАСОВ

(Жабинский, в США – Vladimir Rudolph Shabinsky)

## Владимир Иванович

*(1914–1996)– прозаик, поэт, критик, публицист.*



Родился в Румынии, рос в Ростове-на-Дону в семье отчима. После окончания школы с электротехническим уклоном (1930) работал на монтажах Россельмаша, Сталинградского тракторного завода, Магнитогорского комбината, шахт Донбасса, новороссийских цементных заводов, в Северо-Кавказском отделении Сельэлектростроя. В 1932 приехал в Ленинград, где работал на заводе «Красный Путиловец». В 1934 поступил на литфак Ленинградского Института философии и литературы (с 1936 влившийся в Ленинградский университет).

В 1937 арестован по доносу людей, желавших захватить квартиру репрессированных родственников Жабинского и комнату его самого, и осуждён на восемь лет лагерей. Отбывал в Сеgezлаге (Карелия). Во время эвакуации лагеря в начале войны поезд с заключёнными попал под Ярославлем под бомбежку, и Жабинскому удалось бежать в Ростов и обзавестись новыми документами.

Высокограмотный специалист-энергетик, он работал начальником электроцеха на заводе «Красное знамя», аттестован в качестве инженер-майора. Служил на 1-й Белорусский фронте по технической специальности.

В звании подполковника служил в 1946–1947 гг. в Промышленном Управлении Советской Военной Администрации в Германии (занимался отправкой в СССР оборудования немецких цементных заводов), а после демобилизации (начало 1947) работал в Наркомате промышленности, выполняя в Германии ту же самую работу.

Вызванный в 1947 в Москву в Наркомат, понял, что не пройдет проверку в органах и вынужден был искать прибежище в американском секторе.

После многочисленных проверок теперь уже американской военной администрацией в 1951 получил разрешение на въезд в США.

До этого пробивался написанием статей для немецкой, швейцарской, французской и русской зарубежной печати.

В Америке продолжил публицистическую деятельность: стал редактором журнала «Америка», вел передачи на радиостанции «Свобода» (1952–1981).

Литературной деятельностью начал заниматься в эмиграции под псевдонимом С. Юрасов, подсказанным Р. Гулем. Использовал также псевдонимы Владимир Юрасов и Владимир Рудольф. Первая опубликованная работа – рассказ «Горе тому кувшину» (1951) о несчастьях, выпадающих на долю простого человека при любой тоталитарной власти. Писал и стихи, в том числе выдержанную в стилистике А. Твардовского, но явно уступающую по художественным достоинствам первоисточнику поэму «Василий Тёркин после войны», герой которой рассказывает о советских концлагерях, о нищенской пред- и послевоенной жизни деревни, высмеивает партийных руководителей.

Однако, главным и единственным по сути крупным произведением писателя стал роман «Параллакс» (первая часть «Враг народа» опубликована в 1952 году. В 1972 году к ней добавились еще две части).

Судьба героя романа «Параллакс» Федора Панина напоминает судьбу самого Юрасова. Однако побег Федора вызван не столько личными драматическими обстоятельствами, сколько неприятием «всеобщего рабства», внедряемой сталинским режимом идеи «Великого Страха» как двигателя прогресса. «Здесь дышать нечем!» – объясняет свои действия Панин.

Герою романа снится, как его ловят «люди в советской форме. Однажды людей не было, а были только глаза – пара серых, беспощадно спокойных, наблюдающих глаз. Снилось площадь, улицы, развалины – и куда бы он ни шел, повсюду за ним следовала и следила эта пара глаз...».

В романе с достаточной мерой убедительности показано проникновение страха в лагеря советских военнопленных, ожидающих репатриации на родину. Трагична сцена насильственной отправки русских военнопленных на родину (глава «Платтлинг»), завершающаяся авторскими словами «Небо плакало мелкими старушечьими слезами». И все же писатель не верит в возможность полного порабощения русского народа. Символом сопротивления звучит песня,

исполняемая одним из эпизодических персонажей романа и его друзьями: «Не к лицу нам покаянье, / Не пугает нас огонь, / Мы бессмертны! До свиданья!»

Сюжет романа, включающий в себя передвижения Федора по Германии и его друга Василия Трухина по России, их многочисленные встречи (с русскими военнопленными и узниками ГУЛАГа, с советскими и американскими боевыми офицерами и разного рода чекистами, вплоть до всемогущего генерала Серова) придают роману социальную широту и размах, позволяют увидеть одни и те же события с разных точек зрения. Слово «параллакс» и означает, как об этом пишет энциклопедический словарь, «видимое изменение положения предмета (тела) вследствие перемещения глаза наблюдателя».

Не только главные герои романа (Федор и Василий Трухин, Катя и Соня), но и многочисленные второстепенные персонажи, живущие по обе стороны океана (заключительная часть романа так и называется «По обе стороны»), постепенно изживают страх, проникаются пониманием общечеловеческих ценностей и готовы своим высоко нравственным поведением отстаивать их.

Во время «оттепели» Юрасов написал 18 литературно-критических статей, в основном о советских писателях, составивших книгу «Просветы».

В начале 1970-х Юрасов отошёл от литературной деятельности и проживал в Толстовском Фонде в посёлке Valley Cottage (штат Нью-Йорк), где и скончался.

## Сочинения

Враг народа. – New York, 1952.

Василий Тёркин после войны. – New York, 1953.

Просветы. Заметки о советской литературе, 1956–1957. – München, 1958

Параллакс. – New York, 1972.

## Публикации

Враг народа // *Грани*. 1951. № 12.

Встреча. Отрывок из романа «Враг народа» // *Лит. совр.* 1951. № 1.

Горе тому же кувшину // *Лит. совр.* 1951. № 1,

Домой // *Мосты*. 1968, 13 / 14.

Из переводов самого себя (1939–48). Стихи // *Грани*. 1951. № 11  
Ирина Одоевцева. Оставь надежду навсегда // *НЖ*. 1954. № 39.  
Платтлинг. Отрывок из романа *Страх* // *Лит. совр.* 1954.  
Сеgezская ночь. Поэма, (1939) // *НЖ*. 1951. № 27  
*Страх* // *Мосты*. 1958. № 1; 1959. № 2.  
*Страх* // *НЖ*. 1955. № 41.  
*Тоска по тебе* // *Мосты*. 1959. № 3.



## ПО ОБЕ СТОРОНЫ

У входа на платформу стояла тысячная толпа, оттесняемая милиционерами. Все это должно было ринуться, как только подадут поезд. Федор стоял в нерешительности. Проходивший мимо железнодорожник посмотрел на него и раздраженно, как показалось Федору, заметил:

– Вам-то, товарищ майор, зачем лезть? Когда уляжется, тогда и проходите – офицерские места нумерованы!

Из боковой двери вокзального здания торопливо вышла группа милиционеров и железнодорожников. Они заняли проходы к соседней платформе.

Подошел запыхавшийся паровоз. Пассажиры выскакивали из вагонов, старались пробраться ближе к выходам, где милиционеры и контролеры уже проверяли паспорта, пропуска, командировочные. Некоторых пассажиров задерживали и куда-то уводили. Москва!

Вскоре подали поезд. Вагоны брали с боя. Кого-то придавили, кто-то кричал, плакали дети, визжали женщины...

В офицерском отделении вагона было пусто. Электричества не было, горели свечи. Федору досталось место в двухместном купе. Он стянул сапоги и полез на верхнюю полку. Ни белья, ни матраца не было. Положил чемодан под голову, укрылся шинелью и стал думать, что будет делать дома. За окном бегали люди, просились в вагон, кондуктор одностонно говорил: «воинский». Крикнул женский голос: «Чтоб им пусто было, этим лейтенантам!».

Потом все смешалось: шум моторов самолета, лицо старого генерала, вокзальные толпы, милиционеры, лицо Сони, крики за окном... Отхода поезда Федор уже не слышал.

Проснулся он от боли в спине. Мерно стучали колеса. Светало. Внизу храпел, укрывшись с головой шинелью с интендантскими подполковничьими погонами, какой-то толстяк.

За окном в сером утреннем свете плыли снежные, уходящие до горизонта поля. Пронесся сожженный полустанок, и снова низкое темное небо и мертвые поля.

Глядя на них, Федор почувствовал, что он дома. Чем-то бесконечно родным повеяло на него от этой безрадостной картины зимних полей.

Он закурил и подвинулся к окну. Метрах в ста от полотна шла проселочная дорога. Мимо проплыла, отчетливая на снегу, группа – лошадь, сани и фигура в полушубке. Казалось, лошадь и человек шли не вперед, а назад. Когда они остались позади, Федор все еще видел на фоне бескрайнего снежного поля клячонку с понурой головой и человека, глядящего на поезд.

Мелькали сожженные полустанки и станции, бабы, укутанные в огромные платки, с кувшинами в кошелках, вороны на дорогах, поля и снег без конца, без края.

Полковник ехал в Крым лечиться от «одышки», как он говорил. Был он веселый, плутоватый, сыпал анекдотами и все приговаривал: «а мы его осторожненько за ушко да на солнышко». О своих болезнях – «одышке» и какой-то «контузии» – говорил так, будто они доставляли ему удовольствие. Вещей с ним было много, Федор даже удивился, зачем они ему в санатории.

– Э, батенька, да ведь в Крыму ничего нет – ни мануфактуры, ни трикотажа, ни обуви! Я и подлечусь, и времени даром не потеряю, – и хитро подмигнул Федору.

К обеду он стал надоедать, и Федор обрадовался, когда услышал, как тот договаривался в коридоре с кем-то из пассажиров «сгонять вечерком пулечку».

Федор пытался собраться с мыслями о предстоящем. Все было неясно – даже представить Соню арестованной он не мог.

Взял со столика книгу – подполковник ее вынул из чемодана еще утром. «Краткий курс истории ВКП(б)» – это было неожиданно и непохоже на толстяка. Федор засмеялся.

Тот заметил снизу:

– Правильно, майор! Надо на зубок знать – без нее ходу нет, – и смеясь, добавил: – везде вожу с собой, но дальше двадцатой страницы никак не осваивается.

Вскоре подполковник ушел в соседнее купэ играть в преферанс. Федор достал Блока, но читать не хотелось, и он стал смотреть в окно.

Мягко проносились, отсчитывая расстояние, телеграфные столбы, бежали, то поднимаясь, то опускаясь и перекрещиваясь, провода, косматый шар солнца, разрывая чашу леса, неся за деревьями и, казалось, хотел обогнать поезд и забежать вперед.

Кто-то без стука открыл дверь.

– Подайте безногому, товарищ офицер!

Федор оглянулся – с высоты пояса на него пристально смотрели светлые с усмешкой глаза. На безногом была выцветшая гимнастерка с орденами «Славы» 1-ой степени, «Красной Звезды» и медалями «За оборону Москвы» и «За оборону Сталинграда». В руках – деревянныешки для опоры.

Федор смотрел на калеку, тот на Федора, у обоих в глазах росло узнавание.

– Седых... Ты? – первым опомнился Федор. Усмешка пропала, глаза сузились, и стали колючими.

– Так точно, товарищ гвардии майор Панин, бывший гвардии сержант Седых, собственной персоной. Наше вам с кисточкой!

Федор спрыгнул с полки и молча протянул руку. Калека посмотрел на руку, потом на лицо, снова на руку и, осторожно поставив на пол деревяшку, пожал грязными и сильными пальцами руку Федора:

– Привет, товарищ майор, если не шутите.

– Боже мой, Седых! Митя! Да входи же! – Какой-то офицер остановился в проходе у двери. Федор втащил безногого в купэ и захлопнул дверь. Волнуясь и теряясь, помог ему сесть. Стал угощать папиросами.

– Как же, Митя? А? Сколько лет, и вот привелось... Седых ловко закурил от спички, пустил кверху дым и посмотрел опять уже с усмешкой на Федора.

Федор знал эту усмешку нагловатых светлых глаз. Вот так же они смотрели на Федора, когда он под бешеным огнем немцев на берегу Березины приказал сержанту Митьке Седых, самому отчаянному голворезу в дивизии, переплыть на другой берег и подавить немецкий пулемет, не позволявший приступить к наведению переправы. Приказ посылал сержанта на смерть. С этой усмешечкой в глазах Седых скрипнул зубами и, повернувшись без обычного «есть», с гранатами за поясом скрылся в камышах. Через двадцать минут пулемет замол-

чал. И когда с мостом было кончено и на немецкий берег прошли танки, Федор написал рапорт о подвиге Седых. Сержанта нашли санитары раненым в ноги и увезли в тыл. Больше о нем Федор никогда не слышал.

– Вот она «Слава» где! – Седых ткнул грязным пальцем в белую звезду, потом на обрубки ног. От него разило самогоном. Он пошарил глазами по груди Федора:

– А я думал, вам «Героя» тогда дали.

– Какое там «Героя», Митя... Ты, наверное, мне никогда не простишь этого.

Седых сильно затянулся дымом и, наклонившись вперед, отчего, казалось, вот-вот упадет, с лицом, налившимся кровью, прохрепел:

– Что там вспоминать, товарищ майор! «Сегодня ты, а завтра я!» – еще хорошо, что только ноги, а сколько корешков приземлилось на том свете! Сначала психовал, а потом ничего – попал в цвет! Стал ездить и торговать по маленькой – деньжата завелись. В госпитале боялся – бабы любить не будут, а вышло наоборот, ноги тут не причем. Плохо – война кончилась: ребятки к женам с фронта прикатили, но на наш век и вдовушек хватит. Хуже другое – «товарищи» спуска стали не давать. Раньше едешь с чувалом барахла, чтоб загнать, где подороже, – никакая зараза не прискипается! Чуть мильтон сунется в инвалидный вагон, мы его – костылями! До полусмерти долбали. А на базаре – за версту обходили лягавые нас! Теперь – крышка: засыпался с барахлишком, ну и хана – три-пять лет! Хоть бы ты «Ленина» имел. Ордена теперь не защита.

Федор достал из чемодана бутылку коньяку и закуску. Седых засмеялся мальчишеским ртом, полным белых зубов.

– Точно, товарищ майор: «боевые друзья встречаются вновь!» Ему заметно нравилось говорить с Федором независимо, как с равным. Федору же хотелось сделать для Седых что-нибудь такое, чтобы тот понял, что ему стыдно за его ноги и за свое неискалеченное тело.

Русский человек неловкость часто прячет в вине. Скоро последовала вторая бутылка, а потом, на станции, Федор купил бутылку самогона.

– Куда же ты едешь, Митя?

– Домой.

– А дом где?

– Да везде! Куда ни приеду, там и дом. Везде жены-вдовушки, везде бедному калеке ласка обеспечена. Спасибо товарищу Сталину за вдовушек! Если бы, товарищ майор, не лягавые – жить было бы можно; а так стали после войны прижимать инвалидов. Если раньше били милицию мы – теперь милиция нас бьет. Да как бьет! За старое отыгрываются. Бьют, бьют, а потом – под монастырь, в лагерь. Хотя я «Сибири не боюсь, Сибирь ведь тоже русская земля», но обидно, товарищ майор, – они, заразы, всю войну отсиживались по бабам, а теперь опять наверху! Дали бы мне «максим» – всех мильтонов перестрелял бы!

– Как же тогда без них? – усмехнулся Федор.

– В натуре, советской власти без мильтонов нельзя, на мильтонах и держится. Но наше время вернется, опять будем бить лягавых, и уже не одних мильтонов... Во второй не обдурят! Теперь – ученые.

– А разве инвалидам не дают пособий, не устраивают на легкую работу?

– Как же, дают, дают, товарищ майор. Дадут, догонят и еще раз дадут. Вот недавно в Одессе собралась бражка на костылях, да так накостыляла лягавым, что внутренние войска вызвали.

– Как же это?

– Да так, великая революция инвалидов в городе Одессе! – рассмехался совсем не пьяный Седых, – схватили корешков, ну, и тю-тю, в лагерь. Рано еще. Сейчас надо по маленькой. Вот собираю милостыню – офицеры дают, вдовушки жалеют, – каждый день пьян и нос в табаке. Может, и пристану к какой зазнобе-молочнице – «Хорошо тому живется, кто с молочницей живет...»

Поезд подошел к какой-то большой станции и, стуча буферами, остановился. Седых глянул в окно, опрокинул в рот остаток самогона и заторопился:

– Моя. Спасибо, товарищ майор, за угощение, за приятную встречу.

Федор подумал, дать ли Седых денег, но побоялся обидеть. Когда тот опустил на пол, решился и спросил:

– Может, тебе, Митя, нужны... деньги? Пожалуйста... Не обижайся...

Опять засмеялись глаза Седых:

– Нет, товарищ майор, со своих не берем. Желаю счастливого пути, – и падая на деревяшки в руках, сильно понес туловище. Федор пошел за ним.

В коридоре у выхода толпились офицеры.

– Дорогу инвалиду, товарищи офицеры, – весело кричал Седых и ловко двигался между сапогами.

Федор дошел с обрубком сержанта к выходу с перрона. Остановились.

– Прощай, Митя. Прости меня...

– Бог простит, как говорили бабушки, товарищ майор, вы-то при чем! – и засмеявшись глазами, добавил: – А я все же пару червонцев у вас возьму и выпью за вас со своей Нюрочкой.

Федор, торопясь, достал из кармана гимнастерки смятую красную бумажку и сунул в протянутую руку.

\* \* \*

На берегу Рейна, против железнодорожного моста с перебитым костяком, на нагретых солнцем бетонных площадках у мертвых пакгаузов было людно: вязали немки, играли дети, дремали с газетами в руках мужчины.

Справка УННРА в кармане была контромаркой, и Федор, расстелив пальто, положив портфель под голову, скоро уснул. Справка была фальшивая, но спроси полицейский – она давала основание возражать, возмущаться, требовать...

Разбудил Федора гутаперчевый мячик. Солнце стояло низко, тень от развалин, похожая на верблюда, загибалась к реке. Мячик принадлежал веснущатому мальчику, которого звала собравшаяся уходить мать. И хотя Федора не звал никто, он стал собираться тоже.

Вокзал, особенно покупка билета, вернули оглядку – а вдруг спросят пропуск? Командировочное? То же повторилось и при входе на перрон.

В вагонах все места были заняты, как будто поезд шел не из самого Кёльна, а проездом. Федор стал в проходе, оставляя справа и слева одинаковые расстояния к выходам. К отходу поезд набился совсем по-советски. Отъехали в темноте – электричества не было.

Духота. Заплаканные стекла. Приливы и отливы света от проплывавших за окнами фонарей. Гул пассажиров. Ныли ноги. Хотелось сесть на пол – слева в проходе три женщины пристроились на чемоданах, парочка справа – на мешке... «Проверят документы или только билеты? Вещи, говорят, проверяют: борьба со спекуляцией – совсем, как наши мешочники». Громче всех говорил мужской кашляющий голос:

– Четыре дня ходил! Все вещи за рюкзак картофеля предлагал! Так и еду ни с чем. Без картофелины! А дома дети! Все карточки съедены! У-у, эти бауэры! Немецкий народ называется! Ничего, придет время – мы с этим «народом» посчитаемся!

«Так зреет революционная ситуация», – подумал Федор. Вспомнил лицо генерала Серова: «Революционность масс прямо пропорциональна росту населения». «Им, Серовым, нужда нужна: отчаявшемуся человеку во время подsunутый коммунизм – универсальный выход из всех бед: озлобленный, он полезет и на рожон. Русские рабочие в гражданскую также ездили и ходили по деревням. Коллективизация была замешана на этих дрожжах мести рабочих крестьянам. А в эту войну колхозники гнали из деревень городских – помните, мол, как мы плакали в коллективизацию...»

Впервые после Функе Федор снова думал обобщениями. Переход от личного к общему происходил в нем всякий раз, как только утихомиривалось личное. Устраивалось с личным, – вылезала неустроенность в большом. «Не потому ли в Советском Союзе людей держат в непрестанном напряжении личной неустроенности?»

В темноте не до условностей. Федор положил на пол пальто, сложив его горкой, и сел.

До Франкфурта-на Майне поезд шел без остановок. Стук колес, гул голосов, кашель усиливались, затихали, но для Федора все было одной шумовой нотой – усыпляющей. Разбудила перемена шума – как если бы в оркестр с хором вдруг включилось неожиданное соло: шла проверка билетов. Приняв ее спросонья за проверку документов, Федор нацелился было пробиваться в противоположную сторону – без плана, просто бежать от проверки – каждая грозила провалом, но на дальней скамье, у фонаря проводника кого-то стали громко будить: «Билеты, ваш билет!» – и смеялись. Рядом, справа, женский голос сказал:

– Вань, а, Вань! Билеты перевирають.

– Та ты их куды сховала? – ответил мужской голос. Федор едва дождался фонаря проводника. Лица соседей оказались до того свои, что понадобилось усилие, чтоб тут же не заговорить. Как он не узнал земляков при посадке! Открытие уменьшило остроту первой встречи с человеком в форме.

Вагон разбуженно шумел. Зашуршала бумага пакетов – немцы жуют всегда и повсюду. Соседи тоже полезли в мешок. Общее оживление позволило Федору заговорить с ними.

– Сосед, нет ли у вас спички? – спросил он по-русски. Ему ответила переставшая шуршать бумага. Потом с легким металлическим щелчком зажглась зажигалка.

– Прошу.

Прикуривая, Федор дал разглядеть себя.

– Спасибо! – Раскуривая сигарету, выдержал паузу: – Вы не знаете, когда мы приедем в Миттенвальд?

– Завтра по обиде. – Лаконичность ответов исключала продолжение разговора.

– Спасибо.

Соседи стали есть, запахло чесноком. Земляки! Об этой встрече он думал все эти дни, не подозревая, что все случится так просто. Решил не пугать их и ждать, пока не возьмет верх вагонное соседство. С этой минуты он слушал только их: шуршала бумага, двигался мешок, мужчина несколько раз кашлянул, чем-то занятый. Вдруг Федор услышал шопот женщины:

– Дай ему...

Не успел он понять, что это относилось к нему, как мужчина тронул за плечо:

– Прошу подкрипиться.

Почувствовав в руке ломоть хлеба с куском колбасы, Федор чуть не расплакался. Переглотив, громче, чем надо, сказал:

– Спасибо...

«Дай ему...» – в этом было все, чего ему не доставало. Не жалость, а сострадание. Он держал в темноте кусок хлеба и думал, что только советская женщина вот так, по звуку голоса, могла все сразу понять. А может быть, они приняли его вопросы за прием попрошайки? Или, может быть, это – от эгоизма счастья, оттого, что они вдвоем, а он одинок? Как бы там ни было, он твердо знал: «дай ему» останется на всю жизнь. И опять женщина догадалась:

– Пан до Миттенвальду иде, до лагерю?

– Да, в лагерь. – Хотелось сказать ей больше, но движение мужчины – «молчи, кто его знает?» – остановило.

Разговорились только утром, после того, как немка слева спросила: «На каком это вы языке разговариваете?» – «Они на украинском, а я на русском». – «Интересант! Это ваш родной язык?» – «Нет, я эстонец». С эстонцем украинец разговаривать жене разрешил и сам разговорился. И вышло: они из Западной Украины, из-под Львова,

а он эстонский подданный. Существенным для Федора был рассказ о советских репатриационных миссиях, вылавливающих советских граждан. «Кого зловлять – вывозять на родину». По тому, как она произнесла «на родину», догадался, что «пан» – для маскировки и что сами они «с родины» и не хотят туда возвращаться, и что мужнина цензура – от страха перед репатриационными миссиями.

Встреча земляков не состоялась. Зато Федор усвоил понятия: «репатриационные офицеры», «на родину», «вылавливают», «вывозят...»

\* \* \*

Подъезжая к Гармишу, Федор из окна вагона впервые в жизни увидел настоящие снежные горы. Но скала за окном скоро пошла вверх и все заслонила. Внизу, вдоль скалистой стены, бежала зеленоватомолочная речка. «Снег», – подумал Федор о цвете воды. Это тоже было впервые. Земля все уходила вверх – даже прижимаясь к стеклу, уже нельзя было увидеть неба.

Поезд шел между гор, и горы назывались Альпами. Главное для Федора было в слове – Альпы. То, что он видел Альпы, радовало необыкновенно – куда забрался! Присутствие пассажиров мешало, и он вышел на площадку. Поезд стал поворачивать, гудящая на одной ноте стена за окном сразу, рывком оборвалась, открывая пространство, долину, близкую цепь огромных гор. Одна гора стояла, несколько выйдя из ряда. Федор видел тесно взбегающие по ее крутому склону деревья (как пехота при штурме высоты), трещину с белой неподвижной лентой водопада, густую шерсть кустарника и вершину, облитую, как кулич, сахарным снегом.

Потом ощущение переменялось: вершины гор стали как бы поверхностью земли, а поезд уже шел внизу – по дну огромной котловины.

Восторг от того, что он – Федор Панин – видит географические Альпы, был первыми процентами от купленного «на все» займа Свободы. В Польше, в Германии Федор многое увидел впервые в жизни: города, замки, памятники, реки, но ему всегда казалось, что все это он видел раньше. Здесь было предельно ясно: в первый раз! Видимо, ни книги, ни картины, ни кино не могут передать ощущения гор...

В бледно-салатном небе нежно-розовые, живые облачка. Пока Федор разглядывал их, за снежными вершинами накапливались ка-

кие-то силы света – ярче, пока полнеба не заалело до самого верха, где незаметно, как на обожженной эмали, переходило оно в тот же зеленоватый цвет. Федор оглянулся – в противоположном окне облаков было больше, и все тяжелые, закатные. Ему вдруг почудилось, что в небе происходит нечто, чего люди не замечают и что подсмотрел только он...

Поезд повернул снова; далеко, у подножья гор показались белые с черным прямоугольники – не то деревня, не то городок. Федор бросался от двери к двери, стараясь запомнить, собрать сменяющиеся картины в одно целое. В мысли втолкнулось проявленное видом гор название книги Толстого «Люцерн». «Люцерн – это где-то в Швейцарии, по ту сторону хребта...» Альпийский ландшафт словно проявлял и его самого: тело стало осязаемым, легким, сильным, росло и ширилось чувство освобождения... Путешествие в страну неизвестности началось!

Вскоре за окнами замелькали плоские белые дома в коричневых полосах деревянных балконов. Подъехали к станции. На перроне толпились люди в зеленых охотничьих куртках, в шляпах с перьями; на некоторых были свитера в оленях и удивительно выглаженные натянутые брюки, заправленные в большие ботинки. Было много военных американцев. Федор, как и во Франкфурте, пылливо всматривался в этих рослых, розоволицых парней и снова радовался, что выбрал именно американскую зону. Вспомнив о спутниках-украинцах, вернулся в вагон. Там их не было. Подумал, что они вышли на перрон через другую площадку, но тут же заметил, что не было и вещей. «Сбежали, испугались», – обиженно подумал он, вспоминая женщину, «дай ему» и быстрый исподлобья взгляд мужчины, – мужская осторожность пересилила.

Федор вышел на перрон. Вокруг разговаривали, смеялись, но когда прислушался – не понял ни слова, хотя язык был несомненно немецкий. Из вокзального здания показалось двое зеленых полицейских с карабинами за плечами. Вид полицейских заставил насторожиться. Оглянулся, рядом стоял кондуктор.

– Скажите, пожалуйста, когда поезд отходит на Миттенвальд? – подошел к нему Федор.

– Через десять минут, – ответил тот, подозрительно, как показалось Федору, оглядывая его.

– О, тогда я успею еще закусить! – сказал Федор таким тоном, словно он отлично знал и Гармиш, и все, что было вокруг.

Он вернулся в вагон и выждав, пока мимо окон неторопливо прошагали полицейские, пошел по вагонам вперед, на ходу решая, сойти здесь или остаться в поезде. В первом вагоне было пусто: две парочки и у самой двери группа зеленых баварцев с трубками. Решил остаться.

Поезд тронулся. Снова вокруг успокаивающее движение, отрывающее от земли с ее пропусками, полицейскими, случайностями. Стук колес, говор пассажиров, пыхтенье паровоза убаюкивали, разговаривали с Федором в разнообразных, сменяющихся по желанию ритмах – то четыре шестнадцатых, то одна, переходящая в четверть. За окном плыли горы, белые домики в вылезших сквозь стены стропилах, с камнями на плоских крышах. Недавнего восторга, однако, не было, все было словно уже знакомо. Долго рассматривал карту. Два миллиметра между точками – Гармиш и Миттенвальд – казались решающими. Южнее проходила граница, и это тревожило: граница для Федора означала погранполосу, пропуска, проверки. Успокаивала справка в кармане и то, что Кёльн был далеко – поди, проверь!

К Миттенвальду подъехали в тумане. Городишко лежал в котловине. Земля за крышами домов уходила вверх, в туман. В серой сырости привокзальной площади пассажиры скоро растаяли, Федор остался один. Почему, собственно, он не сошел в Гармише – многолюдном и солнечном?

Из-за угла выплыла фигура в пелерине, с лицом Ницше под острой шляпой. Федор спросил о лагере...

## НЕ ЧУЖОЙ Я

Нет, не чужой я!  
Ни этой баварской осени,  
Ни этой альпийской дали,  
Ни этим готическим городам  
С красными острыми крышами,  
В еще свежих развалинах.  
Вчера были  
Дремучие леса России,  
Поля без конца и края,  
Убогие деревушки,

Громадины новых заводов,  
И та же печальная песня.  
Завтра будут равнины Франции,  
Бульвары Парижа  
В опадающем золоте каштанов,  
Завтра увижу смуглянок Италии,  
Голубую даль Адриатики,  
Каналы Венеции, солнце Сицилии  
– И это мне не чужое!  
И ты, далекая могучая Америка,  
Твои индустриальные ландшафты,  
Нивы твои в жуках-тракторах,  
Ленты твоих автострад,  
Электричество Бродвея...  
– И ты не чужая!  
Глупые люди  
Хотят меня убедить  
В ненужности,  
Но как жалки их аргументы  
Перед любимым лицом Земли –  
Моей больной матери.

### **ПЕРЕД АТАКОЙ**

Если меня сейчас убьют –  
Дорогу атаке уже мостят орудия, –  
Чье имя последних секунд  
Словом последним будет?

Вам, кто вошел когда-то в меня  
Сквозь радужные ворота моего «люблю»,  
Кто сохранил теплоту моих рук,  
Ласк моих нежных и грубых.  
Вам, кто память чтит обо мне  
За книгой, прогулкой, в объятьях супруга ли,  
В сумерек час ли, в тоске беспричинной,  
Кто ищет возлюбленных,

Образом схожих, —  
Вам, только Вам слово то будет!

Если меня сейчас убьют —  
Атака привстала, ракетой выгнув шею, —  
Последним желаньем последних минут  
Что на земле пожалею?

Вас, небеса, под которыми я не лежал,  
Вас, города, которых еще не видел,  
Вас, народы, говора которых не слышал,  
Звери, которых еще не ласкал,  
Цветы, которых не целовал,  
Вас, книги, еще не прочитанные,  
Книги, еще не написанные,  
Вас, о женщины, которых любить не успел!

Но больше всего пожалею  
О милой старой Земле,  
Которая станет такой прекрасной  
После другой, последней войны.

Ах, я не знаю — есть ли мир загробный,  
Хотел бы я только в братской могиле  
Всегда, как по радио, слушать  
Вечерний выпуск последних известий.

## **ГОРСТЬ ПЫЛИ**

Горсть пыли с дороги  
Лежит у меня на ладони,  
Серый порошок грязи,  
То, что было землей, —  
То, что будет землей, —  
Образ твой, эмиграция!  
И всё в этой пыли:  
Прах умерших людей,

И прах городов,  
И кровь былых сражений,  
И отбросы и нечистоты,  
И грязь дорог,  
И усталость спутника,  
И лучи солнца,  
И жизнь хлеба,  
И будущие люди.  
И сам я чувствую в себе  
Жизнь,  
Которую дала эта пыль,  
Жизнь,  
Которая скоро станет  
Такой же пылью.  
Горсть пыли у меня на ладони –  
Земля, оторванная от земли.  
Умершие миры и будущие миры  
Лежат у меня на ладони.

## **МЕСТО В ЖИЗНИ**

Все ищут себе места:  
Кто в несколько га плодородной земли,  
Кто площадью в две – три комнаты,  
Кто кресла международной конференции,  
Кто в несколько строк большой газеты,  
Что называется Славой;  
Кто в пару сантиметров  
Живого влюбленного сердца,  
Кто – о, дерзкий! – переменчивого места  
В бессмертии.  
А я говорю вам,  
Что нет на земле лучше  
Места  
Площадью моего тела  
(Вам надо и того меньше)  
На зеленой траве,

В тени придорожного дерева,  
Или скамьи городского парка,  
Что нет лучше для глаз  
Места,  
Чем свободное для всех небо,  
Да еще теплая глубина глаз  
Осчастливленной мною женщины.

## **НОЧЬ НА СЕДЬМОЕ НОЯБРЯ**

Безлюдных набережных бесконечность.  
Тяжелая вода каналов. Листья,  
Опавшие, плывут в ночи и в город  
На них вливается Осень незаметно.  
И Летний Сад. Со стороны Фонтанки  
На берег сходит и, шурша листвою,  
Спешит меж статуй по дорожке к невской  
Решетке ждать условленного часа...  
Укрыв себя асфальтом и бетоном,  
Спит Ленинград, спит Нарвская застава,  
И Петербург туманный из Невы,  
Развесив дымный полог над торцами,  
Навстречу Осени вернувшейся выходит.  
Их встречу ночь Октябрьская скрывает,  
Лишь только волны на ухо ступеням  
Гранитным шепчут что-то, только слезы  
Дрожат у Сфинксов на глазах и строги,  
Торжественны дворцовых окон лица.  
А ночь – бесшумный церемониймейстер –  
К параду улицы готовит – Невский  
Уже очищен, фонарей шеренги  
Построены, и в небе шпагой замер  
Адмиралтейства шпиль...

Бьет башня полночь.

И до рассвета, скрытые туманом,  
Два призрака задумчивые бродят,  
Не спят столетние деревья парков,

Не спят дома – гвардейцы-ветераны,  
И императоры чугунные снимают  
Тихонько шляпы, и косятся кони...  
Всю ночь, пока гудок не разрешится  
На Выборгской, не выдержав, и следом  
Завоют порайонно на заводах  
Тревожные сирены Ленинграда.

# Издания АИРО-XXI в 2000–2014 гг.

## 2000

- Ю. А. Рыбалкин.* Операция «Х». Советская военная помощь республиканской Испании. («АИРО – Первая монография»).
- А.Ю. Бахтурина.* Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны. («АИРО – Первая монография»).
- Д.Ю. Гузевич.* Кентавр или к вопросу о бинарности русской культуры. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. темы для XXI века». Вып. 7).
- Е.А. Котеленец.* «Харизматический властный союз». Новейшие исследования о Ленине и его политическом окружении. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. темы для XXI века». Вып. 8).
- Дирк Кречмар.* Искусство и культура России XVIII–XIX в. в свете теории систем Никласа Лумана. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Вып. 9).
- В.Э. Молодяков.* Берлин–Москва–Токио: к истории несостоявшейся «оси». 1939–1941. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Вып. 10).
- Кевин Макдермотт, Джереми Агню.* Коминтерн. История международного коммунизма от Ленина до Сталина. («АИРО – Первая публикация в России»).
- О.Г. Буховец.* Постсоветское «великое переселение народов»: Россия, Беларусь, Украина и другие. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Вып. 11).
- Историки России. Послевоенное поколение. Сост. Л. В. Максакова.
- Ф.Ф. Торнау.* Воспоминания кавказского офицера.
- Б. Чижков.* Подмосковные усадьбы сегодня. Путеводитель с картой-схемой.
- Мифы и мифология в современной России / Под редакцией К. Аймермахера и Г. Бордюгова. Предисловие Ф. Бомсдорфа.
- Политика по контролю кризисной смертности в России в переходный период. (Программа развития ООН / Россия).
- Policies for the Control of the Transition's Mortality Crisis in Russia. (Unated Nations Development Programme/Russia).

## 2001

- Стивен Коэн.* Провал крестового похода. США и трагедия посткоммунистической России. («АИРО – Первая публикация в России»).
- Ленарт Самуэльсон.* Красный колосс. Становление военно-промышленного комплекса СССР. 1921–1941 гг. («АИРО – Первая публикация в России»).
- Политическая полиция и политический терроризм в России (вторая половина XIX – начало XX вв.). Сборник документов. («АИРО – Первая публикация»).
- А.П. Ненароков.* Последняя эмиграция Павла Аксельрода. Из цикла «В поисках жанра». («АИРО – Монография»).
- И. Ротарь.* Под зелёным знаменем. Исламские радикалы в России и СНГ. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Вып. 12).
- Новые концепции российских учебников по истории / Сост. К. Аймермахер, Г. Бордюгов, А. Ушаков. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. темы для XXI века». Вып. 13).

- Новый мир истории России. Форум японских и российских исследователей – к 60-летию профессора Харуки Вада / Под редакцией Г. Бордюгова, Н. Исии, Т. Томита.  
Magister vitae. К 80-летию Л.И. Мильграма / Составители М.Я. Шнейдер, Г.А. Бордюгов.  
Элита средств массовой информации. Россия 2001 год. Опрос руководителей и журналистов в электронных и печатных средствах массовой информации.  
Человек и война (Война как явление культуры). Сборник статей / Под редакцией И.В. Нарского и О.Ю. Никоновой.  
С.В. Константинов, А.И. Ушаков. История после истории. Образы России на постсоветском пространстве.  
А.Г. Макаров, С.Э. Макарова. Цветок-татарник. В поисках автора «Тихого Дона»: от Михаила Шолохова к Фёдору Крюкову.  
В углу: начало Гражданской войны глазами русских писателей. П.Н. Краснов, Ф.Д. Крюков, И.А. Родионов / Составители А.Г. Макаров, С.Э. Макарова.

## 2002

- Анна Гейфман. В сетях террора. Дело Азефа и Русская революция. («АИРО – Первая публикация в России»).
- Беттина Зибер. «Русская идея» обязывает!? Поиск русской идентичности в общественных дискуссиях конца XX век. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Вып. 14).
- Преодоление прошлого и новые ориентиры его переосмысления. Опыт России и Германии на рубеже веков. Международная конференция. Москва, 15 мая 2001 г. / Под редакцией К. Аймермахера, Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова.
- Промышленность Урала в XIX–XX веках. Сборник научных трудов / Под редакцией В.П. Чернобровина.
- Историки читают учебники истории. Традиционные и новые концепции учебной литературы / Под редакцией К. Аймермахера и Г. Бордюгова.
- Культура и власть в условиях коммуникационной революции XX века. Форум немецких и российских культурологов / Под редакцией К. Аймермахера, Г. Бордюгова, И. Грабовского.
- Б.И. Чехонин. Как богатеют, не воюя (по странам и континентам). Synopsis operandi профессора Аймермахера / Составитель А.И. Ушаков.
- С.Б. Веселовский. Подмосковье в древности. Три очерка.  
Фёдору Крюкову, певцу Тихого Дона.  
Вадим Смиренский. Разбор сюжетов.

## 2003

- Развитие альтернативных структур в исторической науке. АИРО-XX: издательским программам и научным проектам 10 лет / Составители Г.А. Бордюгов, А.И. Ушаков.
- Марк Юнге. Страх перед прошлым. Реабилитация Н.И. Бухарина от Хрущёва до Горбачёва. («АИРО – Первая публикация в России»).
- И.А. Гордеева. «Забывшие люди». История российского коммунитарного движения. («АИРО – Первая монография»).
- Исторические исследования в России-II. Семь лет спустя / Под редакцией Г.А. Бордюгова.  
In Memoriam. Г.М. Адибеков, С.В. Константинов, Ю.В. Соколов / Составители Г.А. Бордюгов и А.И. Ушаков.
- Мифы и мифология в современной России / Под редакцией К. Аймермахера, Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова. Изд. 2-е, дополн.

- Национальные истории в советском и постсоветских государствах / Под редакцией К. Аймермахера, Г. Бордюгова. Предисловие Ф. Бомсдорфа. Изд. 2-е, испр. и дополн. Богатые и бедные в современной России. Аналитический доклад.
- Валерий Брюсов. Мировое состязание. Политические комментарии. 1902–1924 / Составитель В.Э. Молодяков. («АИРО – Первая публикация в России»).
- Россия и страны Балтии, Центральной и Восточной Европы, Южного Кавказа, Центральной Азии: старые и новые образы в современных учебниках истории. Научные доклады и сообщения / Под редакцией Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова.
- Мегаполисы и провинции в современной России: образы и реальность. Аналитический доклад.
- Застольные речи Сталина. Документы и материалы / Сост., введение, коммент. В.А. Невежина.

## 2004

- Д.А. Андреев, Г.А. Бордюгов.* Пространство власти от Владимира Святого до Владимира Путина. Краткий курс, X–XXI вв.
- Булавинский бунт (1707–1708). Этюд из истории отношений Петра В. к Донским казакам. Неизвестная рукопись из Донского архива Федора Крюкова.
- Из старых тетрадей. *С.Б. Веселовский.* Страницы из Дневника. 1917–1923. *В.С. Веселовский.* Встречи с И.А. Буниным в 1917 году. Итог революции и Гражданской войны.
- Die Russischen Mittelschichten: Dynamik ihrer Entwicklung (1999–2003). Ein Analytischer Bericht.
- Экономическая элита России в зеркале общественного мнения. Аналитический доклад. Russlands «Oligarchen»: Die Russen und ihre Wirtschaftselite. Ein Analytischer Bericht. Moskau und die Provinz: Wie groß sind die Gegensätze? Ein Analytischer Bericht.
- Василий Молодяков.* Бумажный парус. Стихотворения 1988–2000.
- Ю. Сигов.* Многоликая Малайзия.
- А.А. Куреныхев.* Всероссийский крестьянский союз. 1905–1930 гг. Мифы и реальность. («АИРО – Монография»).
- Россия: удачи минувшего века / Г. Бордюгов, В. Молодяков, Б. Соколов, а также: В. Есаков, Е. Левина, Л. Мазун, Э. Молодякова, А. Полунов, Л. Федянина, Г. Ульянова.
- Россия и Япония: соседи в новом тысячелетии. Сборник статей.
- Марк Юнге, Рольф Биннер.* Как Террор стал «Большим». Секретный приказ № 00447 и технология его исполнения. («АИРО – Первая публикация в России»).

## 2005

- Никита Дедков.* Консервативный либерализм Василия Маклакова. («АИРО – Первая монография»).
- Жанат Кундакбаева.* «знаком милости Е. И. В. ...». Россия и народы Северного Прикаспия в XVIII веке. («АИРО – Монография»).
- В.Д. Соловей.* Русская история: новое прочтение. («АИРО – Монография»).
- С.И. Валянский.* Теория информации и образование. Об условиях выживания России. («АИРО – Монография»).
- П.Б. Уваров.* Дети хаоса: исторический феномен интеллигенции. («АИРО – Монография»).
- 1917: частные свидетельства о революции в письмах Луначарского и Мартова. («АИРО – Первая публикация» (совместно с Издательством РУДН)) / Под редакцией Г.А. Бордюгова и Е.А. Котеленец, сост. Н.С. Антонова и Л.А. Роговая, введ. Лотара Майера.

- Б.Г. Тартаковский.* Всё это было... Воспоминания об исчезающем поколении. («АИРО – Первая публикация»).
- Б.Г. Тартаковский.* Из дневников военных лет. («АИРО – Первая публикация»).
- Кацура Таро, Гото Симпэй и Россия. Сборник документов. 1907–1929. Серия «АИРО – Первая публикация». Публ. В.Э. Молодякова / Под редакцией Г.А. Бордюгова.
- Норман Неймарк.* Пламя ненависти. Этнические чистки в истории Европы в XX веке. («АИРО – Первая публикация в России»).
- Стивен Коэн.* Можно ли было реформировать Советскую систему. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Вып. 16.)
- Александр Зиновьев, Герман Кант, Бернхард Кьяри, Борис Соколов, Андрей Турков.* Великая война: трудный путь к правде. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Вып. 17, совм. с журналом «Свободная мысль–XXI»).
- Истребительная война на Востоке. Преступления вермахта. Сб. докладов. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Вып. 18, совм. с Центром «Запад–Восток», Кассельский университет).
- Дмитрий Андреев, Геннадий Бордюгов.* Пространство памяти: Великая Победа и власть. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Вып. 19).
- Прошлое и будущее российско-японских отношений: по следам Кацура Таро, Гото Симпэй, Нитобо Инадзо. Материалы симпозиума (Москва, 4 октября 2004 г.) / Под редакцией Г. Бордюгова и В. Молодякова.
- Россия и тотальная война в XX столетии: взгляд из удаляющейся перспективы. Материалы Международного интернет-семинара.
- Жанат Кундакбаева.* Политика Российской империи в отношении народов Северного Прикаспия в XVIII веке: историография проблемы и источники изучения.
- Владимир Самарин.* Страсти по «Тихому Дону». Заметки на полях романа.
- Борис Соколов.* Моя книга о Владимире Сорокине.
- 60-летие Второй мировой и Великой Отечественной войн: победители и побеждённые в контексте политики, мифологии и памяти. Материалы к Международному Форуму (сентябрь, 2005). Совм. с Фондом Фридриха Науманна.
- Ст. Б. Веселовский.* Из истории Московского государства в XVII веке. Три статьи / Сост. А.Г. Макаров и С.Э. Макарова.
- Рой Медведев.* Социализм в России? Япония 2004–2005. Ежегодник.

## 2006

- Дмитрий Люкин.* Вторая русская смута: крестьянское измерение. («АИРО – Первая монография»).
- А.Г. Ложкин.* Право победителей. Правовой отдел СВАГ: история создания и деятельности. 1945–1949. («АИРО – Первая монография»).
- Ф.Г. Куначёва.* Религиозные воззрения абазин (с древнейших времён до наших дней). («АИРО – Первая монография»).
- В.Э. Молодяков.* Эпоха борьбы. Сиратори Тосио (1887–1949) – дипломат, политик, мыслитель. («АИРО – Монография»).
- Агентурная работа политической полиции Российской империи. Сборник документов. 1880–1917. Публ. Е.И. Щербаковой / Под ред. Г.А. Бордюгова. («АИРО – Первая публикация»).
- Молодёжь и политика. Материалы семинара (сентябрь 2005) / Под редакцией Ф. Бомсдорфа и Г. Бордюгова. Библиотека либерального чтения. Вып. 17.
- Назревшая дискуссия. Некоторые итоги обсуждения истории Второй мировой войны. Общественный Форум (Москва, 28 сентября 2005 г.). Стенограмма / Под редакцией Ф. Бомсдорфа и Г. Бордюгова. Библиотека либерального чтения. Вып. 18.

- Э. Саблина. 150 лет Православия в Японии. История Японской Православной Церкви и её основатель Святитель Николай. («АИРО – Монография»).
- Советская политика в Австрии. 1945–1955 гг. Сборник документов / Под редакцией и составление Геннадия Бордюгова, Вольфганга Мюллера, Нормана М. Неймарка, Арнольда Суппана. («АИРО – Первая публикация»).
- Малороссия. Новороссия. Крым. Исторический и этнографический очерк. Сост. А.Г. Макаров и С.А. Макаров.
- Советская Военная Администрация в Германии (СВАГ). Управление пропаганды (информации) и С.И. Тюльпанов. 1945–1949 гг. Сб. документов. /Под ред. Геннадия Бордюгова, Бернда Бонвеча и Нормана Неймарка. («АИРО – Первая публикация»). Изд. 2-е, дополн. и измен.
- Портрет современного японского общества.
- В.Э. Молодяков. Гото Симпэй и русско-японские отношения. («АИРО – Монография»).
- Н.А. Четырина. Сергиевский посад в конце XVIII – начале XIX вв. (Посад как тип городского поселения). («АИРО – монография»).
- П. Павленко. Либерально-демократическая партия в политической системе Японии. 1955–2001.
- Павел Гвоздев. Русские на марше: от химеры к тотальной мобилизации.
- Япония. Ежегодник. 2006.
- Сергей Валянский. Хронотроника и эволюция социальных систем. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Вып. 20).
- В тени «Тихого Дона». Фёдор Крюков – забытый русский писатель. («АИРО – Научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Вып. 21).

## 2007

- Я.В. Леонтьев. «Скифы» русской революции. Партия левых эсеров и её литературные подпутьчики. («АИРО – Монография»).
- Стивен Козн. «Вопрос вопросов»: почему не стало Советского Союза?
- Ирина Каргина. Букет бессмертников. Константин Каргин и Михаил Шолохов: неизвестные страницы творческой биографии.
- А.Г. Тепляков. «Непроницаемые недра»: ВЧК-ОГПУ в Сибири. 1918–1929 гг. («АИРО – Первая монография»).
- Р.А. Гоголев. «Ангельский доктор» русской истории. Философия истории К.Н. Леонтьева: опыт реконструкции. («АИРО – Первая монография»).
- И.А. Алексеева. История всемирного христианского молодёжного движения в России. («АИРО – Первая монография»).
- В.И. Колесов. Служил Советскому Союзу... Воспоминания. («АИРО – Первая публикация»).
- Фридрих Фирсов. Секретные коды истории Коминтерна. 1919–1943. («АИРО – Первая публикация в России»).
- С.И. Валянский. Язык мой – враг мой.
- Владимир Дмитриевич Есаков. Биобиблиографический указатель. Сост. Г.А. Бордюгов, Е.С. Левина / Предисловие А.П. Ненарокова.
- Эльгена Васильевна Молодякова. Биобиблиографический указатель. Сост. Г.А. Бордюгов, А.Е. Куланов.
- Япония открытая миру. Коллективная монография.
- В.Г. Воловников. О необыкновенном годе необыкновенной эпохи (Неизвестная история выставки Пабло Пикассо в СССР в 1956 г.). («АИРО – научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Выпуск 22).

- В.Д. Соловей.* Смысл, логика и форма русских революций. («АИРО – научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Выпуск 23).
- Россия без Советского Союза: что потеряли и приобрели, что впереди? Стенограмма Общественного Форума 19 декабря 2006 г. и материалы дискуссии. Под редакцией Фалька Бомсдорфа, Геннадия Бордюгова и Алана Касаева. Библиотека либерального чтения. Выпуск 19.
- С.Ф. Платонов.* Смутное время. Очерк истории внутреннего кризиса и общественной борьбы в Московском государстве XVI и XVII веков.
- Александр Рабинович.* Большевики у власти. Первый год советской эпохи в Петрограде. («АИРО – первая публикация в России»).
- Николай Андреев.* Первые стихи.
- Владимир Путин. Рано подводить итоги.
- Революционная Россия. 1917 год в письмах А. Луначарского и Ю. Мартова / Под ред. Г.А. Бордюгова и Е.А. Котеленец, сост. Н.С. Антонова и Л.А. Роговая, введ. Л. Майер.
- Служение России. Торгово-промышленная палата РФ. 1917–2007. Научно-популярное иллюстр. издание-альбом / Под ред. Е.М. Примакова. (совместно с ТПП РФ).

## 2008

- Сиратори Тосио.* Новое пробуждение Японии. Политические комментарии 1933–1945. Составление, перевод, вступительная статья и комментарии доктора политических наук В.Э. Молодякова. («АИРО – первая публикация»).
- Danke, профессор Аймермахер. 12 писем из России. Сост. Г.А. Бордюгов, Т.М. Горяева.
- Константинов С.В.* «В неверном озаренье славы...»: реформаторы и жертвы. Сост.: Давыдов О.В., Касаев А.Ч., Молодяков В.Э.
- Леонид Козлов.* В диалоге с прошлым.
- Узник Лубянки. Тюремные рукописи Николая Бухарина. Сб. документов. Предисл. С. Бабурина. Введ. Ст. Коэна. («АИРО – Первая публикация»). Изд. 2-е, дополн., измен. и расшир.
- Харуки Вада – сенсей российской истории. Сост. Г.А. Бордюгов.
- Стивен Коэн и Советский Союз / Россия. Сост. Г.А. Бордюгов, Л.Н. Доброхотов.
- Е.В. Суровцева.* Жанр «письма вождю» в тоталитарную эпоху (1920-е – 1950-е гг.). («АИРО – Первая монография»).
- А.А. Куреньшев.* Крестьянские организации Русского Зарубежья. (1920–1951 гг.). («АИРО – Монография»).
- Торнау Ф.Ф.* Воспоминания кавказского офицера.
- Общее прошлое и современность. Материалы польско-российско-немецкого триалога историков и журналистов (Россия, Тверская область, «Гелиопарк-Эммаус» на Волге, 6–9 сентября 2007 г.).
- Глобальные вызовы – японский ответ / Рук. проекта Э.В. Молодякова.
- Прошлое: российский и немецкий подходы. Материалы российско-немецкого коллоквиума. Москва, 12–13 июля 2007 года. Под ред. Фалька Бомсдорфа и Геннадия Бордюгова.
- Роберт Эдельман.* Серьезная забава. История зрелищного спорта в СССР.
- А.Г. Тепляков.* Машина террора: ОГПУ-НКВД Сибири в 1929–1941 гг. («АИРО – Монография»).

## 2009

- В. Волков, С. Соколов.* Антиманипулятор. Типизация постперестроечного государственно-го устройства в контексте глобализации и перестройки. («АИРО – научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Выпуск 24).

- Н.В. Кравчук.* История отечества глазами малоросса. (Метаисторические очерки). («АИРО – научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Выпуск 25).
- В.А. Рябинин.* Идеология «тайны беззакония»: философский и политический анализ идеологии «мондиализм».
- А.П. Ненароков.* В поисках жанра. Записки архивиста с документами, комментариями, фотографиями и посвящениями. Книга первая. Вдаль к началу. («От первого лица. История России в воспоминаниях, дневниках, письмах»).
- А.П. Ненароков.* В поисках жанра. Записки архивиста с документами, комментариями, фотографиями и посвящениями. Книга вторая. Свеча в доме. («От первого лица. История России в воспоминаниях, дневниках, письмах»).
- Старо-новые российские мифы: кризис знания или сознания? Материалы российско-немецкого форума. Москва, Овальный зал ВГБИЛ, 3 декабря 2008 г. Под ред. Фалька Бомсдорфа, Геннадия Бордюгова, Екатерины Гениевой.
- В.Н. Томилин.* Наша крепость. Машинно-тракторные станции Черноземного Центра России в послевоенный период: 1946–1958 гг. («АИРО – Монография»).
- Н.И. Бурнашева.* В единении – сила! История кооперации Якутии (вторая половина XIX в. – 1920-е гг.). (АИРО – Монография).
- Эрик Кулевиг.* Народный протест в хрущевскую эпоху. Девять рассказов о неповиновении в СССР. (АИРО – Первая публикация в России).
- Russia: a history of the twentieth century. Materials for course the lections / *G. Bordjugov, S. Devyatov, E. Kotelenets, A. Titkov.*
- Ф.Д. Крюков.* Обвал. Смута 1917 года глазами русского писателя. Возвращаясь на улицу Юности.
- Л.А. Боева.* «Особенная каста». ВЧК-ОГПУ и укрепление коммунистического режима в годы нэпа. («АИРО – Первая монография»).
- Б.В. Соколов.* Как провалилась бериевская «перестройка». Извержение enfant terrible из властных структур. Новые документы. («АИРО – научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Выпуск 26).
- Япония 2009. Ежегодник.
- Идейно-политические дискуссии в Советском Союзе в 1940–50-х гг. и национально-государственное размежевание 1990-х. Материалы круглого стола в «РИА Новости» 15 сентября 2009 г. Под редакцией Геннадия Бордюгова и Алана Касаева.
- А.К. Конопацкий.* Прошлого великий следопыт. Академик А.П. Окладников: страницы биографии.
- Национальные истории на постсоветском пространстве – II / Под редакцией Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова.

## 2010

- Пётр Баратов.* «И с Москвой золотоголовой Вышеград заговорил...». Из опыта чешского либерализма. 1870–1880-е годы / Под ред. Г.А. Бордюгова. – М.: АИРО-XXI, 2010. – 240 с. – (Серия «АИРО – Первая монография»).
- Венков А.В.* «Тихий Дон»: источниковая база и проблема авторства. Часть 1-я. В поисках автора. Часть 2-я. Авторы «Тихого Дона». – М.: АИРО-XXI. 2010 г. – 884 стр.
- Кравчук Н.В.* История отечества глазами малоросса. Очерк третий. Русь расщепленная. XIII–XV вв. – М.: «АИРО-XXI». 2010 г. – 124 с. (Серия «АИРО – научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Вып. 28).
- Япония: полвека правления либерал-демократов / Рук. проекта Э.В. Молодякова. – М.: АИРО-XXI, 2010. – 284 с.
- Япония 2010. Ежегодник. – М.: «АИРО-XXI», 2010. – 320 с.

- Ю.М. Коликов.* Жемчужина седого Каспия. Документальная повесть. – М.: АИРО-XXI, 2010. – 432 с.
- Виктор Кригер.* Российские немцы вчера и сегодня. Народ в пути; перевод с нем. И. Черемушкинского. – М.: АИРО-XXI, 2010. – 104 с. (Серия «АИРО – первая публикация в России» под ред. Г.А. Бордюгова).
- Н.К. Веселовская.* Воспоминания выездного врача скорой помощи (1940–1953). Редакция и предисловие А.Г. Макарова. Серия «АИРО – первая публикация» под редакцией Г.А. Бордюгова. М.: АИРО-XXI, 2010. – 184 с.
- Г.А. Бордюгов.* Октябрь. Сталин. Победа. Культ юбилеев в пространстве памяти. – М.: АИРО-XXI, 2010. – 256 с.; (Серия «Историческая политика и политика памяти в СССР, РФ и СНГ»).
- Посадский А.* От Царицына до Сызрани: очерки Гражданской войны на Волге. – М.: АИРО-XXI; ГПИБ. 2010. – 412 с.
- Цыганок А.Д.* Война на Кавказе 2008: русский взгляд. Грузино-осетинская война 8–13 августа 2008 года. – М.: АИРО-XXI, 2010. – 328 с.
- Ирина Каргина.* Горечь полыни. Пропавший в «Поднятой целине». – М.: АИРО-XXI, 2010. – 216 с.
- Справочник молодого журналиста. – М.: «РИА Новости»; АИРО-XXI, 2010. – 512 с.
- Россия и Германия в XX веке. В 3-х томах. Том 1: Оболение власти. Русские и немцы в Первой и Второй мировых войнах; под ред. Карла Аймермахера, Геннадия Бордюгова, Астрид Фольперт. – М.: АИРО-XXI, 2010. – 1024 с.
- Россия и Германия в XX веке. В 3-х томах. Том 2: Бурные прорывы и разбитые надежды. Русские и немцы в межвоенные годы; под ред. Карла Аймермахера, Геннадия Бордюгова, Астрид Фольперт. – М.: АИРО-XXI, 2010. – 896 с.
- Россия и Германия в XX веке. В 3-х томах. Том 3. Оттепель, похолодание и управляемый диалог. Русские и немцы после 1945 года; под ред. Карла Аймермахера, Геннадия Бордюгова, Астрид Фольперт. – М.: АИРО-XXI, 2010. – 1032 с.
- Барабаш В.В., Бордюгов Г.А., Котеленец Е.А.* Образы России в мире. Курс лекций. – М.: АИРО-XXI, 2010. – 296 с.
- Национальные истории на постсоветском пространстве – II / Под редакцией Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова, – М.: Фонд Фридриха Науманна, АИРО-XXI, 2010. – 372 с.
- Носович А.Л.* Красный Царицын. Взгляд изнутри. Записки белого разведчика. – М.: АИРО-XXI, 2010. – 96 с.
- Кыласов А.В.* Окольцованный спорт. Истоки и смысл современного олимпизма.
- Гурвич Э.Б.* Взгляд в настоящее прошлое. Фрагменты семейной хроники Николая Ивановича Бухарина. – (Серия «АИРО – первая публикация») – М.: АИРО-XXI, 2010. – 176 с. + 56 с. илл.
- Загадки и тайны «Тихого Дона»: двенадцать лет поисков и находок. – М.: «АИРО-XXI», 2010. – 400 стр.
- Суровцева Е.В.* Жанр «письма вождю» в советскую эпоху (1950-е – 1980-е гг.). – М.: АИРО-XXI, 2010. – 128 с. (Серия «АИРО – монография»).
- Стивен Коэн.* Утраченное наследие Горбачева. – М.: АИРО-XXI, 2010. – 56 с. (Серия «АИРО – научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Выпуск 27).
- Мировой кризис и Япония / Рук. проекта Э.В. Молодкова. – М.: АИРО-XXI, 2010. – 256 с.

## 2011

- И.Б. Белова.* Первая мировая война и российская провинция. 1914 – февраль 1917 г. / Под ред. Г.А. Бордюгова. – (Серия «АИРО – Первая монография»). – М.: АИРО-XXI, 2011. – 288 с. + 24 с. илл.

- Стивен Коэн.* «Вопрос вопросов»: почему не стало Советского Союза? / Новое расширенное издание. – М.: АИРО-XXI, 2011. – 216 с.
- А.А. Куреньшев.* Он слышал музыку полей... Жизнь и деятельность Алексея Григорьевича Дояренко ученого, педагога, общественного деятеля, музыканта. 1874–1958 гг. – М.: АИРО–XXI, 2011. – 118 с.
- Е.В. Суровцева.* Жанр «письма царю» в XIX – начале XX века. – М.: АИРО–XXI, 2011. – 164 с.
- Г.А. Бордюгов.* «Войны памяти» на постсоветском пространстве / Предисловие Алана Касаева. – М.: АИРО-XXI, 2011. – 256 с. (Серия «Историческая политика и политика памяти в СССР, РФ и СНГ»).
- Г.А. Бордюгов, В.М. Бухараев.* Вчерашнее завтра: как «национальные истории» писались в СССР и как пишутся теперь. – М.: АИРО-XXI, 2011. – 248 с. (Серия «Историческая политика и политика памяти в СССР, РФ и СНГ»).
- З.С. Бочарова.* Российское зарубежье 1920–1930 х гг. как феномен отечественной истории. – М.: АИРО-XXI, 2011. – 304 с.
- Стивен Коэн.* Жизнь после ГУЛАГа. Возвращение сталинских жертв / Перевод Ирины Давидян. – (Серия «АИРО – первая публикация в России») – М.: АИРО-XXI, 2011. – 208 с. + 40 с. илл.
- Б.В. Соколов.* Потери Советского Союза и Германии во Второй мировой войне: методы подсчетов и наиболее вероятные результаты. – М.: АИРО-XXI, 2011. – 128 с. (Серия «АИРО – научные доклады и дискуссии. Темы для XXI века». Выпуск 29).
- Р.А. Медведев.* «Тихий Дон». Загадки и открытия великого романа. – М.: АИРО–XXI, 2011. – 228 с.
- Научное сообщество историков России: 20 лет перемен; под ред. Геннадия Бордюгова. – М.: АИРО-XXI, 2011. – 520 с.
- Исторические исследования в России – III. Пятнадцать лет спустя / Под редакцией Г.А. Бордюгова. – М.: АИРО-XXI, 2011. – 584 с.
- 20 лет Независимому Казахстану. – М.: Компания развития общественных связей (КРОС); РИА Новости; АИРО-XXI, 2011. – 172 с.
- Япония 2011. Ежегодник. – М.: «АИРО–XXI», 2011. – 288 с.
- Япония: опыт модернизации / Рук. проекта Э. В. Молодякова. – М., АИРО-XXI. 2011. – 280 с.
- А.Д. Цыганок.* Русский взгляд на израильские войны: Вторая Ливанская – 2006 и в секторе Газа – 2009. – М.: АИРО-XXI; Крафт+, 2011. – 352 с.

## 2012

- Чермен Касаев.* Мой край, мои земляки / Предисловие и составление А.Ч. Касаева. – М.: АИРО-XXI, 2012. – 184 с.
- Норман Неймарк.* Геноциды Сталина. – М.: АИРО-XXI, 2011. – 176 с.; (Серия «АИРО – Первая публикация в России»).
- Юрий Штридтер.* Мгновения. Из сталинской Советской России в «Великогерманский рейх» Гитлера. Воспоминания о детстве и юности (1926–1945). С послесловием Карла Аймермахера / Перевод В.А. Брун-Цехового. – (Серия «АИРО – первая публикация в России») – М.: АИРО-XXI, 2012. – 480 с.
- В.В. Агеносов.* Избранные труды и воспоминания. – М.: АИРО-XXI, 2012. – 704 с. + 72 с. илл.

- Г.А. Бордюгов. Ожидаемая революция не придет никогда. Массовые протесты конца 2011 – начала 2012 года на фоне гражданского противостояния XX века. – М.: АИРО-XXI, 2012. – 176 с.; (Серия «Историческая политика и политика памяти в СССР, РФ и СНГ»).
- В.Э. Молодяков. Россия и Япония в поисках согласия (1905–1945). Геополитика. Дипломатия. Люди и идеи. – М.: АИРО-XXI, 2012. – 656 с. + 16 с. илл. (Серия «АИРО – Монография»).
- Власть и общество в истории России. Сб. ст. – М. АИРО-XXI. 2012. – 208 с.
- А.Г. Ложкин. Интервенция, аннексия и советизация во внешней политике СССР: историко-правовые аспекты новейших исследований / А.Г. Ложкин. – М.: АИРО-XXI, 2012. – 416 с. – (АИРО – Монография).
- Синто: память культуры и живая вера. – М.: АИРО-XXI. 2012. – 236 с.
- Г.М. Семенцев. Донцы. Из истории донского казачества. – М.: АИРО-XXI, 2012 г. – 180 с.
- Н.В. Кравчук. Загадка Чернобыльской катастрофы. (Опыт независимого исследования). – М.: АИРО-XXI, 2011. – 104 с.
- А.Д. Цыганок. Военные под Российским флагом: русский взгляд. 1991–1993 / Предисловие С.А. Филатова. – М.: АИРО-XXI, 2012. – 432 с.
- А.А. Куреньшев. Сельскохозяйственная столица России. Очерки истории Московского общества сельского хозяйства (1818–1929 гг.). – М.: АИРО-XXI, 2012. – 404 с.
- Т.А. Филиппова. «Враг с востока». Образы и риторики вражды в русской сатирической журналистике начала XX века / Предисловие В.И. Шеремета. – М.: АИРО-XXI, 2012. – 384 с. – (АИРО – Монография).
- А.Н. Соломатин. Основы подготовки журналистов для работы в районах военных действий и экстремальных ситуациях. Программа курса лекций. Курс апробирован на Отделении журналистики Филологического факультета РУДН в 2011–2012 гг. – М.: АИРО-XXI, 2012. – 32 с.
- А.Д. Цыганок. Интервенция США и НАТО в Ливии и ее последствия для Сирии, Ирана, Кавказа: русский взгляд / Предисловие М.А. Гареева. – М.: АИРО-XXI, 2012. – 448 с.
- Япония: события 11 марта 2011 года. Итоги и уроки / Рук. проекта Э.В. Молодякова. – М., АИРО-XXI. 2012–224 с.
- А.В. Макутчев. «Приговор окончательный, обжалованию не подлежит...»: революционные трибуналы в Советской России в годы Гражданской войны / под ред. Г.А. Бордюгова. – М.: АИРО-XXI, 2012. – 256 с. – (Серия «АИРО – Первая монография»).
- Япония 2012. Ежегодник. – М.: «АИРО-XXI», 2012. – 450 с.
- Эльгена Васильевна Молодякова. К 75-летию со дня рождения. Биобиблиографический указатель. Под ред. Г.А. Бордюгова и И.Л. Тимониной. – М.: АИРО-XXI, 2012. – 120 с. + 8 с. илл.
- С.С. Михайлов. Погост Николо-Шатур: История мешёрского прихода. М.: Рус. деревня; АИРО-XXI (Б. тип.), 2012. – 104 с.: ил. Б. тир. (Б-ка альм. «Мещёра-край»).
- Мещёра-край: альм. по истории и культуре Мещёрского края / Ред.-сост. С.С. Михайлов; Независимая ассоц. исследователей Зап. Мещёры «Гуслиц. перекрёсток». – М.: Рус. деревня; АИРО-XXI (Б. тип.), 2012. Вып. 2. – 214 с.
- В.Г. Шаповал. История сел Дунилово и Горицы. От неолита до современности. – М.: АИРО-XXI, 2012. – 208 с. ил. – (Серия «АИРО – Российская провинция»).
- 90 лет СССР. Сб. ст. – М. АИРО-XXI. 2012. – 268 с.
- Федор Крюков. Православный мир старой России. – М.: АИРО-XXI. 2012. – 200 с.
- Федор Крюков. Картины школьной жизни старой России. – М.: АИРО-XXI. 2012. – 328 с.
- Светлана Лурье. Imperium (Империя – ценностный и этнопсихологический подход). – М.: АИРО-XXI, 2012. – 272 с. – (АИРО – Монография).

- Федор Крюков*. Эпоха Столыпина. Революция 1905 года в России и на Дону / Предисловие и составление А.Г. Макарова. – М.: АИРО-XXI, 2012. – 362 с.
- Алексей фон Лампе* – военный агент барона Врангеля в Венгрии. Сборник документов. – М.: АИРО-XXI, 2012. – 536 с. – («АИРО – первая публикация»).

## 2013

- Две родины Стивена Коэна. Сост. Г.А. Бордюгов, Л.Н. Доброхотов. – М.: АИРО-XXI, 2013. – 224 с. + ил.
- Крестьянский фронт 1918–1922 гг. Сборник статей и материалов. – М.: АИРО-XXI, 2013. – 700 с.
- Невольник чести. Путь и судьба Владимира Полютова / Сост.: Т.Б. Григер канд. ист. н., доц., Н.В. Полютова. – М.: АИРО-XXI, 2013. – 152 с. + 52 с. ил.
- “...Ведь не безнадежность перед нами”. Переписка Николая Бухарина и Надежды Лукиной. 1911–1914, 1922 годы. Предисл. – Стивен Коэн; вступит. статья – Ж. Артамонова; составление и комментарии – Ж. Артамонова, Е. Суббота. – М.: АИРО-XXI, 2013. – 320 с. + 4 с. ил. – (Серия «АИРО – первая публикация» / под ред. Г.А. Бордюгова).
- Япония 2013. Ежегодник. – М.: АИРО-XXI, 2013. – 412 с.
- Федор Крюков*. На Германской войне. На фронте и в тылу. – М.: АИРО-XXI, 2013. – 548 с.
- Япония в Азии: параметры сотрудничества / Рук. проекта Э.В. Молодякова. – М., АИРО-XXI, 2013 – 312 с.
- Между канинами. Исторические исследования в России за последние 25 лет / Под ред. Г.А. Бордюгова. – М.: АИРО-XXI, 2013. – 1520 с.
- Фридрих Фирсов*. 34 года в Институте марксизма-ленинизма. Воспоминания историка. – (Серия «АИРО – первая публикация») – М.: АИРО-XXI, 2013. – 480 с. + 32 с. илл.
- Л.Н. Суворова*. Нэповская многоукладная экономика: между государством и рынком / Л.Н. Суворова. – М.: АИРО-XXI, 2013. – 304 с. – (Серия «АИРО – Первая монография» / под ред. Г.А. Бордюгова).
- А.Ю. Каратеев*. Авиационные инженеры в России и СССР. Подготовка кадров в 1909–1945 гг. / под ред. Г.А. Бордюгова. – М.: АИРО-XXI, 2013. – 368 с. – (Серия «АИРО – Первая монография»).
- С.Н. Чекин*. Старый Буян, Самара, Печорлаг. Повествование врача Трудникова. Составитель и автор предисловия Л.С. Чекин. – М.: АИРО-XXI, 2013. – 296 с. + 8 с. илл. (Серия «АИРО – первая публикация»).
- М.И. Мельтохов*. Красная армия и несостоявшаяся революция в Германии (1923 г.). – М.: АИРО-XXI, 2013. – 216 с. – (Серия «АИРО – Монография»).
- Валерий Брюсов*. В эту минуту истории. Политические комментарии. 1902–1924 / Составление, вступительная статья В.Э. Молодякова. – М.: АИРО-XXI, 2013. – 312 с. + 4 с. илл. (Серия «АИРО – первая публикация»).
- Л.А. Посадская*. Советская повседневность в художественных текстах (1920-е – 1990-е годы). (Серия «АИРО – монография»). – М.: АИРО-XXI, 2013. – 184 с.
- Евреи. История по Брокгаузу и Бухарину. – М.: АИРО-XXI, 2013. – 384 с.
- Д.В. Стрельцов*. Япония: политическая модернизация эпохи Хэйсэй. – М.: АИРО-XXI, 2013. – 280 с.
- В.Я. Гросул*. Общественное мнение в России XIX века. – М.: АИРО-XXI, 2013. – 560 с.
- Идущий впереди. К 90-летию Гейдара Алиева. – М.: Вестник Кавказа; АИРО-XXI, 2013. – 368 с.
- Современное медиапространство Азербайджана. Под ред. Г. Бордюгова. Предисл. А. Рагимова. – М.: АИРО-XXI, 2013. – 416 с. + 36 с. илл.
- Мещёра-край: Альм. по истории и культуре Мещерского края / Гл. ред. С.С. Михайлов. М.: Рус. деревня; АИРО-XXI (Б. тип.), 2013. Вып. 3. 320 с. – (АИРО – Рос. провинция).

## 2014

- М.Н. Мосейкина.* У истоков формирования Русского мира. XIX – начало XX века. Том 1 // Русский мир в XX веке. В 6-ти томах. Под редакцией Г.А. Бордюгова и А.Ч. Касаева. Предисловие А.М. Рыбакова. – М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. – 392 с. + илл. – ISBN 978-5-91022-236-0.
- З.С. Бочарова.* Феномен зарубежной России 1920-х годов. Том 2 // Русский мир в XX веке. В 6-ти томах. Под редакцией Г.А. Бордюгова и А.Ч. Касаева. Предисловие А.М. Рыбакова. – М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. – 408 с. + илл. – ISBN 978-5-91022-238-4.
- З.С. Бочарова.* Русский мир 1930-х годов: от расцвета к увяданию зарубежной России. Том 3 // Русский мир в XX веке. В 6-ти томах. Под редакцией Г.А. Бордюгова и А.Ч. Касаева. Предисловие А.М. Рыбакова. – М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. – 336 с. + илл. – ISBN 978-5-91022-240-7.
- А.В. Антошин.* На фронтах Второй мировой и «холодной» войн: русские эмигранты в 1939 – начале 1950-х гг. Том 4 // Русский мир в XX веке. В 6-ти томах. Под редакцией Г.А. Бордюгова и А.Ч. Касаева. Предисловие А.М. Рыбакова. – М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. – 376 с. + илл. – ISBN 978-5-91022-242-1.
- А.В. Антошин.* От Русского Монмартра – к Брайтон-Бич: эволюция Русского мира в 1950-е – начале 1980-х гг. Том 5 // Русский мир в XX веке. В 6-ти томах. Под редакцией Г.А. Бордюгова и А.Ч. Касаева. Предисловие А.М. Рыбакова. – М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. – 376 с. + илл. – ISBN 978-5-91022-244-5.
- Г.А. Бордюгов, А.Ч. Касаев.* Русский мир и Россия: формирование нового типа отношений. 1986–2000 гг. Том 6 // Русский мир в XX веке. В 6-ти томах. Под редакцией Г.А. Бордюгова и А.Ч. Касаева. Предисловие А.М. Рыбакова. – М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. – 352 с. + илл. – ISBN 978-5-91022-246-9.

---

КНИГИ  
издательства «Алетейя»  
в Москве можно приобрести  
в следующих магазинах:

«Историческая книга», Старосадский пер., 9.  
Тел. (495) 921-48-95

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. [www.biblio-globus.ru](http://www.biblio-globus.ru)

Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8.  
Тел. (495) 629-64-83

Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.  
Тел. (495) 915-27-97

Магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 12/27.  
Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21

Магазин «Циолковский», Новая площадь, 3/4, подъезд 7д.  
Тел. (495) 628-64-42

«Галерея книги „Нина“», ул. Бахрушина, д. 28.  
Тел. (495) 959-20-94

Интернет-магазин: [www.ozon.ru](http://www.ozon.ru)

Владимир Вениаминович АГЕНОСОВ

**ВОССТАВШИЕ ИЗ НЕБЫТИЯ.**

Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции

Идея обложки – Валерий Руденко

Налоговая льгота –  
Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2;  
953000 – книги, брошюры



Научно-исследовательский центр АИРО-XXI  
тел. +7 (917) 547-84-24  
E-mail: [andmak@airo-xxi.ru](mailto:andmak@airo-xxi.ru)  
Заказ книг: <http://www.airo-xxi.ru/lavka>  
[www.airo-xxi.ru](http://www.airo-xxi.ru)

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.  
Издательство «Алетейя»,  
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.  
Тел./факс: (812) 560-89-47  
Редакция издательства «Алетейя»:  
СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис 304,  
тел. (812) 577-48-72, [aletheia92@mail.ru](mailto:aletheia92@mail.ru)  
Отдел продаж:  
[fempro@yandex.ru](mailto:fempro@yandex.ru), тел. (812) 951-98-99  
[www.aletheia.spb.ru](http://www.aletheia.spb.ru)

Подписано в печать с оригинал-макета 24.02.2014  
Формат 60×84 / 16. Усл. изд. л. 46,0  
Тираж 700 экз. Зак.